

STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA

Адрес редакции
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland
тел. +48 (61) 829 3576, тел./факс +48 (61) 829 3575
e-mail: ifros@amu.edu.pl

Главный редактор
проф. Ежи Калишан
Научные редакторы
проф. Ежи Калишан
проф. Вавжинец Попель-Махницки
проф. Беата Валигурска-Олейничак
Секретарь
д-р Войцех Каминьски

Рецензенты

проф. Анна Беднарчик, проф. Анджей Харцярек, проф. Роман Гаваркевич,
проф. Крыстына Янашек, проф. Тадеуш Климович, проф. Анджей Ксенич,
проф. Изабелла Малей, проф. Оксана Малыса, проф. Анна Пашкевич,
проф. Барбара Родзевич, проф. Беата Рьщельска, проф. Полина Стасиньска,
проф. Татьяна Степновска, проф. Томаш Шутковски, проф. Эльжбета
Тышковска-Каспжак, проф. Анна Варда

Редакционная коллегия

проф. Стефано Алоэ (Верона)
проф. Войцех Хлебда (Ополе)
проф. Ольга Фролова (Москва)
проф. Владимир Климонов (Берлин)
проф. Татьяна Космеда (Львов)
проф. Йоанна Мянговска (Быдгощ)
проф. Анна Пашкевич (Вроцлав)
проф. Валенты Пилат (Ольштын)
проф. Татьяна Плешкова (Архангельск)
проф. Лариса Рацибурская (Нижний Новгород)
проф. Михал Сарновски (Вроцлав)
проф. Анатолий Собенников (Иркутск)
проф. Антонина Щербак (Тамбов)
проф. Базыли Тихонюк (Зелена Гура)
проф. Наталия Тупикова (Волгоград)
проф. Ярослав Вежбиньски (Лодзь)
проф. Халина Вонтрубска (Гданьск)

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA

ZESZYT XLI

Redaktor naczelny

JERZY KALISZAN

Redaktorzy naukowci

JERZY KALISZAN

WAWRZYNIEC POPIEL-MACHNICKI

BEATA WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK

Sekretarz

WOJCIECH KAMIŃSKI



POZNAŃ 2016

Okladkę projektowała
MARIA DOLNA

Publikacja sfinansowana przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016

Redakcja oraz łamanie komputerowe: JANINA MICKIEWICZ-TURSKA
Redaktor techniczny: DOROTA BOROWIAK

ISSN 0081-6884

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIwersYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 10

Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47, e-mail: wyd nauk@amu.edu.pl

Dział Promocji i Sprzedaży: tel. 61 829 46 40, e-mail: press@amu.edu.pl

Ark. wyd. 30,50. Ark. druk. 32,0

DRUK I OPRAWA: EXPOL, WŁOCŁAWEK, UL. BRZESKA 4

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УКРАИНА НАЧАЛА XX ВЕКА ГЛАЗАМИ КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО

UKRAINE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY IN THE EYES OF KONSTANTIN PAUSTOVSKY

ANTONI BORTNOWSKI

ABSTRACT. The beginning of 20th century was a very complicated period in the history of the Ukrainian territories. Konstantin Paustovsky spent his youth in the southern part of the Russian Empire and could observe all the historical processes happening to his country. In his autobiography *Story of a life* Paustovsky presents a very interesting view of Ukraine at the beginning of the 20th century and during the Russian Civil War. The author of this article analyzes Paustovsky's perception of Ukraine and tries to give an answer to the question of how a descendant of Zaporozhian Cossacks and Polish intellectuals could become a Russian patriot.

Antoni Bortnowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
murawski@amu.edu.pl

Константин Паустовский многим известен как певец русской природы. Чаще всего из учебников литературы вытекает образ писателя-романтика, который восхищается живописными пейзажами и в значительной степени посвящает себя философским размышлениям на тему внутренней красоты человека¹. Довольно редко отмечается факт, что Константин Паустовский был также внимательным наблюдателем исторических изменений, которые потрясли Россию в первой четверти XX века. *Повесть о жизни*, автобиографический цикл шести книг (*Далекie годы* – 1946, *Беспокойная юность* – 1954, *Начало неведомого века* – 1956, *Время больших ожиданий* – 1958, *Бросок на юг* – 1959–1960, *Книга скитаний* – 1963), охватывающий период с конца XIX до 30-х годов XX века, автор называл своим главным произведением. „Все, что я писал до это-

¹ См. P. F a s t, *Zjawiska spoza realizmu socjalistycznego*, [в:] *Historia literatury rosyjskiej XX wieku*, pod red. A. Drawicza, Warszawa 2002, с. 375.

го, было подступом к этой книге”², — говорил Паустовский. Большая часть жизненного пути писателя, художественно представленного в *Повести о жизни*, прошла на территории Украины. Константин Паустовский детство и юность провел в Киеве, Одессе и даже Юзовке (сегодняшнем Донецке), благодаря чему на страницах первых трех частей цикла открывается красочная панорама украинских земель как в дореволюционный период, так и в годы гражданской войны. К Украине писатель всегда имел особое отношение, о чем свидетельствуют его собственные слова:

В книгах почти каждого писателя просвечивается, как сквозь легкую солнечную дымку, образ родного края с его бескрайним небом и тишиной полей, с его задумчивыми лесами и языком народа. Мне в общем-то повезло. Я вырос на Украине. Ее лиризму я благодарен многими сторонами своей прозы. Образ Украины я носил в своем сердце на протяжении многих лет³.

Несмотря на столь важную для Паустовского роль страны юных лет, анализ первых частей *Повести о жизни* в советские годы проводился в значительной степени в ключе пути писателя к пониманию идеалов революции⁴.

Картина страны детства и юности, представленная Паустовским в *Повести о жизни*, кажется особо интересной благодаря позиции автора, далекого от каких-либо попыток навязать читателю „единственно правильную” точку зрения. В контексте анализа творчества Паустовского отмечается обособленность писателя по отношению к господствующему в годы его литературной деятельности соцреализму. Революция и попытки советской власти построить новое общество не были для Паустовского самоцелью и всегда подчинялись его моральным и этическим „сверхидеалам”, прежде всего принципам гуманности. В качестве подтверждения данных слов приведем фрагмент *Повести о жизни*: „Многое [в Октябрьской революции] я принимал, иное отвергал, особенно все, что казалось мне пренебрежением к прошлой культуре”⁵. Как видно, Константин Паустовский изначально отводил себе скорее роль наблюдателя, оценивая события со стороны. Выраженная в *Повести о жизни* формальная поддержка советской власти (обяза-

² Цит. по: Л. Левички й, *Примечания*, [в:] К. Паустовски й, *Собрание сочинений в 9-ти томах*, т. 4: *Повесть о жизни*. Кн. первая-третья, Москва 1982, с. 707.

³ К. Паустовски й, *Золота троянда*, Киев 1957, с. 3–4.

⁴ См. Л. Левички й, *Константин Паустовский. Очерк творчества*, Москва 1977, с. 242–283.

⁵ К. Паустовски й, *Собрание сочинений...*, указ. соч., т. 4: *Повесть о жизни*. Кн. первая-третья, с. 518. В дальнейшем все цитаты из *Далеких лет, Беспокойной юности* и *Начала неведомого века* К. Паустовского приводятся по данному изданию с указанием в квадратных скобках после цитаты только номера страницы.

тельная для писателя того времени) выглядит не очень убедительно. Паустовский вроде бы впечатлен личностью Ленина, но во время одного из его выступлений в Москве предпочитает рассматривать фотографию прекрасной крестьянки, явно игнорируя пламенные речи вождя революции [561]. Писатель и восхищается красноармейцами, и явно сочувствует юнкерам. Паустовский сам ощущает неоднозначность своей позиции, пытаясь неоднократно оправдывать себя на страницах *Повести о жизни*. „Принять Октябрь целиком мне мешало мое идеалистическое воспитание. Поэтому первые два-три года Октябрьской революции я прожил не как ее участник, а как глубоко заинтересованный свидетель” [518]. Ведь если вдуматься в эти слова, получается, что только когда судьба белого движения была предрешена, Паустовский решил примкнуть к победителям. Далее писатель утверждает, что неоднозначное отношение к революции вызвано путаницей и лихорадкой тех лет. „События как бы отбросили меня на десять лет назад, в пору незрелых детских увлечений. Мне казалось, что я поглупел” [538]. Этот фрагмент, в котором зрелый советский писатель оценивает с высоты своих лет молодого Костю Паустовского, является характерным для двойственного повествования *Повести о жизни*. Как отметил Л. Левицкий, в первых трех частях цикла за лирическим героем стоит умудренный жизненным опытом автор, порой корректирующий поступки и размышления героя действующего⁶.

Попытка Паустовского воспроизвести чувства и переживания мальчика, а затем киевского гимназиста и студента, четко отделяя их от вмешательства зрелого повествователя, придает *Повести о жизни* значительный оттенок аутентичности. Благодаря такому положению вещей читатель может увидеть Киев и Украину первой четверти XX века глазами мечтающего о будущем юноши, лишенного политических предрасположений. „Украинский” этап жизни Константина Паустовского охватывает почти 30 лет. Писатель родился в 1892 г. в Москве, где проживали в то время его родители, вернувшиеся затем в 1898 г. на родину, в Киев. В столице тогдашней Малороссии будущий писатель закончил в 1912 г. Императорскую Александровскую гимназию (в то же время учился там Михаил Булгаков), а затем поступил в Университет св. Владимира. В период Первой мировой войны Паустовский побывал в Москве, служил в санитарном поезде в Польше, затем после Октябрьской революции вернулся через немецкий фронт в Киев, где пережил несколько переворотов. Писатель покинул город своей юности в 1919 г., вернувшись туда лишь ненадолго к матери и сестре в 1923 г.

⁶ Л. Левицкий, *Примечания*, [в:] К. Паустовский, *Собрание сочинений...*, указ. соч., т. 5: *Повесть о жизни*. Кн. четвертая-шестая, с. 570.

Образ Украины в *Повести о жизни* Паустовского особенно интересен, так как это, прежде всего, не взгляд советского писателя из Москвы, а восприятие родного пространства изнутри. Уже одно происхождение писателя в какой-то степени отображает красочность и одновременно запутанность украинской действительности того времени. Генеалогическое древо Паустовских органично вписывается в сложнейшее переплетение национальных стихий, формировавших лицо тогдашней Малороссии, превратившейся со временем в современную Украину. Отец писателя, Георгий Паустовский, происходил из запорожских казаков, переселившихся в район Белой Церкви. Там проживал дед писателя Максим, привезший с русско-турецкой войны в жены Фатиму, ставшую после крещения в православие Гоноратой, бабушкой будущего писателя. „Бабушку-турчанку мы боялись не меньше, чем дед, и старались не попадаться ей на глаза” [16] — вспоминает в *Повести о жизни* Паустовский. Вторая бабушка писателя была польской шляхтянкой. Викентия Ивановна всегда ходила в трауре, который надела после разгрома январского восстания 1863 г., а „портреты Пушкина и Мицкевича всегда висели в ее комнате рядом с иконой Ченстоховской божьей матери” [29]. В *Повести о жизни* появляется также дед Паустовского со стороны матери, Григорий Высочанский, считавший, что взбалмошность и беспечность его детям передалась от польской матери. Существуют предположения, что мог он быть потомком выходцев из Чехии⁷.

Кем же считал себя сам Паустовский, сын украинца с турецкой примесью и дочери польской шляхтянки? Казалось бы, в *Повести о жизни* писатель неоднократно прямо отвечает на данный вопрос. Когда Николай II, посещая киевскую гимназию, спрашивает у будущего писателя „вы малоросс?“, Паустовский отвечает утвердительно [226]. Далее в автобиографическом цикле появляется целый ряд высказываний, указывающих на неоднозначность и характерную для писателя двойственность также в этом вопросе. Вспоминая Первую мировую войну, Паустовский заявляет: „В те годы [...] я ощутил себя русским до последней прожилки” [315]. Затем, работая в санитарном поезде на фронте, он замечает, что польские плетни вьюнок обвивает, „как и у нас на Украине” [320]. Попав на Красную площадь, Паустовский пишет: „Это был Кремль. Россия, история моего народа” [232]. Затем писатель добавляет, что он „отчасти украинец” [369]. Симптоматично, что, по всей видимости, молодой Костик в этом вопросе не был исключением, так как его живущий за границей дядя „перед смертью [...] плакал при малейшем напоминании о России” и „просил прислать ему в конверте

⁷ С. В ы с о ч а н с к и й, *Наша семья. Ее прошлое*, [в:] электронный ресурс: <http://www.mirpaustowskogo.ru/magazine/mp-15/02-05.htm> (14.09.2015).

самый драгоценный для него подарок — засушенный лист киевского каштана” [50]. Сто лет спустя кажется немыслимым, что для кого-либо каштановый лист из Киева может быть напоминанием о родной России. Данный фрагмент во многом объясняет мнимые противоречия в вопросе самоидентификации Паустовского и раскрывает специфику тогдашней Малороссии. На ключ к пониманию восприятия Украины автором *Повести о жизни* может также навести то, что писатель ощущал себя одновременно и русским, и „киевлянином”⁸.

Киев начала XX века не только относительно редко появляется в произведениях русской литературы, но и практически совершенно отсутствует у украинских писателей⁹. Общеизвестным исключением среди этого „молчания” можно, пожалуй, назвать лишь *Белую гвардию* (1924) Михаила Булгакова. Значительно менее известной в данном контексте является *Повесть о жизни*, которая также написана киевлянином, современником и ровесником автора *Мастера и Маргариты*. Картина родного города в произведении Паустовского во многом дополняет картину Булгакова, расширяя ее во временном плане и добавляя элементы киевской действительности, отсутствующие в *Белой гвардии*.

Каким же является Киев Константина Паустовского, представленный в *Повести о жизни*? Город детства будущего писателя — это красочное и разнообразное пространство, полное контрастов. В нем с нарядными улицами, застроенными доходными домами, соседствуют районы лачуг, заселенных нищими. В *Повести о жизни* предстает перед читателем Киев поэтов и художников, культурный центр Российской Империи, в котором, однако, периодически вспыхивают еврейские погромы. Киев Паустовского — это многонациональный город, открывающийся перед читателями благодаря многим, представленным в *Повести о жизни*, персонажам. Среди них есть и еврейский друг писателя по гимназии Эмма Шмуклер и польская старушка Козловская, которую юный Паустовский почти каждое воскресенье провожал в костел [167], и, наконец, Амалия Кностер, бывшая немецкая гувернантка, у которой будущий писатель снимал комнату. Редкостью, в свою очередь, в окружении Паустовского были украинцы. Они впервые упоминаются в контексте удивления главного героя *Повести о жизни* разнообразием и раздробленностью студенческой среды Киевского университета. „Впервые я узнал о резких неистовых противоречиях между

⁸ К. Паустовский, *Собрание сочинений...*, указ. соч., т. 5: *Повесть о жизни*. Кн. четвертая-шестая, с. 308.

⁹ Среди немногочисленных произведений современной украинской литературы, действие которых разворачивается в Киеве начала XX века, следует выделить *Киевские ведьмы* (2005) Лады Лузиной, *Город с химерами* (*Місто із химерами*, 2009) Олеса Ильченко и *Киевские бомбы* (*Київські бомби*, 2014) Андрея Кокотюхи.

большевиками и эсерами и меньшевиками, о бундовцах, дашнаках, „щирых“ украинцах и партии „Паолей Цион“. Но случилось, что представители всех этих партий объединялись против одного общего врага – студентов-„белоподкладочников“, членов черносотенного Академического союза. Схватки с „белоподкладочниками“ сплошь и рядом доходили до рукопашной, особенно когда в дело вмешивалось „Кавказское землячество“ [272].

Многонациональной была также среда Первой киевской гимназии, широко представленная в *Повести о жизни*. В каждом классе было по два отделения, но дети в них были разделены не по национальному, а скорее по сословному принципу. „В первом отделении учились преимущественно оболтусы – сыновья генералов, помещиков, крупных чиновников и финансистов. В нашем же, втором отделении учились дети интеллигентов, разночинцев, евреи и поляки“ [165]. Местная специфика касалась также уроков религии. Многие ученики, пользуясь любым поводом, чтобы удрать от грозного учителя „закона божьего“, прятались на уроках католического „закона“, где „уже была территория, как бы подчиненная апостолической церкви и римскому папе Льву XIII“ [98]. Там властвовал ксендз-каноник Олендский, рассказывая „любимую историю, как он служил в Варшаве панихиду над сердцем Шопена, запаянным в серебряную урну“ [99]. Представленный Паустовским образ гимназии показывает, что в многокультурном Киеве, несмотря на все пороки царской власти, хватало идейных учителей, которые умели, например, „снять пыль и грязь казенных слов и скучной зубрежки“ с русской литературы и стремились прививать своим ученикам прежде всего уважение к другому человеку и чувство справедливости вне зависимости от национальности. Об этом свидетельствует описанная Паустовским сходка, имевшая место перед выпускными экзаменами в 1912 г.

На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не должны были знать. На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет [250].

Жизнь в те годы для евреев была тяжелой, что неоднократно отмечает Паустовский, воссоздавая на страницах *Повести о жизни* тревожные картины еврейских погромов.

Лиза сняла со стен иконы и поставила их на окна. На воротах нашего дома дворник Игнатий нарисовал мелом большой крест. Потом он запер ворота и калитку, и мы очутились как в крепости. Мама сказала, что в городе начался еврейский погром [119].

Паустовские, как и многие другие киевские семьи, прятали у себя евреев, а брат писателя, Боря, был даже членом студенческой боевой дружины, выступающей против зачинщиков погромов.

Характерным элементом киевской действительности того времени является в изображении Паустовского незначительное присутствие в городе украинского элемента. В принципе, в дореволюционном Киеве он ограничивается лишь пьесами в театре [61] и встречавшимися иногда на улицах города слепцами-лирниками [17]. Ситуация меняется лишь с началом революции, когда историческая стихия „вливается” в Киев, внося в жизнь его жителей полную неразбериху и утрируя сложившиеся веками противоречия.

Город детства Константина Паустовского — это словно остров, окруженный стихией истории. В *Повести о жизни*, так же, как и в *Белой гвардии*, появляется оппозиция „дом — история”, когда гимназист Костик в критические минуты испытывает почти те же чувства, что и семья Турбиных за кремовой шторой¹⁰: „Я опустил штору, разделся и лег. Я смотрел на толстые стены и думал, что этот двухэтажный дом похож на крепость” [117]. Паустовский к этой оппозиции добавляет дополнительное измерение — противопоставление Киева бушующей за его пределами истории, которая периодически вторгается в черту города, нарушая ритм его жизни.

Следует отметить, что Паустовский явно не относил Киев к Украине, свидетельство чего можно найти на страницах многих повестей его автобиографического цикла. Этот факт ощущается, несмотря на то, что Паустовский нигде не утверждает об этом прямым текстом. В *Далеких годах* мы узнаем, что Киев „окружен” богатой и ласковой Украиной [177]. Затем повествователь, путешествуя на юг России, заявляет, что „после Киева проплыла за окнами кудрявая, прогретая солнцем Украина” [353]. Получается, что Украина в глазах Паустовского начинается за городской чертой Киева. Даже гражданская война не переломила сложившегося обособления. „Казалось, что Киев надеялся безопасно жить в блокаде. Украина как бы не существовала — она лежала за кольцом петлюровских войск” [602]. Восприятие повествователем Киева, как части другого, русского мира, окончательно подтверждает фрагмент, в котором, описывая учителя французского языка, Паустовский вспоминает: „Он спрягал и склонял, поглядывая за окно, где падал с русского неба холодный белый снег” [171]. Это было в Киеве. А вот уже у дедушки под Белой Церковью можно было наблюдать „ленивые и пышные, настоящие украинские облака” [16].

¹⁰ См. М. Булгаков, *Белая гвардия*, [в:] его же, *Собачье сердце. Роман. Повести. Рассказы*, Москва 2005, с. 213.

В восприятии Паустовского не было единого украинского пространства в преобладающем сегодня смысле данного понятия. Он любил и восхищался Украиной, но не относил к ней ни Киева, ни, тем более, Юзовки или Одессы. Во всех этих городах украинский элемент если появлялся, то был лишь одним из элементов многонациональной и красочной городской панорамы. Украина же в *Повести о жизни* — это совершенно другой мир, далекий от городской цивилизации. Это необъятное пространство степей и лесов, которое живет по собственным сложившимся веками правилам. Оно полностью не подчиняется никакой власти, ни царской, ни белой или красной. Как пишет Паустовский, еще до революции периодически бродили по Украине неуловимые разбойничьи шайки [193]. В *Повести о жизни* появляются красочные описания украинской провинции, где так же, как и в городах тогдашней Малороссии, переплетаются различные национальные стихии. В *Далеких годах* повествователь вспоминает свое путешествие по Черниговской губернии: „В местечке по заросшим мхом крышам еврейских домов ходили козы. Деревянная звезда Давида была приколотая над входом в синагогу” [201]. Там же люди покупали не в магазинах, а в „склепах” [201] — наглядное доказательство присутствия польской специфики. Обитатели жили в своеобразной сложной и хрупкой гармонии. Специфика Украины касалась также религиозных убеждений, которые в описанные Паустовским времена были у многих довольно расплывчатыми. Свидетельствует об этом полученная главным героем отцовская телеграмма: „Привези из Белой Церкви священника или ксендза — все равно кого, лишь бы согласился ехать” [9].

Хрупкое равновесие на украинских землях легко рушит революция и гражданская война, приводя к хаосу и анархии. В простых людях вдруг просыпается грубая жестокость и нетерпимость, которые особенно опасны в столь неоднородной среде. Результат данного процесса ярче всего виден в повести *Свадебный подарок*.

К югу от Бобринской бушевала, гикала, грохотала на бешеных тачанках, открывала с ходу пулеметный огонь, свистела, грабила, насиловала женщин и драпала при первой же встрече с сильным противником украинская черная вольница [677].

Далее следует описание отступающего подразделениями Махно, со всей сопутствующей ему бессмысленной жестокостью, от которой мирные жители станций, оказавшихся на пути его состава, поголовно скрывались в степи, где молились, чтобы батько не решил у них остановиться [680].

Как уже было сказано, исторические потрясения не обходят стороной также Киев, где особенно интересным с точки зрения анализа взглядов Паустовского является момент прихода в город отрядов Пет-

люры. В отличие от поддерживаемого немцами гетмана Скоропадского, по мнению повествователя, только прикидывающегося украинцем, в городе появляется „щирая“ Украина [621], та, которая ранее была за пределами города. „В первые дни петлюровской власти опереточные гайдамаки ходили по Крещатику со стремянками, влезали на них, снимали все русские вывески и вешали вместо них украинские“ [623]. Паустовский в *Повести о жизни* резко высказывается против петлюровского украинства, воспринимая его в Киеве как что-то неестественное и чужеродное.

При Петлюре все казалось нарочитым — и гайдамаки, и язык, и вся его политика, и сивоусые громадяне-шовинисты, что выползли в огромном количестве из пыльных нор [623].

Некогда блестящий Киев превратился в увеличенную Шполу или Миргород [...]. Все в городе было устроено под старосветскую Украину, вплоть до ларька с пряниками под вывеской „О це Тарас с Полтавщины“ [629].

Приведенные фрагменты в очередной раз подтверждают, насколько, по мнению Паустовского, чужеродным явлением в Киеве была украинская (особенно народная) культура. Та самая, которая вызывала восторг писателя за пределами родного города. Отсутствие целостного восприятия Украины сочетается у Паустовского с убеждением о неделимости другого пространства — России. Именно эта позиция является „ключом“ к пониманию идентичности писателя и его взглядов на ход истории. Россия, не важно, царская или советская, была для автора *Повести о жизни* единым пространством, общим знаменателем для всего его разнообразия. Понятия русский и украинец в его творчестве не исключают, а дополняют друг друга. Это также объясняет его полное непонимание стремлений Украины к независимости. Исходя из убеждений автора *Повести о жизни*, это просто измена родине.

Константин Паустовский в своем автобиографическом цикле начертил картину Украины начала XX века, описывая исторические потрясения, которые даже на фоне гражданской войны в России выделялись особой жестокостью и непредсказуемостью. Одной из причин такого развития событий стала показанная Паустовским изнутри специфика тогдашней Малороссии, раздробленной страны с запутанной самоидентификацией. Сегодняшние события на Украине показывают, что сто лет спустя до преодоления такого положения вещей еще далеко.

Библиография

- Булгаков М., *Белая гвардия*, [в:] его же, *Собачье сердце. Роман. Повести. Рассказы*, Москва 2005.
- Высоцкий С., *Наша семья. Ее прошлое*, [в:] электронный ресурс: <http://www.mirpaustowskogo.ru/magazine/mp-15/02-05.htm> (14.09.2015).
- Левицкий Л., *Константин Паустовский. Очерк творчества*, Москва 1977.
- Левицкий Л., *Примечания*, [в:] К. Паустовский, *Собрание сочинений в 9-ти томах*, т. 5: *Повесть о жизни*. Кн. четвертая-шестая, Москва 1982.
- Паустовский К., *Золота троянда*, Киев 1957.
- Паустовский К., *Собрание сочинений в 9-ти томах*, т. 4: *Повесть о жизни*. Кн. первая-третья; т. 5: *Повесть о жизни*. Кн. четвертая-шестая, Москва 1982.
- Fas t P., *Zjawiska spoza realizmu socjalistycznego*, [в:] *Historia literatury rosyjskiej XX wieku*, pod red. A. Drawicza, Warszawa 2002.

МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И ФИЛОСОФИЕЙ.
ПОЭТИКА РОМАНА ЧАПАЕВ И ПУСТОТА ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА

BETWEEN HISTORY AND PHILOSOPHY.
THE POETICS OF THE NOVEL *BUDDHA'S LITTLE FINGER*
BY VICTOR PELEVIN

ANNA CHUDZIŃSKA-PARKOSADZE

ABSTRACT. The article focuses on the concept of a dualistic model of the world perception in the novel *Chapayev and Void* by Victor Pelevin. The model represents the contrast to the notion of alchemic union that stands for the ideal pattern, which cannot be realized in Russian reality. So dualism meant as a division and separation between heroes, who cannot understand each other, concerns also the division between East and West in the historical, philosophical and cultural perspective. However, the main division, which is superior upon the others, is the dualism of reality and consciousness that in the novel transforms to the universal category. The only possible escape from this dysfunctional realm is spiritual illumination.

Anna Chudzińska-Parkosadze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Poznań – Polska, parkosadze@interia.pl

Имя Виктора Пелевина — это бренд в современной русской литературе. И одновременно этот автор не вписывается до конца ни в одно современное литературное направление. Даже с учетом мнения некоторых специалистов, что Пелевин постмодернист, сторонникам этой точки зрения приходится делать существенные оговорки. Если согласиться с теорией С. Корнева, что проза Пелевина может считаться „русским классическим пострефлексивным постмодернизмом“ и отличается такими знаковыми компонентами поэтики, как интертекстуальность, пародийный модус повествования (пастиш), дискретность, двойное кодирование, построение нарратива по принципу коллажа, метарассказ¹, то следует признать, что все названные черты постмодернистского произведения присутствуют в прозе Пелевина. Проблема в том, что эти приемы являются лишь внешним обманчивым одеянием, под которым писатель скрывает механизм сложнейшего философского дискурса.

¹ С. К о р н е в, *Столкновения пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим?*, „Новое литературное обозрение“ 1997, № 28, с. 250.

Существует точка зрения, в соответствии с которой художественной целью Пелевина признается деконструкция внешнего мира, его социальных норм, предрассудков, конкурирующих идеологий и религиозных догматов². Однако читая книги Пелевина, можно обнаружить совершенно другое: он скорее пытается сложить в единую картину мир, повергшийся распаду за последнее столетие.

Естественно, Пелевин концентрируется главным образом на судьбе России. В этом духе написан и роман *Чапаяв и Пустота*, представляющий собой попытку восстановления смыслов и жизненных ориентиров в череде повторяющихся экзистенциальных катастроф. В данном произведении образы экзистенциальных катастроф в России относятся как к революции и гражданской войне в начале XX столетия, так и к переменам 1990-х гг. Тем не менее описание исторических событий не является главной темой романа. Они лишь условный фон событий и предлог для философского дискурса, выстраиваемого писателем.

Литературоведы, обсуждающие философские темы пелевинского романа, подчеркивают присутствие в нем идей и доктрин Востока, в частности дзен-буддизма³. Рассматривая пелевинскую философию „внутренней жизни“, критики часто ссылаются на положения солипсизма⁴. Однако другие исследователи отрицают возможность сведения философских установок романа к одному солипсизму. К примеру, Елена Пронина утверждает:

Было бы большим соблазном отнести все это к проявлениям солипсизма — то есть такого мироощущения, при котором мир принимается за собственное представление. Автор сам иронически предвосхищает подобный поворот мыслей: „Специалисты по литературе, вероятно, увидят в нашем повествовании всего лишь очередной продукт модного в последние годы критического солипсизма...“ (*Чапаяв и Пустота*). Но в каждой шутке есть, как известно, доля правды. Слияние в одном определении — критический солипсизм — взаимоисключающих понятий, с одной стороны, „обнуляет“ объяснительный потенциал каждого из них, а с другой — оставляет ощущение амбивалентной неисчерпаемости обозначаемого [...]»⁵.

² М. В. Р е п и н а, *Творчество В. Пелевина 90-х годов XX века в контексте русского литературного постмодернизма*, Москва 2004, [в:] электронный ресурс: <http://cheloveknauka.com/tvorchestvo-v-pelevina-90-h-godov-xx-veka-v-kontekste-russkogo-literaturnogo-postmodernizma> (20.07.2015).

³ См.: С. К о р н е в, указ. соч.; А. З а к у р е н к о, *Искомая пустота*, „Литературное обозрение“ 1998, № 3, с. 95 и др.

⁴ Ю. Щ е р б и н и н а, *Who is mr. Пелевин?*, „Континент“ 2011, № 150, [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/continent/2011/150/s39-pr.html> (20.07.2015).

⁵ Е. П р о н и н а, *Фрактальная логика Виктора Пелевина*, „Вопросы литературы“ 2003, № 4, [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/voplit/2003/4/pron-pr.html> (20.07.2015).

Соотношение восточной философии с западным солипсизмом действительно может вызывать ощущение амбивалентности и запутанности. Дело в том, что сопоставляя эти идеи в тексте романа, Пелевин каждую из них решает по-другому. Субъективизм солипсизма осмеивается им в описаниях перцепции окружающего мира героями, которые постоянно находятся под воздействием либо наркотиков, либо водки, или же смеси одного и другого. Солипсизм пародируется Пелевиным также в очередных эпизодах. В сцене посещения Пустотой загробного мира герою и его проводнику Юнгерну вдруг являются персонажи-бандиты из рассказа-сна Володина из сумасшедшего дома. Тогда наевшись „шаманских грибов“, один из них бессвязно выкрикивает: „– Я! Я! Я! Я!“⁶. Проводник Юнгерн сообщает Петьке, что это пример „хулиганья“, а сами бандиты даже не знают, куда попали. В то же время Пелевин преодолевает субъективизм европейского солипсизма объективностью восточных мировоззрений. В свете восточных доктрин центральный концепт романа – „Пустота“ – обозначает растворение личного „я“ во вселенском пространстве.

Эти сложные концептуальные конструкции, несомненно, носят эзотерический характер. Однако литературоведы высказываются о пелевинских концептах весьма неблагоприятно, называя их: „ню-эйджевыми идеями“, „условно восточной мудростью“⁷, „популярной эзотерикой“ („поп-эзотерикой“)⁸, „тяжеловатой мистикой“⁹, „мистической безответственностью“ или же „образцом советского богоискательства“¹⁰. Пелевин действительно использует в поэтике романа эзотерические мотивы и идеи, но поскольку он наряжает их в пародийный костюм, то их пафос автоматически снижается, но смысл не утрачивается. Роман *Чапаев и Пустота* не эзотерическое или мистическое произведение – это художественная визуализация философско-мистических концептов.

В настоящей статье попытаемся определить ведущие исторические и философские концепты пелевинского романа и показать способ их сосуществования в данном тексте. Светлана Фокина, определяя философию истории в романе, подчеркивает, что за внешними идеологи-

⁶ В. П е л е в и н, *Чапаев и Пустота: роман*, Москва 2007, с. 320. Все дальнейшие цитаты будут приводиться по этому изданию с применением в скобках инициалов заглавия и номеров страниц.

⁷ О. Т и м о ф е е в а, *Если б не было ничто*, „НЛО“ 2014, № 6 (130), [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/nlo/2014/130/8t-pr.html> (20.07.2015).

⁸ Д. В о л о д и х и н, *Виктор Пелевин. S.N.U.F.F., „Знамя“* 2012, № 9, [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/znamia/2012/9/v25-pr.html> (20.07.2015).

⁹ А. С о л о м и н а, *Свобода: надтекст вместо подтекста*, „Литературное обозрение“ 1998, № 3, с. 93.

¹⁰ А. З а к у р е н к о, указ. соч., с. 95.

ческими пристрастиями участников гражданской войны скрывались деструктивные импульсы коллективного бессознательного (неосознаваемые танатофильские импульсы психики), активизированные господствующей идеологией¹¹. Александр Архангельский утверждает, что формально роман Пелевина строится на сквозной теме освобождения от истории, поскольку его герои постепенно отрешаются от времени и пространства¹². С. Сиротин, в свою очередь, замечает, что Пелевин подводит свои „назывные истины“ под мобильный дискурс произвольного исторического или культурного плана¹³.

Высказывания критиков свидетельствуют о сложности сопряжения идеи иллюзорности мира с фактографическими требованиями истории, имеющими место в романе *Чапаев и Пустота*. Пространственно-временные координаты романа (т. е. гражданская война 1919 года и 1990-е гг. в России) представляют собой два параллельных мира. Повествование в романе ведется от первого лица, которым является главный герой Петр Пустота. Оба мира представлены отраженными в зеркале сознания героя. Следовательно, читатель знакомится не с историческими фактами, а с их восприятием главным героем. В ходе чтения мы можем сделать вывод о том, что фабульная линия, связанная с приключениями героя во время гражданской войны и его беседы с Чапаевым, — это лишь плод воображения героя. Эмпирической действительностью оказывается дом для умалишенных, в который попадает герой в начале повествования. Однако, учитывая метафоричность сквозного в русской литературе концепта сумасшедшего дома и его намеренную актуализацию Пелевиным в романе, само место также становится иллюзорным. Россия как сумасшедший дом, или же дом для душевнобольных как единственное место уединения для „мыслящих людей“, — представляет собой те концептуальные ориентиры, которые ввели в российский менталитет Антон Чехов, Михаил Булгаков, Венедикт Ерофеев и др. Поэтому Пелевин о своей книге мог сказать, что это первый в мире роман, действие которого происходит в пустоте¹⁴.

¹¹ С.А. Фокина, *Эстетическая парадигма литературы русского постмодернизма*, Одесса 2013, с. 15, [в:] электронный ресурс: <http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/filol/fokina2.pdf> (20.07.2015).

¹² А. Архангельский, *Обстоятельства места и времени*, „Дружба народов“ 1997, № 5, [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/druzhba/1997/5/arhan-pr.html> (20.07.2015).

¹³ С. Сиротин, *Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме*, „Урал“ 2012, № 3, [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/ural/2012/3/ss11-pr.html> (20.07.2015).

¹⁴ Ср.: „Это первое произведение в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте“, см.: В. Пелевин, *Чапаев и Пустота*, [в:] электронный ресурс: www.livelib.ru/character/195/editions (20.07.2015).

Поскольку историчность событий в романе условна, стоит сосредоточиться на идеях, связанных с феноменом истории. Ведущей исторической идеей в произведении *Чапаев и Пустота* является концепция алхимического брака Запада с Востоком. Впервые о нем в клинике для умалишенных заговорил профессор Тимур Тимурович в беседе с новым пациентом Петром Пустотой: „Тот путь, на который столько лет пытается встать Россия, вновь и вновь совершая свой несчастный алхимический брак с Западом“ (ЧиП, с. 58). Врач разъясняет пациенту, что у России иные, нежели у Европы, ориентиры развития. В этом отношении Россия представляет собой Восток и сравнивается с типом исторического развития Китая:

– Да, Китай. Если вы вспомните, то все их мировосприятие построено на том, что мир деградирует, двигаясь от некоего золотого века во тьму и безвременье. Для них абсолютный эталон остался в прошлом, и любые новшества являются злом в силу того, что уводят от этого эталона еще дальше (ЧиП, с. 56).

[...] для классической китайской ментальности любое движение вперед будет деградацией. А есть другой путь — тот, по которому всю свою историю идет Европа. [...] Здесь идеал мыслится не как оставшийся в прошлом, а как потенциально существующий в будущем. И это сразу же наполняет существование смыслом. [...] Это идея развития, прогресса, движения от менее совершенного к более совершенному (ЧиП, с. 58).

Сразу после этого заявления доктор предлагает Петру соучастие в групповой терапии. Концепция алхимического брака Запада с Востоком художественно разрабатывается Пелевиным в сцене гипнотического сеанса, но на этот раз не в форме философской беседы, а в конвенции гротеска. В рассказанном эпизоде-сновидении роль Запада, т. е. Америки, отводится Арнольду Шварценеггеру, а России — „просто Марии“ — воплощенной аниме русского парня, сознание которого наполнено реалиями мексиканских сериалов. Гротескный вариант алхимического брака сведен Пелевиным к метафорической картинке сношения, в котором Мария летит на фюзеляже самолета, управляемого Арнольдом-Женихом. Фаллическая символика дополняется чувствительной антенной и ракетой, с помощью которой Арнольд выстрелил Марию прямо в Останкинскую телебашню. В итоге этот алхимический брак закончился для России болезненным ударом и своего рода самоубийством, вызванным ее нелепыми мечтами и инфантильными надеждами.

Тема алхимического брака разворачивается также в сатирической манере в другом сне-визуализации, аллегорически представляющей брак Запада-России и Востока-Японии (хотя как образцы цивилизации следовало бы отнести Японию к Западу, а Россию к Востоку). Россия-

нин Сердюк отправился на интервью в московский офис фирмы „Тайра инкорпорейтед“, где провел почти сутки за деловым и культурным общением с японцем Кавабатой. Представитель японской фирмы устроил россиянину экзамен, испытывая меру его духовности. Сердюк доведен до полного восхищения и преданности японским древним традициям, в финале, по собственной воле, совершает сэппуку. Оказывается, что союз России с Японией также кончается для первой трагично и нелепо.

Концепция алхимического брака осуществляется также в развитии параллельных фабульных линий, повествующих о судьбах-видениях героев романа. Эту параллель вводит уже доктор Тимур Тимурович в рассматриваемой нами выше беседе с Петром. Высказываясь сначала по поводу европейского прогресса, доктор продолжает развивать свою мысль, переходя к вопросам личной психики:

То же самое происходит на уровне отдельной личности, даже если этот индивидуальный прогресс принимает такие мелкие формы, как, скажем, ремонт квартиры или смена одного автомобиля другим. Это дает возможность жить дальше. А вы не хотите платить за это „дальше“. [...] вы не готовы отдаться реальности. [...] Вы презираете те позы, которые время повелевает нам принять. И именно в этом причина вашей трагедии (ЧиП, с. 58).

Ставя диагноз Петру, доктор убежден, что у пациента проблема принятия и ассимиляции своей многозначной фамилии „Пустота“. Однако Петр старается преодолеть свою проблему и расшифровать этот концепт, выходя за рамки собственного сознания. Он пытается заключить алхимический брак с Анной — эталоном красоты, с одной стороны, и символом революции, с другой. Кстати, герой уверен, что все революции имеют женственную природу (ЧиП, с. 30). Пелевин не только относит образ революции к двум условным параллельным временным линиям — 1919 год и 1990-е гг., но и пытается концептуально решить эту историческую проблему, соотнося русскую „темную достоевщину“ (после убийства фон Эрнена герой осознал в себе Раскольникова) со светлым лозунгом Достоевщины — „красота спасет мир“. Как ни странно, эти две идеи внедрены в концептуальный портрет Анки-пулеметчицы. Петр Пустота пытается заключить алхимический брак с Анной, но это ему не удается. В финале своих стараний он приходит к выводу, что „красота недостижима“, при этом отдавая себе полный отчет в своей ущербности по отношению к идеалу.

Обсуждая примеры презентации концепта алхимического брака в романе, стоит отнести к его теоретическому обоснованию, которое в европейское коллективное сознание ввел упоминаемый на страницах романа Карл Густав Юнг. В *Психологии и алхимии* Юнг писал:

Проблема противоположностей, вызванных Тенью, играет большую — и, пожалуй, решающую — роль в алхимии, поскольку она ведет в крайней фазе работы к объединению противоположностей в архетипическую форму *hierogamos* или „химической свадьбы“. Здесь крайние противоположности, мужское и женское (как в китайском Ян и Инь) сливаются в единство, очищенное от всякого противостояния, и потому неразрушимое. Предпосылка для этого, конечно, состоит в том, что *artifex* не должен идентифицировать себя с образами своего деяния, но должен удерживать их в их объективном обезличенном состоянии. Пока алхимик работал в своей лаборатории, он был, говоря психологически, в благоприятном положении, потому что не имел удобного случая идентифицировать себя с появляющимися архетипами, так как они все немедленно проецировались в химические субстанции¹⁵.

Принцип алхимического брака основан на идее слияния противоположных начал и удержании образов в их объективном обезличенном состоянии. Именно эти два принципа вводит в поэтику романа Пелевин. Он не только пытается слить Запад с Востоком, женское с мужским, красоту с убийством, но, прежде всего, лишить их плоти и „обезличить“, доводя образы сознания до объективной Пустоты.

Этот прием Пелевин применяет также в философском дискурсе данного романа. Писатель опять пытается соединить Запад с Востоком, точно так, как сделал это в своей работе Юнг. Решительный вопрос о реальности человеческого существования ставится, между прочим, с одной стороны, со ссылкой на философию Декарта, а с другой, на философию таоизма Чжуан-цзы. Известное *Cogito ergo sum* Декарта прозвучало в саморефлексии героя, заключающего, что активность мысли — это единственное доказательство человеческого существования:

[...] мое сознание полностью освободилось от мыслей, продолжало реагировать на внешние раздражители, никак не рефлексируя по их поводу. А когда я заметил полное отсутствие мыслей в своей голове, это само по себе уже было мыслью о том, что мыслей нет. Выходило, что подлинное отсутствие мыслей невозможно, потому что никак не может быть зафиксировано. Или можно было сказать, что оно равнозначно небытию (ЧиП, с. 150).

Однако проблему, поставленную Декартом — как человек может быть уверенным в том, что он не спит, а явствует¹⁶, — Пелевин решает, отказываясь от субъективизма Декарта, и использует с этой целью из-

¹⁵ К.Г. Юнг, *Психология и алхимия*, [в:] электронный ресурс: <http://dobrochan.ru/src/pdf/1111/JungPA.pdf> (24.07.2015).

¹⁶ — Даже и непонятно, что правда на самом деле. Коляска, в которой мы сейчас едем, или тот кафельный ад, где по ночам меня мучают бесы в белых халатах. \ — Что правда на самом деле? — переспросил Чапаев и опять закрыл глаза. — На этот вопрос ты вряд ли найдешь ответ. Потому что на самом деле никакого „самого дела“ нет (ЧиП, с. 298).

вестную притчу китайского философа Чжуан-цзы¹⁷ о бабочке. Чжуан-цзы рассказывал, что однажды он видел сон. В нем он воспринимал себя бабочкой, летающей между трав. После пробуждения он задумывался и не мог найти ответ на волнующее его сомнение: он человек, который видел сон, или бабочка, которой приснилось, что она Чжуан-цзы. Этот сон-параболу приводит Петьке его духовный мастер Чапаев:

[...] знавал я одного китайского коммуниста по имени Цзе Чжуан. Ему часто снился один сон – что он красная бабочка, летающая среди травы. И когда он просыпался, он не мог взять в толк, то ли это бабочке приснилось, что она занимается революционной работой, то ли это подпольщик видел сон, в котором он порхал среди цветов. Так вот, когда этого Цзе Чжуана арестовали в Монголии за саботаж, он на допросе так и сказал, что на самом деле он бабочка, которой все это снится. Поскольку допрашивал его сам барон Юнгерн, а он человек с большим пониманием, следующий вопрос был о том, почему эта бабочка за коммунистов. А он сказал, что она вовсе не за коммунистов. Тогда его спросили, почему в таком случае бабочка занимается подрывной деятельностью. А он ответил, что все, чем занимаются люди, настолько безобразно, что нет никакой разницы, на чьей ты стороне (ЧиП, с. 298–299).

Пелевин пародирует китайского мудреца, вставляя его в контекст коммунистической диалектики. Добавочно заостряет исход данного дискурса, делая его палачом европейского мастера по толкованию сновидений Карла Густава Юнга, выступающего в лице барона Юнгерна. Пелевин таким путем доказывает абсурдность дилеммы Чжуан-цзы, поскольку бабочка существенным образом отличается от человека – у нее другая „экзистенциальная перспектива” и она никак не могла бы заниматься теми делами, которыми занимается человек (тем более взирая на нелепость этих дел). Философская дигрессия Пелевина интересна и тем, что писатель доказал противоречивость рассуждений китайского мудреца, который, впрочем, сам утверждал, что:

С маленьким знанием не уразуметь большое знание. Короткий век не сравнится с долгим веком. Ну, а мы-то сами как знаем про это? Мушкы-одно-

¹⁷ Китайский философ Чжуан-цзы – мастер Тао – жил около 350–275 до нашей эры. Родился в Менг; женат, предание гласит, что когда король Вен из Чу, узнав о его талантах, пригласил его к себе во дворец, тот рассмеялся и сказал, что он предпочитает жить как свинья, кувыркаясь в грязи, чем стать скотом, предназначенным для резни. В конце жизни стал отшельником. Чжуан-цзы – учитель мудрости – учил, как жить. Его учение помещается в 3 книгах, которые состоят из 33 глав (форма притч и анекдотов). Учение Чжуан-цзы повлияло не только на развитие таоизма, но также конфуцианства, буддизма и китайской литературы. (J. B r o s s e, *Czuan-ang-ty, [в:] его же, Wielcy mistrzowie duchowi świata. Leksykon*, пер. I. Kania, Łódź 1995, с. 44).

дневки не ведают про смену дня и ночи. Цикада, живущая одно лето, не знает, что такое смена времен года¹⁸.

Следовательно, ответ на вопрос, может ли человек удостовериться о том, спит ли он или явствует, остается открытым. Ведь Петька сон о себе и Чапаеве принимает за действительность, но делает это намеренно, сознавая волевой характер этого акта. Он сознательно не признает ни кошмарной действительности клиники для умалишенных, ни российской истории и культуры. Между прочим, проблема свободы поставлена в романе не менее остро, чем проблема сознания.

Невозможность осуществления алхимического брака можно объяснить отсутствием у оппозиционных сторон чувства сострадания, любви, что в свою очередь делает невозможным познание и обретение идеала полноты. Для того чтобы такой союз мог осуществиться в философском плане, необходимо соответствие формы и содержания¹⁹. В романе постулируется отсутствие формы, что в свою очередь аннулирует актуальность содержания. Соответственно, алхимический брак в дуалистическом мире, лишенном формы, невозможен.

В мире, описанном Пелевиным, царит подсознание, примитивные инстинкты, жажда наживы, и все персонажи действуют по инерции, поддаваясь текущим обстоятельствам. Поскольку, согласно логике романа, единственная реальность — это пространство мысли, парадоксально реальны в романе лишь Петька, Чапаев и Анна. Таким образом, современная Россия в описаниях Пелевина нереальна. Эти выводы приводят к концепту реальности Платона, и в свете платоновской философии становится ясным, почему бюст Аристотеля был разбит на голове Петьки.

В поэтике романа *Чапаев и Пустота*, несомненно, используется техника отражения различных точек зрения. Она и создает обманчивое впечатление солипсизма. Но стоит вспомнить хотя бы рассказы пациентов Тимура Тимуровича во время групповых сеансов, чтобы убедиться в том, что эти эксперименты доказывали интерсубъективность ощущений и сознаний. Ведь то, что переживал, например, Мария, па-

¹⁸ Ч ж у а н - ц з ы, *Внутренний раздел*, пер. В.В. Малявина, [в:] электронный ресурс: http://www.lib.ru/POECHIN/ch_tzh.txt (24.07.2015). Кстати, Чжуан-цзы сказал также:

Я называю чутким не того, кто слышит других, а лишь того, кто слышит самого себя. Я называю зорким не того, кто видит других, а лишь того, кто видит самого себя (там же).

Симптоматично при этом, что герой Пелевина заявляет о себе как о человеке „отдающем себе отчет в собственных психических процессах“.

¹⁹ C.G. Jung, M.-L. Franz, *Mysterium Coniunctions. Studium dzielenia i łączenia przeciwieństw psychicznych w alchemii*, przeł. R. Reszke, Warszawa 2010, s. 560.

раллельно с ним переживал и Петька, и другие пациенты, принимающие участие в этом эксперименте. Более того, эта ситуация относилась и к Володину, и к Сердюку. Соответственно, Пелевин указывает на основу человеческого взаимопонимания и познавательной эволюции. Чапаев в свою очередь — это продукт воображения и Фурманова, и Петьки, и Пелевина. Правда, каждый из них воспринимает его со своей точки зрения, но суть Чапаева от этого не меняется — он герой гражданской войны и идеал красного комиссара.

Дело даже не в том, что описываемые истории представлены с позиций очередных героев, или в том, что точки зрения учитываются в логике философского дискурса, а в том, что герой-рассказчик и автор (т. е. точка зрения, которую автор принимает при организации повествования)²⁰ являются носителями той же точки зрения, что имеет принципиальное значение для идеологической конструкции романа. Это особенно заметно во фрагментах, представляющих внутренний монолог героя-рассказчика и содержащих философские рефлексии по поводу истории или искусства. Например, выступление балаганного чревовещателя, умеющего „говорить слова русского языка своей жопой”, вызвало у Петьки следующие мысли:

Такова, с горечью думал я, окажется судьба всех искусств в том тупиковом тоннеле, куда нас тащит локомотив истории. Если даже балаганному чревовещателю приходится прибегать к таким трюкам, чтобы поддержать интерес к себе, то что же ждет поэзию? Ей совсем не останется места в новом мире — или, точнее, место будет, но стихи станут интересны только в том случае, если будет известно и документально заверено, что у их автора два х...я или что он, на худой конец, способен прочесть их жопой. Почему, думал я, почему любой социальный катаклизм в этом мире ведет к тому, что наверх всплывает это темное быдло и заставляет всех остальных жить по своим подлым и законспирированным законам? (ЧиП, с. 400).

Отмеченная рефлексия отличается своим обобщающим характером и объединяет в этом рефлексивном акте героя-рассказчика, автора и читателя. Этот синтез мысли подчеркивается в данном случае добавочно словом „нас”. Следовательно, принимая за аксиому единомыслие читателя и героя (автора), Пелевин выстраивает своего рода идеологический бордюр — по одну сторону находятся единомышленники героя и автора текста, а по другую — те, которые на стороне „темного быдла”.

Неоспоримой доминантой поэтики данного романа является ониризм. Сон играет важную роль в идеологической и психологической зарисовке действующих лиц, а также косвенно позволяет автору изло-

²⁰ См.: Б. Успенский, *Поэтика композиции*, Санкт-Петербург 2000, с. 27.

жить свои взгляды. Сон обуславливает сюжет, хронотоп и предстает средством раскрытия образа героя. Ониризм позволил Пелевину актуализировать компоненты „авто-я“ и высказать в художественной форме свои философские взгляды. Более того, в силу того, что дефиниция ониризма²¹, понимаемого как сновидение наяву, предусматривает его корреспонденцию как к здоровому человеку, так и к душевнобольному, сон в пелевинском романе может толковаться двояко — как некое откровение и как бред-галлюцинация. Примером первого случая можно считать общение Петьки с бароном Юнгерном в потустороннем мире. Второй случай осуществляется в виде шизоидной дисфункции личности Петьки, испытывающего трудности с адаптацией к окружающей реальности, вследствие чего герой сознает себя комиссаром красной армии во время гражданской войны.

Пелевин использует технику сна согласно теории Юнга, который утверждал, что сны относятся к живой реальности, устанавливая диалог между сознательным и бессознательным²². Юнг подчеркивал, что сон, подобно мифу и сказке (истории, литературе и культуре), полон символов и мифологем. Тем не менее именно сон представляет собой ту сферу жизни человека, которая делает возможным его духовное развитие и установление связи с высшим бытием. Проблема в том, что главный герой сон-галлюцинацию, в котором он ведет философские беседы с Чапаевым, считает реальностью, а действительность клиники для душевнобольных настойчиво вытесняет из своего сознания. В итоге только во сне Петька проходит духовную инициацию. Естественно, Пелевин доводит здесь до абсурда теорию Юнга, таким же образом, как раньше это сделал с притчей Чжуан-цзы. Миф о Чапаеве стал личным мифом Петьки Пустоты, средством и содержанием развития его сознания, стремящегося к самосознанию. Парадоксально, что неофит Петька в результате учения Чапаева не становится более счастливым и мудрым, только деградирует, возвращаясь к точке отсчета. Но это не идейно-композиционное осуществление мифологемы вечного возвращения (герой возвращается в ту же пространственную точку, но его духовный статус повысился), а, как это определяет сам Пелевин, — миф „Вечного Невозвращения“, т. е. противоположность настоящей мифологемы. Пелевинский герой не хочет возвращаться в безумие российской реальности.

Следующим важным поэтическим приемом является „ассоциативный принцип“ построения сюжета. *Déjà vu* служит связкой фабульных

²¹ См.: *Ониризм (Oneirism)*, [в:] электронный ресурс: http://rurpedia.org/med/page/oneirizm_Oneirism.4655 (09.01.2015).

²² С.А. К р а в ч е н к о, *Теории сновидений*, [в:] электронный ресурс: http://proroki2005.narod.ru/teorii_snov.htm (09.01.2013).

линий и печатью раздвоенного сознания главного героя. Фуга фа минор Моцарта, орден Октябрьской Звезды и даже автор романа *Чапаев* – Фурманов, выступающий в качестве комиссара полка ткачей, играют роль сквозных лейтмотивов, создающих композиционную сеть. Данный принцип, несомненно, связан с феноменом синхроничности, исследованным Юнгом. Корнев, например, отметил, что информационный мир у Пелевина построен не с учетом обычных причинно-следственных связей, а со ссылкой на синхронический принцип, базирующийся на параллельности событий (не их последовательности) и закономерности значимых случайностей²³. Естественно, „ассоциативный принцип” в романе Пелевина поддиктован логикой сна и подсознания (бессознательного, как личного, так и коллективного).

Центральный концепт пустоты противопоставляется в романе концепту мистической полноты. В кульминационной сцене откровения Петьки Анка с помощью глиняного пулемета, внутри которого был помещен левый мизинец будды Анагамы, лишила субстанциональности окружающий мир. Образовавшаяся вокруг героев пустота оказалась также мнимой, как и любая форма во сне Петьки и, одновременно, теории Чапаева. Стоит героям закрыть глаза, чтобы активизировалось их „внутреннее зрение” и каждый из них увидел „Урал”, т. е. „условную реку абсолютной любви” (ЧиП, с. 437–443). Описание реки и ощущений героя при погружении в нее соответствует характеристике мистического опыта („радужное сияние”, „настоящий дом”, „бесконечность” и т. д.). В итоге Петр Пустота, ученик мудреца Чапаева, обрел полноту своей личности, растворившись в божественной полноте (т. е. юнгианской Самости).

Таким образом, преодоление дуализма в мире и осуществление идеала как мистической полноты, так и алхимического брака возможно лишь путем упразднения границы, разделяющей материю и дух. Ссылаясь на мистические параллели, примененные Пелевиным, человек может совершить этот акт, погружаясь в собственное духовное „я”, т. е. в идейное измерение бытия. Если применить эту методику созерцания мира, то „Урал” как горный хребет, разделяющий Европу и Азию, также исчезнет, образуя единое пространство.

За актом обретения полноты личности Петром в его сокровенном сне о Чапаеве и Анне последовало признание доктором Тимуром Тимуровичем факта выздоровления пациента Пустоты. В финале романа Пелевин опять активизирует миф русского интеллигента-сумасшедшего, который не в состоянии принять русскую пошлую действительность. Оказывается, что настоящая свобода возможна в России лишь

²³ С. Корнев, указ. соч.

в сумасшедшем доме. Ведь только там можно погрузиться в единственный мир свободы — свободу мысли.

Подытоживая, следует отметить, что хотя действие романа разворачивается в пространстве сознания, полусознания и подсознания, то описания внешнего мира, т. е. России, соответствуют эмпирическим данным как в историческом, так и философском плане. Исторические и философские идеи преобразованы согласно мировоззрению автора и правилам авторского конструирования изобразительного мира в литературном произведении. Избранной формой художественного высказывания Пелевин показывает, что его восприятие России и культуры в широком смысле субъективно. Логика высказанного довольно убедительна, тем более что итоги отличаются объективным характером. Используя хорошие чеховские традиции игры с читателем, Пелевин не навязывает свою точку зрения, а заставляет читателя, знакомого с европейской и русской культурой, делать собственные выводы. Это главное качество и задача пелевинской пародии и сатиры, образы которых пронизаны безысходным трагизмом.

Библиография

- Архангельский А., *Обстоятельства места и времени*, „Дружба народов“ 1997, № 5, [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/druzhba/1997/5/arhanpr.html> (20.07.2015).
- Россе J., *Czuang-tsy*, [в:] его же, *Wielcy mistrzowie duchowi świata. Leksykon*, przeł. I. Kania, Łódź 1995.
- Влодихин Д., Виктор Пелевин. S.N.U.F.F., „Знамя“ 2012, № 9, [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/znamia/2012/9/v25-pr.html> (20.07.2015).
- Закуренко А., *Искомая пустота*, „Литературное обозрение“ 1998, № 3, с. 93–96.
- Jung C.G., Franz M.-L., *Mysterium Coniunctions. Studium dzielenia i łączenia przeciwieństw psychicznych w alchemii*, przeł. R. Reszke, Warszawa 2010.
- Юнг К.Г., *Психология и алхимия*, [в:] электронный ресурс: <http://dobrochan.ru/src/pdf/1111/JungPA.pdf> (24.07.2015).
- Корнев С., *Столкновения пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим?*, „Новое литературное обозрение“ 1997, № 28, с. 244–259.
- Кравченко С.А., *Теории сновидений*, [в:] электронный ресурс: http://proroki2005.narod.ru/teorii_snov.htm (09.01.2013).
- Ониризм (Oneirism)*, [в:] электронный ресурс: http://rupedia.org/med/page/onirizm_Oneirism.4655 (09.01.2015).
- Пелевин В., *Чапаяв и Пустота*, [в:] электронный ресурс: www.livlib.ru/character/195/editions (20.07.2015).
- Пелевин В., *Чапаяв и Пустота: роман*, Москва 2007.

- Пронина Е., *Фрактальная логика Виктора Пелевина*, „Вопросы литературы” 2003, № 4, [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/voplit/2003/4/pron-pr.html> (20.07.2015).
- Репина М.В., *Творчество В. Пелевина 90-х годов XX века в контексте русского литературного постмодернизма*, Москва 2004, [в:] электронный ресурс: <http://cheloveknauka.com/tvorchestvo-v-pelevina-90-h-godov-xx-veka-v-kontekste-russkogo-literaturnogo-postmodernizma> (20.07.2015).
- Сиротин С., *Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме*, „Урал” 2012, № 3, [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/ural/2012/3/ss11-pr.html> (20.07.2015).
- Соломина А., *Свобода: надтекст вместо подтекста*, „Литературное обозрение” 1998, № 3, с. 92–93.
- Тимофеева О., *Если б не было ничто*, „НЛО” 2014, № 6 (130), [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/nlo/2014/130/8t-pr.html> (20.07.2015).
- Успенский Б., *Поэтика композиции*, Санкт-Петербург 2000.
- Фокина С.А., *Эстетическая парадигма литературы русского постмодернизма*, Одесса 2013, [в:] электронный ресурс: <http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/metod/filol/fokina2.pdf> (20.07.2015).
- Чжуан-цзы, *Внутренний раздел*, пер. В.В. Малявина, [в:] электронный ресурс: http://www.lib.ru/POECHIN/ch_tzh.txt (24.07.2015).
- Щербинина Ю., *Who is mr. Пелевин?*, „Континент” 2011, № 150, [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/continent/2011/150/s39-pr.html> (20.07.2015).

ŚWIĘTO NOCY WALPURGI JAKO FENOMEN
KULTUROWO-LITERACKI
(NA PODSTAWIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ
TERAGEDII *FAUST* J.W. GOETHEGO
I POWIEŚCI *MISTRZ I MAŁGORZATA* M. BUŁHAKOWA)

THE FEAST OF WALPURGIS NIGHT
AS A CULTURAL AND LITERARY PHENOMENON.
(ON THE BASIS OF A COMPARATIVE APPROACH TO THE TRAGEDY
FAUST BY J.W. GOETHE
AND THE NOVEL *THE MASTER AND MARGARITA* BY M.A. BULGAKOV)

ANNA CHUDZIŃSKA-PARKOSADZE

ABSTRACT. The article is devoted to the phenomenon of Walpurgis Night in European culture and literature. The author focuses on the contradictions in the notion and images of Walpurgis Night, which emerged as a result of centuries of Catholic education in Europe. As a matter of fact, the feast named after Saint Walpurga is the pagan feast of Beltane, the scared night of love, vigor and awakening new life. Such a concept of the event is reflected in two masterpieces of world literature – Johann Wolfgang von Goethe's tragedy *Faust* and the novel *The Master and Margarita* by Mikhail Bulgakov.

Anna Chudzińska-Parkosadze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Poznań – Polska, parkosadze@interia.pl

Mitologiczny obraz Nocy Walpurgi w kulturze europejskiej składa się z takich centralnych mitologemów jak postać wiedźmy, święto pogańskiego sabatu i obraz szatana. Noc Walpurgi powszechnie znana jest jako główny doroczny sabat czarownic, zlatujących się na Łysą Górę, by oddawać cześć szatanowi. W konsekwencji konotacje związane z tym wydarzeniem są skrajnie negatywne i kojarzone z pojęciem zła oraz grzechu. Wyrazem takiego rozumienia omawianego przez nas święta jest chociażby fragment z książki *Czarownice, wróżbici, szamani. Podróż przez świat mitów i magii* Dominica Alexandra:

Ludzie, którzy wierzyli w rzeczywistość sabatu czarownic, wyobrażali sobie nocne zgromadzenia, których uczestnicy dawali upust najdzikszym i najniższym

żądcom. Czarownice płonęły niepohamowanym pożądaniem, dlatego kopulowały z diabłami, które często przybierały postać zwierząt¹.

Takie wyobrażenia o czarownicach i sabatach zrodziło się z wielowiekowej działalności w Europie inkwizycji, która uprawomocniła sadyzm i mord na kobietach. To właśnie inkwizycja² edukowała europejskich chrześcijan, jak rozpoznawać czarownice, kim one są i jakich haniebnych praktyk się dopuszczają. Podręcznikiem inkwizytorów stał się słynny *Młot na czarownice*, w którym czytamy między innymi:

(n)ie wiemy tego, co robiły dawne czarownice (te żyjące przed rokiem 1400). Co do jednego jesteśmy jednak zgodni. Wiemy, że od zawsze szkodziły one ludziom, zwierzętom i urodzajom. Nie mamy powodu wątpić również w istnienie latawców i latawic. [...] Współczesne czarownice same ulegają szatanowi. Nie wstydzą się tego wcale, bo często opowiadają o tym na procesach. Trudno byłoby nam zliczyć, ile takich bezwstydnic skazaliśmy na stos³.

Taka powszechna edukacja sprawiła, że wizerunek kobiety „wiedzącej”, często wykształconej, lub po prostu znachorki, został zdemonizowany w kulturze europejskiej. Nie chodzi tu jednak jedynie o niechęć kleru do kobiet i towarzyszącą jej jednocześnie chęć, tłumioną przez celibat, ale również walkę z religiami pogańskimi oraz ich rytuałami. Profanując pogańskie *sacrum*, chrześcijański kler sprofanował również szacunek do natury i przyrody. Mimo, że Europa XXI wieku jest cywilizacją zlaicyzowaną, to do dzisiaj w kulturze europejskiej dominuje jednostronne postrzeganie wizerunku wiedźmy, sabatów czy szatana, jako archetypu kolektywnego cienia (K.G. Jung), który ciągle okazuje się zbyt trudny do kolektywnego zasymlowania. Pojęcia te pełne są wewnętrznych paradoksów, które diagnozują powszechny europejski stan wiedzy na ten temat.

Zastanawiając się nad tym, czym jest fenomen święta Nocy Walpurgi, warto wykorzystać w tym celu podejście fenomenologiczne, postulujące redukcjonizm w celu poznania istoty danego zjawiska. Wydaje się bowiem, że jest to jedyny sposób, aby przesady związane z tym fenomenem nie zaburzyły jego prawdziwego obrazu. Ponadto fenomen ten związany jest z mitologicznym postrzeganiem świata, co sugeruje traktowanie Nocy Wal-

¹ D. Alexander, *Czarownice, wróżbici, szamani. Podróż przez świat mitów i magii*, tł. z ang. J. Korpanty, Warszawa 2008, s. 199.

² Inkwizycja trwała od końca XV wieku do początków XIX wieku. W wyniku jej działalności zamęczono i zamordowano ponad setki tysięcy kobiet. O „polowaniach na czarownice” czytaj: J. Prokop, *Demony, czarownice, czary*, [w:] tegoż, *Matrix, czyli okultystyczny bróg (ale nie plewiony)*, Białystok 2007, s. 11-14; tegoż, *Dusza ludzka – oś świata*, Białystok 2007, s. 135.

³ J. Sprenger, H. Kramer, *Młot na czarownice. Postępek zwierzchowny w czarach, a także sposób uchronienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający*, uwspółcześnienie pisma: J. Paprocka, tł. S. Ząbkowicz, Wrocław 2008, s. 65.

purgi jako określonego mitologemu, którego charakter i pochodzenie powinny być ustalone w początkowej fazie naszych rozważań. W niniejszym artykule proponujemy również komparatystyczne spojrzenie na Noc Walpurgi, co umieści naszą analizę w szerszym kontekście kulturowym. W tym celu sięgniemy do obrazów Nocy Walpurgi przedstawionej w dwóch arcydziełach literatury światowej – tragedii *Faust* Johanna W. Goethego i powieści *Mistrz i Małgorzata* Michaiła Bułhakowa. Analiza porównawcza obu tekstów literackich opierać się będzie również o metodologię hermeneutyczną oraz niektóre aspekty psychologii głębi Karla Gustawa Junga.

Skupiając się na święcie Nocy Walpurgi, kumulującej w sobie wiodące mitologem religii pogańskich, należy zwrócić uwagę na pierwszy paradoks, skrywający się już w samej nazwie. Z jednej strony jest to święto pogańskie obchodzone w noc z 30 kwietnia na 1 maja, nazywane świętem Beltane. Z drugiej strony nazywanie tej „demonicznej” nocy imieniem świętej Walpurgi wydaje się co najmniej niestosowne w stosunku do samej świętej. Walpurga była „wątlą angielską zakonnicą”, urodzoną w Devonshire w 710 roku. Wyruszyła ona z Anglii do Niemiec, aby pomóc swojemu wujowi świętemu Bonifacemu, „apostołowi Niemców”, w nawracaniu pogan na chrześcijaństwo. Została mianowana przełożoną klasztoru w Heidenheim i była główną pogromczynią czarownic. Legenda głosi, iż pewnej nocy Walpurga została przeniesiona „przez diabelskie moce” na główny sabat w Niemczech, na szczycie Brocken w górach Harcu, i tam poznała z bliska te praktyki, które sama zwalczała. Według legendy Walpurga podczas tej nocy nawracała czarownice i kozła-szatana⁴. Święta Walpurga zmarła w 778 wieku, a pochowana została 1 maja 871 roku w Eichstätt w kościele Świętego Krzyża. Stała się ona w średniowieczu patronką chroniącą wiernych przed czarami, burzą i wścieklizną. Wierzono, że wystarczy wezwać jej imię, aby odpędzić złe duchy⁵.

Nieporozumienie związane z nazwą omawianego święta wyniknęło także z nałożenia się na siebie dwóch świąt – pogańskiego święta, uważanego w średniowieczu za „noc czarownic”, i ludycznego święta „nocy Walpurgi”. W XII i XIII wieku, w noc z 30 kwietnia na 1 maja, urządzano zawody, których zwycięzca otrzymywał prawo poślubienia panny swego serca. Symbolizował on triumfującego nad pieklami i ciemnościami boga światła. Podczas obchodów nocy świętej Walpurgi odbywały się tańce, odpusty, procesje, rozpalanie ognisk, głośnie trzaskanie z biczów, bicie w dzwony, obchodzenie domów z pochodniami. Światło oraz dźwięk miały odpędzać czarownice⁶. W danym kontekście na uwagę zasługują przynajmniej trzy

⁴ J. C a l l e j o, *Historia czarów i czarownic*, tł. M. Adamczyk, Warszawa 2011, s. 85.

⁵ Ibidem, s. 87.

⁶ Ibidem. O tych rytuałach i zabawach pisał także J.G. Frazer w książce *Złota Gałąź* (patrz: J.G. F r a z e r, *Złota Gałąź*, tł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1965, s. 437).

okoliczności związane z symboliką tego święta. Po pierwsze, charakter karnawału przypominającego świeckie i chrześcijańskie obchody związane z początkiem nowego cyklu (wschodniosłowiańska Koljada [Boże Narodzenie], święto Sylwestra i Nowego Roku, karnawał przed Wielkim Postem itd.). Po drugie, miłosny aspekt święta Walpurgi. Po trzecie, odniesienie wizerunku i funkcji Walpurgi do obrazu Bogini Wielkiej Matki⁷.

Co ciekawe, te trzy aspekty odnoszą się także do sensu i znaczenia pogańskiego święta Beltane, które jest rytuałem związanym z corocznym cyklem płodności, miłości i nowego początku. Beltane to sabat kultuwujący i czczący matkę bogów, czyli Boginię Wielką Matkę⁸. Problem polega jednak na tym, że bogini ta ma dwa oblicza – ciemne i jasne. Jej jasne oblicze związane jest urodzajem, błogosławieństwem, opieką nad dziećmi i matkami itd. Natomiast jej ciemne oblicze odnosi się do magii, tj. wiedzy tajemnej. Odzwierciedleniem tego kultu są wizerunki Czarnych Madonn (także zaadoptowanych częściowo przez chrześcijaństwo), a ich cudotwórcza moc jest ciągle aktualna.

W walce Kościoła z pogańskim kultem naczelną zasadą było unicestwienie pamięci o pogańskich bóstwach, a więc i rytuałach związanych z ich czczeniem. Dominic Alexander twierdzi, że czarownice nie miały swojego kultu, i wprost neguje ich powiązania z kultem Bogini Wielkiej Matki. Swoje konstatacje opiera na zeznaniach składanych przez kobiety podejrzane o czary, które podczas przesłuchań nie potrafiły powiedzieć nic konkretnego o sabatach, ich datach czy obrzędach⁹. Oczywiście te same kobiety opowiadały o swoich lotach na miotłach i spółkowaniu z szatanem podczas sabatu. Historie te były zazwyczaj instrukcjami, które otrzymywały one od inkwizytorów podczas sadystycznych przesłuchań, odbywających się jeszcze przed oficjalnym sądem. Koherentność wersji podejrzanych inkwizytorzy uzyskiwali dzięki obietnicom uniewinnienia, lub przez szantaż.

Wyparcie z pamięci kolektywnej konkretnych rytuałów i świąt obchodzonych przez czarownice było celem polityki inkwizytorów odzwierciedlonej w słynnym *Młocie na czarownice*. Por.:

⁷ O tym aspekcie wspomina Jesus Callejo (J. C a l l e j o, op. cit., s. 85). Można w tym wypadku przypomnieć, że pogański obraz Bogini Wielkiej Matki został odziedziczony w religii chrześcijańskiej poprzez Matkę Boską (z wyjątkiem jej „niepokalanego poczęcia”).

⁸ Patrz: J. P r o k o p i u k, *Powrót Bogini*, [w:] tegoż, *Jestem heretykiem*, Białystok 2004, s. 82–98.

⁹ D. A l e x a n d e r, op. cit., s. 146–147. Autor krytykuje twierdzenia Margaret Murray (1863–1963), kojarzące czarownice z kultem Bogini Wielkiej Matki (M. Murray, hasło „witchcraft” – ‘czary’, w wydaniu *Encyclopaedia Britannica* z roku 1929; w wydaniu z roku 1969 hasło opracowane przez Murray zostało zastąpione przez bardziej sceptyczny punkt widzenia). Murray przedstawiła swoją teorię w pracach *The Witch Cult in Western Europe* (1921) oraz *The God of the Witches* (1933).

[...] aspekty czasu przestrzegane przez szatana: czas przychylności gwiazd. Szczególny czas na zaspokajanie potrzeb cielesnych czarownic, uroczyste święta: Adwent, Święto Narodzenia Pańskiego, Wielkanoc, Zielone Świątki¹⁰.

Twierdzili oni, że szatan współżyje z czarownicami w dni świąt kościelnych, by pognębić jeszcze bardziej ich dusze i zebrać lepsze żniwo. Według inkwizytorów świętowanie skłania ludzi do myślenia, iż „grzechy wtedy popełnione nie są uważane za ciężkie przewinienia”¹¹. Przewrotny charakter tłumaczenia skłonności czarownic do popełniania grzechu jest wiodącą retoryką kleru dotyczącą kobiet w ogóle. Wystarczy przeanalizować ten tekst przez pryzmat logiki i stylu wypowiedzi.

Opisy sabatu obchodzonego w nocy z 30 kwietnia na 1 maja przedstawiają szatana przyjmującego postać kozła, z ogromnymi zakręconymi rogami, otoczonego aureolą światła. Ponadto pejzaż sabatu dopełniają tysiące błędnych ogników pokrywających równinę (jeden z nich siada między rogami kozła upodabniając się do gwiazdy) i zlatujące się ze wszystkich stron wiedźmy i demony. Gospodarzem uczty jest kozioł-szatan. Baran na grzbiecie przynosi dziewczę, która ma się stać królową sabatu, przeznaczoną na ofiarę. Gdy szatan ją wita, rozpoczyna się „czarna msza”. W centralnym miejscu znajduje się ołtarz, na którym złożona zostanie w ofierze królowa sabatu. Jej gołe ciało jest nacierane maścią. Wszyscy tańczą i bawią się aż do świtu. Często wspomina się także o całowaniu przez wiedźmy tylnej części ciała szatana¹², ale ten wątek proponujemy odnieść do fantazji rycerzy inkwizycji (ten „nieczysty pocałunek” imputowano także katarom).

Każda z części omawianego sabatu wymaga oddzielnego komentarza. Jeżeli kolektywny obraz wiedźm odpowiada nie tylko aspektowi żeńskiego pierwiastka, ale jest także wyrazem aktywności Bogini Wielkiej Matki, to kozioł jest manifestacją elementu męskiego. Jego obraz nawiązuje do dionizyjskich bachanaliów, gdzie obficie leje się wino. Także w tym wypadku mamy do czynienia z symboliką „rogów” obfitości, płodnością i symbolicznym wcieleniem męskich sił seksualnych¹³. Symbolika świetlików (robacz-

¹⁰ J. Sprenger, H. Kramer, op. cit., s. 67.

¹¹ Patrz: Ibidem, s. 68.

¹² Patrz: J. Callejo, op. cit., s. 88-89.

¹³ M. Oesterreicher-Mollo, *Leksykon symboli*, pod red. L. Robakiewicza, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2009, s. 131. Dionizos był zresztą uważany za bóstwo niższego rzędu (czczony na początku głównie wśród ludu), ale jego kult ma korzenie wcześniejsze niż cywilizacja grecka (sięga II tysiąclecia przed naszą erą); Dionizos był bogiem płodności, roślinności i patronem misteriów „dionizyjskich” – patrz: *Мифологический словарь*, ред. Г.А. Стратановский, Ленинград 1961, s. 86-87. Wydaje się, że w obliczu naszej ograniczonej wiedzy o początkach kultów pogańskich można próbować szukać analogii między kultami o podobnym charakterze. Wtedy symboliczna postać króla-kozła może w swym sakralnym charakterze odpowiadać starożytnemu kultowi Dionizosa, który w kulturach europejskich nazywany jest także Panem. Jak pisze M. Elia-

ków świętojańskich), które świecą w ciemności własnym światłem, odsyła nas do idei dusz żyjących nadal po śmierci ciała¹⁴. Związek króla-kozła i królowej przypieczętowany pocałunkiem odczytać można jako akt miłości, wtajemniczenia, który daje królowej siłę i moc¹⁵. Przy czym wydaje się, że symbolika ofiary dotyczy nie tylko królowej, ale w pewnym sensie i króla. Jeżeli poprzez ofiarę królowej więdźmy uzyskują oczyszczenie i odnowienie swojej mocy, to król poprzez symboliczny pocałunek (czy może też akt seksualny) oddaje tę część swojej mocy, która poprzez królową przechodzi na więdźmy. Akt ofiarnego oddania części siebie odpowiadałby zasadzie boskiej ofiary tak powszechnie występującej w różnych religiach.

Nieporozumienie związane z nazwą tego święta i jego charakterem wynika z przesądów dotyczących dawnych kultur pogańskich. Noc Walpurgi jest pogańskim świętem boga Beltane, chociaż w europejskich tradycjach pogańskich odpowiadają mu różne nazwy¹⁶, niemniej u wszystkich narodów święto to ma taki sam sens. Oznacza ono zwycięstwo wiosny i życia, jest najbardziej „seksualnym” świętem pogańskim w roku, oznaczającym rozbudzenie płodności ziemi. Jest to moment, kiedy wszystko w przyrodzie jest gotowe do tego, aby rozpocząć swój wzrost (to czas posiewów, wicia gniazd i rycia nor). Obchody Beltane są wyrazem witalności życia, które wychodzi poza jakiegokolwiek ograniczenia, manifestacją wolności i namiętności przekraczającej ograniczenia rozumu, kiedy ciało przewycięża ducha, a duch uświęca ciało. W tym misterium płodności i miłości obie te siły uzupełniają się wzajemnie, aby zrodzić nową moc i nowe życie¹⁷.

Jak już wspomnieliśmy wyżej, w niniejszym artykule proponujemy przywołanie fragmentów dwóch arcydzieł literatury europejskiej, które wślawiły właśnie to święto, tj. tragedii *Faust* Johanna W. Goethego i powieści *Mistrz i Małgorzata* Michaiła Bułhakowa. Eliphaz Levi uważa *Fausta* za „podstawowy podręcznik dziejów magii”. Levi twierdzi, że Goethe już w młodości ćwiczył magię ceremonialną i jako dorosły człowiek był wtajemniczony

de, Wielkie Dionizje obchodzono w starożytnej Grecji w miesiącach marzec-kwiecień. Podczas świąt dionizyjskich (około czterech w ciągu roku) wybierano dla Dionizosa „Królową”, tzn. żonę archonta-króla. Eliade podkreśla przy tym, że „(w) żadnym innym greckim kulcie bóg nie łączył się z królową” (patrz: M. Eliade, *Historia wierzeń i idei religijnych*, t. 1, tł. S. Tokarski, Warszawa 2007, s. 342).

¹⁴ Ibidem, s. 297.

¹⁵ Ibidem, s. 230.

¹⁶ Beltane jest imieniem pogańskiego boga płodności i „ognia słonecznego” w religii Celtów. Jego odpowiednikiem jest bóg Baldur w skandynawskiej religii pogańskiej i Jariło u Słowian. Jednak, gdy mówimy o Słowianach, to istnieje tu pewna nieścisłość, ponieważ święto Beltane odpowiada słowiańskiemu świętu Kupały. Różny termin obchodów tych świąt badacze tłumaczą różnicami klimatycznymi. Patrz: M. Г р а ш и н а, М. В а с и л ь е в, *Языческий календарь. Миф, обряд, образ*, Москва 2010, s. 181, 192.

¹⁷ Patrz: Ibidem, s. 180-181, 190.

we wszystkie misteria magii filozoficznej. Jednakże skutkiem ubocznym tej wiedzy miało się okazać obrzydzenie do życia i tęsknota śmierci. Noc Walpurgi Levi charakteryzuje jako „orgię szaleństwa”, po której następuje wzniesienie się Fausta „na wyżyny abstrakcji i nieprzemijalnego ideału”¹⁸.

Czarostwo, diabelstwo – to, według Adama Pomorskiego, satyryczny kostium hermetycznej magii. Hermes, jako „piastun Dionizosa”, jest kozłopodobnym szatanem w scenie „Noc Walpurgi”. Jest to bóstwo o wyeksponowanym charakterze fallicznym, związane jednocześnie ze światem śmierci¹⁹, gdyż inicjacja magiczna jest zejściem do krainy zmarłych i następującym po nim zmartwychwstaniem. Sceny sabatu w części pierwszej tragedii niewątpliwie mają orgiastyczno-dionizyjski charakter. Pomorski wspomina o niewykorzystanym przez Goethego szkicu do *Fausta*, w którym obsceniczna scena adoracji szatana obraża nawet dzisiejsze poczucie przyzwoitości, ale mimo to nie klóci się ona z poetyką archaiczną i średnio-wieczną groteski²⁰. Goethe wyeksponował pogański charakter Nocy Walpurgi, przedstawiając ją jako manifestację wolności:

Starogermańscy pogaństwo, skoro wygnano ich ze świętych gajów, a ludowi narzucano wiarę chrześcijańską, poczęli wiosną ze swoimi wiernymi zapuszczać się w bezludne i niedostępne góry Harcu, żeby tam pradawnym zwyczajem modlić się i składać ofiary bezcielesnemu bogu ziemi i nieba. Żeby uchronić się przed podstępными, uzbrojonymi głosicielami chrześcijaństwa, uznali za wskazane przybrać maski niektórych swoich współwyznawców, licząc, że odstraszą tym zabobonnych przeciwników; tak właśnie, pod strażą „szatańskich zastępów”, sprawowali swoje czyste obrzędy²¹.

Adam Pomorski w swojej interpretacji faustowskiej Nocy Walpurgi także podkreśla występowanie w niej wyżej sformułowanych przez nas wiodących aspektów tego święta. Połączenie się pierwiastka kobiecego z męskim interpretuje jako zaślubiny Księżyca i Słońca, karnawałową naturę sabatu – jako wiosenne święto Nowego Roku, połączone z obrzędami płodności, a całość odnosi do kultu i rytuałów księżycowej bogini płodności (Diany i innych wcieleń Wielkiej Bogini)²². Pogańską witalność i życiodajną moc Nocy Walpurgi Goethe podkreśla już w pierwszych wersach omawianej sceny:

¹⁸ E. L e v i, *Historia magii*, tł. J. Prokopiuk, Warszawa 2000, s. 323.

¹⁹ A. P o m o r s k i, *Ten bardzo poważny żart*, [w:] J. W. G o e t h e, *Faust. Tragedia*, tł. A. Pomorski, Warszawa 1999, s. 524.

²⁰ Ibidem.

²¹ Cyt. za: Ibidem, s. 548.

²² Patrz: Ibidem, s. 548–549. Sam kult Wielkiej Bogini Pomorski odnosi także do mitologii słowiańskiej, zaznaczając, że odzwierciedla się on w obrazie żony boga gromu – troistej księżycowej bogini doli i niedoli – Mokoszy, patronce „Łysych Gór”, na których wznoszono jej idole. Jej antycznymi odpowiednikami są Mojry (Parki) czy też germańskie Norny.

Faust: [...] Tę drogę nawet skracać szkoda! – \ Wpierw dołem, dołem, bezdrożami błędę, \ Potem się na tę skałę wdrapię, \ Z której wytryska wiecznie żywa woda, \ Ta rozkosz pikanterii ścieżce doda! \ Wiosna już budzi wszystkie brzoźki młode \ I nawet w starym pniu rozpala żądze; \ Mam niewrażliwy być na jej urodę?²³

Witalność ta nie mieści się w ramach chrześcijańskiej moralności, ponieważ jej dominantą jest seksualność i płodność pojmowana jako moc wewnętrzna eksponowana na zewnątrz. Co więcej, to one ustanawiają koordynaty dobra i zła. W rezultacie cały system wartości wydaje się być odwrócony do góry nogami. W *Fauście* Goethego wsłuchiwanie się w swoje wewnętrzne instynkty jest jedyną drogą do wyzwolenia i zbawienia. Przykładem takiej reorganizacji porządku świata jest scena, w której zlatujące się na sabat czarownicy wołają do gości idących w dole:

Głos w górze: Do nas, hej, wy tam, w stawie pod skałą!

Głosy w dole: Nam też do nieba by się chciało, \ Czystym, nagim, że bardziej się nie da, \ Lecz bezpłodnym, ot i bieda!

Oba chóry: Dosiądźże miotły, dosiądź kołka, \ Dosiądź ozoga lub koziołka; \ Kto tej nocy nie będzie w niebie, Ten sam na wieki zgubił siebie (F, cz. I, s. 176).

Już sama organizacja przestrzeni na zasadzie góra-dół porządkuje świat przedstawiony pod względem aksjologicznym. Seksualność jako główna życiowa energia jest odniesiona do wyobrażeń o raju – przy czym takiego raju, do którego można wracać cyklicznie:

Faust, Mefistofeles, Błędny Ognik śpiewają na przemian: Co za szmery? Co za pieśni? \ Co to za miłosne skargi, \ Co za głosy z rajszych czasów? \ Jak to tęskni się, jak kocha! \ Echem wraca w ciszy leśnej \ Wszystko to, co zgąsło wcześniej (F, cz. I, s. 172).

Spośród tradycyjnych mitologemów Nocy Walpurgi w I części *Fausta* znajdziemy ponadto: centralny motyw Łysej Góry, postać Mammona-diabła („Faust: Diabeł się żeni!” (F, cz. I, s. 174)), świetliki, wskazujące drogę Faustowi i Mefistofelesowi, motyw szaleńczego tańca, rozpalone ogniska itd. Wydaje się jednak, że główny ideologiczny wątek Nocy Walpurgi – akt zjednoczenia króla i królowej został przez Goethego zminimalizowany i przybrał wymowę ironiczną”. Po rozdziale „Noc Walpurgi” następuje scena pt. „Sen Nocy Walpurgi, czyli Złote Gody Oberona i Tytanii”. Jest to intermedium, w którym Oberon, jako „diabeł bez ogona”, odnawia swój związek małżeński z Tytanią. Epizod ten przybiera formę przewrotnego żartu, unaoczniającego jeszcze bardziej wymowną nieobecność królowej. Ta znacząca nieobecność występuje także w „Klasycznej Nocy Walpurgi”

²³ J.W. G o e t h e, *Faust...*, op. cit., cz. I, s. 170. Kolejne cytaty będą pochodziły z tego wydania; w nawiasach zaznaczone będą inicjały tytułu oraz numery stron.

w II części tragedii. Wynika to niewątpliwie z faktu, iż główną postacią w obu wypadkach jest Faust, który wiecznie poszukuje swojego ideału Wiecznej Kobiecości, co stanowi przeciwieństwo centralną ideę tragedii. W części I Faust w finale Nocy Walpurgi ujrzał zjawę Małgorzaty, co sprawiło, iż obudziło się w nim sumienie. Bohater rzucił się swojej ofierze na pomoc, ale bezskutecznie. W części II Faust przybył na święto Nocy Walpurgi jedynie po to, aby dowiedzieć się, jak odnaleźć ukochaną Helenę.

Zarówno Faust, jak i Mefistofeles są gośćmi na święcie Nocy Walpurgi, chociaż Mefistofeles jako postać demoniczna jest również niejako gospodarzem tej przestrzeni. Pełniąc funkcję przewodnika, Mefistofeles odkrywa tajniki świata magicznego przed Faustem. Należy przy tym pamiętać, że Faust (szczególnie widać to w części I) z obrzydzeniem odnosi się do świata magii, czarów i czarownic. Paradoksalność jego sytuacji wynika z tego, że będąc uczonym doktorem, stał się on zabawką w rękach czorta i czarownicy. Priorytetowy charakter magicznego porządku świata jest ideową dominantą goethowskiej tragedii, w której „szkiełko i oko” rozumu zostaje zdekonstruowane przez rubaszny czarci śmiech.

W kontekście rozważań dotyczących próby sprecyzowania znaczenia i sensu Nocy Walpurgi kluczowym wydaje się zwrócenie uwagi na jej oniryczną specyfikę. To pogańskie święto może oczywiście być obchodzone w konkretnym miejscu w rzeczywistości fizycznej, ale często realizuje się ona w sferze astralnej, w stanie snu. Jest to związane z jednej strony z naturą magii, będącą sposobem tworzenia zmian w świecie fizycznym poprzez warstwę astralną. Z drugiej strony przestrzeń astralna jest siedzibą bytów duchowych, w tym i demonicznych. Świadczenia o onirycznym charakterze sabatów można odnaleźć w dokumentach i opracowaniach pochodzących z czasów średniowiecza i renesansu. Wiedźmy wprowadzały się w ten specyficzny stan, smarując określone miejsca halucynogennymi maściami. Taki halucynogeny stan odczuwany jest przez podmiot jako bardzo realny, a odczuwalność zmysłowa porównywalna jest z tą na jawie. Halucynogenne podróże zapewniały maści składające się z mieszaniny mandragory, szaleju jadowitego, psianki czarnej i lulka czarnego (receptę maści można znaleźć chociażby w książce Paracelsusa *Pactum*)²⁴.

W taki właśnie sposób przybywają na Noc Walpurgi faustowskie czarownice („Jędzom chyżość dają maście...” [F, cz. I, s. 177]). Sabat, na który przybywają Faust z Mefistofešem, odbywa się w sferze astralnej, o czym świadczy następujący fragment:

Faust, Mefistofeles, Błędny Ognik śpiewają na przemian: Oto w sferę snów i czarów \ Wydajemy się wstępować. \ Wśród uroczyisk, wśród moczarów, \ Na manowce dalej prowadź, \ Aż wkroczymy między mary (F, cz. I, s. 171).

²⁴ S.A. W o t o w s k i, *Tajemnice świata magii*, Sosnowiec 1992, s. 90.

Relatywizm ruchów i wyznaczników przestrzennych, charakterystyczny dla sfery astralnej, zaznaczony jest w pytaniu Fausta: „Czy stanęliśmy, zły duchu? \ Czyśmy nadal jeszcze w ruchu?” (F, cz. I, s. 172), a hierarchiczna nadrzędność sfery astralnej w stosunku do fizycznej – w frazie Mefistofelesa: „Ta rzeczywistość jest najrzeczywistsza” (F, cz. I, s. 178). Niemniej jednak na komentarz zasługuje odmiennosc przestrzeni „Klasycznej Nocy Walpurgi” w części II *Fausta*. Tutaj mamy do czynienia nie tyle z niższymi warstwami sfery astralnej, ile z nadrzędną w stosunku do niej sferą mentalną. Zjawy przybywające na Noc Walpurgi pochodzą z greckich mitów. Są to: gryfy, sfinksy, mrówki-olbrzymki, syreny, nimfy, lamie itd. Rolę wiedźm przejmują tu lamie, syreny, nimfy... Zamiast szalonych tańców goście wolą filozoficzne rozmowy przy ogniskach. Brak jest także postaci króla i królowej. Faust, Mefistofeles oraz Homunkulus (który przejął rolę świetlika) przybywają na Noc Walpurgi, aby zrozumieć swoją naturę. Każdy z nich szuka swego szczęścia samotnie, zgodnie z radą, którą daje Mefistofeles Homunkulusowi: „Kto nie błądzi, rozumu nie dojdzie na globie! \ Gdy chcę powstać, najlepiej jeśli sam to zrobię!” (F, cz. II, s. 337). Homunkulus pragnie uzyskać ciało, Mefistofeles przybiera androgeniczną postać (zamienia się w Forkiadę), stając się idealnym „synem Chaosu”, a Faust próbuje odnaleźć Helenę. Odpowiedzi na swe pytania szukają w energii pogańskiego święta. Goethe, mimo zmiany scenerii, i w tym wypadku eksponuje istotę alchemicznego dzieła – życie, w postaci Erosa, „z którego wszystko się zaczęło”, sławiąc przy tym żywioły: „Pochwalone w sprawie świętej \ Wszystkie cztery elementy!” (F, cz. II, s. 363).

Miłość zmysłowa nie doprowadza jednak Fausta do pełni szczęścia. Mimo że dzięki swemu pobytowi na Nocy Walpurgi odnalazł Chirona, który wskazał mu drogę do Heleny, jego poszukiwania zakończyły się nieszczęściem. Po utracie Małgorzaty w części I utracił on także Helenę w części II. Niemniej główną Królową okazuje się w finale Bogini Wielka Matka, a jej ideał góruje nad wszelkimi kobiecymi wizerunkami i poczynaniami męzczyzny:

Jest podobieństwem tylko \ Wszelka nietrwałość. \ Tutaj spełni się w dziejach
 \ Niedoskonałość. \ To, co niewysłowione, \ Tu się przybliży. \ Wieczna Kobię-
 ść nęci \ Wyżej i wyżej (F, cz. II, s. 506).

Mistrza i Małgorzatę można odczytywać przez pryzmat bachtinowskiego dialogu, jako kontynuację obrazów i idei zawartych w tragedii *Faust* Goethego²⁵. Logika bachtinowskiego dialogu odsłania w danym przypad-

²⁵ Zob.: H. A r e n s, *Kommentar zu Goethes „Faust I”*, Heidelberg 1982; A. S c h ö n e, „Faust”. *Kommentare. Enthalten in: Goethe „Faust”*, Frankfurt am Main 1994; U. G a i e r, „Faust”-Dichtungen. *Kommentar I. Enthalten in: Johann Wolfgang Goethe „Faust”-Dichtungen*, Stuttgart 1999; G. K a i s e r, *Ist der Mensch zu retten? Vision und Kritik der Moderne in*

ku również światopoglądowe podobieństwa i różnice tych wybitnych osobowości twórczych. Z pewnością Michaił Bułhakow²⁶ nie uczyniłby kanwą swojej najważniejszej powieści tragedię Goethego, gdyby światopogląd wielkiego romantyka nie byłby mu bliski. W obu przypadkach percepcja świata odzwierciedla idee ezoteryki, w jej wydaniu hermetycznym, alchemicznym i mistycznym. Zaś omawiany w niniejszym artykule wątek dotyczy magii, która odgrywa główną rolę tak w pierwszej części *Fausta*, jak i w całej powieści *Mistrz i Małgorzata*.

Goethowska myśl filozoficzna często była redukowana do mistyczno-materialistycznego spinozizmu, przy czym szczególnie akcentowano występowanie w niej wyraźnych wpływów platonizmu oraz neoplatonizmu²⁷. Systematyzacją oraz opracowaniem dzieł Goethego zajmował się Rudolf Steiner – późniejszy współpracownik Heleny Bławatskiej oraz twórca antropozofii. Goethe podkreślał, że natura przejawia się w ideach, a jej istota dostępną jest ludzkiej myśli. Twierdził, że:

To, co subiektywne, i to, co obiektywne, zbiega się ze sobą, jeśli człowiek to, co mówi mu świat zewnętrzny, i to, co odzywa się w jego wnętrzu, łączy w jednej istocie rzeczy. Wtedy jednak całkowicie zanika przeciwieństwo między tym, co subiektywne, a tym, co obiektywne: roztopia się ono w jednolitej rzeczywistości²⁸.

Ten fenomenologiczny holizm charakterystyczny jest dla myśli gnozyckiej również światopoglądowo bliskiej Bułhakowowi. Autor *Mistrza i Małgorzaty* także interesował się teozofią, antropozofią, alchemią, hermetyzmem itp. Zasadnicza różnica światopoglądowa pomiędzy Bułhakowem

Goethes „Faust”, Rombach 2006; J.M. van der Laan, *Seeking Meaning for Goethe's "Faust"*, New York 2007; W. Szturc, *Faust Goethego. Ku antropologii romantycznej*, Kraków 1995; D. Hakes, *The Faust myth. Religion and the rise of representation*, New York 2007; P. Штайнер, *Духовнонаучные сообщения в связи с классической Вальпургиевой Ночью, Лекция седьмая*, [w:] *Духовно – Научные Комментарии к „Фаусту” Гёте*, [w:] źródło elektroniczne: <http://rudocs.exdat.com/docs/index-300543.html?page=5#9568321> (20.09.2013).

²⁶ Zob.: A. Drwic, *Mistrz i diabeł. Rzecz o Bułhakowie*, Warszawa 2002; J. Kars, *Proza Michaiła Bułhakowa. Z zagadnień poetyki*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981; A.З. Вулис, *Роман М. Булгакова „Мастер и Маргарита”*, Москва 1991; В.И. Немцев, *Михаил Булгаков: становление романиста*, Самара 1991; А.П. Казаркин, *Интерпретация литературного произведения: Вокруг „Мастера и Маргариты” М. Булгакова*, Кемерово 1988; Б.М. Гаспаров, *Литературные лейтмотивы*, Москва 1994; D. Horszak, *Treści religijno-filozoficzne w powieści „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa*, Poznań 2002; M. Pietrowski, *Mistrz i Miasto. Kijowskie konteksty Michaiła Bułhakowa*, Poznań 2004; А.А. Корблев, *Пределы филологии*, Новосибирск 2007.

²⁷ J. Prowki, *Goethe żywy*, [w:] tegoż, *Piękno jest tylko gnozy początkiem...*, Katowice 2007, s. 41.

²⁸ Fragment z archiwum Goethego, które zostało otwarte po śmierci wnuka poety Walthera von Goethe w 1881 r. Cyt. za: Ibidem, s. 36–37.

a Goethem dotyczy ich podejścia do idei Boga. Goethe przyznawał, że „trwa przy czci dla Boga, jaką miał ateista (Spinoza)”, ale daleki jest od ortodoksyjnie pojmowanej religii²⁹. Choć Bułhakowa również można pod tym względem nazwać heretykiem, to ideę Boga (Jezusa Chrystusa oraz Boga Ojca) uczynił centralną ideą swojej powieści. Dialog pomiędzy Piłatem a Jezusą koncentruje się na problemie prawdy pojmowanej jako istota bytu (po ros. *истина*).

Wspominając o różnicach światopoglądowych obu pisarzy, należy również pamiętać o tym, że podczas gdy Goethe był członkiem wielu ezoterycznych organizacji (masoneria, iluminaci, różokrzyżowcy), Bułhakow stronił od podobnej aktywności, często wręcz ją krytykując jako instytucjonalizm kłujący duchowy rozwój człowieka (stąd też satyryczny obraz MASSOLITU, odzwierciedlający poglądy Bułhakowa nie tylko na współczesne organizacje literackie, ale także na masonerię³⁰). Zarówno podobieństwa, jak i różnice światopoglądowe Goethego i Bułhakowa widoczne są w przywoływanych przez nas arcydziełach. Niemniej jednak ograniczeni ramami artykułu skupimy się jedynie na obrazie sabatu przedstawionego w obu utworach.

Kulminację swojej powieści Bułhakow odniósł do kulminacji tak pierwszej, jak i drugiej części *Fausta*, czyli właśnie scen Nocy Walpurgi. Sabat przedstawiony w powieści Bułhakowa przyjmuje formę wykwintnego balu. W przeciwieństwie do Goethego Bułhakow wyeksponował postać Króla i Królowej sabatu – Wolanda i Małgorzatę. Przy czym zaktualizowana została także funkcja ofiary Królowej balu. Cała droga Małgorzaty na bal oznaczona jest markerami tradycyjnej Nocy Walpurgi. Wpierw Małgorzata smaruje się maścią otrzymaną od Azazella, by dzięki jej działaniu stać się piękniejszą i móc latać. Następnie, dosiadając miotły, wylatuje przez okno, a gdy wykrzykuje „Niewidzialna i wolna!³¹”, wkracza w sferę astralną, sferę snu (Korowiow wyjaśnił Małgorzacie tuż przed bale, że znajdują się oni w „piątym wymiarze”). Następnie, przelatując nad Moskwą, dokonuje ona aktu zemsty na krytyku Łatuńskim, wykorzystując w tym celu żeński żywioł wody. Małgorzata przechodzi kolejne transformacje – z wiedźmy staje się królową, by na balu spełniać rolę gospodyni. W fabularnej linii opowiadającej o astralnych przygodach Małgorzaty można wyróżnić trzy etapy. Pierwszy etap związany jest z typowymi obrzędami Nocy Walpurgi, drugi etap dotyczy wizyty Małgorzaty w sypialni Wolanda i zawarcia znajomości z jego siostrą, trzeci zaś to bal przedstawiony jako parada grzeszników i misterium krwi.

²⁹ Fragment z listu Goethego do Jacobiego z maja 1786 r. Cyt. za: Ibidem, s. 38.

³⁰ Zob.: Б. С о к о л о в, *Энциклопедия Булгаковская*. Москва 1997.

³¹ М. Бу л х а к о в, *Mistrz i Małgorzata*, tł. I. Lewandowska i W. Dąbrowski, Warszawa 1993, s. 319. Dalsze cytaty będą pochodziły z tego wydania, w tekście artykułu zaznaczone będą w nawiasie inicjały tytułu i numery stron.

W związku z omawianym przez nas tematem skupimy się na etapie pierwszym. Gdy Małgorzata dolatuje na miejsce sabatu, najpierw kąpie się w rzece (jest to typowy rytuał przejścia – *rite de passage*), by następnie dołączyć do oczekujących na nią tańczących rusalek i wiedźm, siedzących pod wierzbami. Gdy Małgorzata nadeszła, wiedźmy ustawiły się w szereg i zaczęły „przysiadać w dwornych ukłonach”, a „ktoś na kozłich nogach podbiegł i przypadł do dłoni Małgorzaty, rozesłał na trawie jedwab” i zaproponował, by „królowa” nieco odpoczęła (MM, s. 335). Rytuwały Nocy Walpurgi są w powieści jedynie przygotowaniem, swojego rodzaju preludium, do samego balu. Kozłonogi jest tu zaledwie sługą Małgorzaty, gdyż prawdziwym królem okaże się gospodarz balu – Woland-Szatan.

Transformacja Nocy Walpurgi i wzbogacenie jej o dodatkowe misteryjne treści związana jest niewątpliwie z chronologiczną symboliką bułhakowskiego balu, który odbył się w czasie wiosennej pełni księżyca („весенний бал полнолуния”) w majową³² północ z piątku na sobotę. Przesilenie wiosenne połączone z pełnią związane jest z pogańskim świętem Ostary, obchodzonym w noc z 21 na 22 marca³³. Natomiast na 1 maja przypada święto Walpurgi. Reasumując, można stwierdzić, że Bułhakow połączył dwa pogańskie święta w jedno, dokonując ich symbolicznej syntezy i prowokacyjnie zestawił je z chrześcijańskim świętem Wielkiego Tygodnia Paschalnego. Święto Ostary związane jest z tajemnicą ofiary i zmartwychwstania boga symbolizującego życie odradzające się wiosną. Należy przy tym zaznaczyć, że w najstarszych religiach i mitologiach bogowie ginęli właśnie w marcu i odradzali się trzeciego dnia (Adonis, Tammuz, Ozyrys, a także Jezus). Natomiast Noc Walpurgi jest świętem ognia i wody, nocą miłości, w czasie której odprawiany jest rytuał połączenia młodego Boga i Bogini (Króla i Królowej). Wielkanoc z kolei jest najstarszym świętem chrześcijańskim i wywodzi się bezpośrednio od pogańskiego święta Ostary. To właśnie równonoc wiosenna była symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Nie bez znaczenia w bułhakowskiej symbolicznej chronologii jest niewątpliwie fakt, że bal u Szatana przypada na trzecią noc od jego przybycia do Moskwy i, kontynuując paralele chrześcijańskie, w noc z Wielkiego Piątku na sobotę, czyli na czas śmierci Jezusa i jego zstąpienia do piekieł. Bułhakow wykorzystuje sakralną symbolikę liczby trzy w celu połączenia tajemnicy pogańskiego święta zmartwychwstania z chrześcijańskim. Przy czym nale-

³² O tym, że to był miesiąc maj, czytelnik dowiaduje się już z pierwszych wersów powieści: „Tu musimy odnotować pierwszą osobliwość tego strasznego majowego wieczoru” (MM, s. 9).

³³ Święto Ostary – germańskie pogańskie święto (sabat) obchodzone między 21 a 23 marca; związane jest z momentem wiosennego zrównania dnia i nocy; święto to wyznacza początek wiosny, odrodzenie przyrody i życia; symbolem tego święta jest jajko – uczestnicy święta dzielą się jajkiem ugotowanym na twardo.

ży pamiętać, że akcja *Mistrza i Małgorzaty* kończy się podróżą w zaświaty, natomiast w linii fabularnej dotyczącej kaźni i śmierci Jezui pominięty został wątek zmartwychwstania. Już sama analiza odniesień czasowych wskazuje na ideową dominantę szatańskiego sabatu, tj. na uniwersalną kosmiczną energię cyklicznego oczyszczenia, nadrzędną rolę miłości wyrażoną poprzez samopoświęcenie i astralny charakter „prawdziwego” życia (emocje, namiętności)³⁴.

Scena tańca straceńców na balu³⁵ również odpowiada tej dominancie. Taniec splecionych ze sobą osób symbolizuje kosmiczne zaślubiny i staje się rytuałem mającym na celu uporządkowanie tego świata i ponowne ustanowienie związku między niebem a ziemią³⁶. Zatraceńcy, grzesznicy, podobnie jak wiedźmy podczas święta Beltane, poprzez swój kołowy taniec dokonują rytualnego oczyszczenia i uporządkowania przestrzeni niższego świata astralnego (niższych zaświatów). Można tu wspomnieć o konotacji święta Beltane ze sferą świata zmarłych. W pogańskim rytualnym kalendarzu święto to jest „zwierciadlanym” odbiciem święta zmarłych nazywanego Samhain, przypadającego na noc z 31 października na 1 listopada. Wzajemna relacja tych świąt opiera się na opozycji „życie” (Beltane) – „śmierć” (Samhain). Niemniej w obu przypadkach „zasłona” oddzielająca świat żywych od świata zmarłych jest w stosunku do całego roku najcieńsza³⁷, co umożliwi wzaajemny kontakt obu światów.

Głównym rytuałem szatańskiego balu okazuje się misterium krwi. Centralna scena balu – zabicie ofiarnego barana (barona Meigla), przemiana głowy Berlioza w puchar i wypicie z niego krwi przez Małgorzatę – ma

³⁴ Zob.: A. Chudzińska-Parkosadze, *Geneza i znaczenie postaci Wolanda w powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata” w świetle symboliki gnostycznej*, [w:] *Pod Słońcem Gnozy*, red. J. Prokopiuk, A. Chudzińska-Parkosadze, Poznań 2015, s. 151–171.

³⁵ Na zwierciadlanej posadzce nieprzebrane mnóstwo szczepionych ze sobą par wirując w jednym kierunku, zadziwiając zręcznością i gracją ruchów sunęło jak mur, który zamierza zmieść wszystko, cokolwiek znajdzie się na jego drodze. Żywe atlasowe motyle nurkowały nad tańczącymi zastępami, z plafonów sypały się kwiaty. Kiedy przygasło światło elektryczne, w kapitelach kolumn rozjarzały się miriady robaczek świętojańskich, w powietrzu pływały błędne ogniki bagienne (MM, s. 368).

³⁶ J.E. C i r l o t, *Słownik symboli*, tł. I. Kania, Kraków 2006, s. 414 (por. z pojęciem „karnawał”, s. 176); M. O e s t e r r e i c h e r - M o l l w o, op. cit., s. 299.

³⁷ James George Frazer podkreśla, że celtycki podział roku zauważalny jest w tradycjach innych krajów europejskich:

Nawet w Europie Środkowej, tak odległej od okolic zamieszkałych obecnie przez Celtów, można wyśledzić podobny podział roku w olbrzymim rozpowszechnieniu obchodów dnia 1 maja i jego wigilii (nocy Walpurgi), a z drugiej strony w dniu Wszystkich Świętych na początku listopada, w którym pod cienkim chrześcijańskim płaszczem kryje się starożytne pogańskie święto umarłych. [...] Oba te wielkie święta celtyckie [...] są do siebie podobne, zarówno pod względem obowiązujących obrządków, jak i przesądów z nimi związanych.

J.G. F r a z e r, op. cit., s. 492.

zapewnić odrodzenie nie tylko uczestnikom balu, ale i światu pojmowanemu jako makrokosmos. Na takie odczytanie tej sceny pozwala symboliczny kod zastosowany przez Bułhakowa. Czaszka symbolizuje powiązanie między mikro- i makrokosmosem, a jako materialne naczynie ducha czaszka była stosowana przez alchemików jako pojemnik przy wszelkiego rodzaju procesach przemiany³⁸. Także Jung podkreśla, że od niepamiętnych czasów totemiczna głowa wyrażała ideę mikrokosmosu i zarazem odzwierciedlała makrokosmos. Dlatego też rytualna głowa występuje w misteriach zmartwychwstania i odrodzenia³⁹.

Szatan-Woland wznosi w finale toast za gości: „– Piję wasze zdrowie, panowie” (MM, s. 373), dopełniając tym samym nie tylko funkcji gospodarza, ale i głównego kapłana w obrzędzie oczyszczenia i odrodzenia. Takiego znaczenia i sensu pozbawiony jest diabeł w tragedii Goethego. Jeżeli w *Fauście* Noc Walpurgi jest etapem w drodze bohatera, sferą mu obcą, to w *Mistrzu i Małgorzacie* rozbudowane i wzbogacone o inne święta rytuały Nocy Walpurgi są celem podróży Wolanda i drogi Małgorzaty, gdyż dzięki tym obrzędom uzyskała ona moc, wiedzę o sobie samej i uratowała swego ukochanego Mistrza. Nie bez znaczenia jest także dosyć prowokacyjne w stosunku do pratektu Goethego wkomponowanie chrześcijańskiej Paschy i ofiary Jezui w rytuały pogańskie o rodowodzie „szatańskim”. Jak widać, ani Goethe, ani tym bardziej Bułhakow nie odnosili sensu Nocy Walpurgi do chrześcijańskiego upadku i grzechu, pozbawionego możliwości odkupienia. I Goethe, i Bułhakow odkryli w tym pogańskim święcie potencjał witalności, miłości, oczyszczenia i odrodzenia.

Bibliografia

- A l e x a n d e r D., *Czarownice, wróżbici, szamani. Podróż przez świat mitów i magii*, tł. z ang. J. Korpanty, Warszawa 2008.
- B u ł h a k o w M., *Mistrz i Małgorzata*, tł. I. Lewandowska i W. Dąbrowski, Warszawa 1993.
- C a l l e j o J., *Historia czarów i czarownic*, tł. M. Adamczyk, Warszawa 2011.
- C h u d z i ń s k a - P a r k o s a d z e A., *Geneza i znaczenie postaci Wolanda w powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata” w świetle symboliki gnostycznej*, [w:] *Pod Słońcem Gnozy*, red. J. Prokopiuk, A. Chudzińska-Parkosadze, Poznań 2015, s. 151–171.
- C i r l o t J.E., *Słownik symboli*, tł. I. Kania, Kraków 2006.
- E l i a d e M., *Historia wierzeń i idei religijnych*, t. 1, tł. S. Tokarski, Warszawa 2007.
- F r a z e r J.G., *Złota Gałąź*, tł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1965.

³⁸ M. Oesterreicher-Mollwo, op. cit., s. 80, 49–50.

³⁹ Zob.: C.G. Jung, *Odpowiedź Hiobowi*, tł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, [w:] źródło elektroniczne: <http://ec-dejavu.ru/h/Head-2.html> (05.07.2011).

- Goethe J.W., *Faust. Tragedia*, cz. I, tł. A. Pomorski, Warszawa 1999.
- Jung C.G., *Odpowiedź Hiobowi*, tł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, [w:] źródło elektroniczne: <http://ec-dejavu.ru/h/Head-2.html> (05.07.2011).
- Levi E., *Historia magii*, tł. J. Prokopiuk, Warszawa 2000.
- Oesterreicher-Mollwo M., *Leksykon symboli*, pod red. L. Robakiewicza, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2009.
- Pomorski A., *Ten bardzo poważny żart*, [w:] J.W. Goethe, *Faust. Tragedia*, tł. A. Pomorski, Warszawa 1999.
- Prokopiuk J., *Powrót Bogini*, [w:] tegoż, *Jestem heretykiem*, Białystok 2004, s. 82-98.
- Prokopiuk J., *Demony, czarownice, czary*, [w:] tegoż, *Matrix, czyli okultystyczny bróg (ale nie plewiony)*, Białystok 2007, s. 11-14.
- Prokopiuk J., *Dusza ludzka – oś świata*, Białystok 2007.
- Prokopiuk J., *Goethe żywy*, [w:] tegoż, *Piękno jest tylko gnozy początkiem...*, Katowice 2007, s. 27-42.
- Sprenger J., Krämer H., *Młot na czarownice. Postępek zwierzchowny w czarach, a także sposób uchronienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający, uwspółcześnienie pisma*: J. Paprocka, tł. S. Ząbkowic, Wrocław 2008.
- Wotowski S.A., *Tajemnice świata magii*, Sosnowiec 1992.
- Грашина М., Васильев М., *Языческий календарь. Миф, обряд, образ*, Москва 2010.
- Мифологический словарь*, под ред. Г.А. Стратановский, Ленинград 1961.
- Соколов Б., *Энциклопедия Булгаковская*. Москва 1997.

WASILIJA MALINOWSKIEGO ROZWAŻANIA (NIE TYLKO)
O POKOJU I WOJNIE
(CZASOPISMO „ОСЕННИЕ ВЕЧЕРА”, 1803 r.)

VASILY MALINOVSKY'S THOUGHTS (NOT ONLY)
ON PEACE AND WAR
(PERIODICAL “FALL EVENINGS”, 1803)

MAGDALENA DĄBROWSKA

ABSTRACT. The article presents the periodical “Fall Evenings” (1803) by Vasily Fedorovich Malinovsky (1765–1814) in the light of the themes (two thematic lines: political and moral), and particularly the connections (similarities and differences) with the themes of the series of sketches “A Russian in England...” and the treatise *Thoughts on War and Peace*.

Magdalena Dąbrowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa – Polska,
m.dabrowska@uw.edu.pl

W czasopiśmie „Литературный вестник” w pierwszych latach XX wieku ukazał się cykl artykułów A.G. Maksimowa *Opis rosyjskich wydawnictw periodycznych XIX wieku*. Jeden z nich został poświęcony tygodnikowi Wasilija Fiodorowicza Malinowskiego (1765–1814) „Осенние вечера” z 1803 roku¹, pozostając do chwili obecnej jedyną próbą jego omówienia. Badacz nie wyszedł w nim jednak poza charakterystykę pisma z perspektywy prasoznawczej oraz krótkie streszczenie poszczególnych pozycji, uzupełniając je obszernymi wypisami z co ważniejszych z nich i biogramem wydawcy. Wcześniej czasopismo Nikołaja Osipowa odnotowywali jedynie bibliografowie² oraz twórcy słowników pisarzy i uczonych rosyjskich³.

Znacznie lepiej prezentuje się stan badań nad publicystyką Malinowskiego. Prace nad nią, rozpoczęte w XIX stuleciu przez W. Siemiew-

¹ А. Г. М а к с и м о в, *Описание русских периодических изданий XIX века. „Осенние вечера” 1803 года. Еженедельное издание В. Ф. Малиновского, „Литературный вестник” 1903, т. 5, s. 445–450.*

² Нр.: Н. М. Л и с о в с к и й, *Русская периодическая печать 1703–1894 гг. (Библиография и графические таблицы)*, Санкт-Петербург 1895, s. 10.

³ Г. Г е н н а д и, *Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, и список русских книг с 1725 по 1825 г., т. 2: (Ж–М)*, Берлин 1880, s. 284.

skiego⁴, toczyły się przez cały czas dwutorowo, obejmując zarówno wydawanie samych tekstów, jak i przygotowanie komentarzy do nich. Taki charakter miał wybór dzieł społeczno-politycznych Malinowskiego z komentarzem E.A. Arab-Ogły⁵ oraz studia polskiego historyka Jerzego Skowronka o *Rozważaniach o pokoju i wojnie*⁶. Traktat „o pokoju i wojnie”, wydany w dwóch częściach w tym samym roku co tygodnik „Осенние вечера”, stanowi główną pozycję w tej części dorobku Malinowskiego, publicysty specjalizującego się w tematyce międzynarodowej i stosunkach dyplomatycznych.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie miejsca oraz roli czasopisma „Осенние вечера” w całości kształcie spuścizny pisarza i osadzenie go w kontekście epoki. Takie postawienie sprawy oznacza konieczność wykorzystania w charakterze tła interpretacyjnego pozostałej części spuścizny Wasilija Malinowskiego, w większości obecnie zapomnianej.

Z zamiarem wydania czasopisma Malinowski nosił się już w końcu XVIII wieku. Pismo miało nazywać się „Пустынный”, a jego pierwszy numer miała otwierać opowieść pod takim tytułem; do jego wydania nie doszło, nie ukazała się też na łamach pisma „Осенние вечера” owa opowieść, mimo że pisarz brał pod uwagę taką możliwość⁷. Inny kształt od pierwotnie zamierzonego przybrał również sam tygodnik „Осенние вечера”: z planowanych dwunastu numerów (po cztery w każdym jesiennym miesiącu) wyszło zaledwie osiem. Numery nie są opatrzone datami dziennymi, ale wiadomo, że pierwszy wyszedł 26 września 1803 roku⁸. Liczba pozycji tworzących poszczególne numery wynosi od jednej (numer pierwszy) do trzech (numer ósmy, zawierający szkice *Swoje strony, Kara i Prawda*).

⁴ В. С е м е в с к и й, *Размышления В.Ф. Малиновского о преобразовании государственного устройства России*, „Голос минувшего” 1915, № 10, s. 239-264.

⁵ Э.А. А р а б - О г л ы, *Выдающийся русский просветитель*, [w:] В.Ф. М а л и н о в - с к и й, *Избранные общественно-политические сочинения*, ред. А.П. Белик, Москва 1958, s. 3-38.

⁶ Przedmiotem zainteresowania badacza stała się trzecia – najmniej znana – część traktatu Malinowskiego, nie tylko skomentowana przez niego, ale także wydobyta z rękopisu (zob. J. S k o w r o n e k, „Rozważania o pokoju i wojnie” Wasyla F. Malinowskiego, „Teki Archiwalne” 1978, cz. 17, s. 23-57) i przetłumaczona na język polski (zob. *Memoriał W[Wasilija Fiodorowicza] M[alinowskiego] o narodowym samookreśleniu, jako podstawie niezawisłego bytu politycznego narodów, pod tytułem „Rozważania o pokoju i wojnie”, część III. Jassy 1801 – S.-Petersburg 1803*, [w:] A.J. С з а р т о р ы с к и, *Памятники и мемориалы политичне 1776-1809*, red. J. Skowronek, Warszawa 1986, s. 567-599). Por.: И.С. Д о с т ь я н, „Европейская утопия” В.Ф. Малиновского, „Вопросы истории” 1979, № 6, s. 32-46.

⁷ Zob.: В.Ф. М а л и н о в с к и й, *Избранные общественно-политические...*, op. cit., s. 165 (komentarz E.A. Arab-Ogły).

⁸ Ibidem, s. 159.

Wszystkie utwory wyszły spod pióra samego Malinowskiego, co nadaje tygodnikowi cechy zbioru jednoautorskiego⁹.

Mimo iż wydawca nie określił żadnego tekstu mianem przedmowy, taką właśnie rolę pełni artykuł z pierwszego numeru pisma. Znajduje w nim wyjaśnienie jego tytuł oraz zostaje zasygnalizowany profil tematyczny. Daje on także wyobrażenie o stylu i tonie wypowiedzi Malinowskiego. Maksimow za wyróżniki pisma „Осенние вечера” uznał „ciężki napuszony styl i kaznodziejski ton”¹⁰; tym samym określeniem posłużyli się współcześni badacze prasy rosyjskiej¹¹. Warto dodać, że w zakończeniu przedmowy Malinowski wystąpił z apelem do czytelników o przesyłanie własnych utworów; jak wiemy, apel ten nie doczekał się odzewu.

Malinowski nadał tygodnikowi taki tytuł, gdyż uznał jesienne wieczory za najlepszą porę do zagłębiania się w rozmyślanie natury egzystencjalnej. Materiału do takich rozważań miało dostarczyć czytelnikom jego pismo. Słowami-kluczami stają się w nim dobro i zło, Bóg i wieczność, państwo i świat, wreszcie pokój i wojna. Z problemami wojny i pokoju zetknął się Malinowski w trakcie sprawowania obowiązków dyplomatycznych (nie był on zresztą jedynym pisarzem-dyplomata w Rosji przełomu XVIII i XIX wieku¹²). Do użytego w tytule czasopisma określenia Malinowski wrócił w artykule zamieszczonym w drugim numerze, pytając w nim kobiety, czy „jesienne wieczory” nie przypominają im o krótkotrwałości życia. Przemijalność ludzkiej egzystencji oraz ład na świecie, stanowiący także przedmiot rozważań historyzoficznych, należą do najczęściej podejmowanych przez publicystę problemów.

Wszystkie pozycje w dorobku Malinowskiego i wydarzenia z jego życia są ze sobą ściśle związane. Na zawartość czasopisma „Осенние вечера” rzuca światło przede wszystkim okres „brytyjski” w jego biografii, przypadający na lata 1789–1791, ale pamiętać należy również o udziale pisarza w kongresie w Jassach w 1792 roku, kończącym wojnę rosyjsko-turecką z lat 1787–1791, oraz o okresie „mołdawskim”, trwającym w latach 1801–1802 i związanym z pełnieniem przez niego obowiązków rosyjskiego konsula generalnego w Jassach. Mimo że koleje losu Malinowskiego po roku 1803

⁹ Jak przypomina Walentina Bieriezina, posługiwanie się określeniem „czasopismo” w odniesieniu do gazety, almanachu i zbioru było na początku XX wieku zjawiskiem rozpowszechnionym; zob.: В.Г. Б е р е з и н а, *Русская журналистика первой четверти XIX века*, Ленинград 1965, s. 8.

¹⁰ А.Г. М а к с и м о в, op. cit., s. 448. Tu i dalej, o ile nie podano inaczej, przekład własny – M. D.

¹¹ А.Г. Д е м е н т ь е в, А.В. З а п а д о в, М.С. Ч е р е п а х о в, *Русская периодическая печать (1702–1894)*. Справочник, Москва 1959, s. 109.

¹² Por. m.in.: Е.Н. М а р а с и н о в а, И.И. Х е м н и ц е р — писатель и дипломат, [w:] *XVIII век: сборник*, ред. Н.Д. Кочеткова, сб. 24, Санкт-Петербург 2006, s. 219–254.

jako niezwiązane z czasopiśmem „Осенние вечера” nie wchodzą w krąg zainteresowań, warto przypomnieć także, iż przez ostatnie lata życia zajmował on stanowisko dyrektora elitarnego Liceum w Carskim Siole, pierwszego w historii tej placówki. W kontekście tym Jakow Grot pisał: „Malinowski był człowiekiem oświeconym i uczciwym: w nagle osieroconym przez niego liceum [...] zaczęły się niesnaski”¹³.

W czasie pobytu na placówce dyplomatycznej w Londynie spod pióra Malinowskiego wyszła pierwsza część *Rozważań o pokoju i wojnie*. Na związek tematyczny pisma „Осенние вечера” z tym traktatem, którego druga część powstała już w Rosji, wskazują same tytuły zamieszczonych w nim pozycji. Najważniejszą z nich jest szkic *O wojnie*, rozpoczynający się od stwierdzenia, że „Francja i Anglia naruszyły niedawno ustanowiony pokój i ich walka znów zagraża Europie wybuchem wojny powszechnej”¹⁴. O Anglii mowa jest też w innych tekstach zamieszczonych w piśmie, a także w utworach, które miały się w nim znaleźć. Do tych ostatnich należy wspomniana opowieść *Pustelnik*, przedstawiająca Anglię jako kraj zbytku, ale także zdrowego rozsądku i przywiązania do wartości rodzinnych¹⁵. O zainteresowaniu tematyką „angielską” świadczy wreszcie opublikowana w 1796 roku w piśmie W.S. Podszywałowa i P.A. Sochackiego „Приятное и полезное препровождение времени” seria szkiców *Rosjanin w Anglii. Urywki listów pewnego podróżnika*, pomyślana przez pisarza, którego autorstwo udało się ustalić dopiero niedawno¹⁶, jako kompendium wiedzy w różnych sferach życia w Anglii, od klimatu i kuchni, przez obrzędy religijne oraz kulturę, do historii oraz organizacji sądownictwa. Pobyt za granicą wyostrzył spojrzenie Malinowskiego na własny kraj: skłonił do porównywania go z obcą rzeczywistością oraz podsunął myśl o podjęciu niektórych tematów także w odniesieniu do gruntu rodzimego.

Oto jedna z obserwacji Malinowskiego na ten temat, zapisana przez niego w dzienniku:

¹³ Я. Г р о т, *Пушкин, его лицейские товарищи и наставники*, Санкт-Петербург 1887, s. 51.

¹⁴ [Б.п.], *О войне*, „Осенние вечера” 1803, № 2, s. 14. Wszystkie utwory zamieszczone w czasopiśmie występują bez podpisu autora. Na potrzeby niniejszej pracy został wykorzystany egzemplarz ze zbiorów Rosyjskiej Biblioteki Państwowej (Музей книги РГБ) w Moskwie (z brakującym numerem 4; jego brak odnotował wcześniej E.A. Arab-Ogły; zob.: В.Ф. М а л и н о в с к и й, *Избранные общественно-политические...*, op. cit., s. 159).

¹⁵ Zob.: В.Ф. М а л и н о в с к и й, *Главы из повести „Пустынник”*, [w:] tegoż, *Избранные общественно-политические...*, op. cit., s. 145.

¹⁶ Zob.: В. Б е с п р о з в а н н ы й, *Кто был автором „Россиянина в Англии”?*, [w:] *В честь 70-летия профессора Ю.М. Лотмана*, Тарту 1992, s. 49–56; M. Dąbrowska, *Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przelotem XVIII i XIX wieku*, Warszawa 2009, s. 181 (tamże zob. adres bibliograficzny utworu).

Здесь в России все помышляют только о забавах и более еще ни о чем, кроме щегольства и чинов. Вчера ребенок 15-летний, воспитанный в Англии, с детскою простотою приметил мне, что здесь в больших домах, съехавшись, говорят такой вздор, что слушать нельзя — о чепцах и нарядах¹⁷.

Na podstawie tego fragmentu Siemiewski sformułował wniosek o umiejętności tworzenia przez pisarza obrazków obyczajowych z życia współczesnego społeczeństwa rosyjskiego¹⁸.

Jeśli zestawić ze sobą szkic *Rosjanin w Anglii...* oraz zawartość pisma „Осенние вечера”, to okaże się, że można odnaleźć w nich szereg wspólnych linii tematycznych, zrodzonych pod wpływem obserwacji obcej rzeczywistości i odniesionych następnie do realiów rodzimych.

W obu snuje więc Malinowski rozważania o źródłach miłości do ojczyzny:

Из всех чувствований, из всех пристрастий, любовь отечества есть благороднейшее. Любовь к самому себе, непременно врожденная каждому человеку, есть первоначальный источник любви к отечеству¹⁹.

Приятно воспоминание родимой стороны своей! [...] Любовь к своей стороне природна человеку, поелику любовь к себе распространяется на ближайших, сходственнейших и от них уже далее идет...²⁰

W jednym i drugim ocenia sposób obchodzenia przez wierzących niedzieli:

Два раза был я в здешней [лондонской — М. D.] церкви. [...] Слушатели никакого шума не делают. [...] Воскресенье препровождают совершенно по-христиански. Не играют ни в карты, ни танцуют, ни поют песен, и не работают. В этот день не бывает театральных увеселений и никаких зрелищ, и все лавки заперты²¹.

Сочти сколько базаров в городе — все полны народу, Воскресенье торговый день по всей России! [...] Кабаки начали запирать на время обедни, но торги идут своим чередом...²²

¹⁷ Мелочи прошлого. Черты для характеристики русского общества. [Из дневника В.Ф. Малиновского], „Голос минувшего” 1815, № 12, s. 241.

¹⁸ Ibidem (komentarz W. Siemiewskiego).

¹⁹ Cyt. za: [В.Ф. М а л и н о в с к и й], *Россиянин в Англии. Отрывки из писем одного путешественника*, [w:] „Я берег покидал туманный Альбиона...”. Русские писатели об Англии. 1646–1945, ред. О.А. Казнина и А.Н. Николокин, Москва 2001, s. 62 (utwór występuje w antologii jako anonimowy).

²⁰ [Б.п.], *Своя сторона*, „Осенние вечера” 1803, № 8, s. 57.

²¹ Cyt. za: [В.Ф. М а л и н о в с к и й], *Россиянин в Англии...*, op. cit., s. 56.

²² [Б.п.], *Воскресенье*, „Осенние вечера” 1803, № 7, s. 49–50.

W obydwu wreszcie rozpatruje problem zdrady małżeńskiej:

Нарушение брачного ложа почитается здесь ужасным преступлением. Законы наказывают оно в людях достаточных денежным штрафом. [...] Я почитаю сии законы весьма хорошими и действительными для удержания молодых людей от своевольтва²³.

Говорят во всяком городе есть неверные жены! Неужели нет и в Петербурге?²⁴

Szerszego komentarza wymaga artykuł *Swoje strony*, z którego pochodzą rozważania o miłości do ojczyzny. Napisany z perspektywy człowieka znajdującego się poza tytułową rodzinną okolicą, rzuca on światło na sposób rozumienia przez pisarza patriotyzmu: droga do miłości do ojczyzny ma korzenie w przywiązaniu do rodziny i prowadzi przez miłość do rodzinnej okolicy i sąsiadów; bez przejścia przez te dwa etapy – jakby patriotyzmu w skali „mikro” – nie jest możliwe osiągnięcie wartości najwyższej, patriotyzmu w skali „makro”.

Już na podstawie tych trzech przykładów można sformułować wniosek o obecności w piśmie „Осенние вечера” dwóch linii tematycznych, mianowicie politycznej (o wydźwięku patriotycznym) i etycznej (o zabarwieniu religijnym). Obie linie dają o sobie znać także w traktacie *Rozważania o pokoju i wojnie*, o czym świadczą jego początkowe i końcowe partie:

Довольно кратка наша жизнь и исполнена премногих неизбежных зол. Должны ль мы сами оную сокращать, и ко многим бедам, неразлучным с нами по человечеству, присовокупить еще войну, которая есть зло самопроизвольное и соединение всех зол в свете. [...] Война заключает в себе все бедствия. [...] Она есть адское чудовище, которого следы повсюду означаются кровию, которому везде последует отчаяние, ужас, скорбь, болезни, бедность и смерть²⁵.

Всевышний создатель мира, как отец всех человеков, так сотворил их, что они токмо в всеобщем благоденствии могут быть счастливы. Закон его есть любовь и правосудие²⁶.

Krąg rodaków, w którym Malinowski obracał się w Anglii, tworzyli Siemion Woroncow i pracownicy rosyjskiej placówki dyplomatycznej oraz Nikołaj Karamzin i Grigorij Demidow. „Trzech Rosjan, M*, D* i ja, [...] wsiedliśmy do łódki i popłynęliśmy do Greenwich” – napisał Karamzin w *Listach podróżnika rosyjskiego* (list 144 „Londyn, lipca... 1790”), mając

²³ Cyt. za: [В.Ф. М а л и н о в с к и й], *Россиянин в Англии...*, op. cit., s. 66–67.

²⁴ [Б.п.], [*Когда же раздумает кто...*], „Осенние вечера” 1803, № 2, s. 11.

²⁵ В.Ф. М а л и н о в с к и й, *Рассуждение о мире и войне*, [w:] tegoż, *Избранные общественно-политические...*, op. cit., s. 41.

²⁶ Ibidem, s. 93.

na myśli właśnie Malinowskiego i Demidowa²⁷. W podmiejskim domu hrabiego Woroncowa pisarz skończył pierwszą część *Rozważań o pokoju i wojnie* (druga powstała w należącej do teścia Malinowskiego posiadłości Biełozierka)²⁸. Wśród znajomych pisarza bardzo dobrze znane były dyskusje nad problemem wojny i pokoju oraz prace z tego zakresu²⁹. I w tym kontekście można przywołać *Listy podróżnika rosyjskiego*, których narrator na kolacji w Londynie wygłasza następujący toast: „za wieczny pokój i kwitnący handel!” (list 137 „Londyn, lipca... 1790”)³⁰. Anthony Cross zauważył, iż poglądy zawarte w traktacie Malinowskiego mieszczą się „w ogólnych ideach europejskiego Oświecenia”, nie mają korzeni w żadnym konkretnym źródle angielskim, jednocześnie zaznaczając jednak, że jego autor „mógł znać Jeremę Benthama i niewykluczone, że omawiał z nim problemy [...] poruszone w przygotowanym przez Benthama *Planie wiecznego i powszechnego pokoju*”³¹. Jeśli o Benthamie, zaliczanym do czołowych europejskich utylitarystów, mówi się, że jego „ideałem [...], podobnie jak ideałem Epikura, było bezpieczeństwo, nie wolność”³² i że „bezpieczeństwo, będąc podstawą życia, egzystencji, obfitości, szczęścia, jest [...] ważniejsze od równości”³³, to w dużym stopniu słowa te odnoszą się również do rosyjskiego publicyisty.

O bezpieczeństwie jako najwyższej wartości pisał Malinowski na początku traktatu:

Лишняя народы [...] безопасности [...], она [война — М. Д.] рано или поздно причиняет их совершенное падение³⁴.

Innego dowodu na szczególne wyczulenie Malinowskiego na problemy wojny i pokoju dostarczył M. Schippan w kontekście badań nad jego

²⁷ Н.М. Карамзин, *Письма русского путешественника*, ред. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский, Ленинград 1984, s. 355.

²⁸ Na miejsce napisania poszczególnych części wskazał sam Malinowski, opatrując każdą z nich stosowną adnotacją. Por. także: *Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота*, т. 6 (*Переписка 1794–1816 и „Записки”*), Санкт-Петербург 1871, s. 238 (*postscriptum* do listu Malinowskiego opatrzonego nagłówkiem „Carskie Sioło, 4 sierpnia 1812”).

²⁹ Zob. o tym w odniesieniu do Karamzina: Ю.М. Лотман, *Сотворение Карамзина*, [w:] tegoż, *Карамзин. Сотворение Карамзина. Статьи и исследования 1957–1990. Заметки и рецензии*, Санкт-Петербург 1997, s. 182.

³⁰ Н.М. Карамзин, *op. cit.*, s. 338.

³¹ Э. Кросс, *У Темзских берегов. Россияне в Британии в XVIII веке*, пер. Н.Л. Лужецкая, Санкт-Петербург 1996, s. 47.

³² В. Руссел, *Дzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego*, tł. T. Baszniak, A. Lipszyc i M. Szczubiałka, Warszawa 2000, s. 877.

³³ Т. Тулежский, *Od zasady użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremego Benthama*, Łódź 2004, s. 136.

³⁴ В.Ф. Малиновский, *Рассуждение...*, *op. cit.*, s. 41.

działalnością przekładową: na początku 1804 roku Malinowski przetłumaczył fragmenty powieści J.G. Junga-Stillinga *Theobald, albo Marzyciele* (*Theobald, oder die Schwärmer*), zawierającej wypadki przeciwko wojnie³⁵. W sposób szczególny rosyjskiego pisarza zainteresowały otwierające ten utwór rozważania historyczne oraz rozważania o charakterze moralno-religijnym z jego dalszych partii³⁶.

Wymowa *Rozważań o pokoju i wojnie* oraz poświęconych tym kwestiom pozycji z pisma „Осенние вечера”, przede wszystkim artykułu *O wojnie*, w ogólnych zarysach pokrywają się ze sobą: jawią się jako głos protestu przeciwko wojnie oraz apel o pokój. O opublikowanych częściach rozprawy Jerzy Skowronek pisał, że Malinowski poddawał w nich „gruntownej, wielostronnej krytyce zasady i praktyki dyplomacji i całej polityki zewnętrznej od starożytności do współczesności, widząc w nich jeden z głównych elementów, a zarazem źródło zła, nieszczęść i niesprawiedliwości [...]”; dużo miejsca poświęcił dowodzeniu fundamentalnej tezy, iż wojny i podboje obcych ziem służyły wyłącznie korzyściom władców lub uprzywilejowanych warstw mających udział w rządzeniu, a nigdy nie przyniosły pożytku rozwojowi ludzkości, czy choćby narodom lub państwom zwycięskim³⁷. Między traktatem a zawartością czasopisma jest jednak również istotna różnica: jeżeli w traktacie przeważają rozważania o charakterze ogólnym, to pismo opiera się na konkretach, opisach europejskich realiów geopolitycznych i ekonomicznych. Skowronek pisał o Malinowskim jako wydawcy tygodnika „Осенние вечера”: „na jego łamach [...] ogłosił kilka artykułów wyjaśniających konieczność zainicjowania przez Rosję bardziej aktywnej polityki celem ograniczenia francuskiej dominacji na kontynencie”³⁸. I jeszcze opinia Anthony Crossa na ten temat: „w czasopiśmie kontynuował on [...] propagowanie pokoju w serii wnikliwych artykułów o ówczesnej sytuacji w Europie, przede wszystkim o konflikcie między Francją i Anglią”³⁹.

Wymienioną różnicę dobrze obrazują rozważania o zgubnym wpływie wojny na handel:

Торговля и рукоделия, ободряемые с толиким рачением, приходят от войны в упадок⁴⁰.

Бедный Гамбург, богатый город, соперник голландской торговли, будет ли как Данциг? Сей также процветал в свое

³⁵ М. Ш и п п а н, В.Ф. Малиновский – переводчик фрагмента романа „Теобальд, или Мечтатели” И.Г. Юнга-Штилинга, „XVIII век”, сб. 22, ред. Н.Д. Кочеткова, s. 310–319.

³⁶ Ibidem, s. 315.

³⁷ J. S k o w r o n e k, op. cit., s. 26-27; Por. przypis 6.

³⁸ Ibidem, s. 25.

³⁹ Э. К р о с с, op. cit., s. 47.

⁴⁰ В.Ф. М а л и н о в с к и й, *Рассуждение...*, op. cit., s. 59.

время. Остановка кораблеплавания и всего торгу, лишает работы и дневного пропитания тысячи семейств, и богатые купцы в общей опасности банкротства!⁴¹

Wspominając na początku artykułu *O wojnie* o naruszeniu pokoju przez Francję i Anglię, Malinowski miał na myśli pokój w Amiens z 25 marca 1802 roku. Za tło interpretacyjne służyły mu wcześniejsze ugody (pokój w Lunéville z 9 lutego 1801 roku), a także działalność polityków europejskich (premiera brytyjskiego Williama Pitta Młodsze, po raz pierwszy pełniącego tę funkcję w latach 1783–1801). Z artykułu wyłania się obraz wojny, która ogarnęła swoim zasięgiem większą część Europy, ląd i morza. „Francja i Anglia są jedynymi walczącymi państwami, a Europa cierpi z powodu ich sporu, jedni zajęli przystanie od strony lądu, drudzy nacierają na nie od morza” – pisze autor⁴². Podobny wydźwięk mają rozważania o Malcie i Lampedusie: „te dwie wysepki, które przyczyniły się do utraty ciszy i spokoju w Europie, są ważne nie same w sobie, lecz ze względu na swoje położenie na Morzu Śródziemnym i obecność tam floty”⁴³. Aby podkreślić grozę sytuacji, rosyjski publicysta posłużył się powszechnie kojarzonymi porównaniami do Troi oraz Sodomy i Gomory.

W następnych artykułach pisarz zarzuca tematykę europejską i przechodzi do rosyjskiej, nie tyle jednak zagłębiając się w sytuację polityczną i działania polityków, ile przekonując czytelników do podjęcia określonej postawy wobec kraju. Jak wygląda droga do patriotyzmu odpowiedział, jak wiemy, w szkicu *Moje strony*. W artykule *Historia Rosji* zwrócił uwagę na potrzebę studiowania dawnych kronik, ważną w szczególności wobec braku, jak zauważa, „dobrej całościowej historii ojczyzny”⁴⁴. Przewagę latopisów nad nawet najlepszymi zarysami dziejów Malinowski upatruje w tym, że odzwierciedlają one sposób postrzegania świata swoich czasów, podczas gdy stworzone współcześnie opracowanie jest świadectwem właśnie współczesności, choć dotyczy przeszłości. Główną część tego artykułu wypełnia opis zawojowania Rusi przez Tatarów, zaczerpnięty z *Księgi stopni rodowodu carskiego* (według ustaleń Arab-Ogły, z wydania G.F. Millera z 1775 roku⁴⁵). Temat przewodni artykułu *Miłość do Rosji* stanowi rozległość terytorialna państwa rosyjskiego i związana z nią różnorodność klimatyczna i językowa. „Główną troską winno być zespolenie wszystkich w miłości

⁴¹ [Б.п.], *О войне...*, op. cit., s. 18.

⁴² Ibidem, s. 17.

⁴³ Ibidem, s. 16.

⁴⁴ [Б.п.], *История России*, „Осенние вечера” 1803, № 6, s. 41.

⁴⁵ Zob.: В.Ф. М а л и н о в с к и й, *Избранные общественно-политические...*, op. cit., s. 160 (komentarz E.A. Arab-Ogły).

i zgodzie” – pisze Malinowski⁴⁶, a słowa „miłość i zgoda” brzmią jak refren całego artykułu.

Na zakończenie warto podjąć próbę określenia przynależności tygodnika „Осенние вечера” do typu wydawnictw periodycznych czasów Oświecenia. Z dwóch głównych typów wyróżnionych przez Jerzego Łojka – „czasopism moralnych”, wypełnionych „rozważaniami na temat rozmaitych aspektów natury ludzkiej, obyczajowości społeczeństwa, wzorów postępowania i wskazań życiowych o wyższej społecznej wartości”, oraz „czasopism zbiorowych”, zamieszczających „materiały informacyjne i literackie, rozprawy, recenzje, ciekawostki historyczne, geograficzne, przyrodnicze, [...] artykuły na aktualne tematy polityczne”⁴⁷ – periodyk Malinowskiego wydaje się bliższy pierwszemu z nich. Jeśli chodzi zaś o „czasopisma zbiorowe”, to w artykule *Swoje strony* wskazywał on na ich brak w Rosji: kraj ten – „tak wielki jak cała Europa” – nie doczekał się dotąd „gazety, która by opisywała wszystkie ważne wydarzenia i która by obwieszczała w Jekatierinosławiu, jak żyje się w Kazaniu”; taki stan rzeczy nie sprzyja, zdaniem publicysty, wspomianej integracji obywateli, żyjących na ogromnej przestrzeni jak ludzie sobie obcy⁴⁸. W *Rozważaniach o pokoju i wojnie* Malinowski skarżył się natomiast na redaktorów gazet, którym – jako tym, którzy mają przekazywać nowe informacje – zdarza się świadczyć nieprawdę i ulegać naciskom możliwym.

Bibliografia

- Араб-Оглы Э.А., *Выдающийся русский просветитель*, [w:] В.Ф. Малиновский, *Избранные общественно-политические сочинения*, ред. А.П. Белик, Москва 1958, s. 3–38.
- Березина В.Г., *Русская журналистика первой четверти XIX века*, Ленинград 1965.
- Беспрозванный В., *Кто был автором „Россиянина в Англии”?*, [w:] *В честь 70-летия профессора Ю.М. Лотмана*, Тарту 1992, s. 49–56.
- [Б.п.], *Воскресенье, „Осенние вечера” 1803, № 7*, s. 49–50.
- Геннадий Г., *Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, и список русских книг с 1725 по 1825 г.*, т. 2: (Ж–М), Берлин 1880.
- Грот Я., *Пушкин, его лицейские товарищи и наставники*, Санкт-Петербург 1887.
- Дементьев А.Г., Западов А.В., Черепанов М.С., *Русская периодическая печать (1702–1894). Справочник*, Москва 1959.
- Достьян И.С., *„Европейская утопия” В.Ф. Малиновского*, „Вопросы истории” 1979, № 6, s. 32–46.

⁴⁶ [Б.п.], *Любовь России, „Осенние вечера” 1803, № 5*, s. 36.

⁴⁷ J. Łojek, *Zarys historii prasy polskiej w latach 1661–1831*, Warszawa 1972, s. 50.

⁴⁸ [Б.п.], *Своя сторона...*, op. cit., s. 60–61.

- [Б.п.], *История России*, „Осенние вечера” 1803, № 6, s. 41.
- К а р а м з и н Н.М., *Письма русского путешественника*, ред. Ю.М. Лотман, Н.А. Марченко, Б.А. Успенский, Ленинград 1984.
- [Б.п.], [Когда же раздумает кто...], „Осенние вечера” 1803, № 2, s. 11.
- К р о с с Э., *У Темзских берегов. Россияне в Британии в XVIII веке*, пер. Н.Л. Лужецкая, Санкт-Петербург 1996.
- Л и с о в с к и й Н.М., *Русская периодическая печать 1703–1894 гг. (Библиография и графические таблицы)*, Санкт-Петербург 1895.
- Л о т м а н Ю.М., *Карамзин. Сочинение Карамзина. Статьи и исследования 1957–1990. Заметки и рецензии*, Санкт-Петербург 1997.
- Л о т м а н Ю.М., *Сочинение Карамзина*, [w:] tegoż, *Карамзин. Сочинение Карамзина. Статьи и исследования 1957–1990. Заметки и рецензии*, Санкт-Петербург 1997, s. 182.
- М а к с и м о в А.Г., *Описание русских периодических изданий XIX века. „Осенние вечера” 1803 года. Еженедельное издание В.Ф. Малиновского, „Литературный вестник” 1903, т. 5, s. 445–450.*
- М а л и н о в с к и й В.Ф., *Рассуждение о мире и войне*, [w:] tegoż, *Избранные общественно-политические...*, op. cit., s. 41.
- [М а л и н о в с к и й В.Ф.], *Россиянин в Англии. Отрывки из писем одного путешественника*, [w:] „Я берег покидал туманный Альбиона...”. *Русские писатели об Англии. 1646–1945*, ред. О.А. Казнина и А.Н. Николокин, Москва 2001, s. 62 (utwór występuje w antologii jako anonimowy).
- М а р а с и н о в а Е.Н., *И.И. Хемницер — писатель и дипломат*, [w:] *XVIII век: сборник*, ред. Н.Д. Кочеткова, сб. 24, Санкт-Петербург 2006.
- Мелочи прошлого. Черты для характеристики русского общества. [Из дневника В.Ф. Малиновского]*, „Голос минувшего” 1815, № 12, s. 241.
- [Б.п.], *О войне*, „Осенние вечера” 1803, № 2, s. 14.
- [Б.п.], *Своя сторона*, „Осенние вечера” 1803, № 8, s. 57.
- С е м е в с к и й В., *Размышления В.Ф. Малиновского о преобразовании государственного устройства России*, „Голос минувшего” 1915, № 10, s. 239–264.
- Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота*, т. 6 (*Переписка 1794–1816 и „Записки”*), Санкт-Петербург 1871, s. 238 (*postscriptum do listu Malinowskiego opatrzonego nagłówkiem „Carskie Sioło, 4 sierpnia 1812”*).
- Ш и п п а н М., *В.Ф. Малиновский — переводчик фрагмента романа „Теобальд, или Мечтатели” И.Г. Юнга-Штилинга, „XVIII век”*, сб. 22, ред. Н.Д. Кочеткова, s. 310–319.
- „Я берег покидал туманный Альбиона...”. *Русские писатели об Англии. 1646–1945*, ред. О.А. Казнина и А.Н. Николокин, Москва 2001.
- С z a r t o r y s k i А.Ј., *Pamiętniki i memoriały polityczne 1776–1809*, ред. Ј. Skowronek, Warszawa 1986.
- Д а б р о в с к а М., *Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku*, Warszawa 2009.

Łojek J., *Zarys historii prasy polskiej w latach 1661–1831*, Warszawa 1972.

Russel B., *Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego*, tł. T. Baszniak, A. Lipszyc i M. Szczubiałka, Warszawa 2000.

Skowronek J., „Rozważania o pokoju i wojnie” Wasyla F. Malinowskiego, „Teki Archiwalne” 1978, cz. 17, s. 23–57.

Tulejski T., *Od zasady użyteczności do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy Benthama*, Łódź 2004.

ЛОКАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ
ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОРУССКИХ
ГОРОДОВ АРХАНГЕЛЬСКА И СЕВЕРОДВИНСКА
(ПО ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ ДАННЫМ)¹

LOCAL IDENTIFICATION AND SELF-IDENTIFICATION OF CITIZENS
OF THE NORTHERN RUSSIAN CITIES
OF ARKHANGELSK AND SEVERODVINSK
(BASED ON FOLKLORE-ETHNOGRAPHIC STUDIES)

НАТАЛЬЯ ДРАННИКОВА

ABSTRACT. A local population survey based on a specially developed questionnaire was conducted to study the local identity of Arkhangelsk and Severodvinsk in the Arkhangelsk region from 2000 till 2015. The data on folklore and speech obtained allow us to analyze the distinctive features of Arkhangelsk and Severodvinsk citizens' local identity. The study leads to the conclusion that Arkhangelsk and Severodvinsk's citizens have developed their own local identity, but with different specific characteristics. Arkhangelsk was founded as a traditional town, Severodvinsk during country's urbanization processes.

Наталья Дранникова, Северный Арктический федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск – Россия, n.drannikova@narfu.ru

Цель статьи – исследование локальной идентичности жителей городов Архангельска и Северодвинска, входящих в состав Архангельской области (Русский Север). Для этого нами был проведен опрос местного населения. Он проводился в период с 2000 по 2015 гг. по специальному вопроснику. Ответы респондентов представляют собой устные и письменные тексты, как полученные в ответ на вопросы в ходе беседы, инициированной собирателем, так и спонтанные. Всего было опрошено 500 человек в возрасте от 16 до 90 лет. Многие наши респонденты являются мигрантами в первом, втором или третьем поколении. Ответы были получены в процессе интервьюирования, опросов и бесед. Предметом исследования является корпус фольклорно-речевых

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и правительства Архангельской обл. „Русский Север: история, современность, перспективы” в рамках научного проекта № 15-14-29002 „а(р)” „Фольклорно-речевая практика и локальная идентичность жителей г. Архангельска и Северодвинска”.

данных, сложившийся в ходе собирательской работы. Локальная идентичность — один из видов территориальной — идентификация человека с местным сообществом, чувство сопричастности к событиям, происходящим на территории непосредственного проживания. Локальная идентичность долго оставалась вне поля зрения русских исследователей. В последнее время появились работы, посвященные изучению локальной идентичности населения отдельных регионов России: И.А. Разумовой и О.В. Змеевой² (Мурманская область); Н.В. Дранниковой³ (Архангельская область), П.Л. Крупкина и С.Д. Лебедева⁴ (Белгород, Владимир, Нижний Новгород) и др. С изучением локальной идентичности тесно связаны исследования, посвященные изучению локального текста города: это работы В.В. Абашева⁵ (г. Пермь), М.Л. Лурье, М.Д. Алексеевского, А.А. Сенькиной, А.М. Жердяевой⁶ (г. Могилев-Подольский, Винницкая область, Украина) и др.

Проблематика пространства и места становится актуальной в условиях глобализации. Важным для нашей работы является понятие *габитус*, рассматриваемое как „представление о социальной действительности“ и включающее представление о месте⁷. Проживая на той или иной территории, человек начинает осознавать свое место и оказывается включенным в сеть смыслов, которые реализуются в фольклорно-речевой практике. Е.В. Морозова и Е.В. Улько выделяют следующие критерии локальной идентичности: идентификация с малой родиной, с особенностями ландшафта и климата, со значимыми историко-культурными событиями, с выдающимися людьми, с экономической специализацией территорий, с уровнем социально-экономического

² О.В. З м е е в а, И.А. Р а з у м о в а, *Фольклорно-этнографические реалии в системе локальной символики (на материале северных 'исторических' городов)*, [в:] „Калевала“ в контексте региональной и мировой культуры, под ред. И.И. Муллонен, Петрозаводск 2010, с. 313–319.

³ Н.В. Д р а н н и к о в а, И.А. Р а з у м о в а, *Исторический город в современном фольклоре*, [в:] *Славянская традиционная культура и современный мир*, вып. 13: *Традиционная культура современного города*, под ред. А.С. Каргина, Москва 2010, с. 9–27.

⁴ П.Л. К р у п к и н, С.Д. Л е б е д е в, *К сакральным основаниям локальных идентичностей в современной России: опыт структурного анализа*, „Социологический журнал“ 2013, № 4, с. 35–48.

⁵ В.В. А б а ш е в, *Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века*, Пермь 2000.

⁶ М.Д. А л е к с е е в с к и й, А.М. Ж е р д е в а, М.Л. Л у р ь е, А.А. С е н ь к и н а, *Материалы к Словарю локального текста Могилева-Подольского*, „Антропологический форум“ 2008, № 8, с. 419–442.

⁷ П. Б у р д ь е, *Структура, габитус, практика*, „Журнал социологии и социальной антропологии“ 1998, № 2, с. 60–70.

развития, с особыми реальными или приписываемыми чертами коллективного поведения⁸.

Города Архангельск и Северодвинск расположены поблизости друг от друга, расстояние между ними составляет около 30 километров, но они имеют разную историю. Архангельск – это старинный город, вызывающий определенные исторические и этнические ассоциации, Северодвинск – советский индустриальный город. Архангельск был построен в 1584 г. как город-крепость с целью развития международной торговли и для защиты северных рубежей России. Первопоселенцами Архангельска были переселенные правительством семьи из окрестных деревень⁹. На протяжении всей истории Архангельска основную часть его населения составляли местные жители. Состав населения изменился после Первой мировой войны и в большей степени после Гражданской войны – для работы на лесозаводах в Архангельск хлынули жители Архангельской, Вологодской и других губерний¹⁰. Во время индустриализации с середины 1920-х гг. в Архангельске строятся новые лесозаводы и модернизируются старые¹¹. В это время в официальном государственном дискурсе Архангельск получает название „валютного цеха страны“¹². Для развития лесной промышленности проводятся специальные наборы, в город направляются спецпереселенцы из центральных губерний России и ссыльные¹³. Несмотря на большое количество приезжих из других регионов основную часть его населения составляли выходцы из различных районов Архангельской области¹⁴.

Северодвинск является „новым“ городом, „индустриальным“ и социалистическим. Его история начинается с 1936 г. В это время был основан поселок Судострой, на территории которого начал строиться кораблестроительный завод¹⁵. В 1930 г. основное население города со-

⁸ Е.В. Морозова, Е.В. Улько, *Локальная идентичность: формы актуализации и типы*, „Политэкс“ 2008 № 4, с. 139–151.

⁹ В.В. Крестинин, *Краткая история о городе Архангельском*, Санкт-Петербург 1792.

¹⁰ В.А. Куратов, *Архангельск*, [в:] *Поморская энциклопедия*, т. 1: *История Архангельского Севера*, под ред. Н.П. Лаверова, Архангельск 2001, с. 42.

¹¹ С.И. Шубин, *Северный край в истории России: проблемы региональной и национальной политики в 1920–1930-е гг.*, Архангельск 2000.

¹² В.А. Куратов, *Архангельск*, указ. соч.

¹³ С.И. Шубин, *Северный край в истории России...*, указ. соч.

¹⁴ Т.И. Трошина, *Великая война... Забытая война... Архангельск в годы Первой мировой войны (1914–1918)*, Архангельск 2008.

¹⁵ В.А. Куратов, *Северодвинск*, [в:] *Поморская энциклопедия*, т. 1: *История Архангельского Севера*, указ. соч., с. 364.

ставляли заключенные ГУЛАГа (Ягринлага и других лагерей, переведенные сюда для строительства завода)¹⁶, а также переселенцы из районов Архангельской области и соседних с нею¹⁷. Факт строительства Северодвинска с помощью насильственной миграции и труда заключенных замалчивался в советский период, официально его первыми строителями считаются 60 человек, прибывших сюда на колесном теплоходе. Строительство Северодвинска в официальной истории сравнивалось со стройками первых пятилеток. Возникновение Северодвинска — сходство с образованием городов Кольского Севера, которые в советский период создавались как промышленные города¹⁸.

О наличии локальной идентичности свидетельствует наличие или отсутствие самоназвания местного сообщества. Жители Архангельска называют себя *трескоедами*. С самоназванием связано большое количество автореферентных паремий (поговорок, пословиц, загадок и пр.)¹⁹. Жители Архангельска называют свой город *городом доски, тоски* и т. п.²⁰. Эти наименования основываются на стереотипах на пищевых пристрастиях и поведенческих особенностях местного сообщества и его профессиональных занятиях. Подразумевается, что треска является основной пищей архангелогородцев, что их основное занятие — работа в лесной промышленности и что они лишены жизнерадостности. Современные горожане используют в своем дискурсе перифрастические наименования своего города, некоторые из них восходят к советской риторике. Они считают, что город знаменит тем, что является *воротами в Арктику, всесоюзной лесопилкой и городом рыбаков*. Архангельск был отправным пунктом всех арктических экспедиций и отсюда выходили сотни судов по Северному морскому пути²¹. В перифрастическом наименовании *ворота в Арктику* нашел отражение стереотип, связанный с географическим положением. П.Л. Крупкин считает, что представление о локальной географии местного сообщества составляет ядро коллективной идентичности²². Наименование *всесоюзная лесо-*

¹⁶ Т.Ф. М е л ь н и к, *Ягринский ИТЛ в Молотовске*, [в:] *Каторга и ссылка на Севере России*, под ред. М.Н. Супруна, Архангельск 2006, с. 216–244.

¹⁷ В.А. К у р а т о в, *Северодвинск*, указ. соч.

¹⁸ И.А. Р а з у м о в а, *Культурные ландшафты Кольского Севера. Социально-антропологические очерки*. Санкт-Петербург 2009.

¹⁹ Н.В. Д р а н н и к о в а, *Локально-групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера. Функциональность, жанровая система, этнопоэтика*. Архангельск 2004, с. 80–82.

²⁰ Там же, с. 270.

²¹ В.А. К у р а т о в, *Архангельск*, указ. соч.

²² П.Л. К р у п к и н, *Эволюционная теория архетипов Юнга: архетипические моменты в структуре коллективной идентичности*, „Публичное управление: теория и практика” 2010, № 3–4, с. 303–311.

пилка появилось в 1920-е гг., когда в Архангельске было построено много новых лесозаводов²³. Характеристика Архангельска как *города рыбаков* восходит к профессиональным занятиям его жителей. Рыба долгое время оставалась основой торговли Архангельска с другими регионами России и странами Запада. В последние два десятилетия появилось еще одно самоназвание Архангельска — *тупик*. Особенно оно распространено в молодежной среде. Мотивационная рефлексия наших респондентов включает в себя объяснения, связанные с тем, что в Архангельске заканчивается Северная железная дорога и что он находится в 50 километрах от Белого моря, а также с тем, что в Архангельске более низкий уровень жизни, социально-экономических и культурных возможностей, чем в столице. Несмотря на негативный контекст, тупиковое положение придает городу особую символическую значимость, которую имеют и некоторые города Кольского Севера, о чем пишет И.А. Разумова²⁴. Существование эндонима *трескоеды* и различных перифрастических наименований, которые используют по отношению к своему городу местные жители, свидетельствует о развитом локальном самосознании жителей Архангельска.

Жители Северодвинска называют себя *судостройцами*, а свой город — *городом корабелов*. Данные самоназвания относятся к повествовательным стереотипам советского дискурса. В городе существует два судостроительных завода, где строят атомные подводные лодки. Кроме того, нам встретилось еще одно самоназвание Северодвинска — *подводный атом*²⁵, семантически связанное с первым через смысловую доминанту города — деятельность его градообразующего предприятия. Локальная идентичность жителей Северодвинска накладывается на идентичность профессиональную, что отличает их от архангелогородцев.

К факторам, которые поддерживают и укрепляют локальную идентичность, относится наличие выдающихся или знаменитых земляков, любимые горожанами маршруты, знаковые места. Конституирующей основой региональной идентичности является локальная мифология. Коллективная память создает, в первую очередь, образы места и локального сообщества. Основным этиологическим сюжетом устной городской прозы является сюжет о имянаречении города. Жители Архангельска придают названию своего города сакральное значение. Город был назван в честь Михайло-Архангельского монастыря, находившегося на месте будущего города, поэтому, по утверждению местных жителей, когда в 1929 г. Архангельск хотели переименовать в Ста-

²³ В.А. Куратов, *Архангельск*, указ. соч.

²⁴ И.А. Разумова, *Культурные ландшафты Кольского Севера...*, указ. соч., с. 91–95.

²⁵ Н.В. Дранникова, *Локально-групповые прозвища...*, указ. соч., с. 343.

линопорт²⁶, то не смогли этого сделать. Сакрализации имени города способствует фольклорный сюжет об участии в имянаречении царской особы – Петра I. Царь видит сон, в котором к нему является Архангел Михаил и говорит о необходимости строительства нового города-порта. На самом деле строительство Архангельска происходило в период правления Ивана Грозного²⁷.

Большинство из жителей г. Северодвинска могут назвать его предыдущие названия – Молотовск и Судострой. Поскольку название Северодвинска образовано от наименования реки Северной Двины, в устье которой он расположен, то все наши респонденты, знают о причинах его происхождения. Основным этиологическим сюжетом истории Северодвинска, по нашим материалам, является предание о происхождении названия острова Ягры, сейчас это микрорайон г. Северодвинска. На Яграх в 1553 г. пришвартовался единственный уцелевший корабль английской экспедиции, которая искала путь через арктические моря в Китай и Индию. Им командовал английский капитан Ричард Ченслер²⁸. Из-за обилия цветущего на острове шиповника англичане называли остров Розовым, именно так он именуется на иностранных картах XVII в., в дальнейшем же финно-угорское слово Ягры местные жители стали возводить к английскому языку.

В содержании локальной идентичности большое значение имеет культурно-ценностный компонент. Историко-культурная память архангелогородцев чаще всего ограничивается второй половиной XX века, что объясняется, в частности, миграционной ситуацией, которая обусловила состав информантов. Однако в нашем архиве есть рассказы о чудесах, произошедших в архангельских церквях в XIX–XX вв.²⁹, о военном Архангельске, о наказании горожан за непочитание святых и др. К важным событиям в судьбе Архангельска наши респонденты относят строительство в 1693 г. судоверфи³⁰, деятельность Архангельского морского порта, который был первым в истории России, основание в 1701 г. в период Северной войны Новодвинской крепости³¹,

²⁶ Ф.С. А г а п и т о в, *Архангельск: попытки переименования города 1928–1929*, [в:] *Поморская энциклопедия*, т. 1: *История Архангельского Севера*, указ. соч., с. 44.

²⁷ Н.В. Д р а н н и к о в а, *Локально-групповые прозвища...*, указ. соч., с. 228–229.

²⁸ Л.Г. Ш м и г е л ь с к и й, Ченслер (Ченслор, Чанселлор) Ричард, [в:] *Поморская энциклопедия*, т. 1: *История Архангельского Севера*, указ. соч., с. 436–437.

²⁹ Н.В. Д р а н н и к о в а, *Архангельские церкви и святые в устных рассказах горожан*, [в:] *Рябининские чтения – 2015*, под ред. Т.Г. Ивановой, Петрозаводск 2015, с. 35–38.

³⁰ С.Ф. О г о р о д н и к о в, *История Архангельского порта*, Санкт-Петербург 1875.

³¹ В.В. К р е с т и н и н, указ. соч.

разрушение Троицкого кафедрального собора (1928–1931), морские конвои, приходившие во время Второй мировой войны в Архангельск из других стран.

Историко-культурная память жителей индустриального города Северодвинска включает в себя события, относящиеся к советскому периоду. В качестве знаменательных событий жители города называют ремонт атомного ледокола „Ленин” (1967–1970) на местном судоремонтном заводе, награждение за это событие города орденом Ленина (1983) и т. п. Исключением являются северодвинцы, память которых включает в себя знание исторических фактов, например, о строительстве города на месте бывшего Николо-Корельского монастыря, известного с 1419 г., о захоронении на его территории сыновей новгородской посадницы Марфы Борецкой, погибших в 1471 г. в Белом море,³² и др. Знание последних фактов почерпнуто из литературных краеведческих публикаций.

Исторические события, оставшиеся в памяти жителей Архангельска и Северодвинска, представляют собой „контртекст”, адаптирующий и инвертирующий известные образы и события в соответствии с народной традицией. Проведенное нами исследование подтверждает наличие коллективной памяти у представителей архангельского и северодвинского сообществ, но в то же время оно демонстрирует, что в памяти северодвинцев преобладают профессиональные события из советского прошлого.

Символический образ города связан с восприятием Архангельского региона иногородними жителями. Сопоставления возникают в определенных коммуникативных ситуациях — во время встреч представителей других городов с архангелогородцами и северодвинцами. Они спрашивают, есть ли в Архангельске олени; ходят ли по городу белые медведи и пингвины. Архангельск и Северодвинск ассоциируются с холодными климатическими условиями и белыми ночами; в Анапе задают вопрос: „Сколько в городе вигвамов?” (имеются в виду чумы) и не замерзаем ли мы при 50 градусах. Жителям как Архангельска, так и Северодвинска задают вопрос, связанный с их профессиональной деятельностью и с географическим положением населенных пунктов, в которых они проживают: „Много ли в городе моряков?”, а жителей Северодвинска спрашивают, купаются ли они в море рядом с подводной лодкой. Респонденты, имеющие чувство юмора, подтверждают это. Другие отвечают, что медведей нет, а морозы такие же, как в Питере.

³² А.Г. М е л ь н и к, *Николо-Корельский монастырь второй половины XVI века и русская святость*, „Соловецкое море. Историко-литературный альманах” 2013, № 12, с. 37–40.

Фольклоризация данной диалоговой ситуации очень характерна для культуры северных городов³³.

В топике устных меморатов, характеризующих Архангельск и его жителей, преобладают следующие ключевые слова: „белый медведь“, „лед“, „олени“ / „оленьи упряжки“, „вечная мерзлота“. Архангелогородцев и северодвинцев в других городах называют *замороженными* / *примороженными* / *обмороженными*, имея в виду особенности их темперамента и поведения. Данные экзонимы содержат в себе этнопсихологические стереотипы восприятия жителей Архангельска и Северодвинска другими территориальными сообществами. Ключевые символы территории: *белый медведь*, *лед*, *олени*, *вечная мерзлота* и метафорические эпитеты *замороженные* / *примороженными* / *обмороженные* – естественны для региона с холодным климатом и его жителей.

Существуют практически одни и те же стереотипы восприятия жителей Архангельска и Северодвинска населением других регионов. Они связаны с представлениями о географическом положении на море и холодном климате этих городов. Отношение к жителям Северодвинска дополнительно связано с их профессиональной деятельностью.

Одним из факторов, актуализирующих идентичность, является возможность межгруппового сравнения, которое представляет основание для оценивания „своей“ и „чужой“ группы. В ситуации сравнения (а в определенных случаях – противопоставления) с группой „чужих“ четко обозначаются критерии идентичности. В фольклорно-речевой практике жителей Северодвинска и Архангельска реализуются стереотипные представления о себе. Северяне противопоставляют особенности своего характера и поведения южанам. Они считают, что северяне более добрые, честные, спокойные, воспитанные, искренние, гостеприимные, несуетные, немногословные, более чистоплотные и трудолюбивые, чем южане. В существующей оппозиции южане/северяне важна не принадлежность к какому-нибудь отдельному городу, а признание своим местом жительства Север. Оппозиция актуальна для жителей всего Архангельского Севера. Сравнивая себя с южанами, северяне приписывают себе только позитивные характеристики. Архангелогородцам, как и всем другим местным сообществам, свойственен этноцентризм, поэтому они считают, что их везде уважают, а моряки из других городов будто бы радуются, когда узнают, что их собеседник из Архангельска. Рассказывание подобных историй является способом подтверждения самоидентификации с городом.

³³ И.А. Р а з у м о в а, *Про академика Ферсмана, 'обманный камень' и 'лунный пейзаж': современный фольклор заполярного города*, „Живая старина“ 2004, № 1, с. 16–19.

Респонденты признают различные конститутивные признаки группы своими и отождествляют себя с нею. Образ типичного жителя Архангельска во многом совпадает с характеристикой всех северян. В определении особенностей характера архангелогородца наши респонденты манифестируют традицию описания помора, сложившуюся в краеведческой, художественной и научной литературе.

Типичными чертами характера северодвинцев наши респонденты называли трудолюбие, гостеприимство и доброжелательность горожан, отмечали высокий уровень их физической выносливости, большое место среди полученных нами ответов заняли характеристики, связанные с представлениями о равнодушии и апатии северодвинцев, с отсутствием у них инициативы. Сами жители Северодвинска считают себя интровертами. Говоря о типичном северодвинце, информанты часто называют его *заводчанин, работяга* (встретилось даже метафорическое наименование — *человек-завод*). Подобные характеристики подчеркивают важность промышленных судоремонтных предприятий в жизни северодвинцев и однотипность их деятельности.

В самоидентификации архангелогородцев и северодвинцев существует много общего, но на автостереотипы архангелогородцев оказала влияние сложившаяся в литературе традиция изображения поморов.

Архангельск и Северодвинск имеют свои символические образы. Большую часть символов Архангельска составляют культурные и культурно-ландшафтные, в меньшей степени — производственные. В качестве символических объектов Архангельска наши респонденты называют Музей деревянного зодчества и народного искусства „Малые Корелы“, Северный народный академический хор, сказки архангельского писателя С.Г. Писахова, деревянные мостовые, которые сохранились до сих пор на некоторых из улиц города, и деревянные дома в летний период года. Архангельск они представляют деревянным городом времен XVI века или городом с деревянными постройками безотносительно к историческому периоду, занесенным снегом, небольшая часть респондентов назвала в качестве символического объекта места массовых расстрелов, проходивших под Архангельском в 1920–1930-е гг. Изобразительный образ навеян для них иллюстрациями к сказкам С.Г. Писахова архангельского художника С. Сюхина. Меньшую часть символических объектов составляют производственные — к ним относят судоремонтный завод „Красная кузница“ и морской порт.

Символические образы Северодвинска можно разделить на пять групп — природно-ландшафтные, культурно-ландшафтные, производственные, музыкальные и культурные (литературные и кинемато-

графические). Наши респонденты отметили, что Северодвинск для них — это замерзшее, покрытое снегом побережье Белого моря, режа — само Белое море, дюны, глыба льда в бушующем океане, ели, покрытые белым пушистым снегом, болото. К производственным образам относятся судостроительный завод, подводные лодки, море с выплывающей из него подводной лодкой, последний можно рассматривать как производственно-ландшафтный. К последней группе близки памятники, связанные с профессиональной деятельностью местного сообщества — это памятник бывшему директору завода Г.Л. Просянкину, выполненный в виде винта, и стелы, одна из которых установлена в честь строителей города, и вторая с гербом города — в честь создания города Северодвинска на месте поселка Судострой в 1938 г. К музыкальным образам относятся шум прибоя, крики чаек, гимн Северодвинска. К культурным — музыкально-поэтический фильм „С высоты птичьего полета“, вышедший на экран в 2006 г., в котором Северодвинск представлен как центр атомного судостроения. По сравнению с архангельской символикой среди северодвинских образов преобладают ландшафтные и производственные; культурные образы представлены в незначительной степени, в ряде из них культурная символика объединяется с производственной.

Проявлением локальной идентичности является наличие известных людей, с которыми идентифицирует себя местное сообщество. Жители Архангельска, в первую очередь, называют деятелей, внесших большой вклад в историю, культуру и науку города — это исследовательница поморской культуры К.П. Гемп, писатель-сказочник С.Г. Писахов, детский писатель Е.С. Коковин, ученый, занимающийся архитектурой старого Архангельска, Ю.А. Барашков, руководитель детского дома народного творчества В.Н. Бурчевский, бывший ректор Архангельского государственного технического университета А.Л. Невзоров, директор молодежного театра В.П. Панов, мэр В.Н. Павленко, местный чудацк Древарх, скандально известный журналист И. Азовский, магнат В.Я. Крупчак. В каждый период жизни города значимой личностью является действующий мэр.

Круг людей, которых считает известными местное сообщество Северодвинска, более узкий. В него включаются бывшие директора заводов Г.Л. Просянкин, Н.Я. Калистратов, Д.Г. Пашаев и действующий мэр М.А. Гмырин. Таким образом, в Архангельске среди известных людей преобладают деятели культуры и науки, в Северодвинске производственники и управленцы.

Подведем некоторые итоги. Особенности локальной идентичности населения Северодвинска и Архангельска тесно связаны с историческими процессами. История Архангельска насчитывает более че-

тырех веков, в историко-культурном смысле он воспринимался как центральный город Русского Севера и „средоточие“ традиционной культуры. Архангельску противоположен Северодвинск, возникший как индустриальный город. Локальная идентичность северодвинцев демонстрирует ценности модернизированного общества, которые можно отнести к сфере цивилизации, но не культуры. Существование самоназваний у жителей Архангельска и Северодвинска свидетельствует об их развитом локальном самосознании. Они осознают себя самостоятельными локальными группами. В этнопсихологическом отношении жители обоих городов считают себя спокойными, уравновешенными, умеющими переносить трудности и противопоставляют себя населению Центральной России. Кроме того, локальная идентичность большинства жителей Северодвинска совпадает с профессиональной.

Архангельск, на наш взгляд, имеет свою смысловую доминанту — это северный город-порт, отправной пункт всех арктических экспедиций, жители которого обладают поморским самосознанием. То, что к его символам относятся музей деревянного зодчества и народной культуры „Малые Корелы“ и Северный народный академический хор, отчасти подтверждает, что современные архангелогородцы подчеркивают свою преемственность с носителями крестьянской культуры Русского Севера. Смысловая доминанта Северодвинска — это город-завод на Белом море, на котором строятся подводные лодки. Символические образы Архангельска и Северодвинска совпадают в ландшафтном отношении. Информанты отмечают просторы, свойственные городам, море и заснеженные зимы, кроме того, частичное совпадение образов существует и на уровне профессиональной деятельности. Архангельск — для респондентов старшего возраста — город корабелов и моряков, Северодвинск — для респондентов всех возрастов — город корабелов.

Предпринятый нами анализ показывает, что жители Архангельска и Северодвинска, имеют положительную и негативную локальную идентичность. Респонденты с положительной идентичностью обладают более глубокой исторической памятью. Они хорошо знают прошлое своего города, имеют любимые места и маршруты в городе, им нравится природный ландшафт, они испытывают гордость за место своего проживания и видят дальнейшие перспективы развития города. Респонденты с негативной и нейтральной идентичностью носителями этой памяти не являются. Они мало знают об истории и известных людях города, плохо ориентируются в его настоящем и готовы переехать из города, если будет такая возможность. Для регионального самосознания важно, что у города есть особая история и многовековой

опыт развития в качестве культурно-политического центра России. Архангельск долгое время был столицей Русского Севера, поэтому жители Архангельска имеют более развитое региональное самосознание, чем северодвинцы. Несмотря на развитую локальную идентичность жители Архангельска зачастую имеют несколько таких идентичностей, одна из которых связана с их исторической родиной или родиной их предков. Преимущественно в этой роли выступает какой-нибудь населенный пункт в одном из районов Архангельской области. Население Архангельска „выросло” из своего сельского окружения. У северодвинцев собственные, во многом иные основания для самоидентификации. Северодвинск является городом-анклавом, чему способствует его географическое положение на берегу Белого моря и профессиональная специализация горожан. Поэтому в Северодвинске, как и в Архангельске, на уровне региональной идентичности существует городской патриотизм.

Библиография

- А б а ш е в В.В., *Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века*, Пермь 2000.
- А г а п и т о в Ф.С., *Архангельск: попытки переименования города 1928–1929*, [в:] *Поморская энциклопедия*, т. 1: *История Архангельского Севера*, под ред. Н.П. Лаверова, Архангельск 2001.
- А л е к с е е в с к и й М.Д., Ж е р д е в а А.М., Л у р ь е М.Л., С е н ь к и н а А.А., *Материалы к Словарю локального текста Могилева-Подольского, „Антропологический форум” 2008, № 8, с. 419–442.*
- Б у р д ь е П., *Структура, габитус, практика, „Журнал социологии и социальной антропологии” 1998, № 2, с. 60–70.*
- Д р а н н и к о в а Н.В., *Архангельские церкви и святые в устных рассказах горожан*, [в:] *Рябининские чтения – 2015*, под ред. Т.Г. Ивановой, Петрозаводск 2015.
- Д р а н н и к о в а Н.В., *Локально-групповые прозвища в традиционной культуре Русского Севера. Функциональность, жанровая система, этнопоэтика*. Архангельск 2004.
- Д р а н н и к о в а Н.В., Р а з у м о в а И.А., *Исторический город в современном фольклоре*, [в:] *Славянская традиционная культура и современный мир*, вып. 13: *Традиционная культура современного города*, под ред. А.С. Каргина, Москва 2010.
- З м е е в а О.В., Р а з у м о в а И.А., *Фольклорно-этнографические реалии в системе локальной символики (на материале северных ‘исторических’ городов)*, [в:] *„Калевала” в контексте региональной и мировой культуры*, под ред. И.И. Муллонен, Петрозаводск 2010.
- История Архангельского Севера*, под ред. Н.П. Лаверова, Архангельск 2001.

- „Калевала” в контексте региональной и мировой культуры, под ред. И.И. Муллонен, Петрозаводск 2010.
- Каторга и ссылка на Севере России, под ред. М.Н. Супруна, Архангельск 2006.
- Крестинин В.В., *Краткая история о городе Архангельском*, Санкт-Петербург 1792.
- Крупкин П.Л., *Эволюционная теория архетипов Юнга: архетипические моменты в структуре коллективной идентичности*, „Публичное управление: теория и практика” 2010, № 3–4, с. 303–311.
- Крупкин П.Л., Лебедев С.Д., *К сакральным основаниям локальных идентичностей в современной России: опыт структурного анализа*, „Социологический журнал” 2013, № 4, с. 35–48.
- Куратов В.А., Архангельск, [в:] *Поморская энциклопедия*, т. 1: *История Архангельского Севера*, под ред. Н.П. Лаверова, Архангельск 2001, с. 42.
- Куратов В.А., *Северодвинск*, [в:] *Поморская энциклопедия*, т. 1: *История Архангельского Севера*, указ. соч., с. 364.
- Мельник А.Г., *Никола-Корельский монастырь второй половины XVI века и русская святость*, „Соловецкое море. Историко-литературный альманах” 2013, № 12, с. 37–40.
- Мельник Т.Ф., *Яеринский ИТЛ в Молотовске*, [в:] *Каторга и ссылка на Севере России*, под ред. М.Н. Супруна, Архангельск 2006.
- Морозова Е.В., Улько Е.В., *Локальная идентичность: формы актуализации и типы*, „Политэкс” 2008 № 4, с. 139–151.
- Огородников С.Ф., *История Архангельского порта*, Санкт-Петербург 1875.
- Поморская энциклопедия*, т. 1: *История Архангельского Севера*, под ред. Н.П. Лаверова, Архангельск 2001.
- Разумова И.А., *Культурные ландшафты Кольского Севера. Социально-антропологические очерки*. Санкт-Петербург 2009.
- Разумова И.А., *Про академика Ферсмана, ‘обманный камень’ и ‘лунный пейзаж’: современный фольклор заполярного города*, „Живая старина” 2004, № 1, с. 16–19.
- Рябининские чтения – 2015*, под ред. Т.Г. Ивановой, Петрозаводск 2015.
- Славянская традиционная культура и современный мир*, вып. 13: *Традиционная культура современного города*, под ред. А.С. Каргина, Москва 2010.
- Трошина Т.И., *Великая война... Забытая война... Архангельск в годы Первой мировой войны (1914–1918)*, Архангельск 2008.
- Шмигельский Л.Г., *Ченслер (Ченслор, Чанселлор) Ричард*, [в:] *Поморская энциклопедия*, т. 1: *История Архангельского Севера*, под ред. Н.П. Лаверова, Архангельск 2001, с. 436–437.
- Шубин С.И., *Северный край в истории России: проблемы региональной и национальной политики в 1920–1930-е гг.*, Архангельск 2000.

PRZESZŁOŚĆ JAKO NAUCZYCIELKA I ŹRÓDŁO NADZIEI.
WPROWADZENIE DO HISTORIOZOFII ANDRIEJA SACHAROWA

THE PAST AS A TUTOR AND A SOURCE OF HOPE.
AN INTRODUCTION TO THE HISTORIOSOPHY OF ANDREI SAKHAROV

BARTOSZ GOŁĄBEK

ABSTRACT. The aim of this paper is to discuss the idea of *the past* based on Andrei Sakharov's essay titled *Progress, Coexistence and Intellectual Freedom* edited in 1968. Looking through the Stalinist era in the USSR, Sakharov concludes that without dealing with the Stalinist past, there is no hope of achieving peace, progress and stability in international affairs between the two main Cold War adversaries: USSR and USA.

Bartosz Gołąbek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków – Polska,
bartosz.golabek@uj.edu.pl

Fizyk-teoretyk, działacz społeczny, deputowany czasu pieriestrojki i wreszcie autorytet i wielki humanista, Andriej Dmitrjewicz Sacharow, to przykład osobowości, której intelektualna przemiana i forma osobistej, społecznie motywowanej walki ze stalinowskim reżimem zadziwiają i imponują do dziś. Andriej Sacharow zasłynął w dziejach ZSRR (ale i świata) jako jeden z największych umysłów i filarów tajnego atomowego programu w ZSRR. To pierwsze oblicze uczonego. Inna i zapewne ciekawsza strona jego publicznej działalności to aktywność w obronie praw człowieka. Mimo wielu osobistych wątpliwości i strachu, w drugiej połowie lat 60. XX wieku uczony dojrzał do otwartej, publicznej refleksji na temat broni masowego rażenia i krytyki śmiercionośnego i społecznie szkodliwego systemu, który przez wiele lat osobiście współtworzył. Upublicznienie trosk, które trapiły go od pewnego czasu, nastąpiło relatywnie późno, ale aktywność na polu walki o wolności obywatelskie w ZSRR i jego intelektualny dorobek w tym zakresie są równie imponujące, jak dokonania w dziedzinie fizyki. To właśnie ten moralny i etycznie motywowany gest wybitnego, choć skromnego fizyka zdefiniował w dużej mierze formację dysydencką w ZSRR drugiej połowy lat 60. i późniejszych, stając się dla niej, a także dla świata, znakomitym intelektualnym autorytetem i moralnym drogowskazem¹.

¹ Norweski Komitet Noblowski przyznał Andriejowi Sacharowowi Pokojową Nagrodę Nobla w 1975 roku. W 1988 roku Parlament Europejski ustanowił nagrodę imienia

Spośród wielowątkowego dorobku intelektualnego tego wybitnego obrońcy praw człowieka, zawartego w wystąpieniach, listach, tekstach publicystycznych i wspomnieniowych, wątki przeszłości i historii pojawiają się jako tło dla jego intelektualnej i moralnej postawy. Trzeba podkreślić, że noblista właściwie nie planował zebrania swoich myśli i intuicji w zwartej formie pisemnej. Wszystko to, co ukazało się spod jego pióra w latach 70. i 80. XX wieku, jest właściwie zasługą intuicji jego żony Jeleny Bonner, która uznała, że sprawy, którymi się zajmował, i związane z nimi przemyślenia wymagają takiego właśnie sformalizowanego ujęcia w formie tekstu². Sam Sacharow uważał, że o ile faktycznie kwestie te mają ważne znaczenie, to np. zdolność do literackiego ich ukształtowania nie była jego mocną stroną, o czym wprost głosił na kartach swych wspomnień³. Wydaje się, iż należy zgodzić się z myślicielem, że z filologicznego punktu widzenia ta strona jego twórczości nie jest najsilniejsza, ale klarowność przekazu i uporządkowanie tekstu, jak na praktyczny umysł przystało, zasługują na wyróżnienie.

Podjmując wątek historiozofii w tekstach Sacharowa, należy sformułować pewne zastrzeżenia, które wynikają ze specyfiki tej twórczości i jej chronologicznych uwarunkowań. Należy bowiem jasno stwierdzić, iż znaczna część jego refleksji i intuicji nabrała kształtu dopiero w latach 70. XX wieku, choć, jak wiadomo, przemyślenia te były mu właściwe już w latach 50. XX stulecia, o czym mamy okazję dowiedzieć się z jego wspomnień. Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest przyjęcie dwóch dróg dotarcia do wiedzy odnośnie sposobu widzenia historii i świata przez Sacharowa. Po pierwsze źródłem tym są listy i petycje do władz państwowych, które trafiały na biurko uczonego, a przygotowywane były przez różnorakie grupy inicjatywne. Sacharow chętnie brał udział w takich kampaniach jako autor, dzięki czemu pośrednio możemy ocenić, jaką ideologiczną postawę wówczas reprezentował. Takie pisemne deklaracje w postaci petycji powstawały jeszcze przed ogłoszeniem drukiem wspomnień i dzienników Andrieja Sacharowa, które nie pozostawiają już żadnych wątpliwości odnośnie ideologicznego stanowiska ich autora. Przykładem takiego właśnie dokumentu jest jeden z pierwszych zaangażowanych politycznie i podpi-

Andrieja Sacharowa, której laureaci stanowią przykład niezłomnej walki o prawa człowieka na całym świecie. Pierwszym laureatem nagrody był Anatolij Marczenko, przyjaciel Andrieja Sacharowa, który został nią uhonorowany pośmiertnie za walkę o uwolnienie radzieckich więźniów sumienia.

² Patrz: *Wstęp do Wspomnień Andrieja Sacharowa* – „Летом 1978 года по настоянию Люси, при некотором сопротивлении с моей стороны, ею преодоленном, я начал писать первые наброски воспоминаний”. А. С а х а р о в, *Воспоминания*, т. 1, Москва 2006, s. 9.

³ *Ibidem*, s. 617.

sanych przez Sacharowa listów do władz ZSRR. Jest to pismo radzieckich uczonych i intelektualistów, tzw. *list dwudziestu pięciu*, skierowany 14 lutego przed XXIII zjazdem KPZR w 1966 roku do Leonida Breżniewa. Jego sygnatariusze oponowali przeciwko rehabilitacji Stalina, do której, zgodnie z ich informacjami, miało dojść na zjeździe. Autorzy listu twierdzili, że deklaracje prasowe czy wystąpienia wielu działaczy politycznych poprzedzające XXIII zjazd KPZR wskazywały wyraźnie na próbę odwrócenia wektora odwilży, przynajmniej w zakresie oczyszczenia dobrego imienia Józefa Stalina. List, którego asygnatariuszem był Andriej Sacharow, prezentował jednoznacznie antystalinowskie stanowisko:

Мы считаем, что любая попытка обелить Сталина, таит в себе опасность серьезных расхождений внутри советского общества. На Сталине лежит ответственность не только за гибель бесчисленных невинных людей, за нашу неподготовленность к войне, за отход от ленинских норм в партийной и государственной жизни. Своими преступлениями и неправыми делами он так извратил идею коммунизма, что народ это никогда не простит. Наш народ не поймет и не примет отхода — хотя бы и частичного — от решений о культе личности. Вычеркнуть эти решения из его сознания и памяти не может никто⁴.

To jeden pierwszych dokumentów, w którym Sacharow, do tej pory znany w środowisku partyjnym głównie jako wybitny fizyk teoretyk, pracujący dla państwa na rzecz stworzenia najbardziej śmiertelnej broni, jaką znała ludzkość, mógł zająć stanowisko poprzez złożenie swojego podpisu, a co za tym idzie i autorytetu. W swoich wspomnieniach Sacharow jednoznacznie odnotował, że podpisał ten list jako jeden z pierwszych, ale po latach dostrzegł w nim pewne braki w argumentacji, które sprawiły, że tekst nie był do końca zgodny z jego przekonaniami:

Сейчас, перечитывая текст, я нахожу многое в нем „политиканским”, не соответствующим моей позиции (я говорю не об оценке преступлений Сталина — тут письмо было и с моей теперешней точки зрения правильным, быть может несколько мягким, — а о всей системе аргументации). Но это сейчас. А тогда участие в подписании этого письма, обсуждения с Генри и другими означали очень важный шаг в развитии и углублении моей общественной позиции⁵.

Są to stwierdzenia formułowane *ex post* i pochodzą ze wspomnień, które Sacharow zaczął spisywać pod namową żony Jeleny Bonner latem 1978 ro-

⁴ Письмо 25-ти деятелей советской науки, литературы и искусства Л.И. Брежневу против реабилитации И.В. Сталина, [w:] Электронная библиотека и архив Социальная история отечественной науки; <http://www.ihst.ru/projects/sohist/>. Dokument zachowany w archiwum autora.

⁵ А. С а х а р о в, *Воспоминания...*, op. cit., s. 582.

ku⁶. Tam właśnie, dziesięć lat po liście 25-ciu, w wielu miejscach przejawia się jego antystalinowskie, ale ostatecznie nie antyradzieckie stanowisko:

Очень скоро я изгнал из этого мира Сталина (возможно, я впустил его туда совсем ненадолго и не полностью, больше для красного словца, в те несколько эмоционально искаженные дни после его смерти). Но оставались государство, страна, коммунистические идеалы. Мне потребовались годы, чтобы понять и почувствовать, как много в этих понятиях подмены, спекуляции, обмана, несоответствия реальности⁷.

Te sformułowania z rozdziału *Wspomnień*, poświęconego śmierci Józefa Stalina, wyrażają jednak pewną nadzieję na korektę polityki sowieckiego państwa. Odrzucenie stalinizmu z jednej strony, ale pozostanie przy komunistycznych ideałach z drugiej to nadzieja Sacharowa. W tym fragmencie swoich wspomnień uczony poszukuje po latach pewnego oczyszczenia i usprawiedliwienia, albowiem kilka fraz wcześniej jednoznacznie odnotował swój aktywny udział we wzmacnianiu militarnego potencjału powojennego ZSRR, a co za tym idzie także i Stalina. Ta autorefleksja wzbogaca naszą wiedzę o ludzkich rozterkach pryncypialnego obrońcy praw człowieka, jakim stopniowo stawał się Andriej Sacharow. Idealizacja ZSRR nie jest w perspektywie wspomnień Sacharowa możliwa, a tym bardziej tożsama z idealizacją osoby i postępów Józefa Stalina. Te kwestie wiary w wodza ZSRR wybitny fizyk pozostawia w przeszłości swej skomplikowanej biografii.

To swoiste wyznanie jest także właściwym początkiem krytycznej, publicznej drogi Sacharowa-dysydenta. Jego działania, inspirowane z zewnątrz, jak choćby list, o którym mowa wyżej, a także inne motywacje otworzyły drogę do jego dalszych, coraz odważniejszych ideologicznych i politycznych gestów, w których wyrażał osobiste rozumienie rosyjskiej i światowej historii. Z jego wspomnień można wyczytać wiele z postawy autora, a zwłaszcza kontekst jego intelektualnej przemiany, czy też dojrzewania, do przejścia na stronę krytyków stalinowsko-breżniewowskiego reżimu. Historia pojawia się na kartach wspomnień jako tło do biografii, zwłaszcza te jej elementy, które dotyczą młodych lat uczonego, jeszcze przed Wielką Wojną Ojczyźnianą i bezpośrednio po niej⁸. Kolejne wątki biografii to stopniowe utwierdzanie się fizyka, nie bez powodu, w byciu współodpowiedzialnym za bieg historii, zwłaszcza od momentu, kiedy

⁶ Część z nich została utracona przy niejawnym przeszukaniu w listopadzie 1978 roku, część skradziona przez KGB w 1981 roku. W latach 1981–1982 Sacharow podjął się odtworzenia utraconych zapisków.

⁷ А. С а х а р о в, *Воспоминания...*, op. cit., s. 363.

⁸ Nagromadzenie wątków i refleksji historycznych we *Wspomnieniach* jest tak obfite i różnorodne, iż w ocenie autora niniejszego tekstu wymaga ujęcia w odrębnej analizie.

zaangażowany w konstrukcję i testy bomby wodorowej na potrzeby ZSRR Sacharow zaczyna dostrzegać swoją osobistą rolę i miejsce w potencjalnie tragicznym rozwoju wypadków. Na te przemyślenia nakłada się nieodległa przeszłość ZSRR, która podlega krytycznemu osądowi ze strony jądrowego fizyka, obserwatora politycznej ewolucji powojennego stalinizmu.

Pora na dojrzałą refleksję przychodzi zgodnie z tą chronologią dopiero wówczas, kiedy stymulowany różnymi bodźcami zewnętrznymi i wewnętrznymi rozważa nie tyle istotę swych badań, co daleko idące konsekwencje wprowadzenia ich rezultatów w życie. Kolejne próbne eksplozje, wahania i związane z nimi moralne wątpliwości popychały uczonego w kierunku swoistego oczyszczenia, intelektualnego katharsis.

Jaka zatem postawa i idea względem historii i przeszłości wynika z tych autorefleksyjnych treści? Ocena nie jest prosta, albowiem Sacharow nie ujmował tych rozważań w kategoriach filozoficznych. Jego relacja z przeszłością ZSRR jest wyłożona w sposób klarowny, ale z dozą osobistego zaangażowania w opisywane realia. Warto skupić się w tym miejscu na jednym z najważniejszych świadectw swoistej historiozofii uczonego, czyli dokumencie otwarcia idei, czy też doktryny⁹, Sacharowa. Tekst nazywany jest przez niego broszurą, ale w rzeczywistości mimo relatywnie niewielkiej objętości stanowi swoiste intelektualne *credo* Sacharowa wkraczającego w 1968 roku, na fali interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, na ścieżkę otwartego dysydenctwa. *Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе* to jeden z najmocniejszych wykładów przekonań Sacharowa na początku jego opozycyjnej działalności¹⁰.

Sacharow w maju przekazał przygotowany rękopis do samizdatu, wysłał jeden egzemplarz na ręce Leonida Breżniewa, ale ostatecznie tekst ten trafił do publicznej i międzynarodowej świadomości 6 czerwca w 1968 roku, wywieziony poza granice ZSRR i opublikowany częściowo przez tamizdat. 6 czerwca wydrukował go amsterdamski dziennik „Het Parool”, a 22 czerwca – amerykański prestiżowy „The New York Times”. Publikacja dość szybko została rozpropagowana w periodykach niektórych wyższych uczelni w USA, a jej charakter i autorstwo wywołały ożywioną dyskusję¹¹.

⁹ Tak o pisarstwie i idei Sacharowa mówi autor eseju-wstępu do jego dzieł zebranych dysydent i przyjaciel Sacharowa, Jefrem Jankielewicz: Е. Я н к е л е в и ч, *Альтернативы Сахарова*, [w:] А. С а х а р о в, *Тревога и надежда*, т. 1, Москва 2006, s. 15.

¹⁰ W języku polskim odnaleźć można jedynie fragment tego tekstu opublikowany w podziemnej oficynie Myśl, a jego tytuł w tłumaczeniu Wiesławy Górskiej brzmi: *Rozmyślenia o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej*. Patrz: A.D. S a c h a r o w, *Rozmyślenia, wywiady, propozycje, artykuły*, Wydawnictwo „Myśl”, b. m. [Warszawa], b. r. [1990].

¹¹ Świadectwo tej debaty można odnaleźć w informatorze bibliograficznym dotyczącym życia i intelektualnej działalności A. Sacharowa. Patrz: Е.Н. С а в е л ь е в а,

Warto pochylić się nad tym tekstem, albowiem obok wielu innych istotnych politycznie i społecznie kwestii, ważnych w ówczesnym ZSRR i świecie, jego autor w pewnych obszarach odnosi się także do dziejów Europy w XX wieku. Z formalno-strukturalnego punktu widzenia esej-memorandum składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest zagadnieniom bezpieczeństwa i stanowi swoistą diagnozę o „stanie świata”. Wiele miejsca poświęca Sacharow zagrożeniom, jakim musi w jego odczuciu sprostać ludzkość. Są to wymienione w następującym porządku zjawiska takie jak: zagrożenie wojną jądrową, zagrożenie głodem, zagrożenia ekologiczne (geohigiena), zagrożenie rasizmem, militarystycznym i dyktaturami, zagrożenie dla swobody intelektualnej.

Pierwszym zagrożeniem, które identyfikuje Sacharow, jest zagrożenie wojną termojądrową. To oczywisty kontekst jego zawodowych i intelektualnych zainteresowań. W swym eseju zajmuje jednak stanowisko wychodzące poza dotychczasowe służbowe prerogatywy, które przez lata mogły być rozwijane wyłącznie w charakterze tajnych raportów i analiz. Po omówieniu znanych myślicielowi technicznych możliwości zagłady świata w wyniku wojny z użyciem broni masowego rażenia, które wówczas w 1968 roku zgodnie z najlepszą wiedzą Sacharowa były już ogromne, następuje w tekście sformułowanie pewnych perspektyw odejścia od wojennego napięcia. Pośród gorących punktów na mapie świata, które mogą doprowadzić do głębokiego kryzysu, Sacharow dostrzega między innymi Bliski Wschód wraz z młodym państwem Izrael, Wietnam oraz w jego ocenie najwidoczniej wciąż jeszcze w 1968 roku nierozwiązaną ostatecznie kwestię Niemiec. Postulaty Sacharowa, kierowane do przywódców ZSRR i USA, brzmią ze współczesnej perspektywy dosyć prostodusznie, ale bez wątpienia sięgają sedna problemów związanych z nierównościami społecznymi, politycznymi i ograniczaniem praw człowieka. W *Rozmyślaniach* sformułowane są następujące zalecenia dla polityki międzynarodowej: narody mają prawo do samostanowienia, oparte o Powszechną Deklarację Praw Człowieka i ONZ, wszystkie próby eksportu rewolucji i kontrewolucji powinny być nielegalne, a próby ingerencji w struktury polityczne innych państw celem rozszerzenia strefy wpływów powinny zostać wyeliminowane. Tłem do tych rozważań jest część tekstu poświęcona rasizmowi, nacjonalizmowi i reżimom militarystycznym i dyktatorskim. To kolejna istotna z punktu widzenia jego poglądu na historię część broszury Sacharowa, która w szczególności poparta została swoistą interpretacją nieodległej przeszłości ZSRR. Biorąc pod uwagę rok upublicznienia tekstu przez Sacharowa, który ukazał się już ponad 10 lat od sławnego tajnego referatu Nikity Chruszczowa

podczas XX zjazdu KPZR, gdzie polityk mierzył się z duchami stalinizmu, można stwierdzić, iż antystalinowski tekst Sacharowa z *Rozmyślań...* doskonale mieści się w idei odwilży nawet z naddatkiem. Warto w tym miejscu wspomnieć jednak, iż relacje fizyka z przywódcą państwa radzieckiego Nikitą Chruszczowem, choć nie były zbyt częste i bezpośrednie, to jednak już od pewnego czasu, przed publikacją *Rozważań...* uległy znacznemu pogorszeniu. Sacharow po raz pierwszy miał okazję spotkać Chruszczowa już w roli szefa państwa w 1959 roku podczas narady międzyresortowej na Kremlu. We wspomnieniach fizyka wyraźnie odznaczony został element swoistej przemiany radzieckiego przywódcy, który jeszcze w latach 1953–1955 sprawiał wrażenie polityka trzymającego się nieco w cieniu, aby następnie wyrosnąć od 1956 roku na samodzielny lidera państwa¹². Wydarzenia decydujące o zmianie stosunku Chruszczowa do bodaj najwybitniejszego z uczonych pracujących przy badaniach jądrowych miało miejsce 10 czerwca 1961 roku na Kremlu. Na specjalnie zorganizowanym zebraniu członków partii i władz państwa z uczonymi z programu atomowego doszło do otwartego sporu między uczonym a przywódcą ZSRR. Chruszczow zakomunikował na nim swą decyzję o powrocie do systematycznych prób jądrowych w ZSRR. Był to czas, kiedy przekonania Sacharowa na temat ekologicznej i społecznej szkodliwości prób jądrowych, a także wzmacniające się przekonania polityczne nie dawały uczonemu spokoju przy wykonywaniu obowiązków służbowych. Nie znajdując innej formy, ale zdobywając się na odwagę, Sacharow przekazał podczas spotkania za pośrednictwem uczestników spisana naprędce odręcznie notatkę z informacją-zapytaniem kierowanym do Chruszczowa, której kluczowy fragment, odtworzony z pamięci uczonego we *Wspomnieniach*, brzmiał mniej więcej tak:

Czy nie sądzicie, że wznowienie doświadczeń zaszkodzi w sposób trudny do naprawienia rozmowom o zakazie prób nuklearnych i całej sprawie rozbrojenia oraz zapewnienia pokoju na świecie?¹³

Uwaga ta spotkała się z bardzo ostrą, publiczną reakcją Chruszczowa. Konflikt między wybitnym akademikiem a premierem ZSRR, który przybierał na sile w związku z usztywnianiem się stanowiska Sacharowa względem polityki ZSRR, nie wpłynął jednak istotnie na poglądy uczonego o Chruszczowie. Wspomnienia fizyka, spisywane, jak już wiadomo, w latach 70. XX wieku, nie noszą znamion jakiegokolwiek niechęci, a wręcz przeciwnie. Chruszczow w optyce Sacharowa jawi się jako postać, której działania stawiają go w pierwszym rzędzie zasłużonych dla pokoju na świecie:

¹² А. С а х а р о в, *Воспоминания...*, op. cit., s. 466.

¹³ Ibidem, s. 476. Tłumaczenie na język polski, którym się tu posługuję, pochodzi z polskiego wydania *Wspomnień A. Sacharowa* opublikowanych w 1991 roku w przekładzie Danuty Ulickiej (s. 174).

Но от многих догм Хрущев отошел; именно это, вместе с природным умом и желанием оказаться на высоте положения, — источник его заслуг, **которые перевешивают, как я считаю, на весах истории его ошибки и даже преступления**¹⁴ (wyróżnienie moje — B. G.).

Co więcej, ostatnie lata rządów Chruszczowa Sacharow ocenia negatywnie głównie ze względów słabych, niemądrych doradców otaczających polityka.

Strategia analizy politycznej Sacharowa w tym przypadku niebezpiecznie zbliża się do znanego stereotypowego ujęcia „dobry car i źli bojarzy”, z tym jednak zastrzeżeniem, iż być może była to także aluzja do ówczesnych rządów Leonida Breżniewa i jego otoczenia, które pchnęło ZSRR z powrotem w objęcia konserwatywnych stalinistów. Uprawdopodobnić tę tezę może stosunek wybitnego fizyka wobec Stalina i epoki stalinizmu, wyrażony na stronach *Rozmyślań...* Ostry, krytyczny ton przyjmuje część broszury poświęcona nacjonalizmowi i militaryzmem, która omawia kryzys polityczny i tragedię stalinizmu. Sacharow niewątpliwie korzysta w tym miejscu ze szlaku przetartego już przez samego Chruszczowa, inicjatora politycznego odprężenia i głównej krytyki stalinizmu. Biorąc pod uwagę jego generalnie pozytywny stosunek do Chruszczowa, fizyk, publikując broszurę, staje się w jakimś sensie jego porte parole, dosadnie i ostro podejmując krytykę politycznych działań Stalina w zdecydowanym i nieczęstym dotąd zestawieniu porównawczym z reżimem Adolfa Hitlera.

Faszyzm w Niemczech przetrwał 12 lat, a stalinizm w ZSRR dwukrotnie dłużej — pisze Sacharow.

Эта специфика сталинизма имела одним из своих следствий то, что самый страшный удар был нанесен против советского народа, его наиболее активных, способных и честных представителей¹⁵.

Zresztą to właśnie antynarodowa praktyka stalinizmu, jak uważa fizyk, mogła stać się wzorcem dla rozwiniętego nieco później zbrodniczego systemu hitlerowskiego. Sacharow powołuje się tu na autorytet historyka Aleksandra Niekricza, który w 1965 roku opublikował w ZSRR w Wydawnictwie „Nauka” książkę pt. *22 czerwca 1941 roku*, tekst, który w sposób absolutnie szczerzy, nieznanym dotąd powszechnie w ZSRR, dekonspirował rzeczywiste relacje stalinowskiego ZSRR i III Rzeszy. Sacharow odwołuje się także do dramatu polityki lat 30. w ZSRR, do represji, tortur i prześladowań wykonywanych na polecenie Stalina przez służby NKWD, do dramatu wsi i brutalnego, nieludzkiego procesu jej rozkułaczania. Stalinowski dogmatyzm, pisze Sacharow, i odklejenie od realnego życia objawił się szczególnie na wsi — w polityce nie dającej się wytrzymać eksploatacji, grabieżczych konfiskat i praktycznie pańszczyźnianego traktowania chłopstwa.

¹⁴ А. С а х а р о в, *Воспоминания...*, op. cit., s. 464.

¹⁵ А. С а х а р о в, *Тревога и надежда*, op. cit., s. 25.

Krytyka i negatywna ocena dotyczą także radzieckich „obozów śmierci”, jak nazywa Sacharow wszystkie obozy pracy w systemie GUŁAGu, a także polityka narodowościowa realizowana wobec krymskich Tatarów, Niemców z Powołża, Kałmuków i innych środowisk. Niebagatelną rolę w opresyjnej polityce Stalina miała zdaniem Sacharowa także jego ukrajinofobia.

Wskazane zbrodnie determinują według myśliciela wszelkie relacje w społeczeństwie poststalinowskim. Na stronach *Rozmyślań...* Sacharow wyraził również ubolewanie, że nie udało się doprowadzić do pośmiertnego usunięcia Józefa Stalina z KPZR, a także rehabilitacji ofiar stalinizmu, co w jego ocenie mogło mieć miejsce w 1964 roku, przy okazji zmiany władzy na Kremlu¹⁶.

Druga część broszury to wykład o nadziejach dla ludzkości, które autor dostrzega, mimo śmiertelnego zwarcia dwóch wrogich wobec siebie światów. W pewnym uproszczeniu chodzi rzecz jasna o dwóch politycznych aktorów zimnej wojny, świat kapitalistyczny i socjalistyczny, USA i ZSRR. Rozwiązaniem problemu napięć w dwubiegunowym świecie dostrzega Sacharow w rozumnej konwergencji systemu kapitalistycznego z socjalistycznym:

Капиталистический мир не мог не породить социалистического; но социалистический мир не должен разрушать методом вооруженного насилия породившую его почву — это было бы самоубийством человечества в сложившихся конкретных условиях¹⁷.

W dalszej części tekstu Andriej Sacharow w kilku punktach podaje, najszybsze jego zdaniem, drogi rozwiązania problemów zimnowojennego świata. Są to zmiany w strukturze własności w krajach socjalistycznych i towarzyszące im jednocześnie socjalne reformy w państwach kapitalistycznych. Nadzieja Sacharowa oparta jest na dobrej wierze wobec intencji głównych graczy na międzynarodowej scenie politycznej. Ci jednak powinni w jego odczuciu odrzucić swoje partykularne interesy dla dobra ogółu¹⁸. Te dość naiwnie i idealistycznie brzmiące tezy są być może owocem

¹⁶ Stąd późniejsze listy i starania o potępienie Stalina, w których wziął udział Andriej Sacharow i o których była mowa wyżej, kierowane do Leonida Breżniewa.

¹⁷ А. С а х а р о в, *Тревога и надежда*, op. cit., s. 42.

¹⁸ Andriej Sacharow również w administracji USA poszukiwał ludzi chętnych do dialogu i dążących do niekonfrontacyjnych rozstrzygnięć w negocjacjach międzypaństwowych. Pewne nadzieje w tej kwestii dawała początkowo 35 prezydentura w USA, sprawowana przez demokratę Johna Kennedy'ego, ale została zmarnowana przez radzieckiego przywódcę. Myśliciel wskazuje tu na niewłaściwą postawę Nikity Chruszczowa, który w jednym z wystąpień publicznych na Kremlu miał ostro zareagować na prośbę amerykańskiego prezydenta o zachowanie pewnego rodzaju kredytu życzliwości i zaufania ze strony przywódcy ZSRR. Oczekiwanie to zostało wyrażone przez Johna Kennedy'ego

obserwacji przemian, jakie w latach 60. przechodził ZSRR, ale także przemian zachodzących w duchowości samego fizyka. Odwilż inspirowana przez Nikitę Chruszczowa, tego, który jeszcze do niedawna u boku Stalina milcząco współrealizował najbardziej zbrodnicze projekty systemu, wielu wydawała się zapewne absolutnie nierealna. A jednak doszło do przełamania i swoistego, choć niezbyt głębokiego, osądu stalinizmu. Uważny obserwator tego procesu, a w pewnym sensie także jego beneficjent, jakim był Andriej Sacharow, publikujący swe postulaty w 1968 roku, miał prawo do nadmiernego patosu i idealizmu w formułowanych sądach. Analizując biografię uczonego, należy także podejrzewać, że na takim postrzeganiu rzeczywistości zaważyły również jego cechy osobowościowe.

Rozmyślania o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej kończy fragment poświęcony pożądanej przez autora projekcji przyszłości, włączywszy w to zalecenia lub plany umożliwiające rozstrzygnięcie najbardziej palących kwestii. Sacharow pisze tu o współpracy międzynarodowej i dialogu opartym na nauce i wiedzy, pisze o walce z głodem, sugeruje opracowanie w ZSRR nowego prawa informacyjnego, dającego większą swobodę wypowiedzi, postuluje kasację praw, które są antykonstytucyjne, i amnestię więźniów politycznych¹⁹. Być może najważniejszy dezyderat uczonego zawarty w tym tekście odwołuje się do zainicjowania zdecydowanego i nieodwołalnego procesu destalinizacji sowieckiego systemu politycznego. Jest to odwołanie niezależnego umysłu do piekielnej nieodległej historii, która obciąża narody funkcjonujące w tym systemie. Zrzucenie jarzma stalinizmu jest kwestią obowiązkową i warunkiem koniecznym do tego, aby nadzieje uczonego na dialog międzynarodowy w dobie zimnej wojny mogły się ziścić. Paradoksem biografii Sacharowa jest to, iż nie uczestniczył czynnie jako żołnierz w wielkiej wojnie ojczyźnianej, zwycięskiej kampanii wielkiego Stalina, ale już w czasie powojennym był jednym z filarów kontekstu nowej, zimnej wojny, jako intelektualny wysoki oficer sowieckiego programu zbrojeniowego. Lekcja płynąca z mroków stalinizmu lat 30. XX wieku ma dla fizyka charakter ponadnarodowy, zwraca on uwagę na możliwość odrodzenia się bądź kontynuacji w niektórych regionach świata tego rodzaju twardej dyktatury.

w kontekście politycznych wewnętrznych ograniczeń i braku doświadczenia jego nowej administracji, wprowadzonej do Białego Domu na początku 1961 roku. Taka zdecydowana i grubiańska w opinii Sacharowa wypowiedź Nikity Chruszczowa miała mieć miejsce 10 lipca 1961 roku na spotkaniu ze specjalistami ds. atomistyki w Moskwie. Patrz przypis A. Sacharowa w broszurze *Rozmyślania...: А. С а х а р о в, Тревога и надежда*, op. cit., s. 43.

¹⁹ Sacharow osobiście najintensywniej zaangażowany był w proces uwolnienia dwóch literatów – Julija Daniela i Andrieja Siniawskiego, co stało się dopiero w 1970 i 1971 roku.

Broszura Andrieja Sacharowa opublikowana w 1968 roku w pewnym zakresie koresponduje z pokojową i pozarządową inicjatywą o nazwie *Pugwash* z 1955 roku, firmowaną przez zachodnich myślicieli i uczonych fizyków. Oświadczenie wygłoszone przez brytyjskiego filozofa Bertranda Russela w dziesiątą rocznicę tragicznych zrzutów ładunków atomowych na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki²⁰ było równocześnie jednym z ostatnich publicznych aktów działalności genialnego fizyka Alberta Einsteina i nadało tej idei światowego prestiżu. Inicjatywa *Pugwash* od 1957 roku podjęła działanie na rzecz pokoju na świecie poprzez ograniczenie prac związanych z rozwojem bomby atomowej i przeciwdziałanie konfliktowi zbrojnemu z użyciem tej śmiertelnej siły.

Tak zwany *Manifest Einsteina i Russela*, sygnowany między innymi także przez wybitnych teoretyków atomistyki polskiego pochodzenia – Józefa Rotblata i Leopolda Infelda, być może nie był znany Sacharowowi w 1968 roku, wiadomo jednak, że od 1975 roku, kiedy radziecki uczony został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla, jego intelektualne związki z tą organizacją nabrały pewnej dynamiki²¹. Różnica między inicjatywą z *Pugwash* a późniejszym wystąpieniem Sacharowa jest jednak zasadnicza. Radziecki fizyk z wielką atencją odniósł swoje rozważania na temat przyszłości stanu świata do nieodległej historii swojego państwa. Pogłębiona analiza historyczna jest wartością dodaną i pełniej opisuje międzynarodową rzeczywistość. Jego broszura oprócz walorów postulatywnych ma także wartość wspomagającą konstrukcję nowego pokojowego świata. Opiera się ona na wciąż jeszcze trudnej w ZSRR w 1968 roku krytycznej analizie i interpretacji epoki stalinizmu, zwłaszcza fatalnych społecznie i politycznie dla sowieckiego państwa lat 30. XX wieku.

W optyce Andrieja Sacharowa dyktatura stalinowska z jej okrucieństwami jest bolesną nauką nie tylko dla ZSRR, ale i dla całego świata. Wyciągnięcie z niej właściwych wniosków może dać nadzieję na bezpieczny i zrównoważony rozwój nawet w obliczu zimnowojennego napięcia. Stalinizm stanowi w poetyce tekstu *Rozmyślań o postępie, pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej* trudną lekcję, której rzetelne odrobienie przez obie strony zimnowojennego konfliktu może określić warunki postępu i drogi ku pokojowi. Odczytywane dziś antywojenne, antytotalitarne i wolnościowe idee Andrieja Sacharowa sprzed ponad czterdziestu lat w wielu punktach porażają swą ponadczasowością. Współczesne realia wskazują na to, iż obecne relacje międzynarodowe, a także istnienie specyficznej Patrio-

²⁰ Oświadczenie zostało wygłoszone 9 lipca 1955 roku w Londynie, ale konferencje uczonych odbywały się w *Pugwash* w kanadyjskiej prowincji Nowa Szkocja od 1957 roku.

²¹ Sacharow, nie opuszczając ZSRR, w 1975 i 1982 roku kierował do uczestników konferencji *Pugwash* listy.

tyczno-konserwatywnej, jak niektórzy zauważają, neoimperialnej linii ideowej i atmosfery swoistego rewanżyzmu we współczesnej Rosji, chyba jak nigdy dotąd świadomego dziedzica ZSRR w jego najbardziej ekspansjonistycznych przejawach, skłaniają dziś do powtórnej lektury i rzetelnej analizy odwilżowej myśli Sacharowa.

Bibliografia

S a c h a r o w A.D., *Rozmyślania, wywiady, propozycje, artykuły*, Wydawnictwo „Myśl”, b. m. [Warszawa], b. r. [1990].

Письмо 25-ти деятелей советской науки, литературы и искусства Л.И. Брежневу против реабилитации И.В. Сталина, [w:] Электронная библиотека и архив Социальная история отечественной науки; <http://www.ihst.ru/projects/sohist/>

С а в е л ь е в а Е.Н., *Андрей Дмитриевич Сахаров. Библиографический справочник II. Литература о жизни и деятельности*, кн. 1, Москва 2010.

С а х а р о в А., *Воспоминания*, т. 1, Москва 2006.

С а х а р о в А., *Тревога и надежда*, т. 1, Москва 2006.

Я н к е л е в и ч Е., *Альтернативы Сахарова*, [w:] А. С а х а р о в, *Тревога и надежда*, т. 1, Москва 2006, s. 15.

ИСТОРИКО-ГЕОПОЭТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ НАРРАТОРА
В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ ИВАНА ШМЕЛЕВА *СИДЯ НА БЕРЕГУ*

HISTORICAL AND GEOPOETIC PERSPECTIVE ON NARRATION
IN THE SERIES OF SHORT STORIES
SITTING ON THE RIVER BANK BY IVAN SHMELEV

DOROTA HORCZAK

ABSTRACT. The article is devoted to an analysis of the historical and geopoetic perspective on narration in the series of Ivan Shmelev's short stories *Sitting on the River Bank*. In these works, the geographical area of France becomes the prism through which the narrator perceives and interprets the cultural space of Russia.

Dorota Horczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
horczakd@amu.edu.pl

Цикл рассказов Ивана Шмелева *Сидя на берегу* был написан во Франции, в начальный период эмигрантской жизни автора. Произведения цикла спаивает повествовательная перспектива, совмещающая одновременно внешний мир и внутреннюю точку зрения¹ субъекта речи. В поле зрения нарратора и реципиента его высказывания главным образом ситуируется французская часть побережья Атлантического океана. Перцепция данной территории охватывает очертания ее топографии и те подробности ландшафта, которые вызывают ассоциации с русской природой. Читателю передается ощущение, что французский локус существует как параллельный, оттеняющий особенности русской земли.

Начиная с первого рассказа, т. е. *Океан*, лейтмотивно вводится разграничение между обоими локусами как „здешним” / „чужим” либо „далеким” / „нашим”. Элементы природы являются показателем отдаленности или схожести на данном полюсе, например: „здешние леса глухи”; „сосны не наши” (198)²; „океан [...] приходит неслышно, как

¹ См. Н. Д. Т а м а р ч е н к о, *Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия для студентов*, авт.-сост. Н. Д. Тamarченко, РГГУ, Москва 2001, электронный вариант: <http://philologos.narod.ru/tamar/t16.htm> (10.09.2015).

² И. Ш м е л е в, *Сидя на берегу*, [в:] его же, *Собрание сочинений: в 5 т., т. 2: Въезд в Париж. Рассказы. Воспоминания*, Москва 2004, с. 198. Все цитаты приводятся по этому изданию, номера страниц указаны в скобках.

половодье наше"; „розовато-бледно цветет тамариск, сонный, цветами, похожими на наши"; „здесь много кустов веселых, — цветут они золотисто, как наш акатник"; „дороги по сосняку сыпучи, совсем как наши. И мох такой же. [...] Кричат петухи за лесом, как там, в далеком..." (199).

Рефренное повторение притяжательного местоимения *наши* имитирует ритмический „шепот качанья" (199) *чужого* океана, который „отплескивает время" (198). Простор океана с его приливами и отливами, с качанием волн становится постепенно общей акваторией, связывающей разные пространственно-временные координаты: настоящее (актуальное) — французское и прошлое — русское.

Если геопоэтический взгляд³, понимаемый как культурный, охватывает/включает перцепцию современной географической территории с учетом исторически насыщенного прошлого данного пространства⁴, то в цикле *Сидя на берегу* актуальное пространство приобретает трансгрессивный характер. Взгляд автобиографического повествователя, ситуированный в географических реалиях французского побережья, охватывает реалии отечественного исторического и культурного прошлого. Здесь изображение обоих хронотопов не сводится лишь только к выдвиганию параллельных аспектов, а нарратив не приобретает исключительно статуса дескрипции местностей.

Элементы настоящего географического места проецируют культурно-исторический образ иного пространства (Москвы, России), постоянно актуализирующегося в сознании субъекта речи. Точками соприкосновения служат в основном элементы мира природы.

Куда ни гляди — все вереск, тихий, сиротский, вдовый. Я беру скромные цветочки — крохотные кувшинчики, похожие на брусничку нашу. [...] Я долго гляжу на них... что-то меня к ним тянет, смиренной грустью. Как-то они мне близки, словно в них что-то наше, невидное никому, ненужное, — скорбная доля наша (216).

В ментально-эмоциональной точке зрения шмелевского нарратора географические координаты Франции охватывают „духовную картогра-

³ Здесь употребляется более привычный, хотя не совсем однозначный, термин (об этом пишет Эльжбета Рыбицка: „sama geopoetyka jest pojęciem nader nieostrym, wynika to przede wszystkim z jej poetyckiej genealogii, ale też w dużym stopniu z retoryki White'a"); не игнорируется при этом факт, что в современных исследованиях на тему значения культуры в перцепции пространства и локуса выделяется несколько дисциплин. Подробнее см.: E. R y b i c k a, *Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć*, „Białostockie Studia Literaturoznawcze" 2011, nr 2. См. также: ее же, *Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich*, Kraków 2014.

⁴ Ср.: E. R y b i c k a, *Literatura, geografia: wspólne terytoria*, [в:] *Od przestrzeni poetyki do geopoetyki*, pod red. E. Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2012, с. 23.

фию"⁵ России, а обе страны размещаются в своего рода „ментальном континенте“⁶ рассказчика (интересно, что идентификация выражается сравнительными формулами типа „что-то наше“, „как наши“, которые наличествуют во всем цикле; усиливаются же — в виде заключения — в финальном рассказе *Вереск*).

Ментальное пересечение повествователем границ Франция — Россия и Россия — Франция является последствием вынужденного путешествия, эмиграции. Эмиграция функционирует здесь как своеобразный тип „фазового пространства“ со всеми вариантами „движения“, т. е. перемещения субъекта. Как отмечает Игорь Сид,

где бы не осуществлялось путешествие: в наземном ландшафте, во внешне однообразном океане, в мире снов, в виртуальных или мифологических мирах, в любых фазовых пространствах — каждому моменту путешествия соответствует включенная в маршрут определенная точка пространства (неважно, реального, виртуального или воображаемого)⁷.

Как известно, геопоэтический взгляд учитывает факт влияния культуры на понимание и восприятие пространства и места⁸. В эмиграционном цикле рассказов Ивана Шмелева „берег“ является той географически-метафорической „точкой“ пространства, которая автору и читателю позволяет видеть изображенные места в историческом и культурном свете. Метафора „берега“ спаивает географический и литературный образы, выполняя функцию своеобразной „реакции на уничижительное расчленение мира и души“⁹, как выразился инициатор геопоэтического мышления Кеннет Уайт. Поэтика текстов Шмелева, „великого мастера слова и образа“¹⁰, основывается на „совмещении“ визуальных и речевых приемов формирования мира произведения, в данном случае — на художественной компиляции образов территории и секвенций внутреннего монолога повествователя.

⁵ Адаптация формулировки Кеннета Уайта на основании: В. Г о л о в а н о в, *Геопоэтика Кеннета Уайта*, [в:] *Геопоэтика и географика*, Г. Гринева, В. Голованов, Д. Замятин, В. Березин, А. Балдин, Р. Рахматуллин, Н. Замятина, П. Балдин, „Октябрь“ 2002, № 4; электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/october/2002/4/publ-pr.html> (04.06.2015).

⁶ Там же.

⁷ И. С и д, „*Власть Маршрута*“. *Постановка проблемы*. (*Геопоэтика*), [в:] электронный ресурс: <http://www.russ.ru/Mirovaya-rovostka/Vlast-Marshruta.-Postanovka-problemy> (09.01.2013).

⁸ Е. Р у б и с к а, *Геопоэтика, геокритика, геокультурология...*, указ. соч., с. 38.

⁹ В. Г о л о в а н о в, *Геопоэтика Кеннета Уайта*, указ. соч.

¹⁰ И. А. И л ь и н, *О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин — Ремизов — Шмелев*, [в:] его же, *Собрание сочинений: в 10 т.*, т. 6: кн. I, сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы, Москва 1996, с. 384.

Эльжбета Рыбицка, которая геопоэтическим исследованиям посвящает много внимания, индексирует три основных составляющих, которые формируют художественный локус: личный опыт субъекта изображения, призма „памяти“, то есть „архив“ культуры, а также воображение, моделирующее два первых компонента¹¹. Данные элементы, выделенные Рыбицкой в художественных кодах литературного текста, послужат в настоящей статье ориентирами, помогающими проследить историко-геопоэтическую позицию повествователя текстов Ивана Шмелева.

„Актуальная“ географическая территория в цикле *Сидя на берегу* представлена довольно выразительно, но однозначно не определена. Топографические координаты указаны с помощью лапидарных замечаний, позволяющих локализовать пространственную точку зрения нарратора в южно-западной части Франции. Цикл начинается с обобщенной дескрипции места: „иду на пустынный берег, к океану“ (198), и завершается сжатым пояснением: „даль до того прозрачна, что дымные Пиренеи видно“ (215). Информация о географическом пространстве дополняется представлением французов именно как жителей данной территории, с некоторыми оттенками их речи, поведения, активности и темперамента. Наблюдаемые рассказчиком лица изображаются в их собственном, привычном для французов, культурно-социальном контексте.

Повествователь, однако, смотрит на Францию извне и с этой перспективы выявляет как географические, так и культурные ее особенности. Весомым оказывается факт, что лирический взгляд субъекта речи обусловлен ассоциациями и параллелями с природой именно отечественных мест. Французский ландшафт изображается Шмелевым как эмоционально близкий, отождествляющийся с образами русской природы, которые, в свою очередь, ассоциируются с культурно-духовным „ландшафтом“, своеобразием духовной и исторической жизни русского народа. Внешний географический пласт мира произведений насыщен нюансами характерными и для сферы внутренней, духовной.

Образ океана из первого рассказа шмелевского цикла пронизан семантикой „небытия“, ассоциируется с библейским описанием хаоса, существовавшего до сотворения мира. „Бездумный, первозданный, великое мертвое лицо, — свинцом на дали. [...] Бурный, мертво гремит валами. Тяжелое его качанье — неподвижно, вечно. Воистину, — пустота, бескрайность мертвого бытия“ (198). Значение хаоса и смерти сопровождается и усиливается в шмелевском тексте с помощью стилистических приемов повествования, насыщенного лексемами („хмурь“,

¹¹ E. R y b i c k a, *Literatura, geografia: wspólne terytoria*, указ. соч., с. 23.

„мрак“, „небытие“, „пустота“), метафорическими оборотами („на берегу — вне жизни“, „провал в вечность“, „порваны нити с каруселью жизни“, „гаснут мысли“), а также выражениями, определяющими время („древнее“, „вечность“). Библизмы „воистину“ и „бытие“ еще плотнее связывают образ хаоса с библейским, указанным в начальной книге Ветхого Завета („Земля же была безвидна и пуста, [...] тьма над бездною”¹²). Отсутствие жизни до сотворения мира иллюстрирует и состояние человека как „праха земного“ до момента его оживления, когда Бог „вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою“ (Быт. 2,7). Метафорической проекцией человеческого „не-бытия“ в *Океане* является образная параллель *океан — народ*. „Человеческий океан где-то шумит и плещет, качается неподвижно в бесчисленном счете“ (200). Состояние „мертвого“ существования приводит рассказчика к риторическому вопросу: „живая душа, где ты?“ (200). Поиск ответа, неотделимый от поиска „жизни“, осуществляется путем очередного применения аналогии к библейской поэме о сотворении мира. Ветхозаветная фраза о тьме и бездне завершается в Священном Писании указанием источника будущей жизни: „Дух Божий носился над водою“ (Быт. 1,2).

Шмелевский повествователь подобным образом отмечает момент внутреннего выхода из символизированных океаном „хаоса“ и „небытия“. „Оцепеневшая мысль проснулась и вскрыла бившееся во мне, живое. [...] Живая сила, чужая мертвым [...]. Дух бытия живого. [...] Я чувствовал бытие живое, борьбу великого сна и яви“ (198). Внутреннее ощущение жизни субъектом речи сопровождается оживлением природы вокруг него. Повествователь перемещается в глубь леса, где вместо свинцового океана появляется образ живой природы. Ее описание содержит перечисление разнородных элементов — проявлений жизни: „цветет тамариск“; „много кустов веселых“; „сосны посветлее“; „много солнца“; „кричат петухи“; „кукушки считают годы и перебои их радостны“; „благовест дальней церкви“ (199). Именно благодаря 'голосам жизни' („крик петухов [...], кукушкин призыв [...] и благовест дальней церкви“ (200)) всплывает в памяти то „родное“ — отечественное, что кажется мертвым, но подает признаки жизни: „я слышу шепот побитой правды, живую душу“ (200).

Визуальные и слуховые сигналы жизни сходятся у Шмелева в семантике света и раскрываются в мотиве „солнца“, присутствующем в описании мира природы, а также в идее „надежды“, относящейся к определенным этапам национальной истории. Свет, противопостав-

¹² Книга Бытие, 1, 2, [в:] Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, 2-е изд., Брюссель 1983.

ленный тьме „хаоса“ и „небытия“, служит очередным звеном „становления жизни“. Возникновение света является одним из ключевых моментов библейского представления процесса сотворения мира. „И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы“ (Быт. 1,4). Авторское слово *Книги Бытие* вводит читателя в светлое начало сотворенного мира, красота и благо которого восхищали Творца: „И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма“ (Быт. 1,31). „Думы о светлом прошлом“ (200) повествователя цикла *Сидя на берегу* воссоздают новый образ России подобным образом, т. е. путем отделения его взгляда от настоящего „небытия“ родины в ее дореволюционном укладе и обращения взора в сторону „света“ – прежнего блеска и красоты отчизны.

Мысли рассказчика о прошлом вскрывают минувшее „пространство“ с его духовным и культурным „жизненным“ началом, что выражают ключевые сентенции: „вот – бытие, живое, душа над тленьем. Не безумное мертвое качанье, [...] свинцовая даль, пустая, – а Дух ведущий – святое в человеке“ (200).

В очередных трех рассказах цикла появляется своего рода перечисление „святых“ и „животворящих“ аспектов вспоминаемого прошлого. Переплетаются в них элементы, связанные с линиями географической, духовной и исторической „картографии“ России.

Траектория мыслей повествователя в каждом из миниатюрных произведений цикла имеет свое начало в общем французском регионе, откуда направляется в сторону исторического хронотопа России, останавливаясь то на давних временах, то на недавнем прошлом.

Начиная с рассказа *Крестный ход* мотив жизни появляется в религиозно-общественном контексте. Вариативно повторяющийся образ океана служит здесь метафорой православного народа. Образный параллелизм усиливает значение многолюдья, что иллюстрируют обобщения: „тысячи голосов“; „зыбится океан народа“ (201), „шумит океан народный“, „течет и течет, в топоте тысяч, тысяч“ (201); „над черными жаркими волнами“ (т. е. головами – Д. Х.); „великий рокот“; „течет потоком“ (202). Численное могущество символизирует единство и духовную силу людей, участвующих в крестном ходе. „Тысячи голосов поют, но единое сердце бьется“ (200); „взрывно гремит, победно несется к небу. Шумит океан народный, несметную силу чувствует: тысячелетие нес знамена!“ (201). В презентации „народного океана“ рассказчик градационно переходит от того, что внешне впечатляет, к проявлению его внутренней мощи. Внутренняя, духовная сила связана с устойчивой многовековой верой народа и верностью православной традиции, что символически выражает несение хоругвей. „Бородатые мужики-медведи, [...] головы запрокинув в небо, ступают тяжелой ступью [...]. Тяжелы древние хоругви: века на них“ (201). В прямом смысле „хо-

ругви" представляют собой иконографическое изображение Бога и святых. В рассказе *Крестный ход* находим два основных знамени, первый из которых — это „Спасов Великий Лик" (201) с проблеском „Ярого Ока", второй же — образ Богородицы: „в снежно-жемчужном платье, благостная, ясно взирает лаской" (201). Иконы, символизирующие активное присутствие Творца в истории народа, указывают на Его приметы, как источник надежды людей, обращающихся к Богу словами (приводимых в тексте Шмелева) песен: „Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный" (201); „Царю Небесный... Утешителю, Душе Истины" (200); „Упование рода христианского" (200). Икона имеет и другое значение. Она высвечивает приметы Творца в освященном народе. Этот двойной смысл отображается в метонимическом выражении нарратора: „Святое идет в цветах. Святое — в Песне..." (201). Описываемое религиозное событие, в духовно-смысловом центре которого находится „крест" и „Спас", связано с пасхальными событиями: распятием и воскресением Христовым. Пасха, центральный христианский праздник, отсылает к ветхозаветной книге *Исход*, описывающей историю выхода израильтян из египетской земли рабства, с чудесным переходом сквозь Чермное море и путем к обетованной земле. Пасха Христа дарует новую жизнь не только в исторически-земном, но и в эсхатологическом смысле, поэтому понимается как *re-creatio*, новое сотворение и оживление мира. В рассказе Шмелева появляется мотив „новых храмов", синестезийная обрисовка которых полна ассоциаций с „обновленной жизнью". „Цветное, легкое-кружевное, в новом, задорном блеске, колет глаза сверканьем. Молодостью смеется, заскакивает бойко, бьется стеклянно-звонко" (201).

Ассоциирующийся с шумом океана „шорох знамен священных" (202) вспоминается повествователю в контексте утраты духовной жизни и ожидания нового *recreatio*. Риторические вопросы: „придет ли Великий День? [...] Услышу ли гул надземный — русского моря-океана?.." (202) несут в себе ответ, предчувствованный в контексте библейской истории. Актуальная (послереволюционная) историческая ситуация „похода на Голгофу" понимается как „крестный ход" русской нации: „страстной, незримый [...]. Без звона идет и без хоругвей, и Песен святых не слышно, но невидимо Крест на нем. Подземный стняющий гул, топот уставших ног, бремя невыносимо" (202). Согласно же логике пасхального перехода, путь народа направляется в сторону воскресения. „Изнемогая, течет и течет он морем к невидимым еще стенам далекого Собора, где будет Праздник" (202).

Своеобразное продолжение мотива праздника, с сопровождающим его мотивом жизни находим в следующем рассказе, озаглавленном *Золотая Книга*. Исходной точкой рефлексии литературного су-

бъекта является колорит французского побережья. Он насыщен оттенками золота и солнечного света. Источник — „заросли золотого дрока и золотого терна. Всюду они, — волнами, холмами золотыми, — куда ни взглянешь. В солнце они пылают, и долго стоят в глазах их яркие, праздничные пятна” (202). Цветовая доминанта природы отсылает наблюдателя к импрессии, вызванной „великопраздничным, парадным” (203) Евангелием, читаемым во время службы по поводу торжественного праздника. Рассказчик вспоминает эту Книгу как „живую, великую, окованную блеском, в сиянии огней” (202) и останавливается на литургическом жесте ее возвышения. „Над преклоненными головами плывет, кольшась, закованная блеском, великая Золотая Книга, — Евангелие [...]. Поднято Оно с Престола и вознесено над храмом” (203). Иконографический символ света как божественной сферы дополняется параллелью „вознесения”, неотделимого от торжества Воскресения. Божье слово — „Весть Благая”, „живое слово” (203), с одной стороны, упоминается в качестве давнего освящения, духовного возвышения народа, с другой же — как слово, актуализирующееся в жизни людей. Недавнее для Шмелева прошлое не описывает, как в Евангелии, страсти Христовы, а воссоздает их в общественно-исторических реалиях России. Автобиографический нарратор повторяет убеждение „простого человека, деревенского слесаря-пьянчужки” (203): „Про нашу Россию теперь... в Евангелие писать надо, как Страсти Христовы! [...] и читать в церкви, благословясь!...” (203).

Авторское слово поясняет отношение России и „Благой Вести” в следующем хронологически рассказе *Город-призрак*. В нем с Евангелием связана идея вечности, нетленности, божественности. Она появляется уже в начале лаконичного введения темы города. „Он явился моей душе; нетленный, предстал на небе” (203). Следуя за повторяющимся приемом ассоциации *французская территория — русское прошлое*, повествователь приводит сцену, когда, отдыхая в лесной тишине залива и всматриваясь в небо, он заинтересовался необычными конфигурациями движущихся облаков, напоминающих городские холмы и башни. „Купола за куполами, один над другим, рядами, как на гравюрах старых «Святого Града»: храмы над храмами, в серых стенах из камня” (203). Среди них на мгновение выделился, превышая остальные церкви, Храм Христа Спасителя. Описание его производится не с опорой на силуэт облаков, „призрака”, а на основании архитектурных особенностей реального прототипа. Приоритетное внимание уделяется величию сакрального здания: „все придавило Храмом. [...] Видный на всю Москву, совсюду блистающий сияньем, за многие версты видный, со всех концов, он давит своею массой” (204). Синонимическими определениями служат слова, входящие в семантическое поле понятия „кре-

пость, непоколебимость, мощь", иногда упрочняемые риторическим восклицанием, например: „какая сила!", и характеризующие собор и другие здания Москвы: „камень", „серебро", „медь", „тяжелая масса", „чугунный", „башенно-стенной" (204). Храм в шмелевском представлении, напоминающем гравюрное изображение, неотделим от других значимых мест города. „Святой центр" по принципу синекдохи не только объединяет „крепости" Москвы, но и становится своеобразной иконой „нетленной" столицы и всей России. Особое место занимает кремлевский комплекс, как „хранитель славы, святынь российских, хранитель былых страданий" (204). Повторяющаяся лексема „хранитель" подчеркивает значение „закрепления во времени", в истории. Вариант этого значения появляется в связи с перечисляемыми рассказчиком славными именами. „Александр Невский, Дмитрий Донской, Владимир, Ольга..." (204). Память о них, как память о „Святителях" и, одновременно, о „собиравшейся ратными силами России", неизгладима: „высечено веками в камне" (204). Понятие „крепости" синонимически относится к большому количеству исторических лиц, благодаря которым Россия была „собрана, крепко сбита", не только в смысле государственной, но и духовной силы. Авторская „благая весть" о светлых днях России выражается образом-гравюрой „Святого Града".

Культурные ассоциации, связанные с литературной картиной „Святого Града", приводятся и в контексте „Святого Китежа". Библийское и легендарное начало спаивает два рассказа — два изображения Москвы. Во втором повествовании о столице рассказчик использовал впечатляющий вид вечернего океана, насыщенного огненно-красной колористикой заходящего солнца. „Чудесная игра света" (206) в рассказе *Москва в позоре* приводится однако в ностальгически-грустном тоне. Эманация света, представленная в предыдущих произведениях цикла в позитивном ракурсе и наделенная возвышенностью, радостью, надеждой и благом, в данном тексте связана с „закатом" как синонимом тьмы и умерщвления. В таком ключе подобраны определения, характеризующие запад как „прощание солнца" (206), которое „тонет в океане" и „последняя его искра гаснет". Рисуеться метафорический образ океана в контексте наступающего мрака: „померкли дали, колыхается океан бездумный, синее ночью" (206). Оппозиция *свет — мрак*, использованная в дескрипции вечернего французского побережья, на этот раз отсылает читателя к оппозиции *Святой Китеж — Москва*. Если давний, мифологический Китеж продолжает жить („соборы его [...] нетленно живут донныне, в глубоком Светлояре"; „сокрылся Китеж до радостного Утра, чистый" (206)), то погруженная в гражданской войне Москва „покорно лежит и тлеет" (206). Ореолом столицы оказывается огонь разрушения: „дым и огни разрывов над куполами Храма, блески

орлов кремлевских из черной ночи, вспышки крестов и вышек" (206), „тревожные блески колоколен" (209). Уничтожение охватывает все то, что входило в категорию „Святого Града" и относилось к знаменам как его „святости", так и „крепости". „Вижу побитый Кремль, пробитые купола соборов" (208). Следование за гидом-рассказчиком позволяет заметить те элементы исторически-духовной „картографии" заглавной „Москвы в позоре", которые представляют ее как анти-Китеж. Вместо Святителя, „замазанного краской, забитого досками" (208) появляются „стада" и поочередно „беспутный гомон под красными лоскутами в блесках"; „похотливый, разгульный выкрик", „грязь", „пьяная Москва-река в разгульных лодках", „воплъ православного народа" (208). Теряется значение духовного центра столицы: „Храм, золотой, зеркальный, в пьяной реке метался" (208).

Рассказ о темной стороне истории обрамлен кольцевым повтором метафорического эпитета „дымный закат". Благодаря такому композиционному приему смутное время отграничивается от предыдущего, светлого периода. Аналогичная стратегия видна в рассказе *Russie*, хотя здесь композиционным кольцом служит образ лесного берега в момент океанского прилива и отлива. Инициальная часть повествования фокусируется на симптомах умирания. „Крабы [...] заходят в вереск, путаются и остаются, когда океан уходит. Медузы истаивают в блеске, усыхают морские звезды" (209), а финал речи сигнализирует отсутствие жизни: „остался грязный песок да тина" (214). Между двумя стратегически важными замечаниями приводится речь иностранцев, которые „злобно, насмешливо, высокомерно" (213) перечисляют (в качестве компонентов отрицательного образа страны) пороки отчизны повествователя. Их список включает содержание газетных статей, сводящих характеристику России к трем суммарным определениям: „гиблая, мертвая, лихая" (214). Композиционно-образная параллель между рассказами *Москва в позоре* и *Russie* выявляет разные по характеру факторы, ведущие к умерщвлению „Святого Града". Внутренний сводится к активности „стаи", внешним же оказывается многоголосие „клеветы и злобы", в котором „ни слова ласки, ни одной светлой точки" (214). Оба текста обнаруживают меняющийся статус Москвы / России. Вместо того чтобы являться „Благой Вестью", она стала „притчей", „пугалом" (214).

В таком же „притчевом" ключе, как описание России, можно интерпретировать и образ чужбины-Франции, метонимически представленный в портрете антипатичной рыбачки. „Живописная издали, она оказалась грубой, усатой, желтеющей, с тяжелыми жесткими глазами" (214). Возникающая в рассказе *Вереск* параллель *Россия – Франция* имеет обобщенный смысл и может относиться к историческим и культур-

ным „темным пятнам“ любого народа. Как ни парадоксально, символической точкой схождения в этой параллели является прибрежное растение вереск, определенный метафорическими эпитетами „тихий“, „сиротский“ и „вдовый“ [...], „цветы неплодной земли, пустынной, грустной“ (216).

Последний текст цикла, *Вереск*, не лишен и мотива „праздника“ – очередной категории, спаивающей художественные картины России и Франции. „Сегодня как будто праздник, – такое солнце! Весь океан – как новый, синий до черноты и блеска, свежий. [...] И ветер свежий [...]. Отлив сияет, колет стеклянным блеском“ (215). „Новый“ образ океана, символизирующий праздник и возбуждающий радость, не скрепляет прежней территории повествователя с актуальной столь сильно, как ощущение покоя, которое дает созерцание леса, ассоциирующееся с церковно-литургической атмосферой. Сосны напоминают колонны, а их шум „будто орган церковный“; „как будто – ладан? Тихий церковный воздух“ (215). Приведенное описание леса как своеобразного церковного интерьера, свойственного восточным и западным храмам, объединяет в духовном смысле обе сакросферы: французскую и русскую. В этом контексте мотив праздника оттеняет библейское, литургическое и универсальное его значение.

Географический образ французского побережья созерцается повествователем сквозь призму национальных и библейских коннотаций. Доминирующей оказывается перцепция истории собственного народа в свете библейского повествования о ключевых моментах „жизни“, начиная с сотворения (*creatio*) мира через его *re-creatio*, которое имеет сотериологический характер, и заканчивая эсхатологическим завершением. Данный порядок, соблюдаемый в христианской Пасхальной Литургии, присущ также циклу рассказов *Сидя на берегу*. Мотив смерти связан в нем с мотивом сотворения и искупления как духовного возрождения. Если образ мира, сотворенного Богом и наделенного необычной красотой природы рая, отсылает традиционно к Ветхозаветному представлению места счастливой жизни человека, то для Шмелева природа сохраняет статус „рая“ также в духовном и „пророческом“ смысле, как предзнаменование будущего „*recreatio*“ России. В контексте библейской семантики „смерти“ и „воскресения“ знаменательно звучат процитированные в миниатюре *Вереск* строки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, антитетически изображающие осень: „Унылая пора, очей очарование...“ (216). Пушкинское слово символически венчает в цикле Ивана Шмелева историко-культурную рефлексия нарратора, спровоцированную наблюдением географической территории.

Библиография

- Г о л о в а н о в В., *Геопоэтика Кеннета Уайта*, [в:] *Геопоэтика и географика*, Г. Гринева, В. Голованов, Д. Замятин, В. Березин, А. Балдин, Р. Рахматуллин, Н. Замятина, П. Балдин, „Октябрь” 2002, № 4; электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/october/2002/4/publ-pr.html> (04.06.2015).
- И л ь и н И.А., *О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Бунин – Ремизов – Шмелев*, [в:] его же, *Собрание сочинений: в 10 т.*, т. 6: кн. I, сост. и коммент. Ю.Т. Лисицы, Москва 1996.
- Книга Бытие, 1, 2*, [в:] *Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета*, 2-е изд., Брюссель 1983.
- С и д И., „*Власть Маршрута*”. *Постановка проблемы. (Геопоэтика)*, [в:] электронный ресурс: <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Vlast-Marshruta.-Postanovka-problemy> (09.01.2013).
- Т а м а р ч е н к о Н.Д., *Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия для студентов*, авт.-сост. Н.Д. Тамарченко, РГГУ, Москва 2001, электронный вариант: <http://philologos.narod.ru/tamar/t16.htm> (10.09.2015).
- Ш м е л е в И., *Сидя на берегу*, [в:] его же, *Собрание сочинений: в 5 т.*, т. 2: *Въезд в Париж. Рассказы. Воспоминания*, Москва 2004.
- R y b i c k a E., *Geopoetyka, geokrytyka, geokulturologia. Analiza porównawcza pojęć*, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2011, nr 2.
- R y b i c k a E., *Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich*, Kraków 2014.
- R y b i c k a E., *Literatura, geografia: wspólne terytoria*, [в:] *Od przestrzeni poetyki do geo-poetyki*, pod red. E. Konończuk i E. Sidoruk, Białystok 2012.

HISTORIOZOFIA ALTERNATYWNA W PROZIE WIKTORA PIELEWINA.
NA PRZYKŁADZIE POWIEŚCI *EMPIRE V* I *BATMAN APOLLO*

ALTERNATIVE HISTORIOSOPHY IN VIKTOR PELEVIN'S PROSE.
THE EXAMPLE OF *EMPIRE V* AND *BATMAN APOLLO*

MATEUSZ JAWORSKI

ABSTRACT. The aim of the paper is an attempt to interpret Viktor Pelevin's *Empire V* and *Batman Apollo* in the context of alternative historiosophy. The author of the article tries to interpret the notion of history within the aforementioned works by Pelevin, who perceives human history as a well-organized machine which imposes suffering on the weak.

Mateusz Jaworski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
matjaw@amu.edu.pl

Literatura piękna w tradycji obszaru rosyjskiego kręgu kulturowego w XIX i XX wieku zajmowała miejsce wyjątkowe w porównaniu z percepcją tekstów artystycznych na obszarze Europy Zachodniej. Podstawowym wyróżnikiem czytelnictwa rosyjskiego, szczególnie w wieku XX, była olbrzymia skala wpływu literatury na kształtowanie się tożsamości narodowej, postaw społecznych i systemu aksjologicznego. Jako potwierdzenie powyższej tezy może służyć słynny wiersz Jewgienija Jewtuszenki rozpoczynający się od słów: „Поэт в России – больше, чем поэт”¹, który stanowi jednoznaczną konstatację wyjątkowości statusu literatury w tym kraju. Przyczyny owego niezwykłego zainteresowania tekstami artystycznymi wśród Rosjan mają zarówno charakter wewnętrzny – masowe czytelnictwo jako wynik wysokiej jakości dzieł autorstwa całej plejady klasyków na skalę światową, m. in. Aleksandra Puszkina, Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tołstoja, Andrieja Bielego, Andrieja Płatonowa, Aleksandra Sołżenicyna czy Warłama Szalamowa, jak i charakter zewnętrzny w stosunku do samego procesu historycznoliterackiego – m. in. wyjątkowy status społeczny artysty w XIX-wiecznej Europie, wchłonięcie dyskursu filozoficznego w Rosji², dialog z nowymi

¹ Е. В т у ш е н к о, *Поэт в России – больше, чем поэт*, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.stihi.ru/2007/11/17/1193> (10.09.2015).

² M. P o d s t a w s k i, *Uciekinierzy z Aten. Rosyjska filozofia XIX i XX wieku wobec 'niepозnawalności boga'*, „HYBRIS” 2013, nr 20, s. 40–41.

formami pojawiającymi się w różnych częściach świata. W danym kontekście nie do przecenienia jest także rola warstwy ideowej literatury rosyjskiej, tj. ciągle eksponowanie uniwersalnych idei związanych z historiozofią, ontologią, epistemologią, etyką, estetyką czy teologią. To swoiste *status quo* odbioru literatury w codziennym życiu Rosjan uległo przewartościowaniu wraz z rozpadem Związku Sowieckiego, kiedy to do głosu doszło pokolenie twórców ostatniego pokolenia uformowanego w czasach dyktatu reżimu socjalistycznego. Jak zauważa rosyjska badaczka Tatiana Markowa, owa zmiana polegała przede wszystkim na przesunięciu akcentów z polityczno-ideologicznego na komercyjno-rynkowy, przez co przy wartościowaniu utworów literackich zaczęły być uwzględniane nieobecne (lub drugorzędne) dotąd: sława i pieniądze³. Zatem należy podkreślić, że proza końca XX i początku XXI wieku znalazła się w sytuacji wyjątkowej zarówno przez sam fakt istnienia zewnętrznego imperatywu w postaci wymaganej przez wydawnictwa wysokiej poczytności, jak i przez sam kształt publiczności literackiej tego czasu. Gusta rosyjskich czytelników, podlegających swoistej inwazji produktów i idei zachodnich⁴, w takiej sytuacji musiały ulec radykalnej zmianie, co z kolei nie mogło pozostać niezauważone przez twórców.

W tym nowym środowisku literackim debiutowała nowa generacja pisarzy świadomych wyżej nakreślonych zmian. Wśród owych twórców zaś jedno z eksponowanych miejsc zajmuje niewątpliwie Wiktor Pielewin, autor kilkunastu powieści, które, pomimo pozornego ciężenia ku rozrywkowej literaturze masowej, niezmiennie stanowią przenikliwą analizę struktury współczesnego społeczeństwa rosyjskiego w świetle najnowszych wydarzeń historycznych⁵. Twórczość tego rosyjskiego prozaika cieszy się olbrzymią popularnością zarówno w świecie krytyki literackiej, o czym świadczy imponująca ilość publikacji naukowych jej poświęconych⁶, jak i w oczach masowego czytelnika. Dzieła Wiktora Pielewina były i są interpretowane w rozmaitych kontekstach, wśród nich zaś jako główne perspektywy odczytania można wymienić: zmiany społeczne i modernizację⁷, solipsyzm

³ Patrz: T. M a r k o w a, *Четыре кратких сюжета на тему „Авторские стратегии 2000-х”*, „Toronto Slavic Quarterly” 2013, no. 44, s. 49-50.

⁴ Por. B. N o o r d e n b o s, *Breaking into a New Era? A Cultural-Semiotic Reading of Viktor Pelevin*, „Russian Literature” 2008, no. 1, p. 85-107.

⁵ Por. S. K h a g i, *From Homo Sovieticus to Homo Zapiens: Viktor Pelevin's Consumer Dystopia*, „The Russian Review” 2008, no. 67, s. 559-579.

⁶ Warto zaznaczyć, że utwory Wiktora Pielewina nie tylko zostały przetłumaczone na wszystkie wiodące języki świata, ale także stanowią przedmiot zainteresowania badaczy zarówno w Europie, jak i przede wszystkim w Azji, Ameryce Północnej i Australii.

⁷ Patrz: M. Л и п о в е ц к и й, А. Э т к и н д, *Возвращение тритона: советская катастрофа и постсоветский роман*, „НЛО” 2008, № 94; S. K h a g i, *From Homo Sovieticus...*, op. cit.

i motywy buddyjskie⁸ oraz historię⁹. Ostatnie z powyższych zagadnień stanowi perspektywę ogląda dla niniejszego tekstu, jako że utwory autora *Małego palca Buddy*, niezależnie od czasu i miejsca, w których są umiejscowione, mają ogromny potencjał interpretacyjny w postaci koncepcji stworzenia myśli historiozoficznej *na nowo*, lub inaczej: nowego zdefiniowania pewnej inherentnej logiki wydarzania się historii. Dalsze rozważania o powyżej zaznaczonej problematyce zostaną powiązane z próbą odczytania dwóch powieści Wiktora Pielewina: *Empire V* i *Batman Apollo*.

Autor *Życia owadów*, w czasie jednego z nielicznych wywiadów zapytany o percepcję historycznego aspektu swoich utworów w Rosji, odpowiedział: „Historia Rosji jest czymś, co było przepisywane na nowo co pięć lat. Teraz została przepisana ponownie. To tylko taka gra”¹⁰. Stwierdzenie to stanowi istotny komentarz do sposobu traktowania historii w ramach utworów Pielewina, demaskując jej totalny relatywizm poprzez swoistą grę polegającą na żonglowaniu elementami rzeczywistymi i zmyślonymi. Interesującym zdaje się być fakt, że prowadzenie owej gry realizuje się w tekstach autora *T* nie tylko w przypadku prozy stylizowanej na historyczną (przede wszystkim *Mały palec Buddy* i *Смотритель*), ale także w dużej mierze w utworach fantastycznych czy nawet science-fiction (np. *S.N.U.F.F.*, *Empire V* i *Batman Apollo*). Należy zaznaczyć, że cechą charakterystyczną piśmarstwa Pielewina, a także szerzej: całego nurtu prozy postmodernistycznej w Rosji i na świecie, jest fascynacja konspirologią, która w zaskakujący sposób dopełnia elementy dyskursu historycznego¹¹. Proza autora *Życia owadów* konsekwentnie podkreśla ambiwalencję i potencjał przebiegu najnowszej historii Rosji do poddawania się interpretacji konspirologicznej. Ta swoista historiozofia wypełniania luk i zaciemnionych elementów w historii pierwiastkiem z-myślonym, czy może do-myślonym, jest stałym chwytem stosowanym przez Wiktora Pielewina już w jego wczesnych utworach (*Omon Ra*), który wraz z rozwojem prozy rosyjskiego twórcy nabierał coraz większego znaczenia w jego poetyce powieściowej.

⁸ Patrz: Т. К а з а р и н а, Виктор Пелевин: слово и тело, [w:] źródło elektroniczne: http://www.phil63.ru/files/mix_10_009.pdf (10.09.2015); С. У л ь я н о в, Пелевин и пустота, [w:] źródło elektroniczne: <http://pelevin.nov.ru/stati/o-ulan/1.html> (10.09.2015).

⁹ Patrz: Р. Ш у б и н, История как предмет пародии в „Диалектике переходного периода” Виктора Пелевина, „Studia Rossica Posnaniensia” 2015, nr 40, cz. 1, s. 65–76; А. Л о б и н, Роман-утюпия В. Пелевина „S.N.U.F.F.”: проблема жанра и концепция истории, „Известия Саратовского университета” 2013, № 4, т. 13, s. 91–97.

¹⁰ W. P i e l e w i n, C. B l a i s e, Wywiad udzielony na Uniwersytecie Iowa, 1996, [w:] źródło elektroniczne: https://www.youtube.com/watch?v=X_G-CUUCFEM (10.09.2015). Tłumaczenie własne – M. J.

¹¹ K. L i v e r s, *The Tower or the Labyrinth: Conspiracy, Occult, and Empire-Nostalgia in the Work of Viktor Pelevin and Aleksandr Prokhanov*, „The Russian Review” 2010, no. 69, s. 477–503.

Powieści *Empire V* i *Batman Apollo* mogą być odczytane jako dyptyk – nie tylko ze względu na wspólne elementy fabularne (główni bohaterowie, ciągłość zdarzeń, miejsce akcji etc.), ale także z uwagi na niewątpliwą koherencję przedstawienia, a przede wszystkim interpretacji wydarzeń historycznych oraz burzliwych przemian geopolitycznych. Oba utwory korzystają z pozornie tylko zużytej konwencji formalnego realizmu, swoją proweniencją sięgającego pierwszych powieści Daniela Defoe i Jonathana Swifta¹², zgodnie z którą autorstwo przypisuje się fikcyjnej postaci – w tym przypadku narratorowi, a zarazem głównemu bohaterowi obu dzieł – Ramie Drugiemu. Zabieg ten, szczególnie w świetle naszych rozważań, jawi się jako element niezwykle nośny znaczeniowo, jako że implikuje korespondencję pomiędzy tym, co opowiedziane, i tym, co rzeczywiste, pozatekstowe. Istnienie samego tekstu, materialnego artefaktu literackiego w postaci papierowej książki, potwierdza bowiem faktyczność istnienia jej autora oraz wydarzeń w niej opisanych. Za pomocą tego chwytu autor *Generation P* zdaje się podkreślać prawdziwość wykładni świata i historii przedstawionej w powieściach będących przedmiotem niniejszych rozważań, pomimo wielu elementów jednoznacznie fantastycznych i/lub zabarwionych myśleniem konspiologicznym¹³.

Swoją opowieść w *Batman Apollo* Rama-narrator nieprzypadkowo rozpoczyna od prowokacyjnego stwierdzenia: „Wszystko, co wiecie o wampirach, to kłamstwo” (*BA*, 7)¹⁴, które zakłada, że wiedza czytelnika jest nie tylko w znaczący sposób ograniczona, ale także w dużym stopniu przekłamana, zmanipulowana. Należy jednak zaznaczyć, że owo stwierdzenie nie odnosi się li tylko do fragmentu rzeczywistości – wampiry w obu powieściach przedstawione są jako zarządcy świata, którzy w znacznym stopniu *kreują* otaczającą ich rzeczywistość, posiadając pełnię władzy nad ludźmi. Brak wiedzy o wampirach oznacza więc pełną ignorancję w odniesieniu do władzy, która w świetle dalszych wydarzeń powieści zdaje się być motorem, siłą napędową dziejów świata. Prawda historyczna czy społeczna funkcjonują w tym zakresie jako element teleologicznego procesu dziania się. Zatem czytelnik, który nie posiada niezbędnej wiedzy w tym zakresie, pozbawiony jest możliwości zrozumienia logiki wydarzeń. Objasnianie,

¹² I. W a t t, *The rise of the novel: studies in Defoe, Richardson and Fielding*, Londyn 1993.

¹³ Należy zaznaczyć, że paradoksalnie w utworach Pielewina, uważanego za piewę nierealności świata materialnego, ta podstawowa cecha realizmu formalnego jest często używanym zabiegiem. Patrz m. in.: *Mały palec Buddy, S.N.U.F.F., Święta księga wilkołaka*.

¹⁴ W. P i e l e w i n, *Batman Apollo*, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Kraków 2014. Późniejsze cytaty pochodzą z tego wydania i są oznaczone skrótem *BA*. W przypisach umieszczone są cytaty z oryginalnej wersji językowej oznaczonej *BA* – według wydania: В. П е л е в и н, *Batman Apollo*, Москва 2013. Oryginalna wersja przytoczonego w tekście cytatu brzmi następująco: „Все, что вы знаете о вампирах, ложь” (*BA*, 7).

demaskacja, wydobyć z ukrycia tego, co nadaje kształt biegowi historii, są widoczne już w motcie do pierwszej części dyptyku – *Empire V*: „Parowóz jest mądrze skonstruowany, ale sobie tego nie uświadamia; a zresztą jakież sens miałyby konstruowanie parowozu, gdyby nie było w nim maszynisty?” (*EV*, 5)¹⁵. W świetle obu utworów słowa o Mitrofanu Srebrjańskiego mogą pełnić rolę klucza interpretacyjnego, według którego możliwe jest odczytanie *Empire V* i *Batmana Apollo* jako próby stworzenia alternatywnej wersji historii świata od jego zarania¹⁶. W centrum tej nowej historiozofii znajduje się hierarchiczna struktura organizacyjna, we władaniu której pozostaje zarówno oficjalna przestrzeń informacyjna, jak i najbardziej skryte, a nawet nieuświadomione żądze i pragnienia ludzkie. Rama-narrator już w *Empire V* dowiadyuje się, niejako na oczach czytelnika, o funkcjonowaniu skomplikowanej struktury władzy przybierającej formę piramidy, na wierzchołku której znajdują się wampiry sprawujące rządy nad ludźmi, wśród których z kolei najwyższą usytuowaną grupą jest quasi-masońska organizacja Chaldecyjków:

Ludzi trzeba trzymać w cuglach. Tym właśnie zajmują się Chaldecyjkowie. Już od wielu tysięcy lat. To nasz personel kierowniczy.

– Jak kierują ludźmi?

– Poprzez struktury władzy, do których wchodzi. Chaldecyjkowie kontrolują wszystkie socjalne windy. Bez ich wiedzy człowiek może wjechać tylko na określony szczebel kariery (*EV*, 219)¹⁷.

Dowiedziawszy się o istnieniu tak potężnej organizacji decydującej o miliardach losów ludzkich, Rama, z typową dla całej plejady postaci utwo-

¹⁵ W. P i e l e w i n, *Empire V*, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2008. Późniejsze cytaty pochodzą z tego wydania i są oznaczone skrótem *EV*. W przypisach umieszczone są cytaty z oryginalnej wersji językowej oznaczonej *AB* – według wydania: В. П е л е в и н, *Empire „V”*, Москва 2015. Oryginalna wersja przytoczonego w tekście cytatu brzmi następująco: „Паровоз мудро устроен, но он этого не осознает, и какая цель была бы устроить паровоз, если бы на нем не было машиниста” (*AB*, 5).

¹⁶ Por. E. Ф е д о т о в а, Роман В. Пелевина „Generation П” – словесная игра как способ осмысления и пересоздания действительности, „Уральский филологический вестник” 2013, № 5, s. 227–234. Możliwe jest także zupełnie odmienne, lecz komplementarne, odczytanie obu powieści, w którym jawią się one jako afirmacja solipsystycznej nierealności świata. Patrz także: M. J a w o r s k i, *Solipsyzm jako perspektywa poznawcza w twórczości Wiktora Pielewina*, [w:] *Literatura u progu XXI wieku*, pod red. J. Chłosty-Zielonki i Z. Chojnowskiego, Olsztyn 2014, s. 403–411.

¹⁷ – Людей надо держать в узде. Этим и занимаются халдеи. Уже много тысяч лет. Это наш управляющий персонал.

– Как они управляют людьми?

– Через структуры власти, в которые входят. Халдеи контролируют все социальные лифты. Без ее ведома человек может подняться только до определенной карьерной ступеньки (*AB*, 205).

rów Pielewina dociekliwością, stara się zrozumieć istotę owej kontroli oraz poznać przyczyny poddańczej zależności pomiędzy światem ludzi i imperium wampirów¹⁸. Zależność Chaldeczyków, czyli *de facto* hierarchicznej ustrukturyzowanej grupy ludzi posiadających olbrzymi wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego i politycznego, od wampirów opiera się na dwóch filarach: tradycji i totalnej kontroli myśli. Zatem członkowie tego tajnego zgromadzenia, sprawując władzę nad światem w imieniu wampirów rozumianych jako istoty wyższego rzędu, sami nie znajdują się na szczycie hierarchii, a wręcz przeciwnie: w sposób ciągły podlegają kontroli, która paradoksalnie sprawia, że ich rządy i poddańczość opierają się na tym samym fundamencie – strachu. W rozmowie z jednym z wampirów odpowiedzialnych za inicjację i wykształcenie Ramy możemy odnaleźć potwierdzenie funkcjonowania powyżej opisanego mechanizmu:

- Czy mamy jakieś realne środki kontroli?
- Po pierwsze, tradycja to bardzo realny środek kontroli, zapewniam cię. Po drugie, trzymamy Chaldeczyków na smyczy, kontrolując ich czerwoną ciecz. Znamy ich wszystkie myśli, a to wywiera na ludziach niezatarte wrażenie. Przed nami nic się nie ukryje (EV, 220)¹⁹.

W odpowiedzi na swoją niestrudzoną postawę poznawczą Rama odkrywa cały szereg skomplikowanych formuł, według których człowiek pełni jedynie rolę zwierzęcia domowego. Jego jedynym celem jest wspomaganie procesu produkcji, stanowiącego odpowiednik greckiej ambrozji, „bablosu”. Substancja ta, określana również w obu powieściach jako „agregat M5”, stanowi esencję cierpienia ludzkiego, które pozwala wampirom pogrążyć się w narkotyczny stan zapomnienia²⁰: „– Cierpienie płynące z iluzji to właśnie nasz pokarm – rzekł Dracula. – A raczej teraz już wasz pokarm

¹⁸ Por.:

- Jest to powszechny reżim anonimowej dyktatury, nazywany „piątym”, by się nie mylił z Trzecią Rzeszą nazizmu i Czwartym Rzymem globalizmu. Owa dyktatura pozostaje anonimowa, jak sam rozumiesz, tylko dla ludzi. W rzeczywistości jest to humanitarna epoka Vampire Rule, wszechświatowego imperium wampirów, albo, jak piszemy w tajnej symbolicznej formie, Empire V (EV, 291).

Wersja oryginalna:

- Это всемирный режим анонимной диктатуры, который называют „пятым”, чтобы не путать с Третьим рейхом нацизма и Четвертым Римом глобализма. Эта диктатура анонимна, как ты сам понимаешь, только для людей. На деле это гуманная эпоха Vampire Rule, вселенской империи вампиров, или, как мы пишем в тайной символической форме, Empire V (AB, 273–274).

¹⁹ – Какие-нибудь реальные средства контроля у нас есть?

- Во-первых, традиция – это очень реальное средство контроля, поверь мне. Во-вторых, мы держим халдеев на поводке, контролируя их красную жидкость. Мы знаем все их мысли, а это производит на людей неизгладимое впечатление. От нас ничего нельзя скрыть (AB, 206).

²⁰ Patrz: EV, 162–169.

[w oryginale Dracula zwraca się do Ramy i Hery „ваша пицца”, czyli „wasz pokarm” – M. J.]. Wampiry nie żywią się jakimś abstrakcyjnym „agregatem M5”, jak to nazywacie zgodnie z poprawnością polityczną. Żywią się bólem. „Agregat M5” jest ze swej natury cierpieniem, którym kończy się praktycznie każdy akt myślowy umysłu B” (BA, 295)²¹. Proces wytwarzania bablosu opiera się więc na funkcjonowaniu „umysłu B”, zdefiniowanego w *Batmanie Apollo* jako „umysł oparty na języku i stwarzający ludzkie znaczenia i cele” (BA 293)²². Proces ten w obu powieściach Wiktora Pielewina jest opisany w sposób bardzo rzeczowy i wręcz technologiczny, co zdaje się być zabiegiem celowym, który dopełnia powyżej wskazane chwytły użyte w celu zbudowania iluzji prawdopodobieństwa zjawisk na wskroś fantastycznych. W czasie swojego przyspieszonego kursu kształcenia Rama dowiaduje się, że umysł B jest stymulowany przez dwie siły – dyskurs i glamour – będące odpowiednikami kultury wysokiej (opartej na słowie) i kultury masowej (z dominującą funkcją obrazu). W rezultacie owego oddziaływania człowiek wytwarza odpowiednią ilość cierpienia, które przechwytywane jest w postaci fal radiowych przez Wielką Mysz²³ (pradawne stworzenie pełniącą rolę karmiącej matki wampirów)²⁴.

Ten skomplikowany mechanizm, wiążący pojedyncze istnienia ludzkie w wielką maszynę cierpienia, stanowi istotę wykładni historiozoficznej obu powieści. Esencjonalnym podsumowaniem owej koncepcji są bez wątpienia słowa tytułowego Batmana, w których prezentuje on alternatywną wersję rozwoju humanitaryzmu w historii ludzkości:

– Takie metody poboru sił żywotnych – ciągnął Apollo – są znane od dziesiątek tysięcy lat. Przez cały ten czas najlepsze wampiry miały wyrzuty sumienia. Próbowaly złagodzić cierpienia ludzkości. Najgorsi z nas, jak się domyślasz, myśleli tylko o tym, by wycisnąć z ludzi jak najwięcej bablosu. Cała widoczna historia ludzkości to właśnie rezultat ścierania się tych przeciwstawnych dążeń. Były tu zarówno zwycięstwa, jak i klęski. Świat stopniowo stawał się coraz bardziej humanitarny – w każdym razie zewnętrznie... (BA, 417)²⁵.

²¹ Страдание, сочащееся из иллюзии, и есть наша пицца, – сказал Дракула. – Вернее теперь ваша пицца. Вампиры питаются не неким абстрактным „агрегатом M5”, как вы это называете. Они питаются болью. По своей природе „агрегат M5” является страданием, которым кончается практически любой мыслительный акт ума „B” (BA, 283).

²² „Ум, опирающийся на язык и создающий человеческие смыслы и цели” (BA, 281).

²³ Należy zwrócić uwagę, że tłumaczka obu powieści przy wydaniu drugiej części dyptyku zdecydowała się przełożyć nazwę „Великая Мышь” właśnie jako „Wielka Mysz”, mimo że w tłumaczeniu *Empire V* fraza ta funkcjonuje jako „Wielka Nietoperzyca”.

²⁴ Patrz: *EV*, 242–243.

²⁵ – Подобные методы сбора жизненной силы, – продолжал Аполло, – известны много десятков тысяч лет. Все это время лучших вампиров мучила совесть. Они пытались облегчить страдания человечества. Худшие из нас, как ты догадываешься, дума-

Owa wizja dziejów jako dążenie do stopniowej redukcji fizycznego cierpienia ludzkości znajduje swoją kontynuację w zaskakującym wyjawieniu zależności pomiędzy powstaniem najnowszych sposobów spędzania czasu wolnego – filmu, internetu i gier komputerowych – i wydłużonym okresem światowego pokoju. W końcowych fragmentach drugiej części interpretowanego przez nas dyptyku przedstawione *explicite* jest pochodzenie imienia tytułowego Batmana Apollo. Jest ono odzwierciedleniem powyżej nakreślonej dychotomii dziejów, przejawiającej się w naprzemiennej przewadze tendencji ku przemocy (Apollo jako mitologiczny bóg śmierci) lub ku pokojowi (Batman jako uosobienie nowinek technologicznych będących humanitarnym zamiennikiem wojny). Historia zatem opiera się na tak skonstruowanym mechanizmie, którego jedynym celem jest uzyskanie możliwie największej ilości cierpienia. Ten kołowrót bólu znalazł swój szczytowy punkt w postaci internetu, gier komputerowych i telewizji, które są w stanie wytworzyć maksymalną ilość bablosu²⁶. W tym świetle nawet czynności pozornie przyjemne, należące do obszaru masowej rozrywki, czy inaczej: tzw. popkultury, jawią się jako źródło ukrytych, bo nieuświadomionych, cierpień człowieka. Co więcej – powstanie tych mediów przedstawione jest jako element konspiologicznego kreowania rzeczywistości²⁷. Element ten jest bardzo dobrze zawoalowanym i niezwykle subtelnym sposobem zadawania cierpienia – podczas gdy do świadomej części psychiki człowieka wysyłana jest fałszywa ocena emocjonalna wykonywanych czynności, podświadomość funkcjonuje w ramach okrutnego cyklu nadzieja-rozczarowanie. W tym kontekście, jak wyjaśnia Apollo, szczególnie niebezpieczne dla człowieka jest korzystanie z internetu, który zawiera w sobie wszystkie inne formy „wyciskania bablosu”:

Internet to po prostu kosmos gier, filmów i wiadomości. Jakby czarne niebo usiane kineskopami. Człowiek potrafi przemieszczać się od jednej gwiazdki do drugiej – i za każdym razem zmierza do tej, która obiecuje mu maksimum przyjemności. [...] Człowiek to maszyna, stale podążająca do punktu największej rozko-

ли только о том, чтобы выжать как можно больше баблоса. Результат столкновения этих конфликтующих усилий и есть вся видимая история. Здесь были как победы, так и поражения. Мир постепенно становился все гуманней – во всяком случае, внешне... (BA, 399–400).

²⁶ Patrz: BA, 418–419.

²⁷ Por.

– Powiedzmy, że copywriterzy piszą im wszystkie teksty. Ale kto za te teksty odpowiada? Skąd bierzemy tematy i w jaki sposób ustalamy, jaki kierunek przybierze jutro polityka narodowościowa? – Wielki biznes – odparł zwięźle Morkowin. Słyszałeś kiedyś o oligarchach? – Aha. I co, oni zbierają się i dyskutują? A może przysyłają koncepcje na piśmie? [...] – No jak mogą się gdzieś zbierać – przemówił wreszcie Morkowin – skoro ich wszystkich produkuje się piętro wyżej?

W. P i e l e w i n, *Generation „P”*, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2010, s. 227.

szy. Ale wytwarza przy tym nie rozkosz, tylko cierpienie. [...] Jak szczur, który wciąż ma nadzieję na pozytywny bodziec – ale znacznie częściej zwija się od uderzenia prądem, przypominając sobie, że nie ma ani pieniędzy, ani perspektyw, ani czasu na to surfowanie. Cały internet jest wprost usiany markerami, które o tym przypominają (BA, 427)²⁸.

Pomimo humorystycznej i chwilami (celowo) kiczowatej formy, obraz historii ludzkości, wylaniający się z powyższych rozmyślań dotyczących powieściowego dyptyku Wiktora Pielewina – *Empire V* i *Batman Apollo* – skłania do refleksji nad mechanizmami, które doprowadziły do obecnej kondycji współczesnego świata. Autor *Matego palca Buddy* zdaje się widzieć człowieka jako istotę inherentnie skazaną na egzystencję w morzu cierpienia, którego fale pochłaniają go od zarania dziejów. Rozwój historii w świetle niniejszej interpretacji utworów rosyjskiego pisarza rozumiany jest w typowo orientalny sposób – wektor dziejów świata skierowany jest w stronę upadku i cierpienia, które zadawane jest coraz dotkliwiej za pomocą coraz bardziej wysublimowanych metod. W opozycji do zachodniego konceptu rozwoju dziejów jako ciągłego postępu Pielewin zdaje się więc przedstawiać historiozofię regresywną, zgodnie z którą świat, a wraz z nim człowiek, stale ciąży ku rozpadowi uporządkowanego kosmosu, ku chaosowi²⁹. Historia w powieściach *Empire V* i *Batman Apollo* funkcjonuje jako bezwzględnie zarządzana maszyna wiecznego ucisku, w ramach której tylko najsilniejsi mogą zostać jej beneficjentami, cała reszta zaś skazana jest na bezładne trwanie w różnych fazach cyklu radość-cierpienie.

Bibliografia

- P i e l e w i n W., *Batman Apollo*, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Kraków 2014.
 P i e l e w i n W., *Empire V*, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2008.
 P i e l e w i n W., *Generation „P”*, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2010.
 P i e l e w i n W., *Mały palec Buddy*, przeł. H. Broniatowska, Warszawa 2012.
 П е л е в и н В., *Batman Apollo*, Москва 2013.
 П е л е в и н В., *Empire „V”*, Москва 2015.
 П е л е в и н В., *Чанаев и Пустота*, Москва 2012.

²⁸ Интернет – просто космос игр, фильмов и новостей. Как бы черное небо, усеянное кинескопами. Человек способен перемещаться от одной звездочки к другой – и каждый раз устремляется к той из них, которая обещает максимум удовольствия. [...] Человек – это машина, постоянно движущаяся к точке наибольшего наслаждения. Но при этом она вырабатывает не наслаждение, а страдание. [...] Он похож на крысу, которая все время надеется получить стимулирующий импульс – но гораздо чаще сжимается от удара током, вспоминая, что у нее нет ни денег, ни перспектив, ни даже времени на этот серфинг. Весь интернет густо усеян напоминающими про это маркерами (BA, 409).

²⁹ Por. E. C z a p l e j e w i c z, *Owidiusz, Leonardo, Nietzsche: trzy obrazy chaosu*, „Przegląd Humanistyczny” 1998, nr 3(348), s. 1–26.

- C z a p l e j e w i c z E., *Owidiusz, Leonardo, Nietzsche: trzy obrazy chaosu*, „Przegląd Humanistyczny” 1998, nr 3(348), s. 1–26.
- J a w o r s k i M., *Solipsyzm jako perspektywa poznawcza w twórczości Wiktora Pelewina*, [w:] *Literatura u progu XXI wieku*, pod red. J. Chłosty-Zielonki i Z. Chojnowskiego, Olsztyn 2014.
- P o d s t a w s k i M., *Uciekinierzy z Aten. Rosyjska filozofia XIX i XX wieku wobec ‘niepoznawalności boga’*, „HYBRIS” 2013, nr 20, s. 40–48.
- K h a g i S., *From Homo Sovieticus to Homo Zapiens: Viktor Pelevin's Consumer Dystopia*, „The Russian Review” 2008, no. 67, s. 559–579.
- L i v e r s K., *The Tower or the Labyrinth: Conspiracy, Occult, and Empire-Nostalgia in the Work of Viktor Pelevin and Aleksandr Prokhanov*, „The Russian Review” 2010, no. 69, s. 477–503.
- N o o r d e n b o s B., *Breaking into a New Era? A Cultural-Semiotic Reading of Viktor Pelevin*, „Russian Literature” 2008, no. 1, p. 85–107.
- W a t t I., *The rise of the novel: studies in Defoe, Richardson and Fielding*, London 1993.
- Л и п о в е ц к и й М., Э т к и н д А., *Возвращение тритона: советская катастрофа и постсоветский роман*, „НЛО” 2008, № 94.
- Л о б и н А., *Роман-утопия В. Пелевина „S.N.U.F.F.”: проблема жанра и концепция истории*, „Известия Саратовского университета” 2013, № 4, т. 13, с. 91–97.
- М а р к о в а Т., *Четыре кратких сюжета на тему „Авторские стратегии 2000-х”*, „Toronto Slavic Quarterly” 2013, no. 44, s. 49–58
- Ф е д о т о в а Е., *Роман В. Пелевина „Generation П” – словесная игра как способ осмысления и пересоздания действительности*, „Уральский филологический вестник” 2013, № 5, s. 227–234.
- Ш у б и н Р., *История как предмет пародии в „Диалектике переходного периода” Виктора Пелевина*, „Studia Rossica Posnaniensia” 2015, nr 40, cz. 1, s. 65–76.
- P i e l e w i n W., B l a i s e C., *Wywiad udzielony na Uniwersytecie Iowa, 1996*, [w:] źródło elektroniczne: https://www.youtube.com/watch?v=X_G-CUUCFEM (10.09.2015).
- Е в т у ш е н к о Е., *Поэт в России – больше, чем поэт*, [w:] źródło elektroniczne: <https://www.stihi.ru/2007/11/17/1193> (10.09.2015).
- К а з а р и н а Т., *Виктор Пелевин: слово и тело*, [w:] źródło elektroniczne: http://www.phil63.ru/files/mix_10_009.pdf (10.09.2015).
- У л ь я н о в С., *Пелевин и пустота*, [w:] źródło elektroniczne: <http://pelevin.nov.ru/stati/o-ulan/1.html> (10.09.2015).

ВЛИЯНИЕ ВАЛЬТЕРА СКОТТА НА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРОЗУ
А.С. ПУШКИНА: *РОБ РОЙ* И *КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА*

WALTER SCOTT'S INFLUENCE ON A.S. PUSHKIN'S HISTORICAL NOVEL:
ROB ROY AND *THE CAPTAIN'S DAUGHTER*

URSZULA KIZELBACH

ABSTRACT. This article analyses the influence of Sir Walter Scott's historical fiction (*Rob Roy*) on the development of the historical novel in Russia in the first half of the 19th century, based on the example of Pushkin's *The Captain's Daughter*. The author argues that both Scott and Pushkin had a similar approach to their national and local history and collected historical material in the same way (through archival research and by contacting local people who had witnessed the events of the Jacobite Rebellion, 1715, and the Pugachev Rebellion, 1773–1775). A close analysis of both texts presents examples of a similar poetics of the narration, dialectal use of language and dialogue, and the use of local colour and folk elements, such as folk songs or old sayings, which serve as mottos for particular chapters in the novels.

Urszula Kizelbach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
kula@wa.amu.edu.pl

В пушкинскую эпоху в России наблюдается живой интерес к западноевропейскому историческому роману, особенно к роману Скотта. Русские литературные газеты печатают Скотта в подлинниках и в переводах уже через несколько месяцев после выпуска романов в Англии. Содержание *Роб Ройа* (1818) печатается в „Сыне Отечества” еще в 1818 году, но без указания автора. В изложении романа сказано лишь, что „Герой романа сего есть Франсис Осбалстон (sic!), сын богатого лондонского купца”, который, изгнанный отцом из дома, „отправляется к дяде своему в Нортумберланд ... и дружится он с Робертом Камбелем, называемым и Роб-Ройем, купцом, торгующим скотиною, и они становятся неразлучными”¹. Пушкин видит в романе Скотта новую литературную форму, которая просто и правдиво отражает жизнь людей прошедших времен. Русская литература первой половины XIX века соответствует действительности того времени — абсолютизм власти и крепостная система разрушают малейшие стремления к просвети-

¹ Ю.Д. Левин, *Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы*, Ленинград 1975, с. 9.

тельским общественным и государственным реформам, давно действующим в Европе; а литература следует классицистическим канонам, выражая возвышенные чувства искусственным и торжественным стилем (обилие метафор и сравнений, высокопарные слова). Пушкин подражает Скотту, срывая с законами сентиментализма и классицизма, и становится пионером русского реалистического романа². Переключка *Капитанской дочки* с *Роб Ройем* обнаруживается в области языка и повествовательной структуры. Мы постараемся подчеркнуть те формальные сходства в *Капитанской дочке*, которые непосредственно относятся к языку и повествованию *Роб Роя*, а именно подход писателей к народной истории, диалектную речь и ее значение, функцию диалогов, эпиграфов и песен.

Пушкина и Скотта соединяет похожее историческое мышление, что отражается в форме их „рассказа“ об истории — в историческом романе. Необходимо подчеркнуть, что как Скотт, так и Пушкин представляют народную историю современному им читателю, поэтому язык повествования стоит на уровне их века. Контраст настоящее-прошлое ярко выражается в языке и стиле повествования. Повествователь-мемуарист рассказывает об исторических событиях с сегодняшней точки зрения, как пожилой человек, но, все-таки, он лично принимал участие в рассказанной им истории. Таким образом, стиль повествователя, который можно определить как литературно-письменный язык³, смешивается с народной речью описываемых им героев. Главной целью исторического романа является не то, чтобы тщательно передать факты, а то, чтобы передать атмосферу исторического времени, которым в романах являются народное восстание Пугачева и бунт якобитов. Поэтому главной идеей писателей было показать местную краску⁴ в языке представителей народа — казаков и шотландских горцев. Их речь в романах Скотта и Пушкина стилизованная и они пользуются сказом в *Капитанской дочке* и шотландским диалектом в *Роб Ройе*. Важную структурную роль в обоих романах исполняют диалоги, которые предоставляют писателям возможность, во-первых, вполне охарактеризовать героев через их народную речь и, во-вторых, доставляют комментарии на политические темы, которые нередко являются мнениями самих писателей. Романы связаны с народной устной традицией, выраженной в песнях и поговорах, которые не только вкладываются в уста героев, но и выполняют композиционную функцию эпиграфов к главам.

² L. G o m o l i c k i, *Wielki realista Aleksander Puszkina*, Warszawa 1953, с. 131.

³ Г. С ы р о е г и н а, *Речевые стили в „Капитанской дочке“*, [в:] *Стиль и язык А.С. Пушкина*, под ред. К.А. Алавердовой, Москва 1937, с. 146.

⁴ *Локальный колорит / местная краска* (англ. *local colour*) — это отражение исторической верности эпохе в подробном описании нравов, мест, характеров, костюмов.

1. Исторические материалы и отношение писателей к истории

Следует отметить, что *Капитанская дочка* является результатом как исторических исследований, так и путешествий автора. Во-первых, он тщательно рассмотрел исследовательские труды историка периода реставрации Гизо⁵, а также *Историю государства российского* Н. Карамзина. Пушкин, однако, не ограничивался одними только архивами, но желал увидеть собственными глазами те места, где разбойничал со своими войсками руководитель восстания Емельян Пугачев. В августе 1833 года автор посетил Казань, Симбирск, Оренбург, Уральск и беседовал с очевидцами событий 1773 года⁶. Он слушал рассказы и записывал песни о Пугачеве, разговаривая с казанскими суконщиками и старой казачкой Бунтовой из села Берды под Оренбургом⁷. Таким образом Пушкин создал *Историю Пугачева*⁸ — вполне историческую прозу, в которой он пытается проанализировать и определить причины и ход бунта яицких казаков. Текст *Истории Пугачева* относится как к Санкт-петербургским архивным документам, так и к рассказам живых людей, современников восстания. В предисловии к *Истории Пугачева* автор упоминает о том, что имел случай „пользоваться некоторыми рукописями, преданиями и свидетельством живых“⁹. В „Объяснениях“ на критику рецензента Броневского он отвечает: „Показания мои извлечены из официальных, неоспоримых документов“¹⁰.

Я посетил места, где произошли главные события эпохи, мною описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев и вновь поверяя их дряхлеющую память историческою критикою (с. 392).

Таким образом, *Капитанской дочке* предшествовал историко-исследовательский анализ крестьянского восстания, который совершился не только благодаря чтению исторических материалов, но и благодаря путешествиям Пушкина по местам, охваченным революцией.

⁵ Ю. Л о т м а н, *Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя*, Ленинград 1983, с. 232.

⁶ М. Т о р о р о w s k i, *Geniusz i caryzm*, Warszawa 1971, с. 112.

⁷ Б. М е й л а х, *А.С. Пушкин. Очерк жизни и творчества*, Москва-Ленинград 1949, с. 139.

⁸ Царь повелел изменить заглавие *История Пугачева* на *История бунта Пугачева*; Пушкин в конце концов не окончил произведения; создав 8 глав, он снабдил их примечаниями. См.: М. Т о р о р о w s k i, указ. соч., с. 112.

⁹ А.С. П у ш к и н, *История Пугачева*, Москва 1965, с. 151. Последующие цитаты и фрагменты из *Истории Пугачева* приводятся по этому изданию в тексте работы с указанием в скобках страницы.

¹⁰ Например из показаний жены Пугачева, атамана Фомина и самого Пугачева, в конце 1772 года приведенного в Малыковскую канцелярию. Там же, с. 383.

Похожим образом Скотт собирал материалы к историческому роману *Роб Рой*. Автор совершил путешествие в Таллибоды (Tullibody) в Верхнюю Шотландию (Highlands), где он беседовал с сэром Ральфом Аберкромби, очевидцем якобитского бунта клана Мак-Грегор, из которого происходит Роб Рой. Сэр Аберкромби лично встретился и разговаривал с шотландским горцем, и об этом он рассказывал Скотту¹¹. Во введении к роману Скотт сам заявляет: „Мы должны оговориться, что наш рассказ основан во многом на предании“¹². Интерес Скотта к народу и его истории был возбужден народной прозой Марии Эджлорт и ее романом *Дворец в Ракрент* (1800), который затрагивает проблему английско-ирландской унии, показывая трагизм конца эпохи ирландского дворянства. Скотт признает, что он в восторге от прозы мисс Эджлорт и что ему, как писателю, хотелось бы быть таким полезным своей стране, как Эджлорт оказалась полезной Ирландии. По мнению автора *Роб Ройа*, исторический роман может укрепить политические отношения между Англией и Шотландией и изобразить шотландцев в лучшем свете, „разбудить как симпатию [англичан] для их [шотландцев] национальных достоинств, так и снисходительную улыбку для пороков их соседей“, пишет Скотт в предисловии (*General Preface*) к *Уэверли* (1814) и другим романам¹³.

Необходимо подчеркнуть, что и Скотт и Пушкин используют жанр исторического романа, так как в истории своих народов они надеются найти ответы на проблемы сегодняшнего дня. Скотт переписывает народную историю с целью сблизить два народа — английский и шотландский. В романе *Уэверли*, который продолжает тему якобитского восстания 1715 года в *Роб Ройе*, Скотт оценивает современные плохие отношения англичан и шотландцев после 1745 года, когда произошел следующий бунт горцев. Он все-таки замечает, что шотландский народ переходит трансформацию в современную ему эпоху:

Не найдется в Европе страны, которая бы за каких-нибудь полвека с небольшим так совершенно изменилась, как шотландское королевство. Последствия восстания 1745 года, а именно, уничтожение патриархальной власти в горных областях; упразднение наследственной юрисдикции дворян и баронов в Нижней Шотландии; полное искоренение якобитов, которые, не желая смешиваться с англичанами и принять их образ жизни, долго гордились

¹¹ J.G. Lockhart, *The life of Sir Walter Scott*, London 1970, с. 65.

¹² В. Скотт, *Роб Рой*, [в:] его же, *Собрание сочинений в 8 томах*, т. 4, Москва 1990, с. 2. Последующие цитаты и фрагменты из *Роб Ройа* приводятся по этому изданию в тексте работы с указанием в скобках страницы.

¹³ В. Скотт, *Уэверли, или шестьдесят лет назад*, [в:] его же, *Собрание сочинений в 8 томах*, т. 1, Москва 1990, с. 8. Последующие цитаты и фрагменты из *Уэверли* приводятся по этому изданию в тексте работы с указанием в скобках страницы.

тем, что сохраняют старинные шотландские нравы и обычаи — все это послужило началом этих нововведений. Постепенный прилив богатства и расширение торговли также позднее объединились и превратили современное население Шотландии в людей, столь же отличных от их дедов... (с. 473).

Пушкин, с другой стороны, затрагивает следующий важный вопрос, а именно: каков будет дальнейший путь развития России с ее антикрепостническими настроениями. Поэтому *Капитанскую дочку* критики называют русским историческим „политическим” романом 30-х годов¹⁴. По мнению В.Г. Белинского, Пушкин, несомненно, ввел настоящий историзм в русскую литературу первым, идя по дороге, проторенной раньше Вальтером Скоттом¹⁵. История появляется в романе Пушкина не только в персонаже Пугачева, но прежде всего в момент появления императрицы. В конце романа, когда Маша просит Екатерину помиловать Гринева, царица, как добрая мать, соглашается освободить Гринева-коллаборациониста.

2. Язык повествования в историческом романе Скотта и Пушкина

В области языка романов Скотта и Пушкина мы находим значительные формальные сходства. Как правильно замечает Н.В. Измайлов, Скотт и Пушкин в историческом романе отдают предпочтение устному рассказу,¹⁶ поэтому язык повествования лишен „антикварной пыли” и строгости исторических хроник, но приобретает более гуманный облик. Оба — Скотт и Пушкин — пользуются фольклором; типические народные выражения и поговорки характеризуют дух времени казацких и якобитских восстаний, передавая местной колорит эпохи и ее людей. Кроме того, проза Пушкина благодаря Скотту приобрела разнородный регистр — начиная с повествования Гринева и переходя к языку Пугачева и Савельича¹⁷. Диалогическая речь разрешает полностью использовать ценности техники сказа и охарактеризовать героев. Языковая структура повествования в романе Пушкина, как замечает Ю. Лотман¹⁸, распадается на два стилистических пласта: литературный и народный языки, которые зависят от социального происхождения говорящего и взаимно дополняются.

¹⁴ С. Петров, *Русский исторический роман XIX века*, Москва 1964, с. 181.

¹⁵ В.Г. Белинский, [в:] D.D. Влагоя, *Twórcza droga Puszkina*, Warszawa 1955, с. 342.

¹⁶ Н.В. Измайлов, *Очерки творчества Пушкина*, Ленинград 1975, с. 301.

¹⁷ А.З. Лежнев, *Проза Пушкина*, Москва 1966, с. 85.

¹⁸ См.: Т.А. Казюкова, *Struktura narracyjna prozy fabularnej Aleksandra Puszkina*, Warszawa 1983, с. 85.

Скотт выступает против целостной анахронизации языка прозы¹⁹, но в то же время он знает, что слишком большое сокращение архаизмов лишает язык исторического романа привкуса древности. Поэтому Скотт вкладывал в свое повествование в *Роб Ройе* древние слова (очень часто им самим придуманные)²⁰, напр.: *turnpike* (старинное шотландское слово, обозначающее *винтовую лестницу*), *siller* (устаревшая форма слова *silver*, что значит *серебро / деньги*) или *ken* (старинная диалектная форма глагола *know* — *знать*), а также диалектные формы английских слов: *gude* (англ. *good* — *добрый*), *nae* (англ. *no*, что значит *нет*) и *mysell* (англ. *myself* — *меня*). Важно, что Скотт отказывается от старинного языка хроник в пользу языка современников, но одновременно он использует старинные слова²¹, чтобы сохранить оттенок историзма. Итак, язык Скотта стремится к тому, чтобы тяжелый хроникальный стиль повествования превратить в романтический рассказ.

Язык повествования *Капитанской дочери* похож на язык Скотта; здесь наблюдается архаизация и стилизация. Антикварный оттенок присущ языку Гринева-отца — Андрей Петрович использует старинные слова (*сей* — *этот*) и употребляет разговорный стиль, который типичен для его писем. В письме Петру он демонстрирует свое недовольство его бессмысленной дуэлью со Швабриным в Белогорской крепости такими словами:

Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марией Ивановной [...] мы получили 15-ого сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добратся да за проказы твои проучить тебя путем, как мальчишку. [...] Что из тебя будет? Моллю Бога, чтоб ты исправился²².

Гринев подписывает письмо „Отец твой А.П“. А.С. Петров утверждает, что язык Гринева-отца делает его представителем предыдущей эпохи.

¹⁹ М.Г. С о к о л я н с к и й, *И несть ему конца. Статьи о Пушкине*, Одесса 1999, с. 37.

²⁰ Во вступлении к *Айвенго* Лоренс Темпльтон заявляет:

Для того чтобы разбудить интерес читателя, важно, чтобы субъект рассказа переводился на нравы и язык эпохи, в которой мы живем. [...] Правда, я не могу, да и не пытаюсь, сохранить абсолютную точность (англ. *complete accuracy*) даже в вопросе о костюмах, не говоря уже о таких более существенных моментах как язык [...], с. 15.

²¹ Релятивно старинные слова, мы заметим, так как они отражаются антикварностью, но не анахронией (они кажутся современному читателю древними словами, но они все-таки понятны).

²² А.С. П у ш к и н, *Капитанская дочка*, Москва 1977, с. 48–49. Все последующие цитаты и фрагменты из *Капитанской дочери* приводятся по этому изданию в тексте работы с указанием в скобках страницы.

Пушкин вызывает „старомодное достоинство“ Гриневы-отца и других героев, используя слова: *кои, сии, токмо, дабы*, что придает языку повествования архаическое звучание, но, по мнению А.З. Лежнева²³, является более нейтральным, чем язык Скотта.

3. Диалектная речь героев

В начале XIX века отмечается рост национально-исторического самосознания народов²⁴, и Вальтер Скотт через народную речь показывает этот процесс. Заметим, что самые положительные персонажи *Роб Ройа* — это те, кто говорит на шотландском диалекте: Роб Рой, Никол Дхарви, Эндрю Ферсервис. Правда, Роб Мак-Грегор разбойничает и ворует, но его считают разбойником и воров прежде всего англичане. Для шотландцев он настоящий герой. Первым, кто это замечает, является Фрэнсис. Он впервые встречается с Роб Роем на мосту на реке Клайде, откуда Роб сопровождает Фрэнсиса в тюрьму к Оуэну. Робин не хочет выявить Фрэнсису, кто он, и отвечает энигматически, но искренне:

- Прежде чем следовать за вами, я должен узнать ваше имя и намерения,
- возразил я [Фрэнсис].
- Я человек, — был ответ, — а мои намерения дружественны.
- Человек! — повторил я. — Это слишком короткое определение.
- Оно достаточно для того, кто не может предложить иного, — сказал незнакомец. — У кого нет имени, нет друзей, нет денег, нет родины, тот вправе все-таки называться человеком; и у кого все это есть — тоже не более как человек (с. 113).

В речи Роб Роя слышится народная мудрость и клановая справедливость. Его слова, высказанные простонародным языком, внушают во Фрэнсиса доверие, что у этого незнакомого есть свои ценности. В народном стиле речи героя демонстрируется автором ностальгия по шотландским кланам, существование которых обречено на смерть с наступлением капитализма. Интересно, что в романе Скотта те, кто пользуется чистым английским языком, являются отрицательными персонажами, например отец Фрэнсиса, Гилдебранд, Решли и Торнклиф Осбалдистон. Следует отметить, что, как в романах Скотта, персонажи *Капитанской дочки* пользуются сильно стилизованным языком, который свойствен их характерам²⁵. Например, язык Емельяна Пугачева поражает своей эмоциональностью и тесной связью с народом; в нем также много народных пословиц и просторечий.

²³ А.З. Лежнев, указ. соч., с. 89, 118.

²⁴ С.М. Петров, *Исторический роман А.С. Пушкина*, Москва 1953, с. 3.

²⁵ В.В. Виноградов, *Пушкин — основоположник русского литературного языка*, Москва 1949, с. 15.

И. Тойбин правильно замечает, что народные выражения в романе Пушкина пропитаны фольклором, что придает стилю Пугачева оттенок правдивости и искренности²⁶. Мы знакомимся с героем во второй главе романа, в которой Гринев и Савельич путешествуют в Оренбургскую крепость, но не могут найти дорогу из-за бурана. Они встречаются вожатого, который, кажется, хорошо разбирается в местности; он простодушно отвечает Гриневу: „Сторона мне знакомая [...] слава Богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да вишь, какая погода: как раз собьемся с дороги” (с. 21). Язык Пугачева-вожатого совмещает народную лексику (*вишь*, что значит *видишь*) и разговорный стиль (*вдоль и поперек*, *сбиться с дороги*). Он тоже употребляет народные поговорки, например когда его спрашивают „отколе бог принес”, т. е. „откуда ты”, вожатый беспечно говорит: „В огород летал, конопля клевал, швырнула бабушка камушком — да мимо” (с. 24). Когда в казацком овраге Пугачев узнает Петра как своего спасителя (во время бурана Гринев подарил вожатому свой заячий тулуп) и тогда друга, он радуется, но не забывает подчеркнуть, что между ними непреодолимый барьер. Пугачев — казак, а Гринев — помещик, поэтому Пугачев обращается к Петру „ваше благородие”, а солдат войск Екатерины называет „господа енаралы” (с. 100) (устаревшая форма слова „генерал”), демонстрируя свою причастность к народу. Савельича он называет „старый хрыч” и часто среди своих казацких товарищей употребляет просторечия: „Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев. — Только вам ссориться, не беда если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладной; беда если наши кобели меж собою перегрызутся” (с. 100). О Пугачеве русские говорят, используя прежде всего просторечные определения типа *мошенник*, *собачий сын*, *злодей* (с. 59).

Язык, присущий народу, сказ, индивидуализирует персонажей²⁷, так что многих героев-представителей народа выделяет простонародная речь. Одним из выразительнейших примеров сказа является язык Савельича, верного слуги семьи Гриневых. Стиль Савельича, полный экспрессии и искренней откровенности, мы узнаем уже в сцене с вожатым. Слуга Петра Гринева протестует против того, чтобы его господин отдал тулуп бродяге: „— Помилуй, батюшка, Петр Андреич! — сказал Савельич. — Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке” (с. 25). Его мышление, ассоциации, некоторые языковые трудности в передаче мыслей и чувств, накопление союзов „и” и „а”, а также простые предложения свидетельствуют о его низком, народном происхождении²⁸. Это отражается и в ответном письме Са-

²⁶ См.: Т.А. К а с з к о w s k а, указ. соч., с. 24, 84.

²⁷ С. П е т р о в, *Русский исторический роман...*, указ. соч., с. 214.

²⁸ Т.А. К а с з к о w s k а, указ. соч., с. 91.

вельича отцу Петра Андреевича. После поединка со Швабриным Петр был ранен и приходил в себя пять дней. Отец юноши, узнав о дурном поступке сына, пишет упрекательное письмо Савельичу, в котором называет его „старым псом” (с. 50), так как он допустил дуэль. Савельич оправдывается и подчеркивает, что он был всегда верным обоим господам, отцу и сыну, и он свою привязанность выражает библейской риторикой:

Государь Андрей Петрович, отец паш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний; – а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос (с. 51).

Савельич в письме оправдывает и Петра, сваливая вину на его молодость, как говорят народные мудрости: „а что с ним случилась такая оказия, то быть молодцу не укора: конь о четырех ногах, да спотыкается” (с. 52). Здесь мы узнаем и о статусе барина Андрея Петровича („ваше благородие”) и крестьянина Савельича („раб ваш”). В письме рассказчик-Савельич представляет народные черты: непосредственность, искренность, любовь к благодетелю, выраженные как простым, так и возвышенным языком. Т.А. Качковска замечает, что в письме появляется архаическая стилизация и униженный тон²⁹ „верного холопа” (так подписано письмо) даже в заключительных словах: „за сим кланяюсь рабски” (с. 52).

Надо, кроме того, обратить внимание на структуру и функцию диалога в романе Пушкина. В ситуативном диалоге в *Капитанской дочке* говорящие лица подвергаются характеристике, так что их сразу можно причислить к данному общественному слою. Так, два казака, доверенные лица самозванца, разговаривают в овраге; Хлопуша подсказывает Пугачеву, что он должен повесить Гринева и, увидев возмущение атамана, Белобродов противоречит товарищу:

– Полно, Наумыч – сказал он [Хлопуша] ему. – Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

– Да, ты что за угодник? – возразил Белобродов.

– У тебя-то откуда жалость взялась?

– Конечно [...] и я грешен [...] (с. 100).

В диалоге мы узнаем таинственный и строгий характер казаков. Они используют просторечия и местные обороты, например: „тебе бы все душить да резать”, „да ты что за угодник”. Стилизация диалогической речи позволяет представить казаков как близко связанных с на-

²⁹ Там же.

родом. Т.А. Качковска³⁰ заявляет, что большое количество диалогов приводит к тому, что они как будто вырываются из-под контроля повествователя, так что сами диалоги функционируют как отдельные сцены.

Похожим образом в диалогах Скотта наблюдается народная стилизация и часто простая местная речь, шотландский и кельтский диалекты сталкиваются с литературным английским языком. Скотт широко демонстрирует народность в смешных ситуативных диалогах, например когда Фрэнсис путешествует верхом в Шотландию, а его проводником является Эндрю Ферсервис, садовник-шотландец, работающий у дяди Гилдебранда. Оказывается, что Эндрю сам часто путешествует ночью, связываясь с шотландскими джентльменами. Диалог, надо признать, начинается юмористически — Фрэнсис просит Эндрю ехать по-медленнее, так как он не успевает, а при том молодой Осбалдистон догадывается, что дядин садовник пьян:

— А чего ж угодно вашей чести? — сказал Эндрю с невозмутимым спокойствием.

— Чего мне угодно, мошенник? Я тут битый час кричу, чтобы вы ехали медленней, а вы не находите нужным даже ответить! Пьяны вы, что ли, или спятили?

— Не прогневайтесь, ваша честь, я немного туговат на ухо. Не стану отпираться, я, конечно, выпил чарочку перед тем как оставить старое обиталище, где прожил столько лет; компании не оказалось, так что, понятное дело, пришлось управиться самому, не то, хочешь не хочешь, оставляй полбутылки водки папистам, а уж это, как известно вашей милости, был бы чистый убыток. Объяснение казалось довольно правдоподобным...

— Ваша честь не уговорит меня и никто меня не уговорит, что разумно или полезно для здоровья холодной ночью пускаться в путь по здешним болотам, не подкрепившись наперед стаканчиком гвоздичной настойки, или чарочкой можжевельники, или водки, или чего-нибудь такого. Я сто раз переваливал через Оттерскопский хребет днем и ночью и никогда не мог найти дорогу, если перед тем не выпивал свою порцию, — а выпью, так проеду наилучшим образом, да еще с двумя бочонками коньяка по каждую сторону седла.

— Другими словами, Эндрю, — сказал я, — вы перевозили контрабанду. Как же это вы, человек строгих правил, позволяли себе обманывать казну? (с. 102).

На шутливый упрек в алкоголизме и хищении государственной водки Эндрю возражает:

Бедная старая Шотландия достаточно страдает от этих мерзавцев акцизников да ревизоров, что налетели на нее, как саранча, после печального и при-
скорбного соединения королевств. Каждый добрый сын обязан принести своей родине хоть глоточек чего-нибудь крепкого — согреть ее старое сердце да, кстати, насытить проклятым ворами (с. 102-103).

³⁰ Там же, с. 84.

Диалог Фрэнсиса и Эндрю раскрывает душу простого садовника. Речь Ферсервиса полна народных выражений: „туговат на ухо“, „переваливал через хребет“. Он называет разные виды местной водки, а также употребляет свободный стиль и порядок слов. Эндрю живет и работает в Англии уже много лет, но признает, что хотел покинуть Осбалдистон-холл уже с первого дня. Он не боится критиковать Англию за то, что она навязывает налоги на его страну. Таким образом, веселый разговор превращается в грустные размышления героя о Шотландии и ее будущем.

Необходимо подчеркнуть, что в романе Скотта форма диалога в повествовании служит изображению народных настроений. В диалогах комментируется действительное положение англичан и шотландцев. Диалог дает возможность как героям, так и Скотту высказаться на тему политики. Так, Фрэнсис, путешествуя в Осбалдистон-холл, останавливается для отдыха в трактире, где он впервые видит мистера Кэмбела, беседующего за столом о политических альянсах. Мужчины спорят о том, к которой династии стоит быть лучше привязанным – к свергнутым Стюартам или Ганноверцам. Фрэнсис прислушивается к разговору:

– Вы шотландец, сэр, джентльмены вашей страны должны бороться за попранные права законного наследника! – кричали они.

– Вы пресвитерианин, – твердили спорщики другого толка, – вы не можете стоять за власть произвола! (с. 40).

Каждая сторона взывала к мистеру Кэмбелу, домогаясь его высокого одобрения. Он все-таки быстро прекратил ссору, превратив ее в шутку. Из вышеуказанного вытекает, что в диалоге Скотта передается атмосфера враждебных настроений как шотландцев, так и англичан. Фрэнсис замечает, что застольные беседы велись до полуночи, а спорящие „политиканы“ кричали и дебатировали как „весь городской совет“ (с. 40). Г. Келли³¹ правильно замечает, что в диалогах в *Роб Ройе* дается комментарий о политических и общественных переменах 70-х годов XVIII века.

4. Эпиграфы и песни

Скотт ввел в структуру своих произведений деление на главы, снабженные эпиграфами³². В понимании Скотта эпиграфы не являлись

³¹ G. Kelly, *English fiction of the Romantic period 1789–1830*, London–New York 1996, с. 149.

³² Эпиграфы появились, кроме того, в романах: *Уэверли, или шестьдесят лет назад* (1814), *Айвенго* (1819), *Антиквариум* (1816), см.: D. Berger, *Damn the motto: Scott and the epigraph*, „Anglia Zeitschrift für Englische Philologie“ 1982, no. 100, с. 373.

лишь композиционным орнаментом, но исполняли важные функции. Во-первых, они имплицитно подсказывали, на что надо обратить внимание, читая определенную главу. Дубликация мотивов (сначала в эпиграфе, потом в главе) подчеркивает их значение для сюжетной линии. Во-вторых, Скотт сам признал, что эпиграфы вводят в структуру романа разнообразие и действуют на воображение читателя³³. Так, эпиграф к седьмой главе *Роб Ройа* — это отрывок из хроники Шекспира *Генрих IV*, ч. 1, слова Бардольфа: „Шериф стоит у двери, и с ним преогромная стража“. Оказывается, что в этой главе Фрэнсиса обвиняют в краже и ему надо явиться в суд. Глава семнадцатая начинается с поэтического мотто Тиккеля: „Другим неслышный, слышу голос: — Не медли здесь, не жди! Рука, незримая другому, Мне машет: уходи!“ Фрэнсис, узнав о банкротстве фирмы отца, покидает Осбалдистон-холл и решает выяснить дело с Рэшли. Эпиграф к двадцать пятой главе — цитата из Драйдэна *Паламона и Арсита*: „Мой кровный враг! Он смертью мне грозит; И должен быть один из нас убит“. Это ясное предупреждение перед дуэлью Фрэнсиса и Рэшли, о которой читатель узнает из этой главы.

Деление текста на главы с эпиграфами — это следующая вальтер-скоттовская черта *Капитанской дочки*³⁴. Здесь, дополнительно, каждая глава кроме эпиграфа имеет свое заглавие. Подбор текстов к эпиграфам продуманный, язык их логичный, каждая глава обладает гармонией, так что, по мнению Р. Лужного, Пушкина можно назвать нетипичным романтиком³⁵. Конечно, функция эпиграфов та же самая — подчеркнуть самую важную проблему данной главы³⁶. Например, конфликт Гринева со Швабриным намекается в четвертой главе — *Поединок*, и, как в романе Скотта, герои сражаются на дуэли, Гринев ранен. В качестве мотто использованы слова из комедии А.Я. Княжнина *Чудаки*: „— Ни, изволь и стань же в позитуру. Посмотришь, проколю я твою фигуру“. Хотелось бы сказать, что мотто из комедии действует как ироническая заметка автора про дуэль, вызванную скорее по глупости, нежели по уважительной причине. Эпиграф к тринадцатой главе — *Арест* — это опять цитата из Княжнина: „Я должен сей же час отправить вас в тюрьму“, и, действительно, Гринева наказывают за связи с Пугачевым.

Интересно, что Пушкин вводит новый элемент — пословицы в эпиграфах. Роман даже начинается с эпиграфа: „Береги честь смолоду“.

³³ Там же, с. 385.

³⁴ R. Ł u ż n y, *Sztuka pisarska Puszkina – epika*, [в:] *O poetyce Aleksandra Puszkina*, pod red. B. Galstera, Poznań 1975, с. 11.

³⁵ Там же, с. 10.

³⁶ Там же, с. 11.

Н.К. Гей утверждает, что данный постулат обращен к Гриневу, который найдет смысл народной мудрости, но после того, как он „оправдается“ перед лицом этой истины³⁷. Эпиграф имеет форму библейского топоса древнерусских повестей — поучение отца сыну, и передает патриархальные структуры общества того времени³⁸. Пословицы опять обращают внимание на главные проблемы глав. Пословица к главе восьмой: „Незванный гость хуже татарина“ относится к визиту Пугачева в дом попадьи, во время которого он входит в комнату больной Мионовой дочери, которая, к счастью, не узнает убийцы своего отца. „Мирская молва — морская волна“ — эпиграф к главе *Суд*, четырнадцатой по счету. Гринева оправдывается перед судом за знакомство с Пугачевым; хотя он никогда не изменил солдатскому долгу и не назвал самозванца царем, он не может опровергнуть упреков в том, что искал помощи у Пугачева и ездил с ним в Белогорскую крепость. Мы думаем, что Пушкин и в области композиции романа подражает Скотту, но в *Капитанской дочке* появляются инновации, например эпиграфы-пословицы, лаконичные названия глав, что функционирует как часть хорошо организованного повествования.

Подытоживая наши рассуждения, мы можем констатировать, что существуют большие формальные сходства между романами Скотта и Пушкина и что они наблюдаются в области повествовательной техники, языка повествования и структуры текста. Во-первых, повествование в большей степени представляет собой форму романтического рассказа, чем исторической хроники. Можно заметить, что якобитское и крестьянское восстания передаются Фрэнсисом Осбалдином и Петром Гриневым с некоторой степенью субъективности, что придает истории личный и гуманный вид по сравнению с хроникой. Во-вторых, язык повествования сближен к современному языку, так как и Скотт и Пушкин обращались к современникам, чтобы показать им не только факты, но и людей бывших веков. Так, писатели сохраняют народные черты казаков и крестьян, а также шотландцев в местном диалекте, песнях, балладах и пословицах. Пугачев подвергается романтической характеристике, слушая свою любимую песню о виселице или рассказывая Гриневу сказку про орла и ворона. Речь Савельича, полная повторений, простонародных выражений и пословиц, раскрывает его лучшие черты: простоту, добродушие и искреннюю наивность. Роб Рой и Эндрю Ферсервис говорят на шотландском диалекте, и хотя этот язык не совсем понятен Фрэнсису, он быстро связывается с шотландцами, считая их справедливыми и искренними людьми. Диалоги

³⁷ Н.К. Гей, *Проза Пушкина. Поэтика повествования*, Москва 1989, с. 222.

³⁸ Там же.

— важная часть структуры романов. В них демонстрируются разные точки зрения на политические и общественные темы, например последствия англо-шотландской унии в *Роб Ройе*. В диалогах дополнительно характеризуются персонажи: казаки в овраге в *Капитанской дочке*. Фольклорная оболочка вокруг языка, песен и эпитафий подчеркивает народность и местную краску, а следовательно, исключительность людей времен якобитского бунта и восстания Пугачева.

Библиография

Работы на русском языке:

- Б е л и н с к и й В.Г., *О жигни и произведениях сира Вальтера Скотта*, [в:] его же, *Собрание сочинений. Статьи, рецензии и заметки 1834–1836*, т. 1, под ред. Д. Калинина, Москва 1976.
- В и н о г р а д о в В.В., *Пушкин – основоположник русского литературного языка*, Москва 1949.
- Г е й Н.К., *Проза Пушкина. Поэтика повествования*, Москва 1989.
- И з м а й л о в Н.В., *Очерки творчества Пушкина*, Ленинград 1975.
- Л е в и н Ю.Д., *Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы*, Ленинград 1975.
- Л е ж н е в А.З., *Проза Пушкина*, Москва 1966.
- Л о т м а н Ю., *Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя*, Ленинград 1983.
- М е й л а х Б., А.С. Пушкин. *Очерк жизни и творчества*, Москва–Ленинград 1949.
- П е т р о в С.М., *Исторический роман А.С. Пушкина*, Москва 1953.
- П е т р о в С., *Русский исторический роман XIX века*, Москва 1964.
- П у ш к и н А.С., *История Пугачева*, Москва 1965.
- П у ш к и н А.С., *Капитанская дочка*, Москва 1977.
- П у ш к и н А.С., *Пропущенная глава Капитанской дочки*, [в:] электронный ресурс: <http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/kapitanskaya-dochka/propuschennaya-glava.htm> (10.05.2008).
- С к о т т В., *Айвенго*, [в:] его же, *Собрание сочинений в 20 томах*, т. 8, Минск 1994, [в:] электронный ресурс: <http://lib.ru/PRIKL/SKOTT/ivangoe.txt> (20.04.2008).
- С к о т т В., *Роб Рой*, [в:] его же, *Собрание сочинений в 8 томах*, т. 4, Москва 1990, [в:] электронный ресурс: <http://www.litportal.ru/genre25/author213/read/page/0/book7506.html> (15.02.2008).
- С к о т т В., *Узверли, или шестьдесят лет тому назад*, [в:] его же, *Собрание сочинений в 8 томах*, т. 1, Москва 1990, [в:] электронный ресурс: <http://lib.ru/PRIKL/SKOTT/ueverly.txt> (15.02.2008).
- С о к о л я н с к и й М.Г., *И несть ему конца. Статьи о Пушкине*, Одесса 1999.
- С ы р о е г и н а Г., *Речевые стили в Капитанской дочке*, [в:] *Стиль и язык А.С. Пушкина*, под ред. К.А. Алавердовой, Москва 1937.

Работы на английском языке:

- B e r g e r D., *Damn the motto: Scott and the epigraph*, „Anglia Zeitschrift für Englische Philologie” 1982, no. 100.
K e l l y G., *English fiction of the Romantic period 1789–1830*, London–New York 1996.
L o c k h a r t J.G., *The life of Sir Walter Scott*, London 1970.

Работы на польском языке:

- B ł a g o j D.D., *Twórcza droga Puszkina*, Warszawa 1955.
G a l s t e r B., *Powieść poetycka Puszkina*, [в:] *O poetyce Aleksandra Puszkina*, pod red. B. Galstera, Poznań 1975.
G o m o l i c k i L., *Wielki realista Aleksander Puszkina*, Warszawa 1953.
K a c z k o w s k a T.A., *Struktura narracyjna prozy fabularnej Aleksandra Puszkina*, Warszawa 1983.
Ł u ż n y R., *Sztuka pisarska Puszkina – epika*, [в:] *O poetyce Aleksandra Puszkina*, pod red. B. Galstera, Poznań 1975.
T o p o r o w s k i M., *Geniusz i caryzm*, Warszawa 1971.

МАСОНСКИЙ КОД В ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА
ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ

MASONIC CODE IN THE WORKS OF VLADIMIR NABOKOV
(ON THE EXAMPLE OF *INVITATION TO A BEHEADING*)

NADZIEJA KORTUS

ABSTRACT. This article is an attempt to interpret a work by Vladimir Nabokov, *Invitation to a Beheading*, with the most important determinants of Masonic culture. There are few studies that discuss this outstanding prose writer in terms of freemasonry and the author of this article discusses this issue with particular attention to the symbolism of the Masonic initiation ritual.

Nadzieja Kortus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań — Polska,
nadia.kortus@gmail.com

Творчество Владимира Набокова вырастает из традиции Серебряного века, насквозь пропитанного эзотерической символикой, в том числе также масонской¹. Несмотря на тот факт, что сам Набоков отрекался от всяких идеологических корней, стремясь создать миф о собственной уникальности, — как писателя, так и человека, — масонская тема в его прозе сильно выделяется². Совмещая в одну точку многочисленные эзотерические символы, мотивы, мифы, архетипы, Набоков заодно переосмыслил их значение и подчинял главной идейной основе своего творчества — потусторонности³.

¹ Н. А с а д о в а, Л. М а ц и х, *Масоны и литература Серебряного века*; радиопередача в эфире „Эхо Москвы”, [в:] электронный ресурс: <http://www.echo.msk.ru/programs/brothers/678604-echo/> (19.02.2015). По мнению Л. Мацих,

масонские мотивы в литературе [...] до 17-го года, до великого перелома — они очень четко проявляются. [...] Целое созвездие великих имен было тогда, и масонство очень их увлекало как духовная практика, как моральная дисциплина [...]. Вот все эти великие творцы — удивительно, как они все жили в одно время — вот, они все вдохновлялись масонской идеологией, символикой, ритуалами, ну, а кто мог постичь, то и масонской философией.

² Ж. Х е т е н и, „Идеальная нагота”. Мотивы масонской инициации в рассказе Вл. Набокова „Посещение музея”, „Studia Slavica Hungaricae” 2003, nr 48 / 1–3, с. 105–121. Исследовательница подчеркивает, что масонские мотивы играют в целом творчестве писателя существенную роль.

³ См.: В. А л е к с а н д р о в, *Набоков и потусторонность*, Санкт-Петербург 1999.

Возникновение в произведениях Набокова масонской темы обусловлено некими биографическими факторами. Отец Набокова-писателя, Владимир Дмитриевич Набоков (погибший во время покушения эмигрантов-монархистов на П.Н. Милюкова⁴), вместе со своим братом Константином, были высокопоставленными братьями масонской ложи⁵. В 1918–1919 годах в Париже работало созданное российскими масонами „Русское политическое совещание“, представителем которого являлся, между прочим, отец писателя⁶. Масонскими были также все основные органы эмигрантской печати: „Последние новости“ в Париже редактировал М.Л. Гольдштейн, „Возрождение“ — П.Б. Струве, а „Руль“ в Берлине возглавлял Владимир Набоков-отец⁷. После его смерти в 1922 году Набокова-писателя сразу же поддержали „братья“ по могучей масонской ложе — отцовские соратники: бывшие кадеты, эсеры, среди которых находился также новый редактор газеты „Руль“ — Иосиф Владимирович Гессен. Друзья отца, близкие к Милюкову и семье Слонимов (будущей жены писателя, Веры), сделали творческий дебют Набокова, молодого поэта и прозаика, весьма заметным. Не без значения остается также тот факт, что Константин Набоков (дядя писателя), Иван Петрункевич и Федор Родичев включены в список людей, принявших участие в революционном заговоре против русской монархии⁸. В результате этих происшествий молодой писатель вынужден покинуть родину и, потеряв отца, обращаться за помощью к его соратникам — масонам.

В контексте темы нашего исследования важным кажется признание, сделанное Ниной Берберовой в книге *Люди и ложи. Русские масоны XX столетия*:

⁴ Масон, министр иностранных дел. См.: О.А. П л а т о н о в, *Масонское правительство России*, [в:] его же, *История русского народа в XX веке*, [в:] электронный ресурс: http://wordweb.ru/ist_rus_xx/07_01.htm (19.02.2015).

⁵ О.А. П л а т о н о в, *Криминальная история масонства 1731–2004*, [в:] электронный ресурс: http://fak-off.narod.ru/books/krim_ist_mass.pdf (19.02.2015).

⁶ О.А. П л а т о н о в, *Разрушение Русского государства*, [в:] его же, *История русского народа в XX веке*, [в:] электронный ресурс: http://wordweb.ru/ist_rus_xx/index.htm (19.02.2015). Платонов утверждает, что решения, принятые этой организацией, обозначили курс на разрушение Русской монархии и ликвидацию ее традиционных институтов.

⁷ О.А. П л а т о н о в, *Криминальная история масонства...*, указ. соч.

⁸ По утверждениям Платонова и Румянцева, Вл. Набоков-писатель, по всей вероятности, знал о революционном заговоре против царской семьи. См.: О.А. П л а т о н о в, *Разрушение Русского государства*, [в:] его же, *История русского народа...*, указ. соч.; В.Б. Р у м я н ц е в, *Кто делал революции 1917 года*, [в:] электронный ресурс: http://hrono.ru/biograf/bio_r/rev1917.php (19.02.2015).

Я далека от намерения сравнивать собственное детство с детством Набокова, который, через своего отца, знал тех, кто так или иначе имел касательство к Государственной Думе или кадетской партии. М.М. Винавер и И.В. Гессен звали его Володей, и он буквально вырос на коленях у Родичева и Петрункевича⁹.

Среди упомянутых Берберовой фамилий следует особо выделить две последние. Фигура Ивана Ильича Петрункевича, „вольного каменщика“, председателя совета масонского „Союза освобождения“ и многолетнего друга отца Набокова, отражена в имени одного из героев повести *Приглашение на казнь*, палача м-сье Пьера (Петра Петровича)¹⁰. Фамилия следующего друга семьи Набоковых, Федора Измайловича Родичева, закодирована в характеристике трех персонажей произведения: адвоката Романа, директора тюрьмы Родрига и тюремщика Родиона. Героев сложно отличить друг от друга, поскольку они часто почти незаметно меняются местами и постами (например, в камеру заходят Родриг и Роман, по ходу действия Родриг заменяется Родионом, выходят из камеры Родион, Роман и Цинциннат, а возвращаются в первоначальном составе: Родриг, Роман и Цинциннат)¹¹. Будучи адвокатом, Родичев считался одним из лучших российских думских ораторов, а за темпераментные выступления был прозван „первым тенором“ кадетской партии¹². Удивительное сходство можно заметить между Родичевым и пародийной характеристикой трех героев-двойников: Роман является адвокатом (причем судьба Цинцинната вообще его не волнует), директор тюрьмы, Родриг — замечательным, комическим оратором, а тюремщик Родион — превосходным „баритонным басом“, исполняющим арию хором.

Неожиданная смерть Набокова-отца, не имевшего непосредственного отношения к заговору, становится, вместе с темой потусторонности, *idée fixe* творчества писателя. Так, три основных лейтмотива, на которых основано метапоэтическое творчество Набокова, вырастают

⁹ Н. Б е р б е р о в а, *Люди и логи. Русские масоны XX столетия*, [в:] электронный ресурс: http://rus-sky.com/history/library/berberova.htm#_Точ60582298 (19.02.2015).

¹⁰ Иван Ильич Петрункевич (1844–1928) — левый кадет, масон, председатель совета масонского „Союза освобождения“, один из руководителей московской группы „Союза освобождения“. См.: О.А. П л а т о н о в, *Криминальная история масонства...*, указ. соч.

¹¹ В.В. Н а б о к о в, *Приглашение на казнь*, Санкт-Петербург 2010, с. 35–41. Все цитаты из произведения *Приглашение на казнь* будут приводиться по этому изданию с указанием страниц в скобках.

¹² Федор Измайлович Родичев (1854–1933) — юрист, член ЦК партии кадетов и Госдумы (всех созывов), министр Временного правительства по делам Финляндии и член Чрезвычайной Следственной комиссии Временного правительства, масон. См.: О.А. П л а т о н о в, *История русского народа...*, указ. соч.

из фактов его биографии. Это, во-первых, триадическая модель заговор — суд — казнь, имеющая свою идеологическую основу в заговоре против царской семьи, к которому юный поэт-прозаик никак не прикасался, и в заговоре против „вольного каменщика“ Миллокова, вместо которого был убит его отец. Следовательно, возникают два остальных лейтмотива: тема теней-двойников, а также потусторонности и ведущего к ней инициационного пути, как индивидуального убежища от разоблаченного мнимого, пошлого мира.

В романе *Приглашение на казнь* все три темы непосредственно связаны с образом главного героя, Цинцинната Ц. — жертвы заговора ложных спасителей¹³. Причем масонские идеалы реализуются здесь в искаженно пародийном порядке и служат, прежде всего, выражению негативного отношения Набокова к масонству. Следуя мнению Анны Худзиньской-Паркосадзе, мы полагаем, что идеологическая конструкция романа *Приглашение на казнь* основывается на противопоставлении внутренней духовной инициации Цинцинната внешнему масонскому ритуалу и масонским законам по принципу: отделение *внешнего зрелища от внутреннего настоящего переживания*¹⁴. Поскольку многие масонские символы и мотивы, выступающие в *Приглашении на казнь*, были уже отмечены литературоведами¹⁵, мы сосредоточимся на главных принципах масонского обряда посвящения, на которых основана мотивная структура романа.

Один из главных масонских идеалов — „прозрачность“ человеческой природы для духовного света¹⁶, приобретает двойной смысл.

¹³ На мотив спасения ложными каменщиками, работающими киркой, обращает внимание Ольга Скопечная. Исследовательница замечает, что сцена подкупа и мотив ложных спасителей демонстрирует внутренний плен Цинцинната — плен его сознания. Тюремщики — это порождение его ограниченной „смертной мысли“, и их губительная связь-заговор вырастает из земной логики героя. См.: О. С к о п е ч н а я, *Масонская тема в русской прозе Набокова: о переосмыслении писателем бродячих сюжетов массового сознания*, „Etudes Slaves Paris“ 2000, nr LXXII / 3-4, с. 391-392.

¹⁴ А. Х у д з и н ь с к а - П а р к о с а д з е, „Одиночество избранных“. Попытка освещения проблемы на материале романа Владимира Набокова „Приглашение на казнь“. Текст используется на правах рукописи при согласии автора статьи. Ученая обращает внимание на тот значительный факт, что масонская обрядность противопоставляется Набоковым истинной, внутренней инициации, легшей в основу масонства в древности.

¹⁵ См. там же; О. С к о п е ч н а я, указ. соч.; Ж. Х е т е н и, „Идеальная нагота“..., указ. соч.; ее же, *Лед, Лета, лужа: „мост через реку“*. *Масонский и дантовский код в романе Вл. Набокова „Защита Лужина“*, „Sub Rosa“: In honorem Lenae Szilárd, Budapest 2005, с. 286-298.

¹⁶ Эта задача масонского ученика формируется следующим образом: „[...] преимущественно очищение своей психической личности, чтобы она стала проницаемой для света Духа (открытие в себе духовного Света)“. См.: Д. С т р а н д е н,

С одной стороны, „прозрачность“ присущая настоящему духовному облику Цинцинната, а с другой — она подвергается Набоковым переосмыслению, поскольку Цинциннат обвиняется в „непроницаемости“. В характеристике главного героя эта масонская идея противопоставляется естественному внутреннему переживанию посвященного: Цинциннат по своей истинной природе остается „прозрачным“ в высшем смысле (т. е. он пропускает сквозь свое существо духовный свет) и поэтому для окружающего мнимого мира ложных призраков-горожан — он „непрощаем“ (т. е. его мысли и поведение непредсказуемы).

В облике главного героя реализуется также каббалистическая легенда о первом человеке, Адаме Кадмоне, который может вернуться в царство Света путем инициации, т. е. приобретения тайного знания¹⁷. Во время масонского ритуала, опирающегося на три учения: герметизм, алхимию и Ветхий Завет (также каббалу), посвящаемый исполнял роль мастера Гирама, избранника, которому по легенде знания передал сам Адам Кадмон и который с тех пор хранил память о красотах Эдема¹⁸. Цинциннат оказывается брошенным в этот непонятный мир, в хаос, который он в финале покидает, возвращаясь туда, откуда пришел, т. е. к „существам, подобным ему“. Картина Эдема возникает в набоковском тексте в воспоминаниях Цинцинната в виде Тамариных Садов, носящих признак нездешности. Герой тоскует по ним, мечтая вернуться „туда“ — в идеальное, райское пространство¹⁹.

По легенде, убийство Гирама было совершено неверными рабочими из-за того, что искусный строитель не пожелал открыть им сокровенного „слова“ — пароля мастеров²⁰. Данный мотив также выступает в пародийном и прямом порядке. Первый из них реализуется во время приговора, когда Цинциннату шепотом сообщают, что ему „наденут красный цилиндр“ — выработанная законом, подставная фраза“. С другой стороны, его внутренний двойник, истинный Цинциннат²¹ ищет слов для самовыражения и только наконец перечеркнутое слово

Герметизм. Его происхождение и основные учения (Сокровенная философия египтян), Санкт-Петербург 1914, [в:] электронный ресурс: <http://psylib.ukrweb.net/books/stran01/txt02.htm> (19.02.2015).

¹⁷ См.: Ж. Х е т е н и, *Лед, Лета, лужа...*, указ. соч., с. 288–289. Исследовательница ссылается на эту же легенду, анализируя фигуру Лужина.

¹⁸ См.: О. С к о н е ч н а я, указ. соч., с. 392.

¹⁹ Творческим отражением Адама Кадмона, предоставляющего Цинциннату „высшее знание“, можно считать самого автора романа (между тем как Цинциннат отождествляется с мастером Гирамом).

²⁰ О. С к о н е ч н а я, указ. соч., с. 392.

²¹ „Призрак, сопровождающий каждого из нас — и тебя, и меня, и вот его, — делающий то, чего в данное мгновение хотелось бы сделать, а нельзя“ [ПНК, с. 20].

„смерть” оказывается „паролем” в потусторонность, уверяя Цинцинната в том, что все уже сказано и бояться нечего.

В контексте инициации главного героя стоит учесть и тот факт, что уже с самого начала романа он является мастером (работает в мастерской игрушек). Предыдущая стадия посвящения в масоны, подмастерье, заключающаяся в выработке умений отделять свое астральное тело от физического²², Цинциннатом завершена, о чем свидетельствуют многие его астральные путешествия. Одним из них предстоит прогулка по ночному городу, которая кончается внезапным возвращением в камеру заключения [ПНК, с. 14–16]. Иным примером погружения Цинцинната в астральное пространство может послужить сцена, в которой он совершает „преступное свое упражнение”, т. е. раздевается, снимая не только одежду, но и части своего физического тела [ПНК, с. 29–30].

Интересно, что в целом романе определение „мастер” относится лишь к двум персонажам: работающему мастером Цинциннату и м-сье Пьеру²³. На их антономическую реляцию указывают хотя бы инициалы имен: Ц(инциннат) – П(ьер), которые представляют собой взаимное обратное зеркальное отражение. Симптоматично также и то, что буква „П” напоминает вход в масонский храм: две колонны, символизирующие Бояза и Яхима, соединенные перекрытием. Согласно зеркальному принципу в имени главного героя Цинцинната Ц, в трехкратном повторении буквы „ц” закодирована идея обратного толкования масонской темы. Более того, героям по тридцать лет и оба они потеряли отцов (масоны же считали себя „детьми вдовы”), с той разницей, что Цинциннат, по словам матери, является таким же „преступником”, как и его отец²⁴. Круг ассоциаций закрывает условие, разрешающее стать масоном лишь человеку свободному, который пользуется хорошей репутацией. Таким образом, настоящий духовный мастер, Цинциннат, приобретает своего темного двойника в пародийном образе масонского мастера – м-сье Пьера.

Основная структурная единица классической масонской ложи состоит из руководящего ложей Старшего Мастера, определяемого также как Мастер Света, и трех надзирателей: Оратора, Секретаря и Хранителя Храма. Ложа является местом, в котором все они встречаются и работают, она отделяет их от внешнего шума и ежедневных забот.

²² А. Х у д з и н ь с к а - П а р к о с а д з е, указ. соч.

²³ Характеристика м-сье Пьера как масонского мастера см.: там же.

²⁴ На таинственность личности отца Цинцинната обратил внимание Виктор Ерофеев. См.: В. Е р о ф е е в, *В поисках потерянного рая (Русский метароман В. Набокова)*, [в]: его же, *В лабиринте проклятых вопросов*, Москва 1990, [в]: электронный ресурс: <http://aptechka.agava.ru/statyi/knigi/vlpv/vlpv6a.html> (19.02.2015).

Одна из обязанностей ложи заключается в подготовке адепта к инициации, причем ответственность за будущего ученика несет Старший Мастер²⁵. В романе местом обитания главного героя и работы его надзирателей является крепостная бышня, построенная на громадной скале, вдали от города. Роль Старшего Мастера играет палач м-сье Пьер, которому подчиняются остальные герои: директор Родриг — в роли Оратора, адвокат Роман — Секретаря и тюремщик Родион — Хранителя Храма. Пародийный облик м-сье Пьера как масонского мастера дополняет его явно высокий статус по отношению к помощникам, а также его лживая светлая внешность, противопоставленная настоящему светлому облику Цинцинната. Палач относится к Цинциннату как к ребенку и подчеркивает лежащую на нем ответственность за успешную подготовку своего „воспитанника“ к казни [ПНК, с. 177]. Кроме того, в причудливых стараниях м-сье Пьера подружиться с приговоренным осмеян масонский идеал братства („Добиться такой дружбы, — вот в чем заключалась первая моя задача, и, по-видимому, я разрешил ее успешно“ [ПНК, с. 158], „[...] как драгоценна для успеха общего дела атмосфера теплой товарищеской близости“ [ПНК, с. 168])²⁶.

Во время первого этапа масонского обряда посвящения будущий адепт, сопровождаемый двумя братьями-помощниками, находится в Зале потерянных шагов, где, стоя у входа в ложу, просит принять его в масоны, после чего один из братьев трижды стучится в дверь. Стоит заметить, что масонская просьба принять в ученики реализуется в повести в обратном порядке, поскольку Цинцинната поместили в башню против его воли. В самом же начале героя ведут по лестнице, и его ощущения соответствуют изначальным переживаниям кандидата в масонство:

Был спокоен: однако его поддерживали во время путешествия по длинным коридорам, ибо он неверно ставил ноги вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда проваливался [...]. Тюремщик Родион долго отпирал дверь камеры, — не тот ключ, — всегдашняя возня. Дверь наконец уступила [ПНК, с. 7].

Важной частью масонского ритуала является пребывание адепта в Кабинете размышлений, где он оказывается перед лицом величайшей тайны — смерти. Там посвящаемый не только умирает для прошлого, но и делает первый шаг к новой жизни, получая очищение. Оставшись в Камере наедине, адепт получает возможность сосредоточиться на глубоком потаенном смысле находящихся в ней предметов.

²⁵ T. C e g i e l s k i, *Czcigodny Mistrz Światła i Oficerowie Loży*, [в:] *Masoneria pro publico bono*, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2014, с. 27.

²⁶ См.: А. Худзиньска-Паркосадзе, указ. соч.

Единственной мебелью в Кабинете являются стул и стол, на котором стоят баночки с серой и солью (алхимические ингредиенты, используемые во время Великого Делания), песочные часы (напоминающие о вечной преемственности жизни, но также об истекающем времени), череп (символ смерти и бренности всего сущего) и петух (как вестник возрождения). В Цинцинатовой камере, кроме стула и стола, также находятся вышеупомянутые предметы, однако их символическое значение закодировано в несколько ином контексте. Так, сера и соль (означающие также мужское и женское начало) отражены в желтых стенах и в лунном свете, заглядывающем в окно камеры; череп заменен пауком (также символизирующим неминуемую смерть²⁷), а песочные часы — звуком часов, бьющих где-то в коридоре. Отсутствие эквивалента символа петуха сочетается с искусственным солнцем, светящим в момент казни, а также эпизодом, имеющим место перед казнью (Цинциннат удивлен, что за ним пришли в середине дня, ведь „так был уверен, что непременно на рассвете“ его поведут на эшафот [ПНК, с. 202]). Этот авторский намек очередной раз указывает на обратный смысл масонской символики: по Набокову, никакой истинной иллюминации и возрождения в масонском обряде не существует.

Для более глубокого осознания собственного жизненного пути посвящаемому предлагалось написать в Камере свое Философское завещание, которое должно быть зачитано в момент заседания ложи. На его основе проходило голосование за принятием аспиранта в ученики. Отвечая письменно на вопросы об отношении к законам морали и долга, к ближним, к человечеству и к самому себе, кандидат окончательно завершал прежнюю жизнь и готовился к Пути посвящения. В момент написания Философского завещания будущий ученик должен также понимать, что вступление в орден происходит через символическую смерть и возрождение к новой, более разумной жизни²⁸.

Цинциннат, подобно масонскому кандидату, постепенно осознает неизбежность смерти и реальность своего истинного бессмертного „я“. Он также понимает, что зря искал убежища и спасения в пределах „тутошной жизни“ [ПНК, с. 200] и наконец отвечает на три главных вопроса, т. е. насчет себя самого герой пишет: „**мне необходима** хотя бы теоретическая возможность иметь читателя [...]. Вот это нужно было высказать“ [выделения наши — Н. К., ПНК, с. 189]. Относительно других людей и мира Цинциннат пишет:

²⁷ См. там же. Символ паука в контексте масонской деятельности можно также понимать как плетение паутины интриг, вышивание узоров заговора. См.: О. С к о н е ч н а я, указ. соч., с. 386.

²⁸ T. S e g i e l s k i, *Inicjacja do loży. Izba Rozmyślań*, [в:] *Masoneria pro publico bono*, указ. соч., с. 36.

Небольшой труд... запись проверенных мыслей... Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране. То есть я хочу сказать, что **я бы его заставил** вдруг залиться слезами счастья, растаяли бы глаза, — и, когда он пройдет через это, **мир будет чище**, омыт, освежен [выделения наши — Н. К., ПНК, с. 48].

Пытаясь выразить в словах свое жизненное кредо, герой жаждет при этом преодолеть страх перед смертью. Его единственное предсмертное желание — дописать свой труд — в конце приводит к иллюминации, т. е. перечеркивая слово „смерть“, герой осознает, что на самом деле все уже сказано, смерть не существует и бояться нечего. Завершением процесса перерождения души Цинцинната можно считать символическую сцену с ночной бабочкой — вестником бессмертия из потустороннего мира²⁹.

Стоит также обратить внимание на графическое оформление Камеры размышлений. На стенах помещения расписаны масонские правила, а над столом, за которым трудится аспирант, начертана алхимическая формула V.I.T.R.I.O.L., обозначающая „Отправься *внутрь Земли*, очищением откроешь потаенный камень“. Ключевое алхимическое понятие — Великое Делание — адаптированное масонством, в узком смысле, означает получение философского камня, но в более широком — это окончательный результат духовной перемены адепта, т. е. достижение им нравственного и физического совершенства и, тем самым, возвышение его истинной, духовной природы до понимания смысла бытия и слияния с духовным миром. Причем этот последний этап алхимического Делания носит название *рубедо* (красный) и по принципу ассоциации связан с пробуждением на рассвете.

В романе *Приглашение на казнь* список масонских правил спародирован в образе висящего на стене пергамента с восемью правилами для заключенных [ПНК, с. 45–46], а таинственная алхимическая мысль закодирована в отрывках надписей, оставленных предыдущими узниками [ПНК, с. 22]. Алхимический этап *рубедо*, т. е. момент возрождения Цинцинната, когда он получает Философский камень, предвещает символическая фраза в самом начале романа: „вам наденут красный цилиндр“ [ПНК, с. 18]. Здесь стоит заметить, что завершительный камень в масонской идее строения нового мира носит название „шапочного камня“. В то время, как масонский обряд посвящения теряет свое сокровенное значение, внутренняя инициация главного героя обретает чер-

²⁹ См.: А. Х у д з и н ь с к а - П а р к о с а д з е, указ. соч. По словам исследовательницы, этот эпизод можно прочесть как иллюминацию Цинцинната (*illuminatio*), благодаря которой он понял, что его душа бессмертна, а появление бабочки предсказывает его спасение. См. также: L. E n g e l k i n g, *Chwył metafizyczny. Vladimir Nabokov — estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości*, Łódź 2011, с. 195–196.

ты настоящей духовной перемены, так как герой начинает ощущать символическое зарождение огня внутри его самого [ПНК, с. 48–49].

После написания Философского завещания аспирант готовится к дальнейшей части инициации: он оголяет левую ступню (символ уважения), правую грудь (искренности и открытости) и правую ногу (смирения), после чего разутый, с завязанными глазами и веревкой на шее, должен довериться своему проводнику и пройти четыре испытания. Их целью является полное внутренне освобождение кандидата от всего светского и профанного³⁰. Со дня своего заключения, Цинциннат ходит по камере полураздетый: в черном халате, черной ермолке и черных туфлях. Символической повязкой на глазах можно считать неизвестную дату смерти, а также пространство, в котором заключен Цинциннат — башня построена в виде лабиринта, в котором герой неоднократно теряется. Веревку в виде тени на шее Цинцинната замечает однажды м-сье Пьер [ПНК, с. 104]. В начале романа герой освобождается от лживого мира, т. е. раздевается вплоть до погружения в астральное пространство:

Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух. Цинциннат сперва просто наслаждался прохладой; затем, окунувшись совсем в свою тайную среду, он в ней вольно и весело... [ПНК, с. 29].

Перед ритуальной смертью кандидат в ученики проходит четыре иерархических испытания, так называемые „путешествия“. Первое из них, согласно надписи V.I.T.R.I.O.L., связано с материальным аспектом бытия и ведет его вглубь земли. Воздух — связан с интеллектом и философией. Вода, символизирующая душу и религию, очищает аспиранта, подготавливая его к последнему испытанию, во время которого огонь должен символически испепелить плоть, освобождая кандидата от ограничений материального мира³¹. На инициационном пути Цинцинната этап земли реализуется в эпизоде рытья туннеля, когда путем подземного перехода герой надеется на освобождение. Кроме того, здесь следует обратить внимание на инструмент, которым пользуется м-сье Пьер, т. е. кирку, один из основных масонских символов:

Обыкновенной ли киркой или каким-нибудь чудаковатым орудием [...], но кто-то как-то — это было ясно — пробивал себе ход [ПНК, с. 133].

³⁰ T. S e g i e l s k i, *Inicjacja do loży: „ani nagi, ani ubrany“*, [в:] *Masoneria pro publico bono*, указ. соч., с. 37–38.

³¹ Там же, с. 38–39.

Второе испытание, связанное с символом ветра, Цинциннат проходит во время своего астрального путешествия, когда „ветерок делал все, чтобы освежить беглецу голую шею” [ПНК, с. 15].

Следующему испытанию, сопровождаемому мотивом воды и луны, посвящен целый пятый раздел романа. В его кульминационном моменте Цинциннат принимает ванну, после чего ему становится „хорошо” и „чисто” [ПНК, с. 61]. Последний этап реализуется в момент смерти Цинцинната, когда он окончательно освобождается от каких-либо ограничений театрального мира. Именно огонь внутри него свидетельствует о завершении им последнего этапа инициации. Этому испытанию предшествует признание героя:

Я не простой... я тот, который жив среди вас... Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, — не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, — но главное: дар сочетать все это в одной точке... Нет, тайна еще не раскрыта, — даже это — только огниво, — и я не заикнулся еще о зарождении огня, о нем самом. Моя жизнь [ПНК, с. 48–49].

Стоит заметить, что все испытания, за исключением последнего, носят трагикомический характер. Надежда на спасение кончается разочарованием, когда оказывается, что туннель копали палач и директор тюрьмы ради жестокой шутки. Астральное путешествие Цинцинната образует безвыходный круговорот. Этап воды также связан с отчаянием и страхом. Только последнее испытание, активизирующее высвобождающую роль огня, выступает в прямом смысле, как настоящее завершение инициации: „все в этом городе на самом деле было всегда совершенно мертво и ужасно по сравнению с тайной жизнью Цинцинната и его преступным пламенем” [ПНК, с. 70].

Во время последнего этапа масонского ритуала посвящаемый, обращаясь к Мастеру, просит дать ему свет, ибо он слеп (вспомним, что глаза адепта закрыты повязкой). Мастер, прежде чем одарить его светом, объясняет новичку некоторые каноны масонского ремесла, а затем приглашает принести присягу на „кубке возлияний”. Сладкое и горькое питье, чередующееся в чаше, символизирует жизнь — сладкую в начале и горькую в конце. Затем аспирант проходит семь ступеней, преклоняет перед алтарем правое обнаженное колено и приносит присягу, отвечая трижды „да” на три вопроса Мастера. После символической смерти адепта, когда „братья” поднимают мечи и направляют их острия ему в грудь, с глаз кандидата снимается повязка. Его принятие в ученики завершается символическим пиром — так называемой „агапой”³².

³² Там же, с. 39–40.

В романе *Приглашение на казнь* все эти масонские символы указаны в обратном смысле. Просьба „Света!“ заменяется восклицанием Цинцинната „Потушите!“ (после чего „совершилось полное слияние темноты и тишины. Вот тогда [...] только тогда Цинциннат ясно оценил свое положение“ [ПНК, с. 16–17]). Масонский „кубок возлияний“ реализуется в гротескном крике м-сье Пьера „чаша долготерпения выпита!“ [ПНК, с. 204], а также в эпизоде, происходящем во время пира, когда после слова „Горько!“ палач помазывает сначала темя приговоренного, потом также и свое красным вином. Перед самой казнью, вместо масонской присяги, выраженной трижды словом „да“, Цинциннат трижды отталкивает помощь м-сье Пьера, отвечая „сам“, после чего проходит двадцать шагов к эшафоту, исполняющему функцию масонского алтаря. Агапа представлена в романе в образе пира, обильного явлениями и предметами, имеющими непосредственное отношение к масонской символике („зал, гудевший многочисленным собранием“ [ПНК, с. 176], пол в „черно-белые плиты“ [176], „дамы отсутствовали“ [177], „хрустальная вазочка с белой розой, отличительно от других украшавшей его прибор“ [178]). Кроме того, м-сье Пьер, как масонский Мастер, объясняет Цинциннату-ученику значение всех этих символов: „Стоя с Цинциннатом в стороне, м-сье Пьер указывал своему воспитаннику эти явления“ [ПНК, с. 177]. Стоит обратить внимание и на тот факт, что сам пир в романе происходит перед казнью, в то время как у масонов агапа совершается после инициации. Обратный порядок ритуала указывает на то, что иллюминация Цинцинната выходит за рамки масонского ритуала и — в отличие от него — ведет к настоящему просвещению.

В итоге нашего анализа стоит заметить, что личное отношение к масонской теме, т. е. явное противопоставление духовной инициации главного героя повести *Приглашение на казнь* масонскому обряду посвящения, имеет непосредственный источник в жизненном опыте Набокова. Однако в художественном плане масонская тема служит писателю основой для сознательного и постоянного выстраивания своего собственного инициационного пути.

Библиография

- А л е к с а н д р о в В., *Набоков и потусторонность*, Санкт-Петербург 1999.
- А с а д о в а Н., М а ц и х Л., *Масоны и литература Серебряного века*; радиопередача в эфире „Эхо Москвы“, [в:] электронный ресурс: <http://www.echo.msk.ru/programs/brothers/678604-echo/> (19.02.2015).
- Б е р б е р о в а Н., *Люди и ложи. Русские масоны XX столетия*, [в:] электронный ресурс: http://rus-sky.com/history/library/berberova.htm#_Точ60582298 (19.02.2015).

- Е р о ф е е в В., *В поисках потерянного рая (Русский метароман В. Набокова)*, [в:] его же, *В лабиринте проклятых вопросов*, Москва 1990, [в:] электронный ресурс: <http://aptechka.agava.ru/statyi/knigi/vlpv/vlpv6a.html> (19.02.2015).
- Н а б о к о в В.В., *Приглашение на казнь*, „Азбука-классика”, Санкт-Петербург 2010.
- П л а т о н о в О.А., *Криминальная история масонства 1731–2004*, [в:] электронный ресурс: http://fak-off.narod.ru/books/krim_ist_mass.pdf (19.02.2015).
- П л а т о н о в О.А., *Масонское правительство России*, [в:] его же, *История русского народа в XX веке*, [в:] электронный ресурс: http://wordweb.ru/ist_rus_xx/07_01.htm (19.02.2015).
- П л а т о н о в О.А., *Разрушение Русского государства*, [в:] его же, *История русского народа в XX веке*, [в:] электронный ресурс: http://wordweb.ru/ist_rus_xx/index.htm (19.02.2015).
- Р у м я н ц е в В.Б., *Кто делал революции 1917 года*, [в:] электронный ресурс: http://hrono.ru/biograf/bio_r/rev1917.php (19.02.2015).
- С к о н е ч н а я О., *Масонская тема в русской прозе Набокова: о переосмыслении писателем бродячих сюжетов массового сознания*, „Etudes Slaves Paris” 2000, nr LXXII/3–4, с. 383–394.
- С т р а н д е н Д., *Герметизм. Его происхождение и основные учения (Сокровенная философия египтян)*, Санкт-Петербург 1914, [в:] электронный ресурс: <http://psylib.ukrweb.net/books/stran01/txt02.htm> (19.02.2015).
- Х е т е н и Ж., „Идеальная нагота” *Мотивы масонской инициации в рассказе Вл. Набокова „Посещение музея”*, „Studia Slavica Hungaricae” 2003, nr 48/1–3, с. 105–121.
- Х е т е н и Ж., *Лед, Лета, лужа: „мост через реку”*. *Масонский и дантовский код в романе Вл. Набокова „Защита Лужина”*, „Sub Rosa”: In honorem Lenae Szilárd, Budapest 2005, с. 286–298.
- Х у д з и н ь с к а - П а р к о с а д з е А., „Одиночество избранных”. *Попытка освещения проблемы на материале романа Владимира Набокова „Приглашение на казнь”*. Текст используется на правах рукописи при согласии автора статьи.
- С e g i e l s k i Т., *Czcigodny Mistrz Światła i Oficerowie Loży*, [в:] *Masoneria pro publico bono*, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2014.
- С e g i e l s k i Т., *Inicjacja do loży: „ani nagi, ani ubrany”*, [в:] *Masoneria pro publico bono*, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2014.
- С e g i e l s k i Т., *Inicjacja do loży: Izba Rozmyślań*, [в:] *Masoneria pro publico bono*, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2014.
- Е n g e l k i n g L., *Chwył metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości*, Łódź 2011.

РУССКИЕ СВАДЕБНЫЕ ПРИГОВОРЫ:
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О СПЕЦИФИКЕ БЫТОВАНИЯ
ОБРЯДОВОГО ТЕКСТА В НЕОБРЯДОВОЙ СИТУАЦИИ

RUSSIAN WEDDING SPEECHES:
SOME REMARKS ABOUT SPECIFICITY OF EXISTENCE
OF THE CEREMONIAL TEXT IN NOT CEREMONIAL SITUATION

ЮЛИЯ КРАШЕНИННИКОВА

ABSTRACT. The article is devoted to the problem of situating and performing ceremonial texts in non-ceremonial situations and is based on material from wedding speeches made in 1986–2006 in the local tradition of the Vilegodsky district in the Arkhangelsk region. An analysis of texts from the ceremonial genre performed in non-ceremonial situations allows the description of some mechanisms by which a folklore work in different speech situations is born, as well as masterly performance and strategies used by grooms in wedding speeches at the collector's request (in situations "outside the ceremony"). It enables us to speak about text commonality in repeat performances, and also the correlation of collective and individual, traditional and improvisational in ceremonial texts learned and performed in various situations. Comparing the records of wedding speeches divided into different temporary intervals provides an informative and productive discussion of the problem of specifics in folklore memory and the competence of the performer, mechanisms for memorizing, reproducing, and also the peculiarities of texts with a tendency towards improvisation.

Юлия Крашенинникова, Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар – Россия, krasheninnikova@rambler.ru

Настоящая работа посвящена проблеме фиксации и исполнения текстов обрядового жанра в необрядовой ситуации. Она связана с описанием механизмов „рождения“ фольклорного произведения в разных речевых ситуациях, исполнительских стратегий при декламировании говорных обрядовых жанров по просьбе собирателя, т. е. „вне обряда“, а также соотношения коллективного и индивидуального, традиционного и импровизационного в обрядовых фольклорных текстах, усвоенных и исполненных в различных ситуациях.

Проблема влияния ситуации на исполнителя и создаваемый им в процессе исполнения фольклорный текст, выявления степени и характера преобладания вербальной / невербальной составляющей

рассматривалась на разных жанрах П.Г. Богатыревым¹, К.В. Чистовым², В.М. Гацаком³, А.Ю. Брицкой⁴, Ю.А. Крашенинниковой⁵ и др. Объектом внимания исследователей становились эпические произведения, похоронно-поминальные причитания, сказочная проза, суеверные рассказы; т. е. жанры, которые по своей жанровой природе или „более чувствительны к ситуации“, поскольку не обладают четкой структурой⁶, или имеют в своем репертуаре фонд поэтических формул, типизированных описаний, клише, наполняющих и „конструирующих“ поэтическую ткань фольклорного произведения под влиянием ситуации.

Опираясь на многие положительные наблюдения, накопленные фольклористами на сегодняшний день по обозначенной проблеме, мы обратим внимание на проблему исполнения обрядовых текстов в обрядовой ситуации на примере одного из жанров русского свадебного обряда — приговоров дружек. Чин свадебного дружки в обряде разных локальных традиций России (функции и их генезис, атрибуты и пр.) рассматривается в работах многих исследователей⁷. В обряде дружка выполняет функции представителя жениха, посредника между родом жениха и родом невесты, церемониймейстера или распоряд-

¹ П.Г. Богатырев, *Роль ситуации при исполнении фольклорных произведений*, [в:] его же, *Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные работы)*, Москва 2006, с. 218–228.

² Обзор работ К.В. Чистова, связанных с проблемой аутентичности записей похоронных причитаний, исполненных во время обряда и вне его, т. е. по просьбе собирателя, сделан М.Д. Алексеевским (М.Д. Алексеевский, *Проблемы фиксации похоронно-поминальной плачевой традиции (К.В. Чистов и вопрос об аутентичности записей причитаний)*, [в:] *Фольклор и этнография. К девяностолетию со дня рождения К.В. Чистова. Сборник научных статей*, Санкт-Петербург 2011, с. 243–250).

³ В.М. Гацак, *Устная эпическая традиция во времени*, Москва 1989.

⁴ А.Ю. Брицкая, „Интенсивный опрос традиции“ и некоторые аспекты текстологии прозаических нарративов, [в:] *Этнопоэтика и традиция. К 70-летию чл.-корр. РАН В.М. Гацака*, Москва 2004, с. 93–104; ее же, *Фиксации повторных исполнений и некоторые аспекты теории традиции*, [в:] *Первый Всероссийский конгресс фольклористов. Сборник докладов*, т. II, Москва 2006, с. 42–52; О.Ю. Брицина, *Українська усна традиційна проза: питання текстології та виконавства*, Київ 2006.

⁵ Ю.А. Крашенинникова, *Устные рассказы о заблудившихся в лесу в свете работы П.Г. Богатырева „Роль ситуации при исполнении фольклорных произведений“ (на материалах нач. XXI в.)*, [в:] *Функционально-структуральный метод П.Г. Богатырева в современных исследованиях фольклора. Сборник статей и материалов*, Москва 2015, с. 199–210.

⁶ П.Г. Богатырев, *Роль ситуации...*, указ. соч., с. 219.

⁷ К сожалению, ограниченный объем статьи не позволяет привести весьма обширный перечень известных нам работ.

дителя свадебного действия, знахаря, балагура и шутника⁸. Главенствующая роль этого свадебного чина в севернорусской свадьбе подчеркивается большим количеством разного рода характеристик, деталей, атрибутов, на уровне народных дефиниций, наименований дружки и его помощника⁹.

В принятой в научной литературе номинации жанра — *свадебные приговоры* — закреплены такие показатели, как обрядовая приуроченность (исполнение на свадьбе) и отчасти указание на манеру произнесения, исполнения текстов — слова, которые приговаривают, сопровождают какое-либо действие. Приговоры регулируют „движение“ обряда, организуют и комментируют действия персонажей, при этом можно говорить о разных типах соотношения текста и обрядовых действий: „проговаривание“ ритуала „наперед“, синхронное следование текста и действий, чередование действий и текста, „объяснение“ выполненных действий с помощью текста. Помимо того, что дружка организует некоторые этапы обряда, он также формирует ответную реакцию и должен реагировать на изменения, которые привносятся другими участниками.

Свадебные приговоры являются говорным жанром¹⁰; это по преимуществу индивидуальный жанр, что позволяет ему в большей степени, чем коллективным жанровым формам, допускать импровизацию и новации в текстах. В числе определяющих черт жанрового своеобразия свадебных приговоров исследователи называют их „нарочную установку на импровизацию“¹¹, т. е. установку на „создание текста в процессе его исполнения“¹². Многочисленные дефиниции свадебных приговоров, зафиксированные в научной, очерковой литературе, архивных, экспедиционных материалах XIX — нач. XXI в., содержат информацию о таких свойствах жанра, как типологическое сходство с другими жанрами, функциональная приуроченность того или иного текста к определенному этапу обряда, используемый в ритуаль-

⁸ Одним из первых основные функции дружки обозначил Д.К. Зеленин: Д.К. Зеленин, *Свадебные приговоры Вятской губернии*, Вятка 1904, с. 1-13.

⁹ Об этом, в частности, см.: Ю.А. Крашенинникова, *Дружка в севернорусской свадьбе: о некоторых условиях выбора и атрибутах*, „Народна творчість та етнографія“ 2007, № 2, с. 30-37.

¹⁰ Термин, предложенный Г.А. Левинтоном (Г.А. Левинтон, *Замечания о жанровом пространстве русского фольклора*, [в:] *Судьбы традиционной культуры. Сборник статей и материалов памяти Ларисы Иевлевой*, Санкт-Петербург 1998, с. 65-66); см. также мнение Б.Н. Путилова о делении жанров по способу произношения: тексты, которые поются, сказываются и говорятся (указ. соч., с. 65, сн. 24).

¹¹ К.В. Чистов, *Вариативность как проблема теории фольклора*, [в:] его же, *Народные традиции и фольклор. Очерки теории*, Ленинград 1986, с. 132.

¹² Там же.

ном акте атрибут¹³. Наши наблюдения над свадебными приговорами позволяют заключить, что этот жанр в русской фольклорной традиции активно развивался не только за счет своих внутренних ресурсов, но также за счет других жанров (и не только свадебного обряда). Некоторые результаты наших исследований относительно „использования“ приговорами заговорно-заклинательного репертуара, сюжетов и фрагментов произведений наивной и профессиональной поэзии, лубочной литературы, духовных стихов и пр. мы приводили ранее¹⁴.

Наши наблюдения базируются на разновременных записях 1986–2006 годов, сделанных преимущественно автором в локальной традиции Русского Севера – Вилегодском районе Архангельской области от информантов: 1. принимавших участие в обряде в качестве друзей (1960–1970-е гг.), 2. наблюдавших приговоры в реальном обрядовом исполнении, 3. усвоивших тексты в ситуации „вне обряда“ от односельчан, которые когда-то исполняли роль дружки на свадьбе. В работе представлены некоторые результаты сопоставления повторных исполнений текстов свадебных приговоров, разделенных временными промежутками от нескольких часов до нескольких лет.

*

В нашем корпусе представлены по преимуществу записи, состоящие из нескольких текстов приговоров, которые в реальной обрядовой ситуации могли исполняться в разные этапы обряда. Вне обряда информанты на просьбу собирателя (прочитать, что говорил дружка) произносят включающий несколько приговоров текст, формальными признаками разделения которого являются разные по степени распространенности комментарии, сделанные исполнителями в ходе декламирования, а также собственно содержание конкретных фрагментов.

¹³ Подробно о народной терминологии: Ю.А. Крашенинникова, *Свадебные приговоры в свете народной терминологии*, „Традиционная культура: научный альманах“ 2011, № 3, с. 70–80.

¹⁴ Ю.А. Крашенинникова, *Межжанровые связи в мифопоэтическом содержании фольклорных текстов (свадебные приговоры – заговоры)*, „Традиционная культура: научный альманах“ 2009, № 1, с. 29–39; ее же, *Свадебные приговоры среди фольклорных и литературных жанров (к вопросу о межжанровом взаимодействии)*, [в:] *От Конгресса к Конгрессу. Материалы Второго Всероссийского конгресса фольклористов*, т. 1, Москва 2010, с. 195–208; ее же, *Литературные и лубочные произведения в текстах русского свадебного обряда*, [в:] *Устное и книжное в славянской и еврейской культурной традиции*, Москва 2013, с. 247–260; ее же, *„Адская газета“ в русских свадебных приговорах*, [в:] *Rosja w dialogu kultur*, red. B. Żejmo, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, с. 469–480; ее же, *О случаях и механизмах жанрового взаимодействия в текстах свадебного обряда (на материале приговоров девишек „на свадебное деревце“)*, „Традиционная культура: научный альманах“ 2015, № 3, с. 149–163.

Сопоставление таких, условно назовем их „сводными“, текстов из одной локальной традиции показывает следующее. Отметим слабое композиционное варьирование записей (одного исполнителя, пары „учитель – ученик“, в непрямых повторных фиксациях), разделенных разными временными промежутками. Сравнение текстов разных информантов одной локальной традиции показывает, что порядок следования приговоров в записях однообразен, отступления в нем встречаются крайне редко. Знание информантом последовательности ритуальных актов определяет порядок следования приговоров в записи, необходимость включения того или иного фрагмента в текст. Большой „жизнестойкостью“ в традиции и памяти информантов обладают тексты, регулирующие „движение“ обряда, перемещения и действия персонажей, организующие и комментирующие разные этапы свадьбы. Такая устойчивость объясняется включенностью приговоров в обряд, „сценарий“ которого поддерживает фольклорное знание, другими словами, принадлежностью жанра двум системам – фольклору и ритуалу¹⁵, т. е. обрядовый „контекст“ является одним из стабилизаторов сохранения текстов в памяти информантов.

Способностью „удерживать“ тексты в традиции обладает, на наш взгляд, рифма, усиление которой регистрируется в более поздних по времени фиксации поэтических образцов приговоров¹⁶. Поскольку процесс сворачивания обряда не способствовал сохранности поэтических текстов, рифма, как нам думается, выступала в качестве одного из тех стабилизаторов, которые оказывают влияние на „удержание“ текста в памяти информантов, а насыщение текста рифмой, таким образом, препятствует его забыванию.

Сопоставление повторных записей демонстрирует изменения поэтической фактуры текстов, в частности обеднение содержательного плана тех приговоров, которые передают состояние окружающей обстановки, описывают эмоциональную реакцию героев, содержат „портретные“ характеристики персонажей ритуала и пр. Информанты, чувствующие специфику жанра, для заполнения лакун в приговорах привлекают другие жанры (преимущественно свадебного обряда, а также те, в которых реализуется свадебная тематика)¹⁷.

¹⁵ А.К. Б а й б у р и н, *Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов*, Санкт-Петербург 1993, с. 210.

¹⁶ В частности, М.Б. Плеханова отмечает насыщенность рифмой более поздних по времени записи образцов свадебных приговоров и совсем малую долю рифмы в образцах архаических (М.Б. П л ю х а н о в а, *Проблема пародийности рифмы*, [в:] *Тыняновский сборник: вторые Тыняновские чтения*, Рига 1986, с. 251–252).

¹⁷ В частности, для создания образов жениха и невесты используются стилистика и репертуар исполняющихся на свадьбе величальных и корильных песен,

При сравнении повторных записей одного информанта отмечено отчетливое стремление к стереотипии формульных и неформульных фрагментов, крайне малый уровень вариативности текстов. Разночтения наблюдаются в мельчайшем текстологическом слое (окончания слов, употребление союзов, частиц и др.). Проще говоря, зачастую мы сталкивались с ситуацией, когда информанты, которые усвоили текст вне обряда, старались рассказать заученный текст, не допуская импровизации. Фиксируется слой так называемых стереотипных строк, повторяющихся из записи в запись, зачастую совпадающих и текстуально, и позиционно. Стремление к стереотипии наблюдается в контекстных и комментирующих высказываниях, которые содержат информацию о „движении” ритуала, объяснение необходимости произнесения того или иного текста и пр. Совпадения регистрируются в области невербальных средств выразительности: в эмоциональной (смех) и интонационной (паузы, повышение и понижение интонации) сферах¹⁸.

Выделяется перечень текстообразующих опорных слов и сочетаний — текстовых стабилизаторов¹⁹. Появление такого стабилизатора („ехали-попоехали”, „подворотенка пола”, „куний след”, „волок”, „ростань” и др.) провоцирует исполнителя „развернуть” известные ему тексты. Вероятно, можно говорить о существовании разных „списков” таких стабилизаторов, например, одной локальной традиции, жанра,

песенно-игрового фольклора, например: в приговоре у жениха *„Шапка у него соболина, // Кафтан у него шелковый, // Сапоги у него сафьяновые...”* (Зап. Ю.А. Крашенинникова 25.05.2004 г. от Лобановой А.И., 1923 г. р., с. Лойма Прилузского р-на Республики Коми [Фольклорный архив Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН (далее: ИЯЛИ): АФ 1542-26]), в свадебной величальной песне жениху *„...Шапка на нем преклони голова, // Шуба на нем сорока соболей, // Сапожки на нем сафьяновые...”* (Зап. Ю.А. Крашенинникова 29.06.1996 г. от Губкиной З.А., 1914 г. р., д. Залесье Вилегодского р-на Архангельской обл. [ИЯЛИ: АФ 1701-65]); невеста в приговоре *„...и ткаха, и пряха, // И шелковица, и полушелковица, // И вина вам красного нальет, // И рюмочку поднесет, // И песенку сплет...”* (Зап. Ю.А. Крашенинникова 25.05.2004 г. от Лобановой А.И., 1923 г. р., с. Лойма Прилузского р-на РК [ИЯЛИ: АФ 1542-29]), в корильной песне [невеста] *„Будет ткаха и пряха, // И шелковица, и полушелковица, // Посадит пышки, // Вынет коврижки...”* (Зап. Ю.А. Крашенинникова 24.05.2004 г. от Лобановой А.И., 1923 г. р., с. Лойма Прилузского р-на РК [ИЯЛИ: АФ 1537-64]) и др.

¹⁸ Мы не можем говорить о стереотипии в области жестикуляции: на имеющихся в нашем распоряжении аудиозаписях подобные наблюдения сделать невозможно. Существование исполнительской стереотипии в области жестов и мимики при многократных исполнениях одного и того же текста на материале украинской фольклорной прозы отмечает А.Ю. Брицyna (А.Ю. Б р и ц ы н а, *Фиксации повторных исполнений...*, указ. соч., с. 46).

¹⁹ О разных группах стабилизаторов (К.В. Ч и с т о в, указ. соч., с. 133-134).

конкретного исполнителя. В качестве примера приведем фрагмент интервью 1990 года с В.Т. Поморцевым, в 1970-е годы принимавшим участие в свадьбах в качестве дружки, и его женой, Г.Г. Поморцевой, которая подсказывает В.Т. Поморцеву забытые им фрагменты:

Поморцев В.Т.:

...Мы, резвые дружки,
Идем от молодого князя
К молодой княгине,
Подарки несем красной ватой-фатой,
Бельми-бельми белое
И красно не мутное зеркальцо.

Забыл...

Поморцева Г.Г.: На печь-то ребят этих, стариков-то как-то... Как-то, он ведь много знал...

Сватюшка, невестина матушка,
Нет ли у вас старух старых,
Собак ярых, **стариков-еретиков**,
Петухов-клевунов,
Куриц-колдуний и старух-пердуний?
Убирайте старух старых **на печь**,
Собак ярых — на цепь,
А стариков-еретиков — в подполье,
Маленьких **ребят** — жопами на колье.

Забыл... [...]

Поморцева Г.Г.: Как-то вот эти еще есть. Как же. Вот уж не могли списать и не могли записать, дружку этого. Если вы наших будете обижать, мы не будем ваших, говорит, выпускать... Ну-ка, подумай.

Поморцев В.Т.:

Сват да сватюшка,
Невестина матушка,
Выпрягите наших коней,
Надавайте нашим коням
Сена, овса, пшеницы до грудицы.

Сват да сватюшка,
Невестина матушка,
Каково у нас будет,
Как будет у вас нашим,

Таково и у нас вашим (Зап. Ю.А. Крашенинникова 20.07.1990 г. от Поморцева В.Т., 1910 г. р., Поморцевой Г.Г., 1922 г. р., д. Акуловская Вилегодского р-на Архангельской обл. [Фольклорный архив Сыктывкарского гос. университета (далее СыктГУ): 0486-46])²⁰.

²⁰ Существенную роль опорных слов в построении вербального текста на материале текстов сказочной прозы отмечает А.Ю. Брицына, указывая, что крат-

В корпусе текстов последних лет встречаются записи, в содержательном плане напоминающие скорее „конспект” речи дружки, каждая реплика которого содержит значимые опорные слова и сочетания, позволяющие развернуть ее до отдельного текста. Последовательность строк в записи соответствует порядку следования приговоров в обряде. Приведем пример такой записи (текст дан курсивом) и возможные варианты „расширения” (в квадратных скобках), характерные для вилегодской локальной традиции:

Ехали-попоехали

По чистым лугам,

По зеленым полям.

Восподи Иисусе Христе, сыне боже нас и помилуй нас.

Выехали в чистой полё, → [сочетание „чистое поле” „сигнализирует” о возможной реализации мифологического сюжета „встреча свадебного поезда с чудесным помощником”].

Видим: стоит терем. → [далее следует двустрочное типизированное описание дома невесты „дом как город, изба как терем” или вопрос „тот ли дом, тот ли терем, где молодая кнегиня живет?”, предполагающий ответ представителя невесты].

Восподи Иисусе Христе, сыне боже нас и помилуй нас.

В этом высоком тереме живет кнезья. → [вопрос к представителю невесты о том, здорова ли она, и портретная характеристика жениха].

Восподи Иисусе Христе, сыне боже нас и помилуй нас.

Молодая кнезья, возьми от молодого князя подарки. → [процесс одаривания сопровождается текстами с мотивами „дружка просит предоставить дорожку к невесте”, „ищет невесту в доме”, „преподносит подарки”, „требуется одарочки”, также уничижительная характеристика дружки].

Восподи Иисусе Христе, сыне боже нас и помилуй нас (Зап. А.Н. Власов в 1987 г. от Суворовой М.А., 1905 г. р., д. Залесье Вилегодского р-на Архангельской обл. [СыктГУ: 0433-15]).

Характер и функции отличительных строк в повторных записях одного информанта различны. Некоторые из них выполняют функцию „связывания”²¹, благодаря чему повествование конкретизируется,

кий, сжатый вариант текста состоит из опорных слов, они подчеркиваются с помощью интонации, громкости, логического ударения (А.Ю. Брицкая, „Интенсивный опрос традиции” ..., указ. соч., с. 97-98).

²¹ По мнению А. Синявского, эта функция характерна для поэтического строя волшебной сказки. В сказке

каждая фраза заимствует из предыдущей какое-либо слово и воспроизводит его в новом повороте. На чем кончается один речевой период, то подхватывается в следующем речевом периоде...

(А. Синявский, *Иван-дурак. Очерк русской народной веры*, Москва 2001, с. 100-101).

детализируется, приобретает большую связность. В ряде случаев связующая строка отличается от поэтического текста своим ритмическим рисунком, в содержательном плане представляя собой квинтэссенцию пропущенного фрагмента, однако такие строки напоминают скорее комментарий к тексту, а не „замену“ забытого фрагмента. Часть отличительных строк – этикетного характера, появление их в записи подчинено порядку ритуальных действий и связано с разночтениями поэтического текста и текста ритуала (информант помнит последовательность этапов обряда, но забыл некоторые из соответствующих им приговоров, и заменяет их лапидарным пересказом). Еще одна функция отличительных строк состоит в том, что они несут в себе дополнительную экспрессивную нагрузку для усиления или большей конкретизации имеющегося описания; появление их в большинстве случаев связано с личной манерой исполнителя и показывает степень его компетенции.

Принадлежность жанра мужскому чину свадьбы также влияет на содержание текстов. „Женские“ и „мужские“ записи различаются наличием / отсутствием инвектив и сниженной лексики, степенью композиционного варьирования и жанровой диффузии. Мужчины при декламировании приговоров придерживаются схемы обряда и соотносят с ней известные им тексты, учитывают порядок следования ритуальных актов. Этим можно объяснить большую логичность „мужских“ записей. Женщины, напротив, свою главную задачу видят в том, чтобы произнести тексты, которые помнят. Показательна в этом отношении реплика одной из вилегодских информантов, учившей тексты в необрядовой ситуации, не наблюдавшей их в реальном исполнении и в одном из интервью прокомментировавшей „нестандартную“ последовательность приговоров: „Это [о фрагменте текста – Ю. К.] сначала бы надо, там *розоставите сами...*“ (Зап. Ю.А. Крашенинникова 5.07.1996 г. от Тропниковой Н.П., 1932 г. р., д. Закурье Вилегодского р-на Архангельской обл. [ИЯЛИ: АФ 1705–10]), апеллируя тем самым к компетенции собирателя, ранее слышавшего текст от нее же.

У мужчин-исполнителей наблюдается стремление к употреблению „сексуальных лексем с прямым называнием“²², обценной лексики. Напротив, женщины стараются не озвучивать тексты с сексуальной тематикой, однако если это происходит, то такого рода лексика из текста по возможности исключается²³.

²² В.В. В а р г а н о в а, *Сексуальное в свадебном обряде*, [в:] *Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки*, Москва 1995, с. 154.

²³ Ср. напр., варианты „байки про табачок“ из репертуара вилегодского дружка П.М. Тропникова в „женском“ (зап. 1996 г. от Н.П. Тропниковой, 1932 г. р.) и „муж-

Как мы уже говорили выше, специфика функционирования жанра состоит в том, что в обряде „повествование в приговоре сопряжено с обыгрыванием действием”²⁴. В необрядовой ситуации на просьбу собирателя показать, как дружка произносил приговоры по ходу движения обряда (т. е. совместить действия и исполнение), исполнители зачастую отвечали отказом.

Мысль П.Г. Богатырева о том, что содержание текстов зависит от условий исполнения²⁵, в числе которых обрядовая или необрядовая ситуация, очевидна на материале приговоров-диалогов, которые произносились у закрытых дверей дома невесты. В ритуале этот акт представлял наиболее „открытое” действие с точки зрения применения „неподготовленной импровизации”²⁶, поскольку требовал активного участия представителей обеих сторон²⁷. Записи XIX – нач. XX в. пока-

ском” (зап. 2006 г. от А.М. Тропникова, 1937 г. р.) исполнении: „[Богач] удивляется, где бедняк денег отживает? Не мою ли он дочку... [пауза. Понизив голос, объясняет причину]. Тут матюг [пауза. Продолжает] Не она ли ему на табак денёг дает? Табак хинь, табак корень, табак никуда не годен” (Зап. Ю.А. Крашенинникова 5.07.1996 г. от Тропниковой Н.П., 1932 г. р., д. Закурье Вилегодского р-на Архангельской обл. [ИЯЛИ: АФ 1705-6]); „[Простачок] садився на скачок, закуривал табачок, Богу травку Христов корешок. Бога вспоминал, Христа величал, богату богатину проклинал. Богату богатину с чаем и медом, и мать ее е..м. Богатый удивляется, откуда бедняк деньгами отживает. Не мою ли он дочку е..т, не она ли ему на табак денёг дает? Табак хин, табак корень, табак ни в п...у не годен. Слушайте, послушайте, молодых баб на улицы не отпушайте. Вы будете отпушать, мы будем подчищать” (Зап. Ю.А. Крашенинникова 14.08.2006 г. от Тропникова А.М., 1937 г. р., д. Фоминская Вилегодского р-на Архангельской обл.). Любопытный комментарий, характеризующий манеру исполнения женщинами приговоров с обсценной лексикой, мы обнаружили в полевых дневниках сотрудников Российского этнографического музея: фрагмент текста („Есть ли у вас курочки кладливые, есть ли у вас девочки гребливые...”) сопровождался следующей репликой собирателя: „Далее информатор молитвы (приговор – Ю. К.) не помнит, но говорит, что она перемежается «матерными словами» и весь ее смысл неприличней. Слово «гребливые» она даже не смогла выговорить вслух, а написала на бумаге” (Архив Российского этнографического музея. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 57 об.). О предпочтениях в использовании мужчинами и женщинами инвектив „разной крепости” см.: В.И. Ж е л ь в и с, *Инвектива: мужское и женское предпочтения*, [в:] *Этнические стереотипы мужского и женского поведения*, Санкт-Петербург 1991, с. 266–283.

²⁴ А.В. Т о р о в а, *К вопросу о жанровой классификации свадебного фольклора*, [в:] *Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор*, Ленинград 1974, с. 157.

²⁵ П.Г. Б о г а т ы р е в, *Традиция и импровизация в народном творчестве*, [в:] его же, *Вопросы теории народного искусства*, Москва 1971, с. 397.

²⁶ Там же, с. 399.

²⁷ Несмотря на то, что многие собиратели отмечают факт существования „списков” с готовыми вопросами и ответами, которые обязательно должны были

зывают, что эти диалоги характеризуются включением в них текстов или сюжетов самых разных жанров, отсылающих к различным областям традиционной культуры и повседневной жизни (отсылки к духовному стиху *Голубиная книга*, волшебной сказке, заговорам, к историческим, культурным фактам местной истории, позволяющим проверить „включенность“ прибывших в повседневную жизнь коллектива и пр.)²⁸. Вилегодские материалы последней трети XX в., напротив, демонстрируют стремление подобных диалогов к жесткой форме, отсутствии импровизации.

В этом контексте вряд ли есть смысл говорить, что жанр в необрядовой ситуации сохраняет такую специфическую черту, как „нарочитая установка на импровизацию“²⁹. Современные записи приговоров, сделанные вне обряда, не обнаруживают „достаточную свободу воплощения при каждом новом исполнении“³⁰, демонстрируют малую степень импровизации при произнесении и почти полное отсутствие процесса „усовершенствования традиционного текста“³¹. Об этом процессе и возможных его последствиях достаточно четко высказывался П.Г. Богатырев:

При каждом исполнении традиционной, известной слушателям сказки, песни, пьесы и т. п. исполнителю необходимо вносить импровизацию, чтобы известная коллективу песня или сказка зазвучала по-новому. Ведь если бы во все виды народного искусства не вносилось импровизации, традиция

быть озвучены представителями стороны жениха и невесты. Исследователи свадьбы коми отмечали непредсказуемость вопросов словесного поединка дружки и представителя невесты: „бойкий“ человек со стороны невесты, знающий „и молитвы и новое право — чтобы не могли поставить в тупик“, кроме традиционных вопросов, связанных с называнием имени, уточнением веры и цели визита поезжан, задает дружке вопросы, позволяющие проверить его наблюдательность и „включенность“ в повседневную жизнь деревенского социума, знание незначительных фактов из „жизни“ конкретного населенного пункта: „какая власть теперь, кто за старшего, т. е. кто правит. («Некоторые даже спрашивают, сколько окон в магазине хлебопродуктов»)” (Ф.В. Пл е с о в с к и й, *Свадьба народа коми*, Сыктывкар 1968, с. 60).

²⁸ Ю.А. Кра ш е н и н н и к о в а, *Свадебный диалог [у закрытых дверей]: логика построения текста (на примере нижевычегодских записей)*, [в:] *Рябинские чтения — 2003. Материалы международной научной конференции*, Петрозаводск 2003, с. 54–57; В.А. Ла п и н, *Русский дружка — пайтаа на вепсской свадьбе (к проблеме фольклорного двуязычия)*, [в:] *История, современное состояние, перспективы развития языков и культур финно-угорских народов. Материалы III Всероссийской научной конференции финно-угроведов*, Сыктывкар 2005, с. 270.

²⁹ К.В. Ч и с т о в, указ. соч., с. 132.

³⁰ А.Ю. Б р и ц ы н а, „Интенсивный опрос традиции“ ..., указ. соч., с. 95.

³¹ З.И. В л а с о в а, *Скоморохи и фольклор*, Санкт-Петербург 2001, с. 458.

стала бы штампом. Производство механизировалось бы, потеряло бы одну из своих основных функций — воздействие на слушателей — и постепенно должно было бы исчезнуть из фольклорного репертуара³².

Укажем и на некоторые различия в манере произнесения текстов. Оставляя без внимания индивидуальные и личностные особенности, отметим, что информанты, принимавшие участие в ритуале в качестве дружек или наблюдавшие исполнение приговоров в обряде, произносят тексты более эмоционально, что, на наш взгляд, обусловлено знанием или знакомством с традиционной техникой и желанием более точно передать „реальное” звучание приговоров. Декламация этих исполнителей ритмически и интонационно выдержано: регулярны интонационные повышения в начале строфы (как правило, интонационный подъем приходится на строку с молитвенным обращением, которое является иншипитной формулой) и понижения интонации к концу фразы, подкрепляемые конечной паузой; темп произнесения отличается от обыденной речи информанта (более быстрый). Количество комментариев минимально, они, как правило, лаконичны. Напротив, информанты, усвоившие или слышавшие приговоры в необрядовой ситуации, воспроизводят известный им материал менее эмоционально, интонационное варьирование минимально, темп произнесения приближен к обыденной речи, запись дисперсна, перемежается комментариями, некоторые из которых представляют собой пересказ поэтических текстов.

Таким образом, предпринятый экспериментальный анализ повторных записей приговоров свадебных дружек разных лет позволяет уточнить некоторые устоявшиеся положения, касающиеся специфических показателей жанра, особенностей исполнения приговоров в обряде и вне его, говорить о разработанной в народной традиции методике воспроизведения подобных текстов, и видится весьма плодотворным при изучении „поведения” обрядовых жанров в необрядовой ситуации.

Библиография

- А л е к с е е в с к и й М.Д., *Проблемы фиксации похоронно-поминальной плачевой традиции (К.В. Чистов и вопрос об аутентичности записей причитаний)*, [в:] *Фольклор и этнография. К девяностолетию со дня рождения К.В. Чистова. Сборник научных статей*, Санкт-Петербург 2011, с. 243–250.
- Б а й б у р и н А.К., *Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов*, Санкт-Петербург 1993.

³² П.Г. Богатырев, *Традиция и импровизация в народном творчестве*, [в:] *VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук*, Москва 1964, с. 7; цит. по: З.И. В л а с о в а, указ. соч., с. 458.

- Б о г а т ы р е в П.Г., *Роль ситуации при исполнении фольклорных произведений*, [в:] его же, *Функционально-структуральное изучение фольклора (Малоизвестные и неопубликованные работы)*, Москва 2006, с. 218–228.
- Б о г а т ы р е в П.Г., *Традиция и импровизация в народном творчестве*, [в:] VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук, Москва 1964, с. 7.
- Б о г а т ы р е в П.Г., *Традиция и импровизация в народном творчестве*, [в:] его же, *Вопросы теории народного искусства*, Москва 1971, с. 397.
- Б р и ц ы н а А.Ю., *„Интенсивный опрос традиции“ и некоторые аспекты текстологии прозаических нарративов*, [в:] *Этнопоэтика и традиция. К 70-летию чл.-корр. РАН В.М. Гацака*, Москва 2004, с. 93–104;
- Б р и ц ы н а А.Ю., *Фиксации повторных исполнений и некоторые аспекты теории традиции*, [в:] *Первый Всероссийский конгресс фольклористов. Сборник докладов*, т. II, Москва 2006, с. 42–52.
- Б р і ц и н а О.Ю., *Українська усна традиційна проза: питання текстології та виконавства*, Київ 2006.
- В а р г а н о в а В.В., *Сексуальное в свадебном обряде*, [в:] *Русский эротический фольклор. Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки*, Москва 1995, с. 154.
- В л а с о в а З.И., *Скоморохи и фольклор*, Санкт-Петербург 2001.
- Г а ц а к В.М., *Устная эпическая традиция во времени*, Москва 1989.
- Ж е л ь в и с В.И., *Инвектива: мужское и женское предпочтения*, [в:] *Этнические стереотипы мужского и женского поведения*, Санкт-Петербург 1991, с. 266–283.
- З е л е н и н Д.К., *Свадебные приговоры Вятской губернии*, Вятка 1904.
- К р а ш е н и н н и к о в а Ю.А., *„Адская газета“ в русских свадебных приговорах*, [в:] *Rosja w dialogu kultur*, red. В. Żejmo, t. 2, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2015, с. 469–480..
- К р а ш е н и н н и к о в а Ю.А., *Дружка в севернорусской свадьбе: о некоторых условиях выбора и атрибутах*, „Народна творчість та етнографія“ 2007, № 2, с. 30–37.
- К р а ш е н и н н и к о в а Ю.А., *Литературные и лубочные произведения в текстах русского свадебного обряда*, [в:] *Устное и книжное в славянской и еврейской культурной традиции*, Москва 2013, с. 247–260.
- К р а ш е н и н н и к о в а Ю.А., *Межжанровые связи в мифопоэтическом содержании фольклорных текстов (свадебные приговоры – заговоры)*, „Традиционная культура: научный альманах“ 2009, № 1, с. 29–39.
- К р а ш е н и н н и к о в а Ю.А., *О случаях и механизмах жанрового взаимодействия в текстах свадебного обряда (на материале приговоров девушек „на свадебное дерево“)*, „Традиционная культура: научный альманах“ 2015, № 3, с. 149–163.
- К р а ш е н и н н и к о в а Ю.А., *Свадебный диалог [у закрытых дверей]: логика построения текста (на примере нижевычегодских записей)*, [в:] *Рябининские чтения — 2003. Материалы международной научной конференции*, Петрозаводск 2003, с. 54–57.
- К р а ш е н и н н и к о в а Ю.А., *Свадебные приговоры в свете народной терминологии*, „Традиционная культура: научный альманах“ 2011, № 3, с. 70–80.
- К р а ш е н и н н и к о в а Ю.А., *Свадебные приговоры среди фольклорных и литературных жанров (к вопросу о межжанровом взаимодействии)*, [в:] *От Конгресса к Конгрессу*

- су. *Материалы Второго Всероссийского конгресса фольклористов*, т. 1, Москва 2010, с. 195–208.
- Крашенинникова Ю.А., *Устные рассказы о заблудившихся в лесу в свете работы П.Г. Богатырева „Роль ситуации при исполнении фольклорных произведений“ (на материалах нач. XXI в.)*, [в:] *Функционально-структуральный метод П.Г. Богатырева в современных исследованиях фольклора. Сборник статей и материалов*, Москва 2015, с. 199–210.
- Лапин В.А., *Русский дружка – paitaa на венской свадьбе (к проблеме фольклорного двуязычия)*, [в:] *История, современное состояние, перспективы развития языков и культур финно-угорских народов. Материалы III Всероссийской научной конференции финно-угроведов*, Сыктывкар 2005, с. 270.
- Левинтон Г.А., *Замечания о жанровом пространстве русского фольклора*, [в:] *Судьбы традиционной культуры. Сборник статей и материалов памяти Ларисы Иевлевой*, Санкт-Петербург 1998, с. 65–66.
- Первый Всероссийский конгресс фольклористов. Сборник докладов*, т. II, Москва 2006.
- Плесовский Ф.В., *Свадьба народа коми*, Сыктывкар 1968.
- Плюханова М.Б., *Проблема пародийности рифмы*, [в:] *Тыняновский сборник: вторые Тыняновские чтения*, Рига 1986, с. 251–252.
- Rosja w dialogu kultur*, red. B. Żejmo, t. 2, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2015.
- Синявский А., *Иван-дурак. Очерк русской народной веры*, Москва 2001.
- Судьбы традиционной культуры. Сборник статей и материалов памяти Ларисы Иевлевой*, Санкт-Петербург 1998.
- Торопова А.В., *К вопросу о жанровой классификации свадебного фольклора*, [в:] *Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор*, Ленинград 1974, с. 157.
- Чистов К.В., *Вариативность как проблема теории фольклора*, [в:] *его же, Народные традиции и фольклор. Очерки теории*, Ленинград 1986, с. 132.

Сокращения

Фольклорный архив Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН	–	ИЯЛИ
Фольклорный архив Сыктывкарского гос. университета	–	СыктГУ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕПТ „ВЕНЧАНИЕ”
В ПОВЕСТИ И.А. БУНИНА *ДЕРЕВНЯ*

THE SEMANTIC CONTENT OF THE CREATIVE CONCEPT
OF “THE SACRAMENT OF MATRIMONY”
IN IVAN BUNIN'S SHORT NOVEL *THE VILLAGE*

NATALIA KRÓLIKIEWICZ

ABSTRACT. To understand the semantic content of the creative concept of “the sacrament of matrimony” in Ivan Bunin’s novel *The Village*, it is necessary to focus on revealing the semantic components of “culture coagulate” (a term by J. Stepanov) and its artistic realization on various levels of the text. This analysis allows the author to indicate that opposites (such as death and birth, wedding and funeral, tragedy and farce) are united in a way that is typical for Bunin.

Natalia Królikiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
– Polska, n.krolikiewicz@tlen.pl

Попытка приблизиться к пониманию смыслового содержания художественного концепта „венчание” в произведении одного из самых значительных русских художников XX столетия, Ивана Бунина, обосновывает необходимость в данной статье сконцентрироваться на раскрытии семантических компонентов названного „сгустка культуры”¹ (термин Ю.С. Степанова) и его художественного воплощения на разных уровнях (тематическом, сюжетно-композиционном, образном) бунинского текста. При этом ставится задача показать глубину онтологического осмысления писателем русской жизни, ее изначальных духовно-нравственных основ, связанных с православным миропониманием и мифопоэтическим мироощущением.

При рассмотрении самого понятия концепта как основной единицы когнитивной деятельности необходимо подчеркнуть, что это понятие стало объектом пристального внимания разных научных дисциплин: когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, литературоведения, психолингвистики и др. Тенденция к междисциплинарности, характеризующая современную научную парадигму, а также реализация целей данной статьи предполагают выбор определенной мето-

¹ Ю.С. С т е п а н о в, *Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования*, Москва 1997, с. 40.

дологии, содержащей элементы как лингвокультурологического, так и литературоведческого анализа. Раскрывая отражение названного художественного концепта (отличающегося от познавательного своей творческой природой, поэтической ассоциативностью и заключающего в себе потенцию к раскрытию образов) в бунинской повести, мы воспользовались работами таких философов и ученых, как Михаил Бахтин, Юрий Лотман, Алексей Лосев, Дмитрий Лихачев, Юрий Степанов, Нина Арутюнова, Виктория Захарова, Ольга Сливичкая, Алексей Пискулин, Эрнэ Померанцева и др.

Впервые термин „познавательный концепт“ был введен русским философом С.А. Аскольдовым, определившим его как мысленное образование, которое замещает в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода². Каждый человек имеет индивидуальный культурный опыт, запас знаний и навыков, которыми определяется обилие значений слова и концептов этих значений. Чем уже культурный опыт человека, тем беднее не только его язык, но и „концептосфера“ (термин введен литературоведом Д.С. Лихачевым) его словарного запаса — как активного, так и пассивного³. Концепт — это результат столкновения словарного значения с опытом человека. Концепт существует для каждого отдельного словарного значения слова. Какое именно из значений актуализируется, замещается, зависит прежде всего от контекста или ситуации общения⁴. Интересным может показаться тогда сравнение с аналогичной идеей М.М. Бахтина о возможности раскрытия одного смысла только в процессе диалога с другим, изоморфным ему смыслом⁵. Следовательно, концепт расширяет значение слова и оставляет возможность домыслить, создать эмоциональную атмосферу.

Среди культурологов наиболее активно и плодотворно исследовал концепты С.Ю. Степанов, определяя концепт как „сгустки культурной среды в сознании человека“, подчеркивая, что „концепты не только мыслятся, они переживаются“⁶. В концепте всегда есть составляющие, которыми он и определяется, т. е. имеется шифр⁷, который, как замечает Н.Д. Арутюнова, образует культурный слой, являющийся мостом

² С.А. Аскольдов, *Концепт и слово*, [в:] *Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология*, ред. В.П. Нерознак, Москва 1997, с. 251.

³ Д.С. Лихачев, *Концептосфера русского языка*, [в:] *Русская словесность...*, указ. соч., с. 282.

⁴ Там же, с. 287.

⁵ М.М. Бахтин, *Проблема речевых жанров. Проблема текста*, [в:] его же, *Собрание сочинений в 5 томах*, т. 5, Москва 1996, с. 206.

⁶ Ю.С. Степанов, указ. соч., с. 427.

⁷ Б. Рассел, *История западной философии*, т. 1, Москва 1993, с. 368.

между человеком и миром. Исследователи в настоящее время сходятся во мнении, что концепты являются единицами сознания, отражающими человеческий опыт в форме той или иной информационной структуры. Структурная организация концепта, подразумевающая содержание в нем трех слоев⁸, предполагает наличие его буквального смысла (этимологии), а также основных и дополнительных компонентов (обнаруживая тем самым аксиологические доминанты).

Анализируя концепт „венчание“, следует отметить этимологическую основу данного понятия (от *венчать, венец*), отсылающую нас к христианскому обряду (возможно, существовавшему еще и до принятия христианства⁹) возложения венца (короны царской) на головы верующих при вступлении их в церковный брак. Само слово „венец“, не только как символ брака в обрядовой семантике, имеет глубокое духовно-символическое значение. Венец — еще в древности был символом победы, поэтому возложение венцов на главы жениха и невесты служит для них как бы наградой за их целомудренную жизнь до брака. Венец — образ солнца (Солнце для православного — Христос), от которого идет и тепло, и свет. Венец — знак чистоты, вследствие чего брачные венцы должны заключать в себе чистоту и доверчивость детства, простоту, дружелюбие, сердечность. В Евангелии от Матфея Господь напутствует: „[...] если не будете как дети, не войдете в Царство небесное“¹⁰. И еще один символ видится в венце — терновый венец Христов, образ страдания и мужества, преодоление креста и смерти. Следует заметить, что для христианского Востока именно венец стал основным символическим действием, которое дало название всему чину — „венчание“. Таким образом, Венчание в Православной Церкви является Таинством (как особое действие Бога через Церковь в мире), то есть местом особой встречи между Богом и человеком, неким импульсом, который дает начало новому вектору в жизни супругов¹¹.

Если речь идет об устойчивых семах концепта „венчание“, то среди них можно отметить такие понятия, как жених, невеста, священник, церковный брак, свадебный обряд, таинство, благословение, венчаль-

⁸ Ю.С. Степанов, указ. соч., с. 428.

⁹ См.: Д.А. Гаврилов, А.Е. Наговицын, *Боги славян. Язычество, Традиция*. Возможно, что в дохристианские времена знаком принадлежности к любимцам Ярилы, как бога весеннего, покровителя брачующихся, был также венок. Кто дарил девушке венок, становился ее женихом (или девушка, отдавая в качестве „вено“ венок, фактически становилась невестой).

¹⁰ Матфея 18:3.

¹¹ Протоиерей Владимир Хулап, *Таинство Венчания*, [в:] электронный ресурс: http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/brak/tainstvo-venchanija-all.shtml

ные свечи, обручальные кольца, венцы, подвенечный наряд, песнопения, молитвословия, чтения Евангелия, а среди дополнительных лексем: помолвка, согласие новобрачных, разрешение родителей, сватовство, родство, девичник, плач невесты, свадебный пир и пр. В свете сказанного наше исследовательское внимание будет направлено на раскрытие и осмысление основных и вспомогательных (второстепенных) семантических компонентов вышеприведенного художественного „шифра“ в бунинской повести *Деревня*, впервые опубликованной в 1910 году и вызвавшей множество споров и противоположных отзывов.

Любопытно отметить, что венчание, или, иначе, церковный брак (причем слово „брак“ славянского происхождения, от слова „брат“; брат друг друга означает „быть вместе“¹², „брачной парой“ называли в старину упряжку лошадей, идущих вместе в связке), являясь основным элементом в свадебном обряде, занимало одно из важнейших мест в жизни русского народа и имело традиционную композицию, сопровождалось обрядовыми действиями и ритуалами, которые в совокупности представляли целостное праздничное театрализованное действие (возможно, отсюда выражение „сыграть свадьбу“).

В изображении свадебного обряда (в повести укладывающегося в один день, что наводит на мысль о том, что в будничном прозябании годы жизни дурновца сливаются в „один день“: настоящее лишено смысла, забыто прошлое, нет будущего) в художественном тексте Бунина можно выделить основные этапы: сватовство, смотрины, девичник, благословение, отъезд в церковь и венчание¹³, причем последнее является одновременно кульминационным моментом, на котором повествование завершается, создавая впечатление „недосказанности“, как бы обрываясь („открытый финал“, позволяющий читателю самому достроить и додумать сюжет, дать оценки и подвести итоги). Художник вводит в текст ритуальные предметы свадебного обряда, определяя символику ритуально-обрядового пространства. Свадьбе предшествует сватовство, во время которого Дениска с Серым приходят сватать Молодую; их поведение и речь, в отличие от грубой повседневности, заметно ритуализированы, ритуал преобразует героев, припод-

¹² Отныне двое соединяются в плоть едину, то есть станут одним существом — душою, стремлениями, ценностями, радостями, горестями. Пройдут жизнь вместе, неразлучимо, будут любить друг друга и заботиться друг о друге. Наконец, постараются в браке своем осуществить Евангельский идеал. Цитата по: священник Константин Пархоменко, *Кратко о Венчании в Православной Церкви*, [в:] электронный ресурс: <http://azbyka.ru/parkhomenko/kratko-o-venchani-v-pravoslavnoj-cerkvi.html>

¹³ М.Ю. Фиш, *Свадебный обряд в повести И. Бунина „Деревня“ (к проблеме метафизики чувственного)*, [в:] электронный ресурс: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2006/02/2006-02-29.pdf>.

нимая их над прозаической действительностью и перенося в обрядовое пространство¹⁴. Дениска и Серый ведут себя как герои русского эпоса и сказок, не спеша, „ладным тоном“ начинают плавную обрядовую речь:

Дениска и Серый долго крестились в темный угол, потом тряхнули волосами и подняли лица. — Сват, не сват, а добрый человек! — не спеша начал Серый [...] — Тебе нареченную дочь отдавать, мне сына женить. По доброму согласию, на ихнее счастье давай речь промеж себя держать. И степенно, низко поклонился¹⁵.

Их поведение обретает черты поведения эпических персонажей. Так, положительные герои былин, зайдя в дом, ведут себя „по-ученому“, поклоны кладут по-особому, перекрестившись на иконы, поклонившись „князю со княгинею“, „тряхнув волосами“, выступают символами молодечества и богатырской силы. Тщательно продумана писателем и каждая деталь наряда участников свадебного обряда. Достаточно вспомнить, что во время сватовства отец жениха „...подпоясан по чекменю, по кострецам красной подпояской“¹⁶. Упоминаемая такая обязательная деталь костюма, как пояс, воспринималась восточными славянами как сильнейший оберег, обладающий большой магической силой, а также защищающий от колдовства¹⁷. Молодая встречает гостей, „выходя из-за двери, от печки“, что может подчеркивать роль (печки) этого обрядового пространства, как обязательного места для невесты и как символа семейного и домашнего благополучия, как защиты, ассоциируясь с деторождением, женским миром.

Этап сватовства, сокращенный в повести до нескольких реплик, переходит в очередной — смотрины с богомольем (общая молитва родственников жениха и невесты перед иконами), во время которого Молодая закрывает, „завешивает“ (прячет) свое лицо, что подразумевает установление некой границы, оберегающей невесту от окружающих и окружающих от невесты, потому что именно с этого момента начинается символический переход невесты в семейный и родовой мир жениха (от „своих“ к „чужим“).

На свадьбу в *Деревне* пекут традиционный свадебный каравай — „ряженный пирог“, готовят кашу — символ богатства, плодородия и плодovitости; для девичника (одного из важнейших элементов сва-

¹⁴ А.А. П и с к у л и н, *От Подстепья до Поморья, Елецкий край и Выговский край — исторические регионы России в творчестве И.А. Бунина и М.М. Пришвина*, Елец 2012, с. 104.

¹⁵ И.А. Б у н и н, *Антоновские яблоки. Повести и рассказы*, Москва 1975, с. 149.

¹⁶ Там же.

¹⁷ В.П. А н и к и н, *Календарная и свадебная поэзия*, Москва 1970, с. 120.

дебного обряда, восходящего к древнему обряду инициации, при котором девушка сначала как бы умирает, чтобы потом возродиться в новом статусе¹⁸) достают елку, специально „сберегаемую в погребе, переходившую с девшника на девшник“¹⁹. Елка или другое деревце в общерусской свадебной традиции символизирует девичество, девичью волю, с которой прощается невеста. „Маленькое зеленое деревцо, убранное кумачными лоскутками, стояло на столе, простирая ветки над тусклой жестяной лампочкой“²⁰. Неотъемлемой частью данного этапа свадьбы был плач невесты, имевший в свадебной традиции обрядовый характер (традиция слезного причитания с древней поры поддерживалась обычаем посредством нарочитого выражения горя ставить себя вне опасных действий воображаемых покровителей семьи – таинственных сил судьбы²¹). Согласно ритуалу, игрицы поют „старинную величальную песню“, на которую невеста „должна была ответить [...] громким плачем и причитаниями“ (в величальной песне упоминается девшник, а в сиротской – растопленная баня, мытье невесты в бане как неотъемлемая часть свадебного обряда²²). Но Молодая отказывается от участия в пении, а в ее молчании угадывается обреченность.

Анализируя эмоциональную атмосферу в литературном пространстве, нельзя оставить без внимания того, что в описании происходящего, представленного остранным – через восприятие Кузьмы, проступают и как бы смешиваются зрительные („серая темнота, клубы пара, тусклая жестяная лампочка, лиц не видно, черные сырые стены, землистое лицо Дениски“) и звуковые („Одноворка [...] зажгла в людской лампочку, [...] и, чтобы нарушить неловкость, высоко и резко запела“, „Домашка, хромя девка с темным, злым и умным лицом, с черными острыми глазами и черными сросшимися бровями, затянула грубым и сильным голосом старинную величальную песню“) коды в художественном пространстве, что, в свою очередь, (в)скрывает тонкие смысловые аллюзии: теснота, темнота, звуковая дисгармония вызывают ощущение антисвадьбы – похорон, что созвучно бунинскому „сочетанию несочетаемого“: смерти (девушки) и рождения (жены), свадьбы и похорон, трагического и фарсового.

Ощущение „неправильности“ (неловкости, ужаса) чувствуется и в самой завязке трагичной сюжетной ситуации, когда Тихон Ильич Красов, изводясь в горьких думах не только о пустоте своей жизни, но

¹⁸ А.А. Пискулин, указ. соч., с. 106.

¹⁹ И.А. Бунин, указ. соч., с. 152.

²⁰ Там же.

²¹ В.П. Анкин, указ. соч., с. 82.

²² А.А. Пискулин, указ. соч., с. 109.

и о содеянном надругательстве над Молодой, одновременно готовя себя к вечной жизни, решает „за грех свой сотворить благое“: выдать Молодую за Дениску Серого. Таким образом Молодая (чье прозвище соотносит героиню с будущим) становится для Тихона Ильича своеобразным путем спасения, избавления от грехов. Молодой отводится роль жертвы, принесенной Тихоном ради надежды на спасение от гибели, на которую она обречена²³, что в свою очередь позволяет обнаружить в художественном пространстве повести мотив жертвоприношения. Весьма вероятно, что опосредованное сравнение молодой женщины с коровой как традиционно жертвенным животным в начале повести служит признаком ее готовности принести себя в жертву:

Носят дурновские бабы „рога“ на голове: как только из-под венца, косы кладутся на макушке, накрываются платком и образуют нечто дикое, коровье. Носят старинные темно-лиловые поневы с позументом, белый передник вроде сарафана и лапти. Но Молодая, – за ней так и осталась эта кличка, – была и в этом наряде хороша²⁴.

Некие отголоски темы жертвоприношения звучат и в сцене приготовления свиньи к свадебному пиру, изображенной как древний языческий ритуал:

На бугре, в синеватых сумерках, оранжевым пламенем пылала солома, которой завалили убитую свинью. Вокруг пламени, поджидая добычи, сидели овчарки, и белые морды их, груди были шелковисто-розовы. Серый, утопая в снегу, бегал, поправлял костер, замахивался на овчарок. Полы зипуна он развернул и поднял, заткнул за пояс, шапку все сдвигал на затылок кистью правой руки, в которой блестел нож. Бегло и ярко озаряемый то с той, то с другой стороны, Серый кидал на снег большую пляшущую тень – тень язычника²⁵.

Свинья становится знаком жертвенности самой невесты, которая не может отказаться от свадьбы – „расход уж начали“, то есть зарезали свинью, „теперь поздно“, „уж и так страму не оберешься [...] Ай не знают все, на чьи деньги пировать-то будем?“, тем самым отвечая на предложение Кузьмы разорвать союз, обрекающий будущих мужа и жену на взаимную ненависть. Заклание свиньи трагическим отголоском перекликается с закланием самой Молодой как воплощением поруганной красоты, добра, затаенной душевности. Думается, что в мотиве оскверненной красоты, который проходит через все творчество Бунина, реализуется представление о нарушении основ мироустройства, ощущаемого как перманентное состояние жизни.

²³ М.Ю. Ф и ш, указ. соч.

²⁴ И.А. Б у н и н, указ. соч., с. 54.

²⁵ Там же, с. 151.

Повесть венчает образ страшной стихии — „непроглядная вьюга”, закрывающая „смелый свет”, „гул ветра”. Кажется, что с этим бесконечным смерчем сливается такое же, никем не управляемое, несущееся в „буйную темную муть” движение лошадей, увозящих в никуда исплаканную, полумертвую Молодую. С каждой строкой последних страниц повести усиливается настроение безысходности, смирения и покорности судьбе перед злыми силами, угнетающими человека:

На невесте и шубку и голубое платье завернули на голову [...]. Голова ее, убранная венком бумажных цветов, была закутана шальями, подшальниками. Она так ослабела от слез, что как во сне видела темные фигуры среди вьюги, слышала шум ее, говор, праздничный звон колокольцев. Лошади прижимали уши, воротили морды от снежного ветра, ветер разносил говор, крик, слепил глаза, белил усы, бороды, шапки, и проезжие с трудом узнавали друг друга в тумане и сумраке²⁶.

И обряд венчания изображен в удручающих трагических красках, усиливающих настроение отчаянности. Ужасом веет от описания темной, холодной и угарной церкви, в которой сгрудившаяся толпа неграмотных мужиков слушает непонятное, но торопливо строгое бормотание священника. „И рука Молодой, казавшейся в венце еще красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья”. Все в описываемых деталях (мертвая в свете, рука Молодой, тающая свеча) напоминает о смерти, вызывающей чувство гложущей тоски. А самые последние строки повести создают картину разгула темных сил, шабаша ведьм. В финальном символическом пейзаже звучит погребально колокольный звон: „Когда возвращались из церкви, вьюга пуще разгулялась, а одна из баб выла в санях волчьим голосом”²⁷.

Подытоживая, можно сказать, что художественному концепту венчания в анализируемом литературном тексте свойственно индивидуально-авторское наполнение — (бунинское) „сочетание несочетаемого” или, заимствуя слова Осипа Мандельштама, „праздничная смерть”. Венчание как величайшее таинство, место особой встречи между Богом и человеком, рождение новой малой церкви в поэтическом пространстве *Деревни* обнаруживает родство с крайней степенью небытия — со смертью, стоящей в том же онтологическом ряду, вписывая человека в круговорот вечной жизни, приобщая к тайне бытия. Кроме того, символический образ Молодой в этой страшной, нечистой жизни представляется словно икона с лампадкой в курной избе, что может сопрягаться, в свою очередь, с идеей кенозиса. Трагизм образа Молодой

²⁶ Там же, с. 154.

²⁷ И.А. Б у н и н, указ. соч., с. 156.

— в жажде самоуничтожения (кенозис), самоумаления, смирения ради спасения людей: если Сын Божий Единородный так смирился, то как же нам, окаянными грешниками, не смиряться?²⁸ Кенозис, таким образом, необходим, с одной стороны, для осознания того, что причина кризиса в современной Бунину России кроется в безверии, изживании Духовности, „смерти Бога“ (а тогда и непонимании иконы), а с другой стороны, нужен для осуществления главного упования христианства, достижения Царства Божия „на земле, яко на небе“, для того, чтобы человек смог осуществить свою главную задачу — „теозис“ (обожествление), став проводником Божественных энергий в мире.

Библиография

- А н и к и н В.П., *Календарная и свадебная поэзия*, Москва 1970.
- А с к о л ь д о в С.А., *Концепт и слово*, [в:] *Русская словесность. От Теории словесности к структуре текста. Антология*, ред. В.П. Нерознак, Москва 1997.
- Б а х т и н М.М., *Проблема речевых жанров. Проблема текста*, [в:] его же, *Собрание сочинений в 5 томах*, т. 5, Москва 1996.
- Б у н и н И.А., *Антоновские яблоки. Повести и рассказы*, Москва 1975.
- Г а в р и л о в Д.А., Н а г о в и ц ы н А.Е., *Боги славян. Язычество, Традиция*, Москва 2002.
- Л и х а ч е в Д.С., *Концептосфера русского языка*, [в:] *Русская словесность. От Теории словесности к структуре текста. Антология*, ред. В.П. Нерознак, Москва 1997.
- П а р х о м е н к о К. (протоиерей), *Кратко о Венчании в Православной Церкви*, [в:] электронный ресурс: <http://azbyka.ru/parkhomenko/kratko-o-venchanii-v-pravoslavnoj-cerkvi.html>
- П и с к у л и н А.А., *От Подстепня до Поморья, Елецкий край и Выговский край – исторические регионы России в творчестве И.А. Бунина и М.М. Пришвина*, Елец 2012.
- Р а с с е л Б., *История западной философии*, т. 1, Москва 1993.
- С т е п а н о в Ю.С., *Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования*, Москва 1997.
- Т а у ш е в А.П. (Архиепископ А в е р к и й), *Апостольские послания*, [в:] электронный ресурс: <http://neopalimovsky.ortox.ru/data/documents/08-Apostol-katkurs.pdf>.
- Ф и ш М.Ю., *Свадебный обряд в повести И. Бунина „Деревня“ (к проблеме метафизики чувственного)*, [в:] электронный ресурс: <http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylogolog/2006/02/2006-02-29.pdf>.
- Х у л а п В. (протоиерей), *Таинство Венчания*, [в:] электронный ресурс: http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/brak/tainstvo-venchanija-all.shtml

²⁸ Архиепископ А в е р к и й (Т а у ш е в), *Апостольские послания*, [в:] электронный ресурс: <http://neopalimovsky.ortox.ru/data/documents/08-Apostol-katkurs.pdf>.

ROSJA JAKO TEKST W PROZIE WIKTORA PIELEWINA

RUSSIA AS TEXT IN VICTOR PELEVIN'S PROSE

TOMASZ NAKONECZNY

ABSTRACT. The article presents the work of Victor Pelevin, one of the most famous contemporary Russian writers, in the context of changes in literary communication. The writer uses postmodern techniques and strategies (intertextuality, decanonization, heterogeneity) and traditional cultural motifs and themes (Russian and foreign) to compensate literature for the loss of its metaphysical attributes and authority of high art.

Tomasz Nakoneczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
– Polska, tomnak@amu.edu.pl

W tytule niniejszych rozważań łatwo dopatrzeć się wskazówki interpretacyjnej, której w nim nie ma, a nawet – niejako z natury rzeczy – być nie może. Otóż zdaje się on sugerować, że będzie chodziło o kolejny przypadek wiązania i porządkowania zjawisk spowinowaconych wzajemnie na mocy pewnej koniecznej zależności: motywu, który dostarcza literaturze tworzywa i tekstu, który tworzywo to w określony sposób i z określoną intensywnością eksploatuje¹. Czytelnik zaznajomiony z idiosynkrazjami literaturoznawstwa dostrzeże tu łatwo możliwość przeniesienia wymienionej pary pojęć na wyższy poziom ogólności, na którym uzyskałyby one bardziej instruktywne miana – treści i formy. I jakkolwiek co najmniej od czasu formalistów rosyjskich mniej czy bardziej świadomie wystrzegamy się przeciwstawiania ich sobie, a nawet roboczego choćby separowania, odwieczny nawyk, utrwalony w językowych schematach (zjawisko X w dziele Y, twórczość Y na tle zjawiska x etc.), każe nam spodziewać się obiecujących rezultatów po takich i podobnych konfrontacjach. Wierzmy, że coś owocnego – poznawczo, estetycznie, moralnie – z nich wyniknie.

¹ W danym przypadku sprawę komplikuje dodatkowo okoliczność, że Rosja w roli tekstu może jawić się jako samoistnie problematyczna i wewnętrznie złożona formuła. O ile bowiem pytanie o zawartość rosyjskiej tekstualności odsyła do łatwo rozpoznawalnych narracji, mitów czy symboli, o tyle pytanie o jej mechanizmy generatywne otwiera pole dla wielostronnych spekulacji i uogólnień. Ponadto, co warto zauważyć, przyimek „jako” może sugerować postulat jakiejś Rosji „noumenalnej”, Rosji „poza-tekstem”. W moim ujęciu dystynkcje i rozróżnienia tego rodzaju podlegają unieważnieniu w kontekście twórczości Pelewin.

Skoro więc „Rosję jako tekst” mielibyśmy rozumieć jako pewną autonomiczną strukturę symboliczno-znaczeniową, uobecniającą się w innej autonomicznej strukturze, jaką jest „proza Wiktora Pielewina”, moglibyśmy oczekiwać, że powstała w ten sposób całość pozwoli wpisać się w porządek interpretacyjny określony przez tradycyjne kategorie – wpływu, recepcji, transformacji, porównania (komparatystyki), naśladowania etc. etc. Że dowiemy się, jak Pielewin Rosję i jej odwieczne tematy rozgrywa, u których jej conceptualistów, dawnych i obecnych, się zapożycza, z którymi wchodzi w sojusze, których zwalcza, a od których się dystansuje. Sięgając zaś do kręgu zagadnień związanych bezpośrednio ze społeczną *praxis*, które nierzadko podlegają u Pielewina – w warunkach określonej poetyki – otwartej tematyce (szczególnie może w *Omon Ra*, *Życie owadów*, *Generation 'P'*, *Empire V*, *Batman Apollo*), dowiemy się na przykład, kto lub co Rosją dzisiaj naprawdę rządzi, jaki wpływ na jej mieszkańców mają procesy i wydarzenia o charakterze globalnym, już to w wymiarze pragmatyki polityczno-społecznej, już to w sensie foucaultowskim, głębszym i rozleglejszym zarazem.

Proponuję wyjście poza te schematy i spojrzenie na Pielewina-literata oraz Pielewina-myśliciela² jako na zjawisko manifestujące nowy i odąd prawdopodobnie normatywny (w miękkim znaczeniu) sposób komunikowania się literatury z jej odbiorcami.

Zmiana ta odbywa się na szerokim tle przeobrażeń intelektualnych, legitymizowanych i stymulowanych zarazem przez dwudziestowieczne przewroty metaliterackie (poststrukturalizm, kolejne „zwroty kulturowe” spod znaku *cultural criticism*), których rezultatem było odejście od traktowania literatury jako formy ekspresji o wysokim intelektualno-imaginacyjnym statusie, uprzywilejowanej na tle całego piśmiennictwa z racji unikalnej zdolności do łączenia metafizycznych aspiracji z formalną heterogenicznością³. Chroniczne wcześniej uwikłanie praktyk literackich w takie binarne

² Określenie „myśliciel” rezonuje tutaj z jego znaczeniem utrwalonym w rosyjskiej tradycji. Oczywiście, stosując je do Pielewina, możemy mówić jedynie o pewnych ogólnych zbieżnościach na poziomie semiotycznym, nie zaś o prostej egzemplifikacji w stosunku do modelu. Zbieżności tych skłonny byłbym doszukiwać się w widocznym u Pielewina zamiłowaniu do polisemii pojęć-kluczy, w odwoływaniu się do etymologicznych i głęboko symbolicznych właściwości nazw i imion (*Empire V*, *Batman Apollo*, *Generation 'P'*), w zacieraniu różnic między literaturą a filozofią (*Czapajew i Pustka*), a także w stylu jego autokreacji jako osoby publicznej (aura tajemniczości, niejednoznaczności, skłonność do rezonerstwa obejmującego bardzo szeroki zakres tematów). Por. J. F a r y n o, *Мысли-тель / Мысль*, [w:] *Mentalność rosyjska*, red. A. de Lazari, Katowice 1995, s. 55–56.

³ Oczywiście, zanik metafizycznego rdzenia i wynikająca stąd relatywizacja znaczeń, norm i hierarchii jest zjawiskiem we współczesnych kulturach euroatlantyckich powszechnym, i literatura, ani jako forma dyskursu, ani jako sztuka słowa, nie stanowi tutaj wyjątku. Chodzi zatem właśnie o tę unikalną koniunkcję własności metafizycznych

opozycje jak fikcja i rzeczywistość⁴, sztuka i rzemiosło, autentyzm i formalizm, społeczne zaangażowanie i artystowskie pięknoduchostwo etc.⁵, związane było silnie z potrzebą poszukiwania w literaturze tego, co „twórcze”, „uniwersalne” bądź „wartościowe”, i odróżniania go od jakości przeciwnych. Utrzymująca się dzięki temu, nie zawsze zresztą respektowana świadomie, hierarchia tematów, tekstów i autorów pozwalała korygować rozmaite zakłócenia komunikacyjne na płaszczyźnie nadawczo-odbiorczej, jak choćby te natury temporalnej, gdy publiczność nie nadążała za nowinkami estetycznymi. Normalizacja pozostawała niezmiennie w zasięgu ręki, właśnie dzięki możliwości odwołania się do autorytetu hierarchii. Jeśli upa-

i formalnej swobody, które przez wieki odróżniały literaturę od innych form dyskursu, na przykład filozoficznego. Im słabsze literatura znajdowała wsparcie ze strony „świata wartości”, tym większa była potrzeba definiowania jej swoistości w kategoriach retorycznej maszynierii, siły perswazji i metaforycznego skomplikowania. A wszystko to na tle powszechnego „odmetafizyczniania” dyskursów. Detronizacja literatury odbywała się w efekcie pod wpływem zamazywania granicy między tekstami literackimi i nieliterackimi. Trudno przecenić udział, jaki miały w tym procesie rozmaite dyskursy mniejszościowe (np. *gender, postcolonial studies*) czy historycystyczne (*New Historicism*).

⁴ Za najważniejszą – w perspektywie niniejszych rozważań – z takich par uważam fikcję i rzeczywistość. Ich wzajemne przemieszczenia semantyczne i wzajemną dyfuzyjność (ucieleśnione żywo w Baudrillardowskiej wersji zjawiska) wypada uznać za istotny *definiens* kultury ponowoczesnej. Zjawiska te wydają się źródłem atrakcyjności postmodernizmu jako domeny nieograniczonej kreacyjności, a zarazem klęską elitarnego modelu literatury (sztuki) i quasi-kapłańskiego (etosowego) modelu pisarstwa. Inspirowane w tym kontekście uwagi na temat fikcjonalizacji rzeczywistości i antyfikcjonalności sztuki współczesnej wypowiada O. Marquard. Zob. O. M a r q u a r d, *Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne*, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2007. O funkcjonalizacji sztuki skutkującej deregulacją binarnej opozycji „fikcja – rzeczywistość” pisze z kolei Zygmunt Bauman. W eseju *Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy* zauważa on, że

sztuka jest jedną z wielu alternatywnych rzeczywistości, z których każda posiada własny zestaw milcząco przyjętych założeń i własne procedury i mechanizmy ich „uprawdziawiania” oraz samoodtwarzania się. Pytania o to, która z rzeczywistości jest „bardziej rzeczywista”, która pierwotna, a która wtórna, która dla której służyć ma za punkt odniesienia i sprawdzian poprawności, tracą sens; a jeśli nawet zadaje się je z nawyku, to nie wiadomo przecież, jak zabrać się do szukania odpowiedzi [...].

Z. B a u m a n, *Ponowoczesność jako źródło cierpień*, Warszawa 2000, s. 163.

⁵ W sytuacji generalnej niechęci do binarnego wartościowania tekstu literackiego twórczość Pielewina może służyć za nader wyrazisty przykład fundamentalnych trudności klasyfikacyjnych. Bo gdzie na przykład na wciąż respektowanej przez wielu krytyków skali wartości, rozciągającej się między biegunami rozrywki i kultury wysokiej, umieścić Pielewina, pisarza cenionego przez literaturoznawców, a jednocześnie czytanego chętnie przez odbiorcę masowego? Kultury wysokiej – co frapujące na tle powszechniej deregulacji hierarchii estetycznych – wciąż jeszcze opisywanej w terminach aryzmu, elitarności, powołania, zaangażowania czy krytycyzmu.

dała dotychczasowa, w tle zawsze kształtowała się natychmiast jakaś zastępcza. Można powiedzieć, że sama zasada hierarchiczności, razem z wspierającym ją ideologiczno-metafizycznym zapleczem, stanowiła niezawodny, stabilizujący układ odniesienia, i to również – jako się rzekło – w sytuacjach radykalnych przewartościowań kulturowych (*vide imaginarium* romantyczne w miejsce *ratio* czy utopia modernistyczna w miejsce tradycji).

Kultura, w tym literatura, pomoderna, jak się wydaje, niewiele sobie robi z podobnych dystynkcji. W swoich zaś postmodernistycznych odmianach programowo na ogół odmawia uznania wiarygodności jakichkolwiek kryteriów (relewantnych, obiektywnych, uniwersalnych), które uzasadniałyby potrzebę odróżniania esencjalnego od ludycznego, artystycznego od komercyjnego, czy też tego, co ważne dla profesjonalnego literaturoznawcy, od tego, co zajmujące dla tak zwanego zwykłego odbiorcy.

Uważam, że zasygnalizowana wcześniej zmiana sposobu komunikowania się autora z odbiorcami może być identyfikowana nie tylko jako istotny aspekt „rewolucji” postmodernistycznej, ale również – a może przede wszystkim – jako oznaka niejednoznaczności jej rezultatów (czytaj – jej wewnętrznej sprzeczności), a zarazem podległości zasadzie kompensacyjnej, znanej dobrze (choć nie zawsze artykułowanej) z poprzednich rewolucji estetycznych: utrata danej właściwości kompensowana jest pojawieniem się innej, najczęściej tamtą utraconą markującej⁶. Wydaje się na przykład, że utrata metafizycznego zaplecza jest przez literaturę postmodernistyczną kompensowana przez szereg funkcjonalności, niegdyś utożsamianych głównie z formalną organizacją dzieła, a dziś stanowiących o jego wartości *tout court*, takich jak bogata intertekstualność, złożone, wielopoziomowe strategie narracyjne i fabularne symulujące istnienie tajemnicy (głębi, właściwego przesłania, ostatecznego sensu etc.), czy wreszcie bezpośrednia tematyzacja rozmaitych wątków filozoficznych etc. Trudno przy tym o twórczość literacką, która by te przeobrażenia odzwierciedlała w sposób bardziej sugestywny, przynajmniej na gruncie rosyjskim, aniżeli twórczość Wiktora Pielewina⁷.

⁶ Idea kompensacji jako zasady kulturotwórczej znalazła sobie w nowoczesnej myśli europejskiej osobne miejsce; dość przywołać tu pożytkujące ją refleksje Freuda, Sartre’a czy Marquarda. U tego ostatniego, na którego przyjdzie mi się jeszcze powołać, świecka, odmetafizyczniona kultura nowożytna rezonuje stale z oficjalnie przezwyciężoną na jej gruncie ideą teodycei (dla Marquarda odniesieniem jest jej Leibnizjańska wersja). Przejawem tej łączności jest właśnie zasada kompensacji, uobecniająca się na przykład w zjawisku bonizacji zła. Wykorzystanie tej zasady do interpretacji myśli i praktyk postmodernizmu wydaje się otwierać bardzo interesującą perspektywę badawczą.

⁷ W tym szerszym niż historycznoliteracki kontekście, w jakim osadziłem swoje rozważania nad przypadkiem Pielewina, staram się konsekwentnie wystrzegać odniesień do nader rozległego obszaru dyskusji i sporów, jakie toczą się od lat 90. ubiegłego

Nie ulega wątpliwości, że wielkie powieści Dostojewskiego czy Bułhakowa można traktować – niezależnie od znacznej niekiedy nadwyżki czynnika estetycznego – jako poważne diagnozy kondycji ludzkiej. Innymi słowy, przypisywana im uniwersalność i kulturotwórcze znaczenie wynikają w znacznej mierze stąd, że uważa się, iż mówią one coś istotnego o człowieku jako takim i o człowieku swojego czasu. Ich wymiar fikcyjny współlistnieje przekonująco dla naszej wyobraźni i wiarygodnie dla naszego intelektu, z rudymentami porządku określanego jako rzeczywistość pozaliteracka, z którym to porządkiem kojarzymy zwykle takie kategorie jak natura ludzka, społeczeństwo czy epoka.

Tymczasem na gruncie kultury pomodernej (literatura postmodernistyczna stanowi jej najważniejszą dla niniejszych rozważań ekspozyturę) relacja fikcyjności i rzeczywistości stała się wieloznaczna (zob. przyp. nr 4). Przeniknięcie tej wieloznaczności do rosyjskiej kultury nieoficjalnej (konceptualizm, metarealizm, postmodernizm etc.) w latach 70. i 80. miniego stulecia okazało się zacyzynnem niezwykle twórczego fermentu. Zastanawiać przy tym może tak skala, jak intensywność zjawiska. W dodatku międzynarodowy sukces pisarzy rosyjskich kojarzonych z nową literaturą (Wieniedikt Jerofiejew, Wiktor Jerofiejew, Pielewin, Sorokin, Tatiana Tołstoj) wykracza, jak się wydaje, poza tradycyjne, i tak przecież duże, zainteresowanie literaturą rosyjską jako taką. Czy bardziej należy tłumaczyć to „imperialną” nośnością kultury wielkiego kraju czy też oryginalnością i kreatywnością samych autorów (bo że generalnie jednym i drugim pospołu, to pewne), pozostaje pytaniem z natury nierozstrzygalnym, choć frapującym. Istnieją

stulecia na temat „postmodernistyczności” tego pisarza. O rozpiętości skali ocen niech zaświadczą opinie Siergieja Korniewa i Dmitrija Szamańskiego.

Przyjrząwszy się uważniej – pisze Korniew – nagle ze zdziwieniem odkryłem, że z Pielewina tak naprawdę – ideowo, w treści – żaden postmodernista, a najprawdziwszy rosyjski pisarz klasyczny-ideolog, w rodzaju Tołstoja czy Czernyszewskiego.

Co więcej, Pielewin nie jest

po prostu ideologiem, lecz natrętnym, beznadziejnym ideologiem, który dosłownie każdą swoją liniijką uporczywie i otwarcie wtlacza do głowy czytelnika jedną i tę samą moralno-metafizyczną teorię.

C. K o p n e w, *Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим?*, „Новое литературное обозрение” 1997, № 28. Tłum. własne – T. N. Z kolei Szamański widzi w Pielewinie postmodernistę *par excellence*, modelowe ucieleśnienie jego charakterystycznych idiosynkrazji, w dodatku objawione we właściwym czasie i miejscu.

Wiktor Pielewin – pisze krytyk – pojawił się w porę. [...] Pustka wśród literatur, pustka w znaczeniu metafizycznym: postmodernistyczne absolutne zero. Wiktor Pielewin, wydany przez tę epokę, proklamował ją, umieścił na ostrzu swojego talentu i stał się nią. Powiedzieć, że Pielewin jest postmodernistą idealnym, to za mało. On jest żywym postmodernistycznym wszystkim i niczym. Ucieleśnieniem i symbolem pustki.

Д. Ш а м а н с к и й, *Пустота (Слова о Викторе Пелевине)*, „Мир русского слова” 2001, № 3.

natomiast badacze, jak Michaił Epsztejn, którzy fenomen rosyjskiego postmodernizmu skłonni są tłumaczyć ogólną podatnością nowożytnej kultury rosyjskiej na symulakrowość (przewaga „znaczącego” nad „znaczonym” posunięta niekiedy aż do nieuwzględniania tego drugiego; zdolność znaków do wyodrębniania się i funkcjonowania niezależnego od rzeczywistości pozajęzykowej, uwidoczniła zwłaszcza w lokalnych projektach modernizacyjnych, takich jak reformy Piotrowe czy sowiecki komunizm etc.)⁸.

Przyjmując taką perspektywę i nakładając na nią przywołany wcześniej proces dezintegracji klasycznego modelu pisarstwa i literackości, łatwiej zrozumieć gwałtowną inwazję do literatury intertekstu. Odgrywa on dwie pozornie sprzeczne role komunikacyjne: środka upraszczającego porozumienie z odbiorcą (gdy posługując się kliszami języka kultury popularnej, przywołuje echa dawnej wspólnoty „kanonicznej”) i utrudniającego to porozumienie (gdy montując własne systemy znakowe, o nierzadko znacznym stopniu wyrafinowania, ujawnia właściwości kompensacyjne w stosunku do utraconej logocentryczności – metafizycznej, poznawczej etc.). Pozorna sprzeczność bierze się stąd, że obie te role są w istocie wzajem komplementarne, jako że żadna nie wydaje się dla postmodernizmu do przyjęcia bez drugiej: poprzestając na pierwszej, stałby się formą rozrywki, na drugiej zaś – sprzeniewierzyłby się swoim wolnościowym aspiracjom i sceptycznemu usposobieniu. Dlatego nie sposób nie zauważyć, że literatura postmodernistyczna wykorzystuje, i to niezwykle niekiedy efektywnie (*casus* Pielewina), swój intertekstualny potencjał do przechwytywania i kopiowania wzorów kultury popularnej, do rozmywania w tych wzorach idei i obrazów traktowanych niegdyś ze śmiertelną powagą, a nawet – na gruncie kultury rosyjskiej – swoście sakralizowanych (naród, sprawiedliwość, prawda). A wszystko to przy jednoczesnym zachowywaniu atrakcyjności dyskursu żerującego na pewnych ambicjach intelektualnych odbiorcy masowego⁹.

⁸ Zob. *Светлой памяти постмодерна посвящается...*, [w:] źródło elektroniczne: <http://xz.gif.ru/numbers/64/epshtein-savchuk/> (16.09.2015).

⁹ Te ambicje należałoby rozumieć nie w kategoriach poznania (gnoseologicznych), lecz uznania (psychologicznych i socjologicznych). Skoro bowiem postmodernizm nie rości sobie pretensji do prawdy, koherencji, systemowości, warto zastanowić się – w duchu przywołanej wcześniej zasady kompensacyjnej – czym ewentualnie (i czy w ogóle) te staromodne wartości i cele zostały zastąpione. Skłonny jestem uważać, że odpowiedzi należałoby poszukiwać w kręgu takich pojęć jak uznanie i prestiż. A sprowadzając rzecz do węższego wymiaru – w kręgu rynkowych miar wartości. Ciekawym odniesieniem dla takiego rozumowania mogłoby być to, co Bauman pisze o losach dwudziestowiecznej sztuki awangardowej. Jej klęska polega zdaniem myśliciela na tym, że z ekscentrycznej kapłanki modernistycznej utopii przeobraziła się ona w specyficzny *ersatz* statusu społecznego. Powiada Bauman:

Moc stratyfikacyjną, jaka niegdyś doprowadziła do triumfu / klęski awangardy, posiada dziś nie tyle dzieło sztuki, co miejsce, w jakim się je nabyło, i cena, jaką się za nie zapłaciło.

Jak się to ma do tytułowego zagadnienia Pielewinowskich aktualizacji rosyjskiego tekstu? Po tym, co zostało powiedziane, łatwiej zapewne sobie wyobrazić, że oczekiwanie, iż będziemy tu mieli do czynienia z prostym odzwierciedlaniem się jednego porządku symbolicznego w drugim, musi jawić się jako nadmiernie prostoduszne. I że nie chodzi wyłącznie o to, że absorpcja Rosji jako *residuum* tekstualnego, narracyjnego czy mitologicznego dokonuje się u Pielewina w trybie dekonstrukcyjnym¹⁰. Sama dekonstrukcja nie przesądza zresztą kwestii stosunku do rzeczywistości; nie w takim sensie przynajmniej, by tę ostatnią dało się zupełnie konsekwentnie wyłączyć spod zasięgu „konstruktywnych” aspiracji samych pisarzy. Istnieją przecież badacze, jak Olga Bogdanowa, którym przynależność Pielewina do postmodernizmu jawi się jako połowiczna, właśnie dekonstrukcyjno-formalna, przy zachowaniu przezeń respektu dla nieredukowalnych obszarów bytu. „Jeśli postmoderniści – pisze Bogdanowa – przede wszystkim zadowolają się uświadamianiem „nihilizmu” i dekonstrukcji świata zewnętrznego, to Pielewin tworzy własny świat. Jeśli postmoderniści, mówiąc o zniszczeniu świata zewnętrznego, mają jednocześnie na myśli pełną likwidację świata wewnętrznego, to Pielewin nie przyjmuje możliwości odmówienia człowiekowi jakichś pozytywnych cech, wewnętrznej psychologicznej rozumności podmiotu (czy to człowieka, czy zwierzęcia, owada, rośliny, promienia słonecznego czy cząsteczki pyłku)”¹¹. Irina Skoropanowa z kolei zwraca uwagę na poznawczą orientację twórczości Pielewina, co samo w sobie każałoby jej postmodernistyczny kreacjonizm traktować z pewną ostrożnością, jako część bardziej złożonej całości estetyczno-światopoglądowej.

Pod tym względem nie różnią się dzieła sztuki od innych symboli pozycyjnych pozyskiwanych za pośrednictwem rynku.

Z. B a u m a n, op. cit., s. 162. Rozszerzając Baumanowską wykładnię o motywację kompensacyjną, można by uznać, że nowoczesne (ponowoczesne?) czytanie literatury służy – obok zaspokajania określonych potrzeb osobistych – manifestowaniu własnej elitarności, przynależności – choćby i symbolicznej tylko – do pewnej wspólnoty intelektualnej. Pisanie natomiast jawiłoby się w tym kontekście nie tyle jako realizacja wewnętrznego imperatywu twórczego czy źródło zarobku (choć te motywacje nie ulegają tutaj unieważnieniu), co zwłaszcza jako manifestacja biegłości w posługiwaniu się ezoterycznymi kodami kultury, dostępnymi nielicznym, wymagająca posiadania unikalnych kompetencji.

¹⁰ Nie chodzi też, co warto przy okazji zaznaczyć, o możliwość interpretowania tekstów autora *Generation 'P'* w kategoriach ironii czy parodii, do czego Bachtinowska progenitura badawcza, tak w Rosji, jak na świecie, wykazuje przemożną skłonność. Ironia i parodia, podobnie jak dekonstrukcja, zakładają przecież istnienie jakiegoś pozytywnego dla swoich obiektów odniesienia.

¹¹ О. Б о г д а н о в а, *Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е годы XX века – начало XXI века)*, Санкт-Петербург 2004, s. 301. Tłum. własne – T. N.

Wiktor Pielewina – pisze badaczka – interesują przede wszystkim procesy zachodzące w sferze poznania, w zbiorowej nieświadomości i indywidualnej psychice, ich wpływ na bieg historii, społeczne zachowanie ludzi. Stąd zainteresowanie fenomenem ideologii, reklamy, możliwościami technologii informatycznych, psychodelią, stąd badanie stanu współczesnego rosyjskiego archetypu narodowego¹².

Znaczenie i wartość formalnych uwikłań prozy Pielewina – w literackość, w intertekstualność, w postmodernistyczny persyflaż – bywa w takiej perspektywie interpretacyjnej pomniejszane na rzecz uwypuklenia jej egzystencjalnej bądź epistemologicznej doniosłości. W wersjach natomiast radykalnie „pro”- i „anty-postmodernistycznych”, jak w przypadku Korniewa i Szamanskiego¹³, mamy do czynienia z próbą jednoznacznego przezwyciężenia aporii interpretacyjnej, jaka powstaje wskutek uwikłania Pielewina w opozycję mimetycznej natury: naturalista-konstruktywista (inaczej: tradycjonalista-postmodernista). Kto wie, czy odpychanie się, a nawet wykluczanie wzajemne, tych odczytań nie sprawia, że łatwiej w ostatecznym rozrachunku widzieć w Pielewinie ukrytego pod maską szydery i internacjonalą rosyjskiego – *toutes proportions gardées* – klasyka, tradycyjnego myśliciela i moralistę. Szłoby to w pewnej mierze w sukurs mojej propozycji, by *casus* Pielewina rozpatrywać w kategoriach kompensacji i symulacji.

O co więc chodzi, można zapytać, gdy mowa o rosyjskim tekście w porządku Pielewinowskich wariacji? Otóż niezależnie od tego, ile w Pielewinie „formalnego” postmodernisty, a ile „treściwego” tradycjonalisty, pochodzące ze wspomnianego *residuum* tekstualnego motywy nie funkcjonują u tego autora jako wehikuly znaczeń i sensów, dla których sankcją pozostawałaby wspólnota interpretacyjna z jej idiosynkratyczną epistemologią, z jej wyrazistymi preferencjami i ustabilizowanymi hierarchiami. Zatraciły przy tym nie tylko swoją powagę, ale i zdolność do koherentnego współistnienia, a co za tym idzie – do konstytuowania światów, w których czytelnik mógłby rozpoznawać swój własny świat. Do tego stopnia, że nawet sugestywny początkowo w swoim realizmie obraz narodzin rosyjskiego kapitalizmu czasów Jelcyna, z jakim mamy do czynienia w *Generation 'P'*, rozpada się w finalnej scenie powieści na niemożliwe do złożenia kawałki. Dzieje się tak, gdy zostaje ujawnione, że władzę w Rosji sprawuje nie – jak można by się spodziewać wcześniej – rynek, nie postkomunistyczna nomenklatura, nawet nie wszechobecne media, lecz ...międzynarodówka „Chaldejczyków”, swoiste *deus ex machina*, którego chyba nie sposób brać serio nawet w symbolicznej funkcji. Można, oczywiście, bardzo różnie tłumaczyć moment konfuzji, jakiej doświadcza niechybnie w podobnych ra-

¹² И. С к о р о п а н о в а, *Русская постмодернистская литература*, Москва 2001, s. 433. Tłum. własne – T.N.

¹³ Zob. przypis nr 7.

zach czytelnik poszukujący u Pielewina, osławionego swoim *image'em* niepokornego demaskatora, ukrytej a przenikliwej diagnozy rosyjskiego życia. Można na przykład ograniczać rozmiar konfuzji przez związanie jej wyłącznie z osobliwościami Pielewinowskich fabuł, według Wiaczesława Kuricyna prostych „do granic prymitywności”¹⁴, obliczonych na prowokację i popularność u widza masowego, wartość diagnostyczną Pielewina-obszernika szacując na podstawie opisowych bądź quasi-dyskursywnych partii jego prozy, a także – w niemniejszej mierze – na podstawie jego wypowiedzi programowych w wywiadach (niezbyt wprawdzie licznych, lecz wyrazistych i intelektualnie spójnych).

Weźmy tu jako przykład filozoficzne dialogi Pietki i Czapajewa z *Malego palca Buddy*, które – niezależnie od swoich funkcji fabularnych i charakteryzujących – pozwalają się wyodrębnić jako zwarty i logiczny wywód na temat świadomości. Wywód frapujący intelektualnie nie tylko za sprawą swojej logiczności, ale i mocnego osadzenia w spekulatywnej i duchowej tradycji Wschodu oraz Zachodu. Czy też weźmy charakterystykę *Oranusa* w *Generation 'P'*, która przy całej swojej parodyjnej prześmiewczości zawiera przecież elementy konstruktywnej dezawuacji współczesnej kultury, rezonujące niekiedy z najbardziej wpływowymi diagnozami Baumana czy Giddensa. Z kolei powieści takie jak *Życie owadów*, *Generation 'P'* czy *Omon Ra* potrafiłyby ukontentować badacza tropów postkolonialnych: prowincjonalność bohaterów rosyjskich, z właściwymi jej tęsknotami i kompleksami wobec Zachodu, została przez Pielewina oddana – mimo satyrycznej deformacji – z dużą psychologiczną sugestywnością¹⁵. Listę przykładów

¹⁴ Kuricyn ogromną popularność Pielewina wiąże z jego generalnym ukierunkowaniem na kulturę masową i rzeczywistość wirtualną. Przejawem tego jest – w wymiarze struktury dzieła – nie tylko prostota fabularna, ale również bogata intertekstualność, skłonność do prowokacji oraz fotograficzna wierność realiom sowieckiego i posowieckiego świata. В. К у р и ц ы н, *Русский литературный постмодернизм*, Москва 2000, s. 174–175.

¹⁵ Jako przykłady dość przywołać tu kulturowe fascynacje żeńskich bohaterek *Życia owadów*, Mariny i Nataszy (matki i córki). Gdy pierwsza próbuje kształtować własne życie (groteskowo nieudane) na wzór francuskich filmów o miłości, druga rozpaczliwie próbuje dostosować się we wszystkim do oczekiwań Amerykanina Sama, swojego ukochanego. W *Omon Ra* z kolei wyzyskuje Pielewin motyw rywalizacji zimnowojennej. Symbolem tęsknot do lepszego świata i zarazem czynnikiem obnażającym gorszość świata własnego jest tutaj radziecka kosmonautyka, z jej spektakularnymi osiągnięciami i z jej – niezrównanie w powieści wykpioną – fasadowością, skrywającą mechanizmy propagandowej manipulacji i materialne ubóstwo społeczeństwa.

Nory, w których upływało nasze życie – wspomina główny bohater powieści – rzeczywistość były ciemne i brudne, my sami byliśmy pewnie warci tych nor – ale w granatowym niebie nad naszymi głowami wśród rzadkich i białych gwiazd istniały szczególnie świetliste punkty, sztuczne, wolno pełzające pośród gwiazdozbiorów, stworzone tu, na ra-

poświadczających silne i trzeźwe związki prozy Pielewina z uniwersum kulturowym oraz z mentalnością współczesnych Rosjan można by, rzecz jasna, wydłużyć.

Czy oznacza to jednak, że niezależność autora *Czapajewa i Pustki* od normy wspólnotowej – w sensie, jaki wysłowiony został powyżej – jest tylko pozorna? Że pod maską postmodernistycznego gracza mruga do nas porozumiewawczo satyryk lub – jeśli ktoś woli – krytyk społeczny, odwołujący się do wspólnego z czytelnikiem systemu wartości, wyczulonego na te same co on absurdy i deformacje życia? Myśliciel włączający się twórczo w żywy nurt wielowiekowej refleksji nad naturą jaźni? Taka interpretacja szłaby w stronę ujęcia etnocentrycznego lub w dowolny inny sposób ograniczającego zasięg Pielewinowskiej kreatywności. Tymczasem ta ostatnia siłą kompensacyjną w stosunku do utraconej przez literaturę autorytatywności i metafizyczności czerpie właśnie ze swojej intertekstualnej nieograniczoności i autorskiej nieuchwytności. Z drugiej strony, jak już wiemy, z rozpoznawalności, jaką zapewnia jej umiejętność aktualizowania w popkulturze semiotyce starych, rosyjskich na ogół, wzorów. Na tym właśnie, jak się wydaje, polega niemożność ostatecznego i rozstrzygającego przyłapania Pielewina na byciu „rosyjskim klasykiem” bądź „postmodernistycznym internacjonalą” – jest on zbyt „uniwersalny” dla pierwszej z perspektyw, a zbyt „lokalny” dla drugiej.

Za tym, że Pielewin jednak przekracza / znosi granice oddzielające obszar gry literackiej od „realnej” eksploracji rzeczywistości, przemawiają co najmniej dwie okoliczności. Po pierwsze to, że krytycyzm pisarza, o jakim była mowa, a w jakim można by upatrywać przejawów jego zakorzenienia we wspólnotowych strukturach wartości, nie wydaje się wymierzony w jakiś określony porządek społeczny czy aksjologiczny. Jawi się – co już zostało podkreślone – jako ze wszech miar „uniwersalny”¹⁶. Podkreśla to okoliczność, że Pielewinowi właściwa jest, co sam zresztą przyznaje w jednym z wywiadów, orientacja epistemologiczna, nie zaś ontologiczna;

dzieckiej ziemi, wśród rzygowin, pustych butelek i papierosowego dymu – zbudowane ze stali, półprzewodników i elektroniki i teraz lecące w kosmosie.

W. P i e l e w i n, *Omon Ra i inne opowieści*, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2007, s. 29. Natomiast w *Generation 'P'* Wowczyk Mały formułuje rosyjski kompleks z właściwą sobie dosadną przenikliwością:

Brakuje nam narodowej toż-sa-moś-ci [...]. Czeczeni ją mają, a my nie. Dlatego inni traktują nas jak gówno. Tak że potrzebna jest wyraźna i jasna rosyjska idea, żeby człowiek mógł każdemu skurwielowi z jakiegoś Harvardu zwyczajnie powiedzieć: sraty-taty, dupa w kraty, tak na nas patrzeć nie wolno. Zresztą sami też powinniśmy wiedzieć, skąd nasz ród.

W. P i e l e w i n, *Generation 'P'*, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2006, s. 183.

¹⁶ Podkreślona cudzysłowem umowność narzuca się tu z nieodpartą koniecznością, jako że termin w jednym z podstawowych użyć posiada konotację logocentryczną, mylącą w kontekście tutaj rozpatrywanym.

sprawia to, że jego światy przedstawione osadzone są często w płynnych i z natury niedookreślonych przestrzeniach jaźni, nie zaś w stabilnych strukturach mitu czy wielkich narracji przeszłości. Po drugie, mimo pozorów, jakie może stwarzać jego obrazowa intertekstualność, Pielewin nie funkcjonuje w ramach tradycyjnego modelu literaturocentrycznego i rosjoentrycznego, tak charakterystycznego dla rosyjskiej percepcji rzeczywistości i dla etosu rosyjskiej inteligencji. Rosja nie jest dla niego podstawowym, a już na pewno nie jedynym układem odniesienia.

Miarą stopnia odejścia pisarza od standardowych w kulturze rodzimej ukształtowań obrazu Rosji i rosyjskości może być fakt, że nie wyodrębniają się one u tego pisarza jako samodzielna, niezależna struktura symboliczno-znaczeniowa (zupełnie inaczej niż ma to miejsce w ramach głęboko zinternalizowanej przez Rosjan i powielanej w dyskursach zachodnich opozycji Rosja – Zachód). Warto bowiem zwrócić uwagę na zachodzącą w prozie Pielewina izomorficzność pojęć rosyjskie-sowieckie-postsowieckie-globalne, modelowo widoczną w *Generation 'P'*.

Pisarz kwestię rosyjskości podejmuje bezpośrednio, w jednym z wywiadów.

Co to właściwie znaczy – zastanawia się – że książka jest rosyjska? Czy oznacza to wyssane z mlekiem matki prawosławie lub wiarę w mesjańską rolę Rosji czy też jakąkolwiek poważnie potraktowaną ideologię, drogę, którą często zdarzało się iść w ciągu ostatnich dwóch stuleci? W tym sensie nie myślę, bym podpadał pod takie określenie, ponieważ nigdy nie byłem natchniony niczym podobnego rodzaju. Czy oznacza to podążanie za rosyjską tradycją literacką? Jedyna prawdziwa rosyjska tradycja literacka to pisanie książek w taki sposób, w jaki nie robił tego wcześniej nikt. Żeby stać się częścią tradycji, powinno się jej wyrzec – to warunek konieczny, choć niewystarczający. Jeśli mówi pan o wyobrażeniu unikalnego życiowego doświadczenia rosyjskiego, to jest to tylko inna kombinacja tych samych składników, z których składa się unikalne doświadczenie życiowe francuskie czy niemieckie, tylko zestawionych w innych proporcjach. Te składniki to cierpienie i radość, nadzieja i rozpacz, współczucie i wyniosłość, słowa miłości, krzyki nienawiści. Każdy z nas zna wszystkie te składniki, dlatego pan może czytać Antona Czechowa, a ja mogę czytać Kinky Friedmana. [...] Nie ma niczego rosyjskiego (русского), co byłoby wyjątkowo rosyjskim (русским). Co więcej nie ma absolutnie niczego takiego jak rosyjskie tematy. Tak jak nie ma żadnych innych narodowych tematów. Jeśli spróbuje pan pisać długo i konsekwentnie o Rosji, nie uda się to panu: nawet jeśli pierwsze zdanie będzie o Rosji, drugie i trzecie będą już o czymś innym. I gdy ostatecznie zakończy pan książkę, okaże się, że napisał ją pan o sobie samym¹⁷.

Jak powiada jedna z postaci w *Czapajewie i Pustce*: „Za każdym razem, gdy pojawi się w świadomości pojęcie i obraz Rosji, trzeba pozwolić im

¹⁷ Л. К р о п ы в ь я н с к и й, *Интервью с Виктором Пелевиным*, [w:] źródło elektroniczne: <http://pelevin.nov.ru/interview/o-bomb/1.html> (15.08.2015).

roztopić się we własnej naturze. A że pojęcie i obraz Rosji żadnej własnej natury nie mają, w rezultacie Rosja okaże się świetnie ustawiona”¹⁸. Stwierdzenie to powinno zostać potraktowane z należąca powagą: przywołana w nim implicytnie tytułowa Pustka okazuje się bowiem w świecie Pielewina brakującym ogniwem między rzeczywistością a literaturą, między Rosją-tekstem a jej aktualizacją w twórczości pisarza. Jeśli pojęcie i obraz Rosji nie mają własnej natury, wspólnota przestaje być – niejako mimowolnie – konieczną depozytariuszką ich znaczeń. Staje się nią wyobraźnia. Unieważnia to (a w pewnym sensie odwraca) klasyczny, wyrażony w tytule niniejszych rozważań, wektor zależności: to nie obraz Rosji w określonej twórczości, lecz określona twórczość w obrazie Rosji staje się zagadnieniem prawdziwie godnym uwagi.

Wyłączenie autorskiej wizji świata spod jurysdykcji tradycyjnej wspólnoty interpretacyjnej odbiera wprawdzie tekstowi potocznie rozumianą wiarygodność i autorytet, ale jednocześnie między autorem, czytelnikiem i tekstem uruchamia nowe, wielorakie interakcje. Weźmy pod uwagę, w kontekście Pielewina, tylko dwa możliwe następstwa takiej sytuacji. Po stronie odbiorcy – pragnienie przewyciężenia interpretacyjnego relatywizmu i ulokowania swoich oczekiwań w sferach mniej podatnych na deliberację i wieloznaczność: estetycznej *sensu stricto*, pojmowanej w kategoriach czystej rozrywki, gdzie podstawowymi wyznacznikami „ładu” pozostają bieguny akceptacji i odrzucenia, oraz moralnej *sensu largo*, pojmowanej jako humanistyczna perspektywa otwartości na formacyjną rolę wyobraźni. Po stronie autora natomiast – nasiloną potrzebę autokreacji oraz eksponowania własnego nonkonformizmu i oryginalności, bądź – z drugiej strony – pokusę rezonerstwa, asocjującą z literaturocentryczną i etosową charakterystyką pisarstwa dawniejszego typu; rezonerstwa, dla którego istotnym odniesieniem pozostają tradycyjne narracje i mity.

Obie te figury, nonkonformisty i rezonera, pozwalają się rozpoznać w postawie Pielewina-autora i Pielewina-postaci publicznej. W tym drugim przypadku wyraziściej co do samej formy przekazu (wywiady i spotkania autorskie), choć zarazem w atmosferze ogólnej, najpewniej kreowanej z rozmysłem, nieuchwytności i tajemniczości. Dostrzegam w tym kolejny przejaw logiki kompensacyjnej: jest to symulacja quasi-kapłańskiego w rosyjskiej tradycji statusu pisarza oraz, w mniejszym stopniu, równie ważnej dla tej tradycji figury myśliciela (odróżnianej od filozofa kojarzonego najczęściej z tradycją zachodnią).

Trawestując tytuł niniejszych rozważań, można by uznać, że zarysowana tu perspektywa ewolucyjna powinna skłaniać raczej do poszukiwania

¹⁸ W. P i e l e w i n, *Mały palec Buddy*, tłum. H. Broniatowska, Warszawa 2003, s. 383. Tytuł oryginału: *Чанаб у Пычмома*.

obecności Pielewina we współczesnym tekście rosyjskim, aniżeli Rosji w tekstach Pielewina. Ogromna popularność pisarza, atrakcyjność jego wizji rzeczywistości i sposobów zjednywania dla niej bardzo różnych grup odbiorców¹⁹, a nadto jego nieuchwytna, na wpół wirtualna, lecz jednocześnie imponująco skuteczna zdolność do autokreacji, każą sądzić, że mamy tu do czynienia z daleko posuniętą zbieżnością duchowo-intelektualnej formacji i społecznego na nią zapotrzebowania.

Bibliografia

- B a u m a n Z., *Ponowoczesność jako źródło cierpień*, Warszawa 2000.
- M a r q u a r d O., *Aesthetica i anaesthetica. Rozważania filozoficzne*, tłum. K. Krzemienio-wa, Warszawa 2007.
- Mentalność rosyjska*, red. A. de Lazari, Katowice 1995.
- P i e l e w i n W., *Empire V. Opowieść o prawdziwym nadczłowieku*, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2008.
- P i e l e w i n W., *Generation 'P'*, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2006.
- P i e l e w i n W., *Mały palec Buddy*, tłum. H. Broniatowska, Warszawa 2003.
- P i e l e w i n W., *Omon Ra i inne opowieści*, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2007.
- P i e l e w i n W., *Życie owadów*, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2004.
- Б о г д а н о в а О., *Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60–90-е годы XX века – начало XXI века)*, Санкт-Петербург 2004.
- Г е н и с А., *Феномен Пелевина*, [w:] źródło elektroniczne: <http://pelevin.nov.ru/stati/o-gen1/1.html> (15.08.2015).
- К о р н е в С., *Столкновение пустот: может ли постмодернизм быть русским и классическим?*, „Новое литературное обозрение” 1997, № 28.
- К р о п ы в ь я н с к и й Л., *Интервью с Виктором Пелевиным*, [w:] źródło elektroniczne: <http://pelevin.nov.ru/interview/o-bomb/1.html> (15.08.2015).
- К у р и ц ы н В., *Русский литературный постмодернизм*, Москва 2000.
- С к о р о п а н о в а И., *Русская постмодернистская литература*, Москва 2001.
- Ш а м а н с к и й Д., *Пустота (Снова о Викторе Пелевине)*, „Мир русского слова” 2001, № 3.

¹⁹ Pielewin – zauważa Aleksander Genis – w ciągu dziesięciu lat pracy pomógł skierować rodzimą literaturę w stronę XXI wieku. Przywrócił książkę odsuniętemu od niej z odrazą czytelnikowi, opanował młodzież internetową, rozłożył krytyków, wzbudził zainteresowanie sennego Zachodu.

A. Г е н и с, *Феномен Пелевина*, [w:] źródło elektroniczne: <http://pelevin.nov.ru/stati/o-gen1/1.html> (15.08.2015).

ŚWIĘTO W JĘZYKOWEJ ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW I ROSJAN

HOLIDAY IN THE LINGUISTIC AWARENESS OF POLES AND RUSSIANS

JOANNA ORZECHOWSKA

ABSTRACT. Linguistic awareness has been one of the research interests in both cognitive and cultural linguistics in recent years. Images of linguistic signs which originate as part of the linguistic awareness of representatives of various cultures and languages can differ considerably. There are many ways of distinguishing these differences, including semantic analysis and analysis of the connotations related to a given word. This article presents how the term *holiday* functions in the linguistic awareness of Poles and Russians.

Joanna Orzechowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn – Polska,
joanao@wp.pl

Główne tezy językoznawstwa kognitywnego i lingwistyki kulturowej oparte są na założeniu, że wiodąca funkcja języka polega nie tylko na przekazywaniu informacji i realizacji referencji w stosunku do niezależnej rzeczywistości, ale także na orientacji w możliwościach poznawczych i ich realizacji przez jednostkę. Oznacza to, że język obecnie jest częściej rozpatrywany jako system regulacji zachowań, w którym to systemie zasadniczą rolę grają konotacje¹.

W oparciu o to założenie przedmiotem badań w lingwistyce stają się obrazy świadomości przedstawicieli konkretnych kultur i języków. Stosuje się w nich terminy *językowy obraz świata* oraz *świadomość językowa*, która jest rozumiana jako fragment grupowego obrazu świata².

Świadomość językowa – to całościowa wiedza, kompletna informacja kojarzona ze znakiem językowym. Pojęcie świadomości językowej zostało sformułowane w trakcie badań nad przyczynami powstawania konfliktów komunikacyjnych, kiedy to zauważono istnienie różnic w obrazach świadomości językowej konkretnych znaków językowych przedstawicieli różnych kultur.

W badaniach świadomości językowej zakłada się, że realne zjawiska odbierane przez człowieka podczas działania i komunikacji utrwalają się

¹ А.В. К и р и л и н а, *Гендерные аспекты языка и коммуникации*. Дисс. ...докт. филол. наук, Москва 2000, s. 6.

² Е.И. Г о р о ш к о, *Языковое сознание: гендерная парадигма*, Москва-Харьков 2003, s. 7–8.

w jego świadomości z zachowaniem charakterystyk czasowych, przestrzennych i przyczynowych oraz z zapisem emocji, wywoływanych podczas odbioru³.

Badanie świadomości ludzkiej napotyka na liczne trudności. Po pierwsze, świadomość jest różnie rozumiana przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, które uczyniły ją przedmiotem badań: psychologów, fizjologów, filozofów, językoznawców, psycholingwistów itd. Różne będą zatem podejścia, techniki, metody. Po drugie, z powodu braku instrumentów badania świadomości ludzkiej badacze są zmuszeni do zawężenia swych obserwacji do świadomości językowej. Nawiasem mówiąc, wielu naukowców utożsamia świadomość ze świadomością językową (А.А. Леонтьев), co ma źródło w psychologii i psycholingwistyce, wyraźnie opowiadających się za językiem jako tym czynnikiem, który umożliwia rozwój myślenia abstrakcyjnego czyli „uczłowieczenie” człowieka. Zgodnie z koncepcją А.А. Леонтьева świadomość budują elementy odbioru obiektów rzeczywistości: odczucia, sens, znaczenie. Dla badacza są dostępne tylko w tym przypadku, gdy łączą się związkami skojarzeniowymi z innymi przedmiotami, wypełniającymi funkcję znaku, a więc tworzą sieć skojarzeniową z innymi jednostkami językowymi. Dlatego, według koncepcji Леонтьева, świadomość to przede wszystkim świadomość językowa⁴.

Według koncepcji G.W. Jejjera świadomość językowa zawiaduje działalnością językową (mową) i jest tylko jednym z rodzajów świadomości. Przy czym świadomość językowa jest warunkiem koniecznym, aby mogły rozwinąć się i funkcjonować wszystkie inne formy świadomości⁵.

Według А.А. Леонтьева pojęcie świadomości językowej jest bardzo bliskie pojęciu obrazu świata, jakie funkcjonuje w psychologii i psycholingwistyce⁶.

Bez względu na to, czy świadomość językowa jest rozumiana szeroko czy wąsko, czy jest utożsamiana z językowym obrazem świata, czy też jest dzielona na poszczególne fragmenty (koncepty, etalony, stereotypy itd.), uważa się, że specyficznym oknem, przez które można obserwować świadomość językową człowieka, jest asocjacyjne znaczenie słowa, na podstawie którego można rekonstruować obraz świata. Świadomość językowa jest najczęściej badana przez rejestrowanie skojarzeń. Sieć skojarzeń uważana

³ Ibidem, s. 8–9, 89.

⁴ А.А. Леонтьев, *Языковое сознание и образ мира. Тезисы IX Всесоюзного симпозиума по психолнгвистике и теории коммуникации „Языковое сознание”*, Москва 1988, s. 105–106.

⁵ Г.В. Ейгер, *Языковое сознание и механизм контроля языковой правильности речи. Тезисы IX Всесоюзного симпозиума по психолнгвистике и теории коммуникации „Языковое сознание”*, Москва 1988, s. 59–60.

⁶ *Язык и сознание: парадоксальная рациональность*, Москва 1993, s. 105.

jest za model świadomości, który przedstawia zespół reguł operowania wiedzą kulturową. W Moskiewskiej Szkole Psycholingwistycznej metoda swobodnych skojarzeń tworzy model analizy danych, pozwalający opisać i zbadać obrazy grupowej świadomości językowej⁷. Obrazy świadomości „uzewnętrznione” są za pomocą werbalnych asocjacji.

Wielu badaczy uważa, że zastosowanie asocjacji jest nieocenione w badaniach międzykulturowych i translingwistycznych⁸. Świadomość językowa, a więc i asocjacyjne znaczenie słowa odgrywają ogromną rolę także w nauczaniu języków obcych. Doświadczeni wykładowcy Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów, pracujący w nurcie lingwokulturologii praktycznej, uważają, że głównym celem opanowania języka obcego jest opanowanie asocjacyjnego znaczenia słów, czyli ukształtowanie takich skojarzeń z nauczanym słowem, jakie posiadają użytkownicy nauczanego języka⁹.

Obraz przedmiotu lub zjawiska w ludzkiej świadomości zawsze zabarwiony jest kulturowo i charakteryzuje się specyfiką narodową¹⁰. Jednakowe (lub nawet te same) obiekty i zjawiska rzeczywistości w różnych kulturach będą miały różne obrazy świadomości językowej. Mogą częściowo pokrywać się, co umożliwi przekład z jednego języka na drugi, częściowo różnić się – co może być przyczyną konfliktów komunikacyjnych¹¹. W lingwistyce kulturowej stwierdzono, że samo przetłumaczenie słowa, czyli znajomość znaczenia słowa, nie gwarantuje sukcesu komunikacyjnego.

Wiedzę o asocjacyjnym znaczeniu słowa rejestrują słowniki asocjacyjne. Powstają one na bazie masowo przeprowadzonych eksperymentów skojarzeniowych. Asocjacje użytkowników języka rosyjskiego w niniejszym artykule zostały zaczerpnięte z rosyjskiego słownika asocjacyjnego¹², skojarzenia użytkowników języka polskiego zostały zebrane z internetowych ankiet przez studentki III roku filologii rosyjskiej UWM w Olsztynie Adrianę Cupiał i Justynę Wasilak.

Innym sposobem na obserwowanie świadomości językowej jest analiza semantyczna. W ostatnich dwóch-trzech dziesięcioleciach w rosyjskiej psycholingwistyce do badań priorytetowych należą badania świadomości językowej w obrębie procesów semantycznych przy tworzeniu i odbiorze

⁷ Е.И. Горюшко, *op. cit.*, s. 9.

⁸ R. L e b d a, *Słownik polskich i serbskich asocjacji jako kulturowy obraz świata*, Kraków 2006, s. 3.

⁹ *Русский ассоциативный словарь*, под ред. Ю.Н. Караулова, т. I, Москва 2002, s. 314.

¹⁰ Е.Ф. Т а р а с о в, *Межкультурное общение – новая онтология анализа языкового сознания*, [w:] *Этнокультурная специфика языкового сознания*, Москва 1996, s. 19.

¹¹ М.А. Б р а г и н а [и др.], *Лингвокультуроведческие аспекты формирования языкового сознания иностранных студентов в процессе изучения русского языка. Учебное пособие*, под ред. В.М. Филиппова, Москва 2008, s. 123.

¹² *Русский ассоциативный словарь*, *op. cit.*

tekstów, przy założeniu, że świadomość człowieka jest kształtowana przy pomocy języka, który jest instrumentem uogólnienia i uzewnętrznienia obrazów świadomości powstających w wyniku działalności jednostki.

Pojęcie **obraz świadomości językowej** zostało sformułowane jako alternatywa w stosunku do pojęcia 'znaczenie słowa'¹³ i jest traktowane jako pojęcie bliskie (jeśli nie równoznaczne) pojęciu 'skojarzenia' z danym słowem.

Badania semantyki i asocjacji, polarnych opisów znaku językowego są badaniami pozwalającym zajrzeć do świadomości językowej. Na ich podstawie sprawdzimy, jaki obraz tworzy w świadomości językowej Polaka i Rosjanina słowo *święto*.

O tym, że te obrazy święta w polskiej i rosyjskiej świadomości językowej nie pokrywają się, świadczą różnice w tłumaczeniach słowa i konieczność doprecyzowania kontekstu.

W powieści kryminalnej Darii Doncowej *Покер с акулой* znalazło się zdanie „Татьяну окружал праздник”¹⁴, które w polskiej wersji kryminału zostało przetłumaczone przez Danutę Blank na „Tatianę otaczało niekończące się święto”¹⁵.

Przeciętny użytkownik języka polskiego zgodzi się, że stan euforii, szczęścia, odczucia ciągłej radości lepiej wyrazi połączenie „niekończące się święto” niż po prostu słowo „święto”.

Podobnie jak w klasycznej już parze *los – судьба*, opisaney przez Annę Wierzbicką, mamy do czynienia z różnym postrzeganiem konceptu przez użytkowników różnych języków. Anna Wierzbicka badała asocjacje, konotacje, wyobrażenia, składowe komponenty znaczenia na podstawie tekstów literatury pięknej i jednostek systemu języka: frazeologizmów, przysłów, powiedzeń, stałych wyrażen. Dzięki temu zauważyła zależność pomiędzy semantyką, kulturą i myśleniem, uzależniała od tych faktorów kulturowe modyfikacje konceptów¹⁶.

Rzeczywiście, już na podstawie wyżej przytoczonego zdania i jego tłumaczenia możemy wysnuć wniosek, że Polacy traktują święto jako stan zewnętrzny, zdarzenie, które jest miłe, ale krótkotrwałe, w związku z tym, aby opisać stan (względnie) wiecznej szczęśliwości, konieczne jest uzupełnienie o epitet „niekończące się”, dla Rosjan zaś święto jest raczej stanem ducha, postrzeganiem świata przez pryzmat swojego szczęśliwego wnętrza, które nie musi być ograniczone czasowo.

¹³ М.А. Брагина [и др.], op. cit., s. 259.

¹⁴ Д. Донцова, *Покер с акулой*, Москва 2006, s. 210.

¹⁵ D. Doncowa, *Poker z rekinem*, Warszawa 2009, s. 183.

¹⁶ A. Wierzbicka, *Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations*, Oxford University Press, Oxford-New York 1992, s. 96-100, [w:] źródło elektroniczne: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/06/29/1213059486/Put_xb95_1994_x28Sudba_i_predopredeleniex2c_str.82-150x29.pdf.

W istocie zarówno w parze *los / судьба*, jak i w parze *święto / праздник* możemy mówić o różnych obrazach w świadomościach językowych.

Semantyka słów *święto / праздник* nie wykazuje dużych różnic w ich użyciu. Święto, według słowników języka polskiego, oznacza: 1) dzień, zwykle wolny od pracy, obchodzony uroczystością ze względów kulturowych lub państwowych; 2) *przen.* szczególna okazja, ważne wydarzenie¹⁷. Natomiast słowo *праздник* w języku rosyjskim ma następujące znaczenia: 1) день торжества, установленный в честь или в память кого-чего-н.; 2) день или ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного события или святого; 3) выходной, нерабочий день; 4) день радости и торжества по поводу чего-н.; 5) день игр, развлечений¹⁸.

Część skojarzeń, co jest naturalnym procesem asocjacyjnym, odwołuje się do semów słów *święto / праздник* – *выходной* (5), *день* (4), *торжество* (4), *торжества*, *dzień wolny od pracy* (16), *uroczystość* (5), *obchody*.

Znaczeniu „dzień, zwykle wolny od pracy, obchodzony uroczystością ze względów kulturowych lub państwowych” odpowiadają znaczenia „день торжества, установленный в честь или в память кого-чего-н.; день или ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного события или святого; выходной, нерабочий день”. Znaczeniu „szczególna okazja, ważne wydarzenie” odpowiada znaczenie „день радости и торжества по поводу чего-н.” Zauważamy różnicę semantyczną, wynikającą z obecności semów „день игр, развлечений” oraz „день радости” w znaczeniu słowa *праздник*. Semy te rysują inny obraz święta w językowej świadomości – *праздник* w języku rosyjskim kojarzony jest z radością, rozrywką i zabawą, czego nie odnotowują słowniki języka polskiego.

Być może stąd wynika trudność w przytoczonym wyżej tłumaczeniu. W zdaniu *Татьяну окружал праздник* zawarta jest informacja o otaczającej bohaterkę radości, uroczystym nastroju, zabawie, szczęściu. Zdaniu *Tatianę otaczało święto* brakuje tego sensu, sytuacja która jest w nim opisana jest wręcz niezrozumiała i wymaga innego sformułowania.

W pracy *Русский ассоциативный словарь* znajdujemy potwierdzenie wagi tego elementu znaczenia. Słowo *весельи* zajmuje pierwsze miejsce wśród skojarzeń ze słowem *праздник*. Z 654 reakcji na słowo *праздник* dużą grupę (138 reakcji, stanowiących 21% wszystkich skojarzeń) stanowią określenia związane z radością i szczęściem: *веселый* (59), *веселье* (28), *веселья*, *радость* (18), *радости*, *весело* (10), *радостный* (7), *радостный день* (2), *счастье* (7), *веселое настроение*, *улыбки*, *смех*, *смеха*, *счастья*, *веселый всенародный*.

Zupełnie inna hierarchia skojarzeń została odnotowana wśród użytkowników języka polskiego. Na 164 ankietowanych pojawiło się zaledwie 6 od-

¹⁷ *Mały słownik języka polskiego*, Warszawa 1969, s. 817.

¹⁸ С.И. О ж е г о в, *Словарь русского языка*, Москва 1968, s. 567.

powiedzi *radość* i 2 odpowiedzi *zabawa* (co stanowi zaledwie 4% ogółu skojarzeń). W języku rosyjskim zarysowuje się wyraźnie stałość i łączliwość wyrażenia *веселый праздник*, podczas gdy takie wyrażenie w języku polskim (*wesołe święto*) nie przyszło do głowy Polakom. Odnotowujemy natomiast relacje *święto – radość*, *święto – zabawa*, które podkreślają równoległość zjawisk, towarzyszenie sobie. Świętu może towarzyszyć radość i zabawa.

Święta w rosyjskiej świadomości językowej to czas spędzany z rodziną (*дома, в семье*) oraz ze znajomymi i przyjaciółmi. Spotkaniom towarzyszy wręczanie kwiatów, muzyka i śpiew – *встреча, гости, друзья* (2), *цветы* (3), *песни* (2), *цветы и музыка*.

Wśród polskich ankietowanych na pierwsze miejsce wysunęły się skojarzenia związane z rodziną – *rodzina* (20), *czas spędzony w gronie rodziny* (3), *rodzinny obiad*, *rodzinna atmosfera*. Znajomi i przyjaciele nie odgrywają w święcie zbyt dużej roli, odnotowujemy tylko jedno skojarzenie – *odwiedziny*, które przecież może dotyczyć także rodziny.

O zestawie i hierarchii świąt w skojarzeniach zadecydował faktor kulturowo-historyczno-religijny. Jest on odzwierciedlony w sieci skojarzeń. Jak można było się spodziewać, wśród rosyjskich skojarzeń dominuje *Новый Рок*, wśród polskich – *Boże Narodzenie*.

Użytkownicy języka rosyjskiego wymieniają następujące święta i ich atrybuty:

- 1) *Новый год* (37), *новогодний* (6), *фейерверк* (2), *елка; подарок, подарки*,
- 2) *1 Мая* (24), *демонстрация* (9), *Первое мая* (5), *Первомай* (3), *май* (5), *1-е Мая, Первого мая, Первомайский, Первомай, майский, мая, трудящихся, труда* (3),
- 3) *весны* (11), *проводы весны, весна*,
- 4) *Октября* (10), *7 Ноября* (5), *революционный*,
- 5) *8 Марта* (7),
- 6) *день рождения* (5), *юбилей*,
- 7) *9 Мая* (4), *Победы* (4), *победа*,
- 8) *Нептуна* (3),
- 9) *флаги* (3),
- 10) *Рождество* (2),
- 11) *детский* (2),
- 12) *мам, мамы*,
- 13) *знаний* (2), *1 сентября, букваря*,
- 14) *воскресенье*.

Oprócz świąt mających swoje stałe miejsce w kalendarzu Rosjanie wymieniają wiele indywidualnych i grupowych możliwości świętowania i czczenia wydarzeń i zjawisk: *урожая* (3), *города* (2), *любви* (2), *мира* (2), *сердца* (2), *лета* (2), *века*, *искусств*, *моря*, *цветов*, *получка*, *свадьба*, *свадьбы*, *страны*, *улицы*, *церковный*, *солнца*, *семейный*.

Zestaw świąt i ich hierarchia przedstawia się zupełnie inaczej według użytkowników języka polskiego:

- 1) Boże Narodzenie (15), choinka (6), Wigilia (3), prezenty (5), Gwiazdka, śnieg (2), pierogi, Jezus, anioł,
- 2) Wielkanoc (6),
- 3) 11 Listopada (2), Narodowe,
- 4) pracy (2),
- 5) Konstytucji 3 Maja,
- 6) Zmarłych,
- 7) Lijasza,
- 8) Kobiet,
- 9) niedziela.

Na podstawie przedstawionego zestawu skojarzeń zauważamy, że dla Polaków święto jest kojarzone przede wszystkim z dniami oznaczonymi czerwoną kartką w kalendarzu (*niedziela, Boże Narodzenie*). Rosjanie święto pojmują znacznie szerzej. Świętować – czyli specjalnie honorować i uroczystie obchodzić – można prawie wszystko, nawet dzień wypłaty. Polacy nie wymienili wśród świąt dni swoich urodzin i jubileuszy, w rosyjskiej świadomości natomiast swoje święto może mieć ulica, miasto, morze, kwiaty itd.

Na święto Rosjanie czekają z niecierpliwością i zauważają jego przemijanie. Wskazują na to określenia czasownikowe *наступил* (3), *пришел* (2), *прошел* (2), *будем, будет, настал, начался, затянулся, кончился, не будет, окончен, окончился* i przysłówkowe *скоро* (3), *редко, не за горами*.

Wśród polskich asocjacji nie odnotowano słów lub wyrażeń podkreślających oczekiwanie na święta czy wskazujących na krótkotrwałość okresu świątecznego, ale każdy użytkownik języka polskiego zna popularne powiedzenie *święta, święta i po świętach*, wskazujące na istnienie w świadomości Polaków tego przykrego odczucia.

Rosjan święta mogą nastrajać pozytywnie, cieszyć (*удался* (5), *любимый* (3), *светлый* (2), *солнце* (2), *солнечный, хорошо* (2), *замечательный, здорово, красиво, красивый, люблю, отличный, получить удовольствие, хороший, шикарный, прекрасный*), ale mogą też zawieść, nie spełnić oczekiwań świętujących (*грустный* (3), *скучный* (3), *горе* (2), *унылый, пустота, испорченный* (2), *дразнит, дразнить, не удался, неинтересный, ненастье, несчастье, огорчение, одиночество, темно*). W rosyjskiej świadomości językowej odczucia związane ze świętem mogą wywoływać skrajne emocje – od zachwyty (*ура, ура!!!*) do irytacji (*к черту их!*) i negacji (*нет*).

W polskiej świadomości językowej pozytywne i negatywne odczucia nie funkcjonują tak dobitnie, ani ilościowo, ani jakościowo. Pozytywne reakcje – *spokój* (4), *radość* (6), *zabawa* (2), *słodyczne* (2), *lenistwo* – na skali emocji umiejscowione są blisko neutralnych, odnotowujemy tylko dwie negatyw-

ne: *masakra, tłum ludzi*. Przeważają skojarzenia związane z uroczystym nastrojem i zachowaniem tradycji rodzinnych: *rodzina (20), dzień wolny od pracy (16), uroczystość (5), kościół (5), odpoczynek (8), czas spędzony w gronie rodziny (3), dom (2), uczta, obchody, powaga, strój galowy, rodzinna atmosfera, kwiaty, tradycja, odwiedziny*.

Święto w świadomości Rosjan jest nacechowane kolorystycznie. Jest jaskrawe (*яркий (5), яркие краски*) i kojarzy się z kolorem czerwonym (*красный, красное, красный цвет*). Ma to zapewne związek z czerwonymi flagami (*флаги (3)*) niesionymi w czasie pochodów oraz z czerwonymi balonikami kupowanymi dla dzieci (*шарик (2), шарик воздушный*).

Wśród polskich skojarzeń nie odnotowaliśmy barwnych asocjacji, ale można przypuszczać, że dla Polaków święta będą raczej białe.

Święto związane jest z biesiadowaniem. Polacy kojarzyli święta ze słowami: *jedzenie (10), uczta (2), słodycze (2), stół*.

Obraz rosyjskiej uczty uzupełniony jest o dużą dawkę alkoholu: *пьянка (5), выпивка (2), большая пьянка (2), застолье (2), стол (2), бутылка, водка, пьяный, еда, обжорство*. Do tej grupy można najprawdopodobniej zaliczyć asocjację *хороший повод (выпить?)*.

Mimo definicji słownikowych słowa *праздник*, wyodrębniających sem „dzień”, w znaczeniu asocjacyjnym tego słowa wyróżniamy semy związane ze stanem ducha. Świadczą o tym określniki dzierżawcze *наш (3), общий (3), мой (2), для всех, который всегда с тобой, всеобщий, общенародный, с тобой, всегда со мной*, mówiące o towarzyszeniu odczucia święta poszczególnym osobom lub grupom (czy całemu narodowi).

Znamienne są rosyjskie skojarzenia *на душе, душа, от души*, określające siedlisko świątecznych odczuć.

Odwołaniem do frazeologizmu *будет и на моей улице праздник* są skojarzenia *на улице (3), на нашей улице (2), улица (2), на чьей улице*. Wyrażenie to zawiera także komponent semantyczny odczuwania świątecznego nastroju przez jednostki lub grupy, rozprzestrzeniającego się z wnętrza (duszy) na przestrzeń zewnętrzną (por. *праздник на душе* i *праздник на моей улице*). Świąteczne odczucia mają więc możliwość funkcjonowania w przestrzeni prywatnej, intymnej oraz w przestrzeni publicznej, ogólnonarodowej.

Wśród polskich skojarzeń brak odpowiedników odczuwania, przeżywania święta. Sem „święto” jako stan ducha w polskiej świadomości językowej nie istnieje. Dominuje sem „dzień” (wyjątkowy, szczególny, gdy coś czcimy, honorujemy). Świąteczne odczucia funkcjonują raczej w przestrzeni publicznej.

Wśród skojarzeń użytkowników języka rosyjskiego ze słowem *праздник* odnotowujemy antonimiczne *каждый день (16), будни (7)*. Niewykluczne, że takie wyraźne przeciwstawienie wynika z marzenia o zamienieniu każdego dnia na dzień świąteczny.

Opozycja *święto-dzień powszedni* nie została zarejestrowana wśród polskich asocjacji.

Na podstawie przedstawionych charakterystyk skojarzeń zauważamy, że obraz święta w świadomości językowej Polaków i Rosjan nie jest jednakowy.

Праздник jest dniem wesołym, dniem zabaw i uciech. Świętować i honorować można wszystko – kraj, miasto, ulicę, obiekty geograficzne, ludzi. Każdy i wszystko może mieć swój *праздник*. W okresie świątecznym dominuje kolor czerwony. *Праздник* to dobry powód by spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, odwiedzić ich lub samemu przyjąć gości, to również dobry powód do biesiadowania – można się napić i najeść. To dobry powód do libacji alkoholowych. *Праздник* – to czas wolny od pracy, to czas odpoczynku. *Праздник* – to także stan ducha. Można nosić świąteczny nastrój w sobie, może towarzyszyć on konkretnej osobie, może zamieszkać na naszej ulicy i być na wyciągnięcie ręki, obdarzać nadzieją na lepszą przyszłość. *Праздник* – to szczęście, radość, odświętność, które mogą towarzyszyć konkretnemu człowiekowi lub grupie ludzi. Dlatego z niecierpliwością oczekuje się na *праздник*, a on przychodzi i odchodzi, czasami zawodzi oczekiwania, nie udaje się, jest nudny. Przeciwnieństwem *праздника* jest dzień codzienny. Stanem idealnym jest mieć *праздник* codziennie.

Dla Polaków święto to dzień wolny od pracy, spędzany w gronie rodzinnym. Świętowanie to biesiadowanie, nierzadko obżarstwo. Święto ma charakter religijny, idziemy do kościoła, myślimy o Jezusie. Święta dają nam radość, ale emanują powagą, bo są kultywowaniem tradycji, przebywaniem w specyficznej atmosferze. Najważniejsze święto to Boże Narodzenie, które zaczyna się Wigilią. W domach przystraja się choinki, rozdaje się prezenty, je się pierogi i słodycze, siedzi się przy stole i patrzy na śnieg za oknem.

Semantyka i asocjacje słów *święto / праздник* wykazały różnice w ich rozumieniu przez Polaków i Rosjan, ich odmienny obraz w świadomościach językowych. Różnice te powodują, że w rosyjskiej reklamie znacznie częstsze niż w polskiej jest odwołanie się do świąt i świątecznego nastroju¹⁹, a zdania *Татьяну окружал праздник* i *Tatianę otaczało święto* nie przekazują tych samych treści.

Bibliografia

Doncowa D., *Poker z rekinem*, Warszawa 2009.

Józwiak J., *Реализация когнитивных мотивов в русских и польских названиях банковских вкладов*, „Acta Polono-Ruthenica” 2015, t. XX.

Lebda R., *Słownik polskich i serbskich asocjacji jako kulturowy obraz świata*, Kraków 2006.

¹⁹ J. Józwiak, *Реализация когнитивных мотивов в русских и польских названиях банковских вкладов*, „Acta Polono-Ruthenica” 2015, t. XX, s. 197.

Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1969.

W i e r z b i c k a A., *Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations*, Oxford University Press, Oxford–New York 1992, s. 96–100, [w:] źródło elektroniczne: http://ecsocman.hse.ru/data/2010/06/29/1213059486/Put_xb95_1994_x28Sudba_i_predopredeleniex2c_str.82-150x29 (pdf).

Б р а г и н а М.А. [и др.], *Лингвокультуроведческие аспекты формирования языкового сознания иностранных студентов в процессе изучения русского языка. Учебное пособие*, под ред. В.М. Филиппова, Москва 2008.

Г о р о ш к о Е.И., *Языковое сознание: гендерная парадигма*, Москва–Харьков 2003.

Д о н ц о в а Д., *Покер с акулой*, Москва 2006.

Е й г е р Г.В., *Языковое сознание и механизм контроля языковой правильности речи. Тезисы IX Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации „Языковое сознание“*, Москва 1988, s. 59–60.

К и р и л и н а А.В., *Гендерные аспекты языка и коммуникации*. Дисс. ...докт. филол. наук, Москва 2000.

Л е о н т ь е в А.А., *Языковое сознание и образ мира. Тезисы IX Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации „Языковое сознание“*, Москва 1988, s. 105–106.

О ж е г о в С.И., *Словарь русского языка*, Москва 1968.

Русский ассоциативный словарь, под ред. Ю.Н. Караулова, т. I, Москва 2002.

Т а р а с о в Е.Ф., *Межкультурное общение – новая онтология анализа языкового сознания*, [w:] *Этнокультурная специфика языкового сознания*, Москва 1996.

Язык и сознание: парадоксальная рациональность, Москва 1993.

TEATR I DRAMAT ROSYJSKI W POLSKICH BADANIACH
RUSYCYSTYCZNYCH

RUSSIAN THEATRE AND DRAMA IN RUSSIAN STUDIES IN POLAND

WALENTY PIŁAT

ABSTRACT. The article analyzes Polish studies of the Russian theater and drama of the first half of the twentieth century in the context of the Great Theater Reform, written by Katarzyna Osińska, Jadwiga Gracla, Halina Mazurek, Ludwika Mięowska, and others. It is pointed out that the critical works of these Polish scholars bring many important conclusions concerning contemporary dramatic literature in Russia. In the past drama as a literary genre did not attract much attention from Polish Russian scholars, although in recent years the situation has changed. More and more valuable dissertations are being published on this subject.

Walenty Piłat, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn – Polska,
rus.human@uwm.edu.pl

W minionych dekadach dramat jako rodzaj literacki nie cieszył się specjalnym zainteresowaniem polskich rusycystów. Niewątpliwie na uznanie zasługują tu rozprawy René Śliwowskiego. Właściwie był on jednym z nielicznych badaczy (także tłumaczy), którzy poświęcili dramaturgii rosyjskiej wiele swoich prac (głównie dramaturgii Antoniego Czechowa). Jednakże ten stan rzeczy zaczął ulegać powolnym zmianom. Tym bardziej, że polska teoria dramatu zawsze była na najwyższym poziomie i od wielu lat daje wiele prac teoretyczno-literackich poświęconych właśnie tym problemom¹. Rzecz jasna nie chodzi mi tu tylko o rozprawy Stefanii Skwarczyńskiej, Ireny Sławińskiej czy Jana Błońskiego². Dziś to już klasyka. Również w ru-

¹ Zob. np. W. B r u m e r, *Tradycja i styl w teatrze*, Warszawa 1986; *W kręgu socjologii teatru*, pod red. T. Pyzik i E. Udalskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987; G. Z i ó ł k o w s k i, *Teatr Bezpośredni Petera Brooka*, Gdańsk 2000; J. G o t, *Teatr i teatrologia*, Kraków 1994; A. K r a j e w s k a, *Dramat współczesny. Teoria i interpretacja*, Poznań 2005; tejże, *Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego*, Poznań 2004; M. M a s ł o w s k i, *Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego*, Warszawa 1998. Wymieniam tu tylko niektóre prace z tego zakresu. Literatura na te tematy jest oczywiście znacznie bogatsza.

² Zob. I. S ł a w i Ń s k a, *Współczesna refleksja o teatrze*, Kraków 1979; S. S k w a r c z y Ń s k a, *Zagadnienie dramatu*, [w:] *Problemy teorii dramatu i teatru*, pod red. J. Deglera, Wrocław

sycystyce polskiej zaczęły pojawiać się prace, które wzbudziły i nadal wzbudzają duże zainteresowanie. Jeśli chodzi o teatr rosyjski, a zwłaszcza o jego rozwój pod koniec dziewiętnastego i początek dwudziestego wieku, na pewno trzeba tu szczególnie wyróżnić rozprawę Katarzyny Osińskiej³. Badaczka jest autorką wielu prac na temat rosyjskiego teatru dwudziestego wieku, także teatru współczesnego³, ale w niniejszym artykule chciałbym się skoncentrować na rozprawie *Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje. Zerwania. Transformacje*⁴. Jest to bowiem dzieło, w którym Katarzyna Osińska prezentuje bardzo szerokie spojrzenie na różne zjawiska i fakty mające miejsce w pierwszej połowie XX wieku i w latach późniejszych. Nie unika też analiz twórczości wybitnych reżyserów i dramaturgów współczesnych.

Trzeba zgodzić się z Autorką, że:

Dorobek twórców rosyjskich początku XX wieku został (w naszym kraju – przyp. W. P.) wprawdzie przyswojony (choć z dużymi lukami), zwłaszcza w okresie PRL-u, kiedy ukazały się dzieła Konstantego Stanisławskiego, czy przedrewolucyjne pisma Wsiewołoda Meyerholda, wybory pism Jewgienija Wachtangowa i Aleksandra Tairowa... to publikacje książkowe można policzyć na palcach jednej ręki, a do tego mają one przeważnie charakter słownikowy lub popularny⁵.

Z drugiej jednak strony musimy koniecznie pamiętać o licznych rozprawach Haliny Chałacińskiej-Wiertelak⁶, Marii Cymborskiej-Leboda⁷ czy Haliny Mazurek⁸.

Wracając do pracy K. Osińskiej. Swoje rozważania zaczyna Ona od analizy działań teatralnych Wsiewołoda Meyerholda. Szczególną uwagę zwraca na oryginalność jego spojrzenia na teatr w ogóle, preferowanie przez reżysera teatru studyjnego. Zdaniem Uczzonej „w ujęciu Meyerholda celem zakładania studiów (czy też małych teatrów typu Krzywe Zwierciadło)

2003; J. B ł o ń s k i, *Dramat i przestrzeń*, tamże. Ponadto pamiętamy o rozprawach J. Deglera, D. Ratajczak, M. Markiewicza, A. Hutnikiewicza, W. Próchnickiego, M.R. Maye-nowej, J. Abramowskiej, K. Górskiego, E. Kasperskiego i wielu innych teoretyków.

³ Zob. K. O s i ń s k a, *Klasztory i laboratoria*, Wrocław 2003. Ponadto prace takie jak np. *Jewgienij Wachtangow – co zostaje po artyście teatru?* (2008) i wiele in. Badaczka systematycznie publikowała i publikuje artykuły na temat dramaturgii rosyjskiej w czasopiśmie „Dialog”.

⁴ K. O s i ń s k a, *Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje. Zerwania. Transformacje*, Gdańsk 2009.

⁵ Ibidem, s. 8.

⁶ H. Ch a ła c i ń s k a - W i e r t e l a k, *Dramaturgia Leonida Andriejewa 1906–1911. Interpretacje*, Poznań 1980.

⁷ M. C y m b o r s k a - L e b o d a, *Dramaturgia Leonida Andriejewa*, Warszawa 1982.

⁸ *Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność*, pod red. H. Mazurek, Katowice 2000.

było wytworzenie fermentu twórczego..."⁹, chociaż jednocześnie, jak zauważa dalej Autorka, Meyerhold nie wyczuwał tzw. dużego teatru, teatru przeznaczonego dla szerokiej publiczności, poddanego władzy reżysera.

Wiele ciekawych refleksji K. Osińska wypowiada też na temat wykładów reżysera, które wygłosił w Piotrogradzie dla słuchaczy Kursów Instruktorskich. Opublikowano je jednak dopiero w 2001 roku. Słusznie zauważa Badaczka, że:

Lektura tamże wykładów potwierdza nie tylko ogromną erudycję reżysera, ale też jego temperament antropologiczny. Meyerhold był prekursorem dziedziny praktykowanej dziś pod nazwą „antropologia teatru”, która swoje mocne naukowe fundamenty zawdzięcza przede wszystkim pracom prowadzonym i inspirowanym przez Eugenia Barbę¹⁰.

Rzecz jasna, K. Osińska wypowiada cały szereg odkrywczych i głębokich myśli na temat twórczości W. Meyerholda. W niniejszym szkicu oczywiście nie jestem w stanie oddać Jej całego toku rozumowania. Jednakże muszę jeszcze zwrócić uwagę na słuszną uwagę Badaczki, że Meyerhold w swojej działalności przedrewolucyjnej, jak i porewolucyjnej konsekwentnie stał na stanowisku, że „kursy i warsztaty są niezbędne do wytwarzania fermentu twórczego”¹¹, co zresztą niejednokrotnie udowadniał swoimi spektaklami. Jego inscenizacja *Misterium-Buffero* W. Majakowskiego jest tego dobitnym przykładem.

Niewątpliwą zaletą rozprawy K. Osińskiej jest to, że analizując w poszczególnych rozdziałach osiągnięcia wybitnych reżyserów pierwszej połowy XX wieku (Meyerhold, Aleksander Tairow i in.), jednocześnie daje cały szereg uwag na temat twórców lat 20–30-tych oraz współczesnych wybitnych reżyserów (Piotr Fomienko, Lew Dodin, Anatolij Efros, Eduard Koczergin, Anatolij Wasiljew, Igor Popow), dogłębnie analizując ich najwybitniejsze spektakle, umieszczając je w tradycji teatru początków wieku. W ten sposób otrzymujemy pełny obraz działań teatralnych XX wieku.

Jedno jest pewne, erudycyjna rozprawa Katarzyny Osińskiej stanowi niezwykle ważne źródło wiedzy o teatrze rosyjskim XX wieku.

W podobnym polu badawczym utrzymane są też prace młodej katowickiej badaczki — Jadwigi Gracli¹². Nieco więcej uwagi w niniejszym szkicu poświęcę monografii *Dramat wobec sceny. Echa teatru europejskiego w dramaturgii pierwszego trzydziestolecia XX wieku*, gdyż, moim zdaniem, stanowi

⁹ K. O s i ń s k a, *Teatr rosyjski...*, op. cit., s. 16.

¹⁰ Ibidem, s. 139.

¹¹ Ibidem, s. 27.

¹² J. G r a c l a, *Dramaturgia rosyjska przelomu XIX i XX wieku w świetle przemian teatru w Europie*, Katowice 2001; tejsze, *Dramat wobec sceny. Echa teatru europejskiego w dramaturgii pierwszego trzydziestolecia XX wieku*, Katowice 2013.

ona ważny wkład w studia nad Wielką Reformą Teatralną z uwzględnieniem nie tylko dramaturgii rosyjskiej. Sytuuje się ta rozprawa, jak to już zaznaczyłem, w kręgu istniejącej literatury naukowo-krytycznej (K. Braun, K. Osińska), wnosi wiele cennych obserwacji na temat związków dramaturgii pierwszej połowy XX wieku z eksperymentami Wielkiej Reformy Teatru (E.G. Craig, A. Appia, G. Fuchs, Wsiewołod Meyerhold, Jewgienij Wachtangow, Aleksander Tairow, Nikołaj Jewrieinow, Juliusz Osterwa, Erwin Piscator, Max Reinhardt). W polu zainteresowania Badaczki znaleźli się też tacy autorzy jak: Marina Cwietajewa, Wilemir Chlebnikow, Władimir Majakowski, Luigi Pirandello, Franz Werfel, Ernst Toller, Stefan Żeromski, Nikołaj Roerich. Wszyscy oni, zdaniem J. Gracli, mniej lub bardziej świadomie podlegali wpływom Wielkiej Reformy. Szczególnie należy podkreślić fakt, że wiele uwagi J. Gracla poświęca przez lata zapomnianemu Nikołajowi Jewrieinowi, wypowiadając szereg bardzo cennych uwag. Ponadto naukowemu oglądowi poddaje dramaturgię niemieckich autorów – Hugo von Hofmannsthal, Karla Gustava Vollmoellera, z którym, jak pisze Autorka, współpracował Max Reinhardt. Słusznie zauważa Badaczka, że łatwiej jest analizować teksty dramaturgiczne niż interpretować spektakle, przede wszystkim ze względu na pewną ich „ulotność”, niezależnie od tego, że istnieje bibliografia, opisy czy recenzje. Z pewnością dramaturdzy tworzący w czasach Wielkiej Reformy doskonale zdawali sobie sprawę z istnienia „nowego teatru” Reinhardta, Craiga czy Appii i być może dla tego pisali tak, by również ich utwory mogły się wpisać w poszukiwania artystyczne tych inscenizatorów. Zdaniem J. Gracli, przykładem może tu być choćby dramaturgia Mariny Cwietajewej, która wszakże w rozlicznych wypowiedziach z naciskiem podkreślała, że nie ulegała żadnym „izmom”, żadnym trendom swojej epoki (odnosiło się to jednak raczej do poezji). Z kolei, jak podkreśla J. Gracla, Władimir Majakowski pisząc dramat *Misterium-Buffero* wyraźnie skorzystał z nowych tendencji funkcjonujących w ówczesnej sztuce teatru. Inszenizując ten dramat, Wsiewołod Meyerhold, mając na uwadze specyficzne, nieobytego z teatrem widza i chcąc oddziaływać na jego świadomość, wprowadził wiele innowacji (np. elementy cyrku). Jak dalej słusznie zauważa J. Gracla, wystawienie właśnie *Misterium-Buffero* rozpoczyna inny rozdział w historii nowoczesnego dramatu i teatru w Rosji. Sukces tego spektaklu stał się również impulsem dla dalszych prób dramatycznych Majakowskiego. I jednocześnie pozwolił na wykorzystanie w nich nowych, istotnych, celnych i intensywnych chwytów Meyerholda¹³.

Na uwagę zasługują też refleksje i konstatacje J. Gracli na temat twórczości teatralnej Wachtangowa, Tairowa, Craiga i in. Cenne również jest to, że Autorka w kontekście rozważań o Wielkiej Reformie przywołuje twór-

¹³ Ibidem, s. 89.

czość dramaturgiczną Aleksieja Kruczonycha, Aleksandra Błoka, która nieczęsto, zwłaszcza w okresie radzieckim, trafiała na sceny.

Trzeba też zauważyć, że Badaczka w swoich analizach nie ogranicza się tylko do zjawisk występujących w teatrze i dramaturgii rosyjskiej. W polu Jej zainteresowań znalazły się też uwagi na temat twórczości Stefana Żeromskiego, Luigi Pirandello, Augusta Strindberga, Leona Schillera, Konstantego Stanisławskiego, Erwina Piscatora i wielu innych.

W zakończeniu rozprawy J. Gracla chyba słusznie stwierdza, że chociaż Reforma już w latach trzydziestych zarówno w Rosji, jak i w Niemczech umarła śmiercią naturalną, to jednak jej duch ujawnił się w twórczych poszukiwaniach inscenizatorów amerykańskich, czeskich i także polskich. Ma rację J. Gracla, kiedy konstatuje, że: „przemiany teatru, jakie zapoczątkowała i umożliwiła Wielka Reforma Teatru, doprowadziły również do powstania nowocześniejszych sztuk i trendów teatralnych”¹⁴. Przykładem tego, zdaniem Autorki, mogą być chociażby działania Teatru Derevo, czy Doc. Dodam, że nie tylko bowiem spektakle Michaiła Ugarowa, Jewgienija Griszkowca, braci Pozniakowych, Niny Sadur mogą tę myśl w pełni potwierdzać.

Kiedy mówimy o polskich badaniach rusycystycznych dramatu rosyjskiego, nie możemy pominąć cennych prac opublikowanych przez Uniwersytet Śląski, szczególnie zaś działań w tym zakresie Haliny Mazurek. Początkowo Profesor H. Mazurek zajmowała się dramaturgią doby Oświecenia¹⁵, potem zainteresowała się twórczością dramaturgiczną pierwszej połowy XX wieku¹⁶, by wreszcie całkowicie poświęcić swoje prace najnowszej dramaturgii rosyjskiej. Efektem tego była Jej rozprawa o dramaturgii Nikołaja Kolady, autora, który dziś stanowi wizytówkę najnowszej twórczości dramaturgicznej i który we współczesnym teatrze rosyjskim zajmuje eksponowane miejsce¹⁷. Przedtem zredagowała pracę zbiorową *Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność*¹⁸, gdzie między innymi publikują swoje prace Maria Cymborska-Leboda (o dramaturgii rosyjskich symbolistów), Justyna Tymieniecka-Suchanek (o dramaturgii W. Briusowa), J. Gracla (o dramaturgii A. Błoka), Anna Gildner (o twórczości Nikołaja Rericha), Katarzyna Duda (o próbach dramaturgicznych Jewgienija Zamiatina), Ewa Korpała-

¹⁴ Ibidem, s. 186.

¹⁵ Zob. H. M a z u r e k, *Dramat rosyjski epoki Oświecenia*, Katowice 1989; tejsze, *Kształt artystyczny jednoaktówek Mikołaja Chmielnickiego*, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, Katowice 1987, nr 10.

¹⁶ H. M a z u r e k, *Dramaturgia Nikołaja Gumilowa*, [w:] *Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo*, pod red. P. Fasta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1996.

¹⁷ H. M a z u r e k, *Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie dramaturgicznym Nikołaja Kolady*, Katowice 2002.

¹⁸ *Dramat rosyjski...*, op. cit.

Kirszak (o zapomnianym dramacie Jurija Tynianowa), Zygmunt Zbyrowski (o Pasternaku jako o dramaturgu), Agnieszka Lubomira Piotrowska (o sztuce A. Wołodina *Matka Jezusa*), Lidia Głomb (o eksperymentach Aleksieja Szypienko).

Wracając jednak do studium o dramaturgii Nikołaja Kolady. Już na wstępie należałoby stwierdzić, że jest to pierwsza i pionierska praca o twórczości tego, dziś znanego nie tylko w Rosji, dramaturga. Jak pisze H. Mazurek:

Popularność Kolady mierzy się jego stałą i czynną obecnością w życiu literackim i teatralnym Rosji. Chodzi tu w głównej mierze o niesłabnące zainteresowanie teatrów inscenizacjami jego coraz to nowych dramatów, o uczestnictwo samego pisarza w realizacjach scenicznych własnych sztuk i o niezwykłą wręcz aktywność krytyków, która nigdy nie pozostaje obojętna wobec prowokacyjnej twórczości Kolady¹⁹.

Rozprawa H. Mazurek dotyczy przede wszystkim takich problemów jak maska i gra w twórczości Kolady, gier językowych, gry z cudzym tekstem, interpretacji postkomunistycznej rzeczywistości i usytuowania młodego pokolenia w warunkach transformacji. Jak podkreśla Autorka, sztuk Kolady nie należy interpretować wyłącznie jako scenek określanych popularną formułą „samo życie”, jednakże zdaniem Autorki „zawierają one kawałek prawdziwego życia”²⁰.

Kolada zadebiutował w latach osiemdziesiątych, czyli w tzw. czasach, mówiąc metaforycznie, „burzy i naporu”. Już pierwsze jego utwory spotkały się ze zdecydowaną krytyką wtedy jeszcze oficjalnych notabli teatralnych (przede wszystkim ze względu na nienormatywną leksykę, niezwykłych bohaterów, których trudno było wpisać w „cudowną” rzeczywistość radziecką)²¹. Proponował nowe sposoby interpretacji gnuśnych realiów radzieckich, ale też i krytycznie ustosunkowywał się do „popieriestrojkowych” hura- optymizmów.

Dodam, że H. Mazurek jest także autorką monografii o dramaturgii Mariny Cwietajewej²².

Rozprawa H. Mazurek o dramaturgii N. Kolady, jak to już zaznaczyłem, jest wnikliwym i profesjonalnym studium o mistrzostwie i roli tego dramaturga we współczesnym rosyjskim procesie literackim.

Драматургия Коляды — пишет Н. Mazurek — не принадлежит к творениям стереотипным и малозначительным, это явление необыкновенное и вызыва-

¹⁹ H. M a z u r e k, *Teatr, życie, gra...*, op. cit., s. 9.

²⁰ Ibidem, s. 143.

²¹ Zob. W. P i ł a t, *Nikołaja Kolady „ekstrawagancje” w najnowszej dramaturgii rosyjskiej*, „Przegląd Rusycystyczny” 1995, nr 3-4.

²² H. M a z u r e k, *Róża i płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej*, Katowice 2009.

ющее разногласие. Она говорит о современном человеке, его одиночестве, затерянности, беспомощности, его жалком существовании, отчаянных поисках родной души и безуспешном ожидании, чтобы быть замеченным²³.

Nikołaj Kolada od kilku lat w Jekaterynburgu prowadzi Studium Dramaturgiczne, publikuje sztuki swoich młodszych uczniów. Niektórzy z nich, jak Oleg Bogajew czy Wasilij Sigarijew, zaistnieli już nie tylko na scenach rosyjskich, ale i w wielu krajach Europy. Halina Mazurek, kontynuując swoje badania, również i tym młodym autorom poświęciła swoją kolejną pracę²⁴. Skoncentrowała się tu głównie na sztukach Olega Bogajewa, Tatiany Filatowej, Wasilija Sigariewa, Nadieždy Kołtyszewej, Natalii Małaszenko oraz Olgi Bieriesniewej i Anny Bogaczowej. Autorka pisze:

Jeśli chodzi o „szkołę” Kolady, to stała się ona już dawno faktem i w najnowszej dramaturgii rosyjskiej wysuwa się zdecydowanie na czoło. Może być drogowskazem i dobrym przykładem pod każdym względem²⁵.

Rzecz jasna, zaprezentowani przez H. Mazurek dramaturdzy hołdują różnym sposobom przedstawiania aktualnej rzeczywistości. Najczęściej, jak pisze Autorka, występuje w nich opozycja światła i mroku, nocy i dnia, świtu i zmierzchu, jawy i snu, rzeczywistości realnej i wyobrazeniowej, prawdy i kłamstwa, dobra i zła, świata wewnętrznego i zewnętrznego, szarej codzienności i tajemnicy (s. 76).

Nie wnikając w szczegóły, dodam tylko, że praca o „szkole” Nikołaja Kolady była pierwszą rozprawą w Polsce na ten temat. Dzięki temu odbiorca polski uzyskał możliwość poznania swojego rodzaju fenomenu we współczesnej dramaturgii rosyjskiej, jakim była i jest działalność N. Kolady w promowaniu twórczości młodych utalentowanych autorów. Dodam, że H. Mazurek jest także autorką licznych artykułów, esejów i recenzji na ten i inne tematy dotyczące współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Jest także promotorką doktoratów młodych badaczy z ośrodka katowickiego. Wymownym tego przykładem jest twórczość naukowa Lidii Mięśowskiej²⁶. To młoda, aczkolwiek niezwykle utalentowana badaczka, która doskonale zna analizowany materiał i formułuje odkrywcze i w pełni uzasadnione konkluzje. Jej monografia *Gra-nie w postmodernizm* stanowi doskonałe źródło wiedzy o procesach, metaforach we współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Autorka przywołuje tu niemal wszystkich współczesnych dramaturgów,

²³ H. M a z u r e k, *Teatr, życie, gra...*, op. cit., s. 152.

²⁴ H. M a z u r e k, *Dramaturgia z Jekaterynburga. „Szkoła” Nikołaja Kolady*, Katowice 2007.

²⁵ Ibidem, s. 162.

²⁶ L. M i ę s o w s k a, *Gra-nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku*, Katowice 2007.

postrzegając ich twórczość w kontekście postmodernistycznych eksperymentów. To wartościowa i inspirująca praca, stanowiąca doskonały przykład analizy procesów mających miejsce we współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Badaczka kontynuuje swoje badania. Pod Jej redakcją ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Rusycystycznego” (2015) w całości poświęcony najnowszej dramaturgii rosyjskiej²⁷. Znajdujemy tu między innymi artykuły Grażyny Bobilewicz (o sztukach Władimira Pankowa), Swietłany Gonczarowej-Grabowskiej (o czasoprzestrzeni w dramacie XX wieku), Walentego Piłata (o „szkole” Nikołaja Kolady), Olgi Bogdasarian (o dramatach Pawła Priażki), Lidii Mięrowskiej (o przestrzeni w najnowszym dramacie rosyjskim), Anny Tyki (o sztukach Priesniakowa). Słusznie zauważa L. Mięrowska, że:

Współczesny dramat i teatr rosyjski rozwija się pod hasłem nieustających przemian gatunkowych i tworzenia różnych form scenicznych wykorzystujących wpływy współczesnej kultury zachodniej i aktualizujących elementy rosyjskiej tradycji teatralnej i awangardy XX w.²⁸

Monografia L. Mięrowskiej i Jej liczne artykuły naukowe świadczą o tym, że oto w rusycystyce polskiej pojawiła się badaczka, która wiele jeszcze zrobi w dziele naukowego oglądu i popularyzacji najnowszej dramaturgii rosyjskiej w naszym kraju.

Na zakończenie dodam, że w ostatnich latach ukazało się jeszcze kilka wartościowych prac o tejże dramaturgii. Mam tu na myśli tom artykułów wydanych przez Uniwersytet Łódzki²⁹, monografie Beaty Waligórskiej-Olejniczak³⁰, Jarosława Strycharskiego³¹. Nieskromnie wspomnę o swoich trzech monografiach na te tematy i około pięćdziesięciu artykułach³².

Krótko podsumowując. Jak już wcześniej wspomniałem, dramaturgia w minionych latach nie cieszyła się specjalnym zainteresowaniem. Ostatnie jednak dekady wskazują, że ten rodzaj literacki staje się przedmiotem badań wielu kompetentnych polskich rusycystów.

²⁷ „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 1.

²⁸ Ibidem, s. 5.

²⁹ *Współczesny dramat rosyjski: kontynuacje i przemiany*, pod red. O. Główko i M. Leyko, Łódź 2013. „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 1.

³⁰ B. W a l i g ó r s k a - O l e j n i c z a k, *Sceniczny gest w sztuce A.P. Czechowa „Mewa” i taniec wyzwolony jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej*, Poznań 2009.

³¹ Я. С т р ы х а р с к и й, *Социокультурное пространство уральской драмы. На материале произведений Н. Коляды, О. Богаева, В. Сигарева*, Olsztyn 2011.

³² W. P i ł a t, *Twórczość Aleksandra Wampitłowa. Z zagadnień poetyki*, Olsztyn 1986; *Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte*, Olsztyn 1995; *Na progu XXI wieku. Szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej*, Olsztyn 2000.

Bibliografia

- Brumer W., *Tradycja i styl w teatrze*, Warszawa 1986.
- Chałacińska - Wiertelak H., *Dramaturgia Leonida Andriejewa 1906–1911. Interpretacje*, Poznań 1980.
- Cymborska - Lebocka M., *Dramaturgia Leonida Andriejewa*, Warszawa 1982.
- Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność*, pod red. H. Mazurek, Katowice 2000.
- Got J., *Teatr i teatrologia*, Kraków 1994.
- Gracla J., *Dramat wobec sceny. Echa teatru europejskiego w dramaturgii pierwszego trzydziestolecia XX wieku*, Katowice 2013.
- Gracla J., *Dramaturgia rosyjska przełomu XIX i XX wieku w świetle przemian teatru w Europie*, Katowice 2001.
- Krajewska A., *Dramat współczesny. Teoria i interpretacja*, Poznań 2005.
- Krajewska A., *Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego*, Poznań 2004.
- Masłowski M., *Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego*, Warszawa 1998.
- Mazurek H., *Dramat rosyjski epoki Oświecenia*, Katowice 1989.
- Mazurek H., *Dramaturgia Nikołaja Gumilowa*, [w:] *Pisarze nowi, zapomniani i odkrywani na nowo*, pod red. P. Fausta i A. Skotnickiej-Maj, Katowice 1996.
- Mazurek H., *Dramaturgia z Jekaterynburga. „Szkoła” Nikołaja Kolady*, Katowice 2007.
- Mazurek H., *Kształt artystyczny jednoaktówek Nikołaja Chmielnickiego*, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”, Katowice 1987, nr 10.
- Mazurek H., *Róża i płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej*, Katowice 2009.
- Mazurek H., *Teatr, życie, gra. Studia o pisarstwie dramaturgicznym Nikołaja Kolady*, Katowice 2002. *Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność*, Katowice 2000.
- Mięsowska L., *Gra-nie w postmodernizmie. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku*, Katowice 2007.
- Na progu XXI wieku. Szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej*, Olsztyn 2000.
- Osińska K., *Klasztory i laboratoria*, Wrocław 2003.
- Osińska K., *Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje. Zerwania. Transformacje*, Gdańsk 2009.
- Piłat W., *Nikołaja Kolady „ekstrawagancje” w najnowszej dramaturgii rosyjskiej*, „Przegląd Rusycystyczny” 1995, nr 3–4.
- Piłat W., *Twórczość Aleksandra Wampitowa. Z zagadnień poetyki*, Olsztyn 1986.
- Skwarczyńska S., *Zagadnienie dramatu*, [w:] *Problemy teorii dramatu i teatru*, pod red. J. Deglera, Wrocław 2003.
- Sławińska I., *Współczesna refleksja o teatrze*, Kraków 1979.
- Стрыхарский Я., *Социокультурное пространство уральской драмы. На материале произведений Н. Коляды, О. Богаева, В. Сугарева*, Olsztyn 2011.
- W kręgu socjologii teatru*, pod red. T. Pyzik i E. Udalskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987.

Waligórska-Olejniczak B., *Sceniczny gest w sztuce A.P. Czechowa „Mewa” i taniec wyzwolony jako estetyczny kontekst Wielkiej Reformy Teatralnej*, Poznań 2009.

Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte, Olsztyn 1995.

Współczesny dramat rosyjski: kontynuacje i przemiany, pod red. O. Główko i M. Leyko, Łódź 2013.

Ziółkowski G., *Teatr Bezpośredni Petera Brooka*, Gdańsk 2000.

WOJENNA PROZA WIKTORA ASTAFIEWA
A PROBLEM NIENAWIŚCI I PRZEBACZENIA

VIKTOR ASTAFIEV' S WAR PROSE
AND THE PROBLEM OF HATRED AND FORGIVENESS

WAWRZYNIEC POPIEL-MACHNICKI

ABSTRACT. Viktor Astafyev was an outstanding Russian writer and a representative of "village prose". In his oeuvre, along with works on the question of "man and nature", we may find numerous important works concerning the subject of war. Astafyev fought in WWII, which left him with some unhealed wounds. In his novels about this 'Great Patriotic War', the dominating pacifist humanism triggered the first depiction of German soldiers through the prism of Christian mercy in Russian literature. The attempt to analyze the novel *The Cursed and the Slain* is very relevant in light of our present reality, full of news of new military conflicts, including that in eastern Ukraine.

Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Poznań – Polska, wawerpma@amu.edu.pl

II wojna światowa, jak mogłoby się wydawać, powinna stać się ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń, mówiącym o tym, do czego doprowadza rozwiązywanie wszelkiego rodzaju problemów społeczno-politycznych w oparciu o metody siłowe. Jednak jak pokazała historia, od 1945 roku nie było ani jednego dnia na naszym globie, żeby w różnych częściach świata nie dochodziło do militarnych konfliktów. Mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej spoglądali na nie jak na zjawiska nie do końca realne, egzotyczne, oddalone, które nie mogą dotknąć ich bezpośrednio. Paradoksalnie efekt powojennego podziału Europy na dwa przeciwne obozy polityczne, pomiędzy którymi trwała ciągła zimna wojna, zakonserwował sytuację polityczno-militarną tej części świata i nigdy nie przekształcił się w realną, gorącą wojnę. Dla kolejnych pokoleń Europy Środkowo-Wschodniej wojna wciąż kojarzyła się z II wojną światową albo z Wielką Wojną Ojczyźnianą, jak nazywają ją Rosjanie, o której przez całe lata opowiadała literatura piękna, filmy, literatura faktu.

Obywatele krajów demokracji ludowej nie dopuszczali do siebie myśli, żeby jakikolwiek konflikt zbrojny rozgorzał blisko ich domów, a zwłaszcza pomiędzy bratnimi narodami, za które uchodziły społeczeństwa tzw. bloku wschodniego. Pierwszym poważnym ostrzeżeniem podważającym te optymistyczne założenia była wojna, która na początku lat 90. minionego wieku

doprowadziła do podziału dawnej Jugosławii. Prawdziwym jednak szokiem był wybuch krwawego starcia pomiędzy Rosją a Ukrainą, których narody od wieków uchodziły za bratnie, najsilniej powiązane historycznie i kulturowo. Trudno uwierzyć, że ten konflikt rozgorzał pomiędzy ludźmi, z których wielu ramię w ramię doszło w 1945 roku do Berlina, o czym przez całe dziesięciolecie nie dawała zapomnieć radziecka proza wojenna. Niestety to nie zwykli ludzie decydują o wojnach, lecz politycy i różnej maści decydenci, którzy sprawiają wrażenie, że literatura piękna jest im obca i zupełnie niepotrzebna. Jeśli jest tak w rzeczywistości, to jest to pesymistyczna diagnoza. Lektura wielu książek o II wojnie światowej, a zwłaszcza autobiograficznych wspomnień, obnażających okropności tamtych wydarzeń, pozwoliłyby, być może, na większą refleksję i ostrożność przy podejmowaniu decyzji, mających bezpośredni wpływ na losy tysięcy, a nawet milionów ludzkich istnień.

Doskonałym przykładem takiej cennej lektury jest twórczość przedstawiciela tzw. rosyjskiej prozy wiejskiej, prozaika wywodzącego się z kręgu pisarzy syberyjskich, Wiktora Astafiewa (1924–2001). W swojej twórczości, obok utworów poświęconych wsi rosyjskiej i nierozzerwalnym więzom łączącym człowieka z przyrodą, autor *Царь рыбы* (1976) (*Królowa ryb* – 1980) zawsze pisał o wojnie. O rosyjskiej prozie wojennej, która stanowiła ważny element realizmu socjalistycznego, prozaik niejednokrotnie mówił, że reprezentują ją przede wszystkim byli żołnierze, prawdziwi „wojacy”, którym wejście na salony literackie przychodziło z trudem, ale wspólnymi siłami, połączeni braterską chęcią podzielenia się wspomnieniami o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej dopięli oni jednego – nakreślili obraz wojny według schematu: my dobrzy, oni źli¹.

Ponieważ Astafiew sam był uczestnikiem wojny i jej opisy były wynikiem osobistych doświadczeń, analiza jego wojennej twórczości uwzględniać powinna jego biografię. Taki sposób odczytania książek Astafiewa pozwala lepiej odszyfrować problematykę i zawarte w treści idee przyświecające autorowi. Daje on zarazem możliwość poznania nie tylko indywidualnych cech światopoglądu autora, ale całego szeregu archetypów dotyczących rosyjskiego i w ogóle ogólnoludzkiego podświadomego myślenia. Wanda Supa podkreśla, że „powieściowe zachowanie postaci” syberyjskiego prozaika pozwala „uwzględnić inspiracje behawioryzmu”².

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że Astafiew zaproponował inny model wojennej literatury, model oparty na pacyfistycznym ukierunkowaniu, co rozdrażniło radziecką krytykę literacką, niegotową na przyjęcie poglądów pisarza, że każda wojna jest przerażająca, przeciwna

¹ Zob.: В. П. Астафьев, *Собрание сочинений в 15 томах*, т. 8, Красноярск 1997, s. 166.

² W. S u p a, *Biblia a współczesna proza rosyjska*, Białystok 2006, s. 210.

naturze człowieka. Astafiewowski pacyfizm godził w panujące w radzieckiej polityce doktrynerskie stanowisko, że każdą wojnę można uznać za sprawiedliwą i niesprawiedliwą. Jak podkreśla polski badacz Aleksander Wawrzyńczak, autor *Пастуха и пастырку* (1967) (*Pasterz i pasterka* – 1979) chciał pokazać nie bohaterski, a tragiczny obraz wojny³, co doprowadziło do tego, że prozaik dosłużył się nawet miana pisarza kontrowersyjnego, wrogo nastawionego do historii swojego narodu. Taką ocenę wystawili mu zwłaszcza radzieccy kombataneci, którzy nie mogli pogodzić się z próbą odbrązowienia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Osądzali pisarza, piętnowali go, pouczali, żeby w końcu zacząć mu nawet grozić wydłubaniem jedyne go ocalałego po odniesionych ranach oka. Pisali do niego listy w imieniu całego narodu, obiecując mu przebicie osinowym kołkiem⁴. Jak zauważa Alicja Wołodźko-Butkiewicz, nie do końca przychylną ocenę wystawili Astafiewowi również „krytycy liberalni i literaci nurtu postmodernistycznego”, którzy „uważają go za tradycjonalistę, epigona realizmu krytycznego, uprawiającego niemodne już moralizatorstwo”⁵.

Pierwszymi książkami Astafiewa o tematyce wojennej były: *Звездонад* (1960) (*Pora spadających gwiazd i inne opowiadania* – 1961), nowela *Ясным ли днем* (1967) (*Czy w jasny dzień* – [w:] *Antologia opowiadań radzieckich* – 1977) oraz nazwana przez autora współczesną pastoralką książka *Pasterz i pasterka*, które to utwory pozwalają dostrzec mistrzowskie połączenie prozy wiejskiej z prozą wojenną i wypływający z tego połączenia moralno-etyczny światopogląd autora, oceniającego udział Rosji w II wojnie światowej. Należy zaznaczyć, że Astafiew, podkreślający na każdym kroku niepodważalny związek z wiejską kulturą i tradycją chrześcijańskiej religii, wykorzystał to w interpretacji wojennej historii. W *Pasterzu i pasterce* wojna pokazana została jako wydarzenie apokaliptyczne, łamiące podstawy wiary, czyli przykazania Boże. Syberyjski prozaik stara się, jak to słusznie zauważył Walentin Kurbatow, przeciwstawić wojnie żywioł życia i płynące z niego takie wartości jak miłość, chęć tworzenia i pracy, konieczność kultywowania wiary, która jest niezwykle ważna, chociażby dla żołnierza postawionego w obliczu śmierci⁶. Podstawą tego utworu była chęć pokazania przez Astafiewa harmonii życia i witalności, w które bezpardonowo wkroczyła

³ Zob.: A. W a w r z y ń c z a k, *Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego”*, Kraków 2005, s. 33.

⁴ Zob.: A. T a p a c o w, *Антисоветское. Как травили Виктора Астафьева*, „Новая газета”, Москва 5 октября 2009, № 110, [w:] źródło elektroniczne: http://www.solovki.ca/writers_023/023_03.php (22.09.2015).

⁵ A. W o ł o d ź k o - B u t k i e w i c z, *Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej*, Warszawa 2004, s. 75.

⁶ Por.: В. Я. К у р б а т о в, *Жизнь на миру*, В. П. Астафьев, [w:] tegoż, *Собрание сочинений в 6-и томах*, т. 1, Москва 1991, s. 18.

wojna. I robi to bardzo obrazowo, jak twierdzi Anna Skotnicka-Maj, która podkreśla celowe epatowanie przez autora okrucieństwem w opisywanych scenach⁷. Wojna w *Pasterzu i pasterce* to ryk, huk wystrzałów, wstrząsy ziemi wywołane artyleryjską kanonadą, przekleństwa mieszające się z krzykiem rannych i strach przed śmiercią, która zbiera swoje żniwo po obydwu stronach okopów, nie wybierając, kto jest swój, a kto nieprzyjaciel. Obrazy wojny, kreślone wprawną ręką Astafiewa, mają nasuwać na myśl biblijne sceny końca świata. Dla przykładu prozaik odwołuje się do eschatologicznych scen z Apokalipsy św. Jana, gdzie epizod z płonącym niemieckim żołnierzem miał przypominać ognistego anioła śmierci. Takie metaforyczne porównania pozwoliły Alle Bolszakowej nazwać metodę twórczą Astafiewa „symbolicznym realizmem”⁸. Według wspomnianego Wawrzyńczaka utwory Astafiewa weszły do kanonu prozy tzw. prawdy okopów, pokazując w sposób realistyczny (aczkolwiek podszyty symboliczno-religijnym znaczeniem, o czym mowa była wyżej – przyp. W. P.-M.) okrutne obrazy wojny, która okalecza psychikę walczących żołnierzy⁹.

Astafiew od samego początku swoich literackich prób związanych z tematyką wojenną wiedział, że najważniejsza dla niego będzie deheroi-zacja i ściągnięcie romantycznej aureoli z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W 1951 roku napisał opowiadanie *Cywil* (*Гражданский человек*), w którym głównego bohatera Motę Sawincewa przedstawił jako zwykłego człowieka, cywila, który zmuszony został stać się żołnierzem. I to stawanie się żołnierzem pozbawione zostało tak typowej dla literatury socrealizmu pompacyjności i patosu. Sawincew nie urodził się, żeby być dziarskim wojakiem, był zwykłym syberyjskim chłopem, stworzonym do zwykłego życia na wsi. Taki sposób odbrażawiania wszelkich epizodów związanych z tematyką wojenną stał się dla Astafiewa jego podstawą twórczą.

Na początku lat 90. minionego wieku pisarz sfinalizował swoje główne dzieło o wojnie – powieść *Przeklęci i zabici* (*Прокляты и убиты*). W 1992 roku w czasopiśmie „Новый мир” opublikowana została pierwsza część powieści – *Czarcia jama* (*Чертובה яма*), a w 1994 roku pojawiła się druga część – *Przyczółek* (*Плацдарм*). W książce cały swój przepojony chrześcijańską wiarą światopogląd i płynącą z niego ocenę II wojny światowej Astafiew zaprezentował poprzez kreację szeregu pozytywnych bohaterów, spośród których na szczególną uwagę zasługuje staroobrzędowiec Nikołaj Ryndin, przedstawiciel inteligencji Aszot Wartanian czy dbający o swoich podko-

⁷ Zob.: A. Skotnicka-Maj, *Model prozy „innej” w literaturze rosyjskiej po 1985 roku*, Wrocław 2001, s. 78.

⁸ Zob.: А.Ю. Б о л ь ш а к о в а, *Русская деревенская проза XX века: код прочтения*, Шумен 2002, s. 76.

⁹ Zob.: A. Wawrzyńczak, op. cit., s. 116.

mendnych lejtnant Szczuś. W literaturze rosyjskiej jest to zapewne unikatowa książka, w której narratorem stał się nie były oficer polityczny, nie porucznik-dowódca batalionu, lecz zwykły szeregowy żołnierz, który, jak to ujął Paweł Basiński, walczył na pierwszej linii frontu, przeżył, wrócił do domu i nie myślał, że zostanie pisarzem¹⁰.

Bardzo trafnie ocenił powieść Astafiewa Naum Lejderman, który nie tylko dostrzegł w niej literacko-twórcze podsumowanie wieloletnich rozważań pisarza o takich problemach jak bohaterstwo, deheroizacja, pacyfizm, ale również zauważył, że autor *Przeklętych i zabitych* nie ograniczył się do opisu wojny z perspektywy batalistycznej, podkreślając przede wszystkim ciężką pracę na rzecz frontu i niewyobrażalnie trudne warunki egzystencji. Dla krytyka niezwykle ważnym okazało się również to, że utwór rosyjskiego prozaika okazał się nie tylko historycznym wspomnieniem, ale także uniwersalną pozycją o czasach teraźniejszych i pouczającą lekcją na przyszłość¹¹.

Z powieści Astafiewa płynnie niespotykany w radzieckich książkach o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej humanizm. Wojna jest postrzegana przez pisarza jako wielkie przestępstwo przeciwko ludzkości, które popełniane jest niestety zgodnie z wolą człowieka. Śmierć i niezabliźnione rany można odebrać jako swoisty odwet samej wojny przeciwko samemu człowiekowi, za to, że sprzeniewierzył się on wysokim wartościom, do których został stworzony. W takim pojmowaniu wojennej tragedii Astafiew nie chce wskazywać jednego winnego. Jak słusznie skomentował to Konstantin Azadowski, autor *Кражи* (1966) (*Kradzież* – 1988) zrezygnował z pokazywania Niemców jako okrutnych wrogów na tle bezsprzecznie uczciwych i dobrych radzieckich żołnierzy. Odrzucając sformatowany przez propagandę stosunek do niemieckiego żołnierza, prozaik zaczął widzieć w nim nie wroga, ale człowieka¹². Taki punkt widzenia został w Rosji odebrany jako próba wręcz wrogiego przeinaczania historii. Na ataki komunistów i przedstawicieli organizacji nacjonalistycznych Astafiew odpowiedział listem, w którym podkreślił, że to

не Вы, не я и не армия победили фашизм, а народ наш многострадальный. Это в его крови утопили фашизм, забросали врага трупами¹³.

¹⁰ Por.: П. Б а с и н с к и й, *Контуженная муза. О Викторе Астафьеве*, [w:] źródło elektroniczne: http://www.rp-net.ru/book/premia/2009/basinskiy.php?sphrase_id=76445 (23.09.2015).

¹¹ Zob.: Н. Л е й д е р м а н, *Парадоксы коммунального сознания. (О романе В. Астафьева „Прокляты и убиты“)*, „Урал” 1994, № 2–3, s. 280.

¹² Zob.: К. А з а д о в с к и й, *Переписка из двух углов империи*, [w:] źródło elektroniczne: <http://magazines.russ.ru/voplit/2003/5/azadov.html> (23.09.2015).

¹³ В. А с т а ф ь е в, *Письма о войне, правде о ней и цене Победы*, [w:] źródło elektroniczne: <http://lazarev35.webtm.ru/?p=786> (23.09.2015): „to nie Wy, nie ja i nie armia

Opisując koszmar wojny, Astafiew zwrócił uwagę na to, że było to starcie dwóch wojennych maszyn, dwóch ideologii – stalinizmu i hitleryzmu, a biorący w tym starciu udział zwykli szeregowi żołnierze muszą zostać ukazani tylko jako tragiczne ofiary. Takie niezwykle rzadkie w rosyjskiej literaturze podejście do tego problemu (choć temat ten starali się podejmować Jurij Bondariew, Georgij Bakłanow, Bułat Okudźawa czy Wasyl Bykau) pozwala zinterpretować powieść, jak słusznie sądzi Wanda Supa, z pozycji chrześcijańskiej aksjologii. W treść *Przeklętych i zabitych* wpisana została bezpardonowa krytyka sowieckiej władzy i wszelkiego rodzaju wojen, czemu pisarz przeciwstawił chrześcijańskie ideały, mówiące o szanowaniu bliźniego, o konieczności przebaczenia, o pokucie¹⁴. Tak samo sądzi Wołodźko-Butkiewicz, która podkreśla:

podobnie jak inni rosyjscy pisarze moralisci – Aleksander Sołżenicyn i Władimir Maksimow – Astafiew szuka ratunku w chrześcijaństwie, w Bogu, choć, jak sam powiada, był za młodu „ateistą-bezbożnikiem”¹⁵.

Opisy wojny w powieści odarte zostały z aureoli chwały, blichtru poloty i dźwięków pompacyjnej muzyki. Astafiewowski wojenny pejzaż przesiąknięty został krwią, cierpieniem i strachem przed śmiercią. Cierpiąc z powodu ataku krytyki, pisarz na spotkaniach z czytelnikami mówił: „Я не буду врать о войне. Я был именно на такой войне. На войне было такое, чего вообще быть не может”¹⁶. Pisarz doskonale wiedział, prowadząc korespondencję z takimi jak on, byłymi uczestnikami wojennych wydarzeń, że dzielają oni jego punkt widzenia. Wiedział też, że krytyka atakuje go z powodów koniunkturalnych i politycznych, nie mogąc przyjąć przepojonego chrześcijańską myślą osądu o nie tak odległej historii. W *Przeklętych i zabitych* pojawił się mianowicie wcześniej niespotykany wątek mówiący o sowieckiej Rosji jako o państwie ateistycznym, które wysyłając żołnierzy na front, pozbawiło ich możliwości duchowego ukojenia w modlitwie. Syberyjski prozaik zdawał sobie sprawę z faktu, że wiara w Boga jest niezwykle ważna, gdyż wywodzi się z tradycji i podświadomej psychiki człowieka. Dobrym przykładem tego byli ci, którzy w momentach trwogi szukali wsparcia w modlitwie, chociaż wielu nie wiedziało jak to się robi. Pisarz porównuje radzieckich żołnierzy do żołnierzy carskiej Rosji, którzy mieli prawo otwarcie wierzyć w Boga, mając nadzieję na Jego obronę i błogosła-

pokonały faszyzm, lecz lud, który musiał wiele wycierpieć. To w jego krwi utopiono faszyzm, zarzucając wroga trupami” (tłumaczenie moje – W. P.-M.).

¹⁴ W. Supa, op. cit., s. 208.

¹⁵ A. Wołodźko-Butkiewicz, op. cit., s. 81.

¹⁶ Н. Щедрина, У нее был свой Астафьев, „День и ночь” 2014, № 2, [w:] źródło elektroniczne: <http://magazines.russ.ru/din/2014/2/18sch-pr.html> (22.09.2015): „Nie będę kłamać o wojnie. Ja byłem właśnie na takiej wojnie. Na wojnie działy się takie rzeczy, jakie w ogóle dziać się nie powinny” (tłumaczenie moje – W. P.-M.).

wieństwo. Ważnym aspektem poruszonym w tym kontekście jest również to, że Astafiew mówi o żołnierzach, którzy przed wyruszeniem na front przeszli trudną szkołę życia w koszarach, w „wojskowym czyścicu” pod Berdskiem, gdzie wszystko, zdaniem Supy, przypominało „obóz koncentracyjny, gdyż ludzie tu również głodują, chorują i umierają”¹⁷. Na problem ten zwraca uwagę również Wawrzyńczak, który słusznie podkreśla, że dla takich ludzi państwo, za które mieli iść się bić, niczym się nie różniło od hitlerowskich Niemiec. Bohaterowie powieści rozumieją, że jest to walka pomiędzy dwoma złymi systemami: faszyzmem i komunizmem, i dla zwykłego żołnierza nie będzie zwycięskiego zakończenia – pozostanie mu tylko śmierć albo życie w zwycięskim, ale przeklętym kraju¹⁸.

W powieści Astafiewa cierpią wszyscy, z tym że ci wierzący mogą znaleźć ukojenie w modlitwie, a Bóg daje im nadzieję na uratowanie. Autor jest przekonany, że dla każdego żołnierza, widzącego ginących masowo tuż obok towarzyszy, tylko wiara w Boga może dać wiarę w jakiś cud. Prawda okopów zaproponowana przez pisarzy socrealistycznych mówiła tylko o oddawaniu życia za Ojczyznę i Stalina. Wśród bohaterów *Przeklętych i zabitych* czytelnik znajdzie takich, którzy myśleli inaczej. Są to potomkowie rodzin staroobrzędowych (Ryndin), byli oficerowie armii carskiej (Szpator), wrogowie ludu-kułacy (Fiokła) i in. Łączy ich jedno – wiara w Boga, wiara, z którą się nie skrywają, co widoczne jest chociażby w postępowaniu Koli Ryndina. Jest on człowiekiem, który w myśl swoich religijnych przekonań gotowy jest wspierać duchowo innych żołnierzy, dzieląc się także z nimi swoim współczuciem w stosunku do Niemców. Wypływa stąd ostra krytyka wojny, której przeciwstawiona została idea miłości do bliźniego, niepomijająca nawet najbardziej znieawidzonego wroga. Należy podkreślić, że prozaik swojego religijnego światopoglądu nie utożsamiał z wiarą w rolę, jaką odgrywała Cerkiew prawosławna. Według niego najważniejszym elementem poszukiwania przez człowieka drogi do poznania Boga powinno być jego sumienie. Brak wsparcia ze strony Kościoła przyczynił się jego zdaniem do nieszczęść, które spotkały jego współrodaków. Przedstawiciele Cerkwi ustąpili miejsca wszelkiej maści politruków, którzy z przekonaniem wpajali komunistyczną propagandę, mówiącą, że jedynym bogiem jest teraz Stalin. W swojej powieści Astafiew pokazuje, że dla władzy sowieckiej nie tyle ważne było przygotowanie do walki z wrogiem, co „wychowanie” za wszelką cenę własnego narodu. W atmosferze głodu, zimna i strachu codziennie przeprowadzana była ideologiczna nauka, mająca na celu sprawdzenie nie gotowości bojowej, lecz światopoglądowej postawy żołnierzy. Takiej indoktrynacji poddawany jest również Ryndin, ale jest on odporny na zabiegi swoich przełożonych. Wpojony od dziecka staroobrzę-

¹⁷ W. S u p a, op. cit., s. 213.

¹⁸ Zob.: A. W a w r z y ń c z a k, op. cit., s. 36.

dowy model życia, oparty na modlitwie, pokorze i przestrzeganiu postów, ukształtował w nim wewnętrzną mądrość i siłę, które nie pozwalają mu zapomnieć o tym, co w życiu jest najważniejsze. Widocznie dlatego w Niemcach widzi on nie tylko faszystów, ale przede wszystkim ludzi, którzy podobnie jak on rzućeni zostali w wir wojny. Astafiew pokazuje czytelnikowi zupełnie odbiegający od tradycyjnej radzieckiej literatury portret Niemca o nazwisku Lemke, w którego charakterze odnajdujemy cechy pozwalające przyrównać go do Ryndina. Obu bohaterów łączy miłosierdzie dla przeciwnika w obliczu śmierci, zbierającej swoje żniwo po każdej stronie barykady, którą jest forsowany od wielu dni Dniepr, nazwany w powieści Wielką Rzeką, mogącą metaforycznie nawiązywać do mitologicznej rzeki Styks. Ważne w warstwie treściowej jest również to, że potworność wojny i związany z nią przenikający wszystko swąd rozkładających się ciał poległych żołnierzy opisane są z punktu widzenia nie tylko Rosjan, ale również Niemców. Zarówno dla jednych, jak i dla drugich wojna stała się obrzydliwym apokaliptycznym wydarzeniem, które nie tylko zaprzecza przykazaniom Bożym, ale również, co bardzo mocno zaznacza autor, może wypaczyć w ludziach obraz Stwórcy. Astafiew jest przekonany, że wojna przyczynia się do przesuwania w niepamięć najważniejszych rzeczy naszego istnienia. A czym one są, stara się mówić o tym epigraf do pierwszej części książki, będący fragmentem listu do Galatów św. apostoła Pawła: „A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczenie, byście się wzajemnie nie zjedli” [Ga 5:15]. Zapomnienie o poszanowaniu drugiego człowieka prowadzi do wojny, której Astafiew nie nazywa inaczej niż bratobójstwem. A to z kolei prowadzi do tego, że ludzie w obliczu wojennego okrucieństwa zaczynają myśleć, że Bóg się od nich odwrócił, że stał się Bogiem karzącym za grzechy, za bratobójstwo. Rodzą się wręcz heretyckie myśli, czego przykład czytelnik znajdzie w drugiej części powieści:

Боже Милостивый! Зачем Ты дал неразумному существу в руки такую страшную силу? Зачем Ты прежде, чем созреет и окрепнет его разум, сунул ему в руки огонь? Зачем Ты наделил его такой волей, что превыше его смирения? Зачем Ты научил его убивать, но не дал возможности воскресать, чтоб он мог дивиться плодам безумия своего?¹⁹

Kolejna próba sforsowania Wielkiej Rzeki, opłacona kolejnymi ofiarami, kończy się sukcesem. Wróg zostaje pokonany, ale finał nie wydaje się optymistyczny. Dla Astafiewa cena, jaką musiano płacić za takie zwycię-

¹⁹ В. А с т а ф ь е в, *Прокляты и убиты*, Москва 2007, s. 780:

Боже Милоściwy! Dlaczego dałeś nierozumnej istocie w ręce taką straszną siłę? Dlaczego Ty, zanim dojrzeje i okrzepnie jej rozum, wsunąłeś jej w ręce ogień? Dlaczego obdarzyłeś ją taką wolą, która jest ponad jej pokorę? Dlaczego nauczyłeś ją zabijać, ale nie dałeś możliwości odradzania się, żeby mogła dziwić się owocom swojej bezmyślności?

(tłumaczenie moje – W. P.-M.).

stwa na polach II wojny światowej, była zbyt wysoka. Finał Wielkiej Wojny Ojczyźnianej umocnił pozycję Stalina, nie dając nadziei na lepsze jutro dla milionów mieszkańców Kraju Rad i pozostających pod politycznym protektoratem Związku Sowieckiego państw Europy Środkowej. Można zgodzić się z opinią Supy, że „w odsłanianiu o dawnym ZSRR prawd najbardziej niepocholebnych i okrutnych Astafiew posunął się chyba jeszcze dalej niż Sołżenicyn czy inni pisarze antyradzieccy w latach 70. i 80.”²⁰ Syberyjski prozaik był przekonany, że żadna wojna nie rozwiązuje problemów, pozostawiając tylko trudno zablizniające się rany oraz niepowetowany żal po poległych. Dlatego też powieść *Przeklećci i zabici* należy odczytać wyłącznie w kategorii ostrzeżenia przed błędami, mogącymi doprowadzić do kolejnych siłowych rozwiązań. Symptomatyczne w związku z tym mogą być słowa pisarza z jego *Dziennika epistolarnego (Эпистолярный дневник 1952–2001)*:

Я порой думаю, неужели тяжкие времена и страшные беды нас, русский народ, ничему не научили? Неужели желающие нового помрачения российского разума, новой свалки и братоубийства снова зачернят здравый смысл, с таким трудом, через такое горе, такие громадные потери к нам возвращающийся? Новой смуты, еще одной свалки нам не пережить, не хватит на это наших ослабевших, редяущих рядов, поврежденного, если не надорвавшегося, российского здоровья. Не поддавайтесь сатанинским силам, русские люди! Постарайтесь жить по справедливости, быть милосердными друг к другу и нетерпимыми ко злу, разрушающему души...²¹

Powyższe słowa, mimo iż mogły dotyczyć wojen w Afganistanie i Czeczenii, należy odczytać jako uniwersalne przesłanie Astafiewa do wszystkich ludzi. W obliczu bieżących wydarzeń na świecie, a zwłaszcza na wschodnich rubieżach Ukrainy, astafiewowska, przepojona głębokim humanizmem myśl wydaje się proroczym ostrzeżeniem. Kontynuując wojenną tematykę w takich utworach jak *Tak chce się żyć (Так хочется жить – 1995)*, *Przyton*

²⁰ W. S u p a, op. cit., s. 216.

²¹ В. А с т а ф ь е в, *Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952–2001*, сост. и пред. Г. Сапронов, Иркутск 2009, [w:] źródło elektroniczne: http://bookz.ru/authors/astaf_ev-viktor/net-mne-_760/1-net-mne-_760.html (23.09.2015):

Часами мыслю: czyżby ciężkie czasy i nieszczęścia niczego nas, rosyjskiego narodu, nie nauczyły? Czyżby ludzie chcący nowego zamroczenia rosyjskiego umysłu, nowej bijatyki i bratobójstwa znów mieli zmącić zdrowy rozsądek, który z takim trudem, przez takie cierpienia, takie ogromne straty do nas powraca? Nowej smuty, jeszcze jednej bijatyki nie jesteśmy w stanie przeżyć, nie wystarczy na to naszych osłabłych, przeredzonych szeregow, nadszarpiętego, jeśli nie nadwyręzonego, rosyjskiego zdrowia. Nie ulegajcie szatańskim siłom, rosyjscy ludzie! Postarajcie się żyć sprawiedliwie, być miłosiernymi względem siebie, nie dopuszczając do zła rujnącego dusze...

(tłumaczenie moje – W. P.-M.).

(Обертон – 1996) czy autobiograficznym *Wesołym żołnierzu* (*Веселый солдат* – 1998), pisarz miał nadzieję, że lektura jego książek będzie pouczającą lekcją dla młodych pokoleń, które, być może, nie popełnią błędów swoich dziadków i ojców.

Bibliografia

- Азадовский К., *Переписка из двух углов империи*, [w:] źródło elektroniczne: <http://magazines.russ.ru/voplit/2003/5/azadov.html> (23.09.2015).
- Астафьев В., *Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952-2001*, сост. и пред. Г. Сапронов, Иркутск 2009, [w:] źródło elektroniczne: http://bookz.ru/authors/astaf_ev-viktor/net-mne-_760/1-net-mne-_760.html (23.09.2015).
- Астафьев В.П., *Письма о войне, правде о ней и цене Победы*, [w:] źródło elektroniczne: <http://lazarev35.webtm.ru/?p=786> (23.09.2015).
- Астафьев В., *Прокляты и убиты*, Москва 2007.
- Астафьев В.П., *Собрание сочинений в 15 томах*, т. 8, Красноярск 1997.
- Басинский П., *Контуженная муза. О Викторе Астафьеве*, [w:] źródło elektroniczne: http://www.rp-net.ru/book/premia/2009/basinskiy.php?sphrase_id=76445 (23.09.2015).
- Большакова А.Ю., *Русская деревенская проза XX века: код прочтения*, Шумен 2002.
- Курбатов В.Я., *Жизнь на миру, В. П. Астафьев*, [w:] tegoż, *Собрание сочинений в 6-и т.*, т. 8, Москва 1991.
- Лейдерман Н., *Парадоксы коммунального сознания. (О романе В. Астафьева „Прокляты и убиты“)*, „Урал” 1994, № 2-3.
- Щедринна Н., *У нее был свой Астафьев*, „День и ночь”, №2, 2014 [w:] źródło elektroniczne: <http://magazines.russ.ru/din/2014/2/18sch-pr.html> (22.09.2015).
- Трасов А., *Антисоветское. Как травили Виктора Астафьева*, „Новая газета”, Москва, 5 октября 2009, № 110, [w:] źródło elektroniczne: http://www.solovki.ca/writers_023/023_03.php (22.09.2015).
- Supa W., *Biblia a współczesna proza rosyjska*, Białystok 2006.
- Skotnicka-Maj A., *Model prozy „innej” w literaturze rosyjskiej po 1985 roku*, Wrocław 2001.
- Wawrzyńczak A., *Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego”*, Kraków 2005.
- Wołodźko-Butkiewicz A., *Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej*, Warszawa 2004.

ELEMENTY RYTUAŁU PRZEJŚCIA W *INNYM* JURIIA MAMLEJEWA.
PROLEGOMENA

ELEMENTS OF *THE RITE DE PASSAGE* IN *THE OTHER* BY YURI MAMLEEV.
PROLEGOMENA

ANNA KATARZYNA PRZYBYSZ

ABSTRACT. This article is an attempt to analyze the category of meeting between two main characters in *The Other* using a symbolic key. I try to explain the important role of such semiotic categories as *threshold* and *mask* in the process of becoming more aware about ourselves, which I interpret as part of the process of *rite de passage*.

Anna Katarzyna Przybysz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Poznań – Polska, przybysz_anna@02.pl

Dzieła Jurija Mamlejewa utrzymane są w kluczu realizmu metafizycznego – takim mianem pisarz określa artystyczną dominantę konstruowania świata przedstawionego swych utworów. Celem obranej przez niego metody kreowania rzeczywistości artystycznej jest wnikliwe przedstawienie procesu „poszukiwania prawdziwego siebie”¹. Autor skupia swą uwagę przede wszystkim na ukazaniu wewnętrznego życia bohaterów swych utworów oraz zmian w sposobie postrzegania przez nich świata i swego w nim miejsca. Otaczająca rzeczywistość pełni zaledwie rolę drugoplanową – akcent położony zostaje na wewnętrzne stany postaci. To ukazanie przeżyć, zmagania ze sobą oraz ze światem stanowi główny cel wypracowanej przez Mamlejewa poetyki. Z tego względu wydarzenia, do jakich dochodzi w powieściowym świecie, zostają mocno wyeksponowane pod kątem znaczeniowej nośności symboliki. Głębsze warstwy utworu (mityczne, magiczne, mistyczne) pozwalają na dostrzeżenie tego potencjału interpretacyjnego tekstu, który nie jest uchwytany z poziomu fabularnego odczytania jego treści.

Jednym z ciekawszych dzieł Mamlejewa, w którym mamy do czynienia z problemem zmagania bohaterów z własnym światem wewnętrznym,

¹ Ф.А. П о н о м а р е в, *Катарсические эффекты в творчестве Юрия Мамлеева*, [w:] źródło elektroniczne: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzar-literature.ucoz.ru%2Fdidaktika_1%2Fkatarsicheskie_ehffekty_v_tvorchestve_jurija_mamle.docx&ei=E1bFUqWfNoHXtAbZ6oGoDg&usg=AFQjCNFkr1mquVZJce4pr0lhYF_Np0wqpA&bvm=bv.58187178,d.Yms&cad=rjt (14.10.2013).

jest *Inny*. Powieść ta zasługuje na szczególną uwagę także dlatego, iż stanowi jeden z nielicznych przykładów w twórczości pisarza, w którym rezygnuje on (przynajmniej w znacznej części) z zastosowania infernalnej poetyki, będącej jedną z charakterystycznych cech jego dzieł. Autor *Szatunow*, słynący z epatowania czytelnika brutalnością, przemocą oraz skrajnym weryzmem, w omawianym utworze zaskakuje stosunkowo łagodnym tonem, w jakim utrzymana jest narracja. Wydaje się, że odejście od zwyczajowego języka opisu zdarzeń zorientowane jest na uwydatnienie samych treści, podejmowanych w *Innym*. Pozbawienie powieści elementów zaskakujących, szokujących, czy wręcz odrażających, będących dotychczas nieodłączną częścią warsztatu pisarskiego Mamlejewa (a dla wielu odbiorców stanowiących o atrakcyjności jego utworów), powoduje przesunięcie uwagi czytelnika z języka opowieści na samą opowieść. Właśnie dlatego celem niniejszego artykułu jest próba analizy jednego z wydarzeń, do jakiego dochodzi pomiędzy powieściowymi postaciami, z punktu widzenia symbolicznej nośności atrybutów w nim partycypujących.

Aby należycie odczytać wagę obecności poszczególnych elementów wystroju wnętrza, w którym bohaterowie zawarli znajomość, należy pokrótce zarysować kontekst, w jakim doszło do tego wydarzenia. Jedną z głównych bohaterek powieści, malarka Alona, zostaje porwana na zlecenie Trofima Borysycza Łochmatowa. Artystka zostaje przewieziona do jego podmoskiewskiej willi, aby tam spotkać się ze wspomnianym bandytą. Powodem, dla którego kryminalista zapragnął poznać dziewczynę, jest jej obraz zatytułowany *Нездравые мысли*². Łochmatow rozpoznał swe oblicze w jednym z potworów na namalowanym przez nią obrazie i porażony przenikliwością artystki postanowił „zaprosić” ją do swojej rezydencji, aby dowiedzieć się, kim jest osoba, która potrafiła dostrzec „prawdziwą twarz” bandyty. To spotkanie, w perspektywie całościowego odczytania utworu, stanowi asumpt do reorganizacji życia bohaterki. W procesie tej przemiany wyraźnie dostrzegalne są elementy rytuału przejścia – obrzędu, który wiąże się z przełomowym momentem w życiu człowieka, a także z wkroczeniem przez niego w nowy, nieznany obszar (zarówno w sensie terytorialnym, jak i przenośnym, emocjonalnym)³, co niesie ze sobą znaczne zmiany. Na charakter

² Ю.В. М а м л е в, *Другой*, Щелково 2007, s. 107. Ponieważ powieść nie ukazała się dotychczas w polskim przekładzie, odwołania do tekstu podaję w języku oryginału. W dalszej części artykułu będę stosować skrócony zapis, podając w nawiasie literę „I” oraz, po przecinku, numer strony, np. (I, 107). Zapis ten pojawi się w tekście głównym.

³ Te i pozostałe odniesienia do rytuału (obrzędu) przejścia opieram przede wszystkim na spostrzeżeniach Victora Turnera, który kontynuował tradycyjną wizję tego ujęcia, zaproponowaną przez francuskiego etnografa Arnolda van Geneppa. Zob. V. T u r n e r, *Betwixt and between: The liminal period in “rites of passage”*, [w:] W. A. L e s s a, E. Z. V o g t, *Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach (4th Edition)*, New York 1979, s. 234–243.

wspomnianego powyżej trzyetapowego rytuału składają się następujące fazy: faza wyłączenia (inaczej preliminalna lub separacji), polegająca na pozbawieniu jednostki statusu, odebraniu jej miejsca, bądź odseparowaniu jej od grupy; faza marginalna (inaczej liminalna, bądź okres przejściowy), podczas której jednostka nie ma określonego statusu, nie przynależy do żadnej ze społeczności, tkwi w stanie zawieszenia; oraz faza włączenia (inaczej postliminalna lub integracji), podczas której nadawany jest jej nowy status. Próba oglądu postaw bohaterki przed wizytą w willi bandyty, podczas jej pobytu w rezydencji, a także po zawarciu znajomości z Trofimem Borysyczem pozwala na dostrzeżenie zmian w sposobie postępowania dziewczyny, sugerujących, iż można je odczytać jako swoistą realizację poszczególnych etapów wspomnianego obrzędu. Na taki kontekst „pracuje” przede wszystkim symboliczna warstwa utworu, uwydatniająca doniosłą rolę *spotkania* z Łochmatowem w życiu malarki.

Bohaterka nie wie, czego się spodziewać po mężczyźnie, który rozkazał ją porwać. Obawiając się najgorszego (przemocy, gwałtu lub pozbawienia życia), postanawia skorzystać z technik *adwaita-wedanty*⁴, których uczył ją jej narzeczony Wadim. Zamierzeniem dziewczyny jest chęć odseparowania się od własnego ciała. Malarka próbuje zdystansować się względem swej „materialnej powłoki” w przekonaniu, iż nie pełni ona konstytutywnej roli w kształtowaniu jej „ja”. Osiągnięcie zamierzonego rezultatu wiązałoby się dla Alony z wkroczeniem w nowy etap życia, w którym ciało nie stanowiłoby ontycznego fundamentu podmiotowości. Tak więc porwanie dziewczyny, odseparowanie jej od otoczenia, a także podjęta przez nią próba zrezygnowania z własnego ciała mogą zostać odczytane jako przejaw wkroczenia w początkową fazę rytuału przejścia, fazę separacji. Pomimo iż bohaterce nie udaje się zrealizować swego zamierzenia, a więc nie potrafi ona wy-preparować mentalnej ekstensji swego „ja”, przechodzi ona do kolejnego etapu omawianego rytuału, a wejście to na poziomie fabuły-sjuzetu zostaje zespolone z wkroczeniem do sali, gdzie oczekuje na nią Łochmatow:

Наконец перед ними — массивная деревянная дверь с резьбой. Вверху Алёна увидела деревянную маску в виде человеческого лица с закрытыми глазами (I, 122–123).

Należy pamiętać, że znaczeniowe pole *spotkania*, do jakiego doszło pomiędzy bohaterami, odsłania także inny kontekst. Przejście przez drzwi nierozdzielnie wiąże się z przestąpieniem przez próg, które z kolei nasuwa myśl o przekroczeniu pewnej niewidzialnej granicy, symbolicznym wejściu w nowy etap życia. W wierzeniach słowiańskich próg odgrywał niezwykle istotną rolę: nie tylko wyznaczał granicę domostwa, lecz także rozdzielał

⁴ Zapis tego słowa w danej formie za: M. J a k u b c z a k, *Wyzwalanie się od Ja*, [w:] *też*, *Sens ja. Koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej (sankhja-joga)*, Kraków 2013, s. 192.

świętą przestrzeń wewnątrz domu, od tego co na zewnątrz – chaosu⁵. Pełnił także funkcję sakralnej granicy, której przysługiwała szczególna moc⁶, był miejscem styku dwóch światów (*sacrum* i *profanum*), a tym samym punktem granicznym, osobliwym wyznacznikiem nieciągłości przestrzeni⁷. Drzwi i próg w naturalny sposób związane były z ideą wejścia i wyjścia, której przypisuje się wysoki stopień semiotyczności⁸. Przekroczenie granicy domostwa czy też konkretnego pomieszczenia metaforycznie oznaczać również mogło rozpoczęcie nowego etapu, wkroczenie w nieznaną obszar, i wydaje się, że właśnie w ten sposób należy odczytywać wejście bohaterki do sali. Wraz z pojawieniem się w pomieszczeniu Alona zaczyna bowiem odczuwać specyficzną aurę, jaką nacechowana jest wspomniana przestrzeń – w miejscu tym dominuje atmosfera wyjątkowości i imperialności. Uwagę bohaterki przykuwa fotel stylizowany na tron, na którego oparciu widnieje ten sam co wcześniej motyw wyrzeźbionej hebanowej maski:

на внушительной спинке [...] трона возвышался отнюдь не золотой орел, а вся та же маска: жутковатое из черного дерева лицо с закрытыми глазами (I, 123).

Osobliwe „koczowanie” tego przedmiotu („ta sama”, a nie „taka sama” maska) jednoznacznie wskazuje na konieczność bacznej analizy jego metaforyki, co podyktowane jest następującym pytaniem: dlaczego maska się przemieszcza i na co wskazuje wykonany przez nią ruch? Różnorodność kodów kulturowych (*культурных смыслов*), a także symboliczna nośność, jakimi nacechowana jest maska, bez wątpienia skutkują wielością możliwych interpretacji jej obecności w tekście powieści. Wydaje się, iż wbrew przyjętemu pogładowi o tym, iż jest ona symbolem fałszu, kłamstwa i oszczerstw, w *Innym* jej funkcja ulega rehabilitacji, jako że sam przedmiot może wskazywać na odsłanianie tego, co ukryte. Najbardziej rozpowszechnionym celem nałożenia maski jest ukrycie oblicza, a tym samym zamaskowanie pewnej prawdy, przywdzianie fałszywej pozy. Dualność, jaka cechuje ten przedmiot, związana jest z faktem, iż atrybut ten nie tylko naśladuje rzeczywistość (na przykład odwzorowuje kształt twarzy), ale także ją zniekształca, ukrywając to, co najistotniejsze. We współczesnym rozumieniu tego słowa pełni zatem funkcję osobliwego kamuflażu, jest kłamli-

⁵ M. S u l i m a, *Symboliczne przestrzenie domu*, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura” 2007, nr 20, s. 89.

⁶ G. v a n d e r L e e u w, *Fenomenologia religii*, Warszawa 1978, s. 350. Cyt za: ibidem.

⁷ M. S u l i m a, *Rola religii w kształtowaniu przestrzeni domu wiejskiego*, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura” 2008, nr 21, s. 89.

⁸ A.K. B a j b u r i n, *W sprawie opisu struktury słowiańskiego rytuału budowniczego*, „Konteksty” 1990, nr 3, s. 64. Cyt. za: Ibidem.

wym wyrazem tego, czego w istocie nie ma. Tymczasem tak przyjęte postrzeganie tego przedmiotu jest rezultatem spowszednienia i zwietrzenia tego, co dawniej odnosiło się do sfery sacrum i stanowiło swego rodzaju ikonę⁹. Maską, wbrew podstawowemu polskiemu znaczeniu tego słowa, nie służyła do zasłaniania prawdy o człowieku, lecz przeciwnie – do jej odsłaniania¹⁰. Grecki źródłosłów pokazuje bowiem, iż jej pierwotnym celem było o d s ł o n i e n i e prawdy o człowieku, obnażenie jego prawdziwej natury, a z biegiem czasu słowa „prosopon” (maska) i „persona” (człowiek) zostały potraktowane jako określenia opisujące specyfikę natury człowieka¹¹. Maską zawiera w sobie także charakterystyczny naddatek nacechowany symbolicznie, który jest na tyle silny, że zdaje się docierać do archetypowego obrazu człowieka¹². Jej nieludzki charakter, np. zoomorficzny, najpełniej wyraża ukryty aspekt „ja” – potwornego sobowtóra człowieka, który, będąc ucieleśnieniem pierwotnego chaosu, objawia człowiekowi dialektykę jego własnej natury¹³. To spotkanie z Innym „we mnie” jest dramaturgiczną osią wszelkich rytuałów inicjacyjnych, w których maska tak często odgrywa kluczową rolę. Podwójna modalność wyrażalności, tzn. reprezentowanie zarówno człowieka, jak i jego „dopełnienia”, którego posiadania podmiot może nawet nie być świadomy, czyniąc z maski znak przejścia, decyduje o jej trudnej do uchwycenia ambiwalencji. Maską zatem pośredniczy między światem ludzi i pierwotnym nieludzkim *porządkiem*, staje się mediatorem¹⁴. Przedmiot, który widzi Alona przed wejściem do sali, przedstawia ludzką twarz z zamkniętymi oczami. Zdecydowana większość tego typu artefaktów, bez względu na charakter, w jakim zostanie użyta (np. do gry w teatrze, podczas karnawału czy też wszelkiego rodzaju rytuałów), posiada wycięte otwory na oczy, tak, aby noszące je osoby widziały, gdzie się znajdują. Wzrok jest jednym z tych zmysłów, który w przeważającym stopniu wpływa na poczucie orientacji w terenie. Pozbawienie kogoś możliwości obserwowania otaczającej przestrzeni zmusza do wyostrenia innych zmysłów oraz wsłuchania się w swoje wnętrze. Warto

⁹ P. F l o r e n s k i, *Ikonostas i inne szkice*, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1984, s. 113.

¹⁰ M. D r w i ę g a, *Dwie drogi współczesnych filozofów – Paul Ricoeur i Józef Tischner*, „Znak” 2011, nr 669, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.miesiecznik.znak.com.pl/139/7/dwie-drogi-wspolczesnych-filozofow-paul-ricoeur-i-jozef-tischner-czesc-ii> (17.07.2014).

¹¹ Z. K r u c z a l a k, *Wybrane problemy z filozofii człowieka*, „Monitor” 2011, [w:] źródło elektroniczne: http://www.monitorpl.com/monitorarticle/2011_11_10_Wybrane_problemy_z_filozofii_czlowieka.qb (28.05.2015).

¹² M. Ż e r k o w s k i, *Kultura maski*, [w:] źródło elektroniczne: <http://roverground.cz/mealingua/kultura-maski/> (28.05.2015).

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem.

również zaakcentować potencjał sprawczy, jakim nacechowany jest wspomniany artefakt. W praktyce archaicznej był on postrzegany jako dodatkowy kontur ciała, posiadający symboliczne znaczenie wyrażone na powierzchni i jednocześnie transformujące otaczającą rzeczywistość. Stanowił osobliwe „przedłużenie” człowieka, zwiększając jego cechy osobowościowe. Dzięki niemu człowiek miał szansę na przybranie zupełnie innego wizerunku – twarzy antagonisty czy też potwornego sobowtóra. Jednakże pod maską ciągle jeszcze skrywało się prawdziwe oblicze osoby ją przywdziewającej, toteż nie mogła być ona nacechowana niekontrolowanym potencjałem samosprawczości. Oczywiście nie da się zaprzeczyć, iż jako akcesorium niezwykle energetyczne posiada ona ogromną moc sprawczą i jest w stanie uruchomić w człowieku pewne cechy bądź zachowania, które nie są dla niego swoiste; z drugiej jednak strony okazuje się pomocna w procesie samopoznania, dzięki gwarantowanemu poczuciu anonimowości, uwalniającemu noszącą ją osobę od przestrzegania norm społecznych czy też etycznych. Tak więc nałożenie maski interpretować można w pewnych kontekstach nie tylko jako swego rodzaju próbę, na jaką wystawiona zostaje osoba ją nakładająca, lecz także jako jeden z czynników pełniących istotną rolę w procesie poznawania samego siebie.

Taką też symboliczną funkcję zdaje się pełnić wspomniany powyżej przedmiot w *Innym*. Obecność maski nad wejściem, gdzie będą się ważyć losy Alony, może symbolizować przekroczenie swego rodzaju granicy. Granicy, świadomie bądź nie, wytyczonej zarówno przez Łochmatowa, jak i narzeczoną Wadima. Trofim Borysycz „zaprosił” malarzkę wiedziony swego rodzaju wewnętrznym impulsem – poczucie wspólnotowości i zaskakującej bliskości z nieznanym mu człowiekiem spowodowało, iż postanowił „otworzyć się” na artystkę, wyjawic jej swe plany odnośnie duchowego samorozwoju, a tym samym odrzucić na moment zainteresowaną jedynie materią pozę. Alona z kolei wchodząc do pokoju, nie tylko przekracza granice własnego strachu, lecz także własnych o g r a n i c z e ń, co znajduje potwierdzenie w dokonanej przez bohaterkę introspekcyjnej analizie podmiotowości. W tak zarysowanym kontekście maska może być postrzegana nie tylko jako niemy obserwator, ale i mediator pomocny w eksplorowaniu dopełnienia „ja”, co z kolei eksponuje dialogiczność natury bohaterów. Dany artefakt jest więc poniekąd materialnym reprezentantem rytuału inicjacyjnego, zmierzającego do odkrycia przez powieściowe postaci swego prawdziwego oblicza. Ponadto stanowi on swego rodzaju mechanizm obronny, samokonstruującą się strategię działań, wynikającą z chęci projekcji swego nieprawdziwego wizerunku lub zdobycia anonimowości, których celem jest ochrona naszego innego „Ja”; jest więc aktualizacją własnego wizerunku w konkretnym schemacie zachowań, a tym samym stanowi jeden ze sposobów zwiększenia samoświadomości jednostki, która poprzez stały

namysł na własnym „Ja” (*осмысливание*) pozwala pokonać wewnętrzny „dualizm” i osiągnąć pełnię, ostateczną integrację¹⁵. W tak zarysowanej perspektywie maska umieszczona przed wejściem do sali, w której ma dojść do spotkania o fundamentalnym wręcz znaczeniu dla każdej ze stron, może nie tylko symbolizować dualizm bohaterów, dialogiczność ich natury. Staje się także zapowiedzią podejmowanego wysiłku zorientowanego na redefinicję swej podmiotowości, który będzie udziałem Alony, oraz dekonstrukcję, a następnie obnażenie swej prawdziwej natury w przypadku Łochmatowa. Jawi się ona zatem jako substancjalny reprezentant rozpoczęcia procesu duchowego przeobrażenia. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż umieszczona jest ona nad drzwiami. Jej metaforyka zostaje znacząco zintensyfikowana za sprawą odwołań do nośności semiotycznej związanej z pojęciem progu i szerokim kontekstem samokonstruujących się (w tak zaproponowanym ujęciu) konwergentnych odniesień na linii *maska-próg*.

Nie należy także zapominać o fakcie, iż maska „koczuje”: znad drzwi przemieszcza się na oparcie fotela, stylizowanego na tron, a ten przecież symbolizuje punkt oparcia w czasach ciągłych zmian¹⁶. W takiej perspektywie spotkanie tkwiących w stanie antropologicznej niepewności bohaterów urasta do rangi wydarzenia o charakterze fundamentalnym dla dalszego ich rozwoju. Co więcej, fakt, że hebanowy artefakt znajduje się na oparciu charakterystycznego fotela, świadczyć może również o tym, iż bohater w nim zasiadający odrzuca wszelkie pozory, zrywa tę maskę¹⁷, ukazując tym samym swą prawdziwą twarz rozmówcy. Taka interpretacja wydaje się zasadna, jeśli zważyć na to, iż bohaterka została „zaproszona” na rozmowę z Łochmatowem, ponieważ ten dostrzegł swe oblicze na namalowanym przez nią obrazie. Tak więc zabieg umieszczenia maski na oparciu fotela zorientowany jest na wyeksponowanie prawdziwego wnętrza postaci. Ponadto szeroki kontekst wykorzystania tego motywu pozwala przypuszczać, iż znajdująca się w sytuacji granicznej (jeśli przywołać określenie Karla Jaspersa) bohaterka, otwierając drzwi do sali, w której oczekuje na

¹⁵ О.Ю. О с ъ м у х и н а, *Маска, „Знание. Понимание. Умение”*, Москва 2007, № 2, s. 226–228.

¹⁶ О.М. Ф р е й д е н б е р, *Трон*, [w:] źródło elektroniczne: <http://ec-dejavu.ru/t/Throne.html> (28.05.2015).

¹⁷ Warto przypomnieć w tak zarysowanym kontekście jungowskie rozumienie roli *Maski (Persony)* w procesie indywidualizacji – jest to odrzucenie archetypu reprezentującego rolę społeczną, którą gra człowiek uwikłany w skomplikowaną sieć konwensów. Dopelnienie *Persony Animą* bądź *Animusem* stanowi ważny krok na drodze rozwoju psychicznego. Zob. J. P r o k o p i u k, C. G. J u n g, *czyli gnoza XX wieku*, [w:] C.G. J u n g, *Archetypy i symbole*, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1993. Jeśli zatem odczytywać symbolikę maski umieszczonej na oparciu fotela jako próbę przezwyciężenia *Persony*, nasunie się analogia wskazująca na moment, w jakim znajduje się Łochmatow w trakcie wspomnianego powyżej procesu.

nią nieznaną, przekracza niewyartykułowane, aczkolwiek wyznaczone przez siebie granice. Jakkolwiek maska nie tworzy konkretnego wymiaru czasowego, jej zastosowanie ma na celu podkreślenie ważnego, uroczystego momentu, w jakim jest nakładana – w przypadku omawianego tekstu eksponuje osobliwy charakter spotkania, jego doniosłość. Zatem fakt, iż umieszczona jest nad wejściem do pomieszczenia, gdzie będą ważyć się losy malarki, a następnie wraz z bohaterką wkracza do pokoju (przypomnijmy, że to „ta sama”, a nie „taka sama” maska), wolno przyjąć jako symboliczną zapowiedź przybliżania do prawdy. Podjęcie relacji „twarzą w twarz”, a tym samym ujawnienie swego prawdziwego oblicza – najczystszej formy ducha, jądra wyluskanego z martwej skorupy, która krępować jego zwoje¹⁸ – sprawi, iż Alona w trakcie (roz)mowy¹⁹, a także na fali wrażenia, jakie robi na niej wymiana zdań z Łochmatowem, podejmie próbę rekontekstualizacji swojego życia.

Wizyta u Łochmatowa staje się więc momentem przełomowym w samopostrzeganiu Alony. Nowa sytuacja, w jakiej bohaterka musi się odnaleźć, stanowi impuls dla głębokich przemyśleń o podłożu egzystencjalno-metafizycznym. Ponadto, zawarcie znajomości z Łochmatowem przyczynia się do redefinicji życia malarki. Wydarzenia, do jakich doszło w willi, spowodowały, że Alona nabrała życiowego dystansu i z większą samoświadomością percypowała otaczającą ją przestrzeń, a także procesy w niej zachodzące. Doceniła przede wszystkim wartość uczuć: wolności, której odzyskanie było dla niej jak ponowne narodziny („Где-то она чувствовала себя новорожденной” (I, 151)), i miłości, jaką darzył ją Wadim. Wychoząc z samochodu, który odwoził ją z willi Łochmatowa, malarka doznała euforycznego wręcz poczucia szczęścia. Stan ten stanowił przyczynek do wprowadzenia określonych zmian w jej życiu. Wydaje się, iż dojrzała ona emocjonalnie – z łatwością podjęła decyzję o zerwaniu z dotychczasowym stylem życia, doceniła wartość miłości, zaangażowania i oddania:

Я вчера позвонила ему и порвала с ним. Давно созрело. Но эта история послужила инициацией [...] (I, 158).

Spotkanie stanowiło zatem impuls do zmian w życiu bohaterki. W znacznym stopniu przyczyniło się do dekonstrukcji oraz redefinicji fundamentów jej podmiotowości, rewizji życiowych priorytetów, a także odegrało istotną rolę w procesie samopozna(wa)nia Alony. Zawarcie znajomości z Łochmatowem, w perspektywie całościowego odczytania utworu, można także postrzegać jako niezwykle ważny moment w życiu bohaterki

¹⁸ P. F l o r e n s k i, op. cit., s. 11.

¹⁹ Zapis w tej postaci odsyła do filozofii dialogu Levinasa. Zob. E. L e v i n a s, *Separcja i roz(mowa)*, [w:] tegoż, *Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrżności*, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 44–82.

– moment, który umożliwił jej rozpoczęcie procesu mentalnego przeobrażenia i duchowego wzrastania. Spotkanie z bandytą urasta zatem do rangi *wydarzenia* o charakterze epifanijnym – w ślad za rozumieniem tego pojęcia w kluczu filozoficzno-antropologicznej ontologii Michaiła Bachtina, gdzie stanowi ono wyraz egzystencjalnej koncepcji indywidualnego podmiotu, który dopiero „staje się” w relacjach z innymi ludźmi²⁰.

Bibliografia

- B a j b u r i n A.K., *W sprawie opisu struktury słowiańskiego rytuału budowniczego*, „Konteksty” 1990, nr 3, s. 64.
- D r w i ę g a M., *Dwie drogi współczesnych filozofów – Paul Ricoeur i Józef Tischner*, „Znak” 2011, nr 669, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.miesiecznik.znak.com.pl/139/7/dwie-drogi-wspolczesnych-filozofow-paul-ricoeur-i-jozef-tischner-czesc-ii> (17.07.2014).
- F l o r e n s k i P., *Ikonostas i inne szkice*, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1984.
- J a k u b c z a k M., *Wyzwalanie się od Ja*, [w:] tejsze, *Sens ja. Koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej (sankhja-joga)*, Kraków 2013, s. 192.
- L e e u w v a n d e r G., *Fenomenologia religii*, Warszawa 1978.
- L e s s a W.A., V o g t E.Z., *Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach (4th Edition)*, New York 1979.
- L e v i n a s E., *Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrznosci*, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998.
- L e v i n a s E., *Separacja i roz(mowa)*, [w:] tegoż, *Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrznosci*, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 44–82.
- P r o k o p i u k J., *C.G. Jung, czyli gnoza XX wieku*, [w:] C.G. J u n g, *Archetypy i symbole*, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1993.
- S u l i m a M., *Rola religii w kształtowaniu przestrzeni domu wiejskiego*, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura” 2008, nr 21, s. 89.
- S u l i m a M., *Symboliczne przestrzenie domu*, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura” 2007, nr 20, s. 89.
- T u r n e r V., *Betwixt and between: The liminal period in “rites of passage”*, [w:] W.A. L e s s a, E.Z. V o g t, *Reader in Comparative Religion: An Anthropological Approach (4th Edition)*, New York 1979, s. 234–243.
- Ż e r k o w s k i M., *Kultura maski*, [w:] źródło elektroniczne: <http://roverground.cz/mealingua/kultura-maski/> (28.05.2015).

²⁰ Rosyjski mśliciel wykorzystuje nieprzetłumaczalną na język polski grę słów, gdzie wyraz *событие* tłumaczony jest jako „wydarzenie”, natomiast rozdzielenie go dywizem *со-бытие* powoduje zmianę znaczenia na „współistnienie”, „współbytność”, co eksponuje fundamentalną rolę dialogu i spotkania z *Innym* w procesie kształtowania osobowości jednostki (*становление личности*). Zob. М.М. Б а х т и н, *Автор и герой в эстетической деятельности. Проблема автора*, [w:] źródło elektroniczne: <http://mmbakhtin.narod.ru/probl.html> (31.05.2015).

- Б а х т и н М.М., *Автор и герой в эстетической деятельности. Проблема автора*, [w:] źródło elektroniczne: <http://mmbakhtin.narod.ru/probl.html> (31.05.2015).
- М а м л е в Ю.В., *Другой*, Щелково 2007.
- О с ь м у х и н а О.Ю., *Маска, „Знание. Понимание. Умение”*, Москва 2007, № 2, s. 226-228.
- П о н о м а р е в Ф.А., *Катарсические эффекты в творчестве Юрия Мамлева*, [w:] źródło elektroniczne: http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fzar-literature.ucoz.ru%2Fdidaktika_1%2Fkatarsicheskie_ehffekty_v_tvorchestve_jurija_mamle.docx&ei=E1bFUqWfNoHXtAbZ6oGoDg&usg=AFQjCNFkr1mqvVZJce4pr0lhyF_Np0wqpA&bv m=bv.58187178,d.Yms&cad=rjt (14.10.2013).

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В КОНТЕКСТЕ
ИРОНИЧЕСКОГО В РОМАНЕ ИВЛИНА ВО *НЕЗАБВЕННАЯ*

NATIONAL CHARACTER AND ITS IRONIC REPRESENTATION
IN EVELYN WAUGH'S NOVEL *THE LOVED ONE*

ЕКАТЕРИНА РЯБЧИКОВА

ABSTRACT. The paper is devoted to a study of national character in Evelyn Waugh's work *The Loved One*. The ironic representation of British and American national characters is analyzed in the paper.

Екатерина Рябчикова, Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта, Калининград — Россия, ryabchikova_ekaterina@mail.ru

Национальный характер, идентичность и этнические стереотипы в глобализирующемся мире входят в орбиту наиболее актуальных межкультурных и междисциплинарных проблем. Не остается в стороне и литературоведение. Как и всегда, мастера художественного слова интуитивно предвосхищают постановку тех проблем, которые спустя годы будут решать психологи, философы и культурологи. Художественный образ, обращаясь к конкретике человеческого бытия, помогает избежать стереотипного взгляда на проблему национального характера. Этому способствует богатая палитра средств раскрытия национально колоритных образов на разных уровнях организации художественного текста (жанр, нарративная структура, хронотоп, художественная речь). В настоящей статье мы рассмотрим художественно-речевой пласт романа Ивлина Во *Незабвенная* в его функции выражения авторской иронии.

Проблема национального характера в романе Ивлина Во *Незабвенная* определяется уже самим подзаголовком „англо-американская трагедия“, который в свою очередь интертекстуально соотносится с произведением Теодора Драйзера *Американская трагедия*. В этом романе Драйзер окончательно развеивает американскую мечту, согласно которой „любой чистильщик сапог может стать миллионером“. Подзаголовком „англо-американская трагедия“ Во не только подтверждает эту точку зрения, но и подчеркивает, что „упадок и разрушение“ характерны не только для американской, но и для английской культуры, то

есть находится „по ту сторону“ стереотипного противопоставления американского „культа прогресса“¹ английскому традиционализму. Проблема национального характера получает освещение в рамках художественного мира писателя с разных сторон: автор рассматривает проявления национальных особенностей при межкультурном взаимодействии героев-англичан с американцами, а также при внутрикультурном общении англичан между собой.

В.Г. Крысько приводит следующее определение: „Национальный характер — это исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологических черт нации“². Однако в настоящее время ведутся дискуссии относительно самого факта существования национального характера. В западной гуманитаристике данная проблема зачастую решается отрицательно. Популярна мысль К. Поппера о том, что „ни одна из теорий, утверждающих, что нация объединена общим происхождением или общим языком, или общей историей, не является приемлемой или применимой на практике“³, а следовательно, и национальный характер — это некий фантомный, „виртуальный“ конструкт.

В отечественной гуманитарной науке в XX веке философ и социолог И. Кон также выразил скептическое отношение к самой постановке проблемы национального характера:

Тайная „голубая“ мечта — составить на каждый народ вроде психологического паспорта-характеристики, который давал бы его индивидуальный портрет. Увы, это неосуществимо даже для отдельного индивида⁴.

Однако следует отметить тот факт, что в отечественной гуманитарной науке в целом доминирует позитивное решение проблемы национального характера. Д.С. Лихачев рассуждает о нем следующим образом:

Национальные особенности — достоверный факт. Не существует только каких-то единственных в своем роде особенностей, свойственных только данному народу, только данной нации, только данной стране. Все дело в некоторой их совокупности и в кристаллически неповторимом строении этих национальных и общенациональных черт. Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности — значит делать мир народов очень скучным и серым⁵.

¹ См. об этом: У. Л и п п м а н, *Общественное мнение*, Москва 2004, с. 118–119.

² *Этнопсихологический словарь*, МПСИ. В.Г. Крысько, Москва 1999, с. 190.

³ К. П о п п е р, *Открытое общество и его враги: в 2-х т.*, т. 2, Москва 1992, с. 63–64.

⁴ И.С. К о н, *Нужна помощь психологов*, „Советская этнография“ 1983, № 3, с. 75–76.

⁵ Д.С. Л и х а ч е в, *О национальном характере русских*, „Вопросы философии“ 1990, № 4, с. 3.

Мы придерживаемся мнения, что национальный характер не является чисто номинальным образованием. Более того, мы полагаем, что национальная классическая художественная литература является наиболее значимым источником информации о нем. В романе Во *Незабвенная* проблема национального характера решается автором в контексте эстетических категорий иронического и трагического.

В литературной энциклопедии ирония определяется как „иносказание, задача которого — высмеять определенное явление или человека за счет употребления слов в противоположном значении, осуждение под видом похвалы”⁶. Разновидности иронии обусловлены функционально. Так, ирония, имеющая экзистенциальный статус, обозначается как трагическая. Противоречие, лежащее в ее основе, заключается в том, что „именно свободное действие человека реализует губящую его неотвратимую необходимость, которая настаивает человека именно там, где он пытался преодолеть ее или уйти от нее”⁷.

Уже в самом названии романа Во заключена трагическая ирония. Оригинальное название романа *The Loved One* дословно означает „Любимый / Любимая”. Рассматривая понятие любви в контексте американской и британской культур, мы не находим выражения сильного сердечного чувства. Как утверждает В.П. Шестаков,

отношение американцев к любви прагматично и рационально. [...] Искусство любви мало чем отличается от искусства приготовления пищи: все зависит от наличия ингредиентов и правильной пропорции в их приготовлении⁸.

По мнению Д. Рейфилда, „англичанин и англичанка ищут в любви не горячку, не пожар, а удобную душевную батарею”⁹. Любовь в современном прагматическом сознании англичан и американцев рассматривается как удобное приобретение, она лишена романтического ореола. Во наделяет главную героиню своего романа „говорящим” экзотическим именем — Эме Танатогенос (*Aimée Thanatogenos*), что означает „Любимая, смертью рожденная”. Именно к ней он относит название

⁶ Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия, под ред. А.П. Горкина, Росмэн, Москва 2006, с. 617.

⁷ Философский энциклопедический словарь, гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов, Советская энциклопедия, Москва 1983, с. 691.

⁸ Ш е с т а к о в В.П. Американская культура: в поисках национальной идентичности (часть II), „Культурологический журнал” 2013, № 1, [в:] электронный ресурс: http://cr-journal.ru/rus/journals/183.html&j_id=13 (20.11.2015).

⁹ Д. Р е й ф и л д, Заметки об Англии, „Иностранная литература” 1994, № 6, [в:] электронный ресурс: <http://trans.corp7.uniyar.ac.ru/for-translators/supporting-literature.html> (20.11.2015).

The Loved One — любимая, которую на самом деле не любили, но именно эту девушку главные герои никогда не смогут забыть. Следует отметить также мастерский перевод романа на русский язык: Борис Носик не только конкретизировал название с точки зрения гендера, но и подобрал слово, наиболее точно передающее оттенок английского „loved” для русской культуры — „незабвенная”.

В романе, действие которого происходит в США, английский национальный характер реализуется прежде всего в образах англичан-эмигрантов, представителей среднего класса. Именно с образами англичан связано ироническое начало его романа: Во изображает их полную уверенность в собственной правоте и превосходстве, а также то огромное количество правил и представлений о том, что „прилично”, а что нет, регламентирующих их повседневную жизнь. Образы персонажей-носителей английского национального характера пронизаны автостереотипностью, в которой также сквозит ирония. Колония англичан в США является воплощением таких типично английских качеств, как консерватизм, снобизм, приверженность традициям:

По-настоящему в крикет здесь играли лишь несколько молодых членов клуба: что касается подавляющего большинства его членов, то крикет занимал в сфере их интересов столь же малое место, как, скажем, торговля рыбой с лотка или сапожный промысел в оборотах лондонских оптовиков. Для них клуб был просто символом их принадлежности к английскому клану [...]. Здесь они могли вволю позлословить, не боясь, что их услышат чужеземные хозяева и покровители¹⁰.

Как справедливо отметил Г. Анджапаридзе, образ Эмброуза Эберкромби, „столпа” британской колонии в Америке, на протяжении всего романа выписывается автором с нескрываемой издевкой. Все, что осталось от Англии у сэра Эмброуза, — это „итонский галстук и совершенно абсурдный снобизм, выливающийся в глупейшие разговоры об «особом» месте англичан”¹¹. В рассуждения Эмброуза Эберкромби о великом предназначении англичан автор намеренно вкладывает затертые клише *keep the flag flying, show the flag* (не уронить марку, держать марку), причем персонаж каждый раз в разговоре об английской колонии употребляет одни и те же речевые клише. Таким образом И. Во косвенно показывает своему читателю, что сэр Эмброуз — ограниченный сноб, который не умеет выйти за пределы обмена этими клише. Они служат для него средством упрощения коммуникативной ситуации — для него намного легче отстаивать свое мнение избранными

¹⁰ И. Во, *Избранное*, перев. с англ., Лумина, Кишинев 1978, с. 487.

¹¹ Г.А. Анджапаридзе, *Предисловие*, [в:] И. Во, *Избранные произведения*, 3-е изд., Москва 1982, с. 16.

раз и навсегда языковыми средствами, а это в свою очередь косвенно подчеркивает еще и скудость его интеллекта.

Главный герой романа, поэт Деннис Барлоу, является динамичным персонажем, он способен изменить себя и пытается понять чужую культуру, быт, традиции. Уже в начале повествования он потерял лицо перед своими соотечественниками – устроился работать похоронщиком на „собачье кладбище“ (*pet's cemetery*). Хотя в поведении Денниса автором нарочно и заостряются некоторые специфически неприятные черты, служащие гротескному обыгрыванию ситуации, он все же выступает рупором писателя, носителем свежего взгляда в незнакомом месте, взгляда нормального человека, попадающего в извращенный мир. Именно с помощью Денниса Во обнажает истинную сущность происходящих событий, показывает процесс деградации американского образа жизни. Лишь в нескольких случаях автор позволяет себе дать оценку Америке от первого лица.

Так, например, Во мастерски использует перифраз, заменяя название страны (США) описанием ее определяющих черт и признаков, создающих полную и яркую картину. Чтобы показать безвкусицу, претенциозность американского образа жизни, вторичность многих его эстетических и этических ценностей, автор использует „злую“ иронию, сарказм, что объясняется выбором мастерски подобранного художественного слова – это „рай“ (*Eden*), „страна безродных и заблудших“ (*land of waifs and strays*). Выбор именно этих слов для описания США, во-первых, отсылает нас к далеко не образцовому прошлому этой страны (ведь всем известно, что сначала туда ссылали неугодных в Англии преступников, бродяг и бандитов), а во-вторых, к притче о блудном сыне, которая в данном случае является иронически освещенной евангельской коннотацией. С помощью эпитетов „безличное и равнодушное дружелюбие“ (*impersonal insensitive friendliness*), „бесцеремонность обращения и откровенность высказываний“ (*unceremonious manners and frank speech*) автор описывает свойственную американцам логику коммуникации – с одной стороны, конвенционально-безличную, с другой стороны, эмоционально-экспрессивную, но в обоих случаях чуждую эмпатии – сопереживанию ближнему, то есть по сути своей чуждую христианским ценностям, что дополняет образ Америки еще одной отрицательной чертой.

Главная героиня романа, Эме Танатогенос, одновременно и порождение американского образа жизни, и его жертва. Эме является воплощением женственности, уже исчезающей в современном прагматическом мире. В то же время, несмотря на постоянно подчеркиваемое автором отличие героини от других „однотипных“ американок, по верному утверждению С.Н. Филошкиной,

в поведении Эме, ее психологии, представлениях о жизни, усиленно подчеркивается тот примитивизм, та стандартность мышления, которые призваны представить героиню „продуктом“ узкого пуританского воспитания, прагматического подхода к жизни, влияния массовой культуры, всепроникающей рекламы¹².

Эти особенности американской культуры представлены в романе с резко отрицательной оценкой. Прежде всего, автор высмеивает американский культ „самого-самого“, погоню за идеалом, рекламу как одно из проявлений американского образа жизни и стремление на всем делать деньги. Все это органически переплелось в образе „Шелестящего дола“ (*Whispering Glades*) – элитной похоронной конторы. В романе действие главного героя, „поэта и собачьего похоронщика“ (*poet and pets' mortician*) Денниса, проезжающего в первый раз ворота кладбища „Шелестящий дол“, благодаря сравнению приравнивается по значимости к таким „священным“ актам, как первое посещение Ватикана священником-миссионером или первое восхождение верховного вождя на Эйфелеву башню. Более того, выражение „поэт и собачий похоронщик“, помимо явной антитетичности сфер высокого и низкого, содержит еще дополнительный паронимический эффект, основанный на созвучиях слов „поэт“ (*poet*) и „собачий“ (*pet's*) по-английски. Благодаря этим стилистическим приемам явственно сквозит ирония автора, осуждающая иррациональный облик современной цивилизации. Вместе с Деннисом читатель переступает порог „Шелестящего дола“, этого мира „наоборот“, мира, в котором нет ничего естественно человеческого, поскольку здесь надругательству подвергаются и смерть, и жизнь.

Однако „миром наоборот“ в романе оказывается не только похоронная контора. На наш взгляд, Новый Свет – это карнавализованная, перевернутая Англия, в которой консерватизм, чопорность, ограниченность и снобизм оборачиваются цинизмом и вседозволенностью, то есть Новый Свет – это не что иное, как „кривое зеркало“ Старого.

Занимаясь саморекламой, „Шелестящий дол“ не скупится на обещания для своих клиентов, развертывая перед ними тот образ, который они желают – если они выберут именно это похоронное бюро, то они не просто будут считаться элитой общества и лишний раз подчеркнут свой статус, более того, имена их „будут жить вечно“ (*their name liveth for evermore*), что позволит им войти в историю, а будущим поколениям знать таких „великих“ людей. „Шелестящий дол“ идет

¹² С.Н. Ф и л ю ш к и н а, *Зарубежная литература XX века: раздумья о человеке. Учебно-методическое пособие*, Воронежский государственный университет, Воронеж 2002, с. 107.

в ногу со временем, следя за политической ситуацией в мире и, не стесняясь, дает гарантии своим клиентам, что их бесценные могилы останутся „нетронутыми даже при ядерном взрыве“ (*It is certified proof against nuclear fission*). Здесь гипербола в рекламном тексте похоронной конторы достигает своего максимума, развеивая у большинства клиентов „Шелестящего дола“ последние капли сомнения, а у читателя вызывая лишь горькую улыбку.

Согласно американскому образу жизни быть некрасивой просто неприлично, „любая женщина должна стремиться стать идеальной, как модели на обложках журналов“¹³. Масса сил и средств уходит на то, чтобы придерживаться общепринятого стандарта красоты. Однако погоня за „идеалом“ в этой стране убивает все признаки уникальности, в результате чего не только во внешнем облике, но и в поведении людей прослеживается пугающее сходство, которое мастерски определил Во: „стандартный продукт“ (*the standard product*). Образ такого „стандартного продукта“ дополняется принятым в США конвенциональным общением, исходящим исключительно из безличных норм и стандартов. Это особенно показательно в общении Денниса со служащей „Шелестящего дола“, которая перемежает в своей речи фразы, характерные для нее как для служащей своего учреждения, и собственные комментарии.

Еще одна черта национального характера американцев – стремление к успеху и желание делать деньги – высмеивается автором в небольшом эпизоде, когда преподобный Эррол Бартоломью, отпевающий домашних животных, отмечает, что некоторые „новички“ (имеются в виду пасторы) берутся даже за психиатрию и столоверчение, однако даже при этом, а может быть и благодаря этому, служители культа в Америке пользуются глубочайшим уважением среди американцев.

Показателем американского характера можно считать также американскую улыбку. Известно, что американец жизнерадостен или, по крайней мере, улыбчив, особенно на работе. Начальник должен показать подчиненным, а подчиненные – клиентам, покупателям, что „у меня все О'кей!“. Как справедливо отмечает С. Тер-Минасова, „в западной культуре улыбка – это обязательный компонент обслуживания, формальный знак культуры, не имеющий ничего общего с искренним расположением к тому, кому ты улыбаешься“¹⁴. В Незабвенной сквозь ироническую призму Во мы видим Улыбку лучезарного детства

¹³ П.Л. Семешкина, *Медиабезопасность на рынке СМИ США: американские гляцевые журналы для женщин – тренд-сеттеры или распространители гендерных стереотипов?*, „Вестник Челябинского государственного университета“ 2013, № 22, с. 149.

¹⁴ С. Тер-Минасова, *Язык и межкультурная коммуникация*, Слово, Москва 2000, с. 190.

даже на улицах умерших, то есть автор использует здесь прием гиперболы, доводит стандартизированный образ американца до абсурда.

Таким мы видим типичного представителя американского национального характера в произведении Во *Незабвенная* — улыбчивого и жизнерадостного, стремящегося на всем делать деньги, не переходящего черту поверхностного знакомства, с сильной эгоцентрической составляющей. В образе англичанина проявляется приверженность традициям, снобизм и высокомерие, скудость эмоций, практичный склад ума и здравомыслие. В произведении Во *Незабвенная* в контексте иронического автором показывается столкновение Англии с ее исторической тягой к прошлому и Америки с ее культом прогресса — англо-американская трагедия. Писатель создает обобщенный образ чудовищного и трагического по своей сути мира. Художественно-речевой пласт романа в его функции выражения авторской иронии отражает „упадок и разрушение” современной цивилизации, которую Во высмеивает и отрицает.

Библиография

- А н д ж а п а р и д з е Г.А., *Предисловие*. Текст, [в:] И. В о, *Избранные произведения*, 3-е изд., Москва 1982.
- В о И., *Избранное*, перев. с англ., Лумина, Кишинев 1978.
- К о н И.С., *Нужна помощь психологов*, „Советская этнография” 1983, № 3, с. 75–76.
- Л и п п м а н У., *Общественное мнение*, Москва 2004.
- Литература и язык. Современная иллюстрированная энциклопедия*, под ред. А.П. Горкина, Росмэн, Москва 2006.
- Л и х а ч е в Д.С., *О национальном характере русских*, „Вопросы философии” 1990, № 4, с. 3.
- П о п п е р К., *Открытое общество и его враги: в 2-х т.*, т. 2, Москва 1992.
- Р е й ф и л д Д., *Заметки об Англии*, „Иностранная литература” 1994, № 6, [в:] электронный ресурс: <http://trans.corp7.uniyar.ac.ru/for-translators/supporting-literature.html> (20.11.2015).
- С е м е ш к и н а П.Л., *Медиабезопасность на рынке СМИ США: американские гляцевые журналы для женщин – тренд-сеттеры или распространители гендерных стереотипов?*, „Вестник Челябинского государственного университета” 2013, № 22, с. 149.
- Т е р - М и н а с о в а С., *Язык и межкультурная коммуникация*, Слово, Москва 2000.
- Философский энциклопедический словарь*, гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов, Советская энциклопедия, Москва 1983.
- Ф и л ю ш к и н а С.Н., *Зарубежная литература XX века: раздумья о человеке. Учебно-методическое пособие*, Воронежский государственный университет, Воронеж 2002.
- Ш е с т а к о в В.П., *Американская культура: в поисках национальной идентичности (часть II)*, „Культурологический журнал” 2013, № 1, [в:] электронный ресурс: http://cr-journal.ru/rus/journals/183.html&j_id=13 (20.11.2015).
- Этнопсихологический словарь*, МПСИ. В.Г. Крысько, Москва 1999.

MAŁE ŚWIĘTO JAKO NOŚNIK TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ
W POWIEŚCI *ТЕЛЛУРИЯ* WŁADIMIRA SOROKINA

THE SMALL FEAST AS A MEDIUM OF CULTURAL IDENTITY
IN THE NOVEL *ТЕЛЛУРИЯ* BY VLADIMIR SOROKIN

ANNA STRYJAKOWSKA

ABSTRACT. The article examines the category of feast in Vladimir Sorokin's novel *Теллурия*. The proposed interpretation of selected parts of the novel leads to the conclusion that in postmodern conditions, the phenomenon of *small feast* might take on the role of a medium of cultural identity.

Anna Stryjakowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
– Polska, a.stryjakowska@gmail.com

W akcentującej heterogeniczność i względność dobie ponowoczesności integracja społeczeństw wokół wspólnych wartości stanowi nie lada wyzwanie, preferowane stają się poziomy lojalności inne niż te fundowane na bazie narodowej czy etnicznej, co implikuje pytanie o status święta jako medium tożsamości kulturowej. Kultura postmodernistyczna asymiluje rzecz jasna zabawowy, dekonstrukcyjny pierwiastek fenomenu. Karnawałowe odczucie świata jest niewątpliwie jedną z kluczowych kategorii interpretacyjnych w odniesieniu do światowej literatury postmodernistycznej, staje się również cechą kultury ponowoczesnej jako takiej (Andrzej Szahaj określa ponowoczesność mianem „czasu karnawału”¹). Przestrzeń artystyczna utworów Władimira Sorokina daje się określić mianem hiperkarnawałowej, epatując poetyką skandalu, groteski, ironiczną i autoironiczną percepcją tradycji, kreując atmosferę pluralizmu i względności. Tak konstruowana narracja wydaje się ściśle sprzężona z orientacją ideologiczną przywiązanego do idei wolności pisarza, który, jak odnotowują literaturoznawcy², zdaje się porzucać wcześniejszą neutralną pozycję na rzecz

¹ A. S z a h a j, *Ponowoczesność – czas karnawału, postmodernizm – filozofia błazna*, [w:] *Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów*, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996.

² Zob. np.: М. П. М а р у с е н к о в, *Абсурдопедия русской жизни Владимира Сорокина. Заумь, гротеск и абсурд*, Санкт-Петербург 2012, s. 5–10; Г. Н е ф а г и н а, *Возвращение вперед Владимира Сорокина, или от деструкции – к конструкции (анти)утопического мира*, [w:] *От модернизма к постмодернизму. Русская литература XX–XXI веков. Сборник статей в честь проф. Халины Вашкелевич*, ред. А. Скотницка, Я. Свежи, Краков 2014, s. 558.

dyskretnej artykulacji swojego stanowiska wobec kondycji współczesnego człowieka i świata. Zasada ta doczekała się szczytowej realizacji w ostatniej powieści rosyjskiego pisarza pt. *Теллурия*³. W świetle dalszych rozważań warto zaakcentować geokulturowe rozszerzenie diapazonu literackiej refleksji postmodernisty: zyskawszy po wydaniu *Dnia oprycznika* i *Cukrowego Kremla* opinię celnego prognosty wydarzeń w Rosji, autor sytuuje akcję *Tellurii* również w rozmaitych zakątkach Europy Zachodniej.

W świecie artystycznym *Tellurii* rosyjski pisarz dokonuje swego rodzaju inwentaryzacji wspólnych dla przestrzeni europejskiej kolektywnych lęków, pragnień i nadziei, często z niemalą dozą ironii nadając literacką formę rozmaitym fobiom, prognozom i ideom towarzyszącym bieżącej debacie publicznej, a zwłaszcza dyskursowi medialnemu. Akcja powieści rozgrywa się w II połowie XXI wieku w realiach *nowego średniowiecza*, a dzisiejsza Rosja i Europa rozbite są na mniejsze organizmy państwowe po wyczerpujących konfliktach. W części z nich toczą się jeszcze działania wojenne, część odbudowuje swój potencjał po kilkuletniej okupacji przez islamskich fundamentalistów. Najbogatszym państwem, skupiającym uwagę niemal wszystkich bohaterów, jest rozpościerająca się w górach Ałtaju tytułowa Demokratyczna Republika Tellurii. Dysponuje ona strategicznym dla Europejczyków i świata potencjałem – to właśnie tam wydobywa się tellur, który jest powszechnie pożądanym narkotykiem, pod postacią gwoździ wbijanym do głowy przez wyspecjalizowanych cieśli.

Wyłaniająca się z mapy politycznej atmosfera dezintegracji potęgowana jest przez nietradycyjną dla gatunku kalejdoskopową strukturę dzieła, które składa się z pięćdziesięciu części zaledwie wprowadzających czytelnika w świat poszczególnych bohaterów – reprezentantów rozmaitych grup socjalnych, regionów geograficznych, a nawet rozmiarów i gatunków. Sorokin po raz kolejny wprowadza bohaterów w trzech „formatach” (normalnym, dużym i małym), a także postaci zoomorficzne. Każdy z nich posługuje się unikalnym językiem; lingwistyczne bogactwo dzieła potwierdza status autora jako mistrza stylizacji. Opisana atomizacja polityczna i społeczna nie doprowadziła jednakże do zupełnej erozji więzi kulturowych łączących mieszkańców Starego Kontynentu. Bogata intertekstualna przestrzeń powieści pozwala postrzegać ją nie tylko jako dystopijną wizję przyszłości, lecz także jako refleksję o europejskim dziedzictwie kulturowym. W spluralizowanym mikrokosmosie *Tellurii* można bowiem odnaleźć szereg elementów konstytuujących wspólną przestrzeń tożsamościową. Tym najbardziej oczywistym jest wspomniana potrzeba tellurowego transu, przed którą nie powstrzymuje nawet stosunkowo duże prawdopodobieństwo

³ Powieść nie została jak dotąd przetłumaczona na język polski; by zachować przejrzystość wywodu, będę jednak używać spolszczonej wersji tytułu: *Telluria*.

stwo śmierci. Pozytywnym elementem formującym europejską tożsamość okazuje się natomiast przechowana mimo wszechogarniającego rozpadu pamięć kulturowa, objawiająca się również jako fenomen implicytnie zakodowany w sposobie konstruowania narracji, który zdaje się orientować na przywrócenie i aktualizację zbiorowej świadomości w obliczu wyzwań i zagrożeń współczesnego świata.

W tak nakreślonym kontekście znaczeniowym warto usytuować kilka nośnych interpretacyjnie scen, miejsc szczególnej koncentracji sensu. Pierwszą z nich jest ukazany „od kuchni” reportaż telewizyjny z przywróconego po trzyletniej okupacji karnawału w Nadrenii Północnej-Westfalii. Reporter Richard Scholtz relacjonuje z Kolonii maskaradowy pochód Różowego Poniedziałku (Rosenmontag to kulminacyjny punkt kolońskiego karnawału), przypominając widzom o bolesnych wydarzeniach minionej wojny. Bohater, narzekając na polityków cierpiących na syndrom „krótkiej pamięci”, mówi o potrzebie pielęgnacji pamięci historycznej dla pomyślności przyszłych pokoleń, a także zaimplementowania poczucia dumy z młodego państwa i zaufania do prowadzonej przez nie polityki multikulturalizmu. Zorientowany na osiągnięcie tych celów dyskurs medialny wyraźnie eliminuje z pola widzenia konstytutywne dla karnawału cechy: ambiwalentny śmiech, ekscentryzm, skandal, nastawione na parodyjną delegitymizację systemu konwenansów i autorytetów. Zamiast tego powieściowa relacja z pochodu karnawałowego staje się narzędziem polityki historyczno-kulturowej, a w kolektywną świadomość wdrażane są nowe autorytety i schematy mentalne. Modelowe współistnienie kultury chrześcijańskiej i muzułmańskiej ma wyrażać się w parodyjnych figurach prezydenta Casimira von Lützowa i kanclerza Şafaka Baştırka, bohaterów wojennych, którzy zdołali odeprzeć natarcie talibów. Reporter Scholtz przeprowadza ponadto wywiady z innymi śmiałkami, wśród których znajdują się m.in. potomkowie jugosłowiańskich imigrantów i przedstawiciele mniejszości seksualnych, w tym Sabina Grgić – lesbijka, studentka wydziału humanistycznego. Pozornie spontaniczne rozmowy z tymi bohaterami również podporządkowane są polityce historycznej; widzowie bombardowani są szablonowymi hasłami typu „мир, завоеванный отцами в полях под Дуйсбургом”, „одолеть коварного и сильного врага”, „прославленный ас, воздушный гусар, защищавший небо нашей страны”⁴. Wyłaniający się z transmisji obraz powojennego świata wolno zatem postrzegać jako literacką transpozycję szeregu kolektywnych obaw i nadziei współczesności, dotyczących z jednej strony powrotu konfliktów zbrojnych do centrum Europy, separatyzmu i eskalacji islamskiego fundamentalizmu, z drugiej zaś solidarności w obliczu ataku fundamentalistów i możliwości jego od-

⁴ В. С о р о к и н, *Теллурия*, Москва 2013, s. 35–42.

parcia oraz rozwoju konstruktywnej współpracy umiarkowanych wyznawców różnych wyznań. W konstruowanej przez telewizję państwową atmosferze karnawałowy śmiech traci, jak zasygnalizowano, swoją ożywczą, ironiczną energię, przestając być wentylem bezpieczeństwa, ułatwiającym egzystencję w warunkach podporządkowania się regułom życia społecznego, i ograniczając się do naiwnej, bezpośredniej wesołości (choć przecież i we współczesnych, skomercjalizowanych kilońskich obchodach obecne są elementy satyry na aktualną rzeczywistość). Należy przy tym zastrzec, że karnawałowe antyzachowania są nieobecne w widzialnej przestrzeni medialnego obrazu karnawałowego pochodu, bo to wyłącznie na nim koncentruje się narracja. Ekspozowaną nieautentyczność dyskursu potęguje zestawienie prowadzonej przez Scholtza relacji telewizyjnej z obrazem jego życia prywatnego. Za kulisami medialnego spektaklu rozgrywa się dramat jednostek – dziennikarz okazuje się narkomanem cierpiącym na zespół stresu pourazowego. Z jego trudnym charakterem dzielnie zmagają się pragmatyczna partnerka, pałająca niechęcią do kolońskich obchodów karnawału i określająca narrację polityki historycznej mianem „патриотическая чунь”⁵, której przekazywanie pozwala wszakże pokonać chwilowy kryzys finansowy i wpisać się w ramy nowego społeczeństwa.

Konstrukcja omawianego fragmentu pozwala określić opisane w nim zjawisko mianem *dekarnawalizacji karnawału*, którą wolno rozpatrywać w optyce minus-chwytu. Uprawnioną wydaje się mianowicie teza, iż wytracanie się pozytywnej energii masowego święta wiąże się z karnawałowym charakterem ogółu rzeczywistości, która w obliczu skrajnej heterogenizacji nie pozostawia już pola do buntu i ironicznego komentarza. W kreowanej w powieści pluralistycznej przestrzeni niemieckiego państwa, wywodzonej z ponowoczesnej kultury otwartości, przekory i demokratycznej konsumpcji, karnawał jest wszak stanem permanentnym, codziennym, traci więc sens jego czasowa celebrowania; sam rytuał (jako zaledwie ślad pierwotnej obrzędowości) zostaje zatem wykorzystany do innych celów – instrumentalnie wpisany w oficjalne działania polityczne⁶. Co istotne, dekarnawalizacja karnawału nie oznacza bynajmniej rewitalizacji kultury powagi – możliwa wzniosłość musi w hurrapatriotycznym komentarzu medialnym ustąpić miejsca przesadnemu patosowi, sztuczności, sztampie, nastawionym na odgórną integrację masowego, niewymagającego odbiorcy wokół minimum wartości, jakim staje się bezpieczeństwo. Medialna inżynieria tożsamości operuje zatem zarówno płytkim śmiechem (przykładem

⁵ Ibidem, s. 47.

⁶ Oczywiście poza kontekstem literackim polityka historyczna jest naturalnym elementem polityki państwa, w danym wypadku zwracam jedynie uwagę na rugowanie elementu ironicznej gry z obrzędów karnawałowych.

może być moment apoteozy regionalnego piwa), jak i płytką powagą (cytowane szampowe okrzyki); wymowna jest ponadto degradacja kultury wysokiej – przywoływany przez Scholtza fragment *Fugi śmierci* Paula Celana nie wynika z jego erudycji, lecz zostaje, dzięki nowej technologii, automatycznie wygenerowany w oku reportera; wszelkie poważniejsze dygresje zdradzające mentalną samodzielność bohatera są z kolei natychmiast przerywane przez dziennikarkę ze studia. Mimo kreowanej przez media pozytywnej atmosfery zwycięstwa mamy zatem do czynienia z faktyczną degradacją święta w takim sensie, w jakim jest nią nakreślona w *Tellurii* próba desemantyzacji karnawału i jego zaadaptowania na potrzeby mało przekonującej polityki historycznej.

W konstruowanym metakontekście degradacji masowego święta jako nośnika tożsamości kulturowej uwaga odbiorcy przenosi się ku tym sensotwórczym epizodom, które określić można mianem *matych świąt*⁷. Kontrapunktem dla medialnej oprawy karnawału w Kolonii jest połowa uczta dwóch psiogłowych podróżników – poety Romana i filozofa Fomy, którzy zbiegli z prywatnego teatru, gdzie byli zmuszani do pracy jako aktorzy, i zmierzają w kierunku Tellurii. Ich erudycyjną rozmowę można streścić jako zderzenie dwóch postaw wobec obserwowanego wokół kryzysu paradygmatu oświeceniowego, nawiązujące do modnej filozofii Petera Sloterdijka, w szczególności opozycji cynizmu i kynizmu⁸. Do postrzegania osobliwej biesiady jako święta skłania postawa Fomy – filozof nakłania swego towarzysza do celebracji posiłku i poddania mięsa obróbce termicznej, uznając to za przymiot ludzki (samą ucztę określa nobilitującym mianem trapezy). Foma nazywa siebie postcynikiem i przeciwnikiem bestializacji; zachęca on swojego towarzysza do przewycięzania zwierzęcej natury i wewnętrznego samodoskonalenia na drodze ku duchowo-cieleśnej (etyczno-estetycznej) doskonałości, powołując się na wymogi kontekstu kulturowego i konieczność zadośćuczynienia społecznym oczekiwaniom odnośnie do wizerunku poety. Bohater korzysta z instrumentarium pojęciowego Slo-

⁷ Wprowadzoną kategorię można traktować jako swobodne nawiązanie do pojęcia *małej narracji* w rozumieniu J.-F. Lyotarda, wraz z towarzyszącymi mu w myśli ponowoczesnej pozytywnymi konotacjami. Zob.: J.-F. L y o t a r d, *Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy*, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997, s. 176.

⁸ Krytykowany przez Sloterdijka współczesny cynizm jest oświeconą świadomością fałszywą – cechuje jednostki świadome rozpadu ideałów i wielkich celów, jednak konformistycznie układające się z kultuwującym te iluzje społeczeństwem dla świętego spokoju i własnych korzyści. Postulowana przez niemieckiego myśliciela postawa kyniczna byłaby natomiast powrotem do cynizmu starożytnego, pryncypialnie bezczelnego i otwarcie demaskującego konformizm współczesnego cynika. Zob. szerzej: P. S l o t e r d i j k, *Krytyka cynicznego rozumu*, przeł. P. Dehnel, Wrocław 2008.

terdijka również wtedy, gdy nazywa siebie i Romana ofiarami antropotechniki – swoistego treningu pozwalającego zachować człowieczeństwo i objąć kontyngencję ponowoczesnego istnienia⁹. Nonszalancki Roman sytuuje się z kolei po stronie miłego Sloterdijkowi kynizmu, akceptując własną dwoistą naturę i bez skrępowania konsumując ludzką padlinę, którego to procederu nie poczytuje za ujmę dla swej profesji. Sorokinowski kynik podpira się zresztą bliską samemu autorowi tradycją poetów przeklętych, a konkretnie nazwiskiem Charlesa Baudelaire'a. W rozmowie pojawia się ponadto mniej bezpośrednie odwołanie do znanych wersów Anny Achmatowej („на поле брани лежат мозги, не ведая стыда”¹⁰), akcentujących egalitarną rozległość zainteresowań poezji. Roma, który najchętniej zaspokoiłby głód natychmiast, proces przygotowania posiłku nazywa „bzdurnym rytuałem”, włącza się wszakże w dialektyczną dysputę, przyznając, że jego marzenia związane są z ludzkim pierwiastkiem jego egzystencji, zdradzając odczytanie i humanistyczną wrażliwość (a także typowo ludzką predylekcję do konsumpcji alkoholu). W dalszej części osobliwego święta Foma, jakby na potwierdzenie swej przynależności do zakłamanych współczesnych cyników, po wygłoszeniu dydaktycznych formuł pod adresem „towarzysza w antropotechnicznym nieszczęściu” wyjmując wreszcie z plecaka ludzką głowę i wrzuca do wrzątku, by potem z nieskrywanym już apetytem skonsumować przygotowaną zupę, naigrywając się nieco z romantycznych inklinacji towarzysza. Spolaryzowane na początku postawy bohaterów zmierzają zatem ku spotkaniu: każdy z rozmówców wyraża gotowość podważenia swojej wyjściowej idei w toku intersubiektywnego dialogu, niejako asymilując oba pierwiastki autopercepcji. Na poły kanibalistyczna konsumpcja nie umniejsza przy tym wartości intelektualnej dyskusji, osadzając ją jedynie w iście Sorokinowskim kontekście hipernaturalistycznej cielesności. Sygnalizowany kontekst znaczeniowy pozwala uznać opisany fragment za swego rodzaju *pars pro toto* świata artystycznego Sorokina, zdolnego ulokować pewne wartości nawet w najgłębszych pokładach ciemnej materii. Nawet na polu bitwy, mimo panujących wojen, powrotu do feudalnego ucisku, (pozornej) degradacji ciała i ducha oraz przyzwolenia na kanibalizm, wśród psiogłowych istot nie ustaje bowiem intelektualna wymiana myśli pełna świadomych aluzji do europejskiej spuścizny kulturowej, rozpoznawalnych figur symbolicznych: zaznaczoną już bogatą intertekstualną przestrzeń opisywanej sceny uzupełniają m. in. odwołania do poezji rosyjskiej i radzieckiej, opery Richarda Wagnera *Lohengrin* oraz ikonicznych przedstawień świętego Krzysztofa (w tradycji wschodniej przed-

⁹ Zob. szerzej: A. Ż y c h l i ń s k i, *Making it explicit. Petera Sloterdijka anatomia antropotechnik*, [w:] tegoż, *Wielkie nadzieje i dalsze rozważania*, Poznań 2013.

¹⁰ В. С о р о к и н, op. cit., s. 202.

stawiany właśnie z głową psa). Tak konstruowana linia interpretacji pozwala upatrywać w scenie nadzieję na przechowanie w mikroskali głębokich treści kulturowych, które tym razem pielęgnowane są oddolnie, na zasadzie dobrowolnej partycypacji (a nawet na przekór półzwierzęcej naturze), a nie poprzez skrajnie spływający dyskurs medialny, narzucający skompromitowane metanarracje. Pożądana aktualizacja europejskiej tożsamości kulturowej staje się w bieżącej konstelacji możliwa na poziomie mikrowspólnot, tworzących ponadnarodową sieć lojalnościową.

Dyskretnie snuta antropologiczna refleksja oraz zagęszczenie sieci intertekstualnych asocjacji uprawnia ponadto do wysublimowania wartości naddanej opisywanego spotkania, nadania mu w toku interpretacji statusu bachtinowskiego *со-бытия*, a więc wydarzenia dialogowego, zorientowanego na wypracowanie podmiotowości w kontakcie z drugim człowiekiem¹¹. To właśnie budowanie własnej godności wydaje się bowiem nadrzędnym celem wędrowców – swoją drogę nazywają oni „ucieczką z poniżającej przeszłości”; rejterada z teatru zyskuje rangę symbolicznego zerwania z koniecznością udawania kogoś innego na rzecz konstruowania własnej tożsamości, ku czemu jako erudyci mają wszak ogromny potencjał. Mentalna emancypacja wiąże się w danym wypadku z sygnalizowanym wyzwaniem asymilacji pierwiastka zwierzęcego i ludzkiego, które również wydaje się mieć szansę na realizację. Proces dialogicznego fundowania podmiotowości zostaje jednak zakłócony w kulminacyjnym momencie symbolicznego zawładnięcia wiedzą – przez odnalezienie w spożywanym mózgu kuli oraz tellurowego gwoźdźca, co przypomina odpowiednio o śmiertelności, kruchości życia oraz o możliwości spotkania z transcendencją. Moment ten okazuje się zgubny: jesteśmy świadkami swego rodzaju „zapomnienia” budzącej się w trakcie uczyty autonomicznej podmiotowości i „przypomnienia sobie” celu wędrowki: osiągnięcia tellurowego transu, postrzeganego przez zagubionych wędrowców jako absolutny punkt oparcia, spełnienie mglistych marzeń o szczególnej mocy, nadczłowieczeństwie. Bohaterowie zaczynają jak gdyby deprecjonować swoje kompetencje, nie dostrzegają podmiotowości budzącej się *hic et nunc* w spotkaniu dwóch myślących jednostek, uzależniając osiągnięcie pełni szczęścia od kontaktu z gloryfikowanym półmetalem. Warto dodać, iż owo przesunięcie optyki uwypuklone zostaje przez zmianę w konstrukcji dialogu – intelektualnie nasycone, autoironiczne repliki przechodzą w naiwne okrzyki ku chwale cudownego telluru:

¹¹ Zob.: М.М. Бахтин, *Автор и герой в эстетической деятельности. Проблема автора*, [w:] źródło elektroniczne: <http://mmbakhtin.narod.ru/probl.html> (31.10.2015). Za zwrócenie uwagi na zagadnienie podmiotowości dziękuję dr Annie Katarzynie Przybysz.

Роман. Так не хочется терять веру в мечту.

Фома. Мечта всегда с нами. Она — наш Альтаир!

Роман. Мы возьмем этот гвоздь с собой?

Фома. Нет! (*Бросает гвоздь в траву*). Он пуст. Ибо уже сделал свое дело, подарил мечту воину. А нам нужны новые, сияющие гвозди. Этих гвоздей жаждут наши измученные мозги!

Роман. Гвозди сияющие, несущие радость и мощь.

Фома. Радость!

Роман. Мощь!¹²

Zarysowana możliwość interpretacji sytuuje epizod w szerszym kontekście Sorokinowskiej antropologii, jednym z głównych motywów twórczości Rosjanina jest bowiem zapoznanie osiągnięć mentalnej emancypacji jednostki w autodestrukcyjnej służbie wielkim narracjom (postrzeganej jako regres, reifikacja, dehumanizacja). O ile zatem małe święto uruchamiające oddolną intelektualną debatę rzeczywiście przejmuje w danym wypadku funkcję nośnika kulturowej tożsamości, o tyle bezwiednie akumulowana w jego trakcie energia wydaje się powoli wytracana na rzecz nowego absolutu. Rozpatrując dany fragment w relacji do sceny degradacji karnawału, można wszelako zauważyć, że w toku uczty psiogłowych intelektualistów energia święta jest faktycznie gromadzona (czy też wyzwolona w procesie intersubiektywnego dialogu), podczas gdy koloński karnawał odbiorca ma okazję poznać już jako święto zdegradowane, energetycznie puste. Pewną nadzieję na autorefleksję dają dyskretne ślady — podróżnicy zasypiają syci i objęci; w obu fragmentach rozpoznane zostaje niebezpieczeństwo uległości wobec wielkich projektów ideologicznych, pretendujących do organizacji zbiorowej wyobraźni (polityka historyczna, moc telluru). Wedle słów Fomy „мечты изматывают” (wyczerpują, wykańczają). Dokładnie tego samego określenia używa Silke, opisując męczące działanie karnawału i wykazując duży stopień sceptycyzmu wobec medialnej manipulacji pamięcią¹³. Akcentowane zmęczenie wolno rozpatrywać jako sygnał, iż bohaterowie są świadomi destrukcyjnej energii nowych wielkich narracji, nastawiających na ich indywidualną autonomię.

Fragmentem dopełniającym kontekst małego święta może być scena z życia petersburskiej bohemy — zgromadzeni dekadenci (*notabene* również cytujący Baudelaire’a) pragną w osobliwy, egocentryczny sposób odtworzyć obraz Edvarda Muncha *Bohema Krystianii*: przyjmują analogiczne pozy i za pomocą „mądrali” (w oryg. ros. *умница* — rodzaj futurystycznego tabletu) robią sobie „selfie” na tle obrazu, by z niemałą satysfakcją

¹² В. С о р о к и н, op. cit., s. 208. Zabieg stopniowego ubożenia języka bohaterów ulegających zgubnemu wpływowi ideologii stosuje Sorokin również w *Trylogii* (powieści *Lód, Bro i 23 000*).

¹³ Por.: В. С о р о к и н, op. cit., s. 46 i 213.

skonstatować tożsamość obu dzieł i oddać się obowiązkowej orgii. Parodystyczny wydzźwięk sceny nie deprecjonuje obrzędu, przeciwnie – dzięki zabiegowi rekontekstualizacji i osobistemu, familiarnemu stosunkowi bohemy do dzieła wybitnego malarza wolno mówić o aktualizacji konceptu, przechowaniu artefaktu wysokiej kultury w indywidualnej pamięci, cennym oddolnym zaangażowaniu i woli partycypacji w procesie odnawiania tradycji.

Przywołane powyżej małe święta psiogłowych intelektualistów i bohemy przyszłości można uznać za renowację karnawału, jak również potwierdzenie ponowoczesnej relokacji tej kategorii ze sfery temporalnej obrzędowości na poziom codziennej egzystencji i światoodczucia. Eksplcytnie wybrzmieć w tym miejscu powinny takie sygnalizowane już karnawałowe cechy obu opisywanych fragmentów, jak: akcentowanie dialogowego charakteru prawdy, zniesienie ograniczeń (np. między zwierzęcością a humanizmem w dialogu cynocefalów oraz między oryginałem a kopią w kulturalno-cieleśnej orgii bohemy) i ironiczny (ale zarazem dowartościowujący) stosunek do tradycji – ambiwalentny śmiech staje się w tym zakresie strategią reakcji na światowy kryzys i motorem aktualizacji tożsamości kulturowej.

W podsumowaniu rozważań wolno uznać powieść *Telluria* za afirmacyjny manifest przynależności do europejskiej przestrzeni kulturowej, pewien hołd wspólnej spuściźnie, współkonstruujący sieć twórczych impulsów, łączącą rosyjski i europejski dorobek artystyczny. Wyposażenie bohaterów w zaakcentowaną tu kompetencję świadomego kultywowania pamięci kulturowej, często na przekór społeczno-politycznemu zamętowi bądź cielesnym ograniczeniom, wzmacnia intertekstualny potencjał Sorokinowskiej powieści i jest wyrazem dowartościowania literatury, twórczości artystycznej, namysłu filozoficznego, które mają nadzieję zachować swe doniosłe znaczenie mimo ponowoczesnego rozpadu innych układów odniesienia. Parodyjna wymowa intertekstualnych nawiązań, podobnie jak podejmowana na metapoziomie polemika Sorokina ze sztabowym, usakralizowanym wizerunkiem twórców i ich dzieł, obniżanie patosu pierwowzorów nie kwestionuje ich wartości, lecz wiedzie ku ożywczej rekontekstualizacji, prowokującej odbiorcę do intelektualnego wysiłku. Właściwe *Tellurii* zogniskowanie fabuły na europejsko-rosyjskim obszarze cywilizacyjnym zyskuje wreszcie szczególną wymowę w relacji do bieżących wydarzeń politycznych. Sytuując rozważania o przyszłości Rosji w kontekście paneuropejskim, Sorokin po raz kolejny ujawnia oblicze *rosyjskiego Europejczyka*, w równym stopniu zainteresowanego losami własnego kraju i całego kontynentu, narcystycznym projektem izolacji przeciwstawiającego humanistyczne poczucie ponadnarodowej lojalności. Wolno przy tym mówić o pewnym elitaryzmie Sorokina, który w obliczu powszechnej degrengolacji

lady, postępującej intelektualnej degradacji, zdaje się poszukiwać możliwej strategii funkcjonowania liberalnie nastrojonego intelektualisty, odnajdując go właśnie w ożywczym dialogu jednocześnie zaangażowanych i zdystansowanych (wobec metanarracji) jednostek.

Bibliografia

- L y o t a r d J.-F., *Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy*, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.
- Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów*, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996.
- S l o t e r d i j k P., *Krytyka cynicznego rozumu*, przeł. P. Dehnel, Wrocław 2008.
- S z a h a j A., *Ponowoczesność – czas karnawału, postmodernizm – filozofia błazna*, [w:] *Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów*, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996.
- Ż y c h l i ń s k i A., *Making it explicit. Petera Sloterdijka anatomia antropotechnik*, [w:] tegoż, *Wielkie nadzieje i dalsze rozważania*, Poznań 2013.
- Б а х т и н М.М., *Автор и герой в эстетической деятельности. Проблема автора*, [w:] źródło elektroniczne: <http://mmbakhtin.narod.ru/probl.html> (31.10.2015).
- М а р у с е н к о в М.П., *Абсурдопедия русской жизни Владимира Сорокина. Заумь, гротеск и абсурд*, Санкт-Петербург 2012, s. 5–10.
- Н е ф а г и н а Г., *Возвращение вперед Владимира Сорокина, или от деструкции – к конструкции (анти)утопического мира*, [w:] *От модернизма к постмодернизму. Русская литература XX–XXI веков. Сборник статей в честь проф. Халины Вашкелевич*, ред. А. Скотницка, Я. Свежи, Краков 2014, s. 558.
- От модернизма к постмодернизму. Русская литература XX–XXI веков. Сборник статей в честь проф. Халины Вашкелевич*, ред. А. Скотницка, Я. Свежи, Краков 2014.
- С о р о к и н В., *Теллурия*, Москва 2013.

ЛИТЕРАТУРА КАК МИФ И ГИПЕРТЕКСТ
В БЕСКОНЕЧНОМ ТУПИКЕ ДМИТРИЯ ГАЛКОВСКОГО
(К РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИОСОФСКОЙ МОДЕЛИ)

LITERATURE AS MYTH AND HYPERTEXT
IN *THE INFINITE DEADLOCK* BY DMITRY GALKOVSKY
(TOWARDS A RECONSTRUCTION OF THE HISTORIOSOPHICAL MODEL)

ROMAN SZUBIN

ABSTRACT. This article is devoted to reconstruction of the historiosophical concept in Dmitry Galkovsky's novel *The Infinite Deadlock* (*Бесконечный тупик*). The author pays particular attention to the criteria of historiosophy: *mythologism, ambivalence of consciousness, hesychast tradition, eidetic language, a universal man (absolute personality)*. He highlights the demythological factor in Galkovsky's creative work, its cultural and national nihilism. The author analyzes the image of the main character's identity, who is capable of identifying himself, who is humiliated or ingenious. In passing, the author considers the idea of common history in which the eras which dialectically deny each other's coexistence.

Roman Szubin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
szubin@gmail.com

Судьба книги писателя, философа и публициста Дмитрия Галковского *Бесконечный тупик* (далее – *БТ*) удивительна. Написанный в 1988 году, в зените горбачевской перестройки и гласности, роман *БТ* подвергся травле и, методично бойкотированный издательствами, был полностью опубликован только в 1997 году на пожертвования друзей. Критика посыпалась со всех сторон: молодого автора обвиняли в антисемитизме и русофобии, графомании и невежестве, плагиате и порнографии. В конце 90-х возникла мода на Галковского в науке: его произведение попало во все учебники по современной литературе, изучалось как крупное явление постсовременности и постмодернизма. Небольшая же часть филологов склонна была рассматривать *БТ* в „дискурсе национального самосознания”¹.

¹ С. Ороби, „Бесконечный тупик” Дмитрия Галковского: структура, идеология, контекст, Благовещенск 2010, с. 10–11.

Выпускник философского факультета МГУ Дмитрий Евгеньевич Галковский (1960 г. р.) смог творчески реализоваться не в научной академической или в литературной среде, а как „свободный художник” и блогер в Интернете. Одиночество — неизбывная тема его писательства, интеллектуальной жизни, поэтому неслучайно в *BT* в качестве „личностного начала” выбран герой с фамилией Одинокоев. Можно считать исключением (а исключение также фактор одиночества), что среди гуманитариев столь высокого уровня он единственный, кто всерьез увлекся Интернетом и компьютерными играми. Заметим, что фрагментарная структура гипертекста *BT* на несколько лет предвосхищает массовое распространение Всемирной Сети. Д. Галковский — автор философии геймера (*Движение утят*) и оригинальной концепции истории.

Форма. Своей провокационностью и адогматическим пафосом напоминая *Апофеоз беспочвенности* (1905) философа-экзистенциалиста Льва Шестова, *Бесконечный тупик* подражает и форме этого сочинения: афористической, фрагментарной, не имеющей линейной наррации. Жанровая сложность романа, безусловно, связана с тем, что роман *BT* не описательный, а метанарративный, это метароман, который часто определяют как филологический роман, философский роман, роман-меннипея. Основную массу текста занимает обширная, более чем на 1000 страниц, разветвленная сеть цитат и авторских комментариев и примечаний к „основному тексту” и к другим комментариям.

В третьем издании, 2008 года, роман представлен наиболее полно и обнаруживает древообразную структуру, отображенную на форзаце книги. Развивая заложенную в тексте метафору дерева (ср. фразу „мысли ветвятся и растекаются по дереву”), мы можем описать структуру романа следующим образом: „корнем” является ранняя работа *Закругленный мир* (1983–1984), „стволом”, или основным текстом, — статья *Бесконечный тупик* (1984–1985), „ветвями” — 949 комментариев к основному тексту *Примечания к „Бесконечному тупику”* (1988), „плодами” — рецензии и письма, внесенные в роман по примеру Владимира Набокова. Некоторые из них мистифицированы (например, статья профессора Дитриха фон Хальковски, в имени которого угадывается анаграмма на имя Дмитрий Галковский).

Гипертекстовой характер романа выполняет деструктивно-конструктивную функцию: разрывая линейную наррацию прозы, комментарии взаимодействуют друг с другом как рифмы, дополняя друг друга, соединяя на новом смысловом уровне разорванные края — здесь как раз подходит первичное значение *textus* ‘ткань’. Этим самым создается корреляция формы романа с „круглотой” русского мышления, с „закругленностью” русского самосознания. Книга репрезентирует мышление, становясь им, то есть не описывает бытие, а „бытийствует”

в русском понимании этого слова². Галковский через своего героя Одинокова пытается прорвать замкнутую линию русского мышления и „живого“ русского языка, представляемого в виде виниловой пластинки с ее витками-дорожками (БТ, 39)³. При этом сам он является частью этого круга, а фрагменты романа и есть каждый оборот иглы по пластинке. Чтобы перейти на другой виток, фрагмент должен быть прерван, а не окончен. Но напряженная попытка выйти из себя, за пределы своего мышления оканчивается стремлением к целостности и фундированием самого себя в „круглом“ русском мышлении, о чем свидетельствует само название. По словам псевдорцензента БТ Семена Шапкина, автор „накачал огромное силовое поле, магическим кругом защищающее все порождения его фантазии, но *внутри бесконечной круглой оградь...*“, растворяясь в „*Великом Одиноком океане, бесконечном тупике последнего молчания*“ (БТ, 1062).

В дальнейшем мы сосредоточимся на проблеме выделения критериев историософичности и символов историософского измерения романа (круг, молчание, тупик).

Демифологический пафос романа. Написанный в период гласности и повсеместного развенчания „идеалов“ и „идолов“, роман Галковского представляет собой острый памфлет против традиционного, канонического, школьного подхода к русской литературе. Критика Галковского нацелена в русский литературоцентризм, в силу чего литература выполняет функции религии и философии. Симптоматична ситуация, когда философия зарождается в литературе, в искусстве (Ф. Достоевский, В. Набоков, А. Платонов), философы становятся священниками (о. П. Флоренский, о. С. Булгаков, о. В. Зеньковский, о. Георгий Флоровский), монахами (А. Лосев), писателями (Б. Пастернак) и публицистами (В. Белинский, В. Розанов), а западная философия трансформируется в христианизированную историософию (П. Чаадаев), русскую религиозную философию (Н. Бердяев и др.), софиологию (В. Соловьев), осуществившую своеобразный „синтез отвлеченных начал“ и ставшую, по выражению Бориса Гройса, „философски сформулированной анти-философией“⁴.

По замыслу автора *Бесконечный тупик* — роман антиинтеллигентский. Обвинению прежде всего подвергается мифотворческая тенденция русской интеллигенции, которая во главу угла своего самосозна-

² М. Э п ш т е й н, *Слово и молчание: метафизика русской литературы*, Москва 2006, с. 183.

³ Д. Г а л к о в с к и й, *Бесконечный тупик: в 2 кн.*, Издательство Дмитрия Галковского, Москва 2008. Здесь и далее — ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием названия БТ, номера тома и номера страницы.

⁴ Б. Г р о й с, *Поиск русской идентичности, „Вопросы философии“* 1992, № 9, с. 52.

ния поставила искусство и „самый лживый вид искусства” — литературу. Примером такого мифотворчества может служить *История русской общественной мысли* (1906) Иванова-Разумника, в которой история России проецируется на историю литературы, в силу чего исторические процессы были восприняты в качестве борьбы светлых и темных сил. Согласно логике мифотворчества революция интерпретируется как победа светлых сил над темными, положительных героев-революционеров над мещанством. Эту „наивную” интерпретацию Галковский дополняет более сложным „конспирологическим мифом” всемирной революции, импортированным масонством и зародившимся в умах русских мыслителей-космистов: К. Леонтьева, Н. Федорова, К. Циолковского, чьи идеи по горькой иронии истории реализовались в создании ГУЛАГа, „лагерно-тюремной Индии”, если под последней понимать штрафной барак и его жителей⁵. В этом подсознательном для русской ментальности мифе происходит незаметное „смещение понятий добра и зла, фундаментальных категорий духовного мира”, выявленное В. Набоковым. По прочтении романа *Приглашение на казнь* Галковский констатирует: „Коммунизм — это и есть такое смещение, сдвиг элементарных понятий. Вся русская история с 1917 по 1937 год есть развертывание и реализация этого смещения” (БТ, 1106).

Амбивалентность русского мышления. Пафос нигилизма Галковского пронизывает рефлексии над русским мышлением и русским языком: русский язык объявляется „лживым”, русское мышление — „двойственным”, „круглым”, то есть самодостаточным и мифологическим. Русский язык „принципиально нефилософский язык. Русский язык мним” (БТ, 1103). Архетипом русского писателя является „деревенский враль” (БТ, 910), типологически связанный с юридическим, не отстраненный софист, а „враль от Бога”. А русская литература культивирует так называемые „заглушки” для интеллигенции, некритически воспринятые мифологемы.

Однако критикуя амбивалентность, Галковский в зоне той же амбивалентности формирует свое видение русского самосознания. Так, в силу упомянутой двойственности подлинным русским философом объявляется Василий Розанов (ему посвящена основная статья — прототекст *Бесконечный тупик*), публицист крайне противоречивых взглядов, но вписывающийся в структуру амбивалентной русской личности. В качестве правдивого русского писателя выбирается Владимир Набоков, в заслуги которому вменяется тотальный нигилизм к русским классикам и метафизический разрыв с русской классической, софийной, соборной культурой. Набоков „не „революционер”, а реакционер. [...] В Набокове русская культура остыла, окаменела” (БТ, 1147).

⁵ Ж. Р о с с и, *Справочник по ГУЛАГу: в 2-х частях*, ч. 1, Москва 1991, с. 138.

Автор не скрывает своего увлечения Набоковым, самость Набокова адекватна настроениям Одинокова-Галковского.

Исихастский сюжет и эйдетический язык. В. Розанов, В. Набоков, а также Ф. Достоевский выражают так называемый „исихастский характер русской словесности“ (БТ, 1139), „русский талант высокого молчания — безмолвствования“ (БТ, 228), ориентированный в своих истоках на исихазм (от греч. *спокойствие, уединение*) — аскетическую практику „умно-сердечной молитвы“, возникшую в византийском Православии в XIV веке и разработанную Григорием Паламой. Главной чертой этой практики является безмолвное созерцание божественных энергий (обожение), исихастов называли „священно-безмолствующими“.

Тема молчания русской культуры, безмолвия русского человека переосмысливается Галковским в пользу русской словесности: „Молчание — золото« — самая литературная поговорка“ (БТ, 1108), и далее: „из Руси молчаливой возникла великая русская литература. Писаревы же и Чернышевские — из пьяной болтовни“ (БТ, 1109). К молчанию сводится бесконечное говорение автора *Бесконечного тупика*.

Проблема молчания и исихазма у Галковского вводит нас в круг тем, связанных с основами русской культуры, с ее „духовностью“, в которой можно выделить парадигму *двуголосия, непрямого говорения, эйдетического языка* (от *эйдос* — вид, образ), *софийного мышления*. Первые две концепции связаны с именем Михаила Бахтина, третья — с Алексеем Лосевым и Л. Гоготошвили, четвертая — с направлением русской философии первой трети XX века — софиологией. В этих концепциях проявляется доминирование *означающего* над *означаемым*, *мифа* над *логосом*, как над *что*, имяславческого тезиса „*имя есть вещь*“ над антитезисом „*вещь не есть имя*“, сопровождаемое „погашением акта именования в пользу неименующей символической референции, [...] тезисом о принципиальной „непрямоте“ смысла на естественном языке“⁶. Модус непрямого говорения, когда родной язык *изображается* как иностранный⁷ (или *лживый* у Галковского, эйдетический у Гоготошвили), обеспечивает автору БТ положение внаходимости, дистанцирования от „заглушек“ интеллигенции, а сам предмет изображения — русский язык в устах Ленина, сталинского прокурора Вышинского, революционеров, некоторых писателей и т. д. — начинает отражать сознание говорящего, разоблачая его. Или, если быть ближе к стилистике романа, язык становится вариантом оруэлловской *уткоречи*⁸ — речи, произ-

⁶ Л. А. Г о г о т о ш в и л и, *Непрямое говорение*, Москва 2006, с. 418.

⁷ М. Б а х т и н, *Собрание сочинений*, т. 3, Москва 2012, с. 171, 551.

⁸ Напомним, что Д. Галковский — составитель антологии советской поэзии *Уткоречь* (Псков 2002), собранной из произведений второстепенных поэтов, моделирующих эсхатологическую модель — матрицу русского самосознания.

водимой гортанью, независимо от мозга: „говорить так, как крикает утка” (БТ, 335).

В случае с концепцией эйдетического языка стоит задаться вопросом: кто есть субъект такого языка, кто говорит на нем? Очевидно, что это не может быть частная личность, но такая, которая является „квинт-эссенцией национальной идеи”, а это личность собирательная, всечеловеческая. Ответ отсылает нас к проблеме личности в *Бесконечном тупике*.

Проблема личности как всечеловека для героя в *Бесконечном тупике* является едва ли не самой жизненной. И эта проблема также погружена в зону амбивалентной интерпретации, в которой личность (индивид) приобретает черты сверхличности, надындивидуальной личности, а безличные формы (коллективность, народ, национальное самосознание) индивидуализируются. Очевидно, что в русском самосознании есть предпосылки появления личности софийного типа, наподобие „брата всех людей” — *всечеловека* Пушкина в *Пушкинской речи* Ф. Достоевского. Как вне Софии, Премудрости Божьей, не может быть ничего, так и вне всечеловека не может существовать другой, частной личности. Такого типа личность — продукт русской философии. В ней можно найти такие образования, как „всечеловеческий организм” В. Соловьева, „симфоническая личность” Л. Карсавина, „мирочеловек” С. Булгакова, „многочеловеческая личность” Н. Трубецкого, „абсолютная личность” Г. Шпета и А. Лосева, „Весьчеловек” М. Пришвина. Даже в своем герменевтическом описании русского сознания Вардан Айрапетян внедряет конструкт „мировой человек”, созданный по принципу „если никто, то все как один” на основе поговорки „Мир — велик человек”⁹. Но и в мировой мысли встречается антропоморфный Абсолют: *всемирный человек (homme universel)* Блеза Паскаля, *универсальное тело (universal human body)* Нортропа Фрая, *Единый-единственный человек* Ойгена Розенштока-Хюсси.

На протяжении всего романа герой окружен примерами и образцами личностей, приобретающих „нечто циклопическое”, сверхличностное. В истории — это культ личности (Сталин), вождизм (от Ленина до Горбачева), апофеоз сильного человека (стахановец); в семье — отец Одинокова, любимый, но слабый человек, хотя по-своему сильная личность; в философии — *всечеловек* Достоевского, *Богочеловек* Соловьева; в литературе — положительный герой как таковой, герой-революционер и положительный образ писателя-интеллигента; в религии — Бог-личность и олицетворенный черт, антихрист. Из этого кру-

⁹ В. А й р а п е т я н, *Толкуя слово. Опыт герменевтики по-русски*, Москва 2011, с. 124.

га выпадает личность западного образца, секуляризованный человек постренессансного типа, познавший свободу воли (Пришвин). Наоборот, понятные и доступные Западу личности Достоевского, Розанова и Набокова в прозе Галковского становятся мифологическими мета-личностями, личностями-вселенными, вбирающими в себя компонент *всечеловека, безличия*. Одинокоев среди этих личностей раздавлен, он не личность даже, а находится в убывающей прогрессии (признается в слабости, в суицидальных наклонностях), между единицей и нулем. Он мечтает стать „абсолютным нулем“ — „всё-таки нечто циклопическое“ (БТ, 105).

Положение героя Одинокоева между нулем и циклопом, между частной личностью и личностью-вселенной, с одной стороны, предельно униженной, а с другой — стремящейся к гениальности, концептуализируется цитатой из Дж. Оруэлла:

Произошло раздвоение. ... Раздвоение-двоемыслие это высший тип мышления члена англосоевского общества. При этом человек сохраняет преимущества индивидуальной избирательной реакции на действительность, и одновременно всё же не является личностью (БТ, 76).

Возможно, это один из близких ответов на вопрос об абсолютной личности Одинокоева: быть не личностью, но всечеловеком (над личностью) и обладать индивидуальными реакциями.

Метамифология. Очевидно, что демифологизация русского мифа, мифа Соловьева, Толстого, Чехова, Ленина и др. связана с попытками установить новый миф или, словами героя Одинокоева, *метамифологию* (иначе — „вторичную интеллектуализацию“).

Ведь только человек, уверенный в собственной гениальности, может взяться за создание метамифологии (то есть мифологии, в которой потенциально возможно существование самосознания) породившей его цивилизации. Я, Одинокоев, должен выступить в виде квинтэссенции национальной идеи, выразить её с максимальной интенсивностью и ясностью. [...] Вобрать эту априорную установку внутрь постепенно распадающегося повествования, сделать её анализ одной из форм этого распада (БТ, 228).

Неслучайно Сергей Орбий считает эту реплику ключевой в романе. Описывая „противоречие между Словом отца и Молчанием матери“, исследователь полагает, что только личность способна демифологизировать реальность. Однако „в условиях постмифологического сознания, то есть сознания современного человека, последовательная реконструкция своего хода мышления и оказывается единственным способом создания мифа“¹⁰. Заметим: исследователь здесь признает безуспеш-

¹⁰ С. Орбий, указ. соч., с. 128–129.

ность попытки Галковского выбраться из-под власти эйдетического языка и избавиться от доминирования мифа над мышлением.

Реконструкция историософской модели. Мотив „проспективного анамнезиса“ (припоминания будущего, того, чего нет) типичен для восточно-христианской историософии и связан с „особой темпоральной логикой, предполагающей, что пребывание во времени, которое оставили позади себя другие [т. е. отставание в истории — Р.Ш.], открывает возможность для сверхкомпенсации — для обгона соперников, участвующих в диахроническом состязании, в борьбе за власть над историей”¹¹.

Для Галковского в этой связи главным становится вопрос: русская история — это свершение того, что невозможно, но о чем уже помыслено. Вадим Руднев на этом основании писал, что в понимании Галковского русская литература обладала „креативностью (все сказанное превращается в действительность); революкативностью, то есть оборотничеством (все сказанное превращается в действительность, но в наиболее искаженном, нелепом и неузнаваемом виде); провокативностью (склонностью к издевательству, глумлению, юродству)”¹².

Если действительность — реализация слова, то вслед за В. Розановым Галковский считает, что русская история — это реализация, разворачивание мифа.

Розанов сказал, что „идеи сильнее царств”. Поэтому он предвидел... *развертку в реальность мифологии русской интеллигенции, с одной стороны, и мифологии русского еврейства — с другой* (БТ, 1134).

Для Галковского нет разрыва между дореволюционной и пореволюционной эпохой: вторая разворачивается из первой, реализуя идеи и утопии великих мечтателей. Так достигается сосуществование эпох и этапов, диалектически отменяющих друг друга. Прошлое постоянно мистифицируется; зримым примером такой мистификации может служить воплощение идеи единой истории в кинофильме Карена Шахназарова *Город Зеро* (1988), а также — в наше время — во время торжественного открытия Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Даже сталинский период истории представляется как необходимая „расплата” за революцию и расплата с революцией. Однако даже расплата не уберегает интеллигенцию от мифотворчества в период ее геноцида. Мифотворчеством занимается советская идеология, беспощадная к иде-

¹¹ И. С м и р н о в, *Последние-первые и другие работы о русской культуре*, Санкт-Петербург 2013, с. 8-9.

¹² В. Р у д н е в, *Философия русского литературного языка в „Бесконечном тупике” Д.Е. Галковского*, „Логос” 1993, № 4, с. 72.

ализму и утопизму предшествующего периода. Мифы диалектического материализма в *Истории ВКП(б) — Священной истории* большевистской партии, как показывает Михал Гловиньски, „повествуют о формировании некоего мирового порядка, в котором фактор прогресса, упорядоченности, идеологической правоты берет верх — над силами зла и над хаосом, предшествовавшим зарождению и триумфу нового идеала”¹³. Таким образом советская история доводит до крайности мифы софийного мышления, односторонне воспринятые утопические и эсхатологические представления русских мыслителей, а СССР — это логическое продолжение славянофильского историософского мифа. Причем Галковский достраивает эсхатологические представления славянофилов эсхатологией советского человека:

Во мне, как и в любом русском, проигрывается русская история. И в генофонде заложена библейская идея конца мира и т. д. Я живу в этом апокалиптическом мире — масоны, антихрист-Ленин, — потому что этот мир живёт во мне (БТ, 80).

Вот почему Советский Союз дополняет русский миф, а постсоветский человек живет этим мифом.

„Советский Союз” был выдуман и затем скрупулёзно воссоздан наяву. Он дополняет русское сознание, позволяет ему чувствовать себя уютно. Всё становится таким ясным, понятным (БТ, 80).

История разворачивается из многослойного мифа-луковицы и затем прилагается к сознанию. Округло-острая, „ироничная и подслеповатая” луковица у Галковского — красноречивый символ русской „молчаливой цивилизации” (БТ, 1161).

Поэтому собственно мифическая составляющая русской истории сакрализуется и превращается в религиозную *тайну*. Принятие *тайны* — это не интерпретация мифа и его растворение в истории, а соединение „субъекта и объекта веры” (БТ, 166). Русский человек с „нашим юродством”, „великой литературой”, по мнению Галковского, философ, но тайна русской философии в том, что, в отличие от Запада, „вырваться можно только молчанием”, что русская история разрешается забвением:

Сила русского забвения так велика, что мы забыли и само забвение, забыли социализм, который, всеми брошенный, как-то тихо и незаметно кончается. Это типично русский конец идеи (БТ, 1112).

¹³ М. Г л о в и н ь с к и й, „Не пускать прошлого на самотек”: „Краткий курс ВКП(б)” как мифическое сказание, „Новое литературное обозрение” 1996, № 22, [в:] электронный ресурс: <http://www.situation.ru/app/j_art_776.htm> (26.11.2016).

Заключение. Таким образом, несмотря на внешнюю деструктивную направленность романа *Бесконечный тупик*, его древообразная фрагментарная конструкция становится утверждением единства и целостности. Критика русской философии европейского образца превращается в презентацию самобытной русской философии. Важной частью последней является „метамифология” субъекта, в котором угадывается сверхчеловеческая личность, имеющая своим идеалом личность воплощенного Бога, а мифологическим архетипом образ Первочеловека. В этих пределах и формируется русское понимание личности. В основе романа прощупывается настойчивый поиск исихастской традиции, за которой скрыто понимание личности как единого образа мира. А на поверхности романа проявляется стремление преодолеть советскую мифическую установку на литературоцентризм, воспринимаемый автором как аннигиляция личностного начала и служба литературы тоталитарному государству.

Библиография

- А й р а п е т я н В., *Толкуя слово. Опыт герменевтики по-русски*, Москва 2011.
- Б а х т и н М., *Собрание сочинений*, т. 3, Москва 2012.
- Г а л к о в с к и й Д., *Бесконечный тупик: в 2 кн.*, Издательство Дмитрия Галковского, Москва 2008.
- Г л о в и н ь с к и й М., „Не пускать прошлого на самотек”: „Краткий курс ВКП(б)” как мифическое сказание, „Новое литературное обозрение” 1996, № 22, [в:] электронный ресурс: <http://www.situation.ru/app/j_art_776.htm> (26.11.2016).
- Г о г о т о ш в и л и Л.А., *Непрямое говорение*, Москва 2006.
- Г р о й с Б., *Поиск русской идентичности*, „Вопросы философии” 1992, № 9, с. 52.
- О р о б и й С., „Бесконечный тупик” Дмитрия Галковского: структура, идеология, контекст, Благовещенск 2010.
- Р о с с и Ж., *Справочник по ГУЛАГу: в 2-х частях*, ч. 1, Москва 1991.
- Р у д н е в В., *Философия русского литературного языка в „Бесконечном тупике” Д.Е. Галковского*, „Логос” 1993, № 4.
- С м и р н о в И., *Последние-первые и другие работы о русской культуре*, Санкт-Петербург 2013.
- Э п ш т е й н М., *Слово и молчание: метафизика русской литературы*, Москва 2006.

RADYKALNO-HERMENEUTYCZNE POJĘCIE *EKSCESU*
JAKO ŚWIĘTOWANIE CODZIENNOŚCI.
NA MATERIALE POWIEŚCI *ИСПУГ* WŁADIMIRA MAKANINA

THE RADICAL-HERMENEUTICAL CATEGORY OF *EXCESS*
AS A CELEBRATION OF EVERYDAY LIFE.
BASED ON VLADIMIR MAKANIN'S *ISPUG*

KRZYSZTOF TYCZKO

ABSTRACT. This article proposes a novel interpretation for Vladimir Makanin's *Ispug*, based on the findings of radical-hermeneutical philosophy. The radical-hermeneutical approach is also considered a philosophical worldview, which coincides with the attitude evoked by Makanin's compositions. The prismatic inspection of the novel *Ispug* is undertaken using the category of *excess*.

Krzysztof Tyczko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
krzysztof.tyczko@amu.edu.pl

*Это было начало моей молитвы.
Сначала не было слова. Сначала был восторг*¹.

*И ведь какая обычная, скромная с виду минута...*²

Niniejszy artykuł stanowi propozycję interpretacyjną dla powieści Władimira Makanina *Испуг*, opartą na ustaleniach filozofii radykalno-hermeneutycznej. Pomocniczą funkcję spełniają także: Michaiła Bachtina koncepcja *ciała groteskowego* oraz Wasilija Rozanowa *мыслие птци*. Wspólny punkt odniesienia dla tych trzech koncepcji stanowi *nie-Hegłowska*³ interpretacja *kinesis* Heraklita, której radykalno-hermeneutyczna kontynuacja rozpatrywana jest w niniejszym artykule jako światopogląd filozoficzny zbieżny ze światopoglądem ewokowanym przez utwór Makanina. Kategoria *ekscesu* w niniejszym artykule służy jako pryzmat oglądu powieści *Испуг*.

¹ В.С. М а к а н и н, *Испуг*, Москва 2011, s. 167, [w:] nośnik elektroniczny: ebook, pdf a4.

² Ibidem, s. 168.

³ Na ten temat zob.: N. L e ś n i e w s k i, *O hermeneutyce radykalnej*, Poznań 1998, s. 83–104.

*

Zajmujący się twórczością Władimira Makanina badacze wielokrotnie podkreślali cechy pisarstwa Rosjanina, które ogólnie można scharakteryzować kategorią *niedomknięcia* tak na płaszczyźnie treści⁴, jak i formy⁵. Jednocześnie jednak, jak sądzę, brakuje interpretacyjnych rozwiązań w pełni gotowych do porzucenia drogi argumentacyjnej, wykazującej przynależność do Platońsko-Heglowskiego przekonania o *falszywości physis*. Przejawia się ona w próbach *domykania* namysłu poprzez lokowanie w jego przestrzeni etycznego *ideału* jako *stabilnego* i *autorytatywnego* punktu odniesienia. Podejście klasyczno-metafizyczne takim sposobem żąda od człowieka – by powtórzyć za radykalnymi hermeneutami – uzurpacji źródłowo niedanego mu dostępu do metafizycznej metaperspektywy⁶ i wymaga ciągłej ochrony wypracowanego sensu przed nieustannym *otwieraniem* przez *interpretacyjnie przynależne* do świata Jestestwo.

Anna Skotnicka w artykule dotyczącym powiązań myśli Władimira Makanina z filozofią Heraklita zwróciła uwagę na ważny aspekt pisarstwa Rosjanina: „Makanina bowiem w większości utworów nie interesują realia historyczne czy warunki socjalne [...], lecz zagadka krzyżowania się życia z losem i możliwość czy proces jej rozwiązywania przez człowieka”⁷. A zatem tak scharakteryzowana (choć na pierwszy rzut oka może zbyt pochopnie, gdyż „realia historyczne czy warunki socjalne” są przecież elementem koniecznym *rozumienia* jako takiego) interesująca nas tutaj twórczość wykazuje cechy *hermeneutyczne*, na co krakowska badaczka stawia akcent także w sposób bardziej bezpośredni: „[...] w bardzo wielu utworach obserwujemy postaci próbujące **rozumieć**”⁸.

Dla podjęcia poszukiwań wspólnoty światopoglądowej pomiędzy pisarstwem Rosjanina a filozofią hermeneutyczną na danym etapie nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż badacze twórczości Makanina nie są skłonni wyznaczać jej jednego modelu artystycznej organizacji i zgadzają się, iż funkcjonuje ona raczej na styku tendencji realizmu i postmodernizmu jako oscylująca, w żadnym z nich ostatecznie nie osiadając⁹. Dodatkowo znaczą-

⁴ Zob. np. A. S k o t n i c k a, *Przestrzeń myśli. Metafora rzeki i błyskawicy w prozie Władimira Makanina*, „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 1 (125), s. 52–72.

⁵ Zob. np. A. B. И в а н о в а, *Субъективация повествования (на материале прозы Владимира Makanina)*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Чита 2008.

⁶ Por. Ł. C z a j k a, *Krzyż i chora. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo* [praca doktorska na prawach rękopisu], Poznań 2013, s. 36.

⁷ A. S k o t n i c k a, op. cit., s. 53. W nawiasach kwadratowych znajdują się uwagi autora niniejszego artykułu.

⁸ Ibidem, s. 54 [pogrubienie oryg.].

⁹ Zob. np. W. S u p a, *Twórczość Władimira Makanina – między realizmem a postmodernizmem*, [w:] *Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej*, red. P. Fast, K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007, s. 7–18.

ca jest korespondująca z kategorią *niedomknięcia* cecha *niedecydowalności*, niejednokrotnie w ustach krytyki obracająca się w zarzut relatywizmu moralnego jakoby uprawianego przez rosyjskiego pisarza. Takie sprofilowanie stanowi przesłankę do wyznaczenia dla pisarstwa Makanina wspólnych sposobów osławiania rzeczywistości z filozofią hermeneutyczną w jej postaci radykalnej, której, oprócz Gianni Vattimo, jednym z głównych reprezentantów jest amerykański filozof i teolog John Caputo. Radykalna aktywność interpretacyjna, jak charakteryzuje ją Norbert Leśniewski, „działa [...] pomiędzy [...] skrajnymi biegunami, a ustaje osiągając którykolwiek z nich”¹⁰ i „stara się zrozumieć i zinterpretować już nie treść przekazu, lecz samo przekazywanie”¹¹. Podjęte w niniejszym artykule konteksty *wariabilistyczne* filozofii mogą więc rzucić nowe światło na twórczość Władimira Makanina, w szczególności tam, gdzie dotychczasowe interpretacje wciąż pozostają w polu wpływów (u) *silnej zasady domykania sensu*.

*

Hermeneutyczna perspektywa oglądu zjawisk kultury – jako jedno z możliwych podejść badawczych obok fenomenologicznego, semiotycznego, kulturologicznego i innych¹² – na plan pierwszy wysuwa „a k t y w n o ś ć r o z u m i e j ą c e j i n t e r p r e t a c j i”¹³. Dzięki Heideggerowskiemu ontologicznemu ugruntowaniu podstawowej w hermeneutycznym namyśle kategorii *rozumienia*, gdzie *Dasein* wykonuje nieustający *przed-predykacyjny* ruch „ku własnym możliwościom bycia i jego sensu” i „ku rozumieniu tego, w czym rozumienie się dokonuje”¹⁴, hermeneutyka może być nie tylko interpretacyjnym sposobem organizacji humanistycznej, ale przede wszystkim namysłem, który nie traci z pola widzenia „źródła, z którego wyrasta, a jakim jest ludzkie życie ze wszystkimi implikacjami wypływającymi z jego przygodności i skończoności”¹⁵.

Zapoczątkowany przez Heideggera zwrot hermeneutyki ku ontologii (*rozumienie* przestaje być narzędziem epistemologii) dał impuls do pojawienia się rozbieżnie akcentujących status elementów Heideggerowskiej *cyrkularności Bycia* projektów: Heideggerowskiej Lewicy (Derrida) z jej twierdzeniem o absencyjnym wymiarze bycia oraz Prawicy (Gadamer), gdzie bycie

¹⁰ N. Leśniewski, op. cit., s. 112.

¹¹ Ibidem, s. 49.

¹² Por. Л.И. Кабанова, *Герменевтическая методология исследования феноменов современной культуры*, „Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики” 2011, № 8 (14), s. 74.

¹³ N. Leśniewski, op. cit., s. 9.

¹⁴ Ibidem, s. 47.

¹⁵ Z. Dziubań, *Obcość, bezdomność, utrata. Wymiary atopii współczesnego doświadczenia kulturowego*, Poznań 2009, s. 55.

fundowane jest na założeniu *silnej* obecności¹⁶. Pomiędzy tymi dwoma antypodycznymi projektami rozwinął się trzeci – *radikalny* właśnie. Radykalizacja hermeneutyki polega na rezygnacji z jednoznacznego opowiedzenia się za *stabilizującymi* *anty-* (Derrida) bądź *intra-metafizycznymi* (Gadamer) postawami i ponowieniu pytania o ontologiczną podstawę prawdy. Jak zauważa Alina Istocznikowa, w ujęciu Heideggera podstawowym dla wszelkiego rodzaju działalności interpretacyjnej jest *bycie* samo, gdzie interpretator doświadcza siebie w ogóle jako rozumiejącego i w otwarciu na doświadczenie sensu wyłaniającego się w świecie jego życia – realizującego siebie¹⁷. W taki oto sposób – by przywołać z kolei Caputo – radykalizacja jest ciągłym podtrzymywaniem w namyśle otwarcia na źródło – na ranę śmiertelności¹⁸.

Ustanowienie ontologicznego pierwszeństwa *rozumienia* przed *poznaniem* dezaktualizuje priorytet epistemologicznej adekwatności. Heidegger na przykładzie *pytania o nicość* pokazuje, że *Dasein*, które zawsze jest *byciem-w-swiecie* nie sięga *poza* w znaczeniu klasycznej metafizyki, a wręcz przeciwnie – zawsze jest *w* jako *rzucone* i *zatroskane*. Negacja rozumiana jest tutaj nie jako wgląd meta-fizyczny, lecz jako *zakrywająca* to, co *jest*, *lethe*. Bycie *prawdziwym* jest zatem byciem *a-letheicznym*, *otwierającym* w jedności *rozumienia*, *położenia* i *mowy*, a sama „nicość jest warunkiem, który umożliwia ujawnienie się wobec ludzkiej przytomności bytu jako takiego. Nicość nie tworzy po prostu pojęcia przeciwstawnego do pojęcia bytu, ale leży u źródła samej istoty”¹⁹. Prawda jako *otwartość* jest więc Heraklitejsko-Nietzscheańskim *stawaniem się* z uwagi na *kinesis*. *A-letheiczne* myślenie hermeneutyki radykalnej to, jak chce Vattimo, myślenie osłabiające dyktat metafizyczny, myślenie, „które kieruje się raczej ku bliskości niż ku źródłu”, „nie demaskuje ani nie likwiduje błędu”, lecz „musi starać się widzieć błąd jako źródło zdrowia, które konstytuuje nas, a świat czyni interesującym, nadaje mu kolorytu i bytu”²⁰. Upraszczająco-stabilizujące *silne* zasady metafizyczne w radykalnej hermeneutyce zostają zastąpione *wariabilistycznym* postulatem Caputo, by w *polu możliwego rozumienia* „uczynić życie na nowo trudnym”²¹ poprzez przywrócenie myśleniu pierwotnej gry skrytości i nieskrytości. Trud życia, jak go rozumie radykalna hermeneutyka, wyraża Thomasa Robinsona interpretacja Heraklitejskiego zdania „do tej samej rzeki nie można wejść dwukrotnie”: „tożsamość rzeki jest *upływem* jej wód, tak też *logos*

¹⁶ N. Leśniewski, op. cit., s. 40-41.

¹⁷ А.В. Источникова, *Общие вопросы герменевтики М.М. Бахтина и М. Хау-деггера*, „Вестник МГТУ” 2008, № 4, т. 11, s. 629.

¹⁸ Z. Dziban, op. cit., s. 152.

¹⁹ M. Heidegger, *Czym jest metafizyka?*, [w:] tegoż, *Budować, mieszkać, myśleć*, Warszawa 1977, s. 39.

²⁰ G. Vattimo, cytata za: N. Leśniewski, op. cit., s. 84.

²¹ Ibidem, s. 220.

zdradza swą naturę jako ruch, aktywność procesu rozumienia”²². Niekonkludyczne i post-adekwatnościowe rozumienie prawdy w radykalnej hermeneutyce detronizuje pocztową funkcję Hermesa, czyniąc zeń „pradziada kpiarzy, figurę anarchii i oszustwa [...] kogoś zawsze trochę poza kontrolą [...] figurę politropiczną, kogoś złośliwego i niewiarygodnego, jak język, za pomocą którego chcemy nadać czemuś znaczenie”²³. A zatem życie w *upływie*, nieustannie ponawiane rozumienie z uwagi na *kinesis*, osłabia teleologiczny wektor i otwiera oczy na fakt, „że żyjemy w obliczu tylko jednego z imion bycia, żyjemy w danej, przypadkowej i historycznej konfiguracji i że historia jest jedynie konstelacją pewnych przesłań”²⁴. Ta afirmacja ludzkiej perspektywy bynajmniej nie rozstrzyga pytania o *Boga* na korzyść klasycznej negacji, ba, nie próbuje manipulować w *wydarzeniu Boga* na rzecz jego iluzoryczności, lecz *pozwała-być tajemnicy w świadomości, że nigdy nie*

²² Ibidem, s. 103.

²³ G.L. B r u n s, cytata za: N. L e ś n i e w s k i, op. cit., s. 158.

²⁴ Ibidem. 13.05.2016 r. podczas poznańskiej konferencji pt. *Horyzonty rozumienia. Miejsce hermeneutyki we współczesnej humanistyce* (z tomem pokonferencyjnym) w ramach referatu *Utrata (1987) Władimira Makanina – ku hermeneutycznemu radykalizmowi* zaproponowałem interpretację Makaninowskiego motywu *kopania* jako konceptu radykalno-hermeneutycznego *par excellence*, w tytułowej mikropowieści występującego w bardzo rozbudowanej postaci, a znanego także z innych utworów Rosjanina. Bohaterowie mikropowieści w odpowiedzi na szeroko rozumiane *wołanie* kopią tunele bądź wędrują płaczącymi się korytarzami. Nad głowami zaś słyszą szum wód:

На миг прошлое вновь приблизилось, поманив, и я держал в руках лопату старого образца, рыл землю. Копанье напомнило или только хотело напоминать течение жизни, я шел, пробиваясь туннельной тропкой, подкопом, сворачивая и вправо, и влево, я шел какими-то слишком уж витиеватыми, зигзагообразными ходами, в то время как надо было лишь переждать. Не умел и не хотел я ждать, даже и собственного опыта, и неудивительно, что очень скоро я уже не знал направления, сбился (в темноте и при одной-то свечке) – а река текла; река была надо мной, я слышал ее шум и шума не боялся, но я уже не знал, куда она течет, где русло, и где против русла, и где поперек; я так наизвivalся, что в темноте оставалось одно: копать; копать куда придется, и пусть с лишним трудом и потерями, а все же выйти на тот нехоженный берег. Но это уже было, кажется, невозможно.

(В. Маканин, *Утрата*, [w:] tegoż, *Кавказский пленный (сборник)*, Москва 2009, s. 101, [w:] nośnik elektroniczny: ebook, pdf a4).

Anna Stankiewicz wyklada Makaninowski *przekop* jako „преодоление внутреннего ощущения утраты” – pokonanie utraty. (A. S t a n k e w i c z, *Сакрум в системе пространственных моделей Владимира Маканина – повесть „Утрата”*, [w:] *Школа московская...*, op. cit., s. 27–36.) Posługując się terminologią przyjętą przez niniejszą refleksję, można stwierdzić, że *przekop* ów może być rozumiany jako Heideggerowskie *podnoszenie się z upadania*. Jeśli zaś *rzekę*, zgodnie z logiką obrazu oraz jak proponuje z kolei chociażby Anna Skotnicka (A. S k o t n i c k a, op. cit.), odczytywać jako życie (*bycie*), to szum wód, czyli to, co słyszy *wstuchujący się w bycie*, może być wówczas właśnie radykalno-hermeneutycznym ruchem u podstaw – *Caputiańskim upływem*.

posiadamy *wycofującego się*²⁵ bytu na dłużej i w konieczności przygodności nie należymy do siebie. Radykalno-hermeneutyczna *niedecydowalność* jest wynikiem ontologicznego warunku *rozumienia – otwartości bycia-w*, działającego w przestrzeni ontologicznej *niewyczerpalności*. Jak dalej pisze Leśniewski,

Nie idzie już więc o zgodność interpretacji z interpretowanym *przedmiotem*, ale o uczciwość wobec jego złożoności, wieloznaczności i niejasności. [...] Radykalne *pole możliwego rozumienia*, czyli przestrzeń radykalno-hermeneutycznej aktywności interpretacyjnej, wspiera się na *ślabo-ontologicznej podstawie*, którą równocześnie konstruuje [...], dlatego nie może się już *odnosić* do treści przesłań przesyłanych przez grę od-krywania (*a-lethei*), lecz do samego przesyłania, do procesu gry owych przesłań (*upływ Caputo*). Prawda hermeneutyki to antydogmatyczna *otwartość* na przesłanie, natomiast prawda hermeneutyki radykalnej jest *otwartym* i aktywnym uczestnictwem w grze przesłań, gdzie tworzy się *śłaba podstawa* interpretacji, rozumienia, a nawet etyki (Vattimo). Prawdą jest więc tutaj ciągły proces od-krywania *wycofujących się źródeł* własnego pochodzenia prawdy i nas samych. Aktywne *powtarzanie przed-poznawczego* (czyli *przed-pojęciowego*) wysiłku rozumienia jest gwarancją sensu istnienia i *ślabą podstawą* poznania²⁶.

Rezygnacja z pretensji do stabilnej meta-perspektywy jako „kłamstwa życiowego”²⁷, nie wyzbywając się jednak doświadczenia transcendencji, ba, pielęgnując je, otwiera przed radykalnym hermeneutą *choralną* przestrzeń niezaprzestającą „rozdawania nieskończonych darów różnorodności”²⁸. Radykalny hermeneuta w swojej *trudnej pasji niewiedzy*²⁹, w praktycznej postawie *ekscesywnej* otwartości i świadomości swoich ograniczeń staje przed obliczami ontologicznie spluralizowanego świata, w którego bytach „skrywa się coś znacznie większego”³⁰ i przerastającego ich fenomenalną manifestację. W tak zarysowanym kontekście tytułowa formuła *świętowanie codzienności* otrzymuje właśnie taki – *post-metafizyczny* – rysopis o afirmatywnym stosunku do *physis*: człowiek radykalnej hermeneutyki nie tyle przypomina sobie, kim jest *naprawdę*, ile w akcie hermeneutycznego powtórzenia nieustannie konstruuje samego siebie, w akcie hermeneutycznej szczerości zaś godzi się, iż jego punkt widzenia z gruntu nie może być nieograniczony.

²⁵ „Rozumiejąca interpretacja w hermeneutyce radykalnej od-krywa to, czym *pozwała rzeczy* być, ale równocześnie od-krywa też jej *wycofywanie się, skrywanie* (Heidegger), *upadanie* (Vattimo) albo *upływanie* (Caputo)” (N. L e ś n i e w s k i, op. cit., s. 250).

²⁶ Ibidem, s. 253.

²⁷ Ibidem, s. 72.

²⁸ Ł. C z a j k a, op. cit., s. 53–54.

²⁹ „Jeśli nie wiemy kim jesteśmy, to musimy jakoś siebie kreować, ale jeśli tkwimy w stanie permanentnej autokreacji, to właśnie z powodu tej ciągłej zmienności nigdy nie możemy ostatecznie ustalić tego kim jesteśmy” (ibidem, s. 34).

³⁰ Ibidem, s. 24.

Radykalno-hermeneutyczny *eksces* jest postawą filozoficznej akceptacji problematycznego *upływu* i dopuszczeniem w filozoficznej dyskusji do głosu *porządku kardialnego* w transcendowaniu „ku różnorodności form imienia Boga”³¹. Jest otwarciem na hiperrealne i niedekonstruowalne, przyzywające nas z daleka i zwracające ku przyszłości *wydarzanie się* jako prowokację, obietnicę, zachętę do *zagrania w tę grę*³², ciągle nadchodzenie, ale nigdy pełną obecność³³.

*

Krytyka wielokrotnie zwracała uwagę na inspirację powieści *Исчуг* Nabokovską *Lolita*. Tatiana Klimowa z kolei dokonała analizy powieści pod kątem donżuańskich i Puszkiniowskich tropów³⁴. Niniejsze rozważania natomiast skupiają się na problematyce zgoła odmiennej: ich zadaniem jest próba ukazania ontologicznej strategii Makanina w świetle filozofii radykalno-hermeneutycznej jako pokrewnej z twórczością Rosjanina, zaś kwestie związane z seksualnością, wiernością i sprawami pożycia rodzinnego w niniejszym odczytaniu wydarzeń powieści nie stanowią jej problemu podstawowego.

Przewodnim i semantycznie sproblematyzowanym motywem powieści *Исчуг* jest w niniejszej interpretacji *wydarzający się* w księżycową noc pociąg głównego bohatera, starego Piotra Pietrowicza Ałabina, do młodych kobiet: główny bohater przenika na letnie dache w nadziei na spełnienie intensywnego *zewu*³⁵. W perspektywie symbolicznej motyw ów wykazuje przynależność do formacji *wariabilistycznych* – Ałabin bowiem zawsze przychodzi jako *ślaba obecność*, zawsze pod nocną *nie-obecność* mężczyzn:

Всегда внезапно. Всегда во тьме. Всегда глубокой ночью. А вообще-то днями ты живой... Хотя бы вообще... Тебя следует пощупать... Ты днем существуешь? В полной темноте я тихо качаю головой – нет³⁶.

Punkt odniesienia nocnej tajemnicy Ałabina stanowi światło księżyca, które w donżuanowskie, zdawałoby się, zachowanie starca wprowadza konteksty piękna i boskości. Nocna, lunarna tajemnica może tutaj zostać odczytana jako *uczestnictwo w wydarzaniu się słabo-solarnej prawdy bez-podstawności* – onto-

³¹ Ibidem, s. 94.

³² N. L e ś n i e w s k i, op. cit., s. 249.

³³ Ł. C z a j k a, op. cit.

³⁴ Т.Ю. К л и м о в а, *Проекции личности Пушкина в индивидуальном мифе В. Маканина (роман „Исчуг“)*, „Вестник Бурятского государственного университета” 2011, № 10, s. 147–154.

³⁵ В.С. М а к а н и н, *Исчуг*, op. cit., s. 21: „Я пояснил кратко: желание... и еще я как бы слышу некий ее ночной зов. Зов к себе. Я чувствую через расстояние, что женщина спит... но и не спит”.

³⁶ Ibidem, s. 113.

logicznie *slabej* obecności bytu, która ustanawia *slabą* relację przynależności i posiadania³⁷, znajdującą wyraz w kontrowersyjnej z fabularnego punktu widzenia sferze erotycznej powieści oraz w sferze kinetyki: bohater jest w nieustannym ruchu. Radykalna hermeneutyka proponuje w tym miejscu odmienną od Derridiańskiej *gry śladów* postawę *myślenia w drodze*, które zachowuje *nabożność*, gdyż nie wyzbywa się wszystkiego, czemu mogłoby służyć³⁸. I wydaje się, iż taką właśnie postawę przyjmuje Makaninowski bohater. Wpisane w lunarne *wydarzenie* konteksty piękna i boskości dynamizują *pole* formułowania *rozumianej* prawdy *Bycia*. *Isnyż* komplikuje możliwość udzielania jednoznacznych odpowiedzi poprzez „załamywanie” stereotypowej jednostronności kontekstem moralnym: kanony piękna zestawiając z kalectwem (rozdziały *Неадекватен, Нимфа*), energię nowego – z wyczerpaniem / wybrakowaniem starego (rozdziały *Боржом, Белый дом без политуки*). Decydując się na nocne przyjście, Ałabin podejmuje *grę* przyzwalania-odpychania i za każdym razem, pobudzany *wołaniem*, aczkolwiek nie bez obawy, podejmuje ów trud z nową nadzieją. Jako metrykalnie należący do odchodzącego, *upadającego*, pokolenia, mentalnie znajduje się *między* gasnącym pokoleniem starców a pokoleniem młodych z jego żywiołowo konstytuującymi się zwyczajami. Tym, co umożliwia mu *z a c h o w a n i e* więzi, jest to, co stanowi rdzeń nieustannego trudnego (sproblematyzowanego) *ruchu rozumienia* – *pragnienie* *Bycia* w *faktycznych* jego przejawach, na poziomie fabularnym wyrażone *upojeniem* wielokrotnie *przepętniającym* głównego bohatera, kiedy ów znajduje się poza swoim domem³⁹, przywiązaniem do życia bezpośredniego wobec zdystansowanego przeżywania codzienności, a także w moralnej postawie współczucia tak w stosunku do skrzywdzonego przez wojnę swego krewnego, jak i w „apokryficznej” (określenie Marka Amusina) modlitwie o pokój do nieznanego Boga na dachu Białego Domu. Kojarzony z chtonicznym satyrem, Ałabin wprowadza w *nocną* przestrzeń *pragnienia* kontekst Danae – „Луна!.. Бабец!.. Даная!..”⁴⁰ – poddając go jednak weryfikacji (rozmowa z Anną), która ujawnia ambiwalentny charakter odpowiedzi na *wołanie*, okazującej się nie tylko afirmacją, ale i wtargnięciem.

Obrazowanie powieściowego *wydarzenia* w oparciu o wyżej wymienione konteksty uruchamia Rozanowowskie podłoże teologicznego *myślenia płci* jako niezbywalnej pełnowartościowości *physis* w *dzianiu się* samego *Bycia*. Niemniej, o ile możliwym wydaje się zaangażowanie Rozanowowskiej idei,

³⁷ N. L e ś n i e w s k i, op. cit., s. 238–239.

³⁸ Ibidem, s. 45.

³⁹ Na temat znaczenia konceptu *domu* w twórczości Makanina zob.: В.В. И в а н ц о в, *Пространственно-временная организация художественного мира В.С. Маканина*, Санкт-Петербург 2007.

⁴⁰ В.С. М а к а н и н, op. cit., s. 23.

to jednak przyjęta przez filozofa solarna symbolika w pisarstwie Makanina otrzymuje przekształconą logikę: to księżyc ze swą *grą a-lethei* spełnia tutaj pierwszorzędną i ożywczą rolę w strukturze świata przedstawionego i to księżyc, nie jako zaprzeczenie słońca (gdyż powieść nie unika jego obecności – w motywie *lata* wręcz ją aktualizuje), a raczej jako wyraz pierwotności tajemnicy, jest bezpośrednim sprzymierzeńcem *stawania się*, które swoje centrum – indywidualium – za Rozanowem widzi w a-mechanizmie, pluralizmie, zmienności i indywidualuacji oraz którego to – *stawania* – prawda jest prawdą *przekraczania*:

Naruszenie [prawa] jako jednolitości i stałości, jako normy i zwyczajowości, jako oczywistego i przewidywalnego. W taki sposób dokonało się w naturze przejście do kolejnego etapu rozwoju – od jednorodności do różnorodności, od stałości do zmienności, od ogółu do indywidualności⁴¹.

Znajdujący się w ciągłym materialno-duchowym *kinesis* (bohater przemieszcza się po podmoskiewskiej miejscowości, przemieszcza się na linii centrum (Moskwa) – peryferia (dacz), nieustannie testuje wytrzymałość hierarchii kulturowych, wykonuje duchowy ruch wertykalny ku księżycowi oraz uczestniczy w dynamice współ-bycia z Innymi), Alabin-satyr funkcjonuje także w przestrzeni Bachtinowskiej ambiwalencji *nieoficjalnego* ciała groteskowego, swoją cyrkulacją pomiędzy *wysokim* i *niskim* dynamizującego *rozumienie* i utrudniającego osiadanie na „mieliźnie” jednostronności i dogmatyzmu. Jawi się wówczas sytuacja głównego bohatera jako swoista egzystencjalna *bezdomność*, albo nowe zamieszkiwanie, która w radykalno-hermeneutycznej⁴² optyce opatrzona jest moralnym postulatem ciągłej czujnej otwartości i *ekscesywnej* gotowości do słyszenia *wezwania Innego*. Przy czym *Inny* jest nie tylko „innym człowiekiem”, ale holistycznym *wszystkim*⁴³. Owa gotowość, czy też zdolność, wyrażona jest w powieściowej kategorii *nieadekwatności*, którą lekarze-psychiatrzy stosują do opisu sytuacji zdrowotnej głównego bohatera:

Никакой патологии нет (записано!). Однако временами неадекватен по отношению к реалиям жизни. [...] Неадекватность воображения пациентом, впрочем, контролируется...⁴⁴

Kategoria ta charakteryzuje głównego bohatera jako znajdującego się *pomiedzy* marginalizowanym szaleństwem a normalnością i obdziela prawem *przekroczenia*, nie pozbawiając jednocześnie możliwości obiektywizowania

⁴¹ И.В. Б р у л и н а, *Пол как исток жизни: В.В. Розанов, Л.Н. Толстой, М.И. Цветаева*, „Известия Томского политехнического университета” 2007, т. 311, № 7, s. 99.

⁴² Więcej na ten temat zob.: Z. D z i u b a n, op. cit.

⁴³ Ł. C z a j k a, op. cit., s. 66.

⁴⁴ В.С. М а к а н и н, op. cit., s. 29 [kursywa oryg.].

faktu owego *przekroczenia*. Przy czym *nieadekwatność* jest tutaj raczej modu-
sem *ślabości* pozycji w stosunku do *silnego* myślenia *normy*, innymi słowy,
ślabością posiadania oparcia tylko w tym, co konstruuje jako swoje. Takie
odczytanie może sugerować logika formowania przez protagonistę wywo-
dów w oparciu o ideę *konieczności przygodności* w ramach mechanizmów
subiektywacji (np. na dachu Białego Domu), lub bezpośrednio słowa same-
go protagonisty:

НЕАДЕКВАТЕН – камень, и тропинка моя у камня *временами* вдруг круто
раздваивалась: туда? или сюда?... Камень-валун меж двух разбегающихся
степных тропок⁴⁵.

Jak już zostało powiedziane, najbardziej znaczący i jednocześnie naj-
bardziej problematyzujący całą powieść motyw – zew i odwiedziny u ko-
biet – sprzężony jest z księżycowymi nocami. Narracja powieści skonstru-
owana jest tak, iż trudnym okazuje się odnalezienie spójnej, włączającej
w siebie wszystkie elementy, wykładni. Ale to właśnie owa trudność, od-
wołując się do sformułowania Wardana Hayrapetyana – „hermeneutycz-
na noc”⁴⁶, podczas której jedynym światłem jest niestałe i odbite światło
księżycy, może stanowić odpowiedź na pytanie o konkluzję: teoretyczna trud-
ność wobec pierwotności doświadczenia *nieobecności*, teoretyczna trud-
ność wobec pierwotności *wydarzenia*: „камень, и тропинка моя у камня
[...] туда? или сюда?...”.

Bibliografia

- C z a j k a Ł., *Krzyż i chora. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo*,
Poznań 2013.
- D z i u b a n Z., *Obcość, bezdomność, utrata. Wymiary atopii współczesnego doświadczenia
kulturowego*, Poznań 2009.
- H e i d e g g e r M., *Czym jest metafizyka?*, [w:] tegoż, *Budować, mieszkać, myśleć*, War-
szawa 1977.
- L e ś n i e w s k i N., *O hermeneutyce radykalnej*, Poznań 1998.
- S k o t n i c k a A., *Przestrzeń myśli. Metafora rzeki i błyskawicy w prozie Władimira Ma-
kanina*, „Przegląd Rusycystyczny” 2009, nr 1 (125).
- S u p a W., *Twórczość Władimira Makanina – między realizmem a postmodernizmem*,
[w:] *Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej*, red. P. Fast, K. Jastrzębska przy współ-
pracy A. Mrózek, Częstochowa 2007.

⁴⁵ Ibidem [kursywa oryg.].

⁴⁶ В. А й р а п е т я н, *Толкуя слово. Опыт герменевтики по-русски*, ч. I, Москва
2011, s. 362.

- А й р а п е т я н В., *Толкуя слово, Опыт герменевтики по-русски*, ч. I, Москва 2011.
- Б р ы л и н а И.В., *Пол как исток жизни: В.В. Розанов, Л.Н. Толстой, М.И. Цветаева*, „Известия Томского политехнического университета” 2007, т. 311, № 7.
- И в а н о в а А.В., *Субъективация повествования (на материале прозы Владимира Маканина)*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Чита 2008.
- И в а н ц о в В.В., *Пространственно-временная организация художественного мира В.С. Маканина*, Санкт-Петербург 2007.
- И с т о ч н и к о в а А.В., *Общие вопросы герменевтики М.М. Бахтина и М. Хайдеггера*, „Вестник МГТУ” 2008, т. 11, № 4.
- К а б а н о в а Л.И., *Герменевтическая методология исследования феноменов современной культуры*, „Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики” 2011, № 8 (14).
- К л и м о в а Т.Ю., *Проекции личности Пушкина в индивидуальном мифе В. Маканина (роман „Испуг”)*, „Вестник Бурятского государственного университета” 2011, № 10.
- М а к а н и н В.С., *Испуг*, Москва 2011, [w:] nośnik elektroniczny: ebook, pdf a4.
- М а к а н и н В.С., *Утрата*, [w:] tegoż, *Кавказский пленный (сборник)*, Moskwa 2009, [w:] nośnik elektroniczny: ebook, pdf a4.
- С т а н к е в и ч А., *Сакрум в системе пространственных моделей Владимира Маканина – повесть „Утрата”*, [w:] *Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej*, red. P. Fast, K. Jastrzębska przy współpracy A. Mrózek, Częstochowa 2007.

МИФ ЛЕВИАФАНА В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ ЗВЯГИНЦЕВА
(НА МАТЕРИАЛЕ ФИЛЬМА *ЛЕВИАФАН*)

THE LEVIATHAN MYTH IN THE FILMOGRAPHY OF ANDREI ZVYAGINTSEV
(ON THE BASIS OF THE FILM *LEVIATHAN*)

BEATA WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK

ABSTRACT. The article focuses on an interpretation of Andrei Zvyagintsev's film *Leviathan* in the context of the Leviathan myth. The film was inspired by *the Book of Job* and the philosophical treatise called *Leviathan or The Matter, Form and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil* written by Thomas Hobbes in 17th century. The article starts with an explanation of the possible meanings of the symbol of Leviathan in various cultural and historical traditions, including the Bible and Hobbes's book. The background is then expanded further in the interpretation of selected shots from the film, which show that the artistic text of the Russian director can be perceived as a universal parable of human life.

Beata Waligórska-Olejniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Poznań – Polska, beata.waligorska@amu.edu.pl

Можно с уверенностью сказать, что появление фильма *Левиафан* Андрея Звягинцева, мировая премьера которого состоялась в мае 2014 года, вызвало необычайное волнение и споры не только в России. На это, несомненно, повлияло несколько причин. Во-первых, существующие полнометражные фильмы самого выдающегося современного российского режиссера выходили на экраны в ритме соревнований Олимпийских игр, т. е. регулярно, каждые 4 года, начиная с дебютного *Возвращения* с 2003 года, через *Изгнание* (2007) и *Елену* (2011). В случае *Левиафана* беспокойство было вызвано, конечно, не выходящим за рамки схемы кинопроизводства, а тематикой фильма, воспринятой многими в качестве идеологической диверсии, опасной метафоры правления Владимира Путина, неудачной и нецелостной по содержанию антихристианской работы не для настоящих русских и т. д. Во-вторых, сообщение о запрете показа фильма в России, между прочим, из-за, а, скорее, под предлогом, нецензурной брани, сразу же вызвало интерес киноманов, в том числе, тысяч любителей десятой музыки, которые из принципа, коллоквиально говоря, российское кино не переваривают. В-третьих, как нам известно, в Польше вернулись к обсуждению фильма в феврале с. г., по случаю церемонии вручения Оскара, когда *Левиафан* шел

вровень с *Идой* Павла Павликовского в номинации „лучший иностранный фильм“. Победа польского фаворита на какое-то время разделила поляков на группы — на полных гордости и радости победы и разочарованных, и даже отрицательно настроенных, критиков изображения.

Целью этой публикации все же не является обсуждение решения Американской Академии Кинематографических Искусств и Наук или ведение идеологических споров, связанных с интересующим нас фильмом. Сам Звягинцев, не избегающий, впрочем, разговоров с журналистами, отмечает, что его последний фильм — это значительно больше, чем просто образ обреченной на поражение борьбы *маленького человека* с системой, известной хотя бы из пессимистичных произведений Александра Пушкина, Николая Гоголя, Антона Чехова или Федора Достоевского¹. Режиссер, обвиняемый его злонамеренными противниками в том, что он не любит Россию, а больше красные ковры и Голливуд, определяет свое произведение именем универсальной параболы, которая, во что трудно поверить после первого просмотра *Левиафана*, дает человеку надежду и веру². Режиссер в интервью признается, что создание фильма вдохновлено библейским рассказом о Хиобе и возникшей в XVII веке теорией английского государства философа Томаса Гоббса, представленной в его монументальном труде под названием *Левиафан — материя, форма и власть церковного и светского государства*³. Можно сказать, что это лишь предлоги, чтобы вновь взглянуть на состояние человека на пороге нового тысячелетия и диагностировать видимые проблемы. И дело здесь отнюдь не и, конечно, не только в неоднократно озвученной проблеме патологической системы власти, но прежде всего в истории личности, эвримена, и его жизненной ситуации.

Звягинцева в каждом фильме интересует на самом деле состояние духа человека и управляющее миром зло. Приведенная выше тематика, а также поэтика его фильмов (длинные молчаливые сцены, художественные пейзажи, своеобразная одержимость темой зеркала и воды и т. д.) становятся обоснованием для сравнений создаваемого им кино с картинами Андрея Тарковского. Звягинцев считается даже продолжателем великого мастера и художника, благодаря которому российское кино вышло из тупика (о чем свидетельствует целый ряд наград, начиная с Золотого Льва в Венеции в 2003 году за полнометражный

¹ Андрей Звягинцев: *Сильнейшая реакция ненависти к „Левиафану“ — просто нежелание смотреть в зеркало. Интервью Ксении Соколовой с Андреем Звягинцевым*, [в:] электронный ресурс: <http://snob.ru/selected/entry/87969/page/2> (01.09.2015).

² N. M a c F a r q u h a r, *Russian Movie 'Leviathan' Gets Applause in Hollywood but Scorn at Home*, "New York Times" 2015, January 27, с. A1.

³ Там же.

дебют и кончая призом на Фестивале в Каннах, именно за *Левиафана*). Произведения российского создателя сравниваются с достижениями Микеланджело Антониони, Альфреда Хичкока или современного австрийского режиссера Мишеля Ханеке. Вышеупомянутый режиссер напумевшего фильма *Любовь* подытожил свое творчество следующим образом:

Я хочу всем описать мир, который я знаю, для меня семья является локусом войны в миниатюре, является местом, где берут начало все войны. Эта ежедневная война в семье по-своему столь же убийственная, независимо от того, происходит ли между детьми и родителями или между мужем и женой⁴.

Кажется, что это лапидарное утверждение прекрасно обобщает и достижения Андрея Звягинцева, кинопроизведения которого можно бы метафорически трактовать как рентгеновские снимки наименьшей и основной ячейки общества. Предположение это верно как в отношении полнометражных фильмов, показывающих общечеловеческие истории, которые могут произойти в любой точке мира, чему примерами являются фильмы *Возвращение* и *Изгнание* (последний снят, впрочем, во Франции и Бельгии), так и в отношении картин, показывающих конкретные российские реалии (здесь следует вспомнить *Елену* – фильм, показывающий разрыв между реальностью московского элитного дома и спального района, недалеко от АЭС и, конечно, *Левиафана* с завораживающими кадрами с Баренцева моря). Можно рискнуть заявить, что эти четыре фильма создают в сущности одну общую историю. Звягинцев использует в них самостоятельно разработанные связывающие мотивы, варианты персонажей или ситуаций, которые, казалось бы, переходят из одного фильма в другой, по образу и подобию героев и событий, созданных Антоном Чеховым. Независимо от типа среды мы встречаем в них образы женщин, определенным образом незавершенных либо несамореализовавшихся (Лилия в *Левиафане*, Катя в *Елене*, Вера в *Изгнании*, мать в *Возвращении*), образы отсутствующих отцов (снова следовало бы перечислить почти все фильмы), различные варианты братских отношений или, наконец, смерть главного героя, которая является венцом каждого полнометражного фильма. К этому следовало бы добавить рамки композиции, в которые режиссер, как правило, вписывает сюжет: длинные кадры сухих ветвей в начале и в конце *Елены*, бьющиеся в шторм о скалистый берег мор-

⁴R. Santos Aquino, *Spotlight on Contemporary Russian Cinema: Of Lands and Families Remote in the Films of Andrey Zvyagintsev*, [в:] электронный ресурс: <http://nextprojection.com/2012/05/19/spotlight-on-contemporary-russian-cinema-of-lands-and-families-remote-in-the-films-of-andrey-zvyagintsev/3/> (20.08.2015). [Перевод мой – В. В.-О.].

ские волны, открывающие и закрывающие *Левиафана*. Восприятие так оформленной структуры кинопространства, в которой важным элементом является также цикличность и ритуализация событий, рождает в зрителе впечатление, что он практически участвует в создании нового мифа об апокалипсисе, о мире, который, кажется, находится всегда где-то посередине, между хаосом и космосом, а измеримое светское время вписано в возобновляемое время сакральное.

В данной статье мы все же не собираемся доказывать правильность только что представленного тезиса, наша цель немного скромнее — обращение внимания прежде всего на миф Левиафана, обновленный российским режиссером. Тем самым своей статьей впишемся в популярную сегодня тенденцию практических, компаративистских литературно-культурных исследований, концентрирующих свое внимание на неомифологизме, сопровождаемых богатством теоретических работ. Учитывая ограниченные рамки настоящей статьи, а также всеобщую доступность публикаций, сфокусированных на теории широко понимаемого мифа, находящихся также в открытом доступе в Интернете, мы оставим размышления, сосредоточенные на попытках пересмотра определения самого вопроса, указывая лишь в этом контексте на важность исследований и наблюдений таких философов культуры и ученых, как Юрий Лотман, Ролан Барт, Мирча Элиаде, Алексей Лосев, Владимир Топоров, Яна Погребная и многих других⁵.

Долгая история политических теорий изобилует крайне разнообразными метафорами, парадигмами, знаками и аллегориями, в том числе и образами чудовищных монстров. Они появляются, например, у Платона, который называет „многоглавым” и „многоцветным животным” толпу, охваченную иррациональными аффектами⁶. Однако только упомянутое произведение Томаса Гоббса *Левиафан* 1651 года, которое затмило все остальные трактаты философа, оживило мифический символ настолько, чтобы он стал картиной гораздо более значительной, чем иллюстрации абстрактной теории или конструкции.

⁵ См., напр.: Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, Е.М. Мелетинский, *Литература и мифы*, [в:] электронный ресурс: <http://philologos.narod.ru/myth/litmyth.htm> (12.09.2015); А.Ф. Лосев, *Диалектика мифа*, Москва 2000; Я.В. Погребная, *Актуальные проблемы современной мифопоэтики*, Москва 2011, [в:] электронный ресурс: <http://www.niv.ru/doc/pogrebnaaya-aspekty-mifopoetiki/index.htm> (15.09.2015); W. Tóporow, *Miasto i mit*, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2000; R. Barthes, *Mitologie*, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2008; M. Eliade, *Mit wiecznego powrotu*, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1998.

⁶ P l a t o n, *Państwo*, IX, 588 c. Цит. по: C. S c h m i t t, *Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu*, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2008, c. 14.

Можно сказать, что после публикации миф Левиафана начал новую жизнь. Эффектный заголовок и побуждающая к размышлениям гравиюра, сопровождающая первое английское издание книги, наряду с эпитафией из *Книги Иова*, сделали Гоббса знаменитой фигурой, хотя и по сей день спорной. Уводя в тень содержание самого произведения, все аргументы и мыслительные конструкции попали в поле действия сил созданного символа.

Левиафан как образ политического единства относится прежде всего к *Библии*, образу известного из *Книги Иова*, упомянутого в *Книге пророка Исаии*, *Книге пророка Ионы* и *Псалтыре*. Выступающий в *Откровении св. Иоанна* образ Левиафана принадлежит также к ряду животных, таких как дракон, змея, „зверь, выходящий из земли“, „зверь, выходящий из моря“, „зверь, выходящий из бездны“. Карл Шмитт, автор книги *Левиафан в теории государства Томаса Гоббса*, утверждает, что „мифы о борьбе с драконом, и все предания и легенды о погромах драконов, таких, как Зигфрид, святой Архангел Михаил или святой Георгий, можно отнести к Левиафану“⁷. В произведении Гоббса в отличие от *Библии*, в которой много разных представлений животных, гармонирующих друг с другом, четко ставится граница между Левиафаном, морским чудовищем, представляемым в виде крокодила, кита, змеи или вообще большой рыбы, и Бегемотом, земным чудовищем, принимающим форму большого быка, слона или бегемота⁸. Богатство теологических, каббалистических или исторических интерпретаций символа Левиафана удивляет. В упрощении можно сказать, что он в конечном счете является чем-то отрицательным и враждебным, образом ужасающей силы, который может означать как власть дьявола, так и самого сатаны. На византийских изображениях Страшного Суда Левиафан — это само море, выбрасывающее из своих недр мертвеца. Запутанная фантастика XIV века связывает его со Средиземным морем, *diabolicum mare*, зато христианское Средневековье изобилует картинами, показывающими Бога в образе рыбака, Христа на кресте, как приманку на удочке, и Левиафана, как пойманную рыбу огромных размеров⁹. В обширном сочинении Гоббса Левиафан появляется в четырех образах — в образе смертного бога, великого человека, великого животного и совершенной машины. Однако эти варианты нельзя отнести к Бегемоту, сухопутному чудовищу, который в теории мыслителя функционирует как знак худшего возможного зла, символ религиозной гражданской войны. Несмотря на то что европейская традиция, в соответствии с *Библией*, приписывала, как правило, человека земле,

⁷ C. Schmitt, указ. соч., с. 16.

⁸ Там же, с. 161.

⁹ Там же, с. 19.

представляя море стихией враждебной и опасной, Гоббс однозначно делает из Левиафана символ мира и порядка, символ добра, который ассоциируется с защищающим гражданина государством, в отличие от природы, необузданной, полной зловещего хаоса. Одно, однако, не подлежит сомнению — библейский символ, который использовал также Уильям Шекспир в *Генрихе V* или Джон Мильтон в *Потерянном Рае*, завоораживает и сегодня. Об этом свидетельствует не только затронутая тема, но и современные книжные издания, вдохновленные мифом о великом звере, в том числе адресованные также обычному читателю, такие как детективный роман *Левиафан* Бориса Акунина, молодежный роман в жанре стимпанк Скотта Вестерфельда или *Левиафан* Пола Аустера, одного из основных современных американских писателей, который содержит четкие, интертекстуальные ссылки на концепцию Гоббса.

Если когда-то образ Левиафана мог буквально внушать страх своей жуткой внешностью, то сегодня силы этого мифического символа мы ищем где-то в другом месте, ибо трудно напугать освоенного с технологией и телевизионным кошмаром потребителя современной культуры. Граф Дракула и Франкенштейн чаще вызывают смех, чем страх, у пользователя андроидов. Кино-видение Звягинцева, с помощью показанного на экране образа государства, где нет места справедливости, свободе слова, честности, может тревожить и волновать зрителя, вызывая психологический дискомфорт. Мощная официальная машина воспринимается как печальная карикатура сильного социального государства, о котором говорил Томас Гоббс, обеспечивающего покой в обмен на преданность и послушание. Следует все же помнить, что „пророк Левиафана”, Гоббс, четко показывает превосходство общественных благ над частным¹⁰, а волю к борьбе и бунт считает злом, почти в той же степени, что коррупцию. Кажется, что линейно представленный сюжет, сильно вписанный в российские реалии, в фильме Звягинцева не имеет большого значения. Подтверждением этой гипотезы может служить факт, что часть западных критиков восприняла фильм как парафразу истории человека, обиженного несправедливым приговором американского суда¹¹. Звягинцев, прежде всего с помощью грамотно построенных пространственных отношений, рассказывает универсальную историю.

В конечном счете главный герой, Коля, вместе с семьей, упаковывает или продает свое имущество, чтобы переехать на новое место. И мы не воспринимаем этого поведения как трусливое, а, скорее, как рациональное и разумное. Сильнее, чем обшарпанные стены будущей

¹⁰ Там же, с. 180.

¹¹ N. M a c F a r q u h a r, указ. соч., с. А1.

квартиры Коли, пугает зрелище чтения приговора в суде, где однообразию юридического жаргона соответствует визуальный эффект. Секвенция начинается с общего плана, с помощью которого показан зал заседаний, потом камера медленно меняет спектр видения, чтобы остановиться на читающей приговор. В это время силуэты Николая и Лилии, которых непосредственно и касается дело, показаны сзади, их анонимность и беспомощность явно контрастирует с величием власти женщины-судьи. Стоп-кадр переносит нас на мгновение в коридор суда, где мы видим рыдающую девушку, рядом с мужчиной, после чего, через минуту, возвращаемся в зал суда. Камера снова переходит от сближения к сближению на находящихся там людей; иногда размытое изображение Коли и Лилии, вне глубины резкости, служит при этом в качестве фона. Сцена заканчивается полусближением на обоих героев. Комментарием к представленной здесь секвенции можно считать следующие далее кадры, т. е. длинные, молчаливые снимки горящего на дверях суда Николая, широкий кадр, демонстрирующий огромный пустой паркинг и бульвар, которыми пользуются при выезде герои и, показанные непосредственно после слушания, фрагменты алкогольной вечери мэра и священника.

Эмоциональный аспект этих событий передает архитектура недружелюбного сооружения суда, как бы продублированная и усиленная проксемикой представленных персонажей, очевидно, контрастной по отношению к атмосфере уютного дома православного священника. Качество этих оппозиционных отношений передают геометрические фигуры, в которые можно вписать представленные зрителю пространственные отношения. Зал заседаний с доминирующей позицией стола судьи вызывает ассоциации с прямоугольником, в котором невозможно одержать победу над иерархическими системами. Сцену, изображающую трапеziu у священника, можно вписать скорее в круг или эллипс, положение людей за столом создает отношения почти партнерские, хотя церемония и процесс визита подчеркивают величие церковной власти. Все приведенные в фильме сцены в суде и государственных органах болезненно обнажают не только очевидную беспомощность супругов перед лицом власти, но и господствующий в этих сценах разговор страха и молчания. Упомянутую фигуру прямоугольника, известную нам из математики в качестве системы сторон $2a$ и $2b$, можно соотнести в этом случае с оппозицией мы-они, отмеченной в фильме в представленных системах служебных помещений, столов, коридоров, захлопывающихся дверей и решеток, убивающих мысль о выходе из существующей сети связей. Язык непонятных, автоматически читаемых, юридических формул, благодаря столкновению с упомянутыми, последовательными кадрами, резонирует с пустой жестикულიцией

мэра. Икона, перед которой он сидит, перекусывая в гостях, выполняет скорее функцию фотографии, а не священного изображения, приглашающего к молитве и созерцанию святости. Это „замораживающее зеркало“, как мог бы сказать в этом контексте Умберто Эко, ибо оно указывает на библейскую реальность, которая уже не существует, является запечатлением утерянного момента из прошлого — вечера в горнице, которого нельзя уже по-настоящему пережить, вспомнить¹². Наблюдая за мэром в приведенной выше сцене, а также в более позднем образе во время богослужения в новой церкви, мы видим, что он является человеком, у которого единство между *fides* и *confessio*, верой и исповеданием, прервано. Мэра интересует только актуальность созданного собой мифа о собственной силе. Столкновение деградировавшего здесь символа святости с зеркалом, предметом — в соответствии с доисторическими верованиями — с магической силой вытягивания души из человека, сигнализирует, что Вадим уже находится как бы на другой стороне, в мире тьмы. В более широком измерении эту часть рассуждений можно было бы резюмировать выводом, что Левиафан в творчестве Звягинцева функционирует в первую очередь как символ пост-постсовременного состояния, того, что случилось с людьми, злом, которое незаметно, потому что переодетое в костюм общественного блага прокралось в повседневную жизнь.

Образ мифического Левиафана, безусловно, требует также нового взгляда для более точного восприятия зрителем последних кадров перед смертью Лилии. Так же, как в фильме *Возвращение*, Звягинцев делает несущим смысл берег открытого водоема, место границы между водой и сушей. Там принимаются ключевые решения, касающиеся будущего, звучат вопросы о Боге. В *Левиафане* режиссер использует при этом свои любимые художественные решения, то есть повторения симметрично построенных кадров. Когда мы смотрим на обращенную к морю Лилию, мы видим также плывущего в нем кита. Поместив в кадре отчаявшегося после потери жены Николая, режиссер практически повторяет упомянутый кадр с Лилией, но кита уже нет. Зритель помнит все же, что скелет другого морского млекопитающего того же вида лежит где-то рядом, что несколькими минутами ранее сидел перед ним сын героя. Цепочку собранных здесь кадров венчает, на наш взгляд, сцена обнаружения тела Лилии. Крупному плану мертвой героини предшествуют кадры общего плана, использование которых мотивирует зрителя к активности, как бы заставляет его выполнять упражнения на наблюдательность, потому что в проливной сильный дождь тело женщины не отличается издали от влажных камней и во-

¹² U. Eco, *Czytanie świata*, przeł. M. Woźniak, Kraków 1999, s. 116.

дорослей. Зритель, проведенный через такого рода монтаж, начинает соединять образ героини с водой и жертвоприношением, у нас складывается впечатление, что взяв ее лежащее тело, земля воздает ее морю. Кажется, что этот регресс к ночи и воде необходим, чтобы обеспечить регенерацию жизни. Лилия, которую можно рассматривать как одну из многих незавершенных, несамореализовавшихся героинь Звягинцева, перед своей, надо полагать, самоубийственной смертью говорит о намерении рождения ребенка. С земной точки зрения, в этой ситуации, ее поступок может показаться так же нелепым и непонятным, как четкий план ухода из жизни Веры в *Изгнании*. В более широкой перспективе, однако, в обоих случаях эти женщины создают своих мужей по-новому, вызывают их пробуждение к духовной жизни. Только таким образом их страдание может иметь смысл и причину, благодаря которым можно превратить страдания в определенный порядок мира и оправдать их. Открывающие и закрывающие фильм кадры суровой природы северной России подтверждают смысл такого рассуждения. Эти кадры вписывают ритм жизни человека в тайны творения и заставляют вернуться к верованиям первичных культур, для которых страдания и боль никогда не лишены цели¹³.

Стремясь к завершению настоящих рассуждений, мы хотели бы отметить, что обсуждаемые кадры, которые были упомянуты в контексте мифа Левиафана, — это лишь введение в дискуссию по данной проблеме, анонс, указывающий на потенциал содержащихся в фильме Звягинцева возможностей. Томас Гоббс, на трактат которого мы ссылались, на протяжении веков получал очень разные оценки. Огюст Конт вознес его почти до уровня отца церкви новой религии научного позитивизма¹⁴. В последующие годы Гоббса сделали ответственным за ужасы и зверства тоталитаризма, ссылаясь в частности на его убеждение о злой природе человека, энергию которого нужно уметь направлять, а иногда даже усыплять, чтобы он мог правильно служить государству. Не оценивая справедливости этого утверждения, можно сказать, что язык образов в фильме *Левиафан* российского режиссера мог бы предоставить много доказательств, подтверждающих этот пессимистический взгляд на человека. В конце концов один из критиков определил произведение Звягинцева как роуд муви (*road movie*), рассказывающее о пути человека в ад. *Двойник церкви*¹⁵, построенной на человеческой несправедливости, из-под которой выкатываются блестящие черные

¹³ M. E l i a d e, *Sacrum, mit, historia*, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970, с. 256.

¹⁴ C. S c h m i t t, указ. соч., с. 148.

¹⁵ С. Ф у д е л ь, *О темном двойнике Церкви*, [в:] электронный ресурс: <http://www.pravmir.ru/o-temnom-dvojnike-cerkvi/> (01.09.2015).

„крейсера” местных „бандитов”, может утверждать зрителя в подобном мнении. Кажется, однако, что слой довольно банального, хотелось бы снова сказать — Чеховского — сюжета, сопоставленный с мастерски освоенным Звягинцевым принципом неизвестности, провокационно предсказывает, что хоть слабость и сила, добро и зло могут исходить из одного и того же источника, выход из подполья материальной повседневности возможен. Вызывающий ассоциации с водой миф Левиафана, обновленный в картине режиссера *Возвращения*, указывает на возможность катарсиса, очищения, совершающегося за счет интенсивного, освобождающего переживания отсутствия, позволяющего на укоренение в вере и истории.

Библиография

- Андрей Звягинцев: Сильнейшая реакция ненависти к „Левиафану” — просто нежелание смотреть в зеркало. Интервью Ксении Соколовой с Андреем Звягинцевым, [в:] электронный ресурс: <http://snob.ru/selected/entry/87969/page/2> (01.09.2015).
- Лосев А.Ф., *Диалектика мифа*, Москва 2000.
- Лотман Ю.М., Минц З.Г., Мелетинский Е.М., *Литература и мифы*, [в:] электронный ресурс: <http://philologos.narod.ru/myth/litmyth.htm> (12.09.2015).
- Погребная Я.В., *Актуальные проблемы современной мифопоэтики*, Москва 2011, [в:] электронный ресурс: <http://www.niv.ru/doc/pogrebnaaya-aspekty-mifopoetiki/index.htm> (15.09.2015).
- Фудель С., *О темном двойнике Церкви*, [в:] электронный ресурс: <http://www.pravmir.ru/o-temnom-dvojnike-cerkvi/> (01.09.2015).
- Barthes R., *Mitologie*, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2008.
- Eco U., *Czytanie świata*, przeł. M. Woźniak, Kraków 1999.
- Eliade M., *Mit wiecznego powrotu*, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1998.
- Eliade M., *Sacrum, mit, historia*, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970.
- MacFarquhar N., *Russian Movie 'Leviathan' Gets Applause in Hollywood but Scorn at Home*, „New York Times” 2015, January 27, s. A1.
- Santos Aquino R., *Spotlight on Contemporary Russian Cinema: Of Lands and Families Remote in the Films of Andrey Zvyagintsev*, [в:] электронный ресурс: <http://nextprojection.com/2012/05/19/spotlight-on-contemporary-russian-cinema-of-lands-and-families-remote-in-the-films-of-andrey-zvyagintsev/3/> (20.08.2015).
- Schmitt C., *Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu*, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2008.
- Toporow W., *Miasto i mit*, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2000.

ŚLADAMI „ZŁOTEJ KOHORTY”
(DMITRIJ BYKOW, *UNIEWINNIENIE*)

FOLLOWING THE “GOLDEN COHORT”
(DMITRY BYKOV, *JUSTIFICATION*)

ALEKSANDRA ZYWERT

ABSTRACT. Dmitry Bykov's novel *Justification*, created within the convention of alternative history, is a story about a fruitless attempt to justify Stalin's crimes. The work combines mythologizing and demythologizing tendencies, which makes it an interesting example of quasi-historical prose. Moreover, the novel constitutes a significant voice in the debate on Russia's present condition and prospects.

Aleksandra Zywert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
– Polska, olazywert@o2.pl

Dmitrij Bykow – pisarz, poeta, publicysta, lektor, scenarzysta, krytyk literacki – to nie tylko jeden z najpopularniejszych współczesnych rosyjskich twórców kultury, ale i (choć nie jest politykiem) liderów opozycji antyputinowskiej. Łącząc w swoich książkach elementy antyutopii, kryminału i thrillera z ostrą nutą satyryczną, Bykow analizuje zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość swojego kraju, stając się dla wielu odbiorców symbolem czynnego protestu wobec aktualnej polityki Władimira Putina.

Debiut powieściowy Bykova – *Uniewinnienie* (*Оправдание*, 1998) – to pierwsza część trylogii zwanej czasami „О-трилогия” lub „fantazja historyczna”¹, w skład której oprócz wspomnianego utworu wchodzi jeszcze: *Орфография* (2003) i *Остромов, или Ученик чародея* (2010)².

¹ Określenie Bykova. Zob. Д. Б ы к о в, *Другой альтернативы у нас есть!*, [w:] źródło elektroniczne: http://www.e-reading.club/chapter.php/147699/29/Bykov_-_Vmesto_zhizni.html (02.06.2015).

² Konstrukcja wszystkich trzech utworów jest analogiczna – w centrum zainteresowania pisarza stoi konkretne wydarzenie historyczne, które z tych czy innych powodów nie zostało do końca rzetelnie wyjaśnione lub o którym zapomniano. Z założenia wydarzenie to jest traktowane pretekstowo, jako tło, kostium dla wielopoziomowej narracji dotyczącej kwestii ludzkich losów w przełomowych okresach historii Rosji. Chronologia czasowa w poszczególnych częściach tryptyku nie jest zachowana, ale widać, że autora najbardziej interesuje okres przedodwilżowy. Bykow potwierdza to w jednym z wywiadów, mówiąc: „Мне всегда была симпатична средняя интелли-

W omawianej powieści jedną z ważniejszych (oprócz sugestywnego, pełnego dramatyzmu, tytułu) wskazówek ułatwiających prawidłowe odczytanie utworu są, nadające ton narracji, motto. Pierwsze – to fragment książki Roberta Conquesta dotyczący strategii i rozmiaru działania KGB wobec narodu rosyjskiego, drugie dotyczy metody leczenia chorób zimnem autorstwa rosyjskiego mistyka Porfirego Iwanowa, ostatnie – to cytat z satyrycznej noweli Nadzieży Teffi *Monarchista* (*Монархистм*, 1918).

Zestawienie cytatów nie jest przypadkowe. Zarówno ich kolejność, jak i dobór ściśle wiążą się z zamysłem autora. Pierwszy fragment wprowadza w temat główny – apogeum czystek stalinowskich. Kiedy na początku 1938 roku Wódz oficjalnie wkroczył na ścieżkę despotyzmu, wydał okólnik dla sił zbrojnych, w którym nakazywał eliminację nie tylko „wrogów», ale również «milczących świadków» nie dość gorliwie denuncjujących wrogów”³. Kolejny cytat wskazuje na autorskie ujęcie problemu. Odwołanie się do słów urodzonego pod koniec XIX wieku, uważanego czasami za pioniera krioterapii w medycynie ukraińskiego mistyka-uzdrowiciela przenosi punkt ciężkości rozważań Bykowa w rejony z pogranicza nauki, religii i duchowości⁴. W tym kontekście absurdalny w swej wymowie „monarchistyczny manifest” typowo szchedrinowskiego bohatera – rosyjskiego emigranta w Paryżu, który choć klepie biedę, to jednak czuje się częścią wielkiego imperium – idealnie wpisuje się w autorską strategię spojrzenia na represje okresu stalinowskiego. Bykow, podobnie jak wcześniej Teffi, nie szydzi z rodaków, ale akcentuje właściwą im tendencję podświadomego zacierania granic pomiędzy realnością i fikcją⁵.

генция в первом поколении [...] Мои любимые герои это советские дети 30-х годов”. Д. Б ы к о в, *Человек хочет жить в условиях сюжета*, Беседу вел Игорь Шевелев, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.newshelev.narod.ru/genkat/669.htm> (12.09.2015). W *Uniewinnieniu* w centrum uwagi autora znajdują się represje polityczne z lat 30., ujęte w fantastycznym kluczu historii alternatywnej w połączeniu z teorią spiskową. W drugiej powieści Bykow cofa się do roku 1918 i bierze pod lupę reformę rosyjskiej ortografii. W ostatniej części trylogii zajmuje go, prawie już zapomniana, tzw. sprawa leningradzkich masonów z przełomu 1925 i 1926 roku. Szerzej na ten temat zob. np. И. Ш л и о н - с к а я, *Дело ленинградских масонов*, [w:] źródło elektroniczne: http://www.neveroyatno.info/news/delo_leningradskikh_masonov/2014-04-02-2244 (12.09.2015).

³ R. C o n q u e s t, *Stalin*, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 1996, s. 211.

⁴ O systemie Iwanowa oraz jego naukach jako nowej religii zob. D. P e n k a l a - G a - w ę c k a, *System naturalnego uzdrawiania Porfirego Iwanowa w Kazachstanie*, [w:] źródło elektroniczne: http://cyfrowaetnografia.pl/Content/2058/Strony+od+LUD1998_t82-14-penkala.pdf (12.06.2015).

⁵ Potwierdzeniem są słowa samego autora, który w jednym z wywiadów wyjaśnia:

Мы пытаемся подыскать оправдание тому, что происходило в разное время в России. Я думал, в чем корень этого психоза? В одном письме Юрия Домбровского есть замечательная фраза, что жизнь, к сожалению, гораздо более трезва, чем наши мысли о ней. И вот то, что она трезвее, скучнее и потому ужаснее любого мифа, всегда каза-

Już na tym etapie rozważań widać, że powieść Bykowa jawi się jako tekst problemowo nasycony, poruszający wciąż istotne dla Rosjan kwestie dramatycznej przeszłości swojego kraju. W tym kontekście interesujące jest niestandardowe ujęcie tematu w kluczu filozoficzno-fantastycznym⁶.

Uciekając się do żywotnej od lat 90. w literaturze rosyjskiej odmiany fantastyki, jaką jest historia alternatywna⁷, Bykow snuje opowieść, w której sugeruje falsyfikację historii. Głównym motywem fabułowtórczym jest postrzegana dwuwymiarowo droga – przemieszczanie się bohatera w czasie i przestrzeni przekłada się na jego wewnętrzne peregrynacje w poszukiwaniu odpowiedzi na dręczące pytania o własną tożsamość.

Centralną postacią jest młody historyk Sława Rogow – wnuk represjonowanego w 1938 roku docenta Moskiewskiej Akademii Rolniczej Iwana Antonowicza Skaldina, który na początku lat 90. podejmuje próbę udowodnienia swojej (opartej na historii usłyszanej od starego geologa Kretowarii) teorii o rzeczywistym sensie stalinowskich represji. Podejrzewa on, że owszem był to element projektu politycznego, ale w sensie nieco innym od oficjalnie prezentowanego. Chodziło o „wyprodukowanie” super żołnierza, żywej maszyny do zabijania, zdolnej przetrwać w każdych warunkach⁸, a nie o zwykły eliminacjonizm⁹. Ci, którzy przetrwali „selekcję” w podzie-

лось мне очень печальным. Чтобы подавить в себе эту печаль и тоску по имперским мифам, я и написал „Оправдание”.

И. Ш е в е л е в, *Большая проверка. Дмитрий Быков: „Человек хочет жить в условиях сюжета”*, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.ishevelev.narod.ru/bikov.htm> (12.06.2015)

⁶ Bykow nie jest tu pionierem takiego ujęcia tematu. W 1992 roku w podobnym kluczu ujął go Anatolij Korolew w utworze *Голова Гоголя*, a potem Władimir Makanin w opowieści *Буква А*. Szerzej zob. E. И в а н и ц к а я, *Преступление и оправдание*, „Дружба народов” 2001, № 7, [w:] źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/druzhba/2001/7/tech_ivan.html (12.06.2015).

⁷ Szerzej na ten temat zob.: Л. С. Я к о в л е в, *Социальные функции „альтернативной истории”*, [w:] АНТРО. *Анналы научной теории развития общества*, вып. 6, Пермь 2009, s. 48–60.

⁸ Informacje o projektach radzieckich, realizowanych jeszcze w latach 30. XX wieku, a ukierunkowanych na stworzenie super żołnierza, do dziś krążą w sieci. Trudno zweryfikować ich rzetelność, ale niewątpliwie cieszą się one nieustannie sporym zainteresowaniem wśród czytelników. Jako przykłady można podać choćby takie publikacje jak: М. Т р о и ц ы н а, *Под грифом „секретно”: Терминаторы страны советов*, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.yoki.ru/anomalous/unreal/18-07-2011/395681-terminator-0/> (29.06.2015); С. Г л у х о в, *Суперсолдаты СССР*, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.4ygeca.com/supersoldiers.html> (29.06.2015).

⁹ Specyfika dwudziestowiecznych strategii eliminacjonistycznych polegała na tym, że w większości (w odróżnieniu od kolonialnych grabieży poprzedniego wieku) były one przeprowadzane na terytoriach państw zamieszkiwanych wspólnie przez ofiary i sprawców. Szerzej zob. D. G o l d h a g e n, *Wiek ludobójstwa*, tłum. M. Romanek, Kraków 2012, s. 60–70.

miach Łubianki, przeszli szkolenie w ukrytych na Syberii obozach i stali się „złotą kohortą” Stalina, która zmieniła losy wojny. Zwolnieni ze służby pod koniec lat 40. superżołnierze rozpiezchli się po kraju – jedni próbowali żyć incognito, inni podobno wrócili do obozu. Po latach, kiedy pamięć o tamtych czasach zachowała się tylko w apokryfach i strzępkach wspomnień, młody historyk wyrusza na poszukiwanie specobozu Czyste, by odkryć prawdę o tamtych czasach.

Jak widać, Bykow-fantasta tylko częściowo jawi się jako zwolennik relatywizmu epistemologicznego. W odróżnieniu od autorów klasycznych historii alternatywnych pisarz nie kwestionuje wartości poznania naukowego dotyczącego całego radzieckiego systemu politycznego, a podaje w wątpliwość tylko jego część. Akceptuje fakt, że czystki stalinowskie nie nosiły znamion działania afektowego, ale ich cel, jakim było między innymi „wychodowanie człowieka radzieckiego”, doprowadza do absurdu i przenosi na płaszczyznę fantastyczną¹⁰.

Założenie to generuje określony sposób konstrukcji bohaterów, wyjaśnia zastosowanie motywu drogi jako głównego elementu fabułowtwórczego oraz częste wykorzystanie intertekstualności w procesie tworzenia świata przedstawionego. Ta ostatnia, współtworząc iluzję wiarygodności prezentowanych wydarzeń, wpływa też na odbiór powieści – to zaproszenie do gry w świecie jako obszarze poszukiwań epistemologicznych, a nie ontologicznych¹¹. Potwierdza to historia Rogowa, który za sprawą opowieści Kretowa nie tyle poznaje świat, co konfrontuje rzeczywistość empiryczną z własną projekcją tejsze.

Od początku otaczający bohatera na co dzień świat wydaje się nudny, zrutynizowany i bezbarwny, a jedynym (choć dalece niedoskonałym) wytchnieniem od uciążliwej przeciętności jest dacza i mieszkający na niej namiętny gawędziarz – stary geolog Kretow. Fascynacja Rogowa opowieściami sąsiada, jak i nim samym, nie jest zaskakująca, jeśli uwzględnić okres, w którym dorastał (lata 70.), oraz relacje rodzinne¹². Istotna jest tu przede

¹⁰ W jednym z wywiadów autor wyjaśnia:

Люди считают, что устраивают насилие ради строительства империи или строительства БАМа, но на самом деле это лишь косвенная цель. Главной целью было формирование человека, который был бы способен через весь этот ужас проходить. Вот этот новый человек, который выше своей биологической природы, выше своего страха боли, утрат, тяги к удовольствиям, для меня очень привлекателен.

И. Ш е в л е в, op. cit., [w:] źródło elektroniczne: <http://www.ishevelev.narod.ru/bikov.htm> (12.06.2015).

¹¹ Szerzej zob. B. M c H a l e, *Powieść postmodernistyczna*, tłum. M. Płaza, Kraków 2012, s. 8-16.

¹² Lata 70. – to okres, który Bykow uważa za pod wieloma względami szczególny – w zależności od punktu widzenia albo wyjątkowo nudny, albo niosący w sobie ogromny, wręcz erotyczny (a ściślej sadomasochistyczny), potencjał. Zob. И. Ш е в л е в -

wszystkim postaci ojca chłopca, który jawi się jako uosobienie nieudacznictwa i uległości wobec bezbarwnego i bezperspektywicznego świata. Rogow junior jest zupełnie inny – ponadprzeciętnie wrażliwy i skłonny do fantazjowania. Owe cechy w połączeniu z dziecięcą ciekawością świata oraz samotnością w świecie dorosłych automatycznie prowadzą go do podświadomych poszukiwań guru. W tym kontekście nie dziwi fakt, że stworzony przez Kretowa świat prezentuje się chłopcu jako magiczna rzeczywistość równoległa i staje się w końcu dla niego jedyną akceptowalną. Bykow pisze:

Для маленького Рогова именно эти рассказы были первой отечественной историей, как дача была первой Родиной¹³.

Naturalną konsekwencją symbiozy obciążeń rodzinnych z uzależnieniem od Kretowa jest obłęd Rogowa. Zaczyna się on już we wczesnej młodości, a pierwszym jego sygnałem jest niebezpiecznie dryfujące w kierunku manii prześladowczej, przyjęte przez bohatera założenie, że „Каждая советская вещь имела двойное дно” (44). Wyjaśnia to zarówno różniejszą decyzję o wyborze zawodu, jak i obsesję na punkcie odnalezienia obozu dla superżołnierzy¹⁴.

л е в, op. cit., [w:] źródło elektroniczne: <http://www.ishevelev.narod.ru/bikov.htm> (12.06.2015).

¹³ Д. Б. К. О. В., *Оправдание: роман*, [w:] tegoż, *Оправдание: роман, Эвакуатор: роман и стихи вокруг романа*, Москва 2006, s. 40. Wszystkie pozostałe cytaty pochodzą z tego źródła.

¹⁴ Dodajmy, że sposób myślenia i postrzegania historii swojego kraju przez Rogowa nie był wyjątkiem. Autor przypomina, że na przełomie lat 80. i 90. XX wieku powszechnie uważano, że znakiem wywoławczym okresu radzieckiego w Rosji było nagminne przekłamywanie historii, co spowodowało, że „лозунгом момента стала фраза «Нам всегда врал»”. Д. Б. К. О. В., *Другой альтернативы...*, op. cit., [w:] źródło elektroniczne: http://www.e-reading.club/chapter.php/147699/29/Bykov_-_Vmesto_zhizni.html (12.06.2015). Powstało wówczas mnóstwo historii alternatywnych, z czego lwia część dotyczyła właśnie czasów stalinowskich, które mimo panującego w nich niewyobrażalnego okrucieństwa, paradoksalnie okazały się być jednymi z najbardziej interesujących dla Rosjan. Należy także wziąć pod uwagę, że niebagatelną rolę w kształtowaniu się światopoglądu Rogowa odegrała zasada funkcjonowania potocznie rozumianej świadomości narodowej. (Zwraca na to uwagę Wasilij Prigodicz, pisząc, że dla wielu Rosjan „Сталинские ужасы были парадоксальным образом привлекательны, величавы, мыслительно насыщены”. В. П. Р. И. Г. О. Д. И. Ч., *Оправдание „системы”, или Тайна советской власти*, [w:] źródło elektroniczne: <http://prigodich.8m.com/html/notes/n035.html> (12.06.2015)). Jak twierdzi Dmitrij Furman, jej cechą charakterystyczną jest tendencja do zachowywania w pamięci rozumowo logicznej wersji wydarzeń, a nie oficjalnie udokumentowanej. Д. Ф. У. Р. М. А. Н., *Наш путь к нормальной культуре*, [w:] *Иного не дано* Москва 1988, [w:] źródło elektroniczne: <https://archive.org/stream/Furman-Nash-Put#page/n0/mode/2up> (12.06.2015).

W szerszym planie postępowanie bohatera dotyka kwestii pojęcia prawdy w kontekście opozycji pomiędzy współczesnym, zmitologizowanym i wyidealizowanym postrzeganiem rzeczywistości historycznej a prawdziwym jej obrazem¹⁵. Historia wędrowki Rogowa nabiera jakościowo nowego znaczenia i zostaje przeniesiona z płaszczyzny indywidualnej na ogólnonarodową, zaś leżące u jej źródła stalinowskie represje stają się nie centrum, jądrem problemu, lecz zaledwie pretekstem do rozważań nad możliwością uporania się Rosjan z historyczną traumą. Ciekawym chwytem jest nawiązująca do struktury bajki magicznej koncepcja opisu podróży bohatera. Niebagatelne znaczenie ma tu wprowadzony już na początku utworu (a wypływający z kontrastu miasto-wieś / natura-cywilizacja) model dwuprzestrzeni. Zgodnie z nim miasto – to miejsce niebezpieczne, siedlisko kłamstwa, nudy, podmiany, uciążliwej współczesności, zaś wieś – to ostoja prawdy, nosicielka pamięci historycznej i zapomnianej magii naturalnego życia. Bykow pisze:

Если Москва была предельно уязвимым пространством, через которое тянулись тысячи силовых линий, неся опасность и новизну, – здесь царила та полузабытая, идиллическая стабильность, от которой большинство чувствовало себя как в теплой ванне, а меньшинство сходило с ума (98).

Baśniowy, oparty na kontraście dwóch królestw, klucz opisu wsi i miasta wyznacza logikę podróży Sławy. Początek wyprawy – wyjazd z Moskwy – jest niczym przeprawa do innego, położonego „za siedmioma górami, za siedmioma lasami”, świata¹⁶ („Удаляясь от Москвы, Рогов почти физически чувствовал, как удаляется он и от современности, погружаясь в какое-то среднее и неизменное общероссийское время” (98)). Po przybyciu do innego świata bohater wie, że musi wykonać zadanie, na które ma do dyspozycji trzy próby, i albo wyjdzie z tego obronną ręką, albo zginie.

Zgodnie z tym założeniem podróż Rogowa po syberyjskiej tajdze przebiega według zasad klasycznej triady: trzy możliwe lokalizacje miejsca obozu Czyste, trzy wędrowki, trzy spotkania z mieszkańcami kolejnych osad. Bohater posiada także magiczny w jego mniemaniu przedmiot – kieszonkowe lustro, spadek po zmarłym Kretowie, które w chwilach zwątpienia dodaje mu otuchy i wyznacza kierunek dalszej wędrowki („Иногда спротонок он спрашивал себя, что делает здесь, но зеркальце, кретовское зеркальце под подушкой на все отвечало ему” (143))¹⁷.

¹⁵ Е. И в а н и ц к а я, op. cit., [w:] źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/druzhba/2001/7/tech_ivan.html (12.06.2015).

¹⁶ Jak pisze Władimir Propp, „wszystkie typy przeprawy wskazują na jedną genezę: wywodzą się one z wyobrażeń na temat drogi zmarłego do tamtego świata”. W. P r o p p, op. cit., s. 221.

¹⁷ Szerzej na temat klasyfikacji i funkcji przedmiotów magicznych zob. ibidem, s. 207–219.

Zastosowanie modelu dwuprzestrzeni powoduje wrażenie pogłębiającej się dwoistości czasu i przestrzeni. Z jednej strony czas płynie liniowo, z drugiej kołowo. Koło czasu uosabia Rogow, który jako jednostka funkcjonuje w rozwijającym się liniowo czasie historycznym. Sprzeczność ta sprawia, że niezależnie od rozwoju wypadków bohater interpretuje wszystko wyłącznie przez pryzmat swojej, ewidentnie przeczącej rzeczywistości, psychologicznej rekonstrukcji minionych wydarzeń. Przykładem jest choćby rozdział *Rekonstrukcja 2*, w którym pojawia się pozornie w pełni wiarygodna, choć w rzeczywistości całkowicie zmyślona, opowieść o prawdziwych losach Izaaka Babla. Tego rodzaju chwyt wskazuje, że Bykow świadomie balansuje na pograniczu fantastyki i realizmu, mainstreamu i literatury wysokiej. Wychodzi z realnych, potwierdzonych faktów, ale strukturalizuje fabułę tak, by doprowadzić do „wahania fantastycznego” – sytuacji, w której żadna (ani nadprzyrodzona, ani racjonalna) interpretacja nie jest rozstrzygająca¹⁸. Według tego samego klucza skonstruowane są kolejne epizody / spotkania-etapy podróży Rogowa.

Pierwsze spotkanie ma miejsce w wiosce dziwnych milczących ludzi. Początkowo wydają się oni zagadkowi, ale wkrótce czar pryska – okazuje się, że to niemi starcy, którymi opiekuje się taka sama jak oni, niema dziewczyna. Kolejna próba rozwiązania zagadki Czystego także kończy się niepowodzeniem – tajemnicza, ukryta w leśnych ostępach kolonia, rządzona przez okrutnego i demonicznego starca Konstantina, okazuje się sektą, nieformalnym azylem dla inwalidów wojennych, którzy nie potrafią znaleźć sobie miejsca w powojennym życiu, a także ekskluzywnym „obozem turystycznym” dla sadomasochistów. Cierpienie, poniżenie, tortury, które są tu na porządku dziennym, nie uszlachetniają, nie są ani żadną formą inicjacji, ani też częścią tajnego projektu. Dla „organizatorów” – to część dobrego biznes planu, dla „kolonistów” – ekscentryczna, oględnie mówiąc, forma rozrywki.

¹⁸ Tzvetan Todorov pisze:

W świecie, który uznajemy za nasz, ten, który znamy, bez diabłów, sylfid i wampirów, ma miejsce zdarzenie, którego nie możemy wytłumaczyć prawami tego bliskiego (oswojonego, znanego) nam świata. Ten, kto postrzega wydarzenie, musi wybrać jedno z możliwych rozwiązań: albo chodzi o iluzję zmysłów, twór wyobraźni, i w tym przypadku prawa rządzące światem pozostają niezmiennie, albo wydarzenie miało naprawdę miejsce, jest częścią składową (należącą do) rzeczywistości, ale wówczas ta rzeczywistość podlega prawom nam nie znanym. Albo diabeł jest jedynie iluzją, tworem wyobraźni; albo istnieje naprawdę, tak jak inne żywe stworzenia, z tą różnicą, że spotykamy go bardzo rzadko. Fantastyka zajmuje czas tej niepewności. Opowiadając się za jedną lub drugą opcją, opuszcza się fantastykę, by wejść do sfery sąsiadującej, l'étrange lub merveilleux. Fantastyka to wahanie odczuwane przez istotę, która zna tylko prawo naturalne, wobec wydarzenia pozornie nadnaturalnego.

Cyt. za M. N i z i o ł e k, *Zdefiniować fantastykę, czyli „fantastyczne” (i nie tylko) teorie literatury fantastycznej*, „Przestrzenie Teorii”, Poznań 2005, nr 5, s. 270.

Ostatnie Czyste, do którego zdesperowany i zdezorientowany Rogow jedzie właściwie dla (jak to określa narrator) spokoju sumienia, to zwykła dawno opuszczona wioska pośrodku ogromnego lasu. Epizod ten jest niezwykle istotny dla zrozumienia przesłania powieści, tu bowiem dochodzi do wielkiego finału – pogrążony w obłędzie Rogow tłumaczy sobie, że odejście mieszkańców Czystego miało głęboki sens: „люди ушли только для того, чтобы выманить его, чтобы он поспешил за ними по тропинке, уводящей в лес” (228). Podążając za swoimi przeczuciami, bohater zagłębia się w las i po pewnym czasie trafia na bagnistą polanę. Jest przekonany, że oto dostał wtajemniczenia i wreszcie powrócił do miejsca, które od dzieciństwa było dla niego symbolem, dostępnej tylko wybranym magii – cudownej łąki-przedsionka raju. Niestety, triumf Rogowa *de facto* jest jego ostatecznym upadkiem – piękna łąka to w rzeczywistości ogromne i zdradliwe bagno, które go pochłania.

Opisując koniec Rogowa, autor nie pozostawia wątpliwości: historia Związku Radzieckiego jest tak przerażająca i okrutna, że pogodzić się z byciem jej częścią można tylko w momencie śmierci (nieważne – psychicznej czy także i fizycznej). Jeśli człowiek podejmie starania rozumowego jej ogarnięcia i wytłumaczenia, niechybnie popadnie w obłąd. Finał poszukiwań bohatera można odczytać także jako komentarz w kwestii nasyczonej od wieków imperialnym duchem rosyjskiej samoświadomości. Nawiązując do aktualnej kondycji Rosji, autor wskazuje, że w kraju nic się nie zmieniło. Brak rzetelnego rozliczenia się z przeszłością sprawia, że jądro Imperium pozostało nietknięte i cały czas jest takie samo, jakim jawiło się małemu Rogowowi w dzieciństwie – enigmatyczna, groźna kraina wiecznej nocy¹⁹.

W tym kontekście obłąd bohatera nabiera jakościowo nowego znaczenia, a on sam zaczyna jawić się jako symbol tych wszystkich Rosjan, którzy z chwilą upadku Imperium poczuli się osamotnieni, opuszczeni i zdeorientowani. Wcześniej ich życie regulowały proste przełożenia: bezwarunkowe posłuszeństwo – życie, nieposłuszeństwo – śmierć. Koniec ZSRR oznaczał nadejście epoki indywidualizmu, a więc postawił przed nimi zadanie, do którego (także historycznie) nie byli przygotowani – samodzielne życie bez imperialistycznych ambicji i mesjanistycznych zapędów, za to

¹⁹ Z wnioskami tymi konweniuje opinia Jeleny Iwanickiej, która wskazuje, że choroba bohatera – to swego rodzaju alegoria aktualnej kondycji świadomości społeczeństwa rosyjskiego. Paradoks polega na tym, że wciąż żywa nostalgia za przeszłością, pragnienie powrotu idola, który urządzi (choćby i „silną ręką”) ludziom życie i weźmie za nie odpowiedzialność, są nadal postrzegane w Rosji nie jako przejaw obłądki, lecz jako norma. Sporo Rosjan, jak pisze badaczka, z jednej strony przyznaje, że dziesiątki lat żyło w warunkach okrutnego zniewolenia, z drugiej zaś pozytywnie odbiera ZSRR jako formę państwowości. Zob. Е. И в а н и ц к а я, op. cit., [w:] źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/druzhba/2001/7/tech_ivan.html (12.06.2015).

z poczuciem absolutnej odpowiedzialności za każdą decyzję. Przypadek Rogowa nie jest więc wyjątkiem, lecz dowodem na wciąż aktywne zjawisko – strach przed życiem poza kolektywem połączony z poczuciem głębokiego osamotnienia, który prowadzi do nierzadko rozpaczliwych prób uzasadnienia celowości swojego istnienia, nawet jeśli ostatecznym ich rezultatem będzie autodestrukcja.

W tym znaczeniu powieść Bykowa łączy w sobie tendencje mitologizujące i demitologizujące, co czyni z niej interesujący przykład prozy quasi-histerycznej²⁰, utrzymanej w konwencji historii alternatywnej²¹. W ten sposób autor nie tylko daje pośrednio przyzwolenie na wielość interpretacji tego samego zjawiska, ale i dopuszcza przeniesienie punktu ciężkości z realnych faktów na ich wyobrażenia. Uwypuklenie tej sprzeczności nie jest przypadkowe, bowiem według Bykowa historia Rosji wciąż jawi się bardziej jako kolejna historia alternatywna²² niż uporządkowany zbiór udokumentowanych faktów. Jedną z głównych przyczyn tego stanu są złożone, bo z definicji dopuszczające zaledwie formalną sytuację dialogową, stosunki na linii władza – społeczeństwo²³. W tym kontekście *Uniewinnienie* nie jest ko-

²⁰ М. Назаренко, *Поэтика двойственности в романе Дмитрия Быкова „Орфография”*, [w:] źródło elektroniczne: <http://nevmenandr.net/nazarenko/bykov.php> (12.06.2015).

²¹ Potwierdza to sam Bykow, twierdząc, że

любое историческое сочинение подпадает под определение „альтернативной истории” [...] Вся историческая проза выдержана в жанре альтернативной истории, ибо на самом деле все оно обстоит не так, как написано.

Д. Быков, *Другой альтернативы...*, op. cit., [w:] źródło elektroniczne: http://www.e-reading.club/chapter.php/147699/29/Bykov_-_Vmesto_zhizni.html (12.06.2015).

²² Bykow wskazuje, że jedną z podstawowych zasad konstrukcji historii alternatywnej jest właśnie dwupłaszczyznowość, przy czym każda z płaszczyzn jest traktowana równoprawnie.

АИ подразделяется на два равноправных потока, и разделение идет [...] по степени авторской отвязанности [...] Сочинения (иногда вполне научные) о том, „что было бы, если бы”. [...] Сочинения (еще чаще научные) о том, что все НА САМОМ ДЕЛЕ было не так, как нам говорили.

Д. Быков, *Другой альтернативы...*, op. cit., [w:] źródło elektroniczne: http://www.e-reading.club/chapter.php/147699/29/Bykov_-_Vmesto_zhizni.html (12.06.2015).

²³ Mechanizm ten, jak twierdzi pisarz,

jako pierwszy opisał [...] Aleksander Puszkina w [...] *Jeźdźcu miedzianym*: istnieje miasto stworzone z granitu, istnieje też bagno, trzęsawisko, którego strukturę pod względem giętkości, chwiejności można utożsamić ze strukturą społeczeństwa rosyjskiego – strukturą o charakterze poziomym, co wyklucza jakiegokolwiek modyfikacje spowodowane wpływami pionowymi (ze strony władzy).

В. Гоłąбек, *Релация ze spotkania z Dmitrijem Bykowem. Pisarze, władza i społeczeństwo w Rosji w 2014 roku*, [w:] źródło elektroniczne: http://www.kksw.ifw.filg.uj.edu.pl/katedra/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_25Bq/42052856/47986751 (12.06.2015).

lejną skazaną z góry na porażkę próbą przywrócenia porządku świata, ale pozycją niezwykle aktualną z uwagi na podejmowaną problematykę, płynnie wpisującą się w debatę o aktualnej kondycji Rosji i jej perspektywach na przyszłość.

Bibliografia

- Conquest R., *Stalin*, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 1996.
- Goldhagen D., *Wiek ludobójstwa*, tłum. M. Romanek, Kraków 2012.
- Gólabek B., *Relacja ze spotkania z Dmitrijem Bykowem. Pisarze, władza i społeczeństwo w Rosji w 2014 roku*, [w:] źródło elektroniczne: http://www.kksw.ifw.filg.uj.edu.pl/katedra/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_25Bq/42052856/47986751 (12.06.2015).
- McHale B., *Powieść postmodernistyczna*, tłum. M. Płaza, Kraków 2012.
- Niziołek M., *Zdefiniować fantastykę, czyli „fantastyczne” (i nie tylko) teorie literatury fantastycznej*, „Przestrzenie Teorii” Poznań 2005, nr 5, s. 267–278.
- Penkala-Gawęcka D., *System naturalnego uzdrawiania Porfirego Iwanowa w Kazachstanie*, http://cyfrowaetnografia.pl/Content/2058/Strony+od+LUD1998_t82-14-penkala.pdf (12.06.2015).
- Prapp W., *Historyczne korzenie bajki magicznej*, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 2003.
- Быков Д., *Другой альтернативы у нас есть!*, [w:] źródło elektroniczne: http://www.e-reading.club/chapter.php/147699/29/Bykov_-_Vmesto_zhizni.html (02.06.2015).
- Быков Д., *Оправдание. Роман*, [w:] tegoż, *Оправдание. Роман, Эвакуатор. Роман и стихи вокруг романа*, Москва 2006.
- Быков Д., *Человек хочет жить в условиях сюжета*, Беседу вел Игорь Шевелев, <http://www.newshevelev.narod.ru/genkat/669.htm> (12.09.2015).
- Глухов С., *Суперсолдаты СССР*, <http://www.4ygeca.com/supersoldiers.html> (29.06.2015).
- Иванicka Е., *Преступление и оправдание*, „Дружба народов” 2001, № 7, [w:] źródło elektroniczne: http://magazines.russ.ru/druzhba/2001/7/tech_ivan.html (12.06.2015).
- Назаренко М., *Поэтика двойственности в романе Дмитрия Быкова „Орфография”*, [w:] źródło elektroniczne: <http://nevmenandr.net/nazarenko/bykov.php> (12.06.2015).
- Пригодич В., *Оправдание „системы”, или Тайна советской власти*, [w:] źródło elektroniczne: <http://prigodich.8m.com/html/notes/n035.html> (12.06.2015).
- Троицына М., *Под грифом „секретно”: Терминаторы страны советов*, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.yoki.ru/anomalous/unreal/18-07-2011/395681-terminator-0/> (29.06.2015).
- Фурман Д., *Наш путь к нормальной культуре*, [w:] *Иного не дано*, Москва 1988, [w:] źródło elektroniczne: <https://archive.org/stream/Furman-Nash-Put#page/n0/mode/2up> (12.06.2015).

- Ш е в е л е в И., *Большая проверка. Дмитрий Быков: „Человек хочет жить в условиях сюжета”*, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.ishevelev.narod.ru/bikov.htm> (12.06.2015).
- Ш л и о н с к а я И., *Дело ленинградских масонов*, [w:] źródło elektroniczne: http://www.neveroyatno.info/news/delo_leningradskikh_masonov/2014-04-02-2244 (12.09.2015).
- Я к о в л е в Л. С., *Социальные функции „альтернативной истории”*, [w:] АНТРО. *Анналы научной теории развития общества*, вып. 6, Пермь 2009.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ГАРМОНИЯ КАК ПРИНЦИП ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФИСНЫХ СУБСТАНТИВНО-СУБСТАНТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЕДИНИЦ ЛИЧНОЙ СЕМАНТИКИ)

HARMONY AS A PRINCIPLE IN CREATING HYPHENATED COMPOUND WORDS (BASED ON THE EXAMPLES OF NAMES FOR PEOPLE)

PAULINA BORTNOWSKA

ABSTRACT. Using the structure of hyphenated compound words has become a productive way of creating new nominations in contemporary Russian. The aim of this article is to show that harmony as an orderly combination of elements in a whole is the main concept that underpins multiple psycholinguistic processes, resulting in the occurrence of hyphenated compound words in Russian speakers' language.

Paulina Bortnowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
– Polska, pkbortnowska@gmail.com

Одним из продуктивных способов номинации в современном русском языке является образование дефисных субстантивно-субстантивных конструкций (ДССК) типа *юбка-хвост*, *смартфон-раскладушка*, *фильм-ограбление*, *сумка-холодильник*. Среди них особое место занимают единицы личной семантики, такие как *хакер-фрикер*, *женщина-вамп*, *человек-матрешка* и т. д., представляющие собой удобное средство разносторонней характеристики человека как центральной фигуры языка.

ДССК – это особые лексические объекты, в которых удобство формы и семантическая прозрачность гармонируют с семантической емкостью, а иногда даже и с необыкновенной оригинальностью смыслового содержания. Будучи результатами комбинаторики уже имеющих в лексиконе единиц, структуры данного типа успешно отвечают условиям современной коммуникации, а также отражают тенденцию к регулярности в развитии языка. К тому же, выражая понятия более эксплицитно, чем однословные лексемы, они фиксируют в себе результаты усложненных процессов восприятия, понимания и концептуализации фрагментов окружающей действительности в сознании говорящих.

Стремясь постичь основные психолингвистические механизмы, обеспечивающие носителям русского языка возможность создавать, использовать и правильно интерпретировать ДССК в речевых реализациях, можно прийти к выводу, что словом-ключом, определяющим всю совокупность этих процессов, является *гармония*, понимаемая как 'соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое органическое целое'¹. Причем, по нашим наблюдениям, гармония, сопровождающая возникновение ДССК в потоке речи, проявляется как на семантико-смысловом, так и на структурно-формальном уровнях.

Результатом семантико-смысловой гармонии ДССК является, в первую очередь, их семантическая цельность. Ученые неоднократно подчеркивали, что, будучи сложными номинатами, ДССК направляются на именуемый предмет комплексно, „как нечто концептуально целое“².

Следует при этом отметить, что возникающие между компонентами ДССК семантико-смысловые связи всегда опираются на реальные смысловые соотношения между называемыми с их помощью объектами окружающей действительности и в большинстве случаев имеют свое отражение в форме системных и общезыковых синтагматических, эпидигматических и парадигматических связей слов. Интенсивность семантико-смысловых связей, возникающих между компонентами семантически цельных ДССК, мы называем семантической регулярностью. По уровню семантической регулярности ДССК можно разделить на четыре типа.

К первому из них причисляются конструкции, компоненты которых связываются полностью комплектованной связью в рамках оппозиции тождества или привативной оппозиции гиперо-гипонимического характера, напр. *невежда-дилетант, враг-супостат, путь-дорога, правда-истина*, с одной стороны, и *женщина-вамп, ребенок-грудничок, мужчина-метросексуал* — с другой. Уровень семантической регулярности ДССК данного типа можно определить как абсолютный.

Второй тип представляют ДССК, отношения между компонентами которых опираются либо на их принадлежность к одной лексико-семантической подгруппе³ (напр. *любовница-жена, юноша-мужчина, активист-общественник, актриса-невица*), либо на привативную оппозицию неполностью комплектованного характера (напр. *профессор-филолог*: филолог — 'специалист по филологии'; ТСШ, *жандарм-гаишник*: гаишник — 'работник Государственной автомобильной инспекции'; ТСШ, *друг-*

¹ Большой энциклопедический словарь, ред. В.Н. Ярцева, Москва 1998.

² Е.Ю. В и д а н о в, *Аналитизм в именном словообразовании современного русского языка*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Омск 2011, с. 11.

³ Согласно классификации, представленной в *Русском семантическом словаре* Н.Ю. Шведовой.

-одноклассник: одноклассник — 'ученик того же класса, в котором кто-н. учится, учился'; ТСШ). В случае таких структур можно, на наш взгляд, говорить о высоком уровне семантической регулярности.

К третьему типу относятся конструкции, связь между компонентами которых осуществляется в пределах одной тематической группы (напр. *сын-наследник, бандит-предприниматель, еретик-митрополит*) или разных подгрупп одной лексико-семантической группы (напр. *парень-задохлик, эксцентрик-пустослов, друг-иностранец*). В силу большей отдаленности значений слов-компонентов такие ДССК называем условно регулярными.

Последний, четвертый, тип представляют конструкции, отношения между компонентами которых не имеют своих источников в системных языковых связях слов, а опираются на реальные соотношения между элементами окружающей человека действительности. Репрезентанты этого типа — метафорические ДССК, в которых один из компонентов способствует активизации переносного значения другого компонента, напр. *человек-телевизор, женщина-птичка, мужчина-огонь*.

Особая гармония, связывающая друг с другом компоненты ДССК в цельную номинативную единицу, может действовать также вне пределов самой конструкции. Как замечает М.А. Дрога, семантико-смысловая гармония ДССК неоднократно проявляется уже на уровне контекста. Высказывания, в которых употребляются структуры данного типа, зачастую содержат определенные мотиваторы, т. наз. слова-стимулы, активизирующие процесс их (т. е. ДССК) порождения⁴. В связи с этим можно предполагать, что контекст играет двойную роль: он не только способствует правильному пониманию значения ДССК, но также предопределяет ее появление в тексте⁵. О „порождающей энергии контекста” пишет и Н.Д. Голев, обращая внимание на факт, что выбор, создание или воссоздание номинативной единицы обуславливается не только результатами интеллектуальных усилий говорящего, но также, в существенной степени, семантической материей контекста, которая „подготавливает” говорящего к применению определенного наименования⁶.

Гармонию, возникающую между ДССК и сопровождающим ее контекстом, т. е. насыщенность текста определенными словами-стимула-

⁴ М.А. Д р о г а, *Составные наименования в русском языке (ономазиологический и функциональный аспекты)*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Белгород 2010, с. 16.

⁵ Там же.

⁶ Н.Д. Г о л е в, *Эпидигматика и деривационные процессы в речи. Детерминационный аспект*, [в:] *Проблемы деривации в системе языка и речевой деятельности (синхронное словообразование и номинация): межвузовский сборник научных трудов*, Москва 1995, с. 19–28.

ми, М.А. Дрога называет ономасиологической плотностью текста⁷. В качестве слов-стимулов могут выступать:

- слова однокоренные с компонентами ДССК,
- слова, находящиеся с этими компонентами в синонимических или антонимических отношениях,
- слова, относящиеся к той же, что и компоненты ДССК, тематической группе,
- различного рода ассоциаты.

Сомнений не должно вызывать то, что ономасиологическая плотность текста играет существенную роль прежде всего в случае конструкций с усложненной семантической структурой. Именно в таких ДССК оригинальность и неожиданность сочетания конкретных слов-компонентов, как кажется, выходит на первый план:

Девушка-бестселлер (подзаголовок). Но особенно хороша была барышня в критически укороченной одежде, которая своим видом превращала книжную лавку в подиум. Полтора килограмма дерзкого макияжа, ноги „от зубов” и потрясающая толтность напоминали о том, что всем хорошим в своей жизни человек обязан книгам. Девушка медленно шествовала меж стеллажей и тщательно наманикюренными коготками изредка трогала корешки собрания сочинений Анны Ахматовой. [...] Далее выяснилось, что работа у девушки тяжелая, постоянно в третью смену; ветер на Тверской делает ее (работу) совсем уж невыносимой. А в книжном магазине тепло, светло и люди интеллигентные: не заламывают руки и не волокут в патрульную машину. Из всех литературных жанров тургеневская красавица больше всего ценит поэзию и труды по бухгалтерии. Первая смягчает грубость профессии, а пособия по ведению grossбухов пользуются большой популярностью среди менеджеров крупных фирм (1).

В приведенном контексте ДССК *девушка-бестселлер* выполняет функцию заголовка, т. е. в ней, по намерению автора, содержится общий смысл, основная мысль данной части текста. Присутствие компонента *бестселлер*, на наш взгляд, мотивируется как с помощью явно выраженных в контексте слов-стимулов, связанных общей темой „книга” (*собрание сочинений, книжный магазин, литературные жанры, поэзия, труды по бухгалтерии*), так и неявными, скрытыми семами, которые читатель должен понимать интуитивно, опираясь на свой жизненный опыт и фоновые знания. На эти неявные семы, которые должны навести читателя на слово *проститутка*, замененное автором компонентом *бестселлер*, намекают такие элементы текста, как описание внешности *девушки-бестселлера* (*критически укороченная одежда, полтора килограмма дерзкого макияжа*) или информация о характере работы девушки (*[работа] постоянно в третью смену, ветер на Тверской делает ее [работу]*

⁷ М.А. Дрога, указ. соч.

совсем уж невыносимой, поэзия [...] смягчает грубость профессии). Однако смысловая связь между словами *бестселлер* и *проститутка* осуществляется также на уровне их лексических значений, общим элементом которых является сема „торговля”: '*бестселлер* — популярная, быстрее других раскупаемая книга' (ТСШ); '*проститутка* — женщина, занимающаяся проституцией' (ТСШ), '*проституция* — продажа женщинами своего тела с целью добыть средства к существованию, а также с целью личного обогащения' (ТСШ).

Кроме семантико-смыслового, немаловажную роль играет также структурно-формальный аспект гармонии ДССК. К часто упоминаемым его проявлениям можно отнести такие особенности анализируемых структур, как корреляция падежных форм (ср. *учитель-словесник, учителя-словесника, об учителе-словеснике* и т. д.) или графическая слитность, выражающаяся в дефисном написании. Гармония ДССК проявляется неоднократно и на фонетическом уровне. Под понятием фонетической гармонии мы подразумеваем целесообразное употребление в качестве компонентов ДССК лексем, похожих по звуковой оболочке. Это могут быть как слова, между которыми возникает рифма, опирающаяся на общность суффиксов, напр. *толстяк-здоровяк, толстячок-круглячок, бабушка-старушка, алкаш-папаша, лжец-подлец, принцесса-роботесса*, так и слова, фонетическое сходство между которыми осуществляется в пределах корней и аффиксов, напр. *гад-бюрократ, гад-демократ, жених-лопух*, или же целых слов, напр. *дура-кура*. Фонетическая гармония, которая возникает между компонентами таких ДССК, усиливает, как кажется, их лексическую цельность, так как связь между этими компонентами осуществляется на трех уровнях: графическом, семантико-функциональном и, именно, фонетическом.

Стоит обратить внимание на то, что внутренняя фонетическая гармония неоднократно отражается в какой-то степени и во всем высказывании, в котором появляется ДССК. Самый яркий пример этого явления, которое можно соотнести с обсуждаемой нами раньше оно-масиологической плотностью текста, — короткие рифмованные поговорки. Приведем одну из них, которая вошла в русский язык благодаря короткометражному детскому мультфильму *Мешок яблок*:

Четыре сыночка и лапочка-дочка (2).

Также в современной русской прессе можно обнаружить примеры рифмованных предложений, центральным элементом которых являются ДССК. Ниже приводим два контекста:

После шестой рюмки: Две подружки-хохотушки перепутали частушки... (3);

Когда я поинтересовалась, мол, на какие шиши, подружки дружно рассмеялись: „У старушки-побирушки миллион нашли в подушке” (4).

Следует обратить внимание на то, что рифмизация высказывания является одной из характерных черт народного творчества. Приведенные выше примеры наглядно показывают, что этот прием используется и в современных текстовых реализациях. В данном контексте нам хотелось бы воспользоваться еще фрагментом неозаглавленного стихотворения современного русского поэта Т. Кибирова, в котором прием фонетической гармонии между ДССК и контекстом используется ради его фольклорной стилизации:

*Послушай, кликуша, найди себе мужа!
Не надо орать нам в прижатые уши!
Не надо спасать наши грешные души!
Иди-ка ты с Богом, мамаша-кликуша! (5).*

В этом стихотворении форму ДССК получает наименование *кликуши* — женщины, страдающей кликушеством, т. е. проявлением 'истерии [...], выражающемся в судорожных припадках, выкриках, причитаниях, взвизгиваниях, бурной жестикуляции' (ТСЕ). Появление такого персонажа характерно для простонародных представлений о мире. В напоминающем заклинание фрагменте стихотворения фонетическая гармония достигается путем повторения фонемы *щ* как в структуре ДССК *мамаша-кликуша*, так и в словах *послушай, уши, наши, грешные, души*, а также соотносящейся с ней звонкой фонемы *ж*: *мужа, прижатые*. На наш взгляд, приведенный пример показывает авторские попытки использования приема фонетической гармонии для усиления фатической энергии высказывания.

Интересный пример фонетической гармонии мы нашли и в следующем контексте:

*Он же придумывал ей все новые и новые смешные прозвища:
„Шептун-Топтун“ (за то, что шуришала длинными юбками), „милый рыжичек“,
„милая моя маточка“, „Рыжий дьявол“ и т. п. (6).*

Здесь фонетическая гармония между ДССК и контекстом выражается в двух планах. Во-первых, она проявляется в структуре предложения, в котором, кроме ДССК *шептун-топтун*, в начале которого находится шипящий звук *щ*, накопились и другие слова с шипящими фонемами *щ* и *ж*: *же, смешные, прозвища, что, шуришала, рыжичек, маточка, рыжий*. Во-вторых, в более широком смысле можно сделать вывод о некотором фонетическом предпочтении автора названных в предложении прозвищ к шипящим звукам, так как именно эти звуки являются общим элементом его обращений к любимой женщине: *Шептун-Топтун, милый рыжичек, милая моя маточка, Рыжий дьявол*.

Очень интересным примером накопления однородных фонем в высказывании мы считаем следующее предложение:

*Болтали, будто поселил туда хозяин-купец свою
любовницу-танцовщицу и, ну же того, за неверность приказал
замуровать изменщицу в стенку вместе со всеми драгоценностями (7).*

Здесь, кроме гармонии между суффиксами компонентов ДССК *любовница-танцовщица*, наблюдается насыщенность целого высказывания фонемами *c, s, s', t', z*, которые появляются почти в каждом слове: *поселить, хозяин, купец, за, неверность, приказать, замуровать, изменщица, стенка, вместе, все, драгоценности*.

Подводя итоги, мы еще раз напомним, что, по нашим наблюдениям, гармония ДССК выражается на двух уровнях: семантико-смысловом и структурно-формальном. Причем на каждом из этих уровней она проявляется в двух планах: внутренней гармонии, возникающей между компонентами ДССК, и внешней гармонии, возникающей между ДССК и контекстом, в котором данная конструкция появляется. На наш взгляд, это наблюдение является еще одним доказательством того, что ключевой для функционирования ДССК в русском языке является их цельность, опирающаяся на особое единство двух, доныне самостоятельных, полнозначных слов. К тому же, учитывая огромную роль человеческого фактора в языке, нельзя не обратить внимания на уникальную интуитивность схем подбора слов-компонентов ДССК, а также сопровождающих их контекстуальных мотиваторов (принимающих форму слов-стимулов и/или слов с похожей звуковой оболочкой). Именно интуитивность процесса образования цельных по своей природе ДССК показывает, насколько системные связи языковых объектов представляют собой интегральную часть языкового сознания носителей языка. Поэтому, на наш взгляд, ДССК стоит рассматривать как особые единицы языка и речи, которые могут быть ключом к изучению основных механизмов номинации в современном русском языке и привести к более глубокому пониманию процессов формирования языковой личности носителей русского языка.

Bibliografia

- Большой энциклопедический словарь*, ред. В.Н. Ярцева, Москва 1998.
- В и д а н о в Е.Ю., *Аналитизм в именном словообразовании современного русского языка*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Омск 2011.
- Г о л е в Н.Д., *Эпидигматика и деривационные процессы в речи. Детерминационный аспект*, [в:] *Проблемы деривации в системе языка и речевой деятельности (синхронное словообразование и номинация): межвузовский сборник научных трудов*, Москва 1995.
- Д р о г а М.А., *Составные наименования в русском языке (ономасиологический и функциональный аспекты)*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Белгород 2010.
- Русский семантический словарь: толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений*, ред. Н.Ю. Шведова, т. 1, Москва 1998.

Источники материала:

- Б л а г о д а р о в К., *Сколько книжек ни бери, все равно еще раз бежать*, „Комсомольская правда“ 07.10.2002.
- Д е р к а ч О., Б ы к о в В., *Московская азбука*, „Комсомольская правда“ 07.05.2001.
- Е м е л ь я н о в С., К а л е ч и ц А., П о н о м а р е в С., *Ночка будет весела – не заснешь возле стола!*, „Комсомольская правда“ 29.12.2001.
- К и б и р о в Т., ***, [в:] электронный ресурс: <http://magazines.russ.ru/druzhba/1999/9/kibir-pr.html> (15.06.2014).
- М у с т а ф и н а З., *Подружки тебе не подружки*, „Труд“ 14.09.2006.
- Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный*, ред. Т.Ф. Евремова, т. 1 и 2, Москва 2000 (сокращ. – ТСЕ).
- Русский семантический словарь: толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений*, ред. Н.Ю. Шведова, т. 1, Москва 1998 (сокращ. – ТСШ).
- С к о р о х о д Н.С., *Леонид Андреев*, [в:] электронный ресурс: <http://www.litmir.me/br/?b=214002&p=6> (11.10.2014).
- Электронный ресурс: <http://www.kinopoisk.ru/film/46614/> (10.09.2012).

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ
„ДЕЙКТИЧНОСТЬ” И „ФАСАДНОСТЬ”

ON THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
THE CATEGORIES OF “SPATIAL DEIXIS”, “OBSERVER”, “FACADE”

ЛЮДМИЛА ГОРБУНОВА

ABSTRACT. This paper deals with the categories **spatial deixis**, **observer**, **front**. We distinguish two types of observer: Observer-speaker and Collective observer. Collective Observer is a necessary semantic category to understand the meanings of some linguistic units adequately. These units reflect the language community's understanding of what kind of orientation towards a particular object should be regarded as standard. Using language tools with locative semantics, the speaker applies different spatial strategies. The category of observer is required for all of these.

Людмила Горбунова, Иркутский государственный университет, Иркутск – Россия,
ludgorbunova@mail.ru

Современная лингвистика активно использует термин **наблюдатель**, что вполне естественно для антропоцентрической парадигмы. Наблюдатель понимается как лицо, с позиции которого представляется ситуация. Использование огромного количества слов и морфем с пространственным значением невозможно без учета данной категории. В значениях таких единиц встраивается наблюдатель, а корректная формулировка их семантики требует указания на дейктичность обозначаемой ситуации. Так, адъективные приставки *за-*, *позади-* / *перед-* имеют значение ‘**дальше / ближе от наблюдателя, чем X**’: *залесный поселок*, *заозерный лес*, *заречные поля* – *предгорная местность*, *предмостный участок дороги*) (см. подробно Горбунова 2010). В подобных случаях „взаиморасположение локализуемого предмета и локума определяется позицией наблюдателя [...]. Только контекст и положение наблюдателя уточняют, с какой именно реальной стороны [...] происходит что-л.” (Всеволодова, Владимирский 1982: 218).

Например, значение прилагательных в следующих контекстах понимается с точки зрения наблюдателя-европейца:

1) *В этом, пожалуй, его (англичанина) самое разительное отличие от заокеанского кузена. Дело не только в том, что американец... раньше уходит по утрам...* (В. Овчинников). Перемещение наблюдателя относительно

точки отсчета в подобных случаях ведет к тому, что та же единица начинает обозначать другой фрагмент пространства. Говорящий осознает это и рефлектирует на этот счет:

2) С точки зрения англичанина „заморские пришельцы” – это *иберы, кельты, римляне, англы, саксы, юты и норманны*, с точки зрения японцев – „американская эскадра командора Перри” (В. Овчинников).

Подобный тип ориентации у Ю.Д. Апресяна назван **относительной ориентацией** предметов в пространстве. Ей будет соответствовать дейктическая стратегия понимания, т. е. стратегия, учитывающая фигуру наблюдателя.

Ю.Д. Апресян выделяет и объекты с абсолютной ориентацией – фасадные (Апресян 1995а). Этот признак „приписывается именам предметов, имеющих такую выделенную сторону, через которую в норме осуществляется их использование” (Апресян, 1995б: 40). Человек, как правило, может располагаться только с фасадной стороны подобного объекта и отсюда оценивать пространственную конфигурацию: *задиванная пыль, зашкафный таракан, запрестольная икона, заиконный сверчок / преддиванный столик, предзеркальная подставка, предыконная лампада*. Значения подобных единиц Ю.Д. Апресян предлагает формулировать следующим образом: „X находится с той стороны Y, через которую Y нормально используется” и „X находится со стороны Y-а, противоположной той, через которую Y нормально используется” (Апресян 1995б) – и указывает на недейктичность подобных ситуаций, т. е. нерелевантность для них фигуры наблюдателя.

Отмеченные нами теоретические установки стали уже почти общим местом, аксиомой, не обсуждаемой в исследованиях. Однако тщательный анализ научной литературы и языкового материала приводит к мысли о том, что соотношение категорий **дейктичность – фасадность – наблюдатель** требует уточнения.

1. Начнем с того, что сам Ю.Д. Апресян указывает: говорящий, обозначая в речи локализацию объектов, может отражать пространство не так, как он сам его видит, а так, как оно могло бы видаться другому лицу, например, собеседнику. Анализируя ситуацию „пусть некто ищет авторучку, которая, по сведениям говорящего, лежит на телефонном столике сбоку от телефонного аппарата” (Апресян 1997: 278), автор пишет, что говорящий в этом случае отражает не свое видение ситуации, а то, как эту ситуацию видит адресат, **как бы мысленно вставая рядом с адресатом**.

2. При анализе значения английского *come* Ю.Д. Апресян признает данный глагол таким дейктическим словом, для которого совпадение говорящего и наблюдателя в одном лице необязательно.

Высказывание *John will come home at five* ‘Джон придет домой в пять’ может быть сделано человеком, который сам не собирается быть дома у Джона. Процесс перемещения Джона к дому может быть ориентирован относительно другого наблюдателя, которого говорящий мыслит дома у Джона и которому он эмпатизирует (Апресян 1997: 277–278).

Говорящий в этом случае опирается на чувственный опыт наблюдателя, которого он мыслит в пространстве и точку зрения которого отражает в высказывании. Следовательно, при использовании этого глагола говорящий и наблюдатель могут совпадать, но могут являться разными лицами, **глагол же всегда отражает позицию наблюдателя.**

3. Таким образом, говорящий с помощью некоторой языковой единицы может номинировать свое пространство (например, в случаях относительной ориентации). Однако частотны и случаи, когда, используя языковые средства, мы отражаем не свое видение ситуации, а видение наблюдателя, т. е. другого лица, что доказано А.В. Кравченко (Кравченко 1993). Более того, данный исследователь обосновывает доминирующую роль фигуры наблюдателя по сравнению с эгоцентризмом говорящего. Эта же мысль лежит в основе классификации функций говорящего, предложенной Е.В. Падучевой (Падучева 2011), а при анализе значения глагола *показаться* она прямо говорит: „В значение слова *показаться* входит не говорящий, а другой участник — наблюдатель” (Падучева 2011: 5). Важным является также утверждение Е.В. Падучевой о том, что лексическое значение данного слова отражает позицию наблюдателя, т. е. **наблюдатель всегда „встроен”** в значение независимо от того, какую позицию занимает говорящий и какой тип ситуации описывается в конкретном высказывании.

4. Анализ языкового материала позволяет говорить о неоднозначном соотношении категорий **наблюдатель — фасадность — дейктичность.**

Некоторые нефасадные объекты могут концептуализироваться как фасадные. Географические объекты не имеют стороны, через которую регулярно взаимодействуют с человеком, человек может перемещаться по отношению к каждому из них. При этом в ряде случаев фасадность им приписывается. Так, нами (Горбунова 2010) описаны оттопонимичные префиксально-суффиксальные прилагательные русского языка, значения которых отражают позицию человека, находящегося в центре России. Именно с этой точки зрения оценивается и толкуется локализация объекта в словарях и энциклопедиях: *Заволжский экономический район* ‘располагающийся между Волгой, Уралом, Северным Уралом и Прикаспием’, *Закавказский военный округ* ‘лежащий к югу от Кавказа’, *зауральский массив* ‘находящийся к востоку от Урала’. Большое количество такого рода прилагательных позволило нам выделить категорию **коллективный наблюдатель**, который ориенти-

руется в пространстве из исторически закреплённой точки, в качестве которой мыслится центр России. В данном случае локализация наблюдателя моделируется прилагательным как постоянная по отношению к объекту *X*, а ориентацию в терминах Ю.Д. Апресяна можно назвать абсолютной, ведь интерпретация примеров не зависит от того, с какой стороны Байкала или Урала находится говорящий:

3) *Предбайкальские буряты издавна жили в лесостепных районах долины рек Ангара, Лены и их притоков* (А. Семенова);

4) *Но именно в таких условиях живет „зауральская“ Россия, каждый регион которой по территории способен уместить по несколько Франций или Швейцарий* (А. Попов, А. Ивантер).

Можно ли утверждать в этом случае, что концептуализация географических объектов как фасадных снимает дейктичность ситуации?

Как известно, дейктична та ситуация, для которой релевантна фигура наблюдателя. Релевантна ли она в указанном случае? Несомненно, поскольку правильно понять, о каком месте на географической карте идет речь, может только тот, кто знает, что наблюдатель, чья точка зрения отражена значением языковой единицы, располагается в центре России.

Единицы, значения которых фиксируют коллективное знание, не так уж редки. Рассмотрим употребление прилагательного *правый* 'находящийся справа от кого-л., чего-л.'. Довольно частотные употребления отражают относительную ориентацию, когда только знание о точке отсчета — позиции наблюдателя — позволяет понять, где именно расположен предмет:

5) *На сколько повысится уровень воды в левой трубке, если в правую налить керосина столько, что он образует столб высотой $H=30$ см?* (В. Лукашик, Е. Иванова).

Не столь однозначно в аспекте обозначенной проблемы можно трактовать словосочетания *правый берег реки* или *Правобережный округ Иркутска*, ведь в этом случае надо знать, что точкой отсчета является наблюдатель, стоящий по течению реки. *Правой* в авиационной терминологии называется часть самолета относительно направления полета. Во всех этих употреблениях позиция наблюдателя закреплена общественной договоренностью как постоянная по отношению к определенному виду объектов, следовательно, ориентация относительно них является абсолютной, а объекты (река, самолет) концептуализируются подобно фасадным. Однако без знания того, как принято ориентироваться относительно данного вида объектов, т. е. как располагается воображаемый наблюдатель, невозможно адекватно воспринимать высказывание.

Еще более ярко релевантность позиции наблюдателя в случаях абсолютной ориентации можно продемонстрировать на примерах, фиксирующих „местный“ опыт.

6) *Продажа домов по правой стороне Байкальского тракта* (из рекламы).

Пример 6) может понять только тот, кто знает, что правой считается сторона, находящаяся справа по ходу движения в сторону Байкала. Для людей, владеющих данной информацией, это случай абсолютной ориентации, а фигуру наблюдателя из ситуации устранить невозможно. Такого же рода употребления

7) *Подготовка заднепроевской операции затянулась почти на месяц* (П.Н. Врангель);

8) *Машина Ольги резко свернула в замоскворецкий переулок* (Л. Зорин).

Говорящий часто учитывает, что адресат речи может быть не осведомлен об этой местной договоренности, и поэтому поясняет, уточняет локализацию объекта:

9) *В основном это заречные районы — Ленинский и Канавинский, но есть объекты и в Московском, Советском и Нижегородском районах* (М. Песин);

10) *Зареченский район Тулы — район Тулы, находящийся в северо-западной части города. Заречье является одной из старейших частей Тулы* (И. Семенов).

В подобных случаях коллективный наблюдатель, позиция которого зафиксирована в значении языковой единицы, — это не весь языковой коллектив, а его часть.

По отношению к классическим фасадным объектам типа картина, икона, зеркало также не всегда однозначно можно утверждать, что фасадностью снимается дейктичность ситуации. В целом ряде случаев можно отметить необходимость знаний о позиции наблюдателя, ведь фасадность определяется как сторона объекта, через которую в **норме** осуществляется его эксплуатация. В норме, т. е. обычно, чаще всего. (Кстати, знания о том, как нормально эксплуатируется объект, тоже базируются на коллективном опыте). Так, в норме *этот мир, эта сторона* понимается как ‘мир людей’, мир концептуализируется как фасадный объект. Однако, например, в романе В. Орлова *Альтист Данилов* наблюдатель находится по другую сторону границы миров, а контекст фиксирует эту необычную позицию:

11) *Данилова в Девяти Слых еще узнавали, шепотом просили рассказать земные анекдоты, но для многих он был уже пришельцем из потустороннего мира, демоном с того света* (В. Орлов).

Безоговорочную дейктичность в осознании локализации *этого и того мира* демонстрирует автор примера 12):

12) *Подобно декадентским героям Уальда и Кэрлла она живет сразу в двух мирах — закартинном и здешнем, но отнюдь не очевидно, который из двух является для нее потусторонним* (Л. Попенко).

5. Анализ языкового материала демонстрирует, что при отражении локализации говорящий может использовать различные пространственные стратегии, приписывая объекту фасадность или игнорируя ее. Дейктический характер ситуации не зависит от актуальности / неактуальности признака **фасадность**. В любом случае адресат должен знать, позицию какого типа наблюдателя имеет в виду говорящий – непосредственно воспринимающего объекты и ориентирующегося на себя (*за горой течет река*) или коллективного, фиксированная позиция которого разнообразно отражает опыт определенного социума.

Библиография

- А п р е с я н Ю.Д., *Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира, „Семиотика и информатика“* 1997, № 35, с. 272–298.
- А п р е с я н Ю.Д., *Избранные труды: в 2-х томах, т. 1: Лексическая семантика, „Языки русской культуры“*, Москва 1995а.
- А п р е с я н Ю.Д., *Избранные труды: в 2-х томах, т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография, „Языки русской культуры“*, Москва 1995б.
- В с е в о л о д о в а М.В., В л а д и м и р с к и й Е.Ю., *Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке, „Русский язык“*, Москва 1982.
- Г о р б у н о в а Л.И., *Когнитивный образ ситуации как основа семантической структуры языковой единицы (на материале единиц атрибутивно-локативной языковой модели): монография, изд-во ИГУ, Иркутск 2010.*
- К р а в ч е н к о А.В., *К проблеме наблюдателя как системообразующего фактора в языке, „Известия РАН. Серия литературы и языка“* 1993, т. 52, № 3, с. 45–56.
- П а д у ч е в а Е.В., *Эгоцентрические валентности и деконструкция говорящего, „Вопросы языкознания“* 2011, № 3, с. 3–18.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОПРИАЛЬНОЙ
ИНТЕРТЕКСТУАЛИЗАЦИИ
В СВЕТЕ НОВЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ON SOME ASPECTS OF PROPRIAL INTERTEXTUALISATION
IN THE LIGHT OF RECENT RESEARCH

BOŻENA HRYNKIEWICZ-ADAMSKICH

ABSTRACT. A new perspective in research on proper names has appeared recently. A proper name is now treated as a text unit. The article discusses intertextual relations between different classes of onyms and some extralinguistic aspects of proprial intertextualisation.

Bożena Hryniewicz-Adamskich, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Poznań – Polska, bhrynk@amu.edu.pl

1. Переопределение понятия *текст*

Исчерпанность структуралистской парадигмы в лингвистике ознаменовала переход к изучению языка в актах речи и в процессе общественной коммуникации, а также в широком контексте культурной антропологии. В постструктуралистических научных трудах коренному пересмотру подверглись многие понятия, в том числе понятие *текст*. Под сомнение были поставлены прежние формальные предпосылки деления сообщений на тексты и не-тексты¹. Понятие *текст* стало применяться в широком значении, охватывая и образцы устной речи. В „постграмматических” разработках текст воспринимается как законченная и упорядоченная последовательность языковых элементов, способных совместно выполнять коммуникативную функцию, и в связи с этим представляющая собой один макрознак². Размер высказывания и его соотносительность со структурой предложения больше не являются

¹ Традиционно понятие *текст* употреблялось в значении произведения, существующего в форме осмысленной последовательности слов или предложений, информационного и структурного целого. Так как текст относился к системе языка, изучению подвергалась в основном его грамматическая сторона.

² T. Dobrzyńska, *Tekst – całościowy komunikat*, [в:] *Encyklopedia kultury XX wieku. Współczesny język polski*, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, с. 287.

основными критериями определения сущности текста. Кроме того, в качестве основополагающего текстового признака выдвигается жанровая принадлежность³: каждый текст должен соотноситься с определенным жанром, т. е. иметь черты не только индивидуальные, но также категориальные и стереотипные, и именно это свойство отличает текст от предложения⁴.

2. Имя собственное как текст

В ономастических трудах последних лет заново ставится вопрос о языковом статусе онимов. Знаковая природа и целостный характер имени собственного не подлежат сомнению. Отдельные языковые элементы, в сопокупности образующие проприальный знак, суммированию не подвергаются, всего лишь интегрированию⁵. Грамматическая правильность слов или предложений, составляющих имя собственное, не имеет первостепенного значения. Имена собственные характеризуются заметным разнообразием форм, напр.: Ю (приток р. Вычегда); К2 (Чогори); Волга; Александр Сергеевич Пушкин; Российская национальная библиотека имени Михаила Е. Салтыкова-Щедрина; Дважды Краснознаменный Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова; Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Естественно, онимы представляют собой одни из наиболее сжатых в формальном смысле информационных структур⁶. Тем не менее они способны выполнять коммуникативные функции. Названные особенности позволяют отнести имена собственные к текстам (возможно, менее типичным). Стоит при этом подчеркнуть, что успешная попытка выявления жанровой принадлежности онимических текстов была предпринята М. Руткевич-Ханчевской⁷. Имена собственные соответствуют прагмалингвистической дефиниции текста, и поэтому становятся объектом текстологических исследований.

³ Анализу жанров речи посвящены работы: М.М. Б а х т и н, *Проблема речевых жанров*, [в:] его же, *Собрание сочинений*, т. 5: *Работы 1940-х – начала 1960-х годов*, Москва 1997, с. 159–206; A. W i e r z b i c k a, *Genry mowy*, [в:] *Tekst i zdanie. Zbiór studiów*, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983, с. 125–137; B. W i t o s z, *Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki*, Katowice 2005.

⁴ J. B a r t m i ń s k i, *Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej*, [в:] *Tekst. Problemy teoretyczne*, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin 1998, с. 13–17.

⁵ B. W i t o s z, указ. соч., с. 100; M. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k a, *Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikacyjnej*, Poznań 2013, с. 64.

⁶ M. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k a, *Genologia onimiczna...*, указ. соч., с. 63.

⁷ Там же, с. 129–160.

3. Интертекстуальность — „текст в тексте“

Некоторыми лингвистами интертекстуальность выдвигается в качестве текстового критерия (наряду с когезией, когерентностью, интенциональностью, воспринимаемостью, информативностью и ситуативностью)⁸. Напомним, что самое первое определение понятия интертекстуальности принадлежит Ю. Кристевой⁹. Интертекстуальность понимается ею как свойство любого текста вступать в диалог с другим текстом. Каждый текст оказывается включенным во всю систему более ранних текстов, а также текстов, создаваемых параллельно с ним. По словам Р. Барта, „Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат“¹⁰. Согласно Ж. Женетту, каждое новое высказывание пишется поверх предыдущих. Таким образом, текст превращается в „палимпсест“, „текст второй степени“¹¹. При этом первичный, референтный текст, старший в эволюционном плане, называется гипотекстом, а созданный на его основе вторичный текст — гипертекстом. По определению Н.А. Кузьминой, „интертекст — это объективно существующая информационная реальность, являющаяся продуктом творческой деятельности человека, способная бесконечно самогенерироваться по стреле времени“¹². Согласно М. Руткевич-Ханчевской, интертекст носит абстрактный характер и обозначает „текст, находящийся между другими текстами, [...] текст, присутствующий непосредственно или посредственно в другом тексте“¹³. В свою очередь, под понятием интертекстуализации исследователи подразумевают процесс создания нового текста с опорой на предшествующий текст. По справедливому замечанию Н.А. Фатеевой, межтекстовые отношения и связывающие их элементы чрезвычайно разнообразны по своей природе и проявлению. В интертекстуальных преобразованиях „обнаруживаются и признаки метафоры, и метонимии, в частности, синекдохи, а в определенных контекстах гиперболы и иронии“¹⁴.

⁸ R.-A. de Beaugrande, W.U. Dressler, *Wstęp do lingwistyki tekstu*, Warszawa 1990, с. 30–31, 239–271.

⁹ J. Kristeva, *Sémiotiké. Recherches pour une sémanalyse*, Paris 1969, с. 146.

¹⁰ Р. Барт, *Избранные работы. Семиотика. Поэтика*, Москва 1989, с. 418.

¹¹ G. Genette, *Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia*, Gdańsk 2014, с. 11 и др.

¹² Н.А. Кузьмина, *Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка*. Екатеринбург–Омск 1999, с. 20.

¹³ M. Rutkiewicz-Hanczewska, *Genologia onimiczna...*, указ. соч., с. 130. Перевод с польского языка — Б. Хрынкевич-Адамских.

¹⁴ Н.А. Фатеева, *Интертекст в мире текстов: контрапункт интертекстуальности*, Москва 2007, с. 50.

4. Проприальная интертекстуальность — „оним в ониме”

В литературоведческих исследованиях проприальная интертекстуальность обычно рассматривается сквозь призму межтекстовых связей, устанавливаемых с помощью имен собственных.

Согласно В.А. Кухаренко, имя собственное цитируемого автора или его героя „выступает предельно информативно насыщенной единицей, ибо, означивая объект, включает весь запас знаний говорящего о нем”¹⁵. По мнению Н.Д. Арутюновой, упоминаемые в текстах „литературные” имена собственные выполняют функцию „ксенопоказателей цитации”¹⁶. В свою очередь, Н.А. Кузьмина утверждает, что имена известных литературных персонажей типа *Маргарита*, *Гамлет* и *Офелия*, *Ромео* и *Джюльетта*, *Онегин* могут выступать как „точечные цитаты”. Следуя синергетической теории интертекста, Н.А. Кузьмина подразумевает под понятием цитаты „перенос энергии из одной точки интертекста в другую”¹⁷. Использование „чужих” имен и фамилий является емким способом для создания образных параллелей между текстами и для обобщения текстов¹⁸. Здесь немаловажную роль играет читатель и его энергия, т. е. знание им литературного наследия, его эрудиция.

Упомянутая исследовательница замечает, что в качестве интертекстуальных шифтеров используются также топонимы. Иногда они относятся к географическим объектам, непосредственно связанным с цитируемым автором (*Михайловское* — А.С. Пушкин, *Ясная Поляна* — Л. Толстой, *Переделкино* — Б. Пастернак)¹⁹.

В функции ксенопоказателей иного пространства нередко выступают также названия мест, обладающих определенной символикой, напр.: *Нью-Йорк*, *Париж*, *Рим*, *Венеция*, *Фермопилы*, *Царское Село*, *Ченстохова*.

Средством установления взаимодействия текстов бывает повтор заглавия, напр.: *Доктор Фаустус* Т. Манна, *Электра* И.Ж. Жироду, *Улисс* Дж. Джойса, *Леди Макбет Мценского уезда* Н.С. Лескова, *Степной король Лир* И.С. Тургенева, *Антигона* И.А. Бунина. В данных случаях заглавия-цитаты выполняют функцию интертекстуальных указателей.

¹⁵ В.А. Кухаренко, *Интерпретация текста*, Москва 1988, с. 102.

¹⁶ Н.Д. Арутюнова, *Речеведческие акты в зеркале чужой речи*, [в:] *Человеческий фактор в языке: Коммуникация. Модальность. Дейксис*, отв. ред. Т.В. Булыгина, Москва 1992, с. 42.

¹⁷ Н.А. Кузьмина, *Интертекст и его роль...*, указ. соч., с. 135.

¹⁸ А.А. Кожин, „Чужое” имя и „чужой” персонаж в литературе второй половины XIX века, *„Русская речь”* 2014, № 4, с. 14–24.

¹⁹ Многочисленные примеры мест и объектов, наделенных такой символикой, описаны в работе: W. Szpińska, *Magiczne miejsca literackiej Europy*, Warszawa 2002.

Большинство работ по интертекстуальности имеют чисто литературоведческую направленность. Тем не менее многими авторами выдвигается мысль о том, что интертекстуальность нельзя рассматривать исключительно как литературное явление. Она характерна и для нелитературных текстов — научных, публицистических, рекламных и др.²⁰, а также для искусства кино²¹.

В настоящей статье мы хотим предложить лингвистический подход к проблематике проприальной интертекстуальности и сосредоточить внимание на онимах „второй степени”, т. е. языковых единицах, до сих пор называемых отпроприальными именами собственными (перенесенными, повторяющимися, соотносительными, вторичными).

Здесь мы ограничимся анализом группы избранных топонимов, главным образом ойконимов²². Их общей чертой является наличие компонентов, засвидетельствованных в ранее существовавших названиях. Ниже представлена традиционная классификация интертекстуальных ойконимов по различительному члену²³:

1. Названия с прилагательным *малый, меньшей*, напр.: *Зады* → **Малые Зады**, *Наволоч Большой* → *Наволоч Меньшей*, *Колчь Большая* → *Колчь Меньшая*, *Поповское Большое* → *Поповское Малое*.

2. Названия с прилагательным *новый*, напр.: *Городенеск* → **Новый Городенеск**, *Есенок* → **Новый Есенок**, *Старая Яковлева* → **Новая Яковлева**, *Бутурлино Старое* → *Бутурлино Новое*.

3. Названия с топографическим прилагательным типа *верхний, вышний*, напр.: *Нижней Крутец* → **Верхней Крутец**, *Нижние Мокрища* → **Вышние Мокрища**, *Староселово Нижнее* → *Староселово Верхнее*.

4. Названия с нетопографическим прилагательным типа *сухой, мокрый, задний, середний*, напр.: *Микуличи* → **Сухие Микуличи** и **Мокрые Микуличи**, *Подолье* → **Заднее Подолье**, *Водосы* → **Средние Водосы**.

5. Названия с притяжательным прилагательным, напр.: *Каменка Старое* → *Каменка Новое* → *Каменка Павлово*.

²⁰ В.Е. Чернявская, *Интертекстуальное взаимодействие как основа научной коммуникации*, Санкт-Петербург 1999; Е.А. Баженова, *Научный текст в аспекте политекстуальности*, Пермь 2001; Н.А. Кузьмина, *Интертекст: тема с вариациями. Феномены культуры и языка в интертекстуальной интерпретации*, Омск 2011.

²¹ М.Б. Ямпольский, *Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф*, Москва 1993.

²² Ономастический материал, иллюстрирующий нижеследующие выводы, очерпнут нами из публикации: J. Sosnowski, *Toponimia rosyjska XVI wieku. Nazwy wsi*, Łódź 2002.

²³ Данное деление опирается на классификацию польских топонимов, произведенную Зофией Цирхоффер в работе: Z. Zierrhoffowa, *Nazwy typu „Osiek Mały”, „Kozminek” i inne derywowane od nazw miejscowych. Na przykładzie materiału dawnego województwa kaliskiego*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.

6. Суффиксальные названия (одно- и многословные) с разными формантами, напр.: -к-: *Пелеш* → *Пелешок*, *Большой Бор* → *Борок Малой*; -ц-: *Гарь* → *Гарца*, *Находно* → *Находенцо Малое*.

7. Названия с различительным членом в форме имени существительного, напр.: *Хрестец* → *Хрестецкой Заполок*, *Дронино* → *Дронинской Заполок*, *Васильевское* → *Васильевская выставка*.

Как видно, названия населенных пунктов, расположенных на не-большом расстоянии друг от друга, образуют своеобразные микросети. Из приведенного исторического материала следует, что, по крайней мере в славянских языках, интертекстуализация составляла (и продолжает составлять) один из активных способов производства новых онимических единиц²⁴. Поэтому явление интертекстуальности не следует связывать исключительно с постмодернистическим периодом.

При прагмалингвистическом подходе в интертекстуальном онимическом материале обнаруживаются две основные модели отношений гипотекст — гипертекст: концентрическая и эксцентрическая²⁵.

Согласно Б.А. Успенскому, первая из них активизировалась в топонимии в условиях естественной культурной экспансии²⁶. Названия, представляющие концентрическую модель, отражают действие центробежных сил, связанных с отождествлением периферийной территории с историческим или культурным (культовым) центром. Данная модель основывается на метонимическом принципе. Метонимические отношения связывают, к примеру, такие названия, как *Русь* и *Великая Русь* (соответственно — *Русь* и *Малая Русь*). Первичное, более древнее название *Русь* инкорпорирует более поздние названия *Великая Русь* и *Малая Русь* (как общее и частные понятия). И название *Великая Русь*, и название *Малая Русь* могут быть заменены названием *Русь*. Таким же образом название *France* с домена *Île de France*, ставшего впоследствии центром страны, перешло и на смежные территории.

В свою очередь, суть эксцентрической модели заключается в генерировании на базе одного гипотекста нескольких гипертекстов, обычно имеющих одинаковую форму²⁷. В данном случае гипертексты создаются в результате уподобления, напр.:

²⁴ Я. Ригер обратил также внимание на повторяемость словообразовательных моделей русских топонимов в диахроническом плане, см. J. R i e g e r, „Nowe” i „stare” w rosyjskich nazwach miejscowości po Rewolucji Październikowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo” 1991, vol. XIII, с. 267–270.

²⁵ Б.А. Успенский, *Европа как метафора и как метонимия (применительно к истории России)*, [в:] его же, *Историко-филологические очерки*, Москва 2004, с. 11; М. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k a, *Genologia onimiczna...*, указ. соч., с. 133–135.

²⁶ Б.А. Успенский, указ. соч., с. 12–15.

²⁷ М. R u t k i e w i c z - H a n c z e w s k a, *Genologia onimiczna...*, указ. соч., с. 134.

Сиракузы (Сицилия) → *Сиракузы* (Syracuse, США),
Санкт-Петербург (Россия) → *Сент-Питерсберг* (St. Petersburg, США),
Варшава (Польша) → *Варшава* (Warsaw, США)²⁸.

По мнению Б.А. Успенского, эксцентрическая модель реализуется также в случае интертекстуальных ойконимов и топонимов со словом *новый* в функции различительного компонента, напр.:

Амстердам (Нидерланды) → *Новый Амстердам* (Nieuw Amsterdam, США),
Орлеан (Франция) → *Новый Орлеан* (New Orleans, США),
Шотландия (Великобритания) → *Новая Шотландия* (Nova Scotia, Канада),
Глазго (Великобритания) → *Новый Глазго* (New Glasgow, Канада),
Джерси (Великобритания) → *Новый Джерси* (New Jersey, США),
Гэмпшир (Великобритания) → *Новый Гэмпшир* (New Hampshire, США),
Уэльс (Великобритания) → *Новый Южный Уэльс* (New South Wales, Австралия)²⁹.

Как кажется, здесь обнаруживается действие центростремительных сил. Новое название представляет собой метафору исходного онима. Образование метафорических топонимов обычно сопутствует искусственным процессам культурной ориентации.

Стоит подчеркнуть, что производство интертекстуальных названий по эксцентрической модели является также одним из имятворческих способов, наиболее часто используемых современными номинаторами, напр.:

НЕВА (река)

- Кинотеатр „**Нева**”
- ООО „Журнал «**Нева**»”
- Холдинг безопасности „**Нева**”
- Медицинская компания „**Нева**”
- Кондитерская фабрика „**Нева**”
- Транспортная компания ООО ТЭК „**Нева** Центр”
- Ресторан „**Нева**” (Пермь)
- Санкт-Петербургский гандбольный клуб „**Нева**”
- ЗАО „Телевизионная кабельная сеть «**Нева**»”
- Яхт-клуб „**Нева**”
- ЗАО „**Нева**-Металл” (стивидорная компания)
- ООО **Нева** Технолоджи
- Автоцентр „**Нева**”

²⁸ Б.А. Успенский, указ. соч., с. 11-12.

²⁹ Там же, с. 11, 15.

5. Диалогичность имен собственных

В XX столетии образование интертекстуальных названий стало очень частой практикой. Интертекстуализация является относительно несложным способом производства онимов. Один онимический знак может быть многократно использован в разных функциях, и благодаря этому возможным становится установление дискурса между отдельными онимическими пространствами³⁰.

Многоплановый характер проприальной интертекстуализации можно проследить на примере сакральной онимии³¹. Первичный гипотекст (агиоантропоним, иконим, теоним, зортоном) неоднократно служит источником многих гипертекстов (экклезионимов, топонимов, ойконимов, урбанонимов, хрематонимов), ср.:

Знамение Пресвятой Богородицы

→ церковь **Знамения** Божией Матери → **Знаменка** (улица) → Большой **Знаменский** переулок и Малый **Знаменский** переулок (Москва)

→ **Знаменская** церковь → **Знаменская** площадь → **Знаменская** улица (Санкт-Петербург)

→ церковь иконы Божией Матери „**Знамение**“ → пгт. **Знаменка** → **Знаменский** р-н → **Знаменский** поссовет → **Знаменская** центральная районная больница (Тамбовская обл.)

...

Интересно заметить, что иногда храм уже не существует, а сакральный интертекст продолжает воспроизводиться в названии местности или прилегающей к церкви площади, улицы. Очередные гипертексты, мотивированные определенным сакральным интертекстом, — это, как правило, хрематонимы (т. е. названия государственных учреждений, учебных заведений, фирм и т. д.), см.:

Борис и Глеб → церковь **Бориса и Глеба** → **Борисоглебск**

→ „**Борисоглебский** листок“ (газета)

→ **Борисоглебский** муниципальный драматический театр имени Н.Г. Чернышевского

→ **Борисоглебский** государственный педагогический институт

→ **Борисоглебский** медицинский колледж

→ **Борисоглебский** техникум информатики и вычислительной техники

→ ЗАО „**Борисоглебские** системы связи“

→ ООО „**Борисоглебский** мясоконсервный комбинат“

→ ООО „**Борисоглебский** маслоэкстракционный завод“

³⁰ M. Rutkiewicz - Hanczewska, *Genologia onimiczna...*, указ. соч., с. 133.

³¹ В качестве примеров нами приводятся названия культовых сооружений, упраздненных советской властью. Здесь воссоздаются исчезающие образы прошлого и реконструируются фрагменты разрушенного сакрального интертекста.

- *Борисоглебский авиаремонтный завод*
- *Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени завод химического машиностроения*
- *Автосалон „Борисоглебск-АВТО“.*

В городском пространстве в результате проприальной интертекстуализации возникают целые ряды и цепочки онимов. В процессе восприятия интертекстуальных онимов возможно „переключение из одной системы семиотического осознания этих текстов в другую“³². Суть проприальной интертекстуальности заключается во внутриязыковом воздействии одних онимических знаков на другие, что позволяет признать ее одним из отношений интерсемиотического характера³³.

6. Глобальный онимический текст

Заслуживает внимания вопрос причин повторного использования одних и тех же названий и достигаемых этим путем целей. О том, что проприальная интертекстуальность отнюдь не ограничивается постмодернистическим периодом, могут свидетельствовать названия крепостей, основанных Александром Македонским (356–323 г. до н. э.). Древние историки утверждают, что существовало не менее 18 городов, носивших имя царя Македонии, причем личной инициативе Александра следует приписать основание семи из них, занимающих верхние позиции в списке³⁴:

1. *Александрия* в Египте,
2. *Александрия „Кавказская“* (на территории современного Афганистана),
3. *Александрия* на Оксе (Амударья) (Афганистан),
4. *Александрия* Эсхата (Крайняя), на Яксарте (Сырдарья) (Таджикистан),
5. *Александрия* Согдийская, на Инде (Пакистан),
6. *Александрия* Оритская, у устья Порали (Пакистан),
7. *Александрия* Сузианская, на Тигре (Ирак),
8. *Александрия* у Исса (Турция),
9. *Александрия* в Опiane (Афганистан),
10. *Александрия* в Ариане (Афганистан),
11. *Александрия* на Латме (Латмосе) (Турция),
12. *Александрия* в Маргиане (Туркмения),
13. *Александрия* на Гифасисе (Индия),
14. *Александрия* в Арахосии (Афганистан),
15. *Александрия* в Кармании (Иран),
16. *Александрия* Профтасия, в Дрангиане (Афганистан),
17. *Александрия* Букефалос (Букефалия) (Пакистан),
18. *Александрополь* (Болгария).

³² М.Н. Лотман, *Культура и взрыв*, Москва 1992, с. 110–111.

³³ M. Rutkiewicz - Hanczewska, *Genologia onimiczna...*, указ. соч., с. 132.

³⁴ П. ФОР, *Александр Македонский*, Москва 2001, с. 375–376.

На завоеванных территориях Александр вел политику, направленную на создание новой нации (греко-македоно-туземной)³⁵. П. Фор обращает внимание на то, что заложенные Александром и названные его именем города отстояли приблизительно на 350 километров друг от друга, представляя собой „опорные пункты, узлы великой структуры”³⁶. Деятельность Александра Македонского обычно оценивается в категориях новой формы колонизации. Как кажется, она частично осуществлялась с помощью ойконимов, имеющих основой один проприальный интертекст.

Как было уже сказано, интертекстуальные онимы создавались также в кругу христианской культуры, напр.: *Илья Пророк* → *Ильинская церковь* → *Ильинское* (Вологодская обл.), *святой Никола* → *Никольская церковь* → *Никольская слобода* (Костромская обл.), *Вознесение Господне* → *Вознесенская церковь* → *Вознесенская улица* и *Поперечно-Вознесенская улица* (Казань), *Параскева Пятница* → *церковь Параскевы Пятницы* → *Пятницкий мост* (Вологда), *Иоаким и Анна* → *церковь Иоакима и Анны* → *Якиманская Слобода* (Владимирская обл., Муромский р-н), *Рождество Богородицы* → *церковь Рождества Богородицы* → *Рождественское* (Кировская обл.). В этой связи следует заметить, что путем переноса имен святых, агонимов и названий христианских праздников на другие десигнаты (местности, топографические объекты, улицы, площади) в прошлом совершалась сакрализация смежных с церковью территорий³⁷.

Как известно, в послереволюционные годы в СССР проводилась кампания по массовому уничтожению объектов религиозного культа. В 1914 г. в Российской империи насчитывалось 54 174 православных храма (без учета военных церквей), 25 593 часовни, 1025 монастырей. В 1987 г. в СССР оставалось 6 893 действующих храма и 15 монастырей³⁸. Культурные сооружения были либо уничтожены, либо приспособлены под склады, производственные цехи, спортивные залы, музеи, дома культуры, столовые и т. п. Из приведенных данных однозначно следует, что после 1917 г. Россия лишилась десятков тысяч великолепных памятников истории и архитектуры. В свете рассматриваемой нами проблематики целесообразно подчеркнуть еще один аспект этих утрат. Храмы представляют собой узловы́е элементы сакрального пространства³⁹.

³⁵ K. Nawotka, *Aleksander Macedoński*, Wrocław 2004, с. 358–362, 466–472, 510–512.

³⁶ П. Фор, указ. соч., с. 365.

³⁷ M. Rutkiewicz-Hanczewska, *Sakralny wymiar intertekstualizacji proprjalnej*, [в:] *Język religijny dawniej i dziś, III*, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, с. 434.

³⁸ Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_храмов,_упразднённых_советской_властью (20.08.2015).

³⁹ Подробнее об этом см.: E. Klіma, *Przestrzeń religijna miasta*, Łódź 2011, с. 91–155.

Вместе с упразднением культовых сооружений из употребления вышли также их названия и мотивированные ими названия соседних объектов. Так, московская улица *Знаменка*, получившая название по *церкви Знамения Пресвятой Богородицы*, закрытой после революции и снесенной в 1931 г., в 1918–1925 гг. называлась *Краснознаменной улицей*, а затем была еще один раз переименована в *улицу Фрунзе*. В свою очередь, упраздненная церковь во имя *иконы Божией Матери „Знамение“* в Тамбове располагалась на пересечении улиц *Знаменской* и *Долгой*, которые в советское время стали именоваться соответственно *Октябрьской* и *Карла Маркса*. В дореволюционный период в Российской империи была создана сеть приходских, кладбищенских, монастырских и других церквей и часовен. Упразднение большинства из них повлекло за собой радикальное изменение социально-пространственной структуры городов и разрушение семиотического каркаса культуры, а заодно и глобального онимического текста, основанного на сакральной лексике⁴⁰.

Мена географических и внутригородских названий в послереволюционные годы имела искусственный характер. Она напоминала семиотическую реформу. Новые названия должны были символизировать начало нового этапа истории России. Переименования трактовались как естественное следствие революции. После 1917 года был преднамеренно создан своеобразный проприальный интертекст, мотивирующий многочисленные новые ойконимы, ср.: *Сталинская область – город Жданов – Молотовский район; Кирово село – Энгельский район; Кировград – Свердловская область; Калининское село – Марковский район; Ленинское село – Энгельский район; Держинского поселок – Ленинградская область*. В основах послереволюционных топонимов засвидетельствованы фамилии и псевдонимы многих коммунистических деятелей и активистов.

Несмотря на возвращение в постсоветский период некоторым населенным пунктам на территории Российской Федерации дореволюционных названий, до сих пор можно говорить о высокой степени сохранности идеологического интертекста, ср. развернутые системы

⁴⁰ По нашим подсчетам, произведенным на основании упоминаемого ранее интернетного списка (см. ссылка 32), после 1917 г. в СССР были упразднены церкви, носившие следующие названия (в скобках указано число одноименных объектов): *Троицы* (75), *Никола Чудотворца* (66), *Успения Пресвятой Богородицы* (57), *Покрова Пресвятой Богородицы* (46), *Воскресения Христова* (42), *Преображения Господня* (40), *Рождества Богородицы* (38), *Казанской Иконы Божией Матери* (36), *Вознесения Господня* (33), *Рождества Христова* (31), *Иоанна Предтечи* (31), *Александра Невского* (31), *Спаса* (30), *Благовещения Пресвятой Богородицы* (30), *Петра и Павла* (24), *Воздвижения Креста Господня* (23), *Ильи Пророка* (22) и др. Представленные статистические данные отражают масштабы утрат.

ойконимов, имеющих источником псевдонимы *Ленин* или *Киров*⁴¹ (в скобках указано число референтов⁴²):

Ленин (179)	Киров (82)
→ Ленинский (47)	→ Кировский (22)
→ Ленино (30)	→ Кирово (21)
→ Ленинское (18)	→ Киров (8)
→ Ленинский хутор (13)	→ Кировское (7)
→ Ленина хутор (12)	→ Кировский район (5)
→ Ленинка (12)	→ Кировск (4)
→ Ленина посёлок (6)	→ Кировка (3)
→ Ленинск (5)	→ Кировец (2)
→ Ленинградский посёлок (4)	→ Кирова поселок (2)
→ Ленинский район (4)	→ Кирова хутор (2)
→ Ленинск-Кузнецкий (3)	→ Кировская (2)
→ Ленинаул (2)	→ Кировский хутор (1)
→ Ленинская Искра (2)	→ Кировград (1)
→ Ленинская Слобода (2)	→ Кирово-Чепецк (1)
→ Ленинский Путь (2)	→ Кироваул (1)
→ Ленинкент (2)	
→ Ленинец (1)	
→ Ленинградский Шлюз (1)	
→ Лениногорский район (1)	
→ Ленинакан (1)	
→ Ленинградская область (1)	
→ Ленинградский район (1)	
→ Ленино-Кокучкино (1)	
→ Ленино-Ульяновская (1)	
→ Ленинодар (1)	
→ Лениногорск (1)	
→ Ленинградская станица (1)	
→ Ленинский Уголок (1)	
→ Ленинаван (1)	
→ Ленинское Возрождение (1)	
→ Ленин-Буляк (1)	

Как известно, ойконимы и урбанонимы выполняют функцию носителей культурно-исторической памяти. Введение новых названий,

⁴¹ Аналогичный перечень, отражающий состояние советской топонимии в 80-е годы прошлого века, включает 277 названий населенных пунктов в честь В.И. Ленина и 150 в честь С.М. Кирова, см. А.Д. Дулиценко, *Русский язык конца XX столетия: некоторые тенденции развития*, „Przegląd Rusycystyczny” 1995, z. 3-4, с. 200-201.

⁴² Нами использовался алфавитный список местностей России, размещенный на сайте: <http://www.tury.ru/resort/list.php> (20.08.2015).

мотивированных идеологически окрашенной лексикой, являлось попыткой замены прежних представлений, связанных с именуемыми с их помощью объектами, актуальным содержанием⁴³. Данные названия использовались в качестве орудия внедрения новой системы ценностей, легитимации советской власти, поляризации общественного мировоззрения вокруг марксистско-ленинской идеологии, формирования новой коллективной идентичности проживающих в них общностей.

Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть, что ойконимы играют роль существенного средства организации территорий и укрепления установленного на них строя. Вполне обоснованным кажется утверждение об осуществлении власти посредством интертекстуальных ойконимов и других географических названий. Ярким примером того, что механизм управления пространством и заселяющим его населением путем введения идеологически обремененных онимов остается активным, могут служить судьбы названия города, основанного Александром Македонским в 329 г. до н. э. на р. Сырдарья. Первоначальное название *Александрия Эсхата (Крайняя)* выражало неограниченную личную власть царя Александра над местностью, в которой этот город был воздвигнут. В VIII в. город был захвачен арабами и стал именоваться *Ходжент (Худжант, Худжанд)*. В состав Российской империи он вошел в 1866 г. В 1936 г. город был переименован в *Ленинабад* в честь В.И. Ленина. Естественно, новое название выражало идеологическую подчиненность Центральной Азии и одного из древнейших городов на ее территории советской власти, а также принадлежность местного населения к единому общесоветскому культурному кругу. Возврат к историческому, персидскому по происхождению, названию *Худжанд* имел место в феврале 1991 г., накануне распада СССР, за несколько месяцев до объявления независимости Республикой Таджикистан. Как видно, на протяжении веков осуществлялся принцип: „Чья власть, того и географические названия, в частности ойконимы и урбанонимы“.

Библиография

А р у т ю н о в а Н.Д., *Речеведческие акты в зеркале чужой речи*, [в:] *Человеческий фактор в языке: Коммуникация. Модальность. Дейксис*, ред. Т.В. Булыгина, Москва 1992, с. 40–42.

Б а ж е н о в а Е.А., *Научный текст в аспекте политекстуальности*, Пермь 2001.

⁴³ Данная проблематика затрагивается также в статье: J. R i e g e r, *The Main Stages in the Development of Russian Place Names*, „Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes“ 1995, vol. XXXVII, no. 3–4, с. 461–466.

- Барт Р., *Избранные работы. Семиотика. Поэтика*, Москва 1989.
- Бахтин М.М., *Проблема речевых жанров*, [в:] его же, *Собрание сочинений*, т. 5: *Работы 1940-х – начала 1960-х годов*, Москва 1997, с. 159–206.
- Дуличенко А.Д., *Русский язык конца XX столетия: некоторые тенденции развития*, „Przegląd Rusycystyczny” 1995, z. 3–4, с. 189–204.
- Кожин А.А., „Чужое” имя и „чужой” персонаж в литературе второй половины XIX века, „Русская речь” 2014, № 4, с. 14–24.
- Кузьмина Н.А., *Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка*. Екатеринбург–Омск 1999.
- Кузьмина Н.А., *Интертекст: тема с вариациями. Феномены культуры и языка в интертекстуальной интерпретации*, Омск 2011.
- Кухаренко В.А., *Интерпретация текста*, Москва 1988.
- Лотман М.Н., *Культура и взрыв*, Москва 1992.
- Успенский Б.А., *Европа как метафора и как метонимия (применительно к истории России)*, [в:] его же, *Историко-филологические очерки*, Москва 2004, с. 9–26.
- Фатеева Н.А., *Интертекст в мире текстов: контрапункт интертекстуальности*, Москва 2007.
- Фор П., *Александр Македонский*, Москва 2001.
- Чернявская В.Е., *Интертекстуальное взаимодействие как основа научной коммуникации*, Санкт-Петербург 1999.
- Электронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_храмов,_упразднённых_советской_властью (20.08.2015).
- Электронный ресурс: <http://www.tury.ru/resort/list.php> (20.08.2015).
- Ямпольский М.Б., *Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф*, Москва 1993.
- Beaugrande de R.-A., Dressler W.U., *Wstęp do lingwistyki tekstu*, Warszawa 1990.
- Bartmiński J., *Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej*, [в:] *Tekst. Problemy teoretyczne*, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin 1998, с. 9–25.
- Czapinska W., *Magiczne miejsca literackiej Europy*, Warszawa 2002.
- Dobrzyńska T., *Tekst – całościowy komunikat*, [в:] *Encyklopedia kultury XX wieku. Współczesny język polski*, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, с. 283–304.
- Genette G., *Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia*, Gdańsk 2014.
- Klima E., *Przestrzeń religijna miasta*, Łódź 2011.
- Kristeva J., *Sémiotiké. Recherches pour une sémanalyse*, Paris 1969.
- Nawotka K., *Aleksander Macedoński*, Wrocław 2004.
- Rieger J., „Nowe” i „stare” w rosyjskich nazwach miejscowości po Rewolucji Październikowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo” 1991, t. XIII, с. 267–270.
- Rieger J., *The Main Stages in the Development of Russian Place Names*, “Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes” 1995, vol. XXXVII, no. 3–4, с. 461–466.

- Rutkiewicz - Hanczewska M., *Sakralny wymiar intertekstualizacji propraialnej*, [B:] *Język religijny dawniej i dziś, III*, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 2007, c. 431-441.
- Rutkiewicz - Hanczewska M., *Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikacyjnej*, Poznań 2013.
- Sosnowski J., *Toponimia rosyjska XVI wieku. Nazwy wsi*, Łódź 2002.
- Wierzbicka A., *Genry mowy*, [B:] *Tekst i zdanie. Zbiór studiów*, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983, c. 125-137.
- Witosz B., *Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki*, Katowice 2005.
- Zierhofferowa Z., *Nazwy typu „Osiek Mały”, „Kozminek” i inne derywowane od nazw miejscowych. Na przykładzie materiału dawnego województwa kaliskiego*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.

ИНОКУЛЬТУРНЫЕ АНТРОПОНИМЫ В ПРОЦЕССЕ
РУССКО-ПОЛЬСКОГО ПЕРЕВОДА В КОНТЕКСТЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ПОДХОДА

PERSONAL NAMES FROM FOREIGN CULTURES IN RUSSIAN-POLISH
TRANSFER IN THE CONTEXT OF THE INDIVIDUAL
TRANSLATOR'S APPROACH

JOLANTA JÓŹWIAK

ABSTRACT. The paper deals with the problem of rendering personal names from foreign cultures into Russian and Polish. An individual approach is required from the translator in every separate case because of the distinctions in the perception of these culturally-determined elements. There are many situations when the modification of standard translation procedures is required, particularly when the unit is used in an unusual function. Irrespective of the orientation to form or meaning, the reactions of readers and potential associations are the most important.

Jolanta Józwiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz – Polska,
jjozwiak@poczta.onet.pl

В эпоху диалога культур и установки на сохранение культурной специфики могло бы показаться очевидным использование переводчиками экзотирующих техник для передачи культурно обусловленных элементов исходного текста. Однако, рассматривая результаты переводческих решений, следует задать вопрос: выполняют ли подобранные переводчиками единицы функции, соответствующие интенции автора?

Настоящие рассуждения будут посвящены инокультурным персоналиям — одному из видов появляющихся в русско-польском переводе единиц, которые не принадлежат ни к культурному кругу оригинала, ни перевода. В польской переводческой литературе для их определения употребляется термин *элементы третьей культуры*, предложенный Д. Урбанэк [Urbanek 2004: 160]. Как утверждает исследовательница, такого типа единицы совпадают с так называемыми *носителями чуждости* Р. Левицкого, т. е. элементами, обладающими способностью вызывать ощущение чуждости у читателей переводческого варианта текста [Lewicki 2000: 45].

Рекомендации (теоретического и практического характера) по вопросам введения имен собственных, в том числе и персоналий, в рус-

скоязычный текст даются, например, в работах С. Влахова, С. Флорина, В.С. Виноградова, Н.К. Гарбовского, И.С. Алексеевой и прежде всего в монографии Д.И. Ермоловича, позволяя переводчику сориентироваться, почему встречаемые им слова имеют такой, а не другой облик.

Однако, как известно, правила записи персоналий чужого, по отношению к оригиналу и переводу, происхождения в польском языке существенно отличаются от правил, соблюдаемых в русском языке. По общим рекомендациям польский переводчик должен восстановить изначальный облик таких единиц, т. е. вернуться к оригинальной записи. Однако реализация постулата намного сложнее, чем представляется вначале, и, следовательно, вызывает потребность индивидуального переводческого подхода в отдельных случаях. Поэтому стоит посмотреть на последствия применения (или нет) правил в конкретных контекстах. Примеры отобраны из некоторых романов Фандоринского цикла Бориса Акунина и их переводов на польский язык.

Применяемая в русском языке транскрипция, учитывающая произношение, может привести к появлению труднопроизносимых, „не свойственных принимающему языку звуко- и буквосочетаний“. Как утверждает Д.И. Ермолович, в результате „принцип фонетического подобия может быть в отдельных случаях подчинен принципу благозвучия“. Одним из методов реализации этого принципа является метод эвфонической передачи. Он заключается в замене неблагозвучных буквосочетаний, возникших в результате применения практической транскрипции, на более благозвучные [Ермолович 2005: 139].

По мнению Д.И. Ермоловича, „в некоторых случаях метод эвфонической передачи оправдывается характером переводимого текста и учетом его адресата“, но для его применения „необходимы серьезные основания и учет всех факторов, определяющих достижение цели коммуникации“ [Ермолович 2005: 139]. Замечания исследователя касаются передачи имен собственных в русском языке, но они имеют общий характер. Поэтому в какой-то степени их можно отнести к польскому языку как принимающему определенное имя, тем более что переводчик встречается с единицей в русскоязычном облике.

В переводах анализируемых романов упомянутые имена собственные из т. н. третьей культуры появляются если не в неожиданном варианте записи, то в одной из возможных форм, ср. *Шарль д'Эвре* [Т: 36]¹ – *Charles d'Evrait* [G: 28], *Шеймас Маклафлин* [Т: 32] – *Seamus McLaughlin* [G: 26]. Переводчик *Турецкого гамбита* руководствовался принципом отражения языковой принадлежности, но, как следует из приведенных примеров, он допускает некоторые изменения при возвращении к ори-

¹ Сокращения заглавий романов-источников даются в конце статьи.

гинальной записи, т. е. к языку, из которого имя происходит, или выбирает один из потенциальных вариантов.

Плавную передачу подобного рода персоналий нарушает наличие алфавитного барьера и упомянутых различных норм введения иноязычных лексических элементов в русский и польский тексты. Традиционные способы передачи общеизвестны, однако русские правила, учитывающие фонетическое подобие, сопоставляемые в процессе русско-польского перевода с польским принципом оригинальной записи, значительно затрудняют установление родной (оригинальной) записи. Некоторые исследователи считают необходимость передачи элементов третьей культуры нарушением двуязычия переводчика, так как переводчики обучаются двум языкам, а другие языки находятся как бы вне их специальности [ср. Урбанэк 2004: 161].

Ситуация еще более усложняется, если единица выполняет в тексте дополнительные функции, т. е. кроме культурной специфики передает какие-нибудь семантические оттенки, подчеркивает характер высказывания, является частью интертекстуальной игры и т. п. Примером может послужить развитие в тексте приведенной выше фамилии *d'Эвре* — *d'Evrait*.

В ходе повествования оказывается, что выступающая в романе и не вызывающая „подозрений“ фамилия имеет довольно прозрачную и значащую внутреннюю форму, о чем свидетельствует экспликация в заключительных фрагментах текста. Очевидно, что переводчик вынужден приспособить запись для известных ему после ознакомления с романом заключительных решений. Хотя дело кажется несложным, приведенный ниже иллюстративный материал свидетельствует о существенных изменениях в области семантики, синтаксиса, а в результате — в последовательном ходе событий. Ср. оригинал с польским переводом:

Ну как же, — удивился Эраст Петрович. — Вы проявили такую неосторожность. Нельзя же до такой степени бравировать и недооценивать противника! Стоило мне первый раз увидеть вашу подпись в „Ревю паризьен“ — *d'Hevrais*, и я сразу вспомнил, что наш главный оппонент Анвар-эфенди, по некоторым сведениям, родился в боснийском городке *Xevrauc*. *D'Hevrais*, „*Xevraucский*“ — это, согласитесь, слишком уж прозрачный псевдоним. Это, конечно, могло оказаться случайным совпадением, но так или иначе выглядело подозрительно² [Т: 247].

— No, jak to? Zdziwił się Erast Pietrowicz. — Pozostawił pan ślad w nazwisku, trochę je tylko zmieniając. Przedstawiając się, nie podał pan przecież pisowni,

² Анализируемые в настоящей статье примеры (и множество других) подробнее рассматриваются в монографии автора *Konteksty – Decyzje – Konsekwencje. Problemy przekładu*, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2016.

a ja myślałem, że pisze się: *d'Hevrais*. Kiedy więc usłyszałem, że nasz główny adwersarz, Anwar-efendi, urodził się prawdopodobnie w bośniackim miasteczku *Hewrais*, od razu to sobie skojarzyłem. *D'Hevrais*, a więc rodem stamtąd – taki pseudonim, zgodzi się pan, byłby całkiem przejrzysty. Nie wolno nie doceniać przeciwnika! Później okazało się, że pisownia jest inna, ale pierwsze wrażenie pozostało [G: 181].

В переводе приведенного фрагмента изменения семантического и хронологического характера привели к информационным сдвигам и, следовательно, к возникновению ошибочного впечатления, что Эраст Фандорин подозревал д'Эвре уже после первой информации об Анваре-эфенди и упоминании о встрече с д'Эвре, в то время как процесс дедукции был значительно более сложным. Дополнительная разница касается оценки прозрачности псевдонима: в оригинале Фандорин считает ассоциацию слишком очевидной, в польском же варианте она не является настолько явной, между прочим, из-за ссылки на произношение.

Различия между исходным фрагментом и его переводом можно комментировать с когнитивных позиций. Тексты составлены из таких же кусочков информации, но их грамматико-синтаксическая реализация ведет к существенным изменениям, связанным с механизмом профилирования. В когнитивной семантике Р. Лангакера *профиль* рассматривается как один из типов *выделения*. В рамках определенной *сцены* он является подвидом структуры, на котором фокусируется внимание, иначе – это то, что единица обозначает, или то, к чему она относится в концептуальной базе. Изменения касаются также хронологии событий и *перспективы* отражения события, что приводит к иному толкованию описываемой ситуации [ср. Langacker 2009: 99–119].

Следует также помнить о коннотативных аспектах передачи. В рамках определенной языковой системы наличие культурного отпечатка имени собственного воспринимается вполне естественно, как очевидная ассоциация. Зато в процессе межкультурной коммуникации оценка ценности и роли внутренней формы слова и решение о способах ее отражения вместе с культурными коннотациями в языке принимающей культуры принадлежит переводчику, потому что любое решение приводит к определенным последствиям. В качестве показателей культурной принадлежности могут быть использованы, например, вежливые адресативные формы, ср. *monsieur* (д'Эвре) или *mister* (McLaughlin).

Показатели подобного характера применяются также в процессе стилизации, служащей характеристике персонажа как иностранца, и для выражения отношения к некоему лицу. В романе *Азазель*, подытоживая неудачный визит Фандорина у леди Эстер, Бриллинг, желая проявить проницательность и одновременно отвлечь внимание от по-

дозреваемой, подражает ее экзальтированному голосу и способу высказывания с английскими вставками. Ср.:

Дайте угадаю. Про мистера *Kokorin* миледи в жизни не слышала, про мисс *Bezhtskaya* тем паче, весть о завещании самоубийцы ее ужасно расстроила. Так? [A: 106].

Для того чтобы придать высказыванию сходство с языком фиктивной / вымышленной героини, в оригинале автор воспользовался оборотами *мистер, миледи, мисс* и записью фамилий с помощью русско-английской транскрипции в именительном падеже, независимо от грамматической структуры.

Польский переводчик не имел такой же возможности из-за правил, т. е. стандартной передачи антропонимов с помощью латинского алфавита. Ежи Чех использовал, аналогично как и в остальных фрагментах текста, транскрибированную запись фамилий и ввел их в текст согласно грамматическим правилам языка оригинала, отказавшись от задуманной автором стилизации, ср.:

Niech zgadnę. O mister Kokorinie milady nigdy nie słyszała, o miss Bieżeckiej tym bardziej, wiadomość o testamencie samobójcy wytrąciła ją z równowagi. Czy tak? [Az: 81].

Последовательностью переводческого решения, заключающегося в отказе от повторения русско-английской транскрипции, стало отсутствие эффекта иронического подражания, иначе говоря – потеря семантических и экспрессивных коннотаций. Внутренний смысл высказывания оказался ослабленным, хотя имелась возможность его усилить, что можно заметить в других местах Фандоринского цикла.

Можно выдвинуть тезис, что чуждость и связанные с ней трудности в восприятии имен собственных являются одной из причин сравнительно небольшого количества читателей русской литературы в Польше. В условиях глобализации и в связи с доминирующей ролью английского языка, английские слова, как и много других единиц, записываемых латинским алфавитом, воспринимаются более естественным образом, чем транскрибированные варианты, несмотря на близкое родство систем русского и польского языков. Такое положение не может оставаться без влияния на желание ознакомиться с произведениями из данного культурного круга, не говоря уже об экономико-политической обусловленности межгосударственных отношений.

Вопрос соответствующей записи всегда является сложным, но количество факторов, которые вынужден учесть переводчик, может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от уровня знания определенного языка и связанной с ним культуры носителями языка перевода.

Иллюстративным материалом могут здесь послужить фрагменты *Черного города* и его польского варианта *Czarne miasto*. Действие романа

происходит в Баку с его многокультурным населением. В городе живут турки, татары, армяне, а также арабы, грузины, русские и т. д.; в результате не удивляет наличие имен и фамилий персонажей, принадлежащих к разным культурным кругам, находящимся вне нашего лучше известного читателям западноевропейского пространства. Многокультурное влияние находит языковое отражение в антропонимической лексике оригинала, заметное в следующих записях: *Месроп Карапетович Арташесов* [Ч: 109], *Муса Джабаров* [Ч: 110], *Гаджи-ага Шамсиев* [Ч: 110], *Саадат Валидбекова* [Ч: 204]. Единицы передаются переводчицей (А. Окуневской-Стронкой) с помощью практической транскрипции, ср. *Miesrop Karapietowicz Artaszew* [СМ: 111], *Musa Dżabarow* [СМ: 112], *Hadzi-aga Szamsijew* [СМ: 112], *Saadat Walidbekowa* [СМ: 211].

В упомянутом романе встречаются также значимые / значащие³ имена, которыми временно именуется Эраст Фандорин, введенные Б. Акуниным в текст оригинала согласно правилам практической транскрипции, учитывающей в некоей степени произношение: *Агбаиш* oraz *Юмрубаиш*, ср.:

Не буду тебя звать „Агбаиш”, – сказал Гасым. – Будешь *Юмрубаиш*, Круглый Голова [Ч: 155].

По отношению к выделенным единицам, а также некоторым единичным словам и фразам, которые произносит товарищ главного героя Гасым (Насым), автор перевода воспользовалась, согласно теоретическим рекомендациям, другой техникой, т. е. старалась вернуться к оригинальной записи в исходном языке. В данном случае это азербайджанский язык⁴, алфавит которого подлежал многим изменениям на протяжении предыдущего столетия. Переводчица *Черного города* приняла в конце концов решение о применении латиницы, которая в 1992 г. вновь заменила так называемую азербайджанскую кириллицу⁵. В латинском варианте записи содержатся буквы, принадлежащие в современную эпоху также турецкому алфавиту, например *ş*, что повлияло на дальнейшие решения переводчика. В результате такого приема читатель перевода получает упомянутый фрагмент в следующем виде:

³ Термином *значащие имена* пользуется В.С. Виноградов. В дальнейшем будет применяться термин *значащие имена* вслед за Н.К. Гарбовским и Д.И. Ермоловичем.

⁴ Азербайджанский язык является одним из языков юго-западной ветви тюркских языков. На протяжении XX века азербайджанская письменность менялась четырежды. В настоящее время азербайджанцы пользуются тремя видами письма: арабицей – в Иране, латиницей – в Азербайджане и кириллицей – в Дагестане (России), ср. электронный ресурс: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%99zyk> (28.12.2015).

⁵ Ср. электронный ресурс: http://www.szkolnictwo.pl/szukajj%C4%99zyk_azerski (28.12.2015).

Nie będę cię nazywać *Akbaş* — powiedział Hasym. Będziesz *Yumrubasz*, Okrągły Głowa [СМ: 160].

С точки зрения читателя действительно могло бы показаться, что примененная запись имеет оригинальный характер, однако на самом деле переводчик обратился к турецкому, а не к азербайджанскому языку. Доказательством может послужить передача значения 'белый как снег', которое в переводе передается с помощью турецкого слова *ak* вместо азербайджанского *ağ*, на которое опирается русский вариант имени.

И в этот момент следует задать несколько вопросов. Готов ли польский читатель на столь сильное увеличение чуждости? Стоило ли модифицировать переводческую технику, которая была применена по отношению к другим единицам из т. н. третьей культуры? Действительно ли желание сохранить и передать в процессе перевода культурную специфику важнее гармонии восприятия? Может быть, следовало принять во внимание возможности восприятия польского получателя, учитывая более широкий культурный контекст. Ведь, собственно говоря, невозможно говорить о каких-нибудь фоновых знаниях польских читателей относительно азербайджанского или турецкого языков, а представленная запись затрудняет польскому реципиенту даже прочтение имен и фамилий и напрасно сосредоточивает его внимание на записи, что совсем не было целью автора оригинала. Кроме того, запись в польском варианте ссылается на турецкий язык, а не на азербайджанский. Следовательно, точное направление ассоциаций не сохранилось, хотя надо констатировать, что из-за недостаточных общих знаний это осталось совсем незаметным для читателей.

Надо также подчеркнуть, что ощущение усиленной чуждости появилось бы также тогда, когда, как в случае других антропонимов, была бы применена транскрипция, опирающаяся на польский алфавит, например *Agbasz*, *Jumrubasz*, потому что с точки зрения польского читателя так или иначе эти единицы были бы оценены как не относящиеся ни к культуре оригинала, ни перевода. С одной стороны, кажется, что использование дополнительно экзотирующего текст приема трудно считать желательным, но, с другой стороны, можно посмотреть на результат перевода с точки зрения индивидуального решения переводчика, отдающего себе отчет в его последствиях. Это один из потенциальных вариантов, более того — обоснованных вариантов. Другой переводчик мог бы принять другое решение, хотя бы из-за отсутствия стандартов передачи с упомянутого исходного языка на польский язык.

Следует также отметить, что не всегда значащие имена вызывают трудности в процессе перевода. Доказательством может послужить

фрагмент с подпольными кличками представителей преступного мира в Баку, ср.:

При этом всякой пернатой нечисти в городе было достаточно: армянский бандит *Черный Ястреб*, лезгинский бандит *Белый Сокол*, русский налетчик просто *Сокол*, тюркский головорез *Лешиейэн*, то есть *Стервятник*, а вот про *Дятла* ничего разузнать не удалось [...] [Ч: 210].

В приведенном контексте перевод сводится к применению словарного эквивалента. Не мешает даже то, что мотивировка названия играет существенную роль, потому что важной является черта, ассоциирующаяся в сознании реципиентов с определенной птицей, а не внутренняя форма самого названия, ср.:

Jak na złość wszelakiego skrzydatego diabelstwa było w mieście w bród: ormiański bandyta *Czarny Jastrząb*, lezgiński bandyta *Biały Sokół*, rosyjski rabuś po prostu *Sokół*, turkijski zbój *Leşiyen*, czyli *Sęp*. Natomiast na temat *Dzięcioła* nie udało się dowiedzieć niczego [...] [CM: 217].

Исключением является запись псевдонима тюркского убийцы. Переводчица признала уместным сохранить намек на культурную принадлежность персонажа, применяя турецкий алфавит, хотя, как указывалось выше, соблюдение отличающихся друг от друга общих правил передачи приводит к разным результатам, т. е. к разному восприятию единиц в русском и польском языках. Русская практическая транскрипция, учитывающая произношение, позволяет в меру свободно прочесть слово *Лешиейэн*, в то время как оригинальная турецкая запись в польском языковом окружении расстраивает восприятие текста. Проблемы обоснованности применения такого приема мы коснулись при рассмотрении предыдущих примеров, хотя исходным был тогда азербайджанский язык.

Следует еще обратить внимание на то, что псевдоним появляется вместе с соответствием, в котором эксплицировано значение чужого слова, к тому же непонятная запись не играет такой существенной роли, как в вышеописанной ситуации. Поэтому внимание на единице не сосредоточивается, можно даже полагать, что она в таком языковом окружении становится незаметной или еле заметной при чтении.

Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть, что перевод персоналий ни в коем случае не должен рассматриваться как автоматический процесс передачи. В зависимости от функции, выполняемой антропонимической лексикой в тексте, переводческие решения должны быть ориентированы в большей степени на форму (и, например, ее благозвучность) или на значение (как в случае значащих имен), причем в обоих случаях доминирующую роль играют потенциальные ассо-

циации, которые могут возникнуть у читателей перевода. Такой подход неизбежно ведет к индивидуальному подходу, поскольку связан с многоуровневым и многоаспектным анализом статуса единицы как в тексте оригинала, так и в тексте перевода.

Библиография

- А л е к с е е в а И.С., (2008), *Текст и перевод. Вопросы теории*, „Международные отношения”, Москва.
- В и н о г р а д о в В.В., (1977), *Об основных типах фразеологических единиц в русском языке*, Издательство „Наука”, Москва.
- В и н о г р а д о в В.С., (2006), *Перевод. Общие и лексические вопросы*, Издательство „Наука”, Москва.
- В л а х о в С.И., Ф л о р и н С.П., (1980), *Непереводимое в переводе*, „Международные отношения”, Москва.
- Г а р б о в с к и й Н.К., (2007), *Теория перевода*, Издательство Московского университета, Москва.
- Е р м о л о в и ч Д.И., (2005), *Имена собственные: Теория и практика межъязыковой передачи*, Издательство „Р. ВАЛЕНТ”, Москва.
- J ó ź w i a k J., (2016), *Konteksty – Decyzje – Konsekwencje. Problemy przekładu*, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz.
- L a n g a s k e r R.W., (2009), *Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie*, tłum. E. Tabakowska, M. Buchta, H. Kardela i in., TAIWPN UNIVERSITAS, Kraków.
- L e w i c k i R., (2000), *Obcość w odbiorze przekładu*, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
- U r b a n e k D., (2004), *Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej*, Wydawnictwo Trio, Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
- А к у н и н Б., (1998/2008), *Азазель*, „Захаров”, Москва.
- А к у н и н Б., (1999/2007), *Турецкий гамбит*, „Захаров”, Москва.
- А к у н и н Б., (2012/2014), *Черный город*, „Захаров”, Москва.
- А к у н и н В., (2003), *Azazel*, przeł. J. Czech, Świat Książki, Warszawa.
- А к у н и н В., (2003), *Gambit turecki*, przeł. J. Czech, Świat Książki, Warszawa.
- А к у н и н В., (2014), *Czarne miasto*, przeł. A. Okuniewska-Stronka, Świat Książki, Warszawa.

Скróты tytułów powieści źródłowych

Азазель	–	[A]
Azazel	–	[Az]
Турецкий гамбит	–	[T]
Gambit turecki	–	[G]
Черный город	–	[Ч]
Czarne miasto	–	[CM]

ОМОГРАФИЧЕСКИЕ ТРИАДЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

HOMOGRAPHIC TRIADS IN RUSSIAN

JERZY KALISZAN

ABSTRACT. The article is devoted to the study of Russian homographic rows consisting of three components, such as *ворона* (gen. and acc. sg. of *ворон* 'raven') – *ворона* (nom. sg.) 'crow' – *ворона* (short form of *вороной* 'black'), *вертела* (gen. sg. of *вертел* 'spit for roasting') – *вертела* (nom. and acc. pl. of *вертел*) – *вертела* (past of *вертеть* 'to turn'), *здорово* (adv.) 'greatly, superbly; hard, strongly' – *здорово* (short neut. form of *здоровый* I 'healthy') – *здорово* (short neut. form of *здоровый* II 'tremendous, hefty'). The author has analyzed and classified 70 such three-component groups of homographs revealed in contemporary Russian.

Jerzy Kaliszan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
kaliszan@amu.edu.pl

В работах, посвященных русской омографии, которых, кстати, пока еще очень немного, объектом анализа избираются почти исключительно **двойные** (бинарные) оппозиции одинаковых по написанию, но не омофоничных – ввиду акцентных различий – словоформ одной и той же лексемы или двух отдельных лексем, напр.: *волос* – *волос*, *реки* – *реки*, *большая* – *большая*, *несите* (индикатив) – *несите* (императив) или *замок* 'крепость' – *замок* 'механизм', *потом* (твор. ед. к *пот*) – *потом* (нареч.), *окунь* (им. мн. к *окунь*) – *окунь* (императив к *окунуть*). В данной статье речь пойдет о **тройных** омографических оппозициях, которые в современном русском языке не являются редкостью и к тому же характеризуются рядом особенностей, заслуживающих подробного анализа и обстоятельного описания на исчерпывающем фактографическом материале¹.

Трехчленные ряды одинаковых по написанию, но акцентно дифференцированных словесных знаков могут создаваться, естественно, только за счет единиц, состоящих по крайней мере из трех слогов, ср.:

¹ Аналитический материал был почерпнут нами из различных типов словарей современного русского языка – толковых, орфографических, орфоэпических, грамматических, словарей омонимов, омографов и некоторых других лексикографических источников.

сторожа (род. / * вин. ед. к *сторож*) — *сторожа* (им. ед.) устар. 'сторожевой пункт, застава' — *сторожа* (им. мн. к *сторож*); *сторожа* (род. / вин. ед. к *сторож*) — *сторожа* (им. ед.) — *сторожа* (дееприч. к *сторожить*); *выводим* (буд. вр. к *выводить*) — *выводим* (наст. вр. к *выводить*) — *выводим* (кратк. ф. прил. *выводимый*). С другой стороны, однако, длина слов, участвующих в образовании омографических триад, не превышает уровня четырех слогов, ср.: *перепела* (род. / вин. ед. к *перепел* 'птица') — *перепела* (им. мн. к *перепел*) — *перепела* (прош. вр. к *перепеть*); *выводите* (буд. вр. / императив к *выводить*) — *выводите* (наст. вр. к *выводить*) — *выводите* (императив к *выводить*).

Тройные омографические ряды можно разделить на несколько типов, учитывая их лексемный и частеречный состав, а также характер структурно-семантических отношений между их компонентами. Так, компоненты отдельных рядов могут быть словоформами двух или трех разных лексем, они могут репрезентировать одну, две или три части речи, они, наконец, могут отличаться друг от друга по лексическому и / или грамматическому значению. На этой основе целесообразно говорить соответственно о двулексемных и трехлексемных омографических триадах, о внутривчастеречных и межчастеречных триадах и, наконец, о триадах, составленных из лексико-грамматических омографов и омографов смешанного типа.

Так, с точки зрения числа лексем, репрезентируемых компонентами триад, доминирующими оказываются **двулексемные** триады, составляющие приблизительно 61,5% собранного нами аналитического материала. Их компонентами являются формы двух разных лексем, т. е. одна форма, принадлежащая какой-либо одной лексеме, и две формы, принадлежащие другой лексеме, ср.: *сторожа* (им. ед.) устар. 'сторожевой пункт, застава' — *сторожа* (род. / вин. ед. к *сторож*) — *сторожа* (им. мн. к *сторож*); *провода* (род. ед. к *провод* 'действие по значению глагола *проводить*') — *провода* (род. ед. к *провод* 'провокола') — *провода* (им. / вин. мн. к *провод*); *перепела* (прош. вр. к *перепеть*) — *перепела* (род. / вин. к *перепел*) — *перепела* (им. мн. к *перепел*); *железы* (им. / вин.; плуриатив, устар. 'оковы, кандалы') — *железы* (род. ед. к *железа*) — *железы* (им. / вин. мн. к *железа*) и многие другие.

* Здесь и далее косая черта „/” сигнализирует, что в случае омоформии, т. е. грамматической омонимии форм одной и той же лексемы, компонентом конкретного омографического ряда может, естественно, выступать только одна из омонимичных форм, вторая же или остальные омонимичные формы входят в состав другого или других омографических рядов. Так, запись *сторожа* (род. / вин. ед.) — *сторожа* (им. ед.) — *сторожа* (им. мн.) вмещает в себя два омографических ряда: *сторожа* (род. ед.) — *сторожа* (им. ед.) — *сторожа* (им. мн.) и *сторожа* (вин. ед.) — *сторожа* (им. ед.) — *сторожа* (им. мн.).

Трехлексемные триады, т. е. триады, формируемые словоформами трех разных лексем, встречаются реже, чем двухлексемные, и составляют около 38,5% всего аналитического материала. Это такие ряды омографов, как: *волоку* (дат. ед. к *волок* 'участок суши между двумя судоходными реками') — *волоку* (вин. ед. к *волока* техн. 'рабочий инструмент волочильного стана') — *волоку* (1 л. ед. к *волочь*); *ворона* (род. / вин. ед. к *ворон*) — *ворона* (им. ед.) — *ворона* (кратк. ф. ж. р. прил. *вороной*); *воронью* (твор. ед. к *воронь* 'чернь, наведенная на металл') — *воронью* (дат. к *вороньё* — собир. 'стадо ворон или воронов') — *воронью* (вин. ед., ж. р. к *вороний*); *сторожа* (род. / вин. ед.) — *сторожа* (им. ед.) устар. 'сторожевой пункт, застава' — *сторожа* (дееприч. к *сторожить*); *выносим* (буд. вр. к *выносить*) — *выносим* (наст. вр. к *выносить*) — *выносим* (кратк. ф. прил. *выносимый*); *ужинная* (дееприч. к *ужинать*) — *ужинная* (дееприч. к *ужинать* обл. 'сжинать, срезать серпом — о хлебных злаках') — *ужинная* (им. ед., ж. р. к *ужинный* — от *уж* 'рептилия'); *здорово* I (нареч.) 'хорошо, удачно, искусно; очень, сильно' — *здорово* I (кратк. ф. прил. *здоровый* I 'не больной') — *здорово* (кратк. ф. прил. *здоровый* II 'значительный по размерам или степени проявления'); *здорово* I (нареч.) — *здорово* II (нареч.) 'выражая здоровье или свидетельствуя о нем' — *здорово* (кратк. ф. прил. *здоровый* II); *здорово* II (предикатив) 'оценка чего-л. как вызывающего восхищение, доставляющего удовлетворение, удовольствие' — *здорово* III (межд.) 'здравствуй(те)! — *здорово* (кратк. ф. прил. *здоровый* II).

Деление омографических троек на двухлексемные и трехлексемные плотно сопряжено с делением их на внутривчастеречные и межчастеречные омографы.

В составе **внутривчастеречных** рядов отдельные их компоненты, относясь к одной и той же части речи, репрезентируют две лексемы, одна из которых в трехчленном омографическом ряду представлена двумя грамматическими формами. Таким образом, внутривчастеречная омография является последовательно двухлексемной. Она представлена в языке субстантивными или глагольными триадами. К первым относятся такие, между прочим, оппозиции, как: *железы* (им. / вин. мн. к *железа*) — *железы* (род. ед. к *железа*) — *железы* (им. / вин.; плюратив, устар. 'цепи, оковы'); *округа* (род. ед. к *округ*) — *округа* (им. / вин. мн. к *округ*) — *округа* (им. ед.) 'окружающая местность; окрестность'; *отруба* (род. ед. к *отруб* 'участок земли') — *отруба* (им. / вин. мн. к *отруб*) — *отруба* (род. ед. к *отруб* 'место разруб'); *подреза* (род. ед. к *подрез* 'часть полоза саней') — *подреза* (им. / вин. мн. к *подрез*) — *подреза* (род. ед. к *подрез* 'действие по значению глагола *подрезать*'); *привода* (род. ед. к *привод* — в проф. речи 'техническое приспособление') — *привода* (им. / вин. мн. к *привод*) — *привода* (род. ед. к *привод* юрид.

‘принудительное доставление лица в суд’); *провода* (род. ед. к *провод* ‘провокола’) — *провода* (им. / вин. мн. к *провод*) — *провода* (род. ед. к *провод* ‘действие по значению глагола *проводить*’); *пролога* (род. ед. к *пролог* ‘церковная книга’) — *пролога* (им. / вин. мн. к *пролог*) — *пролога* (род. ед. к *пролог* ‘вступление’); *сторожа* (род. / вин. ед. к *сторож* ‘лицо’) — *сторожа* (им. мн. к *сторож*) — *сторожа* (им. ед.) устар. ‘сторожевой пункт, застава’ и под. К глагольным внутривидовым триадам принадлежат такие, например, оппозиции, как *выводите* (буд. вр. / императив к *выводить*) — *выводите* (наст. вр. к *выводить*) — *выводите* (императив к *выводить*); *вывозите* (буд. вр. / императив к *вывозить* разг. ‘выпачкать, вымазать, вывалить’) — *вывозите* (наст. вр. к *вывозить*) — *вывозите* (императив к *вывозить*); *выносите* (буд. вр. / императив к *выносить*) — *выносите* (наст. вр. к *выносить*) — *выносите* (императив к *выносить*); *выходите* (буд. вр. / императив к *выходить* ‘вырастить, воспитать’) — *выходите* (наст. вр. к *выходить*) — *выходите* (императив к *выходить*). К глагольным внутривидовым можно отнести и триады, составленные из двух предикативных глагольных форм и одной атрибутивной (причастной): *выводим* (буд. вр. к *выводить*) — *выводим* (наст. вр. к *выводить*) — *выводим* (кратк. ф. прич. *выводимый* — от *выводить*); *вывозим* (буд. вр. к *вывозить* разг. ‘выпачкать, вымазать, вывалить’) — *вывозим* (наст. вр. к *вывозить*) — *вывозим* (кратк. ф. прич. *вывозимый* — от *вывозить*); *выносим* (буд. вр. к *выносить*) — *выносим* (наст. вр. к *выносить*) — *выносим* (кратк. ф. прич. *выносимый* — от *выносить*).

Межвидовая тройная омография покрывает около 47% аналитического материала, минимально уступая первенство внутривидовой (53%). Она бывает либо двулексемной, либо трехлексемной и создается соответственно взаимоотношением формы одной лексемы и двух форм другой лексемы, отличной от первой в видовом плане, или взаимоотношением форм трех отдельных лексем, две из которых относятся к одной и той же части речи. Первый случай иллюстрируют субстантивно-глагольные ряды типа *вертела* (род. ед. к *вертел* ‘металлический прут, на котором жарят мясо, птицу и т. п., поворачивая его над огнем’) — *вертела* (им. / вин. мн. к *вертел*) — *вертела* (прош. вр. к *вертеть*); *перепела* (род. / вин. ед. к *перепел*) — *перепела* (им. мн. к *перепел*) — *перепела* (прош. вр. к *перепеть*); *слесаря* (род. / вин. ед. к *слесарь*) — *слесаря* (разг. ф. им. мн. к *слесарь*) — *слесаря* (дееприч. к *слесарить* разг. ‘заниматься слесарной работой, быть слесарем’)²; *токаря* (род. / вин. ед. к *токарь*) — *токаря* (разг. ф. им. мн. к *токарь*) — *токаря* (дееприч. к *токарить* разг. ‘заниматься токарной

² Деепричастия, как и причастия, вслед за академической *Русской грамматикой* (*Русская грамматика*, под ред. Н.Ю. Шведовой, т. 1, „Наука“, Москва 1980, с. 664–674), трактуются здесь как формы глагола, а не как отдельные части речи.

работой, быть токарем'). Второй случай можно продемонстрировать, во-первых, субстантивно-глагольными триадами, напр.: *волоки* (им. / вин. мн. к *волок* 'участок суши между двумя судоходными реками') — *волоки* (род. ед. / им. / вин. мн. к *волока* техн. 'рабочий инструмент волочильного стана') — *волоки* (императив к *волочь*); *волоку* (дат. ед. к *волок*) — *волоку* (вин. ед. к *волока*) — *волоку* (1 л. ед. к *волочь*); *сторожа* (род. / вин. ед. к *сторож*) — *сторожа* (им. ед.) 'сторожевой пункт, застава' — *сторожа* (дееприч. к *сторожить*); *сторожу* (дат. ед. к *сторож*) — *сторожу* (вин. ед. к *сторожа*) — *сторожу* (1 л. ед. к *сторожить*); во-вторых, субстантивно-адъективными триадами типа *ворона* (род. / вин. ед. к *ворон*) — *ворона* (им. ед.) — *ворона* (кратк. ф. ж. р. прил. *вороной*); *воронью* (твор. ед. к *воронь* 'чернь, наведенная на металл') — *воронью* (дат. к *вороньё* — собир. 'стадо ворон или воронов') — *воронью* (вин. ед., ж. р. к *вороний*); или, в-третьих, глагольно-адъективными триадами вроде *выводим* (буд. вр. к *выводить*) — *выводим* (наст. вр. к *выводить*) — *выводим* (кратк. ф. прил. *выводимый*); *выносим* (буд. вр. к *выносить*) — *выносим* (наст. вр. к *выносить*) — *выносим* (кратк. ф. прил. *выносимый*); *ужиная* (дееприч. к *ужинать* 'есть вечером, съесть ужин') — *ужиная* (дееприч. к *ужинать* обл. 'сжинать, срезать серпом — о хлебных злаках') — *ужиная* (им. ед., ж. р. к *ужиний* — от *уж* 'рептилия').

Омографические тройки, как указывалось выше, можно дифференцировать и по характеру соотношения лексического и грамматического значения их компонентов. Для этого могут быть отчасти использованы типологические критерии, применяемые обычно при изучении бинарных омографических оппозиций³. Так, члены тройных омографических рядов могут быть **лексико-грамматическими** омографами, т. е. иметь разные лексические и разные грамматические значения, напр.: *выносим* (буд. вр. к *выносить*) — *выносим* (наст. вр. к *выносить*) — *выносим* (кратк. ф. прил. *выносимый*); *ворона* (род. / вин. ед. к *ворон*) — *ворона* (им. ед.) — *ворона* (кратк. форма ж. р. прил. *вороной*); *воронью* (твор. ед. к *воронь* 'чернь, наведенная на металл') — *воронью* (дат. к *вороньё* — собир. 'стадо ворон или воронов') — *воронью* (вин. ед., ж. р. к *вороний*); *волоку* (дат. ед. к *волок* 'участок суши между двумя

³ В связи с этим см.: Н.П. Колесников, Система словесных омонимов в русском языке, [в:] XII научная сессия филологического факультета. План работы и тезисы докладов, Тбилиси 1968; А.И. Мельникова, К вопросу о русских омографах, „Русский язык в школе“ 1974, № 4; ее же, Пути возникновения и развития омографии в русском языке, „Русский язык в школе“ 1988, № 4; М.И. Фомина, Современный русский язык. Лексикология, „Высшая школа“, Москва 1978, с. 62–63; М.Г. Петренко, Явление омографии в современном русском языке. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук, Одесса 1987; О.Н. Емельянова, Омонимия и смежные явления, [в:] Стилистический энциклопедический словарь русского языка, под ред. М.Н. Кожинной, „Флинта: Наука“, Москва 2003, с. 263–267.

судоходными реками') — *волоку* (вин. ед. к *волока* техн. 'рабочий инструмент волочильного стана') — *волоку* (1 л. ед. к *волочь*); *здорово* (нареч.) 'хорошо, удачно, искусно; очень, сильно' — *здорово* (предикатив) 'полезно для здоровья' — *здорово* (кратк. ф. прил. *здоровый* 'значительный по размерам или степени проявления'). Лексико-грамматические омографы последовательно относятся к межчастеречной омографии. Они одновременно являются компонентами трехлексемных омографических рядов.

Лексико-грамматическому типу следует противопоставить **смешанный** семантический тип, при котором любой из компонентов омографической триады отличается от каждого из двух остальных компонентов либо по лексическому, либо по грамматическому, либо же одновременно и по лексическому и по грамматическому значению, напр.: *округа* (род. ед. к *округ*) — *округа* (им. / вин. мн. к *округ*) — *округа* (им. ед.) 'окружающая местность; окрестность'; *отруба* (род. ед. к *отруб* 'участок земли') — *отруба* (им. / вин. мн. к *отруб*) — *отруба* (род. ед. к *отруб* 'место разруба'); *выводим* (буд. вр. к *выводить*) — *выводим* (наст. вр. к *выводить*) — *выводим* (кратк. ф. прич. к *выводить*); *выносите* (наст. вр. / императив к *выносить*) — *выносите* (наст. вр. к *выносить*) — *выносите* (императив к *выносить*); *вертела* (род. ед. к *вертел*) — *вертела* (им. / вин. мн. к *вертел*) — *вертела* (прош. вр. к *вертеть*); *сторожа* (род. / вин. ед. к *сторож*) — *сторожа* (им. мн. к *сторож*) — *сторожа* (им. ед.) 'сторожевой пункт, застава'; *настригу* (дат. ед. к *настриг* 'количество настриженной шерсти, получаемое при стрижке овец') — *настригу* (дат. ед. к *настриг* 'настригание') — *настригу* (буд. вр. к *настричь*); *ужинная* (дееприч. к *ужинать* 'есть вечером, съесть ужин') — *ужинная* (дееприч. к *ужинать* обл. 'сжинать, срезать серпом') — *ужинная* (к *ужинный* — прил. от *уж* 'рептилия'). Смешанный тип омографии конституируют как внутри-, так и, значительно реже, межчастеречные омографы. Триады смешанного типа являются преимущественно триадами двухлексемного, реже трехлексемного типа. Они составляют 75,7% всего аналитического материала, втрое перекрывая число лексико-грамматических омографов.

Среди трехсторонних омографических оппозиций по лексической и грамматической семантике нам не удалось установить наличия в современном русском языке ни одного случая лексической омографии, т. е. наличия тройных омографов, обладающих разным лексическим значением и одинаковым грамматическим значением. Среди тройных омографов нет и, естественно, не может быть и грамматических омографов, т. е. акцентных оппозиций форм одной и той же лексемы, так как в русском языке не существует слов с тремя омографическими друг другу словоформами.

Итак, выше были выделены и описаны основные, на наш взгляд, типы омографических триад, характерных для современного русского языка. Как видно из примеров, эти типы могут взаимно пересекаться, перекрещиваться. Строительным материалом, наполняющим отмеченные нами тройные омографические ряды отдельных типов, являются, по данным нашей картотеки, формы 65 лексем, в том числе 32 субстантивов, 7 адъективов, 21 глагола, 2 наречий, 2 предикативов (слов категории состояния, стативов) и 1 междометия. Различные комбинации этих форм дают 70 тройных омографических оппозиций различных типов. Правда, число этих оппозиций не идет ни в какое сравнение с насчитываемыми десятки тысяч омографическими диадами, но зато тройные ряды графически идентичных, но фонетически и семантически противопоставленных друг другу словесных знаков являют собой весьма интересный и до сих пор особо не отмеченный в литературе эксклюзивный пример неоднозначности в языке и, по нашему мнению, уже хотя бы поэтому абсолютно не могут обходиться молчанием в лингвистических описаниях. Потребность в их изучении диктуется и тем, что они составляют часть, пусть и незначительную, весьма обширной и чрезвычайно сложной омографической картины русского языка, выделяющей этот язык на фоне других европейских языков. Детальное исследование этой картины может, кроме теоретической пользы, принести и весомую практическую помощь и оказаться ценной для тех, кто изучает русский язык как иностранный.

Библиография

- Емельянова О.Н., *Омонимия и смежные явления*, [в:] *Стилистический энциклопедический словарь русского языка*, под ред. М.Н. Кожинной, „Флинта: Наука”, Москва 2003.
- Колесников Н.П., *Система словесных омонимов в русском языке*, [в:] *XII научная сессия филологического факультета. План работы и тезисы докладов*, Тбилиси 1968.
- Мельникова А.И., *К вопросу о русских омографах*, „Русский язык в школе” 1974, № 4.
- Мельникова А.И., *Пути возникновения и развития омографии в русском языке*. „Русский язык в школе” 1988, № 4.
- Петренко М.Г., *Явление омографии в современном русском языке*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Одесса 1987.
- Русская грамматика*, под ред. Н.Ю. Шведовой, т. 1, „Наука”, Москва 1980.
- Фомина М.И., *Современный русский язык. Лексикология*, „Высшая школа”, Москва 1978.

ВОПРОС О ДИНАМИКЕ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА
„STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA”

THE PROBLEM OF RUSSIAN LEXIS DYNAMICS AT THE END
OF THE 20TH AND THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
FROM THE JOURNAL “STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA”

TETIANA KOSMEDA

ABSTRACT. In the course of analysing publications from the journal “Studia Rossica Posnaniensia”, devoted to the problem of Russian vocabulary mobility during the last 20–30 years, it was concluded that Russian vocabulary is actively enriched by borrowings and internationalisms, in particular: the formation of new words (morphological way), in the sphere of personal naming, broadening the lexico-semantic group of adverbs. Onomastics has been actively developed; set word meanings have extended and transformed; among newly formed words there are many that express emotionally evaluative relations; finally, the stylistic status of words is being changed, with the corpus of profanities enriched.

Tetiana Kosmeda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
tkosmeda@gmail.com

Журнал „Studia Rossica Posnaniensia” является сегодня одним из наиболее авторитетных и популярных в польской русистике. Его первый номер вышел в 1970 году, а первым научным редактором по проблемам языкознания до 10-го выпуска (1978) был профессор Л. Оссовский (10-й вып. журнала, собственно, и посвящен его 70-летию), а секретарем – Е. Литвинов; с 1978 г. научным редактором по вопросам языкознания становится Т. Зданцевич, подготовивший 10 выпусков, а с 1988 г. (вып. 20-й) эти обязанности снова перешли к Л. Оссовскому, под опекой которого вышло еще 4 номера (1988–1991); с 1993 г. (23-й вып.) его сменил М. Вуйтович, подготовивший 2 номера. Изданием следующих выпусков занимался профессиональный тандем – проф. Е. Калишан (науч. ред. по языкознанию, а со временем и гл. ред. журнала) и В. Каминьски (секретарь редакции). Эту почетную и трудоемкую работу они продолжают выполнять и сегодня.

Среди авторов журнала классики лингвистики, известные и крупные исследователи современности. Кроме польских ученых (Е. Курилович, А. Бартошевич (30-й вып. посвящен памяти ученого), Э. Секе-

жицки, Д. Вечорек, Л. Писарек, В. Хлебда, А. Маркунас (39 вып. посвящен юбилею исследователя), А. Ситарски, Е. Калишан, А. Нарлох и др.), представители разных стран, в частности России (В. Колесов, А. Моисеев, И. Улуханов, В. Мокиенко, А. Шмелев, Е. Шмелева, Н. Алефиренко, Т. Николаева и др.), Германии (В. Вит, Х. Шпрауль, В. Климонов, Р. Беленчикова), Белоруссии (А. Супрун, Л. Выгонная, Л. Рачкова и др.), Украины (Л. Быкова, В. Шевелев, В. Манакин, В. Зирка, Л. Кудрявцева и др.), Узбекистана (З. Саиткулов, М. Джусупов и др.), Казахстана (А. Шаяхметова), Словакии (М. Вархола), Финляндии (М. Оянен), Японии (Т. Куяма).

Лингвистическая проблематика журнала довольно разнообразна. Если проанализировать фокус внимания авторов публикаций, обращенный на разные языковедческие направления, разделы лингвистики, то в 70–80-е гг. XX в. можно отметить всплеск интереса к фонетике и орфоэпии, в частности это публикации по акцентологии (А. Моисеев, Л. Оссовский, М. Мартысюк, В. Федосеев, В. Гутенев, Т. Вуйцик, М. Вуйтович, Л. Миронюк), исторической (серия статей В. Колесова и Э. Секежицкого), сравнительно-сопоставительной (М.-М. Калиневич) и функциональной (Е. Курилович, М. Мартысюк, В. Курашкевич, В. Мартынов, М. Вуйтович) фонетике. Внимание ученых в это время достаточно серьезно привлекали вопросы словообразования и морфемки (серия статей А. Бартошевича, И. Улуханова, А. Моисеева, Е. Калишана, М.-М. Калиневич, а также Д. Вечорек, Л. Писарек, К. Величко, М. Михайлова, М. Мартысюка, Л. Шкатова и др.). Проблемы грамматики, в частности исторической (М. Вуйтович, В. Мокиенко, Д. Вечорек), а также стилистики (Л. Розвадовская, Э. Столярова, Ю. Язикова), лексикологии (К. Величко, М. Вуйтович, В. Яковицка), в том числе исторической (Ю. Язикова), фразеологии (В. Мокиенко, Т. Курочицки, В. Гутенев) рассматривались несколько реже.

В 1990–2000 гг. внимание лингвистов больше сосредотачивается на проблемах грамматики – морфологии (Л. Быкова, Е. Петрухина, В. Вит и др.), синтаксиса (В. Абашина, Д. Вечорек, О. Усминский, М. Мартысюк, Т. Учитель и др.). Вопросы словообразования постоянно находятся и в этот период в центре внимания Е. Калишана, а также А. Бартошевича, достаточно активно языковеды анализируют фразеологию (В. Хлебда, В. Каминьски, И. Дациньска, Л. Быкова и др.). Другие разделы языкознания менее популярны. Однако появляются работы по коммуникативной лингвистике (Л. Писарек, В. Змарзер), лингвистической прагматике (М. Алексеенко, Л. Миронюк, Л. Писарек, Л. Кудрявцева, Д. Будняк).

В период 2000–2015 гг. наиболее популярны словообразование (И. Ерофеева, Е. Калишан, Т. Попова, Е. Хабибуллина, А. Нарлох и др.)

и фразеология (В. Хлебда, Н. Алефиренко, А. Суткевич, В. Зимин и др.), лексикография, фонетика и грамматика привлекают меньше (Л. Вязикова, И. Логинова, А. Петров, Е. Колтунова), однако в это время появляются научные разыскания, освещающие проблемы новых направлений, прежде всего теолингвистики – 29-й выпуск целиком посвящен 1000-летию Христианства (Н. Алефиренко, И. Ратникова, В. Хлебда, К. Штайн, З. Чапига и др.), лингвоконцептологии (А. Маркунас, С. Лопушанская, И. Курдюмова, М. Крулькевич, Н. Тупикова) и лингвокультурологии (Р. Боженкова, Н. Боженкова), лингвистики текста (Е. Левченко, С. Полякова, М. Котюрова, Л. Клокова, О. Клокова), дискурслингвистики (К. Штайн, В. Зирка), гендерной (Б. Новицка) и коммуникативной (Г. Плешкова) лингвистики.

Если широко рассматривать проблематику лексикологии, то следует отметить, что под разными углами зрения она постоянно привлекала внимание исследователей, поскольку она наиболее тесно связана с действительностью, экстралингвистическими фактами, в частности активно подвергалась анализу русская терминология с точки зрения синхронии и диахронии, а также в сопоставительном ракурсе: наиболее активно и последовательно (серия статей) изучали балетную (В. Яковицка), техническую (К. Гурски), лингвистическую (А. Ситарски) и финансовую (Б. Конопелько) терминологию; в 70–90-х гг. XX в. актуальным считалось описание лексико-семантических либо тематических групп (упаковочная лексика – Ю. Язикова, наименования спортсменов – К. Величко; тематическая группа „Время” – Г. Маньковска; компьютерная лексика – М. Вуйтович), описывались статус и функционирование этнонимов (В. Супрун), антропонимов (А. Ситарски), шире – онимов в целом (А. Щербак). Велись наблюдения над функционированием отдельных лексических единиц (В. Каминьски, К. Величко и др.), последовательно изучались лексические заимствования, в частности из английского, французского, польского языков (М. Вуйтович, Т. Курочицки, В.-Р. Жепка, М.-М. Калиневич, Т. Левашкевич, Х. Войткевич), подвергался анализу и вопрос об особенностях функционирования в русском языке интернациональной лексики (М. Вуйтович, В. Музаль, Ю. Люкшин, В. Змарзер, В. Климонов), имеются обобщающие работы по теории и практике русской лексикографии (М. Вуйтович), а также разыскания, связанные с определением значения слова и его типов (К. Величко).

Обратимся непосредственно к анализу публикаций, посвященных исследованию динамики лексики русского языка к. XX – нач. XXI вв. Под пристальным взглядом ученых постоянно находился вопрос об устойчивости и подвижности словарного состава современного русского языка, исследовался также широкий спектр проблем неологии.

Ключевой в названном аспекте является статья трех авторов — А. Моисеева, Е. Иосифова и С. Пахомовой (Россия, Ленинград) под названием *Устойчивость и подвижность словарного состава современного русского языка*, написанная более 20 лет тому назад (1993). В качестве эпиграфа к своей публикации авторы статьи избрали глубокую мысль, высказанную Л. Щербой: „Каждый культурный народ должен следить за изменениями в словаре своего языка“. Авторы названной статьи подчеркивают, что „все языкознание можно спроецировать на словарный состав, сориентировать на изучение слов: звучание слов (фонетика), образование слов (словообразование), значение слов (семасиология), изменения слов (морфология), сочетания слов (синтаксис) и т. п., — все это, можно сказать, лексикология в ее самом широком смысле. Но, с другой стороны, и каждый более или менее конкретный аспект исследования лексики оказывается весьма сложным и трудным“¹. Свое внимание авторы названной публикации сосредоточили, однако, лишь на вопросах, связанных с констатацией важности словаря новых слов и значений. Ученые предложили два способа изучения новой лексики:

- 1) использование Справочного раздела 17-томного *Словаря современного русского литературного языка*, отмечающего первую лексикографическую фиксацию слов и 2) сопоставление по словнику переизданий конкретных словарей. Первый прием использован при изучении лексики в составе русской лингвистической терминологии (СРЛТ) первой половины XIX в. и фрагмента словарного состава самого 17-томного словаря; второй прием реализуется путем сравнения 1-го и 2 (3)-го издания *Словаря русского языка* в четырех томах и 1-го и последнего по времени издания Словаря С.И. Ожегова².

В результате проделанного анализа исследователи пришли к выводу о том, что наиболее выразительные изменения произошли в стилистической системе русского языка, — изменились стилистические параметры слов, их эмоционально-экспрессивные и оценочные функции. Подобное явление продолжает иметь место и поэтому в дальнейшем требует пристального внимания и анализа с актуализацией имеющих новых словарей.

Одной из наиболее основательных статей, касающихся неологии, считаем публикацию Э. Секежицкого (*Основные проблемы неологии* (Польша, Щецин), в которой автор подчеркивает синкретизм этой науки, возникшей на стыке лексикологии, словообразования и лексикографии, учитывающей проблематику семасиологии и ономасиологии, базиру-

¹ А.И. Моисеев, Е.П. Иосифов, С.И. Пахомова, *Устойчивость и подвижность словарного состава современного русского языка*, „Studia Rossica Posnaniensia“ 1993, nr 23, с. 133.

² Там же, с. 134.

ющейся на теории номинации. Э. Секежицки актуализирует мысли В. Морковкина относительно статуса терминов „лексическая единица” и „слово”, а также В. Муравского о синкретических зонах лексикологии и лексикографии, развивая идеи последнего о том, что „составители словарей стремятся к преодолению изолированности слова указаниями на синтагматические, парадигматические, прагматические и деривационные отношения слова в системе языка”³. Тем самым автор статьи подчеркнул значимость функциональной лексикологии, статус которой в то время еще не утвердился. Э. Секежицки поднял важную проблему определения критериев разграничения неологизмов и общеупотребительной лексики. Этот вопрос остается проблемным и сегодня.

Вхождение новых единиц в язык обусловлено, — как абсолютно справедливо считает лингвист, — рядом факторов: высокой частотностью употребления, широкой распространенностью в разных стилистических сферах, идентичностью словообразовательной структуры. Не менее важным фактором освоения неологизмов, — по его мнению, — является их словообразующая активность, рост словообразовательного потенциала, под которым понимается соотношение производных и непроизводных слов⁴.

Названный ученый предлагает ввести в систему методов анализа неологизмов прием исследования лексики по тематическим группам с учетом „гнездирующихся и негнездирующихся слов”, а также системных тематических и лексико-грамматических подгрупп (во время написания статьи это предложение было новаторским) и, безусловно, элементы метода количественного подсчета, что позволяет определить словообразовательный потенциал рассматриваемых слов и сделать выводы о тенденциях формирования неологизмов. Э. Секежицки привлекает внимание и к „выразительности неологизмов”, имея в виду их прагматический потенциал, учитывая и лексические, и лексико-семантические новообразования. Кроме этого, речь идет о наблюдениях над перераспределением лексико-семантических вариантов в структуре лексического значения слова. Системой особенностей обладают, безусловно, и индивидуально-авторские слова, „возрождение старых слов и значений”, которые также на основании лингвокреативности отдельных языковых личностей расширяют состав русского языка, иллюстрируют разные „судьбы” единиц, входящих в лексическую систему, и таких, которые остаются навсегда фактами речи (об этом на страницах журнала писали также М. Алексеенко, М. Журек, Т. Николаева). Не только

³ См.: Э. Секежицки, *Основные проблемы неологии*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 24, с. 110.

⁴ Там же, с. 110-111.

приводятся убедительные факты, подтверждающие авторские утверждения, но и сравниваются „языковые судьбы” индивидуально-авторских образований. Речь идет также и о тенденциях развития нелитературной лексики — диалектизм, просторечия, на базе которых тоже создаются индивидуально-авторские новообразования, фиксирующиеся в словарях.

Исследователи акцентируют внимание на актуализации различного рода коннотаций и сложности определения фактора маркированности слов, подчеркивая важность лингвопрагматического анализа, применяемого к отдельной лексической единице, методику которого проецируют на положения функциональной лексикологии (М. Алексеенко, М. Журек, Э. Секежицки, Т. Николаева, В. Шевелев).

В процессе изучения вопроса о динамике лексики русского языка большое внимание на страницах журнала уделяется учету экстралингвистических факторов, ибо „именно внеязыковая действительность, реальная жизнь позволяют понимать факты языка и речи”⁵. Так, например, М. Журек (Польша, Кельце) и М. Алексеенко (Польша, Щецин) описывают лексику периода так называемой „перестройки” и обращают внимание на характерную тенденцию изменения лексики, состоящую в том, что наблюдается потребность не столько в появлении новых слов, сколько в новой оценке старых⁶; в качестве примеров анализируются такие лексемы, как *перестройка*, *гласность*, *ускорение*, *хозрасчет*. Отметим, что „судьба” и этих новых значений ярко иллюстрирует процессы, происходящие в системе неологизмов: некоторые из них довольно быстро превратились в историзмы, архаизмы или получили статус активной лексики. М. Алексеенко пишет об актуализации оценочной энантиосемии в сфере общественно-политической лексики, а также появлении аналитических номинаций эвфемистического характера, скрывающих подлинную сущность названных ими понятий (напр., *либерализация цен* — значит ‘отсутствие контроля над ценами’). Следствие названного процесса — расширение парадигматических отношений, валентности слов. Кроме этого, среди современных тенденций функционирования лексики русского языка М. Алексеенко выделяет активность „репрессивных” слов, в частности широкое и повсеместное использование мата, грубой и вульгарной лексики, которая, как подчеркивают и другие исследователи, имеет место даже в публичной речи современных политиков, что продолжаем наблю-

⁵ М. Алексеенко, *Прагматика номинативного процесса „перестроечного новояза”*, „*Studia Rossica Posnaniensia*” 1996, nr 27, с. 195.

⁶ М. Журек, *Актуальные явления в русской лексике, связанные с перестройкой и гласностью (на примере современной прессы)*, „*Studia Rossica Posnaniensia*” 1993, nr 24, с. 115.

дать и сегодня. Кроме этого, прослеживалась активная жаргонизация повседневной речи. Как видим, М. Алексеенко указывает прежде всего на отрицательные тенденции функционирования лексики русского языка к XIX – нач. XX вв. (см. об этом также статьи Т. Николаевой, Л. Кудрявцевой).

Семантические изменения в русской общественно-политической лексике в 1988–1993 гг. анализировала также Х. Шпрауль (Германия, Потсдам), спроецировав внимание прежде всего на слово „демократия“. Она определила семантические сдвиги и факт расширения значения этого слова⁷. О. Молчанову (Польша, Жешув) привлек вопрос о новых номинациях и значениях в сфере общественно-политической лексики, которая отражает изменения на политической карте бывшего Советского Союза и функционирует в американской периодической печати: обращается внимание на появление английских калек, оценочную переориентацию, обыгрывание слов, появление табу на наименования бывших республик СССР, активное употребление новых названий⁸. Рассматривая тенденции развития лексико-семантической системы русского языка, Н. Комлев (Россия, Москва) выделил традиционные для русского языкового пространства явления „бюрократизации языка и трафаретизации мысли“, что проявляется в стандартизации и лексическом минимализме. Эти явления, по его мнению и мнению некоторых других ученых (М. Алексеенко, Л. Миронюка, Т. Николаевой), можно наблюдать „в политике именований и переименований географических объектов, названий разного рода организаций, учреждений, объединений, а также изделий, товаров, средств транспорта, предметов культуры. Неупорядоченность этих обозначений ведет к сбоям в коммуникации“⁹. Б. Хрынкевич-Адамских (Польша, Познань) пришла к подобным выводам, изучив современные названия московских агентств недвижимости¹⁰.

О лексико-семантических изменениях русского языка нового времени на примере анализа актуализации в речи плеонастических и тавтологических конструкций пишет И. Козера (Польша, Краков), отметившая, что в этой сфере прослеживаются две тенденции: с одной стороны, наблюдается утрата словообразовательных связей между род-

⁷ Х. Ш п р а у л ь, *Семантические изменения в русской общественно-политической лексике последних лет (1988–1993)*, „Studia Rossica Posnaniensia“ 1996, nr 27, с. 212.

⁸ См.: О. М о л ч а н о в а, *Отражение в американской периодической печати изменений на политической карте бывшего СССР*, „Studia Rossica Posnaniensia“ 1996, nr 27.

⁹ Н. К о м л е в, *Политика наименований с позиций социологии*, „Studia Rossica Posnaniensia“ 1996, nr 28, с. 85.

¹⁰ Б. Х р ы н к е в и ч - А д а м с к и х, *Современные названия московских агентств недвижимости*, „Studia Rossica Posnaniensia“ 2006, nr 33, с. 85–93.

ственными словами и осуществляется нейтрализация плеонастических и тавтологических отношений, а с другой — „замечается растущая динамичность подобных образований под влиянием средств массовой информации, при одновременной коммуникативной обоснованности”¹¹.

Ученые касались процессов, которые зафиксированы не только в сфере литературного языка, но, как отмечалось раньше, и в системе нестандартной русской лексики. Так, по мнению Л. Кудрявцевой (Украина, Киев), использование уничижительной лексики — это выражение намерения „унизить” „старый синдром общественного сознания элементами нестандартной лексики, вульгаризмами”¹². На активизацию новой жаргонной лексики (условно-профессиональные формы языка) обращает внимание и М. Вуйтвич (Польша, Познань)¹³. О модификации русских слов в процессе создании сленга аргументированно рассуждает Д. Весолэк (Польша, Познань), которая, однако, отмечает, что

в естественном молодежном жаргоне множество лексических элементов создано в ситуации отсутствия потребности в новой лексике, в результате чего появляется избыток определений: ряды синонимов, перифразы, тавтонимы...¹⁴.

И это естественно. Данный процесс не является негативным.

Ю. Люкшин (Польша, Варшава) отметил глобальную тенденцию, имеющую место в отраслевой терминологии, — стремление к интернационализации. В отраслевых терминологиях межъязыковое взаимодействие

регулируется устойчивыми межъязыковыми связями и терминологическими стандартами, возводимыми в конечном счете к понятию терминологического прототипа. Именно эти факты и определяют процесс интернационализации русских отраслевых терминологий в качестве органически присущей им „энергии бытия”¹⁵

— таков аргументированный вывод ученого, опирающегося в исследовании терминологии на постулаты когнитивной лингвистики.

¹¹ И. К о з е р а, *Лексико-семантические изменения в русском языке на примере плеонастических и тавтологических конструкций*, „Studia Rossica Posnaniensia” 2014, nr 39, с. 142.

¹² Л. К у д р я в ц е в а, *Коммуникативно-прагматическая детерминированность русской нестандартной лексики в газетно-публицистических текстах*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 28, с. 96.

¹³ М. В у й т о в и ч, *Из наблюдений над лексикой т. наз. условно-профессиональных языков*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 28.

¹⁴ Д. В е с о л э к, *Модификации русских слов при создании молодежного сленга*, „Studia Rossica Posnaniensia” 2014, nr 39, с. 368.

¹⁵ Ю. Л ю к ш и н, *Интернационализация отраслевых терминологий в современном русском языке*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 27, с. 144.

Об интернационализации, касающейся наименований социальных типов, пишет В. Змарзер (Польша, Варшава), привлекая в качестве исследовательского материала не только русский язык, но и польский и французский, актуализируя сравнительно-сопоставительный метод. Исследовательница считает, что

при создании социальных стереотипов в ряде случаев наблюдаются межъязыковые соответствия. Однако слов общих, интернациональных гораздо больше, чем тех, которые специфичны для каждого языка в отдельности. Если первые эмоционально и экспрессивно нейтральны, то вторые ярко (чаще всего отрицательно) окрашены¹⁶.

Серия статей посвящена изучению специфики лексических и лексико-семантических заимствований, их адаптации в русском языке (М. Алексеенко, М. Журек, В. Музаль, В. Климонов, Э. Секежицки и др.). Обращается особое внимание на большой приток англицизмов и англицизмов-американизмов (термин Ф. Филина), расширяющих в русском языке свою сочетаемость, „нарушая запреты“ советского времени. На базе заимствований появилась система новых словосочетаний терминологического характера (*президентская власть, президентские выборы, институт президента* и под.), которые полностью адаптировались в русском языке и не воспринимаются как „чужие“ (что, добавим, подтвердилось с течением времени), поскольку называют обычные реалии русской действительности.

М. Алексеенко справедливо считает, что функционально необоснованное использование заимствований

при наличии своих, национальных единиц, нарушает необходимые в процессе общения максимы качества, релевантности, манеры, такта, согласия и др., отягощает и код, и текст, не способствует решению антиномии „говорящий – слушающий“ в пользу последнего¹⁷.

Это отмечают также В. Музаль¹⁸ и Т. Николаева¹⁹.

Однако, указывая на изобилие иностранной лексики в русском языке, ученые, тем не менее, обращают внимание на активность исконно русской лексики (см., напр., приведенные выше рассуждения Ю. Люкшина). Лексическая система русского языка, как показывает

¹⁶ В. З м а р з е р, *Интернационализмы в наименованиях социальных типов в русском, польском и французском языках*, „Studia Rossica Posnaniensia“ 1996, nr 27, с. 150–151.

¹⁷ М. А л е к с е е н к о, указ. соч., с. 197.

¹⁸ В. М у з а л ь, *Иноязычная лексика в языке русской прессы 1980–1984 годов*, „Studia Rossica Posnaniensia“ 1993, nr 25.

¹⁹ Т. Н и к о л а е в а, *Литературная норма в языке СМИ*, „Studia Rossica Posnaniensia“ 2014, nr 39.

языковая реальность, не страдает излишним засорением иностранной лексикой, ибо язык, к счастью, система самоорганизующаяся, самоочищающаяся, синергетическая.

Прослеживается также „перераспределение“ сферы употребления терминов, возникновение новых клише (напр., *конструктивное решение, конструктивный диалог*), языковых стандартов (ср., напр., *принцип консенсуса*), моделирование так называемых образных терминов (напр., *спящая красавица* — о торговой фирме, временно прекратившей свое функционирование). Об этом пишут, например, Н. Анисимова (Россия, Архангельск)²⁰ и Г. Иванова (Россия, Нижний Новгород)²¹.

Серия статей посвящена не только проблемам семантической деривации, но и непосредственно деривации словообразовательной, в частности проф. Е. Калишан (Польша, Познань) рассуждает о словообразовательной контаминации, описывая своеобразие телескопии и агглютинации начальных элементов слов. Ученый предлагает описание системы моделей и субмоделей периферийного характера, что позволяет увидеть тенденции в сфере малоизученных словообразовательных процессов²².

Кроме этого, названный исследователь анализирует способы пополнения новой русской лексики за счет увеличения состава суффиксальных агентивных имен. Интересны статистические данные, приведенные Е. Калишаном, о том, что 96 % определенных выше суффиксальных названий лица „представляют собой результат словообразовательных операций; остальные 4 % — это слова, заимствованные русским языком из других языков, преимущественно европейского ареала, большей частью из английского“²³. Данный факт, безусловно, положительный, ибо русский язык для расширения лексического состава активно использует исконный ресурс. Е. Калишан распределил слова, им анализированные, „по их активности, отделил ядерные модели от периферийных, обладающих слабой словотворческой способностью“²⁴, указал на активные и малоупотребительные форманты, а также на активизацию феминитивной деривации, о чем пишут также Г. Маньковска

²⁰ Н. А н и с и м о в а, *К вопросу о составе и происхождении метеорологической терминологии*, „Studia Rossica Posnaniensia“ 2006, nr 33.

²¹ Г. И в а н о в а, *Русская лингвистическая терминология: проблема заимствования*, „Studia Rossica Posnaniensia“ 2006, nr 33.

²² См.: Е. К а л и ш а н, *Словообразовательная контаминация в новой русской лексике*, Studia Rossica Posnaniensia“ 1996, nr 27, с. 150–151.

²³ Е. К а л и ш а н, *Суффиксальные наименования лиц в новой русской лексике*, „Studia Rossica Posnaniensia“ 1993, nr 24, с. 123.

²⁴ Там же, с. 131.

(Польша, Варшава)²⁵ и Б. Новицка (Польша, Познань)²⁶. Кроме этого, Е. Калишан обращает внимание и на то, что новые тенденции в развитии лексического состава непосредственно влияют и на „внутренний динамизм морфологической системы”²⁷.

Г. Тираспольский (Россия, Сыктывкар) привлек внимание к существительным-композирам, убедительно показав их высокую продуктивность, мотивированную универсальным законом экономии языковых средств²⁸, а Б. Новицка (Польша, Познань) описала наблюдаемую в последние годы активность в системе русского субстантивного словопроизводства компонента (префиксоида) *мини-*, представив его многозначность²⁹.

Заслуживает внимания и основательная статья Л. Рацибурской (Россия, Нижний Новгород), в которой речь идет о словообразовательных инновациях, наблюдаемых в языке газеты. При этом отмечается, что

специфика дискурса российских СМИ, проявляющаяся в изменении информативной и усилении воздействующей функций, актуализации личностного начала, в определенной степени обусловлена социализацией и экспрессивизацией новообразований, которые, благодаря активизации тех или иных деривационных средств и моделей, реализации как узуальных, так и окказиональных способов деривации, выступают в текстах СМИ как средство номинации и оценки актуальных реалий³⁰.

О специфике образования и функционирования эмоционально-оценочной лексики аргументированно рассуждает Т. Николаева (Россия, Казань), подчеркивая, что необходимо составить словарь эмоционально-оценочных производных, в котором следует предложить объективную трактовку названных единиц „в свете нового их понимания как самостоятельно функционирующих языковых единиц”³¹. Это

²⁵ G. Mańkowska, *Leksyka współczesnej prasy kobiecej a stereotyp płci*, „Studia Rossica Posnaniensia” 2014, nr 39.

²⁶ Б. Новицка, *Феминативы с суффиксом „-к(а)” в новой русской лексике*, „Studia Rossica Posnaniensia” 2006, nr 33.

²⁷ Е. Калишан, *О роли словообразования в развитии грамматических процессов (на примере русских имен существительных)*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 28, с. 122.

²⁸ Г. Тираспольский, *Составные существительные в современном русском языке*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 24.

²⁹ Б. Новицка, *Словообразовательный элемент „мини-” в русском языке*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 27.

³⁰ Л. Рацибурская, *Словообразовательные инновации в современных российских СМИ*, „Studia Rossica Posnaniensia” 2010, nr 35.

³¹ Т. Николаева, *Эмоционально-оценочная лексика как результат семантического словообразования*, „Studia Rossica Posnaniensia” 2010, nr 35.

предложение осталось актуальным и по-прежнему требует своего решения.

А. Ситарски (Польша, Познань) детально описывает продуктивное явление апеллятивизации, в частности ученый характеризует специфику употребления имен собственных в переносном и нарицательном значениях. Исследователь приходит к выводу, что в процессе апеллятивизации антропонимов используется вся система словообразовательных способов и моделей русского языка и наблюдаются факты, иллюстрирующие процесс

перехода собственных имен в класс слов с нарицательным значением. Этот процесс реализуется путем метафорического и метонимического употребления собственного имени или путем использования способа морфологического словообразования³².

При этом подчеркивается закономерность, проявляющаяся в аппликации процессов апеллятивизации и морфологической деривации в пределах одной единицы.

Исследователь предложил также словообразовательную характеристику новых русских наречий, сделав вывод о том, что

в русском языке наших дней наблюдается тенденция к расширению деривационной базы наречных дериватов. Для многих наречий остаются возможными два пути их мотивации: соответствующими прилагательными и непосредственно существительными³³.

Определив специфический статус наречий в современном русском языке и указав на их дискурсивную роль в речи, В. Шевелев (Украина, Харьков)³⁴ обратил внимание на то, что адвербиальная лексика имеет особую прагматическую ориентацию и поэтому приобрела новую систему словоупотребления, не зафиксированную, к сожалению, в существующих словарях. В статье названного автора, таким образом, прозорливо актуализирована особая дискурсивная функция наречий и указана перспектива создания словаря дискурсивных слов, чем активно занимаются лексикографы лишь сегодня.

Таким образом, в научных разысканиях, опубликованных в журнале „Studia Rossica Posnaniensia” в последние десятилетия, обращалось особое внимание на проблему развития лексики русского языка

³² А. С и т а р с к и, *Апеллятивизация антропонимов в современном русском языке*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 24, с. 144.

³³ А. С и т а р с к и, *Словообразовательная характеристика новых русских наречий*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 28, с. 128.

³⁴ В. Ш е в е л е в, *Русское адвербиальное слово в прагматическом аспекте*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 24.

и специфику ее фиксации в системе словарей. Языковеды последовательно развивают вопросы теории, касающиеся статуса неологизма, критериев его выделения и методики исследования в парадигме функциональной лексикологии и прикладной лексикографии; всесторонне рассматривают процесс развития лексики на основании актуализации экстралингвистических факторов, при этом выявляя тенденции, касающиеся изменения оценочного значения слов, возрождения „старых“ значений, ухода в состав устаревшей лексики некоторых новых слов или значений вследствие утраты „актуальности“ понятий, явлений, предметов, называемых этими словами (значениями); отмечается факт образования целых „пучков“ новых значений (своеобразное развитие полисемии и омонимии, а также синонимии и антонимии) в лексической системе, получивших особую популярность в коммуникативном пространстве, в частности это касается и заимствованных единиц; характеризуются стилистические и стилевые языковые сдвиги, а также продуктивные способы словообразования. Изучение неологизмов проектируется на парадигматику, синтагматику, дериватологию (словообразовательную и семантическую), а также, что весьма важно, на прагматику.

Научные разыскания журнала „*Studia Rossica Posnaniensia*“ можно расценивать как солидную базу для выработки и совершенствования теории языкознания сквозь призму ретроспекции, в частности это касается проблем лексикологии и лексикографии, специфики интерпретации лексико-семантических фактов языка и речи, явлений номинации и деривации и под.

Отметим также, что авторы статей журнала „*Studia Rossica Posnaniensia*“ предлагают прозорливые выводы и утверждения относительно тенденций развития лексики русского языка, истинность которых можно определить только сегодня – в ретроспекции, ибо таков путь науки. Кроме того, имеются ценные предложения относительно развития лексикографии, которые требуют неотлагательного внедрения.

Библиография

- А л е к с е е н к о М., *Прагматика номинативного процесса „перестроечного новояза“*, „*Studia Rossica Posnaniensia*“ 1996, nr 27, с. 195.
- А н и с и м о в а Н., *К вопросу о составе и происхождении метеорологической терминологии*, „*Studia Rossica Posnaniensia*“ 2006, nr 33.
- В е с о л э к Д., *Модификации русских слов при создании молодежного сленга*, „*Studia Rossica Posnaniensia*“ 2014, nr 39, с. 368.
- В у й т о в и ч М., *Из наблюдений над лексикой т. наз. условно-профессиональных языков*, „*Studia Rossica Posnaniensia*“ 1996, nr 28.

- Журек М., Актуальные явления в русской лексике, связанные с перестройкой и гласностью (на примере современной прессы), „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 24, с. 115.
- Змарзев В., Интернационализмы в наименованиях социальных типов в русском, польском и французском языках, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 27, с. 150–151.
- Иванова Г., Русская лингвистическая терминология: проблема заимствования, „Studia Rossica Posnaniensia” 2006, nr 33.
- Калишан Е., О роли словообразования в развитии грамматических процессов (на примере русских имен существительных), „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 28, с. 122.
- Калишан Е., Словообразовательная контаминация в новой русской лексике, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 27, с. 150–151.
- Калишан Е., Суффиксальные наименования лиц в новой русской лексике, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 24, с. 123.
- Козера И., Лексико-семантические изменения в русском языке на примере плеонастических и тавтологических конструкций, „Studia Rossica Posnaniensia” 2014, nr 39, с. 142.
- Комлев Н., Политика наименований с позиций социологии, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 28, с. 85.
- Кудрявцева Л., Коммуникативно-прагматическая детерминированность русской нестандартной лексики в газетно-публицистических текстах, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 28, с. 96.
- Люкшин Ю., Интернационализация отраслевых терминологий в современном русском языке, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 27, с. 144.
- Маńkowski G., *Leksyka współczesnej prasy kobiecej a stereotyp płci*, „Studia Rossica Posnaniensia” 2014, nr 39.
- Моисеев А.И., Иосифов Е.П., Пахомова С.И., Устойчивость и подвижность словарного состава современного русского языка, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 23, с. 133.
- Молчанова О., Отражение в американской периодической печати изменений на политической карте бывшего СССР, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 27.
- Музаль В., Иноязычная лексика в языке русской прессы 1980–1984 годов, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 25.
- Николаева Т., Литературная норма в языке СМИ, „Studia Rossica Posnaniensia” 2014, nr 39.
- Николаева Т., Эмоционально-оценочная лексика как результат семантического словообразования, „Studia Rossica Posnaniensia” 2010, nr 35.
- Новицка Б., Словообразовательный элемент „мини-” в русском языке, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 27.
- Новицка Б., Феминативы с суффиксом „-к(а)” в новой русской лексике, „Studia Rossica Posnaniensia” 2006, nr 33.
- Рацибурская Л., Словообразовательные инновации в современных российских СМИ, „Studia Rossica Posnaniensia” 2010, nr 35.

- С е к е ж и ц к и Э., *Основные проблемы неологии*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 24, с. 110.
- С и т а р с к и А., *Апеллятивизация антропонимов в современном русском языке*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 24, с. 144.
- С и т а р с к и А., *Словообразовательная характеристика новых русских наречий*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 28, с. 128.
- Т и р а с п о л ь с к и й Г., *Составные существительные в современном русском языке*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 24.
- Х р ы н к е в и ч - А д а м с к и х Б., *Современные названия московских агентств недвижимости*, „Studia Rossica Posnaniensia” 2006, nr 33, с. 85-93.
- Ш е в е л е в В., *Русское адverbiallyное слово в прагматическом аспекте*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1993, nr 24.
- Ш п р а у л ь Х., *Семантические изменения в русской общественно-политической лексике последних лет (1988–1993)*, „Studia Rossica Posnaniensia” 1996, nr 27, с. 212.

„LAJKI” I „HEJTY”, CZYLI KILKA SŁÓW O SOCJOLEKCIE
POLSKICH I ROSYJSKICH UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU

‘LIKES’ AND ‘HATES’, I.E. A FEW WORDS ON THE SOCIOLECT
OF POLISH AND RUSSIAN INTERNET USERS

KATARZYNA KULIGOWSKA

ABSTRACT. The author presents several psycho- and sociolinguistic phenomena connected with Internet use. An analysis of the sociolect of Polish and Russian Internet users allows the author to establish the main kinds of human activity in the Internet and what the impact that using the Internet has on the individual.

Katarzyna Kuligowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
– Polska, katarzyna.kuligowska@amu.edu.pl

Niezwykłe dynamiczne zmiany dokonujące się w świecie w ostatnich dziesięcioleciach, będące konsekwencją ogromnego postępu technicznego i rozwoju nowych technologii oraz fenomenu, jakim jest internet, mają niebywały wpływ na życie całych społeczności, a co za tym idzie – na sposób komunikowania się ich członków i zarazem na zmiany zachodzące w języku, którym owe społeczności się posługują.

Sposób komunikowania się za pomocą komputerów, przy użyciu internetu, stał się już przedmiotem wielu badań i analiz naukowych. W literaturze anglojęzycznej dyscyplina ta określana jest jako *computer-mediated communication* (CMC). Autorzy polskich prac na ten temat używają określeń typu komunikacja elektroniczna, komunikacja medialna lub komunikacja za pośrednictwem sieci komputerowych¹. Jak podkreśla Jan Grzenia,

Podstawowym celem tej dyscypliny powinno być badanie komputerów jako narzędzi komunikacji [...]. Równie ważne wydaje się badanie wpływu komputerów na możliwości komunikatywne człowieka, a w konsekwencji także ich wpływu na język².

Wojciech Gustowski zauważa, że „w połączeniu z coraz nowszymi technologiami i możliwościami, jakie internet oferuje, mamy do czynienia

¹ Vide J. Grzenia, *Komunikacja językowa w Internecie*, Warszawa 2006, s. 13; W. Gustowski, *Komunikacja w mediach społecznościowych*, Gdynia 2012, s. 31.

² J. Grzenia, op. cit., s. 14.

z sytuacją, w której zaczyna on zastępować wszystkie inne sposoby komunikacji”³.

Niniejszy artykuł jest próbą prezentacji kilku zjawisk o charakterze psycho- i socjolingwistycznym, wynikających z upowszechnienia się komunikacji elektronicznej, a związanych, posługując się słowami badaczy, z „komunikacją społeczną jednostki w wirtualnym świecie” z jednej strony i „skutkami korzystania z internetu dla życia jednostki w świecie realnym” z drugiej strony⁴. Wspomniane zjawiska zostaną zaprezentowane na polskim i rosyjskim materiale leksykalnym, będącym wycinkiem specyficznego socjolektu osób posługujących się internetem i korzystających z niego w celu komunikowania się z innymi jego użytkownikami. Leksyka, która posłużyła do badań, została zaczerpnięta z kilkunastu wydań polskich tygodników o charakterze społeczno-politycznym („Newsweek”, „Polityka”) z okresu 2013–2015 oraz podobnej liczby internetowych wydań czasopism rosyjskich („Взгляд”, „Огонек”) z okresu 2007–2015. Źródłem żargonowych wyrażeń było także *Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005*⁵, specjalne wydanie tygodnika „Polityka” pt. *Ja My Oni*⁶, jak również publikacje naukowe dotyczące komunikacji medialnej, wskazane w bibliografii. Ogółem zebranych i przeanalizowanych zostało około 170 polskich i około 180 rosyjskich jednostek leksykalnych, w przeważającej większości stanowiących pojedyncze leksemy.

Internet stał się nieodłącznym elementem życia tak jednostki, jak i zbiorowości. „Nowa technologia na stałe weszła w życie społeczne, ułatwiając i przyspieszając komunikację (e-mail), stając się źródłem informacji (strony WWW), ułatwiając przesyłanie programów, plików (FTP), objęła sferę tzw. e-biznesu [...]”⁷. Liczba osób wykorzystujących internet w różnych celach, zawodowych i prywatnych, rośnie lawinowo z roku na rok. Badania z lat 2003–2004 wskazywały, że w Polsce jest ok. 8–9 mln internautów⁸, według danych zaś dla pierwszego kwartału 2015 roku wynik ten zwiększył się do niemal 30 mln.⁹ Podobne tendencje występują w Rosji, gdzie liczba inter-

³ W. G u s t o w s k i, op. cit., s. 30.

⁴ B. S z m i g i e l s k a, *Rola internetu w biegu życia ludzkiego*, [w:] *Cale życie w Sieci*, pod red. B. Szmigielskiej, Kraków 2008, s. 8.

⁵ *Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005*, pod red. T. Smólkowej, cz. I–V, Kraków 2010–2014.

⁶ *Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny „Polityki”*, t. 16: *Co komputer zrobił nam z głową*, „Polityka” 2014, nr 9.

⁷ B. P r z y w a r a, *Człowiek w sieci. Socjologiczne studium przypadku*, [w:] *Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego*, pod red. M. Radochońskiego i B. Przywary, Rzeszów 2004, s. 143.

⁸ J. G r z e n i a, op. cit., s. 46.

⁹ Źródło elektroniczne: <http://www.egospodarka.pl/124395,Internet-w-Polsce-I-III-2015,1,12,1.html> (18.08.2015).

nautów w ciągu ostatniego roku wzrosła o 5% i na początku 2015 roku wyniosła 82 mln.¹⁰

Leksymy opisujące funkcjonowanie jednostki ludzkiej w wirtualnym świecie tworzą w badanym materiale najobszerniejsze pole semantyczne. Dotyczą one wszystkich aspektów internetowej aktywności człowieka. Są wśród nich ogólne wyrażenia wskazujące na sposoby komunikowania się i działania użytkowników internetu, np. *cyberświat*, *cyberprzestrzeń*, *cyber-slacking* (okazj. ‘włóczenie się po internecie’); *кибер-пространство*, *кибер-спейс*, *чат*, *флэшмоб* (‘заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия и затем расходится’), *смартмоб*, *сёрфинг*, nazwy portali i źródeł informacji, np. *blogosfera*, *czatroom*, *cybercementarz*, *darknet*, *seksportal*, *wall*; *интернет-кафе*, *онлайн-архив*, *онлайн-библиотека*, „ściana”¹¹, *сайт*, *видеохостинг* (‘сайт, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере’), określenia związane z publikowaną treścią, np. *lolkontent/lolcontent* (‘publikowane w internecie treści o charakterze rozrywkowym, często wyśmiewające osoby, zachowania lub cechy’), *mem* (‘umieszczana w internecie porcja informacji w postaci krótkiego filmu, zdjęcia, często z zabawnym komentarzem’), *snap* (‘zdjęcie wysyłane przez internet za pośrednictwem serwisu Snapchat, które jest kasowane po ok. 10 sekundach od wyświetlenia’), *koment*, *fota*; *публикуемый контент*, *перепосты*, *микроблог*, *интернет-мем*, *твит*, *ретвит*, *хештег/хэштег* (‘метка’), oraz nazwy użytkowników internetu i jego zasobów, np. *cyberrandkowiec*, *randkonautka*, *surfer*, *vloger* (‘osoba publikująca w internecie nagrane przez siebie krótkie filmy video’, *video + bloger*), *netowicz*, „ceWEBryci” (okazj. ‘znane postaci sieci’, ang. *web + celebrity*); *интернет-пользователь*, *юзер*, *чатланин*, *геймер*.

Odnutowane zostały także określenia związane z prowadzeniem działalności komercyjnej w przestrzeni internetowej, np. *e-zakupy*, *e-konsument*, *e-sklep*, *showrooming* (‘wizyty w tradycyjnych sklepach, służące temu, by obejrzeć z bliska sprzęt, który chce się kupić w internecie’); *онлайн-бренды*, *онлайн-торговля*, *интернет-маркетинг*, *интернет-рынки*, jak i terminy socjologiczne i społeczno-polityczne, *cyberkolonizacja*, *crowdfunding* (‘forma zbierania kapitału od użytkowników internetu na przedsięwzięcia społeczne’), *pokolenie* tzw. *sieciaków*, *e-maskacja*, *e-administracja*, *dewirtualizacja*, *cyberprzyszłość*, *webringi* (‘forma zrzeszania ludzi posiadających strony www, pierścienie webowe’); *интернет-интеграция*, *интернет-сообщество*, *кибер-эпоха*, *интернет-инициатив*, *интернет-голосование*. Znaczące pod względem ilości miejsc zajmują nazwy związane ze środkami masowego przekazu i reklamą,

¹⁰ Źródło elektroniczne: <http://news.softdrom.ru/ap/b21812.shtml> (18.08.2015).

¹¹ W cudzysłowie prezentowane są wyrazy należące do leksyki okazjonalnej.

np. *informacyjna e-powódź*, *streaming* ('technika dostarczania informacji multimedialnej na życzenie najczęściej poprzez internet'), *advertainment* ('przekaz reklamowy w rozrywkowej formie'); *интернет-СМИ*, *интернет-утка* ('непроверенная или преднамеренно ложная информация, опубликованная в интернете'), *интернет-трансляция*, *интернет-опрос*, *соцмедия*, *оффлайновая реклама*. Odrębną grupę tematyczną stanowią nazwy urządzeń oraz terminy z zakresu technologii informatycznych, np. *smartfon*, *tablet*, *aplikacja*, *iPhone*; *дата-центр*, *вай-фай*, *IT-индустрия*, *IP-телефония*, *зетабайт* ('триллион гигабайтов'), *Android-устройство*. Tego typu leksemy J. Grzenia zalicza do słownictwa komputerowego, wyraźnie oddzielając je od jednostek należących do leksyki internetowej¹².

Z aktywnością jednostki i instytucji w internecie wiąże się problem zaufania i jego nadużywania przez niektórych użytkowników globalnej sieci.

Strategia ograniczonego zaufania w środowisku internetowym znajduje [...] specyficzne uzasadnienie. W Sieci nierzadko mamy do czynienia z osobami, które nie podają swoich prawdziwych danych bądź dają niewiele wskazówek umożliwiających celne odczytanie ich tożsamości¹³.

W badanym socjolekcie występują określenia takie, jak *fejk* ('fałszywy komunikat nadawany z konta osoby podszywającej się pod kogoś innego' lub 'osoba podszywająca się pod innego użytkownika sieci'), *fejkowanie*. Na brak zaufania bez wątpienia wpływ mają także przypadki nadużycia bądź łamania prawa. Przestępczość wirtualna przybiera coraz to nowe formy i coraz większe rozmiary. Znajduje to potwierdzenie w materiale językowym, w którym liczne są wyrażenia opisujące typy przestępców, stosowane przez nich środki i rodzaje dokonywanych przez nich czynów, np. *cracker*, *haker*, *cyberagresor*, *cyberbullying*, *cyberprzemoc*, *cyberatak*, *trojan* ('rodzaj złośliwego oprogramowania, które, podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje, dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje'), *ransomware* ('oprogramowanie, które po otwarciu załącznika szyfruje pliki na komputerze'), *phishing* ('rodzaj oszustwa internetowego, w którym przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji, np. danych logowania lub szczegółów karty kredytowej'); *интернет-вандал*, *интернет-мошенник*, *кибер-группировка*, *кибер-терроризм*, *кейлоггер* ('программное обеспечение, регистрирующее различные действия пользователя компьютера, клавиатурный шпион'), *кибер-шпионаж*, *спам-атака*, „*кибер-джихад*".

¹² J. G r z e n i a, op. cit., s. 127.

¹³ K. S t a c h u r a, *Zaufanie i nieufność w Internecie. Analiza wybranych determinantów kapitału społecznego*, [w:] *Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie*, pod red. M. Niezgody, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Kraków 2010, s. 142.

Innym negatywnym zjawiskiem związanym z funkcjonowaniem w wirtualnym świecie jest agresja przejawiająca się w otwartym wyrażaniu niechęci lub wręcz nienawiści wobec pojedynczych internautów lub całych grup ludzi o charakterze politycznym, religijnym czy mniejszościowym. Zdaniem Pawła Majchrzaka i Niny Ogińskiej-Bulik „zjawisko to jest często odnotowywane jako potencjalne zagrożenie dla użytkowników wszystkich form komunikacji internetowej”¹⁴. Jego ilustracją na płaszczyźnie językowej są określenia typu *hejting*, *hejterstwo*, *hejter*, *flejm* („szybko nasilający się spór internetowy”), *хейт-список*, *хейт-группы*, *троллинг* („злонамеренное вмешательство в сетевую коммуникацию, выражающееся в нагнетании участником общения гнева, конфликта путем скрытого или явного задирания, принижения, оскорбления другого участника или участников, зачастую с нарушением правил сетевой коммуникации”).

W celu zapobiegania tym negatywnym zjawiskom w sieci szeroko dyskutuje się o skutecznych sposobach obrony użytkowników internetu. Na łamach prasy pojawiają się więc takie określenia jak *cyberarmia*, *cyberbezpieczeństwo*; *кибер-защита*, *киберполиция*, *кибер-жертва*, *медиабезопасность*.

Jednym z ważniejszych fragmentów przestrzeni wirtualnej stały się w ostatnich kilkunastu latach tzw. serwisy społecznościowe, które pozwalają na tworzenie własnego profilu, prezentowanie własnych poglądów, przekazywanie informacji o sobie oraz komunikowanie się z innymi. Jako niezwykle ważną funkcję tego typu zjawisk badacze wymieniają również zaspokojenie potrzeby przynależności do określonej grupy społecznej¹⁵. W Polsce pierwszym takim portalem była „Nasza klasa”, której liczba użytkowników w czerwcu 2008 roku, według danych opublikowanych w pracy *Uzależnienie od internetu*, wynosiła ponad 11 milionów¹⁶. W Rosji podobne funkcje spełniają portale „ВКонтакте” i „Одноклассники” z dziesiątkami milionów uczestników, a w ostatnich latach na całym świecie rekordy popularności bije Facebook (*fejs*, *fejsbuk*), w którym swój profil założyło już kilkaset milionów osób¹⁷. Przyłączanie się do społeczności sieciowych w dużym stopniu wynika z chęci autoprezentacji i potrzeby akceptacji, bowiem

prezentując swój „profil” użytkownik dokonuje niejako promocji własnej osoby pod wieloma ważnymi dla niego względami, pokazując zainteresowania i hobby, osiągnięcia oraz krąg swoich bliższych i dalszych znajomych [...]¹⁸.

¹⁴ P. Majchrzak, N. Ogińska-Bulik, *Uzależnienie od internetu*, Łódź 2010, s. 18.

¹⁵ Tamże, s. 22.

¹⁶ Tamże.

¹⁷ Ł. Kaprałska, *O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych*, [w:] *Com.unikowanie w zmieniającym się...*, op. cit., s. 266.

¹⁸ Tamże, s. 264.

Słownictwo opisujące funkcjonowanie jednostki na portalach społecznościowych można podzielić na określenia dotyczące autoprezentacji użytkowników, np. *e-wizerunek*, *e-maski*; *ник*, *аватар*, określenia związane z aktywnością użytkowników, m. in. *polubienia*, *szery* ('udostępnienia'), *sexting* / *seksting* ('wysyłanie zdjęć lub filmów o treści erotycznej'), *лайк* ('одобрение'), *правится* ('одобрение'), *дизлайк*, *просмотры*, oraz nazwy osób, np. *fejsbukowicz*, *twitterowiec*, *follower* ('osoba obserwująca czyjś profil na portalu społecznościowym'); *вконтакттовские школьники*, *инстаграммер*, *твиттерянин*. Szczególnie popularne stało się wyrażenie *lajk* (ros. *лайк*), oznaczające akceptację lub wyrażenie aprobaty, podziwu dla prezentowanej przez użytkowników portalu treści, zdjęcia, lub innej zawartości komunikatu. W zebranych materiale znajdują się wyrażenia typu (*za*)*lajkować*, *pozyskiwanie lajków*, *nabijać lajki*, *zbijanie lajków*, *lajker*; *накрутка лайков*, *набирать лайки*, *лайк-машина*, *лайкнуть*, (*по*)*ставить лайк*.

Obserwacja portali społecznościowych pozwala wnioskować, że ich członkowie najczęściej i najchętniej dzielą się z innymi swoimi zdjęciami. Z faktem tym wiąże się kolejny językowy fenomen, czyli szereg określeń dotyczących umieszczanych na profilu użytkownika fotografii autoportretowych, np. *sweet fotka* (*sweet focia*), wulg. *samojebka*, *selfie*; ros. *селфи*, *съёмка-селфи*, „себяшка”, *флешка*, *дакфейс* ('характерное выражение лица, при котором губы вытягиваются вперед'), *селфи* (od ang. *relationship* i *selfie*, 'фотография с любимым человеком'), *лифтлук* ('фотография, сделанная самостоятельно у зеркала в лифте'). Słowo *selfie* zostało uznane przez twórców słowników Oxford University Press za słowo roku 2013¹⁹. Wykonywanie tego typu zdjęć stało się niezwykle łatwe dzięki upowszechnieniu się aparatów cyfrowych, tabletów oraz telefonów komórkowych z wbudowanym aparatem o wysokiej rozdzielczości (*iPhone*; *смартфон*, *камерафон*, *Android-устройство*), a także specjalnych ręcznych statywów, znanych jako: *wysięgnik do selfie*, *kijek do selfie*; *селфи-монопод*, *штатив для селфи*, *селфи-палка*, lub coraz to nowszych wynalazków, jak np. „селфи-туфли”.

Uczestnicy portali społecznościowych prześcigają się w prezentacji *selfie*, starając się wykonać jak najciekawsze ujęcia, co niekiedy prowadzi do ryzykownych zachowań. „Селфи — уже не просто странное хобби, а вопрос жизни и смерти.” — napisał rosyjski dziennikarz Leonid Mikulak w gazecie „Московский комсомолец”²⁰. W związku z tragicznymi wypadkami, które miały miejsce przy wykonywaniu tych popularnych auto-

¹⁹ Źródło elektroniczne: <http://www.spidersweb.pl/2013/11/selfie-slowem-roku.html> (10.08.2015).

²⁰ „Московский комсомолец” 8 июля 2015, № 26853, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.mk.ru/social/2015/07/07/pamyatku-mvd-o-bezopasnykh-selfi-razmestili-na-meste-gibeli-moskvichki.html> (16.08.2015).

portretów, rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało poradnik pt. *Безопасное селфи*²¹.

Czas spędzany w wirtualnym świecie nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie człowieka w realnym życiu. Często zdarza się, że jest to wpływ negatywny i destrukcyjny. Naukowcy niejednokrotnie już podejmowali temat nadmiernego użytkowania komputera i internetu czy wręcz internetowego uzależnienia, które porównywane jest do innego typu nałogów, np. alkoholizmu czy uzależnienia od hazardu²². Psychologowie wyróżniają za amerykańską badaczką Kimberly Young pięć typów uzależnień związanych z użytkowaniem komputera i internetu, do których przypisać można obrazujące je jednostki językowe:

– erotomania internetowa – uzależnienie od filmów i zdjęć o charakterze pornograficznym, uczestniczenie w czatach o tematyce seksualnej (*pornonauci, cyberseks, cybersek* (‘seks wirtualny’), *секстинг*),

– socjomania internetowa – uzależnienie od portali społecznościowych i komunikacji internetowej (*czatoholik, czatmaniaczka, селфимания, одержимость селфи, селфи-расстройство, селфит* (‘патологическая зависимость от селфи’), *e-mail апноэ* (‘состояние, в котором человеку не хватает электронных писем и новых сообщений в соцсетях’),

– uzależnienie od sieci internetowej, m. in. sieciowych gier hazardowych, zakupów on-line itp. (*e-zakupoholik, интернет-казино*),

– przeciążenie informacyjne czyli przymus pobierania informacji (*infoholik, информacyjна e-поводź*),

– uzależnienie od gier komputerowych (*геймоголик, игроман*)²³.

Do przedstawionych typów uzależnień można dołączyć nadmierne używanie telefonów komórkowych, umożliwiających korzystanie z internetu, co również znalazło już swoje odbicie w systemie leksykalnym zarówno języka polskiego, jak i rosyjskiego, por. *komórkoholizm, fonoholizm, номофобия* (‘боязнь оказаться вне зоны доступа мобильной связи’).

Analizowany materiał leksykalny dotyczący problematycznego użytkowania internetu i komputerów zawiera ponadto ogólne nazwy tego zjawiska, np. *sieciouzależnienie, siecioholizm, cybernałóg, efekt Hikikomori* (‘uzależnienie od internetu, którego ofiara kontaktuje się ze światem zewnętrznym jedynie za pomocą sieci’); *интернетомания, интернет-наркомания, интернет-аддикция, интернет-зависимость, онлайн-зависимость*, oraz nazwy osób dotkniętych owym problemem, np. *internetoholik, cybermaniak, appleholik; интернет-зависимый, „интернет-наркоман”*.

²¹ Źródło elektroniczne: https://mvd.ru/safety_selfie (16.08.2015).

²² Vide P. Majchrzak, N. Ogńska-Buk, op. cit.

²³ M. Koszembar-Wiklik, *Advertainment i marketing wirusowy – nowe formy komunikacji z odbiorcą*, [w:] *Com.unikowanie w zmieniającym się...*, op. cit., s. 322–323.

Analiza strukturalna leksemów z socjolektu internautów pozwoliła wyodrębnić kilka grup wyrazów: zapożyczenia, derywaty słowotwórcze, złożenia i neosemantyzmy.

Wyrazy zapożyczone stanowią w polskim zebranych materiale ok. 35%. Niemal bez wyjątku ich źródłem jest język angielski, np. *wall*, *showrooming*, *follower*, *keylogger*, *crowdfunding*. Część zapożyczeń zapisywana jest w wersji spolszczonej, np. *lajk(i)* (ang. *like*), *fejk(i)* (ang. *fake*), *hejter* (ang. *hater*), *fejm* (ang. *fame*), *fejsbuk* (ang. *Facebook*), niektóre zaś występują w dwóch wersjach, np. *czatroom / chatroom*, *ha sztag / hashtag*, *seksing / sexting*. Jedynym zapożyczeniem z języka innego niż angielski jest nazwa *hikikomori* pochodzenia japońskiego (jap. *hiku* – ‘wycofywać się’, *komoru* – ‘być w zamku i chronić się’). Rosyjski materiał leksykalny zawiera ok. 18% wyrazów zapożyczonych z języka angielskiego, które zgodnie z językową tradycją zapisywane są w wersji fonetycznej, np. *флэшмоб* (ang. *flashmob*), *тролинг* (ang. *trolling*), *кейлоггер* (ang. *keylogger*), *дизлайк* (ang. *dislike*), *мессенджер* (ang. *messenger*), *чат* (ang. *chat*), *геймер* (ang. *gamer*), *контент* (ang. *content*).

Wyrazy zapożyczone w obu językach w szybkim tempie stają się podstawami słowotwórczymi nowych derywatów, głównie przymiotników i czasowników, np. *fejsbukowy / facebookowy*, *crowdfundingowy*, *hejterski*, *twitterowy*, *rozemotikowany*, *googlować / guglować*, *linkować*, *szerować* (‘udostępnić’, od ang. *to share* ‘dzielić się’), *hejtować*, *lolować* (‘wyśmiewać’, od ang. *lol* ‘laughing out loud’), *zdefriendować* (‘wykluczyć z grona znajomych na portalu społecznościowym’); *чатовый*, *контентный* (w wyrażeniu *контентное пиратство*), *оффлайновый*, *браузерный*, *фейсбучный*, *лайкнуть*, *постить*, *чатиться*, *тэжить*, *твитить*, Rzadziej tworzone są rzeczowniki o znaczeniu osoby lub procesu czy stanu, np. *czatownik*, *czatownicza*, *twitterowiec*, *hakerstwo*, *banowanie*, *hejterstwo*, *lolowanie*; *твитерянин*, *чатланин*, *селфит*. Derywaty powstałe w oparciu o rodzime tematy występują w zebranych materiale w niewielkiej liczbie, np. *sieciaki* (‘pokolenie osób w wieku szkolnym i studenckim, spędzających większość czasu w internecie’), *sieciouzależnienie*, *przedsiębiorcy* (w wyrażeniu *pokolenie przedsiębiorcy*).

W grupie złożzeń – tak polskich, jak i rosyjskich – przeważają wyrazy zbudowane z dwóch komponentów o charakterze międzynarodowym lub międzynarodowego komponentu prepozytywnego i tematu rodzimego. Wśród wyrazów polskich w prepozycji najczęściej występuje częśćka *cyber-* oraz *e-*, np. *cyberdetoks*, *cybermaniak*, *cyberpartner*, *cyberprzestępczość*, *cyberfobia*, *e-zakupy*, *e-wizerunek*, *e-sklep*, *e-handel*, *e-firma*. W złożeniach rosyjskich najczęściej wyzyskiwane są komponenty *интернет-*, *кибер-*, *онлайн-*, np. *интернет-холдинг*, *интернет-ресурс*, *интернет-трансляция*, *киберпреступник*, *кибер-эпоха*, *кибератака / кибер-атака*, *онлайн-игры*, *онлайн-зависимость*, *онлайн-магазин*. Inny typ złożzeń występujący w badanym materiale stanowią kompozyty „z sufiksoidami typu *-holik* (*internetoholik*, *czatoholik*), *-holizm* (*siecioholizm*,

fonoholizm), *-fob* (*globofob*), *-nauta* (*randkonauta*, *pornonauta*); *-голик* (*сетеголик*), *-голизм* (*сетеголизм*), *-мания* (*селфимания*), *-фобия* (*номофобия*). W języku rosyjskim ponadto dość swobodnie tworzą się złożenia z komponentem *селфи-*, np. *селфи-палка*, *съёмка-селфи*, *селфи-расстройство*.

Neosemantyzmy stanowią w badanym materiale znikomą część. Za przykład leksemów powstałych na bazie istniejących w systemie językowym wyrazów można uznać wyrazy: *polubienie* ('wyrażenie aprobaty, sympatii do materiałów opublikowanych na stronach internetowych; lajk'), *стена* ('страница, профиль пользователя социальной сети').

Analiza wycinka leksyki używanej przez polskich i rosyjskich użytkowników internetu, wzbogacanej głównie poprzez zapożyczenia i złożenia, pozwoliła na wskazanie najważniejszych zjawisk dotyczących współczesnego człowieka, który funkcjonuje w dwóch równoległych światach – realnym i wirtualnym. Rzeczywistość internetowa to miejsce, w którym jednostka prowadzi nie tylko działalność zawodową, społeczną czy polityczną. Jest to przestrzeń pełniąca również funkcje ludyczne, wykorzystywana do komunikowania się z innymi, nawiązywania i utrzymywania kontaktów towarzyskich. Te rodzaje aktywności pozwalają często na zaspokojenie potrzeby akceptacji i autoprezentacji. Jednakże przeniesienie wielu aspektów życia do cyberprzestrzeni niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia, jak choćby wzrost wirtualnej przestępczości czy uzależnienie od sieci internetowej.

Bibliografia

- Całe życie w sieci*, pod red. B. Szmigielskiej, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2008.
- Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie*, pod red. M. Niezgody, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010.
- G r z e n i a J., *Komunikacja językowa w internecie*, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
- G u s t o w s k i W., *Komunikacja w mediach społecznościowych*, Novae Res, Gdynia 2012.
- Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny „Polityki”*, t. 16: *Co komputer zrobił nam z głową*, „Polityka” 2014, nr 9.
- Jednostka – grupa – cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego*, pod red. M. Radochońskiego i B. Przywary, Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004.
- K a p r a l s k a Ł., *O komunikacyjnych i integracyjnych funkcjach serwisów społecznościowych*, [w:] *Com.unikowanie w zmieniającym się...*, op. cit., s. 266.
- K o s z e m b a r - W i k l i k M., *Advertainment i marketing wirusowy – nowe formy komunikacji z odbiorcą*, [w:] *Com.unikowanie w zmieniającym się...*, op. cit., s. 322–323.

- M a j c h r z a k P., O g i ń s k a - B u l i k P., *Uzależnienie od internetu*, Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010.
- „Московский комсомолец” 8 июля 2015, № 26853, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.mk.ru/social/2015/07/07/pamyatku-mvd-o-bezopasnykh-selfi-razmestili-na-meste-gibeli-moskvichki.html> (16.08.2015).
- Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005*, pod red. T. Smółkowej, cz. I–V, Kraków 2010–2014.
- P r z y w a r a B., *Człowiek w sieci. Socjologiczne studium przypadku*, [w:] *Jednostka – grupa – cybersieć...*, op. cit.
- S t a c h u r a K., *Zaufanie i nieufność w Internecie. Analiza wybranych determinantów kapitału społecznego*, [w:] *Com.unikowanie w zmieniającym się...*, op. cit., s. 142.
- S z m i g i e l s k a B., *Rola internetu w biegu życia ludzkiego*, [w:] *Całe życie w Sieci*, pod red. B. Szmigielskiej, Kraków 2008.
- Źródło elektroniczne: <http://news.softodrom.ru/ap/b21812.shtml> (18.08.2015).
- Źródło elektroniczne: <http://www.egospodarka.pl/124395,Internet-w-Polsce-I-III-2015,1,12,1.html> (18.08.2015).

КОГНИТИВНАЯ СЕМАНТИКА КОНЦЕПТА „ОБМАН”
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

THE COGNITIVE SEMANTICS OF THE CONCEPT OF “LIE”
IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE

ŁUKASZ MAŁECKI

ABSTRACT. “Lying” in human consciousness takes the form of a concept — a mental form described by means of such features as traditions, customs, special stereotypes of thinking, behavior models, etc. This article attempts to analyze the linguistic realization of the concept of a “lie” in the Russian language. This language analysis is based on the purposes of cognitive definition.

Łukasz Małeck, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań — Polska,
lmalecki@amu.edu.pl

Современный период полифонии гуманитарных наук, обуславливающий дальнейшие тенденции их развития, следует считать отражением нового, доминирующего в исследованиях подхода — идеи антропоцентричности, согласно которой в качестве естественной точки отсчета, наблюдателя и носителя определенных знаний выступает человек. Происходящие с 70-х годов XX века динамические перемены, называемые иногда „когнитивной революцией”, коренным образом изменяют и формируют также лицо современного языкознания. Лингвистика, пронизанная идеей антропоцентричности, ознаменована развитием многих новых научных направлений, таких как психолингвистика, социолингвистика, лингвокультурология, компьютерная лингвистика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика. Среди возникших на почве антропоцентризма парадигм важное место занимает последняя из вышеперечисленных — когнитивная лингвистика и неотъемлемо с ней связанная когнитивная семантика, так как, по замечанию Ю.Д. Апресяна,

нынешняя эпоха развития лингвистики — это, бесспорно, эпоха семантики, центральное положение которой в кругу лингвистических дисциплин непосредственно вытекает из того факта, что человеческий язык в своей основной функции есть средство общения, средство кодирования и декодирования определенной информации¹.

¹ Ю.Д. Апресян, *Лексическая семантика. Синонимические средства языка*, Москва 1974, с. 3.

Принимая во внимание вышесказанное, когнитивную лингвистику некоторые исследователи определяют даже как „сверхглубинную семантику”² и рассматривают ее как естественное развитие семантических идей.

Когнитивную семантику можно охарактеризовать как общую теорию концептуализации и категоризации, теорию того, как человек воспринимает и осмысливает окружающий мир и как его опыт познания реализуется в значениях языковых выражений. В рамках когнитивной семантики человеку как познающему субъекту – носителю когниции – приписывается активная роль в формировании значений языковых единиц, т. е. человек формирует эти значения, а не получает их в готовом виде³.

Новые лингвистические тенденции активизировали обращение к новым вопросам и проблемам, а также методам их исследования. Среди задач современного языкознания, признанного раскрыть значение и механизмы человеческой когниции, обуславливающей способность коммуникации, новую значимость приобретает призыв В. фон Гумбольдта:

исследовать функционирование языка в его широчайшем объеме – не просто в его отношении к речи и ее непосредственному продукту, набору лексических элементов, но в его отношении к деятельности мышления и чувственного восприятия⁴.

Проблема соотношения языка и знаний, накапливаемых человеком, выводит вопросы когнитивной семантики в первый эшелон лингвистических исследований⁵. Семантику, как замечает А.П. Бабушкин, нельзя отделить от познания. Она выступает в качестве связующего звена между теорией языка и теориями других когнитивных способностей (включающих зрительные и слуховые восприятия и т. п.). По словам З.А. Харитончика, „[...] изучая семантику естественного языка, мы по необходимости изучаем структуру мышления”⁶. В свою очередь, ссылаясь на замечания И.А. Стернина и З.Д. Поповой, изучение семантики того или другого языка позволяет

² В.А. Маслова, *Когнитивная лингвистика. Учебное пособие*, Минск 2004, с. 21.

³ Н.Н. Болдырев, *Когнитивная семантика. Курс лекций по английской филологии*, Тамбов 2002, с. 18.

⁴ В. фон Гумбольдт, *Избранные труды по языкознанию*, Москва 1984, с. 75.

⁵ А.П. Бабушкин, *Типы концептов в лексико-семантической системе языка*, Воронеж 1996, с. 95.

⁶ З.А. Харитончик, *Способы концептуальной организации знаний в лексике*, [в:] *Язык и структуры представления знаний. Сборник научно-аналитических обзоров*, Москва 1992, с. 102.

проникать в концептосферу людей, [...] выяснять, что было важно для того или иного народа в разные периоды его истории, а что оставалось вне поля его зрения, в то время как для другого народа это оказывалось существенным⁷.

Вышесказанное обуславливает широкий диапазон исследовательских проблем, среди которых на первый план выдвигаются вопросы, касающиеся попытки определения ментальных структур и способов их представления в сознании человека, а также интерпретации содержания лексических единиц с точки зрения типов знаний, которые в них фиксируются. Таким образом, инструментом оперирования в когнитивной лингвистике становятся оперативные единицы памяти – фреймы, сценарии, гештальты, мыслительные картинки, инсайты, концепты и т. д.⁸ Последний из вышеуказанных видов ментальных структур – концепт – многие считают стержневой единицей, вокруг которой вращается вся проблематика когнитивной лингвистики. Концепт, как утверждает В.А. Маслова, является ментальной репрезентацией, которая определяет, как вещи связаны между собой и как они категоризируются. Главная роль, которую играют концепты в мышлении, – это именно категоризация, позволяющая группировать объекты, имеющие определенные свойства, в соответствующие классы. В.А. Маслова утверждает, что концепты – это не любые понятия, а лишь наиболее сложные и важные из них, без которых трудно представить себе определенную культуру:

[...] концепт окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом; [...] это тот „пучок“ представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово и выражаемое им понятие⁹.

Следует также обратить внимание на факт, что только часть концепта, как ментальной структуры, имеет „языковленную“ форму, так как, по словам Т. Космеды,

[...] не все, что познается человеком, получает вербальную форму, не все отображается с помощью языка, и не вся информация из окружающего мира получает словесное выражение¹⁰.

Целью настоящего исследования является анализ языковых средств, объективирующих структуру одного из наиболее сложных концептов

⁷ З.Д. П о п о в а, И.А. С т е р н и н, *Когнитивная лингвистика*, [в:] электронный ресурс: <http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/osnovnye-cherty-semantiko/> (17.10.2015).

⁸ В.А. М а с л о в а, указ. соч., с. 10.

⁹ Там же, с. 16.

¹⁰ Т.А. К о с м е д а, *Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера СВЯТКИ в українському мовному просторі*, Львів 2000, с. 12.

в русском языке — концепта ОБМАН. В связи с тем, что в дальнейшей части статьи речь пойдет как о концепте ОБМАН, так и о лексеме *обман*, нами приняты следующие условные обозначения: лексема пишется курсивом, а название концепта — заглавными буквами.

Почему именно обман? Семантическое пространство данной ментальной единицы было выбрано нами ввиду высокой ее общественной значимости. Обман, к сожалению, представляет собой явление, распространенное в жизни человека, отражающееся в многочисленных видах и проявлениях. Мы постоянно сталкиваемся с обманом: либо мы лжем, либо нам лгут. Обман сопровождает человеческую коммуникацию и реализуется в ней, знаменуя конфликт между нормой, моралью и правдой, как одной из фундаментальных ценностей. Кроме того, логично говорить о том, что существует столько картин мира, сколько существует наблюдателей — с этой точки зрения любая вербальная кодировка информации может быть одновременно и правдой и ложью для разных реципиентов.

Один из основных вопросов, затрагивающих внимание современной лингвистики, касается глубины или уровня детализации семантического описания языковых единиц. В связи с этим Р. Гжегорчикова спрашивает:

должно ли толкование слова состоять лишь из небольшого набора признаков, или наоборот — оно должно охватывать весь спектр, богатство, разнообразие человеческого культурного опыта, проявляющегося в языке?¹¹

Детальный анализ языковой реализации концепта ОБМАН и описание семантики репрезентирующих его номинантов нами будет проводиться при помощи т. н. открытой (или когнитивной) дефиниции, разработанной Е. Бартминьским. Когнитивная дефиниция, противопоставляющаяся т. н. классической дефиниции, состоящей только из необходимых *genus proximum* и *differentia specifica*, имеет особую ценность в семантико-когнитивных исследованиях, так как, по словам Д. Кэмпбелл-Фигуры, она является расширенным семантическим описанием слова, цель которого состоит в отображении способа мышления, миропонимания носителей определенного языка. Такая дефиниция предполагает по возможности полное описание не только денотативного компонента значения, но и его дополнительного компонента (коннотации), обусловленного экстралингвистическими, культурными факторами¹².

¹¹ R. Grzegorzycowa, *Teoretyczne i metodologiczne problemy semantyki w perspektywie tzw. kognitywnej teorii języka*, [в:] *Studia semantyczne*, pod red. R. Grzegorzycowej, Z. Zaron, Warszawa 1993, с. 9.

¹² D. Kępa-Figura, *Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu „ptak”*, Lublin 2007, с. 28.

Поскольку в русском языке концепт ОБМАН объективируется большим количеством языковых единиц, в его структуре можно выделить ядро как базисный слой, „зародыш“, включающий основные знания о данной эмоции, и периферию, состоящую из остальных ментально-информационных репрезентантов. В связи с этим можно сделать вывод, что многообразие значений исследуемого концепта дает возможность выявить его структуру в виде некоторой схемы, отражающей ядерно-периферийную классификацию его основных понятийных направлений. Ядро концепта отражает основные, базовые, наиболее характерные признаки, в свою очередь периферия составляет интерпретационное поле концепта, пополняющее его объем дополнительными когнитивными характеристиками.

Проведенный отбор лингвистического материала показал, что центральную часть концепта, составляющую его ядерную зону, наиболее полно отражает семантика ключевой единицы — имени концепта, т. е. существительного *обман*.

Определение ключевой лексемы, кодирующей данный концепт в языке, предполагает обращение к ее семантике, т. е. выявление семантических признаков. Основой для вышесказанного является анализ толкований из разного типа словарей. Ссылаясь на русские лексикографические источники, *обман* можно определить как:

- „слова, речи, противные истине“¹³;
- „намеренное искажение истины“¹⁴;
- „то же самое, что и неправда, ложь“¹⁵;
- „то, что не соответствует действительности“¹⁶;
- „слова, поступки, действия, намеренно вводящие других в заблуждение“¹⁷;
- „мнимое представление; иллюзия“¹⁸;
- „то, что сознательно вводит кого-л. в заблуждение, обманывает“¹⁹.

¹³ *Большой толковый словарь русского языка*, под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург 2002.

¹⁴ *Толковый словарь русского языка*, под ред. С.М. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва 1994.

¹⁵ *Толковый словарь русского языка в 4 т.*, под ред. Д.Н. Ушакова, Москва 1940.

¹⁶ *Словарь русского языка в 4 тт.*, под ред. А.П. Евгеньевой, т. 2, Москва 1983.

¹⁷ *Словарь сочетаемости слов русского языка*, под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина, Москва 1983.

¹⁸ *Современный толковый словарь русского языка*, под ред. Т.Ф. Ефремовой, [в:] электронный ресурс: <http://www.efremova.info/word/obman.html#.ViDsTX7hDrc> (15.10.2015).

¹⁹ *Русский язык: энциклопедия*, под ред. Ю.Н. Караулова, Москва 2003.

В связи с разнообразными определениями *обмана*, проведение анализа семантического пространства лексемы, именующей избранный концепт, предполагает применение синтезирующего подхода, цель которого — обобщить все семантические признаки. Благодаря этому становится возможным получение более детальной семантической характеристики главной лексемы — имени концепта. Ссылаясь на лексикографические источники, можно выделить следующие семы:

- 1) неправильность, несоответствие (действительности, истине),
- 2) искажение (действительности, истины),
- 3) действие и его характер (намеренное, сознательное, вводящее в заблуждение, вербальное),
- 4) характер обмана (неправда, ложь, иллюзия),
- 5) отрицательный характер действия (нанесение вреда кому-то).

Принимая во внимание воплощение отдельных признаков в семантике языковых единиц, объективирующих концепт ОБМАН в русском языке, можно предполагать, что к ядру концепта принадлежит не только существительное *обман*, но также лексемы *ложь*, *неправда*, а также основные глаголы, обозначающие действие или деятельность, т. е. *лгать (солгать)*, *обманывать (обмануть)*.

В русском языке слово *обман* является многозначным, и поэтому на его основе трудно выразить обобщенное прототипическое представление о соответствующем концепте.

Формирование концепта происходит вокруг центральной его единицы, постепенно обвалакивающейся другими номинантами. По мере удаления от ядра происходит постепенное затухание ассоциаций — данная часть концепта образует периферию (интерпретационное поле), т. е. совокупность языковых единиц, отражающих воплощение отдельных концептуальных признаков, вытекающих из содержания концепта. Архитектонику периферии можно разделить на два слоя:

- ближнюю периферию,
- дальнюю периферию.

Ближний слой периферии охватывает дифференцированные по своей семантике языковые единицы. Ключевая лексема — существительное *обман*, составляющая ядро концепта, соотносится с рядом синонимических единиц, группирующихся и обвалакивающих вокруг нее. Синонимический ряд обуславливается доминантой — лексемой, которая имеет наиболее общее в данном ряду значение, является наиболее употребительной²⁰. В некоторых случаях значение доминанты полностью входит в значение всех остальных элементов ряда. Синонимы от-

²⁰ Ю.Д. Апресян, *Избранные труды*, т. II: *Интегральное описание языка и системная лексикография*, Москва 1995, с. 306.

личаются семантическим своеобразием, т. е. включают признаки (компоненты), отсутствующие в семантической структуре других языковых единиц. В русском языке синонимическая парадигма, образующая ближнюю часть периферии концепта СТРАХ, охватывает следующие слова: *блеф, брехня, вранье, выдумка, вымысел, двуличие, дезинформация, фабрикация, фальсификация, фальшив, фикция, инсинуация, лжесвидетельство, лицемерие, маскарад, симуляция.*

Кроме своеобразных видов или форм проявления обмана, данная часть архитектоники концепта охватывает дифференцированные по своей семантике языковые единицы, напр.:

- лексемы, указывающие на обман как абстрактное понятие: *двуличность, лживость, лицемерность, ложность, мошенничество, неискренность, нечестность, обманчивость, притворность, фальшивость, позерство, хитрость, шарлатанство;*

- названия лиц (субъектов), производящих действие (вербальное или невербальное): *врун, врунишка, брехун, дезинформатор, клеветник, лгун, лжец, лжесвидетель, лицемер, махинатор, мистификатор, мошенник, обманщик, позер, притворщик, фальсификатор, шарлатан, шулер;*

- лексемы, обозначающие проявления обмана в виде того или иного поступка, действия: *инсценировка, махинация, мистификация, подделка, фарс;*

- имена прилагательные, образованные от ядерных и периферийных единиц номинативного пространства концепта: *жульнический, клеветнический, лживый, лжесвидетельский, лицемерный, ложный, мошеннический, неискренний, нечестный, фальшивый;*

- лексемы, выражающие только речевое действие: *брехать, врать, говорить неправду, говорить ложь, дезинформировать, лгать, лжесвидетельствовать;*

- лексемы, выражающие неречевое действие: *двоедушничать, двуличничать, дурачить, жулить, жульничать, лукавить, лукавствовать, мистифицировать, мошенничать, мухлевать, надувать, обдурять, обжуливать, оболванивать, одурачивать, подводить, подделывать, фальшивить.*

Приведенные единицы, составляющие ближнюю периферию структуры концепта, не исчерпывают его объема. Значительную часть в структуре эмоционального концепта ОБМАН занимает дальний слой периферии. Данная часть периферии формируется по мере „погружения“ концепта в русскоязычную культурную среду, благодаря чему объем концепта поплоняется дополнительными когнитивными характеристиками.

Но основе проведенного анализа языковые средства, составляющие дальнюю часть периферии, можно разделить на несколько групп:

• глаголы с пограничным значением, т. е. интенция обмана наблюдается только в определенном контексте, напр.:

- *болтать* (в значении 'распространять слухи');
- *вуалировать* ('прикрывать, покрывать вуалью');
- *выдумывать* ('измышлять что-либо, не соответствующее действительности');
- *извращать* ('представлять что-либо в неправильном виде');
- *инсинуировать* ('распространять злостные вымыслы');
- *инсценировать* ('заведомо обманывая, вводя в заблуждение, устраивать подобие чего-либо');
- *искажать* ('портить, обезобразивать');
- *наговаривать* ('сообщать, насказывать что-нибудь');
- *перевирать* ('пересказывать, передавать неверно, с искажениями, ошибками');
- *придумывать* ('выдумывать то, чего не было, нет');
- *притворяться* ('представляться каким-либо, кем-либо, принимать на себя какой-либо вид с целью ввести в обман');
- *распространять* ('делать известным, доступным многим, доводить до сведения многих');
- *рассказывать* ('описывать, излагать');
- *фантазировать* ('выдумывать то, чего не было, нет') и др.

В семантической структуре данных лексем наблюдается потенциальность развития значений обмана. К периферийной зоне принадлежат также пословицы, поговорки и фразеологизмы, отражающие отношение русскоязычного социума к обману, напр.:

- пословицы, поговорки:
 - *Лучше умереть, чем неправду терпеть;*
 - *Меньше врется – спокойнее живется;*
 - *Кто лжет, тот и крадет;*
 - *Живи не ложью – будет по-Божью;*
 - *На обмане далеко не уедешь;*
 - *У лжи короткие ноги;*
 - *Умная ложь лучше глупой правды;*
 - *Правду говорить – себе досолить;*
 - *Поддеть на удочку;*
 - *Где обман, там правды нет;*
 - *Кто сегодня обманет, тому завтра не поверят;*
 - *Обманом много не наторгуешь;*
 - *С обманщиком не дружи;*
 - *Обманом не разбогатеешь, а обеднеешь;*
 - *Молодому лгать вредно, старому непотребно;*
 - *Где лукавство, тут и обман;*

- *Кто неправдой живет, того бог убьет;*
- *Ложь свидетельства не требует;*
- *Правда лжи не любит;*
- *Правда любит свет, ложь – тьму;*
- *Сладкая ложь лучше горькой правды и др.;*

• фразеологизмы:

- *бабы сказки;*
- *вводить (ввести) в дураки;*
- *водить за нос;*
- *волк в овечьей шкуре;*
- *проводить, провести за нос;*
- *втирать очки;*
- *дурить, морочить голову кому-либо;*
- *заморочить, запудрить мозги;*
- *заливать глаза кому-либо;*
- *кривить душой, совестью;*
- *ломать комедию;*
- *обводить вокруг пальца;*
- *нести вздор (ерунду, чепуху, галиматю) и др.*

В данных пословицах и поговорках наиболее ярко и полно выражается отношение (прежде всего отрицательное) носителей русского языка к рассматриваемому нами концепту, напр. подразумевается наказание за обманные действия, обращается внимание на их возможную очевидность.

Проведенный анализ показывает, что концепт ОБМАН объективируется посредством значительного количества разных языковых единиц. С помощью приведенного языкового материала представлен специфичный портрет рассмотренного концепта. Ядро и периферия не имеют четких границ. Ядро по своему объему значительно меньше, чем, например, ближняя или дальняя зона периферии. В структуре крайнего шара периферии отмечены слова, отсылающие к номинативным пространствам других концептов. Это подтверждает факт о неизоллированности концепта ОБМАН и тесной его связи с другими ментальными структурами представления знаний. Результаты лингвокогнитивной архитектуры концепта ОБМАН позволяют сделать вывод о его корреляции с такими ментальными структурами, как:

- концепт РАБОТА,
- концепт ЭМОЦИИ,
- концепт ВЛАСТЬ,
- концепт РЕЛИГИЯ,
- концепт ЦВЕТ,
- концепт МОРАЛЬНОСТЬ и др.

Обман представляет собой явление, тесно взаимосвязанное с другими сферами человеческой жизни. Результаты, полученные в ходе настоящего исследования, позволяют, например, наметить перспективы дальнейшего рассмотрения проблем вербализации концепта ОБМАН в языке современных СМИ. Обращение к материалам публицистики дает возможность интерпретировать компоненты концепта, так как, по словам З.Д. Попова и И.А. Стернина,

[...] первоначальный (прототипический) образ, в процессе познавательной деятельности индивида, приобретает в его сознании новые концептуальные уровни, обволакивается новыми концептуальными слоями, что увеличивает объем концепта и насыщает его содержание²¹.

В этом контексте дальнейшее изучение концепта ОБМАН представляет несомненную научную ценность и практическую значимость.

Библиография

- А п р е с я н Ю.Д., *Избранные труды*, т. II: *Интегральное описание языка и системная лексикография*, Москва 1995.
- А п р е с я н Ю.Д., *Лексическая семантика. Синонимические средства языка*, Москва 1974.
- Б а б у ш к и н А.П., *Типы концептов в лексико-семантической системе языка*, Воронеж 1996.
- Большой толковый словарь русского языка*, под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург 2002.
- Г у м б о л ь д т фон В., *Избранные труды по языкознанию*, Москва 1984.
- К о с м е д а Т.А., *Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера СВЯТКИ в українському мовному просторі*, Львів 2000.
- М а с л о в а В.А., *Когнитивная лингвистика. Учебное пособие*, Минск 2004.
- П о п о в а З.Д., С т е р н и н И.А., *Когнитивная лингвистика*, [в:] электронный ресурс: <http://zinkir.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/osnovnye-cherty-semantiko/> (17.10.2015).
- П о п о в а З.Д., С т е р н и н И.А., *Очерки по когнитивной лингвистике*, Воронеж 2001.
- Русский язык: энциклопедия*, под ред. Ю.Н. Караулова, Москва 2003.
- Словарь русского языка в 4 тт.*, под ред. А.П. Евгеньевой, т. 2, Москва 1983.
- Словарь сочетаемости слов русского языка*, под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина, Москва 1983.
- Современный толковый словарь русского языка*, под ред. Т.Ф. Ефремовой, [в:] электронный ресурс: <http://www.efremova.info/word/obman.html#.ViDsTX7hDrc> (15.10.2015).

²¹ З.Д. П о п о в а, И.А. С т е р н и н, *Очерки по когнитивной лингвистике*, Воронеж 2001, с. 71.

Толковый словарь русского языка, под ред. С.М. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва 1994.

Толковый словарь русского языка, в 4 т., под ред. Д.Н. Ушакова, Москва 1940.

Х а р и т о н ч и к З.А., *Способы концептуальной организации знаний в лексике*, [В:] *Язык и структуры представления знаний. Сборник научно-аналитических обзоров*, Москва 1992.

Grzegorzyczkowa R., *Teoretyczne i metodologiczne problemy semantyki w perspektywie tzw. kognitywnej teorii języka*, [В:] *Studia semantyczne*, pod red. R. Grzegorzyczkowej, Z. Zaron, Warszawa 1993.

К е р а - F i g u r a D., *Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu „ptak”*, Lublin 2007.

ВЫРАЖЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НОГАМИ / GŁOSOWAĆ NOGAMI
В СОВРЕМЕННЫХ РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ

THE PHRASE ГОЛОСОВАТЬ НОГАМИ / GŁOSOWAĆ NOGAMI
IN CONTEMPORARY RUSSIAN AND POLISH

JOLANTA MITURSKA-BOJANOWSKA
JOLANTA IGNATOWICZ-SKOWROŃSKA

ABSTRACT. Since the end of the 20th century, in the Russian and Polish language the phrase *голосовать ногами* / *głosować nogami* has broadened its usage and its meaning in both languages. This refers to the primal Latin phrase *pedibus in sententiam ire*. Its popularity could be related to the influence of the English idiom *vote with your feet*.

Jolanta Miturska-Bojanowska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin – Polska, jmb@ps.pl
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin – Polska, skj2@poczta.onet.pl

В начале XXI века в современных русском и польском языках, особенно в текстах СМИ, активно используется выражение (*про*)голосовать ногами, голосование ногами / *głosować nogami*, *głosowanie nogami*, восходящее к латинской фраземе *pedibus in sententiam ire* (буквально „идти ногами (к тому или иному) мнению”)¹. Эта фразема встречается у римских авторов (Тит Ливий и др.) в значении ‘голосовать (в сенате) путем перехода на ту или другую сторону’ [Душенко 2006: 599, Kalinkowski 1997: 178.]. Таким образом в Древнем Риме сенаторы при голосовании расходились по группам единомышленников, молча выражая свое мнение.

Как утверждает К.В. Душенко [Душенко 2006: 599], в России эта фразема впервые появилась в начале XX века во время Первой мировой войны. Выражение *голосовать ногами* в 1917 году употреблялось в значении ‘дезертировать с фронта’².

¹ Выражение *голосовать ногами* функционирует и в других языках, ср. англ. *vote with one's feet* (в США им широко пользовался президент Рейган); нем. *mit den Fuessen abstimmen*; *Abstimmung mit den Fuessen*, чеш. *hlasovat nohami*, словац. *hlasovat nohami*.

² На сайте Wikipedia автор статьи *голосовать ногами* пишет:

В России термин *голосовать ногами* популяризировал В.И. Ленин, когда описывал массовый уход с восточного фронта Первой мировой войны солдат Российской империи в 1918 году как их голос в пользу мира с Германией.

Во время холодной войны и функционирования „железного занавеса” выражение служит как орудие политической пропаганды коммунистов и применяется в значении ‘бежать в другую страну’. В *Словаре современных цитат* К.В. Душенко приводит заглавие статьи О. Енакиева *Они голосуют ногами*, опубликованной в „Известиях” 25 июля 1959 г., в которой автор пишет о переходе жителей ФРГ в ГДР (sic!) [Душенко 2006: 599].

Однако лексиконы русского языка стали фиксировать это выражение лишь с 80-х гг. минувшего столетия. Так, словарь неологизмов *Новое в русской лексике. Словарные материалы-80* (НРЛ-80) приводит словосочетание *голосование ногами* в значении ‘отказ от участия в выборах (в капиталистических странах)’ [НРЛ-80 1984: 54]. Прошло несколько лет и *Новые слова и значения-80* приводят *голосовать ногами* в следующих значениях: (1) ‘отказаться от участия в выборах’, (2) ‘уходить, уезжать откуда-л., не являться куда-л. в знак негативной оценки кого-, чего-л.’ [НСЗ-80 1997: 156]. Следует обратить внимание на то, что в словарных материалах нет уже оговорки, что выражение применяется лишь по отношению к капстранам³.

Толковый словарь русского языка начала XXI века (ТСРЯ)⁴ фиксирует это выражение в трех значениях: *голосовать ногами*₁ ‘игнорировать какое-л. событие, мероприятие, не являясь на него’, *голосовать ногами*₂ ‘покидать организацию, мероприятие и т. п. в знак протеста, несогласия, неприятия’, *голосовать ногами*₃ ‘делать выбор из нескольких возможных вариантов, приходя в одно определенное место, а не в другое, либо уходя из одного определенного места, организации и т. п. в другое’, соответственно иллюстрируя их следующими примерами:

(1) „Весь год народ *голосовал*. Но довольно оригинально. Не совестью, не разумом, не, в конце концов, руками, а — *ногами*”⁵.

(2) „Тех, кто запустил в прокат сомнительную американскую киноленту «После битвы землян», не смутило то, что американские зрители *голосовали* против него *ногами*, покидая зал через 10–15 минут после начала показа”.

(3) „Говорят, студент *голосует ногами*. Если его интересует результат, он уходит от плохого преподавателя к хорошему, от хорошего — к лучшему...” [ТСРЯ 2006: 253].

³ В начале 90-х гг. в русском языке появляется калька англ. выражения *vote with someone's wallet* — *голосовать кошельком* (разг.) ‘делать выбор, исходя из финансовой выгоды’ [НСЗ 2009: 403, НРЛ-93 2008: 82].

⁴ *Большой толковый словарь* (БТС) не отмечает этого словосочетания. Зато находим в нем антонимическое выражение *голосовать обеими руками за что-л.* ‘активно, безоговорочно поддерживать что-л.’ [БТС 2003: 216].

⁵ Курсив и жирный шрифт вводятся авторами статьи — Й. М.-Б. и Й. И.-С.

В начале XXI столетия выражение *голосовать ногами* в значении 'отказаться от участия в голосовании на выборах' очень активно используется российскими журналистами (1–5):

(1) „Логично будет предположить, что следующим шагом законодателей станет предельное снижение процента явки избирателей на выборы, ибо кандидат «против всех» с каждым выборами набирал очки. «Противные» избиратели, скорее всего, из вредности будут просто портить бюллетени или *голосовать ногами*” [„Российская газета”, 25.10.2006, <http://www.rg.ru/2006/10/25/vybory-zakon.html>].

(2) „«Чубайс решил *проголосовать ногами*» [заглавие статьи] Глава Роснано Анатолий Чубайс решил не идти на выборы. По его мнению, голосовать сейчас просто не за кого. Об этом он рассказал в своем блоге. Пост был опубликован в субботу, 26 ноября” [<http://www.utro.ru/articles/2011/11/27/1013214.shtml>].

(3) „Калужский омбудсмен призвал земляков *не голосовать «ногами»* [заглавие статьи] Призываю всех граждан — жителей Калужской области прийти 4 декабря на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор. Не позволяйте это сделать другим. *Голосовать ногами — не по-русски!*” [<http://xn--c1adwdmv.xn--p1ai/news/fd-central/kaluga/1473439.html>].

(4) „«Заставляют *голосовать ногами*» [заглавие статьи, „Ведомости”, 3.11.2011] Нерегистрация независимого кандидата из-за якобы неправильно оформленных подписей — широко распространенная в России практика недопущения неугодных людей к участию в выборах, и в этом смысле случай Волкова не уникальный. Но для известного екатеринбургского блогера и его команды победа в суде — дело принципа. В споре о стратегии поведения 4 декабря он агитировал за «метод Навального» — непременно участие в выборах и голосование за любую другую партию, кроме «Единой России». Большинство его соратников по Партии народной свободы, руководителем регионального отделения которой он является, агитируют за порчу бюллетеней. Отказ в регистрации — а если в понедельник областной суд подтвердит решение ТИК, у Волкова в запасе останется верховный, — будет лишним подтверждением тезиса о бессмысленности участия в играх с системой” [http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1411076/porcha_vyborov].

(5) „*Голосование ногами*” [заглавие статьи] „Молдавия входит в новый виток политического кризиса. Референдум, проведенный с намерением изменить Конституцию и вернуться к прямым выборам президента, признан несостоявшимся. В нем приняли участие менее 30 процентов граждан, а это ниже минимальной явки” [<http://www.politcom.ru/10681.html> (07.09.2010)].

Нежелание мириться с политической ситуацией в стране, отказ от участия в выборах, всему этому неоднократно сопутствует эмиграция, особенно молодого поколения (6–10):

(6) „Западные СМИ: «Русские *голосуют ногами* и уезжают за границу» [заглавие статьи] Западные СМИ оказались единодушными в оценке политической ситуации в России. Россия сталкивается с длительным периодом политической и экономической стагнации, пишет британская газета The Guardian, отмечая, что все чаще эра Путина напоминает СССР при Леониде Брежневем, «еще один долгий период авторитарного правления», отмечает издание. «Все больше талантливых русских *голосуют ногами* и уезжают за границу», — пишет газета” [http://www.rbcdaily.ru/2011/09/26/focus/562949981587544 (26.09.2011)].

(7) „Если украинцы и дальше будут *голосовать ногами*», для реформ может не хватить кадров. Такую точку зрения выразил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гавриличко во время пресс-конференции в информагентстве ГолосUA. Вариант *«голосования ногами»* — миграция, вымывание пассионариев из системы — будет происходить. Если человек садится и считает, что надо сделать, чтобы лично ему стало лучше, и сравнивает с теми усилиями, которые ему надо приложить в другом месте, видит, что там это легче — он уходит туда, где легче», — сказал он” [http://www.golosua.com/main/article/politika/20110520_esli-ukraintsi-i-dalshe-budut-golosovat-nogami-dlya-reform-ne-hvatit-kadrov-ekspert (20.05.2011)].

(8) „*«Голосование ногами»* — так российские социологи оценивают желание многих россиян переехать на ПМЖ за границу. Почти сорок процентов молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, по данным ВЦИОМ, хотят покинуть страну” [http://inosmi.ru/social/20110729/172653853.html (29.07.2011)].

(9) „По оценке Федорова, в сухом остатке к активной эмиграции готов «примерно каждый десятый» — и это тоже много. Особенно если учесть, что *«голосовать ногами»* больше склонны молодые — будущее и генофонд нации. Впрочем, гендиректор ВЦИОМ отмечает, что это общемировой тренд: «Везде эмигранты молодые — и в Польше, и в Судане. Престарелых скорее выписывают к себе дети, а самостоятельно уезжают молодые, легкие на подъем, энергичные»” [http://www.mn.ru/politics/20110928/305281002.html (28.09.2011)].

(10) „«Путинские выборы: Русские *голосуют ногами»* [заглавие статьи] Американская газета The Los Angeles Times рассказала в статье «Русские толпами покидают страну» (Russians are leaving the country in droves) о начавшемся в России первом туре путинских «выборов» и привела фото огромной толпы русских, осаждающих посольство США в Москве [...]” [http://www.shamilonline.org/ru/2010-07-02-17-37-12/2010-07-02-17-37-12/7897-2011-11-15-12-14-53.html].

В российских СМИ выражение *голосовать ногами* используется также в ситуациях, когда речь идет об уходе бизнеса из России, напр.: (11) „Бизнес начал *голосовать* против России *ногами*, то есть убежать отсюда” [<http://www.alebedev.ru/media/8233.html>].

Выражение *голосовать ногами* применяется и в таких контекстах, когда речь идет о парламенте, в котором голосующие покидают парламент в знак протеста, негодования, несогласия с принятым решением. Ср.: (12) „Приморская оппозиция готова *голосовать ногами* – по примеру депутатов Госдумы [заглавие статьи, *Ежедневные новости Владивостока*, 15 октября 2009 г.]; Однако сторонники действующей власти считают такую политику бегством от реальности. Сразу три думские фракции из четырех – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – демонстративно покинули зал заседаний Государственной думы. Подобного не случалось в парламенте РФ с 2000 года. Таким образом депутаты выразили протест итогам единого дня голосования 11 октября, сообщает «Коммерсантъ» [...] Если ранее в Приморском крае оппозиция довольно часто практиковала «*голосование ногами*», то теперь такие случаи сравнительно редки” [<http://novostivl.ru/forum/msg/8834.htm#>].

Постепенно фразеологизм *голосовать ногами* в значении ‘голосовать’ (на «да» или на «нет») начинает „выходить” за пределы политики, парламента и относиться к любой сфере жизни – конкурсам на наилучшую компанию (13–14, 16), к произведениям искусства (15), спортивным зрелищам и т. п. (кинозритель «голосует ногами – не ходит»). Проиллюстрируем это некоторыми цитатами:

(13) „По итогам первого этапа конкурса – потребительского голосования – в каждой номинации осталось всего 10 компаний. Это значит, что за них с 20 мая по 26 октября 2011 года проголосовало наибольшее число посетителей сайта stroyproblema.ru и сайта организатора конкурса Большого Сервера Недвижимости bsn.ru. В голосовании приняли участие в совокупности более двух с половиной тысяч человек. Именно они, выбрав ту или иную компанию, «*проголосовали ногами*», то есть – пришли туда, где получили исчерпывающую информацию и необходимый сервис” [„Комсомольская правда” 25.11.2011; <http://spb.kp.ru/online/news/1010122/>].

(14) „Наконец, еще одно, последнее средство, имеющееся в распоряжении работников, – это «*голосование ногами*», когда ответом на систематические нарушения законов и контрактов оказывается уход с предприятия” [Ростислав Капелюшников. Пластичная модель: „Отечественные записки” 2003; www.ruscorpora.ru].

(15) „Тут были и устные выступления зрителей, и зрительские письма, и «*голосование ногами*», и «почти пустой зал» на одном фильме,

тогда как другой «идет с аншлагом...» [Хрисанф Херсонский. «Кардиограмма» зрительного зала// „Советский экран” 1964; www.ruscorpora.ru].

(16) „Туристы *голосуют ногами*” [http://www.ves.lv/article/196837].

Судя по приведенным примерам, в современной русскоязычной публицистике выражение *голосовать ногами* функционирует в значении ‘выражать свое мнение (также протест), давать оценку кому-, чему-л.’

Выражение *głosować / zagłosować nogami* довольно часто применяется и в современной польской публицистике. В такой форме отмечают это выражение лексиконы польского языка⁶. Подобно как в русском языке, оно фиксируется лексикографами лишь в конце XX века. Впервые фраза отмечается словарем под ред. С. Калинковского (1997 г.), в котором указывается, что она эквивалентна латинскому выражению *pedibus in sententiam ire*⁷. Очередная фиксация выражения появляется в монографии *Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985–1992* под ред. Т. Смулковой, вышедшей в 1998 г. (далее NSP)⁸. Оно определяется как *разговорное* и объясняется следующим образом: ‘*wyrażać poprzez obecność lub nieobecność swój stosunek do czegoś, np. do wyborów*’. В качестве иллюстрации приводится следующий пример из журнала „Polityka” за 1990:

(17) „Niszczono nas z rozmysłem i kompleksowo – rezultaty są dziś widoczne jak na dłoni. – Publiczność jakby tego nie zauważała – *głosuje* za Taganką *nogami*, podczas gdy w „Sowriemienniku” i innych teatrach są kłopoty z zapelnieniem widowni”⁹.

Анализируемое нами выражение фиксируется еще и двумя словарями: *Skrzydlate słowa* Г. Маркевича и А. Романовского (второе издание; 2005 г.)¹⁰ и *Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego* П. Мильднера-Нецковского (WSF-MN)¹¹. По мнению авторов первого из лексиконов, выражение *głosować nogami* восходит к латинскому выражению *pedibus*

⁶ Эта часть статьи является сокращением публикации: J. Ignatowicz-Skowrońska, *O aktualizacji zwrotu „głosować / zagłosować nogami” w tekstach współczesnej polszczyzny*, [в:] *HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций*, под ред. К. Янашек, Й. Митурской-Бояновской, Р. Гаваркевича, Щецин 2012, с. 53–57.

⁷ S. K a l i n k o w s k i, *Aurea dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia*, Warszawa 1997, с. 178.

⁸ Ср.: *Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985–1992*, под ред. Т. Смólkovej, cz. I: A–O, Kraków 1998.

⁹ *Ibidem*, с. 183.

¹⁰ Ср.: H. M a r k i e w i c z, A. R o m a n o w s k i, *Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych*, Kraków 2005. В первом издании (H. M a r k i e w i c z, A. R o m a n o w s k i, *Skrzydlate słowa*, Warszawa 1990) выражение *głosować nogami* отсутствует.

¹¹ P. M ü l d n e r - N i e c k o w s k i, *Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego*, Warszawa 2003.

in sententiam ire, автором которого является Сенека¹². В свою очередь в работе Р. Мильднера-Нецковского выражение *głosować nogami* фиксируется с пометой *публицистическое*. Автор приписывает ему два значения, иллюстрируя их собственными примерами, ср.: 1. 'wyrażać opinię przez obecność w jakimś miejscu' (выражать свое мнение, присутствуя в каком-н. месте): „Niektórzy członkowie sądu konkursowego twierdzili, że ten film jest do niczego, a jednak ludzie *zagłosowali nogami* i wypełniając salę kinową po brzegi, zmusili jurorów do zmiany werdyktu”. 2. 'tupać, sprzeciwić się' (шевелия ногами, сопротивляться): „Młodzież nie mogła słuchać tych bredni i zaczęła *głosować nogami*, przerywając przemowę dyrektora bursy”¹³.

Приведенные примеры показывают, что польское выражение *głosować/zagłosować nogami* является новой фразеологической единицей, которая формально соотносится с латинской конструкцией *pedibus in sententiam ire*. При этом, как отмечают словари, она полисемична. В словарях фиксируются три значения, при чем два из них передают довольно близкие (сходные) значения, ср. 'wyrażać poprzez obecność lub nieobecność swój stosunek do czegoś, np. do wyborów' (NSP) и 'wyrażać opinię przez obecność w jakimś miejscu' (WSF-MN). По-нашему, это не два значения, но оттенки одного и того же значения. Третье значение, фиксируемое словарем П. Мильднера-Нецковского, 'tupać, sprzeciwić się' передает совсем новое значение выражения.

Перед нами встает вопрос: является ли анализируемое выражение многозначным в современном польском языке, а также можно ли его считать калькой латинской конструкции? Анализ текстов, находящихся в интернетовых ресурсах „Gazety Wyborczej” и „Rzeczpospolitej”, не подтверждает полисемичности фраземы. Выражение *głosować / zagłosować nogami*, появляясь в разных контекстах, передает различное поведение людей, связанное, например, с уходом, уездом из какого-н. места, отсутствием где-н., присутствием или отсутствием на занятиях, мероприятиях. Такое поведение служит средством выражения оценки (положительной или отрицательной), мнения, протеста. Кажется, что все-таки фразеологизм *głosować nogami* в современных публицистических текстах функционирует как моносемная единица и передает общее значение 'wyrażać za pomocą określonego działania swój pozytywny lub negatywny stosunek do czegoś' (передавать свое положительное или отрицательное отношение к чему-л. с помощью определенного способа поведения). Такое значение реализуется в следующих контекстах:

¹² H. Markiewicz, A. Romanowski, *Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów...*, указ. соч., с. 369.

¹³ P. Müldner-Nieckowski, *Wielki słownik frazeologiczny...*, указ. соч., с. 454.

(18) „W czwartek i piątek ukraiński parlament *głosował nogami*. Podczas omawiania przedterminowych wyborów do parlamentu, czego żądali studenci, którzy przez trzy tygodnie strajkowali w namiotowym miasteczku w centrum Kijowa, zabrakło quorum. Piątkowe posiedzenie w ogóle się nie odbyło. Po gmachu Rady Najwyższej snuło się zaledwie 60 zdumionych deputowanych demokratycznych z 400-osobowego składu. Wieczorem, w siąpiącym deszczu, studenci zaczęli zwijać swe namioty, ustępując pod naciskiem sojuszników z opozycji” („Gazeta Wyborcza” nr 251, wydanie z dnia 24/10/1992, c. 6).

(19) „Mając na względzie maturę i egzaminy na studia, pragną specjalizacji. Chcą uczyć się tego, co się im przyda. Nie mając innych sposobów, *głosują nogami*: przestają chodzić na przedmioty niepotrzebne, zwłaszcza gdy są wykładane na poziomie akademickim. Nauczyciele zaczynają wówczas łamać sobie głowy nad problemem frekwencji, tymczasem młody człowiek chodzi na zajęcia wybiórczo. Dezorganizuje to życie szkoły, a co gorsza – również jego życie” („Gazeta Wyborcza” nr 199, wydanie z dnia 27/08/1994, c. 8).

(20) „A jednak kolejne podobne programy w telewizjach komercyjnych są coraz bardziej drastyczne, a publiczność *głosuje nogami*, wybierając «Łysych i blondynki» wbrew niesmakowi i obawom najbardziej szanowanych pisarzy czy reżyserów” (poniedziałek, 31 grudnia 2001, wydanie: 2507, strona: XI autor: Piotr Zaremba dział: Archiwum „Rzeczpospolita”).

(21) „W jego opinii inwestorom pozostaje np. *głosowanie nogami*, czyli niekupowanie akcji takiej spółki, albo np. sprzedaż akcji na giełdzie” (piątek, 15 lipiec 1994, wydanie: 218, strona: XI autor: Tomasz Świderek dział: Archiwum „Rzeczpospolita”).

Сомнительным кажется также влияние латинского выражения *pedibus in sententiam ire* на активизацию в современном польском языке выражения *głosować nogami*. Правда, латинское выражение имеет долгую традицию в польском языке, однако до 1989 г. оно функционировало лишь в том же значении, что и в языке-источнике. Возможно, что распространение выражения в современной публицистике связано с влиянием английского языка¹⁴, в котором функционирует выражение *vote with your feet* ‘уходя из какого-н. места, игнорируя какое-н. событие, выразить свое мнение на тему места, события’. По всей вероятности, польское выражение является калькой английской фраземы, которая восходит к латинской конструкции¹⁵.

¹⁴ Ср., напр.: A. W i t a l i s z, *Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem*, Kraków 2007.

¹⁵ Ср.: Collins COBUILD, *Idioms Dictionary*, London 2007, c. 132.

Итак, в обоих языках в начале XXI столетия активно применяется выражение *голосовать ногами/głosować nogami*, восходящее к латинскому *pedibus in sententiam ire*. Первоначально оно передавало значение 'отказ от участия в выборах'¹⁶. Под влиянием английского языка эта конструкция постепенно начинает применяться и в других (не политических) контекстах. В результате она обрастает новыми значениями: 'давать оценку кому-, чему-л., выражать свое мнение, присутствуя или игнорируя какие-н. события, мероприятия, делать выбор'¹⁷.

Библиография

- БТС – *Большой толковый словарь русского языка*, под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург 2003.
- Д у ш е н к о К.В., *Словарь современных цитат*, Москва 2006.
- НСЗ-80 – *Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 80-х гг.*, под ред. Н.А. Левашова, ч. 1, Санкт-Петербург 1997.
- НСЗ-90 – *Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х гг.*, под ред. Т.Н. Буцевой, Н.А. Левашова, т. I, Санкт-Петербург 2009.
- НРЛ-80 – *Новое в русской лексике. Словарные материалы-80*, под ред. Н.З. Котеловой, Москва 1984.
- НРЛ-93 – *Новое в русской лексике. Словарные материалы-93*, под ред. Т.Н. Буцевой, Санкт-Петербург 2008.
- ТСРЯ – *Толковый словарь русского языка начала XXI века*, под ред. Г.Н. Складчиковой, Москва 2006.
- Collins COBUILD, *Idioms Dictionary*, London 2007.
- I g n a t o w i c z - S k o w r o Ń s k a J., *O aktualizacji zwrotu „głosować / zagłosować nogami” w tekstach współczesnej polszczyzny*, [в:] *HOMO COMMUNICANS: человек в пространстве межкультурных коммуникаций*, под ред. К. Янашек, Й. Митурской-Бояновской, Р. Гаваркевича, Щецин 2012.
- K a l i n k o w s k i S., *Aurea dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia*, Warszawa 1997.
- M a r k i e w i c z H., R o m a n o w s k i A., *Skrzydlate słowa*, Warszawa 1990.

¹⁶ Ср. также употребление выражения в русском языке в начале XX века в значении 'дезертировать с фронта', которое не встречается в текстах современных СМИ.

¹⁷ В современных российских СМИ нам не удалось найти контекстов, в которых реализовалось бы значение, свойственное польскому языку: 'tupać, sprzeciwić się' ('шевелить ногами, сопротивляться').

Markiewicz H., Romanowski A., *Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych*, Kraków 2005.

NSP – *Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1985–1992*, pod red. T. Smólkowej, cz. I: A–O, Kraków 1998.

Witalisz A., *Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem*, Kraków 2007.

WSF-MN – Müldner-Nieckowski P., *Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego*, Warszawa 2003.

ТРАНСПАРЕНТНЫЙ БЕЛЫЙ – РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЕМАНТИКЕ

THE TRANSPARENT БЕЛЫЙ: A DISCUSSION ON SEMANTICS

ANDRZEJ NARLOCH

ABSTRACT. The article describes the semantic structure of the adjective “white” in the Russian language. The author bases his analysis on R. Tokarski’s theory of two meanings of the colour white. The article formulates a hypothesis on the existence of so-called ‘transparent whiteness’. His analysis uses lexicographical data taken from contemporary Russian dictionaries as well as historical data.

Andrzej Narloch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
endrisz@amu.edu.pl

В настоящее время лексика цвета является объектом интереса многих научных дисциплин и сфер человеческой деятельности. Цвет играет исключительную роль в культуре и обществе. Важная роль, которая приписывается этому семиотическому знаку, вытекает из его различных функций в культурном пространстве¹. В социальном пространстве цвет взаимодействует с обществом. Характер этого взаимодействия отражается на социальной, религиозной, личностной и других плоскостях. С помощью цвета неоднократно наступает регулирование общественных процессов и явлений, а также само развитие человека. Социальное пространство цвета, в котором реализуются основные функции цвета, связано сетью многоуровневых отношений с другими семиотическими системами – языком, изображением, звуком.

На межкультурном и межъязыковом уровнях различия между отдельными языковыми обществами отчетливо выявляют особенности мышления, материальной культуры и языковую концептуализацию окружающей действительности через призму цвета. Языковые различия в систематизации лексики цвета вызваны разными способами организации зрительно воспринимаемых значимых элементов. Выражаемые этими элементами значения складываются в некую единую, коллективную систему, присущую данному языку. Такая организация семио-

¹ Цвет выполняет различные функции, напр.: информационную, символическую, интегрирующую, коммуникативную, эстетическую, воздействующую и др. См.: К. Ю - р е к, *Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze*, „Kultura – Media – Teologia” 2011, nr 6, с. 68–80.

тически значимых структур отчасти универсальна, отчасти национально отмечена. По мнению К. Вашакowej, цветообозначения становятся хорошим примером семантической языковой типологии, свидетельствуют о разных способах концептуализации мира отдельными языками².

В настоящей статье предпринята попытка представить семантическую структуру прилагательного *белый* в русском языке. Центральным и исходным пунктом анализа становится представленное Р. Токарским деление *белого* на два типа — *белый квантитативный* (польск. *biel kwantytatywna*) и *белый квалитативный* (польск. *biel kwalitatywna*)³.

Сначала несколько замечаний по семантике цветообозначения *белый*. В сознании человека значение слова предстоит не как структурированный набор определенных семантических признаков, а как единое понятийное целое. Совокупность понятийных „кусочков“ образует коллективное языковое сознание. Какова будет реакция человека именно на стимул *БЕЛЫЙ*? У каждого информанта может формироваться различная сетка „кусочков“ значения, ассоциаций, понятий, лучших носителей данного признака. Конечно, у многих информантов эти сетки отчасти будут совпадать. Связь признака с его конкретным носителем образует его цветовой образец, или прототип. Прототипом-инвариантом прилагательного *белый*, что подтверждают современные словари русского языка, является *снег*. Как полагает О.А. Михайлова,

Современные толковые словари, хотя и не вполне последовательно, фиксируют [...] именно прототипическое значение, так как они реализуют антропоморфный принцип организации материала и предназначены отразить то представление о мире, которое характерно для среднего интеллигентного носителя языка. Этим объясняется наличие в словарной дефиниции не только фрагмента, семантизирующего признаки понятия, но также и другого фрагмента, отражающего „прототипические признаки“ денотата⁴.

Сосредоточимся на прототипах изучаемого цветообозначения. Чтобы ответить на вопрос, с помощью каких кусочков окружающего мира категоризируется семантика анализируемого цвета, следует их вычлени из всего множества возможных значимых элементов. Данные объекты являются наиболее закрепленными в сознании образцами цвета, носителями его признака. Для выявления прототипа (-ов) прилагатель-

² K. Waszakowa, *Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu porównawczego*, [в:] *Studia z semantyki porównawczej: nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne*, cz. 1, red. R. Grzegorzczkowa, K. Waszakowa, Warszawa 2000, с. 17.

³ R. Tokarski, *Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie*, Lublin 2004.

⁴ О.А. Михайлова, *Лексическое значение в свете альтернативных научных парадигм*, [в:] электронный ресурс: <http://www.km.ru/referats/6905E9F347C741DC9FA057AAB68B9987> (17.11.2015).

ного *белый* целесообразным будет сослаться на лексикографические данные. *Большой толковый словарь русского языка*⁵ под ред. С.А. Кузнецова в дефиниции прилагательного фиксирует информацию о прототипических референтах: „Цвета снега, молока, мела (противоп.: чёрный)”⁶. Другие словари похоже определяют семантику прилагательного, ср.: „Цвета снега или мела”⁷, „Цвета снега, молока, мела”⁸. В русском языке словари в качестве цветового образца фиксируют одни и те же объекты, т. е. *снег, молоко*, а также *мел*. Данные объекты указывают на собственно качество цвета, т. е. диапазон тона, его качественную характеристику. По Р. Токарскому, такой тип значения представляет собой *квалитативное* понимание семантики цвета⁹. Данное значение эксплицируется с помощью набора прототипических референтов, которыми в русском языке являются именно — *снег, молоко* и *мел*. Объекты окружающей действительности оказываются важнейшими составляющими понятийной структуры прилагательного *белый*. Уместно добавить, что *белый* в квалитативном понимании, кроме смыслового элемента тональности, несет и сему ‘светлый’, что вытекает из значения прилагательного как самого светлого из всей палитры цветов. Квалитативное понимание семантики прилагательного можно отметить, например, в словосочетаниях: *белый флаг, белый лебедь, белый мрамор, белый цветок*. Приведенные коллокации указывают на компонент значения цвета, т. е. тона, в оппозиции, например, к другим цветам: *черный флаг, черный лебедь, красный цветок, желтый цветок*. Для полной характеристики возможных прототипов *белого* сравним еще данные словарей другого типа.

С точки зрения поиска стереотипных моделей конкретного цвета в окружающей среде, словари сравнений содержат особо ценную информацию. Они отражают некое коллективное, сформированное уже давно, представление о цвете. Компаративные конструкции с прилагательным *белый* ссылаются на квалитативную характеристику признака, напр.: *белый как полотно* ‘о чем-то абсолютно белом, белоснежном’¹⁰. Однако большинство сравнительных конструкций реализует иной тип *белого*, опирающийся не на качество цвета, а на количество света (свет-

⁵ *Большой толковый словарь русского языка*, под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

⁶ Там же, с. 34.

⁷ С.И. О ж е г о в, Н.Ю. Ш в е д о в а, *Толковый словарь русского языка*, Москва 1997, с. 43.

⁸ *Словарь русского языка: в 4-х томах*, под ред. А.П. Евгеньевой, т. 1, Москва 1981–1984, с. 78.

⁹ R. T o k a r s k i, указ. соч., с. 40–41.

¹⁰ В.М. Мокиенко, *Словарь сравнений русского языка*, Санкт-Петербург 2003, с. 329.

лоту), ср.: *белый как стена* 'О смертельно бледном человеке', *белый как мел* 'Об очень бледном человеке'¹¹. Такой подход вытекает из значения данных конструкций, в которых на первый план выходит не качество цвета, а светлота. Большинство компаративных конструкций отражают семантику количества света в значении лексемы *белый*, т. е. их *квантитативный* характер. Такое же квантитативное понимание семантики прилагательного *белый* наблюдается и в словосочетаниях. Приведем иллюстрации: *белый липовый мёд*, *белое вино*, *белое мясо*, *белый хлеб*, *белая кожа*, *белый день*, *среди бела дня*. В данных образованиях прилагательное *белый* несет информацию не о семантике тона, а количестве света (светлоте).

Если в таких словосочетаниях, как: *белый хлеб*, *белая кожа*, наличие у прилагательного семы 'светлоты' не вызывает никаких сомнений, то в выражениях *белый липовый мёд*, *белое вино*, *белый день*, *среди бела дня* — по нашему мнению — возникает и дополнительный элемент значения. В этих словосочетаниях можно усматривать наличие и другого компонента значения, связанного с семантикой 'прозрачности' или 'бесцветности'¹². Категория прозрачности коррелирует с пространственным видением, т. е. видением трехмерного пространства. Следовательно, в данных экзemplификациях можно выделить семы 'прозрачности', 'бесцветности'.

Как правило, семантика прозрачности появляется при характеристике пространственных объектов, так как пространственность объекта может выражаться, кроме прочего, с помощью бесцветности¹³. Поэтому под семантику бесцветности попадают такие объекты, которые, по сути, могут быть прозрачными. С одной стороны, имеем в виду воду, водные объекты и жидкости, с другой — воздух.

Для обоснования данного мнения приведем работу А. Вежбицкой. Автор в своих рассуждениях о семантике английских *white* и *black* отмечает, что „Связь между белым и хорошей видимостью интуитивно кажется неоспоримой, но не белизна сама по себе обладает свойством повышенной видимости. Красный и оранжевый, без сомнения, видны еще лучше, или более заметны, чем белый. С другой стороны, белый создает прекрасный фон для других цветов...”¹⁴. Следовательно, автор прини-

¹¹ Там же, с. 414.

¹² Слово *бесцветный* толкуется как: „Не имеющий цвета. Бесцветная жидкость”, см.: С.И. О ж е г о в, Н.Ю. Ш в е д о в а, указ. соч., с. 46.

¹³ Y. F e d o r u s h k o v, A. N a r l o c h, *Prolegomena do dydaktycznej prezentacji konceptu językowego w wizualizacji grafowej (na przykładzie rosyjskiego konceptu „белый”)*, „Studia Rossica Gedanensia” 2014, nr 1, с. 189.

¹⁴ А. В е ж б и ц к а я, *Язык. Культура. Познание*, „Русские словари”, Москва 1996, с. 251.

мает два полностью разных пункта отсчета для *белого*: временной (день) и пространственный (белый зимний пейзаж, покрытый снегом). Однако, как констатирует А. Вежбицкая, в художественной литературе *белый* описывается часто как „цвет поверхности”, а не как „цвет объема”, и тогда становится цветом в принципе непрозрачным¹⁵. Стремясь к сохранению объективности рассуждений, мы должны сказать, что Л. Витгенштейн также отмечал непрозрачность *белого*¹⁶. Может и следует согласиться с утверждением, что *белый* относится к непрозрачности в отношении к снегу, покрывающему землю, который образует барьер для видения самой земли и растительности, что и непосредственно связано с человеческим опытом. Однако непрозрачность *белого* вытекает в этом случае, скорее всего, из его качественности, ведь снег — это прототип этого цвета. Следовательно, можно утверждать, что *нетранспарентный* (*непрозрачный*) *белый* — это *белый* поверхности, „двухмерный” цвет. Ср. фразу *белое пятно*, которой определяем территории, явления, вещи еще неизвестные, не открытые, не исследованные, т. е. невидимые для человека, независимо от того, что значение нетранспарентности может выражаться также *чёрным* цветом. В связи с этим появляется вопрос, когда *белый* может восприниматься в качестве пространственного (трехмерного) признака? Выражает ли этот цвет семантику пространственности, транспарентности? По-моему, значение трехмерности *белого* содержится в выражениях, когда референтами оказываются такие объекты, как вода и воздух.

Семантика прозрачности может быть выделена, например, в следующих экземплификациях, почерпнутых из разговорного и жаргонного пласта языка: *белая головка* ‘бутылка водки’ или *белая* (субстантив) ‘водка’¹⁷. Ср. также жаргонное определение *белого* вина — *белое* ‘белое вино’. Подобный пример, в котором выделяется данная семантика, можно найти в нефтяной терминологии, где употребляется словосочетание *белые масла* со значением: ‘бесцветные, прозрачные нефтяные масла, получаемые каталитическим гидрированием нефтяных фракций или очисткой масляных дестиллятов’¹⁸. В данном случае дефиниция термина включает уже семы ‘бесцветный’, ‘прозрачный’.

¹⁵ А. Вежбицкая, *Обозначения цвета и универсалии зрительного восприятия*, [в:] электронный ресурс: <http://www.philology.ru/linguistics1/wierzbicka-96b.htm> (13.11.2015). См. также работы: J. W e s t p h a l, *Colour: Some philosophical problems from Wittgenstein*, Aristotelian Society Series, vol. 7, Oxford 1987; D. K a t z, *The world of colour*, London 1935.

¹⁶ Цит. по: А. Вежбицкая, *Обозначения цвета...*, указ. соч.

¹⁷ В.М. Мокенко, Т.Г. Никитина, *Большой словарь русского жаргона*, Санкт-Петербург 2000, с. 57, 131.

¹⁸ Ср. дефиницию термина *белые масла*, [в:] электронный ресурс: <http://dic.academic.ru> (14.10.2015).

Объясним сейчас наличие семы 'прозрачность' у прилагательного *белый* на примере словосочетания *среди бела дня*, которое имеет значение 'днем, когда совсем светло' или 'открыто, у всех на виду, не стесняясь'¹⁹. В центре нашего внимания остается первое значение фразеологического выражения.

А. Вежбицкая, исследуя ахроматические цветообозначения (*белый / черный*), обращает внимание на их сематическую близость с оппозицией *светлый / темный*. Такой подход имеет много общего с универсалиями видения. Как констатирует А. Вежбицкая, „...человек различает, и это универсально, те предметы, которые кажутся «светлыми» и «блестящими», и те, которые кажутся «темными» и «тусклыми» (т. е. без света и без блеска)»²⁰. Универсалии человеческого видения опираются на различие „между временем, когда человек видит („день“), и временем, когда он не видит („ночь“)”. Впрочем, во многих языках существует деление цветов именно через призму понятий *светлый / темный*²¹.

В светлое время (день) можем различать цвета и разные объекты. В светлое время видим предметы, пространство, расстояние между объектами. Такой тип видения наводит на мысль ассоциации с пространственной способностью видеть объекты. Следовательно, такая способность видения — это пространственное видение, так как различаем близкие и дальние объекты. Поэтому в таких определениях, как *среди бела дня*, можно выделить пространственный элемент значения — *транспарентность* (от *ang. transparency* — прозрачность). По нашему мнению, это понимание *белого* в рамках пространственного признака, указывающего на возможность различать объекты в окружающей нас среде, благодаря возможности „видения в пространстве“, отсутствия зрительных барьеров, к которым можно отнести, например, темноту.

Следует отметить, что семантика транспарентности вытекает непосредственно из количественного понимания белого цвета. В понятийной сфере *транспарентности* лежит элемент значения — отсутствие окраски, т. е. бесцветность, что в пространственном измерении касается понятия прозрачности характеризуемого объекта²².

¹⁹ С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, указ. соч., с. 43.

²⁰ А. Вежбицкая, *Обозначения цвета...*, указ. соч.

²¹ См. работы: E. H e i d e r, "Focal" color areas and the development of color names, "Developmental Psychology" 1971, vol. 4; его же, Universals in color naming and memory, "Journal of Experimental Psychology" 1972, vol. 93; A. W i e r z b i c k a, Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia, [в:] *Język – umysł – kultura*, pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

²² См. также: Y. F e d o r u s h k o v, A. N a r l o c h, указ. соч., с. 179–208.

Возникает вопрос, насколько транспарентное понимание значения *белого* является новым, а насколько уже закрепленным в русском языке? М.В. Пименова, анализируя травники, лечебники и иконописные подлинники XVII–XVIII вв., пришла к выводу, что прилагательное *белый* выступает как в цветовом значении, так и в исторически первичных значениях – ‘блестящий’, ‘сверкающий’, ‘светлый’²³. Уходя в глубокую древность, Е.А. Кожемякова отмечает, что индоевропейские названия цветов – это синкретические свето-цветные признаки. Первобытный человек оценивал светлую поверхность как светящуюся, блестящую, насыщенную. Следовательно, прозрачность / бесцветность могла стать результатом переноса по модели „светлый – видимый” (в противовес „темный – невидимый”). Впрочем, существуют доказательства, что сема ‘прозрачность’ у прилагательного *белый* проявлялась с самых древних времен.

Е.А. Кожемякова пишет, что в старорусском языке у некоторых названий цветов наблюдалась диффузия значения²⁴. Во многих случаях *бѣль* мог одновременно обозначать и белизну (признак цвета) и блеск, прозрачность, и светлоту (признак цвета) и чистоту (ценностный признак)²⁵. Из этого вытекает, что до XIV века полисемия этого прилагательного не была так сильно выражена, как сегодня. Автор статьи представляет периоды формирования цветообозначающей лексики. На одном из этапов (3-й этап) наступает заключительная фаза образования многих названий цветов за счет конкретизации носителя цвета – *бѣль* ‘прозрачный’ (о воде, воздухе)²⁶. В ходе анализа семантической структуры названий цветов в древнерусском языке Е.А. Кожемякова подтверждает функционирование значения ‘прозрачный’ на раннем этапе развития семантики цветообозначений, наделяя этим признаком воду и воздух²⁷.

Кроме вышесказанного необходимо отметить, что в русском языке имеется около 50 гидронимов – названий рек – с компонентом „бе-

²³ М.В. Пименова, *Семантика цветообозначений по памятникам древнерусской литературы (на материале травников, лечебников, иконописных подлинников)*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Ленинград 1987, с. 12.

²⁴ Е.А. Кожемякова, *Развитие полисемии современных цветообозначений из синкретичного значения их давних форм*, [в:] *Теория языкознания и русистика*, под ред. Л.И. Ручина, Нижний Новгород 2001, с. 171.

²⁵ Там же. См. также: В.В. Колесов, *Белый*, [в:] *Русская историческая лексикография и лексикология*, вып. 3, Ленинград 1983, с. 12.

²⁶ Е.А. Кожемякова, *Семантическая структура цветообозначений в индоевропейском, общеславянском и древнерусском языках*, [в:] *Чтения, посвященные дням славянской письменности и культуры*, Изд-во ЧГУ, Чебоксары 2000, с. 194–207.

²⁷ Там же, с. 204.

лая". „Белая вода“, как пишет И.С. Кузнецова, связывалась у славян с определением водных объектов с прозрачной водой²⁸. Ссылаясь на памятники письменности XVII–XVIII вв., И.С. Кузнецова утверждает, что необычным явлением было использование прилагательного *белый* в энантиосемических значениях. С одной стороны, прилагательное выражало значение ‘прозрачный, бесцветный’, с другой — ‘мутный’, ‘темный’²⁹. Последнее значение возникло под воздействием тюркских языков. В монгольском языке функционирует определение *чаган мусу* (буквально ‘белая вода’) со значением ‘мутная вода’³⁰.

В заключение добавим, что выдвинутая гипотеза наличия в системе русского языка *транспарентного белого* требует дальнейших исследований, опирающихся на богатый как исторический, так и современный материал³¹. По нашему мнению, следует выделить, кроме качественное и количественное, еще транспарентное понимание семантики этого цвета. Необходимо подчеркнуть, что *транспарентный белый* тесно связан с количественной трактовкой этого цвета. С понятием транспарентности коррелирует также значение бесцветности, которое активизируется со строго определенной семантической группой существительных.

Библиография

- Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.
 Ве ж б и ц к а я А., Язык. Культура. Познание, Русские словари, Москва 1996.
 Ве ж б и ц к а я А., Обозначения цвета и универсалии зрительного восприятия, [в:] электронный ресурс: <http://www.philology.ru/linguistics1/wierzbicka-96b.htm> (13.11.2015).

²⁸ И.С. Кузнецова, История переносных употреблений цветообозначений в памятниках русской письменности XVII–XVIII веков. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Москва 1989, с. 6.

²⁹ Там же.

³⁰ Там же.

³¹ Интересно также проследить наличие или отсутствие семантики прозрачности у соответствующих прилагательных в других языках. Например, в польском языке можно отметить трактовку цвета *biały* в значении ‘бесцветный’. Так, Э. Тележиньска, анализируя творчество Ц.К. Норвида, указывает на употребление цвета *biały* в значении ‘nie posiadający żadnej barwy, nijaki’, см.: Е. Т е л ь с к а, *Nazwy barw w twórczości Cypriana Kamila Norwida*, Warszawa 1994, с. V. Во французской литературе XIX в. у Теофиля Готье отмечаем, что белый цвет воспринимается или как бесцветный, или как соединяющий все цвета спектра, см.: А. К л ю к и н а, *Эстетика и символика цвета в сборнике Теофиля Готье „Эмали и камеи“*. По мнению Н.В. Злыдневой, в поэзии символизма *белый* выступает, рядом со значением синтеза цветов, в качестве знака отсутствия цвета. См.: Н.В. З л ы д н е в а, *Белый цвет в русской культуре XX века*, [в:] *Признаковое пространство культуры*, под ред. С.М. Толстой, Москва 2002, с. 426.

- З л ы д н е в а Н.В., *Белый цвет в русской культуре XX века*, [в:] *Признаковое пространство культуры*, под ред. С.М. Толстой, Москва 2002.
- К л ю к и н а А., *Эстетика и символика цвета в сборнике Теофиля Готье „Эмали и камеи”*, [в:] электронный ресурс: http://www.zpu-journal.ru/zpu/e-publications/2007/Kljukina_A2/ (08.11.2016).
- К о ж е м я к о в а Е.А., *Развитие полисемии современных цветообозначений из синкретичного значения их давних форм*, [в:] *Теория языкознания и русистика*, под ред. Л.И. Ручина, Нижний Новгород 2001.
- К о ж е м я к о в а Е.А., *Семантическая структура цветообозначений в индоевропейском, общеславянском и древнерусском языках*, [в:] *Чтения, посвященные дням славянской письменности и культуры*, Изд-во ЧГУ, Чебоксары 2000.
- К о л е с о в В.В., *Белый*, [в:] *Русская историческая лексикография и лексикология*, вып. 3, Ленинград 1983.
- К у з н е ц о в а И.С., *История переносных употреблений цветообозначений в памятниках русской письменности XVII–XVIII веков*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Москва 1989.
- М и х а й л о в а О.А., *Лексическое значение в свете альтернативных научных парадигм*, [в:] электронный ресурс: <http://www.km.ru/referats/6905E9F347C741DC9FA057AAB68B9987> (17.11.2015).
- М о к и е н к о В.М., *Словарь сравнений русского языка*, Санкт-Петербург 2003.
- М о к и е н к о В.М., Н и к и т и н а Т.Г., *Большой словарь русского жаргона*, Санкт-Петербург 2000.
- О ж е г о в С.И., Ш в е д о в а Н.Ю., *Толковый словарь русского языка*, Москва 1997.
- П и м е н о в а М.В., *Семантика цветообозначений по памятникам древнерусской литературы (на материале травников, лечебников, иконописных подлинников)*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Ленинград 1987.
- Словарь русского языка: в 4-х томах*, под ред. А.П. Евгеньевой, Москва 1981–1984.
- F e d o r u s h k o v Y., N a r l o c h A., *Prolegomena do dydaktycznej prezentacji konceptu językowego w wizualizacji grafowej (na przykładzie rosyjskiego konceptu „белый”)*, „Studia Rossica Gedanensia” 2014, nr 1.
- H e i d e r E., *“Focal” color areas and the development of color names*, “Developmental Psychology” 1971, vol. 4.
- H e i d e r E., *Universals in color naming and memory*, “Journal of Experimental Psychology” 1972, vol. 93.
- J u r e k K., *Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze*, „Kultura – Media – Teologia” 2011, nr 6.
- K a t z D., *The world of colour*, London 1935.
- T e l e ż y Ń s k a E., *Nazwy barw w twórczości Cypriana Kamila Norwida*, Warszawa 1994.
- T o k a r s k i R., *Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie*, Lublin 2004.

- W a s z a k o w a K., *Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodologia opisu porównawczego*, [w:] *Studia z semantyki porównawczej, nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne*, cz. 1, red. R. Grzegorzczkowska, K. Waszakowa, Warszawa 2000.
- W e s t p h a l J., *Colour: Some philosophical problems from Wittgenstein*, „Aristotelian Society Series”, Oxford 1987, vol. 7.
- W i e r z b i c k a A., *Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia*, [w:] *Język – umysł – kultura*, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.

СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XVIII–XXI СТОЛЕТИЙ

SEMANTIC AND STYLISTIC TRANSFORMATIONS
IN RUSSIAN LITERARY LANGUAGE
FROM THE 18TH TO THE 21ST CENTURIES

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА, АННА ШИШОВА

ABSTRACT. Investigating the semantic and stylistic transformations of the meaningful language units functioning in a given epoch allows us to show the internal regularities of their evolution, their systemic nature, and conditionality on factors of a historically cultural character. Realizing the semantic potential of a word capable of the associative rethinking plays an important role in the organization of modern vocabulary.

Татьяна Николаева, Казанский университет, Казань – Россия, i.tarchevsky@mail.ru
Анна Шишова, Казанский университет, Казань – Россия, bowari@yandex.ru

Изменения в семантике и стилистической маркированности, приведшие к появлению новообразований, всегда исторически обусловленный процесс, который заслуживает особого изучения с учетом того, что в разные периоды языковой эволюции он проявлял себя наиболее ярко и значимо в разных лексических пластах: 1) XVIII – начало XIX вв. – преобразование отношений между церковнославянскими и исконно русскими элементами, способствующее метафоризации и, как следствие, появлению новых синонимических рядов; 2) XIX–XX вв. – адаптация заимствований, которые, подвергаясь переосмыслению, активно участвуют в процессе складывания общезыковой нормы; 3) XX–XXI вв. – демократизация, одним из проявлений которой являются семантико-стилистические преобразования ненормативной лексики.

1) В XVIII столетии складываются новые соотношения в стилистической системе литературного языка, которые устанавливаются в результате утраты маркированности „высокого“, связанной с распадом церковно-книжного стиля, что привело к семантическим преобразованиям лексем и формированию новых синонимов. Сыграли свою роль и потребности в номинациях, соответствующих действительности, вызванных бурным развитием социально-экономической, общественной и культурной жизни.

Особенно выразительны были глаголы, способные образовывать длинные синонимические ряды, например: *восстать* – *воспрянуть* – *возбудить* – *пробудить*, где первые три глагола оказываются объединенными церковнославянской приставкой *воз-/вос-*, сыгравшей роль стилистического маркиратора. На раннем этапе, как свидетельствует *Словарь русского языка XI–XVII вв.*¹, указанные глаголы были объединены общностью исходного значения – ‘будить от сна, поднять (с постели)’. В эпоху Киевской Руси глагол *восстати* (*встати*) уже функционировал с трансформированным значением ‘выступить, подняться против кого-л., на кого-л.’: „*Вставшее* (здесь и далее курсив мой – Т. Н.) новгородци избиша варягы” (*Лавр. лет.*, 140, 1201). По аналогии с *восстати* глагол *возбудити* в XVI веке стал обозначать ‘побудить к каким-либо действиям’. Семантическая адекватность исходного значения всех четырех глаголов, входящих в синонимический ряд, способствовала их сближению, определяя в глаголе *воспрянуть* новое значение. Однако этот процесс начался только в XVIII веке. Своеобразным переходом к приобретению глаголом *воспрянуть* новой семантики явилось использование М.В. Ломоносовым его фонетического варианта в известной *Оде на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны*: „На трон взошла Петрова дочь... О утра час благословенный! Мы в скорбной темноте заснули. Но в радости от сна *воспрянули*”. Яркую публицистическую окраску глагол *воспрянуть* приобретает в творчестве А.С. Пушкина – „Россия *воспрянет* ото сна”, а впоследствии – в известном пролетарском гимне „*Воспрянет* род людской”.

Глагол *пробудить*, составляющий древнюю семантическую параллель глаголам синонимичного ряда, по аналогии с ними, с конца XVIII века развивает новое, вторичное значение ‘вызывать чувства, мысли, порождать, усиливать’. „Бедствия *пробуждают* в душе множество прекрасных свойств” (К.Н. Батюшков), „Восторги дух мой *пробудили*” (Е.А. Боратынский).

Новое звучание глагольных образований *восстать* – *воспрянуть* – *возбудить* – *пробудить* было реализовано в жанре революционной публицистики и в гражданской лирике во второй половине XIX века.

В XX–XXI вв. наблюдается семантический распад синонимического ряда слов. Со значением призыва, побуждения к гражданским действиям употребляется лишь глагол *восстать*, хотя сегодня его можно отнести к архаизмам; пережив вторичную метафоризацию, *возбудить* ныне используется для передачи нервного и физиологического состояния, кроме того, в качестве члена неразрывного словосочетания – в юриспруденции: *возбудить* дело; *воспрянуть* функционирует в со-

¹ *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, „Наука”, Москва 1975.

четании с существительным *дух* в творительном падеже как средство создания иронии; малоупотребительный глагол *пробудить* помечен в современных словарях как „устаревший”².

2) Семантико-стилистическую трансформацию, приведшую к появлению новообразований, целесообразно проиллюстрировать на примере заимствований, которые проходили адаптацию на русской почве в XVIII–XIX веках. Это был процесс, отличающийся исключительной неадекватностью: с одной стороны, засилье французского, с другой — стремление избавиться от излишних иностранных слов. В этой связи необходимо вспомнить декрет, изданный при Павле I в 1797 году, „Об изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими”, в котором вместо лексемы *сержант* рекомендовалось употреблять *унтер-офицер*, вместо *граждане* — *жители* или *обыватели*, вместо *приверженность* — *привязанность*, *усердие*, лексему *общество* предлагалось вообще изъять из обращения.

Лексема *патриот* (фр. *patriote*) встречается впервые в эпоху Петра I в значении ‘сын отечества’: „Того ради побужден некоторый верный *патриот* из Российского народа... сие рассуждение на свет выдать”³. В первой половине XIX века, наряду с сохранением основного значения, лексема приобретает специализированную семантику: ‘отечестволюбец, любитель отечества, рачитель, ревнитель о пользе отечества’⁴, которая ассоциируется с революционными идеями о свободном человеке, гражданине, что находит свое отражение в творческом наследии А.Н. Радищева и декабристов. К 20-м годам XIX века лексема получает больший объем, обозначая в реакционных кругах русского общества лиц либеральных взглядов, убеждений: „Банкротство дворянства, продажность правосудия и крепостное право — вот элементы, которые русские *патриоты* считают возможным использовать в подходящий момент, чтобы возбудить волнения в пользу конституции”, — так пишет директор канцелярии III отделения М.Я. фон Фок в конце 20-х годов⁵. Именно с этой семантикой она используется А.С. Пушкиным в *Евгении Онегине*: „Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, Космополитом, *патриотом*, Гарольдом, квакером, ханжой, Иль маской щегольнет иной?”. Однако у А.С. Пушкина *патриот* используется и с окраской иронии, сарказма:

² *Словарь русского языка в 4-х тт.*, Институт русского языка АН СССР. „Русский язык”, Москва 1981–1984.

³ Н.А. Смирнов, *Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в Петровскую эпоху*, „ОРЯС АН” 1910, т. 88, № 2, с. 222.

⁴ Н. Яновский, *Новый словотолкователь, по азбучному порядку расположенный*, ч. 3, Санкт-Петербург 1803–1806, с. 285.

⁵ В. Орлов, *Русские просветители*, Москва 1961, с. 300.

„Некоторые люди не заботятся ни о славе, ни о бедствиях отечества... и со всем тем почитают себя *патриотами*, потому что любят ботвинью и что дети их бегают в красной рубашке”⁶. Подобное стилистическое маркирование способствовало тому, что именно в пушкинскую эпоху появляются сочетания, в которых *патриот* сопровождается эмоциональным оценочным атрибутом с отрицательной экспрессией: *самозванный, невпопад усердный, квасной, восторженный*. Впоследствии подобные сочетания использовал в публицистике В.Г. Белинский, и это обстоятельство сыграло свою роль в приобретении словом *патриот* в конце XIX столетия негативной окраски. Во всяком случае в словарях эту лексему ставили в кавычки в знак неприятия ее с позитивным значением. Об этом писал И.А. Бодуэн де Куртенэ: „Теперь принято различать *патриота* без кавычек и *патриота* в кавычках”. В *Предисловии к Словарю Вл. Даля* он замечает: „Слова *патриот, патриотизм* получили огромный и карательный оттенок”⁷. У А.М. Горького: „Переезжайте в Петербург. У меня там есть хороший знакомый, видный адвокат, неославянофил, т. е. империалист, *патриот*, немножко идиот” (*Жизнь Клим Самгина*). В настоящее время *патриот* используется только с положительной коннотацией.

Еще более тернистый путь прошла лексема *революция*, прежде чем приобрести гражданское звучание. Малоизвестен тот факт, что первоначально она адаптировалась на русской почве, обозначая астрономическое понятие — „течение звезд”, и была запрещена к употреблению императором Павлом I в специальном Указе, адресованном Академии наук. В конце XVIII — начале XIX столетий слово пережило семантическую трансформацию и могло обозначать как „внезапную перемену” в правлении какого-то народа”⁸, так и вообще *переворот* в любой сфере человеческой деятельности. Именно такой семантикой наделяет его М.Фасмер, возводя к латинскому *revolutio* (через польский *rewolucja*)⁹. Насколько *революция* трудно адаптировалась на русской почве с указанным значением, свидетельствует следующее высказывание А.С. Шишкова: „Никогда в Российском языке доселе не означало оно сего понятия (*переворот* — Т. Н.)”¹⁰.

⁶ *Словарь языка Пушкина в 4-х тт.*, Институт языкознания АН СССР, Москва 1956–1959.

⁷ И.А. Бодуэн де Куртенэ, *Предисловие к 3-му изданию „Словаря живаго великорусского языка” Вл. Даля*, Москва 1903, с. 4.

⁸ Н. Яновский, указ. соч., с. 129.

⁹ М. Фасмер, *Этимологический словарь русского языка в 4 тт.*, „Прогресс”, Москва 1964–1973.

¹⁰ А.С. Шишков, *Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка*, Санкт-Петербург 1803, с. 184–185.

Процесс семантико-стилистической трансформации заимствований активизировался в начале XX века. Так, в *Толковом словаре военных слов*, вышедшем в Праге в 1914 году, французское (из греческого) *демагог* традиционно трактуется как 'название людей в древней Греции, которые держали народ в своих руках благодаря своему личному влиянию и силе слова'. Однако еще в 80-е годы прошлого столетия словари фиксируют новое значение: 'революционер, представитель народной партии'¹¹. В Словаре Даля дается более яркая эмоционально-экспрессивная окраска: 'крайний демократ, добивающийся власти во имя народа, тайный возмутитель, поборник безначалия, желающий ниспровергнуть порядок управления'¹². Негативную оценочность слово приобретает в практике партийной пропаганды, для которой были характерны ложь, извращение фактов, бессмысленные априорные рассуждения, не основанные на конкретных данных, что послужило причиной для вторичной переквалификации лексемы, отсюда — ее современная трактовка: 'человек, занимающийся лживыми обещаниями, искажением подлинной сути событий, рассуждениями, построенными на одностороннем осмыслении'¹³.

Подверглась преобразованиям и лексема *будировать*, которая из-за фонетического сходства с *будить* начинает использоваться не с французским значением 'дуться, сердиться', а 'будить, пробуждать к действиям, протесту'¹⁴. Подобное функционирование не стало нормой, чему, вероятно, способствовало высказывание В.И. Ленина, направленное против неправильного толкования этого слова в статье „Об очистке русского языка“: „Употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормошить, будить. Но французское слово «boudier» (будэ) значит сердиться, дуться...“¹⁵. Однако в современной речевой практике достаточно широко распространено его использование с несвойственным ему, ошибочным значением.

Творческая интеллигенция в эмиграции активно выступала против использования иностранных слов, в том числе — в семантизированном варианте, и предлагала их переводы на русский язык: *телефон* — *дальносказ*, *кондитерская* — *сластезная*, *вокзал* — *стан*, *адъютант* — *попыхач*, *кроссворд* — *крестословица* и др. Любопытно, что слово *интеллигент*, зафиксированное в Словаре Даля¹⁶ со значением 'умственно раз-

¹¹ Н. Я н о в с к и й, указ. соч., с. 20.

¹² В. Д а л ь, *Толковый словарь великорусского языка*, 3-е изд., Москва 1903–1905.

¹³ *Словарь русского языка в 4-х тт.*, указ. соч.

¹⁴ Б. Л и н с к и й, *Политический словарь*, Санкт-Петербург 1906.

¹⁵ В.И. Л е н и н, *Об очистке русского языка*, [В]: его же, *Полное собрание сочинений*, т. 40, Москва 1958, с. 49.

¹⁶ В. Д а л ь, указ. соч.

витой человек', не воспринималось в среде дореволюционных государственных деятелей. Так, С.Ю. Витте цитирует высказывание государя Николая II: „Как мне противно это слово (*интеллигент* — Т. Н.), следует приказать Академии наук вычеркнуть его из словаря”¹⁷.

3) Процесс демократизации русского литературного языка, начавшая с XX века, наиболее ярко проявлялась в проникновении нейтральных слов в словарный состав представителей различных социальных групп, которые подверглись переосмыслению. В 1908 году появился *Словарь В.Ф. Трахтенберга „Блатная музыка”* („воровской жаргон”) под редакцией Бодуэна де Куртенэ. В предисловии к Словарю ученый высказал мысль о необходимости изучения „тайного языка”, „жаргона тюрьмы”, или „блатной музыки”, составляющей „достоверный материал для психолога, для этолога (теоретика или историка этики или нравственности), для юриста, для исследователя народной словесности и прежде всего для лингвиста или языковеда”¹⁸.

На жаргоне мошенников денежные купюры назывались *барашиками*, у шулеров выигранные деньги — *игрушками*, а находящиеся еще у владельца — „пассажира” — *кровью*. Отсюда *пустить кровь* — обыграть, *пошла кровь носом* — партнер начал расплачиваться. Кредитные билеты разного достоинства: рублевый — *кенарь*, иногда — *канарейка*, трехрублевый — *попугай*, пятирублевый — *петух*, десяти- — *карась* (по красному цвету), тысяча — *коса*.

В Словаре — множество семантически преобразованных, ранее нейтральных слов, ставших новообразованиями и приобретших эмоционально-стилистическую маркированность: *жулик* — ножик, *чердачок* — жилетный карман, *собачка* — височный замок, *подсолнух* — золотые часы, *колёса* — сапоги, *борзой* — предатель, *шпана* — коренное тюремное население (возможно, от *шпанка* — порода овец, которые в стаде кажутся серыми и однообразными). Этот список пополняет ряд глаголов и глагольных сочетаний: *капать* — доносить, *загнать в бутылку* — раздражить, вывести из себя, *дать винта* — убежать, *арапа заправлять* — не платить долгов, *заливать* — врать, *завести волюнку* — выразить протест, *загнать* — продать. Как видим, некоторые из них активно функционируют и в современном русском литературном языке в качестве эмоционально окрашенных, ставших нейтральными лексем.

Снятие запретов, свобода слова в сегодняшней коммуникации привели к тому, что жаргонная лексика беспрепятственно появляется в статьях на серьезные экономические, общественно-политические

¹⁷ С.Ю. В и т т е, *Воспоминания. Царствование Николая II*, т. 2, Скиф Алекс, Москва 1994, с. 27.

¹⁸ И.А. Б о д у э н д е К у р т е н э, *Предисловие к Словарю В.Ф. Трахтенберга „Блатная музыка”*, Санкт-Петербург 1908.

темы, в материалах о политических лидерах и представителях власти. Со стороны газет на читателя обрушиваются ненормативные лексемы с целью подвергнуть критике то или иное явление, показать недостатки нашей действительности. Это — *бабло, бабки, тусовка, прикольно, засветиться, халявщик, понтоваться, клёвый, барыга, баланда, легавый, сходняк, жулик, лох, бакланить* и другие, зафиксированные в современных словарях с пометой „разговорное”. Тем самым они демонстрируют процесс, обратный тому, который был характерен для прежних эпох: происходит нейтрализация жаргонизмов, арготизмов, эфемизмов и переход их в разряд нормативных образований, тем самым пополняется и обогащается словарный запас литературного языка XX–XXI вв.¹⁹ Указанную тенденцию подтверждают данные лексиконов В.М. Мокиенко²⁰. Ценность их в том, что словарные статьи сопровождаются основательными этимологическими изысканиями и комментариями исторического характера. Среди действующих новообразований *баптист* — бабник, *тюльпан* — глупый, ограниченный человек, *сверхурочница* — замужняя проститутка, *шлифовать* — ласкать женщину, *кукурузник* — гомосексуалист.

Историко-культурологический подход к исследованию семантико-стилистических трансформаций убеждает в том, что реализация семантического потенциала слова, способного к ассоциативному переосмыслению, метафоризации, ярко проявляла себя в разные периоды формирования и становления русского литературного языка в различных пластах лексики и сыграла чрезвычайно важную роль в организации современного словарного фонда.

Библиография

- Б о д у э н д е К у р т е н э И.А., *Предисловие к Словарю В.Ф. Трахтенберга „Блатная музыка”*, Санкт-Петербург 1908.
- Б о д у э н д е К у р т е н э И.А., *Предисловие к 3-му изданию „Словаря живаго великорусского языка” Вл. Даля*, Москва 1903.
- В и т т е С.Ю., *Воспоминания. Царствование Николая II*, т. 2, Скиф Алекс, Москва 1994.
- Д а л ь В., *Толковый словарь великорусского языка*, 3-е изд., Москва 1903–1905.
- Л е н и н В.И., *Об очистке русского языка*, [в]: его же, *Полное собрание сочинений*, т. 40, Москва 1958.
- Л и н с к и й Б., *Политический словарь*, Санкт-Петербург 1906.

¹⁹ Г.Н. С к л я р е в с к а я, *Толковый словарь русского языка конца XX века*, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург 1998.

²⁰ В.М. М о к и е н к о, *Словарь русской бранной лексики*, Dieter Lenz Verlag, Berlin 1995; его же, *Словарь русской брани*, Норинт, Санкт-Петербург 2003.

- Мокиенко В.М., *Словарь русской бранной лексики*, Dieter Lenz Verlag, Berlin 1995.
- Мокиенко В.М., *Словарь русской брани*, Норинт, Санкт-Петербург 2003.
- Орлов В., *Русские просветители*, Москва 1961.
- Скляревская Г.Н., *Толковый словарь русского языка конца XX века*, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург 1998.
- Словарь русского языка XI-XVII вв.*, „Наука”, Москва 1975.
- Словарь русского языка в 4-х тт.*, Институт русского языка АН СССР, „Русский язык”, Москва 1981-1984.
- Словарь языка Пушкина в 4-х тт.*, Институт языкознания АН СССР, Москва 1956-1959.
- Смирнов Н.А., *Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык в Петровскую эпоху*, „ОРЯС АН” 1910, т. 88, № 2, с. 222.
- Фасмер М., *Этимологический словарь русского языка в 4 тт.*, „Прогресс”, Москва 1964-1973.
- Шишков А.С., *Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка*, Санкт-Петербург 1803.
- Яновский Н., *Новый словотолкователь, по азбучному порядку расположенный*, ч. 3, Санкт-Петербург 1803-1806.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
КОНЦЕПТА ОНА-ЖЕНЩИНА
(НА МАТЕРИАЛЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА
МАРИИ АРБАТОВОЙ *МНЕ 46*)

A LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE ARTISTIC CONCEPT
OF "SHE-WOMAN"
(BASED ON THE AUTOBIOGRAPHICAL NOVEL *I AM 46 YEARS OLD*
BY MARIA ARBATOVA)

ANASTASIA OSHCHEPKOVA

ABSTRACT. This work is related to the field of linguo-cultural studies, and also touches on the area of cognitive linguistics. The purpose is to describe the concept of "SHE – WOMEN" by analyzing text vocabulary which relates to a reduced style and which is distributed into lexical-thematic groups.

The practical part of this article includes a description of each of the selected lexical-thematic groups. In the final part of the work, I describe the concept of "SHE – WOMEN" and draw conclusions.

Anastasia Oshchepkova, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
– Polska, anastasia.oschepkova@gmial.com

В современном мире науки наблюдается устойчивая тенденция к взаимодействию различных научных областей. Лингвистика – наука, которая придерживается последних тенденций и постепенно включается в сотрудничество со многими смежными и более отдаленными научными направлениями. Взаимодействие научных сфер направлено на достижение, как правило, единой общей цели: углубленного познания человека, его деятельности и окружающей его действительности.

Результатом текущих тенденций является зарождение и интенсивное развитие новых направлений в сфере науки. К числу новых научных дисциплин можно отнести когнитивную лингвистику и лингвокультурологию. Настоящую статью можно причислить к области лингвокультурологии, которая относится к языку как к носителю определенной национальной ментальности¹. Кроме того, работа затрагивает область когнитивной лингвистики.

¹ З. Д. П о п о в а, И. А. С т е р н и н, *Когнитивная лингвистика*, Москва 2010, с. 22.

Когнитивная лингвистика — это относительно молодое направление в языкознании. Его основной задачей является изучение проблем соотношения языка и человеческого сознания, роли языка в категоризации мира и обобщении человеческого опыта². Когнитивная лингвистика оперирует рядом понятий. Ключевым из них является понятие *концепт*. Подробный анализ концептов, „культурно-ментально-языковых образований, ступков культуры в сознании человека [...], тех пучков представлений, понятий, знаний, ассоциаций, которые сопровождают слово“³, представляет немалый интерес для современных лингвистов, так как открывает новые возможности в изучении языка и является одним из способов реконструкции человеческого сознания.

Данное исследование является лишь небольшим фрагментом работы по изучению сложного концепта ЖЕНЩИНА. На данном этапе нашей целью является изучение только одной из составляющих сложного концепта. В частности мы намереваемся описать подконцепт ОНА-ЖЕНЩИНА с помощью анализа языкового материала русского источника. В будущем мы намерены описать и сопоставить остальные подконцепты сложного концепта ЖЕНЩИНА, которыми являются Я-ЖЕНЩИНА и МЫ-ЖЕНЩИНЫ, что позволит нам провести комплексный сопоставительный анализ сложного концепта на материале русской и польской языковой действительности.

В настоящей статье мы занимаемся подробным рассмотрением подконцепта ОНА-ЖЕНЩИНА с помощью анализа языкового материала русского источника. В качестве материала мы выбрали лексические единицы, эксцерпированные из автобиографического романа русской писательницы Марии Арбатовой *Мне 46*.

Мы намерены работать с текстом художественного произведения, так как уверены, что подобный материал представляет собой достоверный источник знаний о сознании русского человека. Мы разделяем точку зрения З.Д. Поповой и И.А. Стернина о том, что при изучении языка имеется возможность

проникнуть в концептосферу людей, выяснить, что было важно для того или иного народа в разные периоды его истории, а что оставалось вне поля его зрения, в то время как для другого народа это оказывалось существенным⁴.

Исследуя интересующий нас концепт, особенно важно принять во внимание исторический отрезок времени, в котором исследуемый материал

² Е.В. Дзюба, *Концепт „ум“ в русской лингвокультуре*, Екатеринбург 2011, с. 3.

³ Ю.С. Степанов, *Константы: словарь русской культуры*, Москва 2004, с. 42–67.

⁴ З.Д. Попова, И.А. Стернин, указ. соч., с. 29.

был создан. События, описанные в автобиографическом романе М. Арбатовой *Мне 46*, происходят на стыке XX и XXI веков. Данный исторический период, являясь закатом советского общества и зарождением нового – постсоветского, представляет для исследователей, а для нас в частности, особенный интерес. Такие колоссальные изменения в жизни страны не могут не оставить следа в языке. Ведь в языке незамедлительно отражаются даже малейшие изменения, происходящие в обществе, отображаются тенденции; язык – своеобразное связующее звено между человеческим сознанием и реальностью. Ученые согласны, что язык – резервуар знаний, кладовая информации о мире, о реальности, культурный факт, а также наиболее полный источник знаний о данной культуре.⁵ Таким образом, изучая язык личности / народа, принимая при этом во внимание особенности исторического фона эпохи, мы получаем возможность познать особенности мышления данной личности / группы и достигнуть наиболее добросовестных результатов.

Как известно, художественные тексты представляют собой один из важнейших компонентов формирования менталитета, литература способна значительно влиять на наше мироощущение, а „писатели и поэты своим творчеством вносят серьезный вклад в формирование общей концептосферы национального языка“⁶. Текст автобиографического романа, являясь формой фиксации знаний о мире, представляет особую ценность для наших исследований. Особенностью автобиографического произведения является то, что автор такого произведения заключает с читателями „автобиографическое соглашение“, в котором он утверждает, что будет писать правду⁷. Именно поэтому выбранный текст особенно ценен для исследователей концептов, ведь он является источником более или менее достоверных фактов из жизни реально существующего персонажа. Кроме этого, факты, представленные в таком произведении, дополнительно обогащены авторской оценкой, другими словами, пропущены через авторский оценочный фильтр. Арбатова запечатляет не только факты и события своей жизни, но также дает оценку происходящему с точки зрения носителя русского языка и русской культуры, используя средства русского языка, обогащенные элементами языка советской эпохи. Таким образом, базируясь в своих исследованиях на автобиографическом романе, мы получим четкую картину того, какова женщина постсоветского пространства, каковы ее ценности.

⁵ J. A n u s i e w i c z, *Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki*, Wrocław 1994, с. 17.

⁶ Д.С. Л и х а ч е в, *Концептосфера русского языка*, [в:] Е.В. Д з ю б а, указ. соч., с. 12.

⁷ Ю.Л. С а п о ж н и к о в а, *Жанр автобиографии: понятие и особенности*, „Ученые записки Забайкальского государственного университета. Сер.: Филология, история, востоковедение“ 2012, № 2, с. 56.

Известный ученый С.А. Аскольдов делил концепты на познавательные и художественные. По его словам, концепты познания — это концепты общности, художественные же концепты более индивидуальны. Художественный концепт, по его мнению, является сочетанием понятий, представлений, чувств, эмоций⁸. Изучаемый нами концепт можно отнести к числу художественных концептов⁹, так как материалом для наших исследований является текст художественного произведения. Данные концепты носят индивидуальный характер и отражают уникальную систему представлений автора текста о мире, но, несмотря на это, их авторы — писатели и поэты — активно участвуют в построении и формировании общей концептосферы национального языка¹⁰.

Художественные концепты немаловажны для формирования национального менталитета. Они общедоступны и способны серьезно влиять на сознание всего народа посредством художественной литературы, именно поэтому сфера изучения художественных концептов представляется нам одной из наиболее значимых и ценных, а область изучения таких концептов занимает отдельное место в лингвокультурологии.

Итак, специфика выбранного нами материала предполагает достижение следующих целей: построение и анализ образа постсоветской женщины через призму исторического контекста: современницы, которая значительную часть своей жизни прожила в СССР, где прошло ее детство, где сформировались взгляды, предпочтения; выяснение, удалось ли ей принять новую постсоветскую действительность. Нас интересует то, как сформировавшиеся в СССР ценности видоизменились на постсоветском пространстве, и изменились ли вообще.

В ходе анализа материала, эксцерпированного из произведения Арбатовой, нам удалось разделить интересующую нас лексику на несколько категорий. Выделенные элементы представляют собой цитаты из текста, мини-предложения, словосочетания, отдельно стоящие лексические единицы, относящиеся к различным частям речи. Ниже приведем названия выделенных категорий с выбранными примерами и кратким анализом, тем самым предпримем попытку воссоздания портрета концепта ОНА-ЖЕНЩИНА.

⁸ С.А. Аскольдов, *Концепт и слово*, см.: Е.В. Дзюба, указ. соч., с. 34

⁹ Г.Д. Гачев, *Жизнь художественного сознания*, Москва 1972; В.Г. Зусман, *Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка*, Нижний Новгород 2001; Л.В. Миллер, *Художественный концепт как смысловая и эстетическая категория*, „Мир русского слова“, Санкт-Петербург 2000, № 4, с. 39–45.

¹⁰ Д.С. Лихачев, *Концептосфера русского языка*, [в:] *Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология*, Москва 1997, с. 17.

Первая группа, выделенная нами, — **(I) ОТНОШЕНИЯ ЖЕНЩИН ДРУГ С ДРУГОМ**. Она, в свою очередь, включает в себя несколько тематических подгрупп. Рассмотрим их более подробно.

Первая подгруппа — **(1) ХАМСТВО, ВРАЖДЕБНОСТЬ**. Эта подгруппа включает элементы, указывающие на женское соперничество, непростые отношения. Сюда мы отнесли единицы, указывающие на применение женщинами физической силы по отношению друг к другу, а также единицы, указывающие на словесные дуэли женщин. В качестве примеров приводим: *другая пришла бить мне морду; ссорились до драки; устраивали драку, а также поливала матом; тётка в сберкассе орала на меня; нахамила девушка; обещала напустить на нас братву; наезжали девушки; тёток прорвало и они заскандалили, брызгая слюной*. Анализируя данные примеры, можно сделать следующие выводы: при описании враждебных отношений женщин друг с другом Арбатова оперирует стилистически сниженной, жаргонной лексикой, внедряет элементы блатной речи, характерной для советского периода¹¹.

Вторая подгруппа — **(2) ОТНОШЕНИЯ СВЕКРОВЬ — НЕВЕСТКА**. Данная подгруппа включает лексические единицы, указывающие на сложные отношения женщин в кругу одной семьи. Как наиболее частотный пример мы рассматриваем союз „свекровь — невестка”. Эксцерпированные примеры: *Изо всех сил враждовала с невесткой; осуждала половую разнузданность невестки; всякая женщина знает приколы своей свекрови*. Арбатова описывает сильно выраженный конфликт, причиной которого может послужить непростая экономическая ситуация советской семьи, совместное проживание представительниц разных поколений, в частности жизнь в коммуналках.

Следующая выделенная подгруппа — **(3) ССОРЫ ИЗ-ЗА МУЖЧИН**. Здесь собраны все примеры, описывающие непростые отношения женщин, не поделивших мужчину: *Матушка участвовала в роковой разборке с первой женой; отбила Риткиного мужа и родила от него ребёнка; полезла в наши отношения по локоть; бабы дрались из-за него*. Наличие значительного количества лексики на данную тему может быть связано с непростой демографической ситуацией в СССР в послевоенные годы, где доля женского населения заметно преобладала над долей мужского населения, представители которой, несмотря на активную борьбу властей Советского Союза, практиковали пьянство. С другой стороны, ссоры за мужчину могли быть следствием социального давления, оказываемого на женщин в СССР, ведь одинокая женщина без мужа и детей считалась несостоявшейся.

(4) НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — так мы назвали подгруппу, которая включает примеры, описывающие повседневные, долгосроч-

¹¹ А. Фесенко, Т. Фесенко, *Русский язык при советах*, Нью-Йорк 1955.

ные отношения между женщинами: *По полгода не разговаривали, желали друг другу собачьей смерти, а потом оттаивали; до обид спорили о воспитании и лечении детей, потом мирились и заряжались терпимостью.* Жизнь советских семей в одной большой коммунальной квартире, отсутствие личного пространства, постоянный соседский контроль, жизнь „на виду“ порождала ссоры на бытовом уровне. После очередных склок люди смирялись, заключая в итоге весьма неустойчивый, заведомо временный мир. Для советских соседских отношений характерен циклический характер: ненависть и сплетни сменялись дружбой и тесным общением.

Последней подгруппой является подгруппа под названием (5) **ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ**, включающая примеры, описывающие дружеские, приятельские женские отношения: *чмокнула меня в щёку; пила чай с медсёстрами, успокаивала мои психозы; Шили трикотажные кофточки из детских ползунков, вязали, кроили, потрошили комиссионки, ходили впятером по очереди в одной модной шмотке; Тут пришла Наина Ельцина, села в первый ряд с женой Черномырдина, и они стали разговаривать нормальными голосами и заливисто хохотать; Она сдруживалась с его девицами.* Совместное чаепитие носило ритуальный характер во времена СССР; на кухне, в тесном кругу, женщины могли обсудить житейские проблемы, посплетничать. Совместный пошив одежды также характерен для советского и раннего постсоветского времени, когда из-за дефицита и отсутствия товаров женщинам приходилось шить самостоятельно. Следующий интересный момент — это разрушение мифа о серьезной жене высокопоставленного лица, которая, оказывается, больше не недостижимый товарищ, а женщина с приземленными проблемами и переживаниями.

Второй обширной группой в нашей классификации является группа (II) **ОТНОШЕНИЯ МУЖЧИНА-ЖЕНЩИНА**. Она также состоит из нескольких подгрупп.

Первая из них — (1) **ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЖЕНЩИНАМИ** — включает следующие примеры: *однажды раскровавила ему физиономию; Верка мочила его по всей программе, трясла его за шиворот.* Арбатова употребляет грубые формы, тем самым подчеркивает четко выраженную тенденцию к огрублению женской природы во времена СССР, приобретение солдатских повадок и тюремных приемов.

Следующая подгруппа — это (2) **ОХОТА ЗА МУЖЧИНОЙ**, включающая две мини-подгруппы **ФЛИРТ** и **БОЙ ЗА МУЖЧИНУ**.

Мини-подгруппа **ФЛИРТ** включает следующие примеры: *Строила глазки простуженным бугаям, к Олегу неоднократно клеились дамы с текстом, положила на него глаз; Ритка сделала на него немедленную стойку; Начала писать вокруг него восьмёрки; Весь рабочий день бегала за баянистом.* Анализируя данные примеры, можно прийти к следующему выводу: цель

советской женщины — добиться мужского внимания любыми способами. Женщина активна и находится в постоянном поиске мужчины, она больше не робеет, не ждет, а берет инициативу в свои руки. В данном случае имеем дело с отрицанием женской стереотипной пассивности. Для того чтобы подчеркнуть комичность и нелепость, Арбатова использует обороты и словосочетания, которые можно отнести к просторечию.

Вторая мини-подгруппа — БОЙ ЗА МУЖЧИНУ — включает между прочим такие примеры: *отхватила подполковника, относилась к поколению, в котором дрались за мужиков; молодая женщина бульдогом вцепилась в пожилого светского бабника, ценой невероятных унижений женила его на себе; Ритка подцепила голландца; Она в неравном бою оторвала потрясающего мужика*. Приведенные примеры доказывают, что соперничество женщин друг с другом за мужское внимание было распространенным явлением. Мужчина сравнивается Арбатовой с дефицитным товаром, вещью, которую можно *подцепить, оторвать в бою*, в которую можно *вцепиться*. Женщина в данном случае выступает в роли хищницы.

Третья макрогруппа представляет собой ряд наиболее частотных женских типажей, которые нам удалось выделить в ходе анализа эццерпированной лексики. Мы назвали ее (III) ОПИСАНИЕ, ТИПАЖИ. Эта макрогруппа включает семь групп.

К первой группе, названной нами (1) ОТЛИЧНИЦА, относятся следующие примеры: *асексуальная отличница в пиджаке со строгой причёской; В классе сложился „отличницкий бомонд”, такие девочки с косами, тихие, аккуратные и воображалистые; Девочки с косичками, пишущие круглым почерком стихи в тетрадку; Она образцово-показательная девочка: вредная отличница с косой, из тех, кто занимается в балете, музыкальной и художественной школах, обслуживая родительские амбиции*. Вырисовывается стереотипный образ умной девочки с неотъемлемым элементом — косой.

Данный образ-типаж косвенно связан с другим образом, который мы назвали (2) СТАРАЯ ДЕВА. Его иллюстрируют такие примеры, как: *Злющая неустроенная баба; сексуально не обслуженные климактерические тётки; Ляля строила из себя викторианку, боялась мужчин, боялась собственной сексуальности; Хозяйкой его была старая дева, которую звали, скажем, Нона Оликова; Поэтесса была бездетна, безмужня и обручена с литературой*. Данный образ — очередное стереотипное представление о женщине, не состоявшей в браке. Стилистически сниженная лексика указывает на весьма негативное отношение к такой женщине в советском обществе.

Третья подгруппа — (3) НЕОБРАЗОВАННАЯ, ПРОСТУШКА, ЛИМИТЧИЦА. Примеры: *Девушка вышла из ступора и залопотала с сильным украинским говором; Разговаривала на тарабарщине; Съехавшиеся из ре-*

гионов тётеньки не понимали, кто тут кому Вася; Закройся, колхозница, выучись говорить грамотно; Не снятые у вокзала лимитчицы; Мог бы найти что-нибудь получше некрасивой провинциальной дуры. Данные примеры доказывают существование негативного отношения в советском и постсоветском обществе к девушкам из провинции, наличие стереотипа об их глупости, второсортности, косноязычии. Складывается впечатление, что наличие говора — одного из отличительных признаков иногородности — вызывало в обществе презрение и смех.

Очередной типаж — (4) БЕЗ СТИЛЯ / ВКУСА. Он может быть проиллюстрирован следующими примерами: *Густо покрашенные воспитательницы; Туберкулёзного вида лиса, крашенная под красное дерево; Это была металлическая тётка с мелкой завивкой, носатым пустым лицом, нелепая и грозная в синем костюме; С ним была злобная страхолюдина, представленная женой; Заголосила толстая тётка в кримплене, золоте; Нас встретили злобные крашенные тётки и объяснили; Толстой пожилой тётки с пучком душе-раздирающе крашеной рыжины; покрашенные злобные бабы.* Арбатова обращает внимание на такие детали, как безвкусное окрашивание волос, безвкусный макияж, полнота, злобность, использует существительные *баба, тётка* с целью подчеркнуть личную неприязнь к конкретной женщине.

Следующий типаж — это (5) КРАСОТКА. Он объединяет такие примеры: *Красивая была девочка; Считалась главной красавицей среди сестёр; Верка была хороша как куст роз; Вышла красивая девушка и начала застенчиво улыбаться.* Стоит отметить, что красота идет в паре в другими положительными качествами: обаянием, застенчивостью, миниатюрностью. Подчеркивая женскую красоту, Арбатова использует существительные *женщина, дама, девушка* вместо существительных *баба, тётка, кукла, девка*.

Шестая типажная группа — это (6) ПЬЯНИЦА-НЕУДАЧНИЦА. Она включает следующие примеры: *Ютилась неопрятная пьянчужка Фроська; Первая была поэтессой, из тех, кто хороши в молодости, но потом никем не становится; Красавица поправилась, померкла, живёт в одиночестве; Дама жила в совершенно плюшкинской квартире; Жанна была филфаковка второго сорта, из тех, что преподают детям не потому, что любят их или умеют с ними общаться, а потому, что не состоялись как учёные.* Алкоголизм, неуверенность в себе, непрофессионализм приравнивается к жизненным неудачам. Для описания женщин-неудачниц используются фамильярно-пренебрежительные суффиксы.

Последний типаж — (7) ВЛАСТНАЯ. Это типаж женщины, которая принимает решения, стоит во главе семьи; она диктатор, бой-баба, которая должна отстоять очередь, достать продукты; она ответственна за обеспечение семьи, она стойкая, предприимчивая. Приведем ряд примеров: *У нас всё решает мама; бабушка Ханна стопроцентно принима-*

ла решения за мужа; Она жёстко держала всю семью, была очень консервативна и даже запрещала в доме радио вплоть до войны; Моя матушка пошла бульдозером; Руководящая и направляющая бабушка; Мать бестолковая хозяйка, но у неё есть фамильная европейская выучка, она знает, „как надо“.

Четвертая макрогруппа — это (IV) **ДЕТИ, ХОЗЯЙСТВО**. К группе (1) ДЕТИ имеют отношение следующие примеры: *Мать, волокущая за руку рыдающего ребёнка; Мама пасла детей; Уже почти ненавидели собственных детей и всё время дёргали их, орали, запрещали землю, лужи, возню и лазанье по деревьям; Они также трясутся над детьми и совершенно не понимают их; Многие матери становятся в подобных ситуациях сыщиками и полицейскими, в результате чего ломают отношения на всю оставшуюся жизнь.* Анализируя лексику, приходим к выводу, что в советском обществе наступает некое отрицание сакрализации материнства, которое в свою очередь становится долгом, повинностью. Такая тенденция может быть связана с отсутствием в СССР религии как таковой, ослаблением культа Божьей Матери.

Группа (2) **ХОЗЯЙСТВО** включает следующий языковой материал: *Вытянули на своём горбу бабы; Садилась на диван, не разувшись, и говорила: „Я устала как Бобик!“; Приходила вечером с полными сумками; мысль, что у женщины может быть какое-то собственное пространство, кроме кухни и работы, выглядела совершенно кощунственной.* Итак, получается, что кухня и работа — единственное пространство женщины.

Последняя макрогруппа — это (V) **РАБОТА**. Прежде всего хочется обратить внимание на то, что Арбатова тяготеет к образованию женских форм от форм мужских профессий, широко используя следующие существительные: *экскурсоводша, генеральша, тренерша, повариха, парикмахерша, библиотекариша, руссичка, математичка, биологичка, кондукторша, буфетчица, секретарша, врачиха, логопедша, географичка, директриса.* Замечательно то, что данные названия, хоть и относятся к числу стилистически сниженной лексики, не обязательно используются в негативном контексте.

Все обнаруженные нами фрагменты, связанные с женским трудом, мы условно разделили на две группы. Первой группой является группа (1) **РАБОТАЮЩАЯ**. К ней относятся такие примеры, как *была матерью двух детей и успевала ещё работать в двух местах, все женщины вокруг работали.*

Вторая группа — (2) **НЕ АКТИВНАЯ** — объединяет фрагменты: *Ляля была писательская дочка и никогда не проявляла социальной активности; Молодая, ничего не умеет, на работу не ходит; Работать Даша не могла и не хотела, ссылаясь на слабое здоровье; На работу она тоже не рвалась, ощущая себя обеспеченной женой; Скучающая обеспеченная женушка.* Сделаем вывод: если женщина, описанная как работающая, представ-

лена нейтрально, то женщина малоактивная предстает перед нами в негативном контексте. Женщина, выбравшая прежде привычные для нее традиционные женские обязанности (уход за домом и детьми), испытывала пресс общественного осуждения, ее клеймили „тунеядкой“, „лентяйкой“ и „барыней“¹². В советские времена считалось, что женщина должна трудиться наравне с мужчиной.

Итак, проанализировав образ постсоветской женщины в произведении Арбатовой, мы пришли к неоднозначным выводам. Содержание концепта имеет неоднородный и противоречивый характер. Нам удалось выяснить, что в ходе описания героинь в автобиографическом романе Мария Арбатова создала собирательный образ советской женщины, живущей в тяжелые времена на закате советской эпохи и рассвете новой постсоветской действительности. Такое непростое время требует от человека огромной внутренней силы духа, смирения, умения приспособляться к новой окружающей среде. Подобные испытания выпали на долю многих советских женщин, чьи взгляды и жизненные позиции уже сформировались в уходящую эпоху с ее особенностями, идеологией, принципами и распорядком. Женщина очутилась в сложном положении: все, что десятилетиями вкладывалось ей советским строем, она вынуждена переоценить и суметь устоять на совершенно новой подвижной и неустойчивой почве, которая и есть настоящее.

Неоднородность содержания концепта ОНА-ЖЕНЩИНА заключается в том, что он содержит в себе многоплановый, многомерный, полифонический образ женщины переходного поколения. Женщины, воспитанные во времена СССР, изначально наделены набором определенных установок, качеств, поведений, ценностей, характерных тому времени. В процессе приспособления к новой действительности каждая представительница вынуждена комплектовать из этого множества свое новое зрелое Я. Анализ языкового материала позволил выстроить многоликий, усредненный образ. В постсоветской женщине сочетаются отзвуки бесполого „homo soveticus“, активистки, испытывающей интерес к общественной деятельности, *гражданки-труженицы-матери*¹³, носительницы трех социальных ролей, исполняющей свой долг перед государством и в то же время малоактивной в социальном плане тунеядки, обузы общества; сочетаются качества завистливой, скандальной, враждебно настроенной соперницы, вечно недовольной, встречающей в жизнь близких родственницы и подруги-соратницы, устраивающей чаепития; бойкой охотницы за мужским вниманием и кошельком,

¹² Л.Н. Завадская, *Гендерная экспертиза российского законодательства*, Москва 2001.

¹³ Там же.

а также подчиняющейся и зависящей от мужского присутствия, опасющейся одиночества, клейма старой девы, с которой не считается общество. Это и сочетание признаков столичной образованной молодой девушки с необходимым набором внутренних и внешних качеств и, как противовес, необразованной, простой, косноязычной лимитчицы, безвкусно накрашенной, старой, излишне полной, или, наоборот, сухой, злобной тетки; властной, принципиальной и строгой по отношению к окружающим и измученной бытом матери, хозяйки, чей труд не ценят близкие. Этот стереотипный список макро- и микротематических мотивов можно в будущем продолжить, а также выяснить, напоминает ли портрет женщины в творчестве российской писательницы портреты героинь той же эпохи в польской литературе.

Именно поэтому в своих последующих исследованиях мы намерены изучить и представить сравнение концепта ЖЕНЩИНА в творчестве Марии Арбатовой и польской писательницы Катажины Грохоли.

Библиография

- А н у с и е в и ч J., *Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki*, Wrocław 1994.
- А с к о л ь д о в С.А., *Концепт и слово*, см.: Е.В. Д з ю б а, *Концепт „ум” в русской лингвокультуре*, Екатеринбург 2011.
- Г а ч е в Г.Д., *Жизнь художественного сознания*, Москва 1972.
- З а в а д с к а я Л.Н., *Гендерная экспертиза российского законодательства*, Москва 2001.
- З у с м а н В.Г., *Диалог и концепт в литературе. Литература и музыка*, Нижний Новгород 2001.
- Л и х а ч е в Д.С., *Концептосфера русского языка*, [в:] Е.В. Д з ю б а, *Концепт „ум” в русской лингвокультуре*, Екатеринбург 2011.
- Л и х а ч е в Д.С., *Концептосфера русского языка*, [в:] *Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология*, Москва 1997.
- М и л л е р Л.В., *Художественный концепт как смысловая и эстетическая категория*, „Мир русского слова”, Санкт-Петербург 2000, № 4, с. 39–45.
- П о п о в а З.Д., С т е р н и н И.А., *Когнитивная лингвистика*, Москва 2010.
- С а п о ж н и к о в а Ю.Л., *Жанр автобиографии: понятие и особенности*, „Ученые записки Забайкальского государственного университета. Сер.: Филология, история, востоковедение” 2012, № 2, с. 56.
- С т е п а н о в Ю.С., *Константы: словарь русской культуры*, Москва 2004.
- Ф е с е н к о А., Ф е с е н к о Т., *Русский язык при советах*, Нью-Йорк 1955.

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ АКЦЕПТАЦИЯ И ПОЛЕМИКА
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ.
НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ПЕРЕВОДОВ
САГИ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ

TRANSLATIONAL ACCEPTANCE AND POLEMICS
IN THE INTERPRETATION OF LITERARY PROPER NAMES.
ON THE BASIS OF RUSSIAN AND POLISH TRANSLATIONS
OF THE HARRY POTTER SAGA

KONRAD RACHUT

ABSTRACT. Translation of literary proper names boils down to either accurately rendering their original form/ meaning or finding equivalents which have less in common with their original versions. In the article the author attempts to deduce what might have caused the translators to choose one of the two strategies by means of analysing chosen examples from the saga. Apparently, the translators' decisions stem not only from the limitations of respective languages and cultures, but also from their individual approach towards the original text.

Konrad Rachut, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
konrad.rachut@gmail.com

Невозможно представить себе работу переводчика без словарей. Они ведь нередко становятся опорой в процессе принятия переводческих решений и нахождения эквивалентов для слов из литературного текста-источника. Однако, несмотря на это, в словарях литературных имен собственных (ИС) помещается не разъяснение их семантики, а описание персонажей, называемых ими. Этот факт вытекает из того, что ИС вне контекста полноценным значением не обладают, так как

являясь знаком фиктивного существования описываемого в художественном произведении предмета, собственное имя получает свою полноценную значимость не только в контексте других знаков художественного произведения, но и в контексте, понимаемом как широчайший принцип¹.

В связи с этим возможность установления семантики ИС читатель и переводчик получают только тогда, когда принимают во внимание со-

¹ В.М. К а л и н к и н, *Поэтика онима*, Донецк 1999, с. 115.

путствующий ИС пласт текста, что становится особо заметным в литературных произведениях. Как раз поэтому специфика семантики и, соответственно, перевода ИС имеет столько различий по сравнению с апеллятивами – у ИС невозможно установить постоянное значение, а только непосредственно связанное с контекстом литературного произведения.

Следует обратить внимание на то, что ономастами выделяются два основных типа ИС в художественных текстах: апеллятивизированные и неапеллятивизированные. В общих чертах, в случае обоих типов ИС, два базовых элемента семантического треугольника референт-слово-концепт с классической точки зрения являются проблематичными². Во-первых, относительно уровня концепта, неапеллятивизированные ИС находят свое значение в самом тексте произведения – слова, написанные автором, наполняют ИС значением и становятся их дефиницией³. К примеру, английское имя *Hedwig* (являющееся эквивалентом польского имени *Jadwiga*), использованное Дж. К. Роулинг в саге о Гарри Поттере для названия его совы-опекуниши, относится к святой Ядвиге Силезской – польской покровительнице сирот⁴. Таким образом историческое значение имени святой эксплицитно активизируется, поскольку Гарри действительно был сиротой, а сова выполняла роль его друга, помощника и защитника. Апеллятивизированные ИС, в свою очередь, наделяются семантикой благодаря тому, что их основой являются апеллятивы. Такие ИС – это „говорящие” ИС в прямом смысле слова: словарное значение составных частей ИС выражается в литературном референте ИС. К примеру, Раскольников становится бунтовщиком, Обломов – лентяем, а Разумихин – логически мыслящим человеком. В такой ситуации текст произведения становится лишь подтверждением причин, для которых автор выбрал или создал ИС, содержащее конкретный апеллятивный корень. Во-вторых, реальный уровень референта и у того, и у другого типа литературных ИС естественно утрачивается, так как автор описывает мир, не существующий в действительности – референт становится условным⁵. Только умелое владение словом позволяет писателю создать иллюзию реальности его

² Y. Bertills, *Beyond identification. Proper names in children's literature*, Turku 2003, с. 24.

³ Там же, с. 29.

⁴ A. Stando wicz, *Chosen aspects of the Polish translation of J.K. Rowling's „Harry Potter and the Philosopher's Stone” by Andrzej Polkowski: Translating proper names*, [в:] электронный ресурс: <http://translationjournal.net/journal/49potter.htm> (13.10.2015).

⁵ В.М. К а л и н к и н, *От литературной ономастики к поэтонимологии*, „Логос ономастики” 2006, № 1, с. 83.

фикциональной действительности — в таком случае связь между словом и его референтом кажется читателям настоящей.

Отметим, что значение неапеллятивизированных ИС по своей природе существенно отличается от значения апеллятивов — на первый план выдвигаются коннотации, которыми ИС сопровождаются. Точнее говоря, коннотации относятся не к самому ИС, а к его референту. Например, если ИС исторического персонажа используется автором для названия героя его романа, то делает он это с целью надления фикционального референта ИС в произведении ассоциациями, связанными с реально существующим человеком. Следовательно, положения относительно того, что ИС коннотируют, являются лишь упрощением. По сути, коннотации заложены в первичном референте данного ИС, а не в самом ИС. Используя коннотации первичного референта ИС, писатель создает параллель между историческим персонажем и героем своего произведения, которая основана на сходствах между обоими лицами. Эти сходства активизируют знания читателя и, соответственно, вызывают ассоциацию. Безусловно, для осознания этого факта читателю необходимы определенные энциклопедические знания, что в действительности часто не имеет места.

Независимо от типа ИС, подбирая их для определенного элемента действительности своего произведения, писатель использует антономазию⁶. Суть этого явления заключается в том, что значение производного слова либо коннотации первичного референта ИС, бытующего вне мира произведения, актуализируются в контексте конкретных черт носителя ИС в произведении. Иначе говоря, контекстуальное значение ИС выявляется с помощью основного⁷. Благодаря ИС и сопровождающим его описаниям в тексте автор подсказывает читателю, на какие языковые или культурные факты он в данном ИС ссылается. Таким образом, ИС становится лишь верхушкой имплицитного айсберга семантики — настолько сжатый графический знак обладает обширным контекстуальным смыслом.

В связи с этим базовая функция идентификации референта ИС уходит на задний план — ИС наделяется функцией характеристики, словно являясь метафорой⁸. По сути, ИС можно в такой ситуации воспринимать как краткий пересказ всего того, что было сказано на тему данного референта на протяжении всего произведения. Писатель

⁶ С.Ю. Капкова, *Перевод личных имен и реалий в произведении Дж.К. Ролинг „Гарри Поттер и Тайная комната“*, „Вестник ВГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация“ 2004, № 1, с. 76.

⁷ Н.В. Зимова, *К вопросу о значении и переводе имени „Гарри Поттер“ в романах Дж. К. Роулинг*, „Вестник МГОУ. Сер. Лингвистика“ 2011, № 5, с. 87.

⁸ М.В. Никитин, *Лексическое значение слова*, Москва 1983, с. 39.

заранее разрабатывает сюжет всей книги и на его основании называет конкретный элемент фикциональной действительности. „Он знает характеры, занятия душевные и физические занятия персонажей”⁹, а эта информация, естественно, недоступна для читателя. Поэтому читатель обязан обратить внимание на все информационные нюансы, относящиеся к референту ИС, поскольку только благодаря экспликации вышеприведенных фактов он сможет максимально приблизиться к первоначальному авторскому замыслу со своей интерпретацией. Конечно же, самой выгодной была бы та ситуация, когда сам автор произведения объяснил бы, что привело его к использованию конкретного ИС по отношению к данному референту. Такую возможность читатели, переводчики и литературоведы получают, однако, крайне редко, что заставляет их дедуцировать.

Переводчик, поняв оригинальный замысел писателя с позиции читателя-интерпретатора, перевоплощается и начинает играть роль автора перевода. Надо подчеркнуть, что создание качественного перевода ИС является огромным культурно-языковым вызовом, так как все ИС, в особенности неапеллятивизированные, глубоко укоренились в культурном пространстве, к которому принадлежит автор, либо относятся к элементам третьей культуры. Из этого вытекает факт, что язык — это не единственная граница, которую переводчику приходится перешагнуть. Он должен также суметь либо передать существенные факты культуры, чтобы дать читателям возможность правильно понять ИС, либо подстроить языковой и культурный пласты ИС к переводящим языку и культуре. Несомненно, текст-источник направлен на совсем другую аудиторию, обладающую совсем иными языковыми и культурными знаниями, чем получатели перевода, так что без межкультурного посредничества здесь невозможно обойтись. Широко понимаемая переводческая полемика вытекает не только из субъективности интерпретации литературного произведения, но также из ограничений, навязываемых культурой и языком адресатов перевода. Чаще всего бывает так, что тот второй факт становится „узким местом” для ИС — не имея возможности воссоздать полное значение ИС, переводчик вынужден выбрать основное русло значения по своему усмотрению.

Получается, что переводчик в процессе перевода ИС обычно вынужден приближать автора текста-источника к получателям перевода. Это связано с тем, что между обеими культурами имеются настолько существенные расхождения, что выраженный в оригинальном ИС концепт приходится перестраивать, в конечном итоге заметно модифицируя ИС в переводе, что после сравнения с оригиналом понимаем как переводческую полемику. При этом такая тенденция наблюдается

⁹ С.Ю. Капкова, указ. соч., с. 76.

в тех ситуациях, когда данный референт играет существенную роль в произведении и когда потенциальный перевод ИС способен в какой-то степени отразить значение оригинального ИС. Что касается переводческой акцептации, то она обычно выражается в том, что переводчик либо оставляет в переводе форму первоначального ИС, либо вводит незначительные изменения в суффиксальную структуру ИС, либо, наконец, переводит составляющие исходного ИС пословно. Независимо от того, намерен ли переводчик согласиться или поспорить с писателем, ему приходится осуществить такой же путь по ономазиологической тропе значений¹⁰. Исходя из концепта, заложенного в ИС, переводчик постепенно подбирает подходящие к нему слова. В дальнейшей части статьи представим примеры как переводческой полемики, так и акцептации в переводах ИС из саги о Гарри Поттере на русский и английский языки, пытаясь одновременно найти возможные причины, которые привели переводчиков к принятию таких решений. Подчеркнем, однако, что такие рассуждения имеют весьма субъективный характер и поэтому могут не быть единственными вариантами объяснения произошедших переводческих процессов.

Пример 1. Английский язык: *Skele-Gro*. Русский язык: *Скелерост*. Польский язык: *Szkiele-Wzro*.

Настоящие ИС называют медицинское средство, благодаря которому возможно полное восстановление костей в теле человека, причем это происходит мгновенно — в течение одной ночи. Данный медикамент был использован, когда Гарри во время игры в квиддиш сломал себе руку, а один из его учителей случайно удалил из нее кости, вместо того чтобы привести к их сращиванию. Такие магические свойства и выражаются в ИС, называющем этот медикамент: корень *skele* отсылает к понятию скелета, а *grow* — к понятию роста¹¹.

В случае обоих переводов имеем дело с точным отражением исходного смысла, но с использованием разных стратегий их записи. Русская переводчица Мария Спивак решила избавиться от исходного дефиса и срастить оба корня, что можно интерпретировать как интралингвальное отражение магических свойств медикамента. В свою очередь польский переводчик Анджей Польковский точнее образом передал как исходную семантику, так и исходную форму ИС. Соответственно, слова *szkiele* и *wzro* не только являются частями слов, где усечены конечные согласные (*szkiele-t* и *wzro-st*, аналогично оригиналу — *skele-ton* и *gro-w*), но также соединены с помощью дефиса. Так поль-

¹⁰ H. K a r d e l a, *Onomazjologiczny aspekt semantyki kognitywnej*, [в:] *Język a kultura. Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej*, pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej, Wrocław 1992, с. 47.

¹¹ С.Ю. Капкова, указ. соч., с. 77.

ский переводчик выражает свою полную акцептацию идеи писательницы, а русская переводчица полемизирует с оригиналом на уровне орфографии.

Пример 2. Английский язык: *Bludger*. Русский язык: *Нападала*. Польский язык: *Tłuczek*.

Оставаясь в теме игры квиддиш (название которой может также показаться интересным), проанализируем название одного из „живых” мячей, используемых в игре. Их заданием было сбрасывание игроков с метел или нанесение им травм, или же, по крайней мере, затруднение им полета. Писательница точно выразила заложенные в них коварные намерения, поскольку в ИС она относится к слову *bludgeon*¹² — ‘сильно кого-то ударять при помощи тяжелого предмета’. Несомненно, Дж. К. Роулинг метко подчеркивает характер называемого ей мяча. Переводчики также воссоздают заложенную в этом ИС характеристику мяча, причем в обоих случаях наблюдаем прием конкретизации.

В переводе М. Спивак наблюдаем прием изменения семантической перспективы онима, ибо она подчеркивает в нем эмоциональную интерпретацию действий мяча — удар становится актом напасти. Следует отметить, что референт данного ИС наделяется человеческими качествами. Совсем противоположные ассоциации вызывает в читателе польский перевод. Связано это с тем, что существительное *tłuczek* в основном ассоциируется с молотком для отбивания мяса. По всей вероятности, А. Польковский хотел придать ИС комический оттенок, хотя глагол *tłuc* лишен столь однозначной коннотации и имеет значение, аналогичное тому, которым обладает слово ‘bludgeon’. Поэтому полагаем, что польский перевод в очередной раз оказался ближе акцептации по сравнению с русским, несмотря на то, что на этот раз А. Польковский также добавил к семантике ИС что-то свое.

Пример 3. Английский язык: *Pensieve*. Русский язык: *дубльдум*. Польский язык: *myśłodsiewnia*.

Перейдем к ИС, которое называет чашу, используемую великими волшебниками для архивизации и упорядочения своих мыслей. В книгах о Гарри Поттере содержимое чаши, то есть человеческие мысли, представляется как жидкость и извлекается из головы при помощи волшебной палочки, которая прикладывается к виску. Таким образом можно избавиться от лишних мыслей и оставить их на потом. По словам Альбуса Думбльдора — директора школы Хогвартс, владельца чаши, — в свободное время можно к своим мыслям вернуться, просматривая их словно фильм и замечая детали, на которые раньше не

¹² A. P o l k o w s k i, *Kilka słów od tłumacza, czyli krótki poradnik dla dociekliwych*, [в:] J. K. R o w l i n g, *Harry Potter i Kamień Filozoficzny*, Poznań 2000, с. 205.

обратилось внимания. Исходное название чаши, *Pensieve*, Дж. К. Роулинг основывает на словах *pensive* и *sieve*¹³, причем они подобраны настолько умело, что их сращивание привело только лишь к добавлению *e* к слову *pensive*. Первое слово переводится на русский язык как 'задумчивый, погруженный в раздумье' — существенно то, что это относится к серьезным мыслям. Второе слово, в свою очередь, обозначает сито. Следовательно, это ИС отчетливо „говорит” о том, что описываемый им объект предназначен для просеивания мыслей.

Что касается перевода М. Спивак, невозможно не заметить в нем корня *дум*, несомненно связывающего чашу с мыслями. Однако вместо того чтобы сохранить метафору сита, переводчица приняла решение о приближении предмета к его владельцу — *дубль* относится к фамилии Думбльдор. Воспринимаем это решение как компенсацию непередаваемого, на взгляд переводчицы, смысла сита, несмотря на тот факт, что *дубльдум* звучит несколько комически. Безусловно, в этом случае наблюдается прием апеллятивизации исходного ИС — в переводе оно записывается с маленькой буквы. Из этого вытекает то, что, по мнению М. Спивак, чаша переходит из разряда артефактов уникальных в разряд обычных предметов, а это существенно усугубляет изначальную исключительность предмета. Аналогично поступил А. Польковский в случае своего варианта перевода. Создав слово *myśłodsiewnia*, он искусно совмещает мышление (*myśl*) с просеиванием (*odsiewnia*). Благодаря использованию такой стратегии он полностью воссоздает как значение составляющих частей английского ИС, так и авторский прием их сращивания. Это сводится к тому, что первая буква слова *odsiewnia* позволяет первому слову плавно перейти во второе. Обобщая, можно сказать, что оба переводчика соглашаются с Дж. К. Роулинг лишь в незначительной степени, существенно изменяя не только семантику, но также и тип используемого ими слова для перевода ИС.

Пример 4. Английский язык: *Portkey*. Русский язык: *портключ*. Польский язык: *świstoklik*.

Сейчас займемся очередным магическим предметом, который на этот раз был предназначен для телепортации волшебников. Надо подчеркнуть, что он всегда должен был бы быть незаметным для посторонних глаз. Способность мгновенно переносить людей в пространстве писательница передает благодаря корню *port*, связанному с телепортацией или транспортом¹⁴. Ссылку на ключ (*key*) понимаем как метафору, поскольку с помощью этого объекта волшебник „открывал” перед собой возможность телепортации.

¹³ A. P o l k o w s k i, *Kilka słów od tłumacza, czyli krótki poradnik dla dociekliwych*, [в:] J.K. R o w l i n g, *Harry Potter i Czarna Ognia*, Poznań 2001, с. 467.

¹⁴ Там же, с. 468.

В обоих переводах невозможно не заметить, что в очередной раз наблюдается в них прием апеллятивизации. По всей вероятности, переводчики хотели таким способом привнести в предмет характер обыденности. Что касается значения, М. Спивак сохраняет корень *порт*, но *ключ* компенсирует при помощи *шлюса*, толкуемого как 'у кавалеристов — сжимание седла коленями и ляжками как условие прочной посадки'¹⁵. Замечаем здесь метафорическое использование существительного, параллельное оригиналу, так как во время полета волшебники всегда ощущали сжимание их внутренних органов и должны были оставаться без движения. При этом *шлюс* может также восприниматься как звукоподражание, на что А. Польковский делает в своем переводе особый упор. И так, как *świst* ('свист'), так и *klik* ('клик') являются в польском языке выражениями ономастической природы. Первое отражает тот звук, который образуется, когда один объект проносится мимо другого, а второе ассоциируется с внезапностью. Благодаря этому переводчик сумел выразить быстроту перемещения на двух уровнях, в добавление плавно соединяя оба слова при помощи интерфикса *o*. Обобщая, можно сказать, что русская переводчица наполовину согласилась с вариантом ИС в оригинале, воссоздавая значение первого составляющего и метафорическое употребление второго, а польский переводчик решил полемизировать с оригиналом, конкретизируя семантику подлинника благодаря сосредоточению внимания на основном качестве предмета.

Пример 5. Английский язык: *Death Eaters*. Русский язык: *Убивающие Смерть*. Польский язык: *śmierciożercy*.

Death Eaters — это единственное среди анализируемых примеров ИС, относящееся к людям. Этим ИС называется группа слуг Волан-де-Морта, выполняющих его приказы — чаще всего они убивали людей, а также пытали их. Тот факт, что они были убийцами, передается в их ИС, поскольку в дословном переводе они были „Пожирателями Смерти” (это и есть альтернативная версия перевода ИС издательства Росмэн). Пожирание смерти несомненно ассоциируется с коварностью и беспощадностью действий этой группировки. М. Спивак отражает их столь зловещие качества с помощью слова *убивающиеся*, что еще сильнее подчеркивает их фанатизм. А. Польковский принял решение создать неологизм — он основал свою версию ИС на существующем польском слове *ludożercy* (*людоеды*)¹⁶, благодаря чему она воспринимается весьма натурально. Обратим внимание на тот факт, что по-русски

¹⁵ Толковый словарь русского языка, [в:] электронный ресурс: <http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/25/us4d5525.htm> (12.10.2015).

¹⁶ A. P o l k o w s k i, *Kilka słów od tłumacza...*, указ. соч, Poznań 2001, с. 468.

версия „Смертеды” также звучала бы естественно, однако такой версии не находим в переводе. В общем, на этот раз М. Спивак полностью соглашается с Дж. К. Роулинг, добавляя лишь больше эмоциональности в ИС. А. Польковский полемизирует с исходным ИС на уровне формы, но полностью сохраняет изначальную семантику ИС.

На основании вышеприведенных примеров становится очевидным, насколько ИС и текст произведения, в котором они используются, тесно связаны друг с другом. В конечном итоге надо сказать, что „говорящие” имена начинают действительно говорить только тогда, когда читатель и переводчик активно углубятся в текст и попытаются найти взаимоотношения между описаниями референта ИС и самим ИС. По всей вероятности, как переводчик, так и читатель получают возможность полемизировать и акцептировать изначальные намерения писателя в вопросе наполнения ИС значением, поскольку воображение, а в том числе коннотативная цепь значений, работают у каждого человека по-разному. Что касается самих переводов ИС из саги о Гарри Поттере, то следует отметить, что семантика и форма исходных ИС отражалась в переводах неточно не только из-за культурно-языковых расхождений, но также из-за собственной творческой инвенции переводчиков. Однако независимо от того, как бы человек ни понимал ИС, они все-таки являются основным творческим приемом в процессе строения фикционального мира в литературном тексте.

Библиография

- З и м о в е ц Н.В., *К вопросу о значении и переводе имени „Гарри Поттер” в романах Дж. К. Роулинг*, „Вестник МГОУ. Сер. Лингвистика” 2011, № 5.
- К а л и н к и н В.М., *От литературной ономастики к поэтонимологии*, „Логос ономастики” 2006, № 1.
- К а л и н к и н В.М., *Поэтика онама*, Донецк 1999.
- К а п к о в а С.Ю., *Перевод личных имен и реалий в произведении Дж. К. Ролинг „Гарри Поттер и Тайная комната”*, „Вестник ВГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация” 2004, № 1.
- Н и к и т и н М.В., *Лексическое значение слова*, Москва 1983.
- Толковый словарь русского языка*, [в:] электронный ресурс: <http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/25/us4d5525.htm> (12.10.2015).
- B e r t i l l s Y., *Beyond identification. Proper names in children’s literature*, Turku 2003.
- K a r d e l a H., *Onomazjologiczny aspekt semantyki kognitywnej*, [в:] *Język a kultura. Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej*, под ред. I. Nowakowskiej-Kempnej, Wrocław 1992.

- P o l k o w s k i A., *Kilka słów od tłumacza, czyli krótki poradnik dla dociekliwych*, [B:] J.K. R o w l i n g, *Harry Potter i Kamień Filozoficzny*, Poznań 2000.
- P o l k o w s k i A., *Kilka słów od tłumacza, czyli krótki poradnik dla dociekliwych*, [B:] J.K. R o w l i n g, *Harry Potter i Czara Ognia*, Poznań 2001.
- S t a n d o w i c z A., *Chosen aspects of the Polish translation of J.K. Rowling's „Harry Potter and the Philosopher's Stone” by Andrzej Polkowski: Translating proper names*, [B:] элекТрон-ный ресурс: <http://translationjournal.net/journal/49potter.htm> (13.10.2015).

СЛОЖНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
В ЭЛЕКТРОННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ

COMPOUND INNOVATIONS IN ONLINE RUSSIAN MASS MEDIA

ЛАРИСА РАЦИБУРСКАЯ

ABSTRACT. The article considers the structure and functions of compound innovations in online Russian mass media. These innovations are composed by the usual means of pure composition and root affixation. Contaminated innovations, which are non-standard in structure, are also analyzed. The factors contributing to the expressiveness of innovations are singled out: irregularity of derivational structure, non-usual combinations of constituent parts of innovations, play upon precedent phenomena.

Лариса Рацибурская, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород — Россия, racib@yandex.ru

Интернет, по словам ученых, „является самым широким, самым разнообразным и самым сложным коммуникативным пространством, средством и каналом связи, придуманным и созданным когда-либо человеком”¹. Присущие средствам массовой коммуникации функции сообщения и воздействия усиливаются в сетевых масс-медиа благодаря более широким интерактивным возможностям последних. По мнению ученых, „в СМИ функция воздействия, убеждения начинает вытеснять остальные языковые функции (например, информирования) и средства массовой информации превращаются в средства массового воздействия”². Действенным средством экспрессивизации интернет-текста являются новообразования, значительное число которых представлено сложными конструкциями.

В электронных СМИ преобладают сложные новообразования, созданные способом чистого сложения. Они создаются, как правило, сложением полных основ: „**Наградоначальник**. Владимир Путин воздал ордена и медали по заслугам перед Отечеством” (10.12.2015, <http://www.kommersant.ru/doc/2874126>) — награда + начальник; „**Кукло-вывод**. Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» выселяет детский театр из центра

¹ Б. Тошович, *Интернет-стилистика*, Москва 2015, с. 29.

² С.В. Ильясова, Л.П. Амри, *Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы*, Москва 2015, с. 11.

Москвы” (27.01.2011, <http://www.newizv.ru/society/2011-01-27/140047-kuklovyvod.html>) – *кукла + вывод*; „Правила **провокации**. В России крепнет новая форма объединения граждан. Они не ведут людей на оппозиционные митинги и не пикетируют судов. В их поле зрения – собственная среда обитания и местные проблемы” (15.10.2012, <http://www.kommersant.ru/doc/2040115>) – *право + качание*.

В качестве одной из основ при чистом сложении могут выступать имена собственные (или их части), а также аббревиатуры: „**Петроградация**. Лев Лурье – о провинциализации культурной столицы России” (17.12.2012, <http://www.kommersant.ru/doc/2087160>) – *Петроград + деградация*; „**Энхаэлозависимость**. Как отразится на клубах КХЛ возвращение лидеров за океан” (17.01.2013, <http://www.mk.ru/sport/2013/01/17/799647-enhaelozavisimost.html>) – *энхаэл (НХЛ) + зависимость*; „**Росалкогольпровокация**. Почему капитан ФСБ оказался за решеткой после встречи с главным «водочным» чиновником” (15.11.2015, <http://www.mk.ru/social/2015/11/15/pochemu-kapitanfsb-okazalsyazareshetkoy-poslevstrechi-s-glavnym-vodochnym-chinovnikom.html>) – *росалкоголь + провокация*.

Экспрессивность и оценочность сложных новообразований типовой структуры, созданных узуальными способами, могут быть связаны с непривычным, незуальным сочетанием исходных основ, а также с семантикой мотивирующих (*провокация, деградация, зависимость*) и с теми реалиями, которые ассоциируются с исходными словами и с новообразованиями. Экспрессия может быть контекстуально и ситуативно обусловленной.

Некоторые сложные новообразования созданы путем заменительного словообразования, при котором в исходном слове заменяется корневая морфема или неморфемная часть и которое исследователи обычно относят к незуальным способам: „**Сетепредставление**. Андрей Муров и Олег Бударгин поспорят за пост гендиректора «Российских сетей»” (11.01.2013, <http://www.kommersant.ru/doc/2102594>) – исходное *светопредставление*; „**Фальшивотаблетчики**. О фармакологических фальшивках ходит немало мифов” (21.01.2013, <http://www.itogi.ru/delo/2013/3/186102.html>) – исходное *фальшивомонетчики*; „**Турецкопойманные**. Россию обвинили в поставках оружия Сирии” (12.10.2012, <http://www.kommersant.ru/doc/2042264>) – исходное *турецкоподданные*; „**Законоругатели**. На встрече Владимира Путина с депутатами «акту Магнитского» досталось как следует” (14.12.2012, <http://www.kommersant.ru/doc/2089366>) – исходное *законодатели*; „**Верховный главноиграющий**. 7 октября президент России Владимир Путин встретил 63-й день рождения на хоккейной площадке во дворце спорта «Шайба» и отметил его семью голами в ворота сборной Ночной хоккейной лиги (НХЛ)”

(07.10.2015, <http://www.kommersant.ru/doc/2827182>) – исходное (*верховный*) главнокомандующий; „Заслуженный **телеуидущий**. Гендиректор НТВ Владимир Кулистиков решил не продлевать контракт” (22.07.2015, <http://www.kommersant.ru/doc/2773234>) – исходное *телеведуший*. При заменительной деривации новообразования могут возникать в результате замены актуального или этимологического префикса: „**Золотоумышленники**. Госкорпорация «Внешэкономбанк» чуть не лишилась крупного месторождения в Читинской области” (06.12.2012, <http://www.kommersant.ru/doc/2083694>) – исходное *золотопромышленники*. Экспрессия новообразований, созданных путем заменительной деривации, усиливается в результате их каламбурного столкновения с исходными словами.

К сложным новообразованиям близки по структуре новообразования с аффиксоидами, среди которых преобладают префиксоиды заимствованного характера: „**Телевыстрел** мимо цели. Вторая «Анатомия протеста», как первая, реальную повестку дня заменяет мифологией” (08.10.2012, http://www.ng.ru/politics/2012-10-08/1_mimo.html); „Лавров проверил **евроконтакты**. Россия и ЕС продолжают взаимодействие, несмотря на кризис в отношениях” (Лента.ru, 20.05.2015, <https://lenta.ru/articles/2015/05/19/eurominist/>); „**Еврояичница** на российском газе. Молдавский премьер хочет получить от Москвы дешевые энергоносители и Приднестровье” (12.09.2012, <http://www.mk.ru/politics/2012/09/12/747921-evroyaichnitsa-narossiyskom-gaze.html>); „**Кибершпионы** использовали уязвимость в ОС на компьютерах чиновников альянса” (14.10.14, <http://newdaynews.ru/incidents/514941.html>); „Иностранные **кибершпионы** активизировались в России” (14.05.2015, <http://www.info-smi.ru/inostrannye-kibershpiiony-aktivizirovalis-v-rossii/>); „Пролетарии всех **киберстран**, объединяйтесь! На Глобальной конференции в Гааге даже Запад согласился, что с интернетом надо что-то решать” (18.04.2015, <http://www.kommersant.ru/doc/2712459>); „**Кибервойска** будут сформированы в Вооруженных силах Армении” (11.10.2014, <http://ria.ru/world/20141028/1030527743.html>); „Россия создает **кибервойска**” (05.08.2013, <http://inosmi.ru/politic/20130805/211609091.html>); „США и Россия создадут «горячую линию» для предотвращения случайной **кибервойны**” (19.06.2013, <http://inosmi.ru/world/20130619/210205763.html>); „США и Россия подписывают соглашение о создании линии связи по **кибербезопасности**” (18.06.2013, <http://inosmi.ru/russia/20130618/210145773.html>); „Пора всерьез отнестись к угрозе кибератак” (20.05.2013, <http://inosmi.ru/world/20130520/209142744.html>); „**Начистка**. За что Анатолий Чубайс уволил две трети менеджеров «Роснано»” (25.05.2015, <https://lenta.ru/articles/2015/05/25/rosnano/>);

„**Нео-Сталин, нано-Путин** и папаша Зюганов” (22.12. 2012, echo.msk.ru/blog/ritty/974514-echo/).

В меньшей степени в российских электронных СМИ представлены новообразования с суффиксоидами исконного и заимствованного характера: „Ожидается **лифтопад**. Сегодня в России за лифты в подъездах и на производстве никто не отвечает” (15.03.2013, <http://www.rg.ru/2013/03/15/lift.html>); „Чисто теоретическая сексуальность этой девушки не вызывает в моем хорошо одетом организме никаких реакций: что бы там ни говорили **фрейдоманы**, простое человеческое страдание все-таки сильнее первобытного полового инстинкта” (16.02. 2012, http://expert.ru/russian_reporter/2012/06/homyachkam-holodno/); „**Украинофилы** готовы к автономии духовной” (16.05.2015. <http://lenta.ru/comments/articles/2015/05/16/milukov/>).

Сочетание префиксоида заимствованного характера с исконной основой способствует экспрессивизации новообразования (*телевыстрел, еврояичница, кибервойска, кибервойна, киберстраны, кибербезопасность, наночистка*), как и сочетание иноязычной основы с исходным суффиксоидом (*лифтопад*). Степень экспрессивности выше у новообразований, в которых иноязычный префиксоид сочетается с личным именем собственным (*нео-Сталин, нано-Путин*).

В современных электронных российских СМИ представлено большое количество неузуальных новообразований контаминированного характера, в которых произвольно совмещаются формально тождественные части исходных слов. Достаточно активно создаются новообразования с совмещением конечной части первого исходного слова и начальной части второго — так называемое междусловное наложение: „С **футболом** в сердце. Жеребьевка ЧМ-2018 была полна скрытых интриг и переживаний” (26.07.2015, <http://www.kommersant.ru/doc/2776789>) — *футбол + боль*; „**Троллевые** игры. Сотрудник «фабрики интернет-ботов» добивается выплаты выходного пособия” (28.05.2015, <http://www.kommersant.ru/doc/2736166>) — *троль + ролевые (игры)*; „**Мимимитинг**. Собачки, котейки и рыбки соберутся на митинг в Екатеринбурге под предводительством котенка-политика Бублика” (07.07.2012, <http://ura.ru/news/1052143746>) — *мимими* (выражение умиления в интернет-коммуникации) + *митинг*; „**Вузы экстра-класстера**: объединение высших учебных заведений должно идти по новому принципу” (27.12.2012, <http://www.mk.ru/social/2012/12/27/793272-vuzyi-ekstraklasstera.html>) — *экстра-класс + класстер*.

В некоторых случаях одним из исходных слов для новообразования-гибрида является сложное слово или аббревиатура: „**Физкультприветливые** лица. Казань встретила Владимира Путина песней про любовь и золотом Универсиады” (20.03.2013, <http://www.kommersant.ru>).

ru/doc/2149958) – *физкультпривет + приветливые*; „Очень **узкие** места. По каким правилам будут поступать в вузы абитуриенты-2016” (12.10.2015, <http://www.rg.ru/2015/10/13/postuplenie.html>) – *вуз + узкие*.

В качестве исходных слов могут выступать варваризмы: „**Хэнде-хохма**». В Берлине проект «Гражданин поэт» приняли за художественную самодеятельность” (07.12.2012, <http://www.rg.ru/2012/12/07/poet.html>) – *хендехох + хохма*.

При гибридизации возможны разного вида формальные видоизменения исходных слов, в частности чередования, замены графем: „**Росгосстрашное** предупреждение. Как Центральный банк и страховщики пугают друг друга” (27.05.2015, <https://lenta.ru/articles/2015/05/26/rosgos/>) – *росгосстрах* (Российское государственное страхование) + *страшное*. Возможно усечение начальной части второго слова: „Прыжок из **тратосферы**. Ближайшие три года Белый дом намерен расходы только сокращать” (21.10.2015, <http://kommersant.ru/doc/2836627>) – *траты + стратосфера*; „**Убедителей** не судят. Как Владимир Путин и Франсуа Олланд нашли друг друга” (26.11.2015, <http://kommersant.ru/doc/2863010>) – *убедить + победителей (не судят)*; „Хроники **кипроприации**: на остров сбросили гуманитарный груз – пять миллиардов евро наличными” (29.03.2013, <http://www.novayagazeta.ru/economy/57427.html>) – *Кипр + экспроприация*. В некоторых случаях отсекается конечная часть первого исходного слова: „С **лихорадостным** настроением встречали Новый год члены правительства с Владимиром Путиным” (14.01.2016, <http://www.kommersant.ru/doc/2890868>) – *лихорадочно + радостный*; „**Убеженец**. Как Джулиан Ассанж обхитрил англосаксонский истеблишмент и что ему за это будет” (20.08.2012, <http://www.rusrep.ru/article/2012/08/20/ubezhenec/>) – *убежище + беженец*; „**Контрабатькин** товар. Белоруссия продает российскую нефть на Запад под видом растворителей” (12.10.2012, <http://www.mk.ru/politics/article/2012/10/11/760197-kontrabatkin-tovar.html>) – *контрабанда + батькин*; „**Фармагеддон** не за горами. Новые импортные лекарства в 2016 году не будут допущены на российский рынок” (29.01.2016, <http://kommersant.ru/doc/2902728>) – *фарма + армагеддон*; „Как **дагестать** богатым. Минкавказ предлагает отдельно финансировать Дагестан” (16.05.2015, <http://www.kommersant.ru/doc/2728297>) – *Дагестан + статья*.

В качестве исходных слов могут выступать аббревиатуры: „**Незачоп**. В МВД считают, что время, когда иные «новые русские», среди которых – криминальные лидеры, создавали под видом ЧОПов и разношерстных «служб безопасности» частные армии, почти прошло” (02.04.2013, <http://rg.ru/2013/04/02/nezachop.html>) – *незачет + ЧОП*; „**Росгосстрашное** предупреждение. Как Центральный банк и страховщики пугают друг друга” (27.05.2015, <https://lenta.ru/articles/2015/05/>)

26/rosgos/) – *росгосстрах* (Российское государственное страхование) + *страшное*; „**Бомжья** благодать. Двадцать два года на улице. Трагическая история Алевтины Укустовой” (21.05.2015, <http://www.mk.ru/social/2015/05/21/dvadcat-dva-goda-na-ulice-tragicheskaya-istoriya-alevtiny-ukustovoy.html>) – *бомжья* + *бомж* (без определенного места жительства).

В последнем случае одно из исходных слов вставляется внутрь другого, в подобных случаях ученые говорят о тмезисе: „**Туркоператоры**. Российский МИД не рекомендует гражданам посещать Турцию” (24.11.2015, <http://rg.ru/2015/11/25/tur.html>) – *туркоператоры* + *турки*; „**Шпионообмания**. Правозащитники просят президента не вводить общество в заблуждение насчет их агентурных связей с заграничней” (01.10.2015, <http://kommersant.ru/doc/2822586>) – *шпиономания* + *обман*; „**Удоверовал**. Владимир Путин закрепил за собой 500 доверенных лиц” (11.12.2012, <http://www.kommersant.ru/doc/2087256>) – *уверовал* + *доверенное (лицо)*; „**Пресс-президентия**. Владимир Путин показал себя таким, каким решил показать” (21.12.2012, <http://www.kommersant.ru/doc/2094748>) – *пресс-конференция* + *президент*; „**Торпедовыносы**. Поставки запчастей дали материал для нового дела против «Оборонсервиса»” (06.02.2013, <http://www.kommersant.ru/doc/2121241>) – *торпедоносцы* + *выносить (вынос)*; „**Заофшоренные**. Российские бизнесмены, не платящие налоги в России, будут лишены важных возможностей” (27.12.2012, <http://www.rg.ru/2012/12/27/ofshor.html>) – *зашоренные* + *офшор*.

Сложные новообразования неузульной словообразовательной структуры по-разному определяются, терминируются в российской лингвистике: слово, созданное путем междусловного наложения (И.А. Янко-Триницкая), новообразования-гибриды (Л.В. Рацибурская), контаминированные образования (Е.А. Земская). В силу ярко выраженной неузуальности их структуры подобные гибридные новообразования характеризуются высокой степенью экспрессивности и служат действенным средством воздействия на сознание носителей языка.

К дискурсивным средствам экспрессивизации сложных новообразований относятся прецедентные феномены, в частности прецедентные тексты, „значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников”³. Прецедентные тексты и, шире, феномены хорошо известны „всем представителям национально-лингво-культурного сообщества”, актуальны „в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане”⁴. Медийщики давно

³ Ю.Н. Караулов, *Русский язык и языковая личность*, Москва 1987, с. 216.

⁴ В.В. Красных, „Свой” среди „чужих”: миф или реальность, Москва 2003, с. 170.

активно обыгрывают прецедентные феномены при создании новообразований: *Верховный главноигроющий* (ср. устойчивое сочетание *верховный главнокомандующий*), *Пролетарии всех киберстран, объединяйтесь!* (ср. марксистский лозунг *Пролетарии всех стран, объединяйтесь!*), *вузкие места* (ср. фразеологизм *узкое место*), *тролевые игры* (ср. устойчивое сочетание *ролевые игры*), *убедителей не судят* (ср. фразеологизм *победителей не судят*), *бомжья благодать* (ср. фразеологизм *божья благодать*). Удачное словотворчество способствует

акцентированию внимания читателя на актуальных общественных проблемах, актуализирует имеющиеся у читателя культурологические знания и лингвистические представления о связях языковых единиц и способствует расширению образовательного пространства в современном обществе⁵.

Следует также отметить активное использование медийщиками новообразований в заголовках электронных текстов в информационно-развлекательной функции: с целью заинтересовать адресата, привлечь его внимание к публикации и в определенной степени, частично намеком, информировать о содержании текста.

Для заголовочных новообразований [...] актуальной [...] является проблема адекватного истолкования читателем, степень информативности: заголовок, как правило, не поясняет новообразование, расшифровка окказионализма во многом базируется на анализе его структуры. Заголовочные новообразования могут иметь определяющее значение в процессе отбора публикаций читателем⁶.

В тех случаях, когда заголовок не очевидно коррелирует с содержанием текста, новообразования не производят необходимого коммуникативного эффекта („Хэндехохма“, „Удоверовал“, „Незачоп“).

Таким образом, сложные новообразования в электронных российских СМИ различаются по характеру их словообразовательной структуры (стандартная/нестандартная) и по способам словообразования (узуальные / неузуальные). Структурно-семантическая специфика сложных новообразований влияет на степень их экспрессивного воздействия на сознание адресата. К факторам, способствующим экспрессивизации сложных новообразований, относятся нестандартность их деривационной структуры, неузуальные способы их создания, неузуальные сочетания составляющих новообразования частей, обыгрывание прецедентных феноменов.

⁵ Л.В. Рацибурская, Н.А. Самыличева, А.В. Шумилова, *Специфика современного медийного словотворчества*, Москва 2015, с. 84.

⁶ Там же, с. 92.

Библиография

Ильясова С.В., Амири Л.П., *Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы*, Москва 2015.

Караулов Ю.Н., *Русский язык и языковая личность*, Москва 1987.

Красных В.В., *„Свой” среди „чужих”: миф или реальность*, Москва 2003.

Рацибурская Л.В., Самыличева Н.А., Шумилова А.В., *Специфика современного медийного словотворчества*, Москва 2015.

Тошович Б., *Интернет-стилистика*, Москва 2015.

PARADYGMAT ANTROPOCENTRYCZNY JAKO KATEGORIA
LINGWISTYCZNA W BADANIU OBIEKTÓW JEZYKOWYCH

THE ANTHROPOCENTRIC PARADIGM AS A LINGUISTIC CATEGORY
IN LANGUAGE STUDIES

ANDRZEJ SITARSKI

ABSTRACT. This study constitutes an attempt to present views from contemporary cognitive linguistics on the definition and realization of the anthropocentric paradigm in the language system. On the basis of researchers' opinions, the author comes to the conclusion that a language can be analyzed as a peculiar semantic system whose realization is related to a human being. The available results of linguistic object studies, which take into consideration the anthropocentric paradigm, prove that nowadays anthropocentrism should be presented as a linguistic category.

Andrzej Sitarski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
sitarski@amu.edu.pl

Ideę antropocentryczności języka we współczesnym językoznawstwie można uznać za powszechnie akceptowalną. Dla wielu językoznawczych metod badawczych pojęcie człowieka w języku występuje w charakterze naturalnego punktu odniesienia w stosunku do analizowanych zjawisk i obiektów językowych. Zasada antropocentryzmu w językoznawstwie udowadnia, że osiągnięcie adekwatnego pojęcia na temat istoty języka jest możliwe tylko w wypadku zbadania istoty człowieka uświadamiającego sobie samego siebie, swoje miejsce w świecie, a także swoją rolę w działaniach praktycznych. Jednocześnie poznanie człowieka jest niemożliwe bez jego języka. Dlatego tak istotna w badaniach obiektów językowych jest diada „człowiek – język”, która powinna znaleźć się w centrum współczesnych badań antropologicznych. E. Seliwanowa w pracy *Основы лингвистической теории текста и коммуникации* stwierdza, że: „текстово-дискурсивная категория антропоцентричности проявляется в том, что гносеологическим и коммуникативным центром дискурса и текста является человек, его индивидуальное сознание” [Селиванова 2002: 228]. W kategorii antropocentryczności można wyodrębnić podkategorie adresanta i adresata, które funkcjonują w skomplikowanej relacji wzajemnej, charakteryzując się odrębnymi, właściwymi dla siebie środkami realizacji językowej. Pozy-

cja adresata wkomponowana jest w tekst, stanowiący przykład znaku językowego zgodnego z założeniem i intencją autora, jego koncepcją adresowanego do odbiorcy tekstu.

Antropocentryczny paradygmat naukowy, który został sformułowany na przełomie XX i XXI wieku, jest twórczo i poznawczo wykorzystywany i rozbudowywany w opisie obiektów, którymi zajmuje się współczesne językoznawstwo, szczególnie językoznawstwo kognitywne i kulturowe.

Paradygmat antropocentryczny to przeniesienie uwagi badacza z analizowanego obiektu na podmiot czyli analizę człowieka w języku i języka w człowieku. Człowiek z punktu widzenia paradygmatu antropocentrycznego poznaje rzeczywistość poprzez uświadomienie sobie w niej samego siebie, swojej teoretycznej i empirycznej działalności.

Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt badań językoznawczych, które traktują język nie tylko jako środek i narzędzie komunikacji, ale również jako źródło wiedzy o samym człowieku i percypowanej przez niego rzeczywistości. Taka postawa wyznacza antropocentryczny kierunek w badaniach języka, który odwzorowuje świat takim, jakim jest on postrzegany przez człowieka, w jaki człowiek wierzy, a nie taki, jakim ten świat jest w rzeczywistości.

Antropocentryzm jest jednym z najważniejszych paradygmatów stosowanych w metodach badawczych przełomu XX i XXI wieku. Współcześnie paradygmat antropocentryczny jest uwzględniany przez badaczy analizujących zagadnienia kodowania i dekodowania, a także przekazywania informacji za pomocą różnych źródeł, w tym przede wszystkim za pomocą języka. Taka postawa badawcza stworzyła warunki do zbliżenia różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim jednak doprowadziła do humanizacji nauki. Sambor Grucza zauważa, iż

[...] ustawienie konkretnego mówcy-słuchacza, a właściwie jego szeroko pojętych właściwości językowych, w centrum naukowego poznania zaskutkowało intensyfikacją lingwistycznych rozważań [Grucza 2011: 150].

Dostrzegając słuszność założeń teorii antropocentrycznej w badaniach lingwistycznych S. Grucza stwierdza, iż język ludzki nie tylko jest nierozdzielnie związany z człowiekiem, ale ponadto jest on jego kognitywną właściwością konstytutywną [Grucza 2011: 150]. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, na co zwróciliśmy już uwagę wcześniej, iż współcześnie w lingwistyce funkcjonują równoległe dwa podejścia badawcze do języka: lingwocentryczne (systemowocentryczne) i antropocentryczne, między którymi nie ma żadnej przepaści, chociaż każde z tych podejść posiada swoje priorytety i swoją dynamikę badawczą. Stymulującym czynnikiem dla językoznawców prowadzących badania w systemie antropocentrycznym jest

z pewnością aktywnie rozwijające się współcześnie językoznawstwo korpusowe.

Antropocentryzm jako paradygmat współczesnych badań w obszarze lingwistyki pozwala interpretować obiektywną rzeczywistość poprzez pryzmat człowieka. Wszechstronny i głęboki związek człowieka z przyrodą ujawnia się w kognitywnej jego ewolucji, dlatego też struktura świata poznawana przez homo sapiens nie może nie zostać utrwalona w jednej z podstawowych form tego poznania, jaką jest język. Zgodnie z zasadą antropocentryzmu człowiek jest zdolny do opanowania języka w procesie korzystania z niego. Według S. Gruczy ustawienie człowieka i jego rzeczywistych umiejętności językowych w centrum badawczego zainteresowania lingwistyki jest konsekwencją uznania, że punktem wyjścia i ostatecznym punktem odniesienia rozważań lingwistycznych jest konkretny mówca/słuchacz i jego konkretne umiejętności językowe [Grucza 2011: 151].

Język można analizować jako szczególny system semantyczny, którego realizacja pozostaje w relacji do człowieka, wykorzystującego ten system w różnych sytuacjach poznawania i interpretowania obiektywnej rzeczywistości. Wpływ rozmaitych czynników, jak stwierdza Krzysztof Korzyk, na konstytuowanie się fenomenu znaczenia, wskazuje jednocześnie na konieczność ujmowania go w perspektywie antropocentrycznej [Korzyk 1992: 64]. J. Apresjan zwraca uwagę, że semantyka znaku językowego odzwierciedla przede wszystkim naiwne pojmowanie rzeczy, właściwości, czynności, procesu, wydarzenia itp. Tworzony przez wieki naiwny obraz świata, w skład którego wchodzi naiwna geometria, naiwna fizyka, naiwna psychologia itd., odzwierciedla materialne i duchowe doświadczenia etnosu posługującego się danym językiem i dlatego może być on dla człowieka jako reprezentanta danego narodu swoisty [Apresjan 1980: 80–81].

Człowiek, percypując świat, tworzy w swym umyśle struktury pojęciowe, które opierają się na doświadczeniu zmysłowym, fizycznym i społecznym oraz na jego działalności. Należy podkreślić, że rzeczywistość nie tworzy w sposób naturalny żadnych klas, modeli czy też kategorii. Dopiero człowiek poprzez swoje doświadczenie klasyfikuje świat, a rezultaty działalności poznawczej człowieka znajdują swoje odzwierciedlenie w języku. Język nie jest jednak wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości, lecz odbiciem sposobu patrzenia człowieka na świat. Antropocentryczność języka ujawnia się przede wszystkim w utrwalanej w samym języku wiedzy teoretycznej, praktycznej i kulturowej, a także doświadczeniu, które są uświadamiane i werbalizowane przez człowieka poprzez konceptualizację rzeczywistości i jej językowy obraz. Marek Świąch zauważa, iż to, jakim jest świat, wydaje się być w dużej mierze zależne od ujęć poznawczych człowieka i języka, którym się on posługuje. M. Świąch zwraca uwagę na to, że aktywność życiowa i poznawcza człowieka sprawia, że sam świat staje się

względny, a nie jego poznanie. Samo poznanie, według M. Świącha, wręcz przeciwnie, pozostaje właśnie jakoś „absolutnie” ważne i obowiązujące w danym schemacie pojęciowym, w jakim człowiek ten świat ujmuje [Świąch 2005: 31]. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rzeczywistość odbierana przez człowieka, odpowiada na przyjętą przez niego kategoryzację, jaką za pomocą języka człowiek proponuje, czyniąc daną kategoryzację językową prawdziwą lub fałszywą bez względu na akceptację społeczną. Można zadać sobie w tym miejscu pytanie, czy sam język posiada w sobie tyle mocy sprawczej, aby dokonać obiektywnego opisu rzeczywistości. Spojrzenie na język jako system znaków pełniących funkcję interpretacji (kodowania) i transformacji pozwolił Elżbiecie Tabakowskiej stwierdzić, iż postawa antropocentryczna w badaniach języka to

propozycja dla ludzi z wyobraźnią. Dla ludzi, którzy – dostrzegając zalety rygorystycznej formalizacji – mimo wszystko chcieliby wyjść poza sztywne ramy strukturalistycznego obiektywizmu, sięgnąć dalej niż sięga „mędrca szkiełko i oko”, którzy w twórcy i użytkowniku języka widzą nie tylko genialny mechanizm do produkowania słów i zdań, ale i kwintesencję jego człowieczeństwa: nieprzewidywalność reakcji, oryginalność spojrzenia na świat, słowem wszystko to, co w połączeniu z uwarunkowaniami kulturowymi i społecznymi decyduje o sposobie, w jaki człowiek używa swojego języka – genialnego narzędzia, którego jest zarówno twórcą, jak i niewolnikiem [Tabakowska 2001: 5].

Trudno zaprzeczyć, iż to właśnie człowiekowi, jako podmiotowi poznającemu i władającemu określonym językiem, przypisuje się aktywną rolę w formułowaniu znaczeń jednostek językowych. Człowiek tworzy znaczenia, a nie otrzymuje je w gotowej postaci, to on decyduje o wyborze środków językowych dla opisu tej czy innej sytuacji, podejmuje także decyzje dotyczące interpretacji motywów swojego językowego wyboru.

Językoznawcy niejednokrotnie zwracali uwagę na antropocentryczny charakter języka. Wilhelm von Humboldt pojmował język jako czynnik twórczy, będący immanentną cechą umysłu ludzkiego, przy pomocy którego człowiek kształtuje percepcję świata i poglądy na rzeczywistość. Baudouin de Courtenay w pracy *Fonologia* wyodrębnił antropofonikę jako naukę, której obiektem badawczym są tylko dźwięki artykułowane przez człowieka.

Antropocentryzm języka realizuje się w bardzo różny sposób, lecz tradycyjnie najwięcej przejawów antropocentryzmu odnaleźć można w zasobie leksykalnym. Antropocentryzm jako zasada lingwistycznych badań obiektów językowych jest zorientowany na prowadzenie analizy w dyskursie i tekście materiału empirycznego z uwzględnieniem czynnika ludzkiego w języku. W dyskursie i tekście jako rezultacie działania językowego wyodrębnić można trzy poziomy realizacji antropocentryzmu: 1. poziom absolutny, który realizuje się poprzez użycie zaimków osobowych oraz form czasownikowych (ja czytam, ty jesteś zapracowany), kategorii nominatyw-

nych bezpośrednio skierowanych do odbiorcy tekstu w celu kreacji tego lub innego obrazu człowieka (tchórz, inteligentny student); 2. poziom relatywny, określający przy pomocy części mowy fakt przynależności kogoś lub czegoś do człowieka (styl puszkinowski, babcine słowa, nasze sukcesy); 3. poziom pośredni, który sprowadza się do użycia pozostałych środków językowych, odnoszących się do różnych obiektów, ich cech i czynności, które w jakiś sposób odnoszą się do wyrażenia idei antropocentryzmu, ponieważ wszechświat jest przeniknięty antropocentrycznością (np. słońce, dzień, samochód).

Antropocentryczna perspektywa procesów wyobrazeniowych zachodzących w umyśle człowieka oraz jej zmiany uwarunkowane różnymi typami kategoryzacji językowej (metaforyzacja, metonimizacja) uwzględniającymi mentalność człowieka określają wybór środków i sposobów opisu znaczenia obiektów językowych.

Antropocentryzm przenika wszystkie poziomy organizacji systemu językowego i jego realizację w mowie. Podkreślić jednak należy, na co już zwróciliśmy wcześniej uwagę, iż w leksyce, jako obszarze operacyjnym bezpośredniego współdziałania doświadczenia ludzkiego z obiektywną rzeczywistością, antropocentryzm realizuje się najpowszechniej i najróżnorodniej.

Paradygmat antropocentryczny znalazł zastosowanie również w opisie semantycznym jednostek frazeologicznych i paremiologicznych, co w konsekwencji doprowadziło do rozwoju nowego kierunku w badaniach wymienionych obiektów językowych – frazeologii i paremiologii antropocentrycznej. W sferze paremiologii obserwuje się różny stopień nasycenia przysłów antropocentrycznością. Najwyższy można odnotować w paremiach, w których występują leksemy *człowiek*, *ludzie*, np.: *człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek raz się rodzi i raz umiera, jak my ludziom, tak ludzie nam*. Odrębną grupę tworzą przysłowia o średnim poziomie antropocentryczności, których znaczenie odnosi się do zjawisk otaczającego świata, pozostających w relacji do człowieka, np.: *szczęśliwy to kraj, który nie ma historii, co kraj to obyczaj, pieniądze są okrągłe, toczą się*.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż antropocentryczny aspekt semantyki frazeologizmów uwzględnia te procesy psycholingwistyczne, bez których niemożliwa byłaby językowa działalność komunikacyjna człowieka, a także informacje ukierunkowane na pracę twórczą człowieka, opartą zarówno na jego intuicji, jak i jego świadomej działalności intelektualnej. Czynniki antropocentryczne realizuje się w przynajmniej trzech sferach tematycznych, które zaproponowane zostały w układzie *Wielkiego słownika frazeologicznego* Renardy Lebdy. Są to: 1. Natura – człowiek – skłonności, np.: *być jak chorągiewka na wietrze, cicha woda, być nie w sosie, tchórzem podszyty*; 2. Rozwój – człowiek – wartości, np.: *bić się z myślami, burza mózgow, coś woła o pomstę do nieba, krecia robota*; 3. Panowanie nad światem – człowiek

– ujarzmienie przyrody, np.: *coś jest wzięte z kosmosu, gasną czyjeś gwiazdy*, [Lebda 2008: 5–6].

Na wyrazisty przejaw antropocentryzmu we frazeologii potocznej zwraca uwagę Anna Pajdzińska, która stwierdza, iż odniesienia do człowieka uwidaczniają się między innymi we frazeologicznych określeniach o znaczeniu temporalnym (*smarkata godzina, dziecinna pora*), ilości i miary (*ktoś ma więcej włosów niż włosów na głowie, ile dusza zapragnie, na oko*), intensywności cechy (*czysty jak łza*), przestrzeni (*coś komuś uciekło spod nosa*) [Pajdzińska 1990: 59–71].

Kontynuacją i uzupełnieniem postawy antropocentrycznej w opisie obiektów językowych dotyczących reprezentacji człowieka w języku, a przede wszystkim w obszarze frazeologii, jest aspekt aksjologiczny, zakładający określenie odpowiedzi na pytanie, jakich wartości oczekuje człowiek w stosunku do samego siebie, otaczających go ludzi i społeczeństwa. Dlatego też z pełnym przekonaniem można stwierdzić, iż aspekt aksjologiczny badań obiektów językowych jest kontynuacją i uzupełnieniem aspektu antropocentrycznego w badaniu języka. Nie wdając się w szczegóły dyskusji naukowej na temat wartości jako kategorii językowej, warto zwrócić uwagę, iż kategoria ta we współczesnym językoznawstwie rozpatrywana jest w aspekcie pragmatycznym, semiotycznym i teorii aksjologicznej, a obserwowane współcześnie zbliżenie podejścia antropocentrycznego, kognitywnego i pragmatycznego w badaniu jednostek językowych sprzyja pełniejszemu wniesieniu w obszar badań języka związanych z semantyką wartościującą.

Sumując nasze rozważania na temat antropocentryzmu jako paradygmatu stosowanego w badaniach obiektów językowych, można stwierdzić, iż antropocentryzm realizuje się w dwóch podstawowych postaciach:

1. Człowiek w języku jawi się jako centrum jakiegokolwiek jego sfery. Przykładem mogą być frazeologizmy, a w komunikacji językowej antropocentryczność realizowana będzie przede wszystkim w formie egocentryzmu mówiącego, realizowanego poprzez określone akty mowne.

2. Personifikacji świata przedmiotów i zjawisk realizowanych w języku w postaci animizmów morfologicznych i składniowych, a także antropomorficznej percepcji świata realizowanej w języku poprzez antropomorficzne frazeologizmy, a także personifikację jako środek stylistyczny.

Przestawiona powyżej relacja pomiędzy antropocentryzmem a językiem pozwala na stworzenie przesłanek do systemowej prezentacji antropocentryzmu jako kategorii lingwistycznej.

Bibliografia

- A p r e s j a n A.D., *Semantyka leksykalna*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.
- G r u c z a S., *Lingwistyka antropocentryczna a badania okulograficzne*, „Lingwistyka Stosowana” 2011, t. 4, s. 149-162.
- K o r ż y k K., *Semantyka kognitywna – problemy i metody (kilka uwag filozoficznych)*, [w:] *Język a kultura*, t. 8: *Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej*, pod red. I. Nowakowskiej-Kempy, Wrocław 1992.
- L e b d a R., *Wielki słownik frazeologiczny*, Kraków 2008.
- P a j d z i ń s k a A., *Antropocentryzm frazeologii potocznej*, „Etnolingwistyka” 1990, nr 3, s. 59-71.
- С е л и в а н о в а Е.М., *Основы лингвистической теории текста и коммуникации*, Київ 2002.
- Ś w i ę c h M., *Antropocentryczna wykładnia realizmu wewnętrznego*, „Diametros” 2005, nr 4, s. 29-48.
- T a b a k o w s k a E., *Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa*, Kraków 2001.

СОЦИАЛЬНАЯ СТОРОНА КОНЦЕПТА
'ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ'
В РУССКОЙ И ПОЛЬСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА
(НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ)

THE SOCIAL DIMENSION OF THE CONCEPT OF 'VISUAL PERCEPTION'
IN THE RUSSIAN AND POLISH LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD
(BASED ON VISUAL PERCEPTION VERBS)

DARIA SŁUPIANEK-TAJNERT

ABSTRACT. The article discusses the social dimension of the concept of VISUAL PERCEPTION in Russian and Polish based on visual perception verbs. Similarities and discrepancies in creating the concept in both languages are indicated. The analysis takes into consideration the anthropocentric factor in forming the concept.

Daria Słupianek-Tajnert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
– Polska, ds@amu.edu.pl

В философии мышление всегда осмысливалось посредством видения...
Господство зрения настолько глубоко укоренено в греческой речи и как
результат в нашем концептуальном языке, что мы редко над этим задума-
ваемся¹.

Процитированные слова Ханны Арендт позволяют осознать огромную
роль чувства зрительного восприятия прежде всего для интеллекту-
альной деятельности и, кроме того, побуждают задуматься над сово-
купностью значения зрительной перцепции для человеческого сущест-
вования.

Концепт ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ (ЗВ) обладает в языковой
картине мира (ЯКМ) русских и поляков богатой репрезентацией в рам-
ках разных частеречных категорий. В данной статье мы ограничива-
емся глагольной репрезентацией экземплификационного материала,
результаты анализа которого должны продемонстрировать социальную
сторону названного выше концепта в русском и польском языках, а бо-

¹ Х. А р е н д т, *Истоки тоталитаризма*, Москва 1995, цит. по: А.Ю. З е н к о -
в а, *Визуальные исследования как интегральная область социально-гуманитарного знания*,
[в:] электронный ресурс: <http://www.ifp.urau.ru/files/publ/eshegodnik/2004/9.pdf>
(16.08.2015).

лее детально говоря — сопоставить видение с социальной сферой с учетом сходств и различий в обоих языках.

Группа глаголов зрительного восприятия репрезентирована большим количеством лексических единиц, но материалом для анализа послужили только те глаголы, которые в состоянии выразить социальные значения и для которых значение зрительной перцепции является основным (что устанавливается на основании толковых словарей): *видеть, видеться (увидеться), глядеть, досматривать, заглядывать, заметить, наблюдать, надзирать, обследовать, осмотреть, присматривать, просмотреть, следить, смотреть (посмотреть), lustrować, obejrzeć (oglądać), oglądać się, popatrzeć, widzieć, widzieć się, widywać się, zaglądać, zaglądnąć, zapatrzeć się, zauważać, zerkać, zobaczyć, zobaczyć się.*

Неслучайно мы сопоставляем здесь видение с человеком как социальной личностью. Отражение концепта на языковом уровне насквозь пронизано антропоцентрическим фактором, а лексика — это ведь не точное отражение действительности, а скорее отражение способа, как эта действительность воспринимается.

Определяя личность как *социальную*, мы понимаем ее как личность, живущую в обществе, вступающую разными путями в интеракцию с другими его членами. Основным средством обмена информацией является язык, но взаимопонимание и взаимодействие достигаются также другими способами. Нельзя не учесть важность языка жестов, понимание которого осуществляется зрительным каналом. Нельзя упустить из виду важность взора для получения и передачи информации. Это вытекает из факта, что интеракция лицом к лицу является основной для человека. В свете сказанного зрение становится существенной составляющей для межличностных отношений. Эта взаимосвязь видения и коммуникации находит отражение на языковом уровне и ее можно рассматривать в следующих аспектах: а) межличностные отношения (встреча, свидание); б) выражение замечания; в) подражание кому-чему-либо; г) возможность рассчитывать на кого-л. и возложение на кого-л. надежд; д) контроль, забота, присмотр; е) привыкание к новым условиям существования; ж) коммуникация зрителя, наблюдателя с автором произведения.

1. Уже глаголы *видеть* и *widzieć*, составляющие ядро номинативного поля концепта ЗВ, обладают интересующим нас социальным измерением. Предлагаем начать со значений 'встречаться, иметь свидание с кем-л.' / 'spotykać kogoś'. Их реализацию мы находим в следующих предложениях:

*Кого вы видите на площадках, каких молодых людей привлекает эта игра? (НКРЯ)².
А потом концерт кончился, и вы её никогда больше не видели (НКРЯ).*

²Национальный корпус русского языка (НКРЯ), [в:] электронный ресурс: www.ruscorpora.ru (20.08.2015).

*Oma wiana jest sprawa dalekiej kuzynki. On nigdy jej nie **widział*** (КJP³).

*Jeden z nich [...] znał Beatę S. Twierdził, iż **widział** ją trzy razy w życiu w okolicznościach handlowych, a raz na prywatce* (КJP).

В данном значении глаголов *видеть* и *widzieć* зафиксирована межчеловеческая установка, касающаяся правил общения, отношений между людьми. Подчеркивается существенность зрительного контакта для каркаса общения. Важность видения для социальной обстановки актуализируется также в формулах речевого этикета типа: *rad (was) widemь; буду rad (was) widemь; miło mi (będzie) pana / panią widzieć*, употребляемых как учтивое приветствие при встрече со знакомыми и при приглашении в гости, или же *mogę я, можно widemь кого-л.?; czy mógłbym się widzieć z kimś?*, употребляемых как просьба допустить к кому-л.

Встреча фиксируется также в употреблении возвратных глаголов: *widemься, увидemься, widzieć się, zobaczyć się, widywać się*, напр.:

*Я с ней **вижу**сь периодически, раза два в месяц* (НКРЯ).

*Или ещё одно странное чувство: бывает, нам кажется, что этого человека мы знаем давно, хотя **видимся** с ним впервые* (НКРЯ).

*И тогда мы сможем возобновить наши контакты и даже, может быть, **увидemься*** (НКРЯ).

*В первый раз они **увиделись** ещё в тюремной больнице [...]* (НКРЯ).

*Witaliśmy się tak, jakbyśmy nie **widzieli** się już z dziesięć lat* (КJP).

*Raz w miesiącu jadę do Tokio, przyjmuje mnie pierwszy sekretarz, **widzę** się z rodakami, nie mamu sobie za dużo do powiedzenia* (КJP).

*Równocześnie jednak **widują** się co dzień, wspólnie wychodzą na miasto* (КJP).

***Widujemy** się rzadko, prawie zawsze przy okazji zawodowych obowiązków [...]* (КJP).

*Gdybyś się tu przypadkiem wybierała kiedyś, to chętnie bym **się** z Tobą **zobaczył*** (КJP).

*Niech się nie wygłupiają, ja pracuję, **zobaczę** się z nimi wieczorem [...]* (КJP).

Кратковременный визит у кого-либо запечатлевают глаголы *заглядывать / zaglądać, zaglądnąć*:

*Иногда я, приученный к свободе и общительности, **заглядывал** к тёте Кате, вежливо постучав в дверь и испросив разрешения войти – этому она научила меня с первых дней нашей жизни здесь* (НКРЯ).

*Dzień po powodzi wójt przyjechał do wsi, posiedział u sotyisa dwie godziny, do nas nawet nie chciał **zaglądnąć** [...]* (КJP).

*Oczywiście nie **zaglądałem** nawet do Ciebie, należała Ci się samotność pilnego stypendysty* (КJP).

Значением 'встречать' обладает также русский глагол *наблюдать* (**наблюдать** 'видеть, замечать, встречать') (ГР⁴), напр.:

*Вы **наблюдали** когда-нибудь альбиносов?* (ГР).

³ *Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN* (КJP), [в:] электронный ресурс: <http://korpus.pwn.pl> (18.08.2015).

⁴ *Справочно-информационный портал Грамота.ру* (ГР), [в:] электронный ресурс: <http://gramota.ru/> (20.08.2015).

Следует заметить, что непосредственный польский эквивалент глагола *наблюдать* – *obserwować* – не имеет обсуждаемого значения 'встречать'.

2. В двух очередных глаголах: *заметить* / *zauważyć* примарное значение зрительной перцепции послужило средством выражения замечания. Замечая что-л., принимая участие в обмене мнениями, мыслями, тоже имеем дело с коммуникацией, это очередное измерение обсуждаемой нами связи видения с человеком как социальным существом. Замечания являются одной из составляющих контраргументации, словесных поединков, они могут быть обусловлены желанием оставить за собой последнее слово. Кроме того, психологи говорят о замечаниях, что это „сигналы интереса собеседника, его озабоченности обсуждаемым вопросом и/или просто – знаки внимания к личности говорящего и умения слушать”⁵. В контексте сказанного следует отнести замечания не к барьерам коммуникации, а скорее к ее катализаторам, даже помощникам⁶. То, как мы оцениваем замечания с точки зрения процесса протекания общения, зависит, между прочим, от характера говорящих, от их отношения к словесным репликам собеседника. Тем не менее замечания – это важная составная коммуникации, и они могут быть выражены глаголами, принадлежащими примарно к группе глаголов зрительного восприятия, напр.:

Ведь заметим, нам это только на руку: зная свои промахи и ошибки, легче выправить курс, наполнить газету содержанием, отвечающим вкусам самых разнообразных читателей (НКРЯ).

„Мы ведь нью-йоркцы, и нас такими вещами не удивишь”, – заметил он (НКРЯ). *Fizycy – jak zauważa w „Fantastyce i futurologii” Stanisław Lem – gdyby czytali niektóre prace krytycznoliterackie, miałoby niemało powodów do wesołości* (КЯР).

Jak zauważa jednak dziennikarz, ta samocenzura jest dość subtelna, bo hongkoński czytelnik, przyzwyczajony do miarodajnych opinii, szybko wyczuje fałsz (КЯР).

3. Следующие группы значений, которые, на наш взгляд, можно обсуждать через призму связи видения с социальным фактором, создают глаголы, обозначающие подражание кому-либо, следование какому-либо образцу, примеру. Процесс социализации личности предусматривает, между прочим, то, что индивид учится соответствующим навыкам с помощью других людей, он получает разного вида указания, относящиеся к поведению, основные знания о мире, благодаря чему человеку легче функционировать и развиваться. Так понимаемый социальный аспект находит отражение в значениях глаголов *глядеть*, *zapatrywać się* (*zapatrzeć się*):

⁵ В. Сергеечева, *Словесное каратэ. Стратегия и тактика общения*, Санкт-Петербург 2002, с. 10.

⁶ Там же.

Глядя на тебя, все зайцы такими станут (НКРЯ).

На него глядеть нечего, он не был ни в моей, ни в вашей шкуре (НКРЯ).

Polacy prowadzili w tym secie jeszcze 9:8, ale potem zapatrzili się na Marcina Nowaka, który w całym meczu zepsuł chyba więcej serwów niż ich prawidłowo wykonał (КЯР).

Skąd ty tak zlądrzateś nagle? – Na Jampolskiego się zapatrzyłem (КЯР).

4. В рамках связи видения с человеком как социальной личностью следует еще вспомнить о трех глаголах, а именно *oglądać się*, *patrzeć*, *оглядываться* в следующих значениях:

oglądać się 'liczyć na kogoś lub na coś': *Nie oglądaj się na nikogo, licz tylko na siebie* (SWJP⁷);

patrzeć 'zabiegać o coś, dbać o coś': *Patrzeć ciągle na pomoc rodziców. Patrzył tylko, żeby objąć stanowisko* (SWJP⁸);

оглядываться 'поступать осторожно, с опаской; глядя на других': *Postępuj, jak знаешь, na меня не оглядывайся. [...] Любить – так уж не оглядываясь! (без оглядки, не думая, не рассуждая)* (ГР);

Tak liczną rodzinę trzeba koniecznie rozdzielić, bo tak jeden ogląda się na drugiego i pozostają bierni... (КЯР);

Polscy biznesmeni powinni sami zdobywać ważne dla przebiegu negocjacji informacje, nie oglądając się na innych (КЯР);

Надо решать самим, оглядываться не на кого (ГР);

Он должен оглядываться на тех, от кого зависит его будущая судьба (НКРЯ).

Если мы на кого-либо рассчитываем, возлагаем на кого-либо надежды, тогда активизируется, конечно, межличностный фактор, принадлежащий социальной сфере.

5. Сосредоточиваясь на вопросе функционирования глаголов зрительной перцепции и их связи с социальной стороной жизни человека, следует учесть также те значения глаголов, которые фиксируют заботу, присмотр, контроль над кем-чем-либо.

Социализация — это конкретные виды взаимодействия индивида со средой. Некоторые этапы развития человека требуют присмотра (речь идет прежде всего о детском возрасте, но это, конечно, не единственный пример). Бывает, что мы хотим стоять на страже нравственности, порядка, закона, а необходимым условием, чтобы это осуществить, является, несомненно, обозначение и соблюдение определенных границ.

Обсуждаемый вопрос связи концепта ЗВ с социальным фактором предлагаем условно определить как контрольный аспект. Этот контроль обладает, однако, разносторонним измерением — от профессионального до личного.

⁷ *Słownik współczesnego języka polskiego (SWJP)*, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 673.

⁸ Там же, с. 728.

С профессиональным контролем (который понимаем как выполнение своих обязанностей на работе) сталкиваемся прежде всего в употреблении глагола *досматривать*:

*Оба эти соглашения дают право американским кораблям **досматривать** в международных водах тысячи коммерческих судов в поисках оружия массового поражения, которое могут использовать на море террористические организации (НКРЯ); В октябре на парижской неделе *pret-à-porter* при входе в Карусель Лувра впервые **досматривали** вещи приглашённых – как в аэропорту (НКРЯ).*

Досмотр, который отражен в процитированных предложениях, не вызывает противоречий, если речь идет о целенаправленности его совершения, он должен гарантировать безопасность экипажа самолета или посещающих музей людей. Обсуждаемый контроль проходит, как можно предполагать, при употреблении какого-то специального оборудования, но он не мог бы быть успешно проведен без участия зрения. Поэтому не удивляет факт, что именно у глагола зрительной перцепции появилось значение, связанное с проверкой, контролем.

Здесь следует также упомянуть глагол *присматривать*:

*Чтобы поездам и пассажирам было хорошо, за рельсами **присматривают** монтеры пути – люди в оранжевых жилетах [...] (НКРЯ).*

Представленная в процитированном предложении ситуация относится, несомненно, к контролю в профессиональной сфере; контроль, осуществляемый монтерами пути, принадлежит к их профессиональным обязанностям.

Обращают на себя внимание также контекстные употребления таких русских глаголов, как: *наблюдать*, *надзирать*, *обследовать*, *осмотреть*, *следить*, *смотреть*:

*Также пристально СП будет **наблюдать** за деятельностью госкорпораций и проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнёрства (НКРЯ).*

*Но при этом прокурор области, обязанный по должности **надзирать** за работой милиции, оказывается в тройке лучших руководителей округа (НКРЯ).*

*В декабре 1952 года лабораторию Знойко **обследовала** комиссия под руководством одного из заместителей Курчатова (НКРЯ).*

*Но его [самолёт] периодически **осматривали**, проверяли, и специалисты [...] давали разрешение на продолжение полётов (НКРЯ).*

*По мнению некоторых авторов, прокуратура **следит** за исполнением не только законов, но и подзаконных актов [...] (НКРЯ).*

*Полковник Снивин молчал, похлопывая коня рукой в перчатке с раструбом, **смотрел** за порядком, чтобы никто ничего не спутал (НКРЯ).*

Приведенные предложения запечатлевают разные профессиональные обязанности, напр.: наблюдение за деятельностью госкорпораций, надзор за работой милиции, обследование лаборатории, осмотр самолета.

Все перечисленные действия являются здесь профессионально обусловленными, они связаны со спецификой выполняемой работы.

В польском языке в рассматриваемом нами контрольном аспекте доминировали бы глаголы *nadzorować*, *sprawdzać*, *kontrolować*, однако они не являются сугубо глаголами зрительного восприятия (хотя с семантической точки зрения обнаруживается связь со зрением). Русская ЯКМ намного богаче фиксирует связь концепта ЗВ с контролем в профессиональной сфере.

Мы считаем, однако, что если иметь в виду польские глаголы зрительной перцепции и их употребление в контексте профессионального контроля, то надо назвать здесь глагол *lustrować* (основное значение: 'przyglądać się bacznie, krytycznie komuś lub czemuś') (USJP⁹) в следующих значениях:

lustrować '2. urz. dokonywać lustracji, przeglądu, kontrolować, sprawdzać stan czegoś':

Dowódca lustrował oddział. Lustrować teren robót. 3. polit. 'sprawdzać przeszłość kandydatów na stanowiska państwowe': Lustrować czyjeś akta (USJP).

*Zdarzenie rzeczywiście paradoksalne – oto **lustrują** przyszłego szefa Instytutu Pamięci Narodowej, który czegoś nie pamięta* (КП).

В рамки профессиональной сферы вписывается также осмотр, совершаемый врачом, т. е. контроль состояния здоровья. Здесь надо учесть глаголы *обследовать*, *осмотреть* и *смотреть*, напр.:

*Мы вас госпитализируем, **обследуем**, и всё будет хорошо* (НКРЯ).

*Все семейные врачи теперь обязаны не только **обследовать** и лечить больных, но и заносить сведения о них в национальный регистр [...]* (НКРЯ).

*Врач **осмотрел** его ноги и определил болезнь* (НКРЯ).

*Врач **осмотрит** пациента, сделает необходимые исследования, при необходимости даст ему обезболивающее [...]* (НКРЯ).

*Врач **смотрел** на меня три раза, но ничего не обнаружил* (ГР).

Фактический материал вновь ограничен здесь в преобладающей части русскими примерами. Польский глагол *badać* не является глаголом зрительной перцепции в своем основном значении (*badać* 'dokładnie, gruntownie poznać coś za pomocą analizy naukowej') (USJP), намек на зрительную перцепцию содержится в одном из его дальнейших значений, т. е. *badać* 'poddawać kogoś, coś oględzinom lekarskim, oceniać stan zdrowia za pomocą odpowiednich metod' (USJP), где существительное *oględziny* соединяет называемое глаголом *badać* действие со зритель-

⁹ *Uniwersalny słownik języka polskiego (USJP)*, red. S. Dubisz, [CD-ROM] wersja 1.0, 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

ной перцепцией. Значение контроля состояния здоровья появляется в предложениях типа:

Lekarz obejrzał / oglądał moje gardło, zajrzał mi do gardła, popatrzył / zerknął / spojrział na moje gardło, oglądał głowę pacjenta.

Для выделенных здесь глаголов упомянутое значение не является основным, ибо в обсуждаемом контексте медицинского осмотра в польском языке доминирует глагол *badać*.

Как мы уже подчеркивали, контрольный аспект — это не только профессиональная сфера, но и личная. Так, глагол *досматривать*, который упоминался выше, может употребляться также в рамках личной сферы жизни. Речь идет о следующем значении данного глагола:

досматривать 'присмотреть за кем-, чем-либо, ухаживая, заботясь и т. п.':
Досматривать за домом, за детьми, за хозяйством (ГР).

Процитированное значение обладает стилистической пометой *разг.* Удивляет факт, что НКРЯ не фиксирует ни одного употребления глагола *досматривать* в этом значении. Оно является, как можно предполагать, фоновым. Тем не менее в интернет-ресурсах мы нашли следующий пример:

*Извините, а вы что, рожаете детей только для того, чтобы они **досматривали** вас в старости?*¹⁰

Как можно полагать, глагол *досматривать* доминирует скорее в области профессионального контроля. Зато очень большой частотностью употребления в контексте личного, семейного контроля обладает глагол *присмотреть* (*присматривать*):

*Меня не взяли, оставив **присматривать** за малышами (НКРЯ).*

*Раз в неделю я приходил проверить, все ли в порядке. За домом **присматривали** соседи (НКРЯ).*

*Уже в сентябре она задешево сняла дачу на взморье, но сама туда не поехала, **присматривать** за дядей поручено было мне и Наталье (НКРЯ).*

*Однажды фермер поехал на ярмарку, оставив жену дома **присматривать** за хозяйством (НКРЯ).*

Итак, личный контроль сводится здесь к присмотру за малышами, дядей или за хозяйством, к оказанию дружеской услуги соседу (присмотр за его домом).

Следующие глаголы, которых нельзя не учесть в этой части работы, — это глаголы *глядеть*, *приглядеть*, *следить*, *углядеть*, *усмотреть*:

¹⁰ Электронный ресурс: <http://news.tut.by/health/345002.html> (08.05.2014).

Может, заболел, а и **приглядеть** за ним некому (НКРЯ).

Строгий устав её большого семейства, скорее всё-таки восточного, соблюдался всеми детьми. Особенно **приглядывал** за порядком старший брат (НКРЯ).

Мэри бралась за любую работу, позволяющую ей **следить** за детьми и успевать заниматься домом (НКРЯ).

Царь Николай, нехороший такой, не **углядел** за А.С. Пушкиным, не запретил стрелять Дантесу (НКРЯ).

Это его вина, вина Артема, он не **усмотрел** за мальчишкой, согласился играть в его странные игры с трубами [...] (НКРЯ).

Забота, присмотр в некоей степени обнаруживаются в следующих разговорных употреблениях польских глаголов зрительной перцепции:

Spójrz / zerknij / popatrz przez chwilę na dziecko, zaraz wróć.

Эти употребления связаны с значением 'sprawdzić oglądaniem, obejrzeć, przyjrzeć się' (USJP), которое появляется в USJP в толковании глагола *popatrzeć*, но это только общее указание на контроль. Непосредственная связь зрительной перцепции с заботой, уходом более ярко отражается в дефинициях русских глаголов. Следует добавить, что семантический компонент 'забота' можно заметить в толковании глаголов *doglądać* – *doglądać* 'zaopiekować się, (opiekować się) kimś lub czymś, otoczyć (otaczać) kogoś troskliwą opieką, sumiennie zająć się (zajmować się) czymś': *Doglądać chorego. Doglądać gospodarstwa, kwiatów, zwierząt domowych* (USJP), но в современном польском языке этот глагол не обладает значением зрительной перцепции, поэтому он здесь не учитывается. Связь со зрительным восприятием проявляется только в этимологии. В этимологическом словаре В. Борыся помещена информация о том, что в XVI веке глагол *doglądać* употреблялся также в собственно перцептивном значении 'patrzeć, zwracać uwagę, obserwować, przyglądać się; wglądać, wnikać'¹¹.

6. Функционирование человека в обществе предусматривает также адаптацию к новым условиям существования, что фиксируется в значении таких глаголов зрительной перцепции, как: *оглядеться, осмотреться, rozglądnać się, rozejrzeć się*. Подтверждение мы находим в предложениях:

*Прошла неделя, бабушка уехала, и я мог уже несколько **оглядеться** в новых условиях школьной жизни* (НКРЯ).

*Она **огляделась** в новом коллективе довольно скоро* (ГР).

*Чтобы тебе здесь **оглядеться**, время надо* (ГР).

*Ко мне может устроиться любой. Сначала я даю ему неделю – **осмотреться*** (НКРЯ).

***Осмотрюсь** в столице – сразу напишу тебе* (ГР).

***Rozglądnać się** w nowej sytuacji* (SWJP).

¹¹ W. B o r y ś, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Kraków 2005, с. 116.

Упомянутые выше глаголы *oglądeć się*, *osmotrzeć się*, *rozglądnać się* не слишком часто употребляются в приведенных значениях привыкания к определенным условиям, тем не менее их нельзя упустить из виду в контексте обсуждаемой проблематики.

7. Последний вопрос — это коммуникация зрителя, наблюдателя с определенным автором (напр.: живописцем, режиссером, постановщиком театральной пьесы, фильма, фотографом и т. п.). Здесь мы имеем в виду такие глаголы зрительной перцепции, как: *просмотреть*, *глядеть*, *видеть*, *смотреть* (*посмотреть*), *obejrzeć*, *oglądać*, *widzieć*. Приведем ряд случаев их употребления:

С.Т. Морозов **просмотрел** спектакль и решил, что нашему театру надо помочь (НКРЯ).

Мы собрались и несколько раз **просмотрели** фильм (НКРЯ).

*Najprawdopodobniej zapoznał się z dotychczas zebranymi informacjami o zjawach, **obejrzał** nagrania, przeczytał ekspertyzy i raporty* (КЯР).

Айда на выставку картины **глядеть** (ГР).

Звал к себе **глядеть** коллекцию (ГР).

Да нет, не волнуйся — и Юра, и Алесь впервые **видели** спектакль, они в восторге [...] (НКРЯ).

*Czy pan **widział** ten film, czy pan **widział** ten wywiad?* (КЯР).

*Kto nie **widział** jeszcze w życiu filmu islandzkiego, ma szansę zacząć od dzieła naprawdę wyjątkowego* (КЯР).

А меня отправили **смотреть** выставку „Человек и тюрьма”, которую я давно избегала, поскольку не Рембрандт же это, не малые голландцы и не французские реалисты (НКРЯ).

В приведенных нами контекстах появляются, например, такие объекты зрительного восприятия, как: *фильм*, *спектакль*, *выставка*, *коллекция*, *картины*, *выwiad*, *film*, *spektakl*. Это лишь примерные существительные, которые могут появиться в обсуждаемом нами социальном аспекте. Самым важным для нас является, однако, замечание, что эти объекты предназначены, главным образом, сугубо для зрительного восприятия. Чтобы осознать их суть и оказаться, как субъект зрительного восприятия, участником диалога (субъектом, воспринимающим адресованное ему сообщение) с автором произведения, необходимым является именно чувство зрительной перцепции, которая выражена с интересующей нас точки зрения глагольной репрезентацией.

В контексте видения и коммуникации, как части социальных рамок жизни личности, показательным является факт, что в некоторых областях зрение является по сути единственным орудием получения информации. Например, в случае изобразительных искусств обратная связь осуществляется лишь сквозь призму зрительного плана, являющегося каналом общения между художником и реципиентами данно-

го произведения искусства. Подобным образом дело обстоит хотя бы с кинематографией, но в этом случае, конечно, визуальную сферу сопровождает слуховая. Это касается и других областей широко понимаемой массовой культуры, источником которой является, например, телевидение.

Отражение визуальности культуры в употреблении глаголов зрительного восприятия как в русском, так и в польском языках обогащает, несомненно, концепт ЗВ, соединяя витальные ценности (умение видеть) и обусловленные витальными ценностями эстетические ценности.

Нельзя не признать, что фотографии, изображения, фильмы – это воплощение какой-то точки зрения¹², это конечный результат аналитического труда автора, представление его позиции, интеллектуальной работы¹³. Однако такая же интеллектуальная работа ожидается со стороны аудитории, требуется активный подход зрителя к воспринимаемому визуальному артефакту, который может отличаться, например, смысловой полифонией.

Существуют разные, часто совсем противоположные точки зрения на применение упомянутого выше активного подхода к зрительно воспринимаемым объектам. Есть авторы, которые скептически относятся к интеллектуальной активности зрителя¹⁴. В других работах находим намного большую веру в его интеллектуальную активность. С. Тиссерон пишет:

Nie można przeciwstawiać świata obrazów – rzekomo pogrążającego człowieka w chaosie, światu języka, który pomaga się z niego wydobyć, ani tym bardziej utrzymywać, że obrazy zubażają wyobraźnię, a język rozwija. Zawsze najważniejsza jest postawa odbiorcy – widza, czytelnika, słuchacza – wobec tego, co ogląda lub słyszy¹⁵.

Здесь самым существенным является отношение зрителя к тому, что он воспринимает, его желание осознанного накопления информации, содержащейся в воспринимаемом при помощи зрения объекте.

Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть, что в ЯКМ русских и поляков проявление связи зрительной перцепции с человеком как социальной личностью в основном совпадает, однако можно заметить

¹² *Sposoby widzenia. Na podstawie cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera*, Poznań 1997, с. 10.

¹³ П.В. Романов, Е.Р. Ярская-Смирнова, „Антропологический форум”, Санкт-Петербург 2007, № 7, с. 86.

¹⁴ См., напр., G. Sartori, *Homo videns. Telewizja i postmyślenie*, Warszawa 2007.

¹⁵ S. Tisseron, *Dziecko w świecie obrazów*, 2006, [в:] электронный ресурс: <http://www.civilia.pl/art,112,moc-obrazu-wedlug-sergei-39-a-tisserona> (02.07.2015).

различия в степени проявления некоторых признаков. В русском языке в намного большей степени, чем в польском, проявляется связь зрительной перцепции с контрольным аспектом. Связь с привыканием к новым условиям существования также незначительно заметнее в ЯКМ русских. Остальные обсуждаемые нами связи проявляются, на наш взгляд, в относительно одинаковой степени.

Библиография

- Арендт Х., *Истоки тоталитаризма*, Москва 1995, цит. по: А.Ю. Зенкова, *Визуальные исследования как интегральная область социально-гуманитарного знания*, [в:] электронный ресурс: <http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2004/9.pdf> (16.08.2015).
- Национальный корпус русского языка (НКРЯ), [в:] электронный ресурс: www.ruscorpora.ru (20.08.2015).
- Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р., „Антропологический форум”, Санкт-Петербург 2007, № 7, с. 86.
- Сергеева В., *Словесное каратэ. Стратегия и тактика общения*, Санкт-Петербург 2002.
- Справочно-информационный портал *Грамота.ру* (ГР), [в:] электронный ресурс: <http://gramota.ru/> (20.08.2015).
- Электронный ресурс: <http://news.tut.by/health/345002.html> (08.05.2014).
- Borús W., *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Kraków 2005.
- Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN (KJP), [в:] электронный ресурс: <http://korpus.pwn.pl> (18.08.2015).
- Sartori G., *Homo videns. Telewizja i postmyślenie*, Warszawa 2007.
- Słownik współczesnego języka polskiego (SWJP)*, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.
- Sposoby widzenia. Na podstawie cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera*, Poznań 1997.
- Tisseron S., *Dziecko w świecie obrazów*, 2006, [в:] электронный ресурс: <http://www.civilia.pl/art,112,moc-obrazu-wedlug-sergei-39-a-tisserona> (02.07.2015).
- Uniwersalny słownik języka polskiego (USJP)*, red. S. Dubisz, [CD-ROM] wersja 1.0, 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ТЕКСТОМ УТРЕННЕГО ЧТЕНИЯ
НА ЧЕТВЕРГ ВЕЛИКОЙ НЕДЕЛИ
В АРХАНГЕЛЬСКОМ ЕВАНГЕЛИИ 1092 ГОДА

A STUDY OF THE MORNING READING FOR HOLY THURSDAY
IN THE 1092 ARCHANGELSK GOSPEL

ZOFIA SZWED

ABSTRACT. The article is an attempt to analyze the text of the morning reading for Holy Thursday in the 1092 Archangelsk Gospel referenced to the oldest Slavonic traditions of the Holy Bible translations. So far, researchers have focused on the morning reading for Holy Wednesday, which played an important role in the study of the complete edition of Aprakos Gospel. Less attention has been paid to the reading for Holy Thursday, a text which although textologically close to the reading for Holy Wednesday, is very different in the lexical dimension.

Zofia Szwed, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
z-szwed@amu.edu.pl

1. Вводные замечания

В Архангельском Евангелии (Арх.¹) сохранились два утренних чтения Великой недели: на среду и на четверг. До сих пор внимание исследователей обычно сосредоточивалось на утреннем чтении на среду. Оно сыграло свою роль в исследованиях истории формирования славянских евангельских текстов. Л.П. Жуковская, например, в языковом материале перикопы нашла подтверждение концепции о полноапракосном характере оригинала, который использовал второй писец Арх., передвигая тем самым границу бытования на Руси полного апракоса к 1092 году². А.А. Пичхадзе, в свою очередь, использовала утреннее

¹ В статье употребляются также сокращения Арх.1 и Арх.2, относящиеся к частям Арх., переписанным двумя основными писцами книги с оригиналов двух разных редакций апракоса. Арх.1 охватывает листы 1–76, а Арх.2 – листы 77–175.

² Концепция Л.П. Жуковской первоначально опиралась на текстологические факты, согласно которым состав чтений, предусмотренный для 7-й нед. поста (Великой недели) совпадает не с составом чтений в кратких апракосах XI в., а с составом чтений в полных апракосах типа Мстисл. Затем это положение было проверено и подтверждено на основании языковых данных утреннего чтения на Великую среду. См.: Л.П. Жуковская, *Новые данные об оригиналах русской рукописи 1092 г.*, [в:] *Источниковедение и история русского языка*, Москва 1964, с. 88, 93.

чтение на Великую среду в качестве примера перикопы, отражающей наиболее характерные языковые особенности преславской редакции³. Какое значение в исследованиях происхождения славянских служебных евангелий имеет утреннее чтение на четверг? Ему уделялось менее внимания, подобно как утренним чтениям на Великий понедельник и Великий вторник, которые, хотя в Арх. не сохранились, выступают в других списках. Внимательные наблюдения над утренними чтениями Великой недели помогли бы пролить свет на условия формирования полного апракоса либо, по крайней мере, апракоса с дополнениями⁴.

2. Предмет и цель наблюдений

В настоящей статье наблюдениям поддается утреннее чтение на четверг Великой недели, как единственное, рядом с утренним чтением на среду, сохранившееся в Арх. Рассматривается словарный состав этого чтения и аналогичных фрагментов Евангелия из других апракосных перикоп, а также соотнесенность анализируемой лексики с древними школами перевода. Целью является освещение истории утреннего чтения на Великий четверг, а также соотнесение полученных результатов с данными чтения на Великую среду. Сопоставление двух утренних чтений может приблизить нас к пониманию пути формирования полного апракоса.

3. Утреннее чтение на Великий четверг и другие перикопы с текстом из XXII главы Евангелия от Луки

На утрене в четверг Великой недели читается в Арх. и в ряде других полных апракосов фрагмент Евангелия от Луки XXII. 1–39. Текст входит в состав не только утреннего чтения на четверг Великой недели, но также и в состав других полноапракосных перикоп. Его разные фрагменты повторяются в чтениях на 12 пятницу нового лета и на понедельник сыропустный⁵. В противовес фрагменту Евангелия от Иоанна XII.

³ А.А. П и ч х а д з е, *Преславский полный апракос как свидетель кирилло-мефодиевского перевода Евангелия*, „Slavia” 2009, roč. 78, Seš. 3–4, с. 438–439.

⁴ Не отрицая полностью концепцию Жуковской о полноапракосном происхождении Арх.2, Н.Б. Тихомиров склоняется к тезису о существовании, до появления полного апракоса, краткого апракоса с дополнениями. Представителем этой промежуточной редакции апракоса Н.Б. Тихомиров считает, между прочим, Арх. См.: Н.Б. Т и х о м и р о в, *Каталог русских и славянских пергаменных рукописей XI–XII веков, хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина*, ч. III, дополнительная, „Записки Отдела рукописей”, Москва 1968, вып. 30, с. 106.

⁵ Чтения на 12 пятницу нового лета и на понедельник сыропустный в Арх. не содержатся.

17–47, т. е. утреннему чтению на среду, текст Евангелия от Луки XXII. 1–39 не имеет соответствия в краткоапракосных перикопах. Нижеприведенная таблица иллюстрирует полноапракосные перикопы с соответствующими строками Евангелия от Луки XXII. из Арх., Мстисл., Добрил. и Евсев.

Ев. от Луки	Апракос	Четверг утро Великой недели (1–39)	12 пятница нового лета (1–8)	Понедельник сыропустный (9–39)
Л. XXII. 2	Арх.2	и искаахоу архирен и книжныци	—	—
	Мстисл.	и искаахоу архирен и книжныци	и искаахоу старъшингы жбрьчскы и книжныци	—
	Добрил.	и искахоу архирѣи книжныци.	и искахоу старъшингъ жбрьчскы и кънижныци	—
	Евсев.	искахоу архирѣи и книжныци	—	—
Л. XXII. 3	Арх.2	въниде же сотона въ июдоу. нарицаемааго искарюта. соуца ѿ числа обою на десате.	—	—
	Мстисл.	въниде же сотона въ июдоу нарицаемааго искарютскааго соуца отъ числа обою на десате.	вълѣзе же сотона въ июдоу прозываемааго искарюта. сжца отъ числа отъ двою на десате.	—
	Добрил.	въниде же сотона въ июдоу нарицаемааго скарюта. соуца ѿ числа обою на десате.	вълѣзе же сотона въ июдоу. прозываемааго скарюта. соуца ѿ числа ѿ двоюна десате.	—
	Евсев.	въниде же сотона въ июдоу нарицаемааго скарютоскааго. соуца ѿ обою на десатъ числа.	—	—
Л. XXII. 6	Арх.2	и исповѣда. и искаше подобна времење.	—	—
	Мстисл.	и исповѣда. и искаше подобна времење	и обѣцаша. и искаше подобна времење	—
	Добрил.	и искаше подобна времење ⁶	и обѣцаша и искаше под(о)бна времење.	—
	Евсев.	исповѣда и искаша подобна врѣмене.	—	—

⁶ Слово *исповѣда* или эвентуальный эквивалент отсутствует.

Л. XXII. 11	Арх.2	КДЕ ІЕСТЬ ОБІТЕЛЬ.	—	—
	Мстисл.	КДЕ ІЕСТЬ ОБИТѢЛЬ	—	КДЕ ІЕСТЬ ВИТАЛЬНИЦА
	Добрил.	7	—	КЪДЕ ІЕСТЬ ВИТАЛЬНИЦА.
	Евсев.	КДЕ ІЕСТЬ ОБИТѢЛЬ	—	—
Л. XXII. 12	Арх.2	И ТЪ ВАМА ПОКАЖЕТЬ. ГОРЬНИЦЮ ВЕЛИКОУ ПОСТЪЛАНОУ.	—	—
	Мстисл.	И ТЪ ВАМА ПОКАЖЕТЬ ГОРЬНИЦЮ ВЕЛИКЖ ПОСТЪЛАНОУ	—	И ТЪ ВАМА ПОКАЖЕТЬ ВЪСХОДЬНИЦЮ ВЕЛИКОУ ПОСТЪЛАНОУ.
	Добрил.	И ТЪ ВАМА ПОКАЖЕТЬ ГОРЬНИЦЮ ВЕЛИКОУ ПОСТЪЛАНОУ	—	И ТЪ ВАМА ПОКАЖЕТЬ ВЪСХОДНИЦЮ ВЕЛИКОУ ПОСТЪЛАНОУ.
	Евсев.	И ТЪ ВАМА ПОКАЖЕТЬ. ГОРЬНИЦЮ ВЕЛИКОУ ПОСТЪЛАНОУ.	—	—
Л. XXII. 15	Арх.2	ЖАДАНИЕМЪ ВЪЖ(А)ДАХЪСА. СИЮ ПАСХОУ ІАСТИ	—	—
	Мстисл.	ЖАДАНИЕМЪ ВЪЖАДАХЪ СИЮ ПАСХОУ ІАСТИ	—	ХОТѢНИЕМЪ СЕ ВЪСХОТѢХЪ СИЮ ПАСХОУ ІАСТИ
	Добрил.	ЖАДАНИЕМЪ ВЪЖАДАХЪ СА СИЮ ПАСХОУ ІАСТИ	—	ХОТѢНИЕМЪ СЕ ВЪСХОТѢХЪ СИЮ ПАСХОУ ІАСТИ
	Евсев.	ЖАДАНИЕМЪ ЖЕ ВЪЖАДАХЪ СИЮ ПАСХОУ ІАСТИ	—	—
Л. XXII. 17	Арх.2	И ПРИИМЪ ЧАШЮ. ХВАЛОУ ВЪЗДАВЪ РЕЧЕ.	—	—
	Мстисл.	И ПРИИМЪ ЧАШЮ ХВАЛОУ ВЪЗДАВЪ РЕЧЕ	—	И ВЪЗЪИМЪ ЧАШЮ ХВАЛЖ ВЪЗДАВЪ РЕЧЕ.
	Добрил.	И ПРИЕМЪ ЧАШЮ ХВАЛѢ ВЪЗДАВЪ РЕЧЕ.	—	И ВЪЗЕМЪ ЧАШЮ/ ХВАЛОУ ВЪЗДАВЪ РЕЧЕ.
	Евсев.	И ПРИЕМЪ ЧАШЮ ХВАЛОУ ВЪЗДАВЪ Р(Ч)Е	—	—
Л. XXII. 22	Арх.2	ОБАЧЕ ГОРЕ ЧЛѢКОУ ТОМОУ.	—	—
	Мстисл.	ОБАЧЕ ГОРЕ ЧЛОВѢКОУ ТОМЖ	—	ОБАЧЕ ЛЮТѢ ЧЛ(О)ВКОУ ТОМѢ
	Добрил.	ОБАЧЕ ГОРЕ ЧЛѢКОУ ТОМОУ	—	ОБАЧЕ ЛЮТѢ ЧЛѢКОУ ТОМОУ
	Евсев.	ОБАЧЕ ГОРЕ ЧЛѢКОУ ТОМОУ	—	—

⁷ Этот фрагмент чтения на утро Великого четверга в Добрил. отсутствует.

Л. XXII. 25	Арх.2	ц(ѣ)ре <i>язычънии оустоагь.</i> имъ и обладающе ими. бл҃гдѣтеле <i>нарицаютьсѧ.</i>	—	—
	Мстисл.	ц(с)ре <i>язычънии оустоагь</i> имъ и обладающе ими благодѣтеле <i>нарицают сѧ.</i>	—	цесаре <i>странамъ</i> <i>сѣвладаютъ</i> ими. и обладающе ими благодѣтеле <i>прозываютъ сѧ.</i>
	Добрил.	ц(с)ри <i>язычънии оустоагь</i> имъ. и обладающе ими бл҃годатели <i>нарицають сѧ.</i>	—	ц(с)ри <i>странъ</i> <i>сѣвладаютъ</i> ими. и обладающе ими бл҃годатели <i>призываютъ сѧ.</i>
	Евсев.	ц(ѣ)рь <i>языкы сѣвладѣють.</i> и обладающе ми бл҃гдтеле <i>нарицают сѧ</i>	—	—
Л. XXII. 28	Арх.2	<i>въ напастьхъ</i> монахъ.	—	—
	Мстисл.	<i>въ напастьхъ</i> монахъ.	—	<i>въ искоушениихъ</i> монахъ.
	Добрил.	<i>въ напастехъ</i> м(о)ихъ.	—	<i>въ искоушениихъ</i> монахъ.
	Евсев.	<i>въ напастехъ</i> монахъ	—	—
Л. XXII. 34	Арх.2	<i>не възгласить</i> дн(ѣ)ь коуръ.	—	—
	Мстисл.	<i>не възгласить</i> дньсь коуръ.	—	<i>не възпоеть</i> кѣрѣ дньсь
	Добрил.	<i>не възгласить</i> коуръ днь.	—	<i>не възпоеть</i> коуръ днь(с).
	Евсев.	<i>не възгласить</i> коуръ днь(с)	—	—
Л. XXII. 35	Арх.2	<i>безъ влагалища.</i> и <i>безъ</i> <i>пирь.</i>	—	—
	Мстисл.	<i>безъ влагалища</i> и <i>безъ пирь</i>	—	<i>безъ сѣкровища</i> и <i>без мѣха</i>
	Добрил.	<i>безъ влагалища</i> и <i>бесъ пирь</i>	—	<i>безъ сѣкровища</i> и <i>безъ мѣха.</i>
	Евсев.	<i>безъ влагалища</i> и <i>бе спирь</i> ⁸	—	—
Л. XXII. 36	Арх.2	<i>нѣ нѣнѣ.</i> иже имать <i>влагалище.</i> да възьметъ тако же и <i>пироу.</i>	—	—
	Мстисл.	<i>нѣна</i> иже имать <i>влагалище</i> да възьметъ. тако же и <i>пироу.</i>	—	<i>нѣ нѣна</i> иже имать <i>сѣкровище</i> да възьметъ тако же и <i>мѣхъ.</i>

⁸ *бе спирь* вместо *бес пирь* — вероятно, ошибка издателя печатного текста. Возможно и другое объяснение: в памятнике вместо слова *пирь* 'мошна, брашна; сумка' (SJS) ошибочно употреблено слово *спирь* 'vojensky oddil, kohorta; отряд воинов, когорта'; оба слова имеют похожие греческие эквиваленты: πῆρα — οπιῆρα; ср. также Л. XXII. 36 в Евсев.

	Добрил.	нѣ нынѣ иже имать влагалище да възъмѣть. тако же и пироу	—	нѣ нынѣ иже имать съкровище да възъмѣть. тако же и мѣхѣ.
	Евсев.	и нынѣ же влагалище имате да возмете. тако же и пироу.	—	—
Л. XXII. 37	Арх.2	еже бо о мнѣ коньчиноу имать.	—	—
	Мстисл.	ибо еже о мнѣ коньчиноу имать.	—	ибо еже о мнѣ коньць имать.
	Добрил.	ибо еже о мнѣ коньчиноу имать.	—	ибо еже о мнѣ конець имать.
	Евсев.	ибо иже о мнѣ коньчиноу имать	—	—
Л. XXII. 38	Арх.2	се съде ножа два.	—	—
	Мстисл.	се съде ножа два.	—	се меча съде два.
	Добрил.	се съде ножа два.	—	се ножа съде дѣва
	Евсев.	се ножа два	—	—

Как видно из таблицы, текст Евангелия от Луки XXII. 1–39 в перикопе на четверг утро Великой недели в разных списках лексически однороден. Между отдельными перикопами имеются лексические различия, разночтения. В утреннем чтении на четверг, представленном в приведенных списках, отмечается другая лексика, чем в полноапракосных чтениях на 12 пятницу нового лета и на понедельник сыропустный. Если с точки зрения состава чтений можно поставить знак равенства между чтением на четверг и чтениями на 12 пятницу нового лета, а также на понедельник сыропустный, ибо они отмечаются только в полных апракосах, то относительно лексического состава знак равенства поставить нельзя. Утреннее чтение в четверг противостоит остальным полноапракосным чтениям⁹.

Лексическая синонимия в списках Евангелия связана с традицией перевода. Разночтения являются результатом замены первоначального, кирилло-мефодиевского перевода преславскими инновациями. Представителями старой переводческой традиции считаются тетраевангелия Зографское и Маринское, а также древнейшие краткие апракосы: Ассеманиево Евангелие, Остромирово Евангелие 1056–1057 гг. и Саввина

⁹ Такое противопоставление характерно для церковнославянских полных апракосов русского извода. В сербских, позднейших списках, например в Вук. и Миросл., перикопы лексически унифицированы. Так, в Миросл. слова *архирей*, *вниде*, *горницю* и т. д. отмечаются как в утреннем чтении в четверг, так и в чтениях на 12 пятницу нового лета и на понедельник сыропустный. В Вук. во всех перикопах наблюдаем слова: *старѣшинны*, *вльѣзь*, *всходницю* и т. д.

книга. Преславские языковые черты нашли отражение прежде всего в церковнославянских полных апракосах русского извода. Они распределены в текстах апракосов неравномерно, в зависимости от специфики перикопы. Так, в краткоапракосном по происхождению цикле, от Пасхи до Пятидесятницы, преславские языковые черты представлены скудно по сравнению с полноапракосной перикопой на утро Великой среды, которая, как упоминалось в начале статьи, отражает наиболее характерные языковые особенности преславской редакции¹⁰. В свете выводов А.А. Пичхадзе возникает вопрос об утреннем чтении на четверг. Какую переводческую традицию отражает эта перикопа?

4. Соотнесенность лексики утреннего чтения на Великий четверг с древнейшей переводческой традицией

В нижеприведенной таблице сопоставляются разночтения, отмеченные выше в Арх., Мстисл., Добрил. и Евсев., с соответствующими словами из тетраевангелий Зогр. и Мар., сохраняющих кирилло-мефодиевские варианты перевода.

Ев. от Луки XXII	Утреннее чтение на четверг Великой нд.	Пятница 12 нового года	Понедельник сыропустный	Зогр.	Мар.
	Арх.2, Мстисл., Добрил., Евсев.	Мстисл., Добрил.	Мстисл., Добрил.		
2	архїереи ¹¹	старѣшина жьрьчскъ		архїереи	архїереи
3	вѣнїти	вѣлѣсти		вѣнїти	вѣнїти
3	нарицати	прозѣвати		нарицати	нарицати
3	обои	дѣвои		обои	обои
6	исповѣдати	обѣщати		исповѣдати	исповѣдати
11	обитѣль		вїтальница	обитѣль	обитѣль
12	горьница		вѣсходьница	горьница	горьница
15	жаданїе		хотѣнїе	желѣнїе	желѣнїе ¹²

¹⁰ А.А. П и ч х а д з е, указ. соч., с. 437, 439.

¹¹ Написание слов унифицировано и сведено к исходной форме по SJS.

¹² В пятнадцатой строке Евангелия от Луки XXII в разных списках отмечаются три лексических варианта: *жаданїе*, *хотѣнїе*, *желѣнїе*. В старославянских памятниках письменности употребляются прежде всего два из них: *желѣнїе* и *хотѣнїе* 'желание' — оба употребляются на месте греческого ἐπιθυμία (CC). Слово *жаданїе* 'желание', 'жажда' отмечено всего лишь дважды: в Синайском евхологии и Супрасльской рукописи на месте греческого πόθος; аналогично глаголы *вѣжделѣти* и *вѣсхотѣти* 'захотеть', 'пожелать' — оба могут соответствовать греческому ἐπιθυμῆν. Глагол *вѣждадати* 'почувствовать жажду' выступает на месте другого слова — διψῆν, но

15	вѣждадати		вѣсхотѣти	вѣжделѣти	вѣжделѣти
17	приѣати		вѣзимати	приѣати	приѣати
22	горіе		лютѣ	горіе	горіе
25	ѣззычьнѣ		страна	ѣззычьнѣ	ѣззычьнѣ
25	оустоати, сѣвласти (Евсев.)		сѣвласти	оустоати	оустоати
25	нарицати сѣ		прозѣвати сѣ	нарицати сѣ	нарицати сѣ
28	напастѣ		искоушение	напастѣ	напастѣ
34	вѣзгласити		вѣспѣти	вѣзгласити	вѣзгласити
35, 36	вѣлагалище		сѣкровище	вѣлагалище	вѣлагалище
35, 36	пира		мѣхъ	пира	пира
37	коньчина		коньць	коньчина	коньчина
38	ножь		мечь, ножь (Добрил.)	ножь	ножь

Из таблицы видно, что лексика утреннего чтения на четверг в полных апракосах совпадает с лексикой тетраевангелий — представителей кирилло-мефодиевского перевода. Старой переводческой традиции не соответствует лексика полноапракосных перикопа на 12 пятницу нового лета и на понедельник сыропустный.

Как упоминалось ранее, старую переводческую традицию отражают не только тетраевангелия Зогра. и Мар., но также древнейшие краткие апракосы: Ассем., Остр. и Савв. Ввиду того, что утреннее чтение на четверг Великой недели не имеет своего соответствия в кратких апракосах, прямое сравнение отдельных лексем невозможно. Тем не менее стоит проверить соотношение слов, образующих пары разночтений в текстах кратких апракосов в целом. В качестве сравнительного материала используется работа Т. Славовой, содержащая перечень 125 пар разночтений. Среди них находятся некоторые из отмеченных выше слов, выступающие в утреннем чтении на четверг Великой недели и в двух остальных полноапракосных перикопах с текстом Евангелия от Луки XXII. 1–39: *архирен* — *старѣшина жьрьчьскъ*, *нарицати* (*нарешти*) — *прозѣвати*, *горьница* — *вѣсходьница*, *ѣззычьнѣ* — *страна*, *оустоати* — *сѣвласти*, *нарицати сѣ* — *прозѣвати сѣ* (*зѣвати сѣ*), *коньчина* — *коньць*¹³. Т. Славова отмечает все случаи употребления приводимых ею слов в 35 евангельских текстах: апракосах и тетраевангелиях. Так, в кратких апракосах Ассем., Савв., Остр., Арх.1, подобно как в древнейших тетраевангелиях, она обнаруживает почти исключительно лексемы: *архирен* (79×),

в противовес существительному *жадание* он часто выступает в старославянских списках, в том числе в Зогра. и Мар.

¹³ Т. С л а в о в а, *Преславска редакция на Кирило-Методиевия старобългарски евангелски превод*, „Кирило-Методиевски Студии“, София 1989, кн. 6.

коньчина (9×), *нарешти* (6×), *оустояти* (5×), *яззыкъ* (43×), *яззыкыникъ* (7×), но: *страна* (4×). В полных апракосах, Мстисл., Добрил., Юрьевском Евангелии, выступают прежде всего преславские инновации: *старѣшина жьрьчьскъ* (37×), *прозъвати* (4×), *въсходьница* (5×), *страна* (32×), *сѣвласти* (4×), *прозъвати сѣ* (*зъвати сѣ*) (6×), *коньць* (4×), однако появляются и кирилло-мефодиевские лексемы: *архирен* (10×), *нарицати* (*нарешти*) (2×), *горьница* (1×), *яззыкынь* (6×), *коньчина* (4×). Таким образом, словарный состав проанализированных Т. Славовой древнейших тетраевангелий и кратких апракосов довольно однороден. Он представляет собой лексический слой, соответствующий кирилло-мефодиевской традиции перевода. Полные апракосы конца XI – начала XII веков очень сильно отражают влияние преславской школы, однако наряду с этим они сохраняют древнейшие лексические элементы.

5. Текстологическая близость – разные традиции перевода

Расположение синонимичных лексем в полных апракосах зависит от характера перикопы. В чтениях, совпадающих в кратких и полных апракосах, следует ожидать преобладания кирилло-мефодиевской лексики. В собственно полноапракосных перикопках сильнее проявляются преславизмы. Об этом свидетельствуют результаты анализа соотношения слов *архирен* – *старѣшина жьрьчьскъ* в Арх. и Мстисл. В первой рукописи отмечается почти исключительно лексема *архирен* – 45× в перикопках краткоапракосных и 3× в утренних чтениях Великой недели. Слово сочетание *старѣшина жьрьчьскъ*, ввиду наличия немногих полноапракосных чтений в Арх., появляется только раз – в месяцеслове. В Мстисл. *архирен* отмечается 52× в краткоапракосных перикопках и 6× в полноапракосных, а *старѣшина жьрьчьскъ* – 3× в краткоапракосных перикопках и 34× в полноапракосных. Подобное соотношение имеется в парах разночтений: *нарицати* – *прозъвати*, *исповѣдати* – *обѣцати*, *обитѣль* – *виталяница*, *горьница* – *въсходьница* и, возможно, также в других парах слов. Если наличие той или другой лексемы сильно зависит от характера перикопы, то как объяснить то, что столь близкие перикопы, как утренние чтения на среду и на четверг утро, которые отсутствовали в древнейших кратких апракосах и были прибавлены только в ходе редактирования полного апракоса или краткого с дополнениями, отражают разные традиции перевода? Возможно, что дополнительные чтения восходят к двум разным редакциям тетраевангелия либо они были прибавлены неодновременно, образуя очередные лексические слои. В связи с этим возникает вопрос о том, в какой последовательности прибавлялись к краткому апракосу утренние чтения Великой недели, а вслед за тем вопрос: может ли связь с более или менее древней переводческой традицией служить критерием хронологиза-

ции процесса присоединения очередных чтений? Эти вопросы остаются открытыми. Ответ на них требует дальнейшего углубленного исследования всех утренних чтений в сопоставлении с другими перикопами ряда евангельских списков.

6. Итоги

Результаты наблюдений над лексикой утреннего чтения на четверг Великой недели позволяют утверждать, что текст Евангелия от Луки, имеющийся в Арх.2 и нескольких других апракосах, лексически не совпадает с соответствующими фрагментами того же Евангелия в полноапракосных перикопах на 12 пятницу нового лета и на понедельник сыропустный. Словарный состав чтения на четверг в проанализированных списках отражает кирилло-мефодиевскую традицию славянского перевода и отвечает лексике первых тетраевангелий Зогр. и Мар., а также древнейших кратких апракосов: Ассем., Остр. и Савв. Две полноапракосные перикопы с текстом XXII главы Евангелия от Луки, подобно как утреннее чтение на Великую среду, носят отпечаток преславской редакции. Таким образом, столь текстологически близкие друг другу перикопы, как утренние чтения на среду и на четверг Страстной недели, обнаруживают различные пути создания.

Список источников

- Арх. — *Архангельское Евангелие 1092 года. Исследования, древнерусский текст, словоуказатели*, изд. подг. Л.П. Жуковская и Т.Л. Миронова, Москва 1997.
- Арх.1 — Арх., л. 1-76.
- Арх.2 — Арх., л. 77-175.
- Ассем. — *Evangeliiář Assemanův*, J. Kurz, díl II, Praha 1955.
- Вук. — *Вуканово Еванђеље*, Ј. Врана, Београд 1967.
- Добрил. — *Добрилове Евангелие 1164 року*, В.В. Німчук, Ю.В. Осінчук, Львів 2012.
- Евсев. — *Евсевиево Евангелие 1283 року*, В.В. Німчук, Київ 2001.
- Зогр. — *Quattuor evangeliorum Codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitani*, V. Jagić, Berolini 1879, [в:] электронный ресурс: <https://archive.org/stream/quattuorevangeli0jagiuoft#page/n3/mode/2up>
- Мар. — *Мариинское четвероевангелие. Памятник глаголической письменности*, И.В. Ягич, Берлин 1883, [в:] электронный ресурс: [https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FLacgVv2NduXXiDVNq0HUrSpMD5TipZa6%2FdYgToE3XGM%3D&name=Yagich%20I.V.%20Mariinskoe%20chetveroevangelie.%20Pamyatnik%20glagolicheskoy%20pis'mennosti%20\(Berlin%2C%201883\)\(la\)\(K\)\(ToC\)\(300dpi\)\(637s\).pdf&page=1&c=53e31d3d3438](https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FLacgVv2NduXXiDVNq0HUrSpMD5TipZa6%2FdYgToE3XGM%3D&name=Yagich%20I.V.%20Mariinskoe%20chetveroevangelie.%20Pamyatnik%20glagolicheskoy%20pis'mennosti%20(Berlin%2C%201883)(la)(K)(ToC)(300dpi)(637s).pdf&page=1&c=53e31d3d3438)

- Миросл. — *Мирослављево Јеванђеље*, Н. Родић, Г. Јовановић, Београд 1986.
Мстисл. — *Апракос Мстислава Великога*, изд. подг. Л.П. Жуковская, Москва 1983.
Остр. — *Остромирово Евангелие 1056–1057 гг.* Факсимильное воспроизведение, Ленинград–Москва 1988.
Савв. — *Саввина книга*, изд. подг. В. Щепкин, Graz 1959.

Библиография

- Жуковская Л.П., *Новые данные об оригиналах русской рукописи 1092 г.*, [в:] *Источниковедение и история русского языка*, Москва 1964.
- Пичхадзе А.А., *Преславский полный апракос как свидетель кирилло-мефодиевского перевода Евангелия*, „Slavia”, 2009, гоđ. 78, Сеš. 3–4.
- Славова Т., *Преславска редакција на Кирило-Методиевѝа старобългарски евангелски превод*, „Кирило-Методиевски Студии”, София 1989, кн. 6.
- Тихомиров Н.Б., *Каталог русских и славянских пергаменных рукописей XI–XII веков, хранящихся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина*, ч. III, дополнительная, „Записки Отдела рукописей”, Москва 1968, вып. 30.
- СС — *Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков)*, под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой, Москва 1994.
- Grecko-polski Nowy Testament: wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi*, tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1994.
- Novum Testamentum Graece cum apparatu critic*, curavit D. Eberhard Nestle. Novis curis elaboravit Erwin Nestle, Stuttgart 1930.
- SJS — *Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae*, t. I–IV (Seš. 1–52), Praha 1958–1997.

ZAPOŻYCZENIA LEKSYKALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W GWARACH PSKOWSKICH I NOWOGRODZKICH

POLISH LOANWORDS IN THE PSKOV AND NOVGOROD DIALECTS

MARIAN WÓTOWICZ

ABSTRACT. The author analyses 273 words borrowed from Polish to the Pskov dialect and 48 words to the Novgorod dialect. The analysis comprises the stock of loanwords, periods of borrowing, ways and directions in which the words were borrowed. The majority of loanwords are words describing material culture, such as objects of everyday use, tools, clothing and people's names. A substantial group is formed by words describing a variety of actions and abstract concepts.

Marian Wójtowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
maw@amu.edu.pl

Uwagi wstępne

Współczesne gwary pskowskie i nowogrodzkie, występujące na północno-zachodnim obszarze europejskiej części Rosji, są zaliczane do gwar środkoworosyjskich. Przez środek tego obszaru z zachodu na wschód przebiega granica obu zespołów gwarowych. W rozwoju gwar pskowskich i nowogrodzkich znaczącą rolę odgrywały czynniki zewnętrzne, zwłaszcza geograficzne i historyczne. Istotny wpływ na język i słownictwo miały, pozostające z nimi w bezpośrednim kontakcie, języki bałtyckie, fińskie, język niemiecki, białoruski i polski.

Słownictwo gwar pskowskich zostało zgromadzone w obszernej kartoce, liczącej ponad milion kartek, która stanowi podstawę ukazującego się od 1967 roku dzieła *Pskovskij oblastnoj slovar' s istoričeskimi dannymi* (POS). Jest to pełny słownik gwarowy, obejmujący cały aktualny zasób leksykalny, uzupełniony materiałem zabytków piśmiennictwa pskowskiego XIII–XVIII w. Dotychczas wydane 24 zeszyty zawierają ponad 45 000 jednostek leksykalnych. Pozostałą część wyrazów ekscerpowano ze słownika gwar rosyjskich (SRNG) oraz dziewiętnastowiecznych słowników *Opyt oblastnogo velikoruskogo slovarja* i *Dopolnienieje k Opytu* (OS, OSD). Słownictwo gwarowe regionu nowogrodzkiego najpełniej ukazuje niedawno wydany *Novgorodskij oblastnoj slovar'* (NOS). Jest to słownik o charakterze dyferencyjnym, zawierający ponad 25 000 wyrazów. Obszerny i różnorodny materiał zebrany w wymienionych opracowaniach leksykograficznych pozwala na wyróżnienie zasobu

bu polonizmów w gwarach pskowskich i nowogrodzkich oraz określenie zakresu i sfery wpływów języka polskiego.

Ustalenie zasobu polonizmów w gwarach rosyjskich oraz prawidłowa identyfikacja każdego zapożyczonego wyrazu zależy przede wszystkim od uwzględnienia w analizie warunków, w jakich przebiegał proces zapożyczenia, okresu, sposobów i kierunków zapożyczenia. Nie mniej ważne jest to, czy analizowany wyraz należy do dziedzictwa prasłowiańskiego, czy ma zasięg ogólnosłowiański lub tylko północnosłowiański i jaka jest jego geografia w dialektach rosyjskich. W gwarach pskowskich jest niemało wyrazów, mających formalne i semantyczne odpowiedniki w języku polskim, które sięgają okresu prasłowiańskiego, np. *зѡмѣ* 'sprzyjać zabliznianiu się, leczeniu, zwłaszcza ran' (POS 7, 46), *зѡмѣ* 'ts.' pld., zach. (SRNG 6, 279), pol. *goić* 'ts.', prasł. **gojiti* 'powodować, że coś żyje, ożywa'; *дѡба* 'pora, czas; wiek człowieka' (POS 9, 81), *дѡба* 'ts.' smol. twer., kostr. (SRNG 8, 73), pol. *doba* '24 godziny; okres, epoka', prasł. **doba* 'odpowiedni czas'; *шалѣть* 'błaznować, swawolić' psk. twer. (OSD 304), pol. *szaleć* 'nie panować nad sobą, hulać; tracić rozum, prasł. **šalěti* 'wpadać w szal, furię'. Wyrazy zaliczane do słownictwa prasłowiańskiego mogły jednak w żywych językach słowiańskich ulegać różnym zmianom. Np. wyraz *згѡга* 'uczucie pieczenia w przełyku' (POS 12, 297), wsp. ros. *узжѡга*, pol. *zgaga* 'ts.', można by przyjąć za polonizm, ale słownik podaje także postać *узгѡга* (POS 13, 213), por. strus. *узъгѡга* 'ts.' odnotowany w XVI-XVII w. (SRJ XI-XVII 6, 133), prasł. **jъzgaga* 'ts.'. Wyraz utracił samogłoskę inicjalną, co nie jest zjawiskiem rzadkim, występuje też w gwarze nowogrodzkiej, lecz w nieco innym znaczeniu: *згѡга* 'mdłości, wymioty' (SRNG 11, 226).

Wyraz *кроква* 'dach, strzecha' (POS 16, 188) ma odpowiedniki w językach zachodnio-, wschodniosłowiańskich i słoweńskim: stpol. *krokwa*, dial. *krokwa*, wsp. *krokiew* 'pochyła belka podtrzymująca pokrycie dachu', czes. *krokva*, *krokev* 'ts.', brus. *кроква*, *крѣква*, dial. l.mn. *кроклы*, ukr. *кроква* 'ts.'. Prasł. **kroky* traktuje się jako neologizm (ESSJ 12, 184) lub dialektyzm (SEB 161). W rosyjskim w powszechnym użyciu jest wyraz *стропило*, *стропила* l.mn., *кроква* jest znany głównie w gwarach zachodnich i południowych (Dal II 179, SRNG 15, 273). Słownik podaje też inne formy tego wyrazu używanego zwykle w l.mn.: *крѣквы*, *крѣклы*, *кроклы* 'krokwie' (POS 16, 111), spotykane również w białoruskim. Ukraiński wyraz *кроква*, podobnie jak *платва* 'belka dachowa' (SG III 192), jest pożyczką z polskiego, por. *płatwa* 'belka' (SP XVI 24, 401), wsp. *płatwa*, *platew* 'belka podpierająca krokwie na dachu'. Zapożyczenia do białoruskiego i ukraińskiego pol. *krokwa* nie wykluczają A. Brückner (SEJP 269) i A. Bańkowski (ES I 820). Tak więc wyraz *кроква*, który w gwarze pskowskiej rozszerzył swoje znaczenie, mógł być zapożyczony z polskiego albo – jak przytoczone formy l.mn. – za pośrednictwem białoruskim.

Pskowski wyraz *мерѣа* 1. 'woskowe pozostałości przy zbieraniu miodu; nieoczyszczony wosk', 2. 'drobne odpady przy obróbce lnu' (POS 18, 154) występuje także w formach *мерѣа*, *мерла*, *мярѣа* 'odpady powstające przy topieniu wosku' (POS 18, 163). Prasł. **mí'va* oznaczało 'rozdrobnione, zgniecione kawałki, zmięte resztki słomy', por. stpol. *mirzwa* 'pomięta słoma i puste kłosa, plewy' (SStp 4, 234), *mierzwa* 'zgnieciona słoma używana jako ściółka' (SP XVI 14, 71), *mirzwa*, *mirwa*, *mierwa* 'stara słoma, nawóz' (SW II 960), wsp. *mierzwa* 'potargana słoma, gnój'. W starorosyjskim odnotowano dwa znaczenia wyrazu *мерѣа*: 1. 'odpady przy młóceniu zbóż', w XVI-wiecznej księdze przełożonej z polskiego i 2. 'zanieczyszczenia w wosku', w rozmówkach T. Fennego z 1607 r. (SRJ XI-XVII 9, 94). W ukraińskim *мерѣа* 'pomięta, zgniła słoma, gnój' (SG II 417) ma takie znaczenie jak w polskim *mierzwa*, którego nie zna białoruski i rosyjski. W polskim słownictwie tkackim *mierzwa* oznacza odpadki włókna przy trzepaniu lnu (Falińska I 162), natomiast w gwarach białoruskich wyrazu *мэрѣа* używa się na określenie odpadów przy topieniu wosku (DSB 138). Można zatem sądzić, że znaczenie dotyczące zanieczyszczenia wosku było zapożyczone z białoruskiego, a znaczenie związane z obróbką lnu – z polskiego. Z przykładów tych wynika, że w dialektach rosyjskich oprócz odziedziczonych wyrazów prasłowiańskich są wyrazy pochodzenia prasłowiańskiego przejęte z polskiego lub za pośrednictwem białoruskim.

1. Polonizmy w gwarach pskowskich

Z wymienionych słowników wynotowano 539 polonizmów, z których większość pochodzi ze słownika pskowskiego (POS). Znajduje się wśród nich 266 wyrazów występujących w języku ogólnym (literackim) i 273 wyrazy zapożyczone do gwar. Weryfikacji zapożyczeń do języka ogólnego dokonano na podstawie porównania z zasobem leksykalnym siedemnastotomowego słownika rosyjskiego języka literackiego (SSRLJ). Wyrazy te zasługują na oddzielne opracowanie. Mogłoby ono w szerszym świetle ukazać proces zapożyczania wyrazów do gwar. Wśród polonizmów zapożyczonych do gwar pskowskich można wyróżnić kilka grup chronologicznych¹.

Najstarsze zapożyczenia pochodzą z końca XIV oraz XV wieku i jest ich niewiele. Są to rzeczowniki *кабат*, *каптур*, *лекарь*, *шкода*, przymiotnik *лекарский*, czasownik *муровать* 'tynkować' i przysłówek *учно* 'dokładnie, całkowicie', stpol. *istnie*, *isnie* 'istotnie, rzeczywiście'.

W XVI wieku napływ wyrazów polskich wydatnie się zwiększa. Zapożyczono 30 wyrazów (10%), wśród których przeważają rzeczowniki, będą-

¹ Przy ustalaniu chronologii zapożyczeń korzystano ze słowników historycznych polskich i rosyjskich, słowników etymologicznych, słowników i wykazów zapożyczeń oraz opracowań słownictwa zapożyczonego do języka rosyjskiego.

ce nazwami osób, np.: *блазен* || *блазень, коваль, кухарь, небожчик, резник*, nazwami przedmiotów używanych w życiu codziennym, np.: *вага, кантар(ь)* || *кантыр* 'waga ręczna, bezmian', *кишень, ланцуг, мерва*, nazwami ogrodzenia i budynków: *баркан* || *паркан, стодола*, nazwami roślin, napojów i potraw: *горелка, жур, кмин, кминок*, nazwami części ciała zwierząt: *манда* 'narząd płciowy krowy, cunnus', pol. *тęда, тәда* 'testiculi', *осердие* 'wewnętrzne narządy zwierząt, podroby'. Jest też parę rzeczowników abstrakcyjnych: *жарт, кепство* 'nieprzyzwoitość, zły postępek'; 'złe życie', stpol. *кяпство* 'bzdura, idiotyzm', *ленивство, литки* l.mn. 'poczęstunek z okazji sprzedaży, pieniądze dla kupującego na poczęstunek', pol. *litek, litkup*. Należą tu zapożyczone czasowniki: *замордовать* 'zaślodzić na śmierć', *коштоваться* 'gościć się', *личить, наховать, споткаться, сховаться*, przymiotniki: *мурованый, набóжный* oraz przysłówki *зимно*.

W XVII wieku liczba zapożyczeń nadal wzrasta. Zapożyczo 57 wyrazów (21%), w większości rzeczowników nazywających rozmaite przedmioty użytku codziennego, głównie naczynia, np.: *ванна* 'duże naczynie do prania; naczynie do zlewania mleka', *гарнок, кана, канка* 'cylindryczne naczynie z pokrywą', *кóновка* 'drewniany czerpak do wody; kubek do kwasu', *кўбёл* || *кубёл* || *кўбёл* 'duża beczka z pokrywą na ziarno, mąkę lub bieliznę', *кухлик* 'gliniany kubek'; drobne przedmioty, różne materiały używane w domu i gospodarstwie: *клямка* || *клянка, кнот, кнотик, бляха, дрот, лябастер, мата* 'plecionka', *лейцы* l.mn. 'lejce'; rośliny i produkty roślinne: *агрэст, олей, олива*; odzież i ozdoby: *андарак* przest. 'spódnica, pol. *индерак, бляшка* 'ozdobna sprzączka', *запона* 'guzik', pol. *запона, коронка, хустка*; osoby: *матка* 'rodzicielka', *нехлой, мешанец* 'osoba mająca rodziców różnych narodowości'; pomieszczenia i budowle: *каплица, стайня* oraz nazwy abstrakcyjne: *коханье* 'troska, pieszczota', *пожиток* 'zysk, korzyść'. Sporo zapożyczo czasowników, np.: *блазнить* 'drażnić, złościć', *вышукать, сыскать* 'szukać', *заказать, заховать, значить* 'oznaczać, zaznaczać', *кохать, кохаться, направить* 'zreperować', *отпровадить, отхилиться, ошукать, пиловать, поленить* 'wyzdrowieć', *трапить* 'trafić', oraz przymiotników: *горший, заразливый, значный, обычайный* 'narowisty, uparty', *пекельный, сличный* 'urodziwu', *терпливый, хорый, шалёный*. Odosobnione w tej grupie są przysłówki *зараз, обок*, partykuła *бодай* i zaimek *инший*.

W XVIII wieku proces zapożyczania ulega osłabieniu. Zapożyczo 23 wyrazy (8%) bardzo zróżnicowane pod względem znaczenia. Są to przede wszystkim rzeczowniki: *бавелна, бурак* || *буряк, жниво* r. n. i *жнива* r. ż. 'pole po zebraniu zboża; zbiór zbóż', *задышка, запечек, кара* 'nieszczęście, bieda', *карчма, катóлик* 'innowierca; człowiek pracowity; katorżnik; żebrak', *кормаш* 'zabawa młodzieży, hulanka', *киянка* 'drewniany młotek' *кóзёл* 'stojak, podwórka' *кордон* 'posterunek, granica' *лекарка, падло* 'padlina'. Niewiele jest czasowników: *выпалить, забавить* 'zatrzymywać, zajmować kogo, ab-

sorbować, *нахиляться, шельмовать* 'oszukiwać, szachrować' oraz przymiotników: *моркотный* 'smutny', *несмачный* || *несмаиный, одноокий*. Są tu także dwa przysłówki – *выразно* i *неможно*.

Wyjątkowo dużo jest polonizmów zapożyczonych w XIX wieku. W skład tej grupy wchodzi 100 wyrazów (37%), z czego ponad połowę stanowią rzeczowniki. Są to nazwy rozmaitych przedmiotów używanych w gospodarstwie wiejskim, narzędzi i materiałów, np.: *бизун* 'bat', *драбина, дрябина* 'jasła', *жак* 'sieć rybacka', *кошик, обцуги, лата* 'listwa, żerdź', *мурлат* 'murlat, belka na murze', *кит, хит* 'szczelina na kit'; nazwy sprzętów domowych i drobnych przedmiotów: *запалки, каганец* 'lampka oliwna', *квиток, ковал* 'kawałek', *ковалок* 'duży kawałek', *колыска, манатки, фаска* 'miska', *шмат, шматок, шматка, шустка* 'szóstka w grze w karty'; nazwy części ubioru, obuwia, przedmiotów osobistych: *брывль* 'rodzaj kapelusza', *гузик, капелюх* 'rodzaj czapki', *каптух* 'kapciuch', *холевка, холевы* l.mn. 'część obuwia'. Niemałą grupę tworzą nazwy istot żywych, nazwy osób: *австриак* 'Austriak', *братова, вояк, крамар(ь), маруда* 'człowiek powolny, opieszwały; opieszalałość', *мерник* 'geometra', *неборак, образник* 'sprzedawca ikon', *панпушка* przen. 'tłuszczek (o dziecku)', *распушник* 'psotnik, łobuz', *свинтух* 'prostak, niechluj'; nazwy zwierząt domowych: *индык, кнур*; nazwy roślin i owoców: *позёмки* || *позюмки, ябка* l.mn. 'jabłka'. Są w tej grupie nazwy abstrakcyjne: *попас* 'czas wypasu, popas; pastwisko', *поранок, смуток* 'tęsknota, niepokój', *фига* 'figa, nic z tego'; nazwy uroczystości, zabawy: *заручины, маёвка, chorób* i dolegliwości: *гизы* l.mn. 'gza, niespokojne zachowanie się zwierząt spowodowane ukąszeniem gzów', *залза* 'choroba koni', pol. *zółza, дроц* 'dreszcze', *занёгтица* 'zanokcica' oraz inne wyrazy, np.: *грабарство, метрики* l.mn. 'świadectwo urodzenia', *маца* || *мача* 'maca, przasny chleb', *наполия* 'sklep monopolowy', wsp. *монополия* 'ts.'. Dostyc liczne są zapożyczone w tym okresie czasowniki, np.: *вылучить* 'wyłączyć', *выпрать, напрать, выратовать* || *выратувать, дюбать, запалить, заробить, отробить, заручаться, змокнуть, кухарить, латать, залатать, марудить, мацать* 'dotykać, badać palcami', *нагинать(-ся), нема, неподобаться, ошнетить* 'silnie uderzyć kogo', *потпрезветь* 'wyzdrowieć', *раховать* || *роховать* 'zamyślać, przypuszczać, rozważać', *сбрудить* 'zwymiotować', *смажить, посмажить, сналезть, стукотать, урекать* 'czarować, urzekać'. Więcej niż w poprzednich okresach zapożyczo przymiotników, np.: *коширный* 'koszerny', *кудлатый, недолугий* 'niezdrowy, wątły', *недолужный* 'nieudolny, nieporadny', *несамовитый* 'nieładny; nietowarzystki', *нескончёный, нешпаркий, сбытоиный* oraz przysłówek: *внет* 'całkiem, zupełnie', *вспак, заправду, ледва, моркотно, нёвсмак, шпарко* 'silnie, ostro'. Są w tej grupie niespotykane dotąd zapożyczone liczebniki: *обадва, обедве, шустый* oraz zaimki – *инный* i *ктось*.

Końcowy okres napływu polonizmów do gwar pskowskich obejmuje pierwszą połowę i początek lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Z tego

okresu pochodzi bowiem dostępny materiał słownikowy. Z języka polskiego przejęto 57 wyrazów (21%), co pozwala sądzić, że w XX wieku proces zapożyczania nie ulegał spowolnieniu. W tej grupie są głównie rzeczowniki i czasowniki. Wśród rzeczowników znajdują się nazwy osób, np.: *бляхарь, жебрак, жебрачка, закупень* 'handlarz', *лохудра* 'kosmata, niechlujna kobieta; kudłaty mężczyzna', *недолуга* 'mizerny, nieudolny człowiek', *обувник, обшарпанец, обшарпанка, почтовец* 'listonosz'; nazwy sprzętów domowych i różnych narzędzi: *гарнушек, зэдлик* 'zydlik, ławeczka', *канана, окенницы, гачка* 'motyczka', *кельма* 'kielnia', *магли* l.mn. 'wałki do magła, magiel'. Zapożyczone czasowniki to przeważnie formacje prefiksalne: *блондать* 'błądzić', *вымуровать, вытворять* 'wyczyniać', *злупить, змениться, змиловаться, нашатковать, нашкóдить, наштуковать* 'wydłużyć, nadsztukować', *нашуровать, недомыслиться, незважать* 'nie szanować', *нездолять* 'nie zdołać', *опановать* 'otoczyć, opanować (o owadach)', *опантать* 'opętać, zawładnąć', *опружнить, осиветь, отпраить, отратовать* || *отратувать, отиштурхнуть*. Jest tu również kilka przymiotników: *бляшаной, зменный, коханий, мешаний, незграбный* 'nieładny', *несграбный* 'niezdarny', *ниязкий* i przysłówek: *всмак, натомест(ь), никак, одразу* 'zaraz', *отразу* 'za jednym razem' oraz jedyny zaimek nieokreślony *ниц*.

Jeśli chodzi o sposób i kierunki przejmowania wyrazów polskich oraz ich wewnętrzne migracje w gwarach, to analiza materiału słownikowego pozwala jedynie na ogólne i orientacyjne konstatacje w tym zakresie. Wśród 266 wyrazów zapożyczonych do języka ogólnorosyjskiego, odnotowanych w słownictwie pskowskim, najliczniejsze są wyrazy przejęte w XVII i XVIII wieku. Jest to grupa 181 wyrazów (68%) zapożyczonych przede wszystkim w rezultacie kontaktu bezpośredniego obu języków, głównie drogą pisemną. Były w tej grupie również zapożyczenia, które następnie powiększyły słownictwo gwarowe, jak np.: *бавелна, забавить, катар, коновка, лекарь* itp. Z drugiej strony napływ zapożyczeń polskich do gwar był największy w XIX wieku. Jak już wspomniano, zapożyczono wówczas 100 wyrazów (37%), podczas gdy do języka ogólnego tylko 30 wyrazów (11%). Może to świadczyć o bezpośrednim zapożyczaniu wyrazów z języka polskiego do gwar, niezależnym od roli języka ogólnego w przekazywaniu zapożyczeń. Mówiąc o źródle wyrazów zapożyczonych, nie można pomijać gwar polskich na obszarze Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi, skąd mogły przenikać występujące w nich takie wyrazy jak *кана, канка, марудить, нашатковать, опановать* itp. Warto dodać, że wyrazy zapożyczone z reguły zachowują formę zbliżoną do swojego prototypu w języku źródłowym. Zmiany formy wyrazu, takie jak np. w wypadku wyrazów *лябастер*, pol. *alabaster*, wsp. *алебастр, наполия*, wsp. *монополия*, są rzadkie, częściej występują zmiany znaczenia. Niełatwo jest określić wpływ języka białoruskiego przy zapożyczaniu do gwar pskowskich, gdyż w bardzo wielu wyrazach nie da się

wykryć jakichkolwiek oznak pośrednictwa tego języka. Wyjątkiem jest wyraz *падла* 'padlina' z brus. *падла*, pol. *padło* 'ts'.

Należy podkreślić, że sporo zapożyczeń polskich, występujących w gwarach pskowskich, jest znanych także innym gwarom. Np. w gwarach smoleńskich występują wyrazy: *андарак, бляхарь, ланцуг, маруда, магли, небожчик, обшарпанец, окравок, распусник, кошик, оконницы; выратовать, наштуковать, отпраить, отштурхнуть; кудлатый, набожный, недолужный, пекельный; обадва, обедве* itp. Jest wielce prawdopodobne, że z gwar smoleńskich, w których polonizmy są bardzo liczne, wyrazy te przeszły do gwar pskowskich. Na obszar gwar pskowskich mogły zostać przeniesione polonizmy z gwar zachodnich i południowych, np.: *капелюх, кнур, мурлат, смуток; личить, мацать, опантать; несмачный, ниякий; вспак, ледва* itp. Zasięg geograficzny niektórych wyrazów pokazuje, że z gwar pskowskich zapożyczenia mogły się rozprzestrzeniać na sąsiednie gwary. Np. w gwarach twerskich występują polonizmy: *кубел, пожиток, поранок, свинтух, хит, шмат, шустка, ябка; неподобаться, ошпетить, полепиить, потрезветь, раховать, сбрудить, стукотать, трапить, шельмовать; сбытошный, шалёный; шпарко* itp. Na teren gwar nowogrodzkich ekspandowały wyrazy: *коновка, стайня, напрать, недолугий* itp.

W zgromadzonym materiale wyróżnia się grupa licząca ponad 30 wyrazów, występujących wyłącznie w gwarach pskowskich. Są to przeważnie zapożyczenia nowsze, pochodzące z XIX i XX wieku, np.: *бруд, гарнушек, гачка, гизы, дроц, закупень, залза, зэдлик, каптух, кельма, кепство, лейцы, мерник, мочар, неборак, недолуга, позёмки, фаска, холевка; змениться, змиловаться, недомыслиться, нездолять, опружнить, сналезть, урекать; зменный, несамовитый, нескончёный; зилно, натомест(ь), невсмак.*

2. Polonizmy w gwarach nowogrodzkich

W porównaniu z gwarami pskowskimi zasób polonizmów w gwarach nowogrodzkich jest niemal sześć razy mniejszy. Słownik nowogrodzki (NOS) rejestruje 48 wyrazów pochodzenia polskiego. Do najwcześniejszych należą nieliczne zapożyczenia z XV i XVI wieku, np.: *вага* 'drąg, żerdź', *вятерь* r.m. 'kosz do połowu ryb', r.ż. 'kosz na siano', *кухарь, лит* l.poj., *литки* l.mn. 'litkup', *местечко* 'pobliskie miasto', *ховать*.

W okresie XVII-XVIII wieku zapożyczono 15 wyrazów, np.: *бурак, запечек, коновка, кунтыш* 'wierzchnie odzienie kobiece, sarafan', *неук, скриня, стайня* 'chlew; pomieszczenie dla kóz i owiec', *фурка* 'długi wóz do przewozu ładunków', *хустка; спевать, сподеваться, потрапить* 'potrafić', *сховать, шукать, зараз*.

Najliczniejszą grupę, składającą się z 24 wyrazów, stanowią zapożyczenia XIX w. Są to rzeczowniki: *бардадына* 'rosły mężczyzna', *дрябина* 'drabina; wóz drabiniasty', *жак* 'rodzaj sieci', *запалки, кошалка* 'duża płócienna

torba na plecyc', *лайдак, пленелики* || *пленельки* 'pantofle z materiału, prunelki', *плот* 'parkan', *слинки* l.mn. – w wyrażeniach *на слинки* 'na deser', *слинки текут* 'cieknie ślinka', *худоба* 'mienienie, sprzęty domowe' oraz czasowniki: *жёлкнуть, пожёлкнуть, охолнуть* || *охолонуть* 'ochłonać, uspokoić się', *ошмыкать* 'obdzierać gałązkę z liści', *ошмыкивать* 'wyłuskiwać nasiona lnu', pol. *ostykać, ostykać, poszukiwać, раззявить* 'otworzyć usta', pol. *rozdziawić, слинуть, послинить*. Należą tu także przymiotniki: *дармовой, летний* 'lekkie ciepły, o temperaturze pokojowej (o wodzie)' i przysłówki: *дарма, задарма, нараз* i *спольно* 'razem, bez podziału', pol. *spólnie, wspólnie*.

W XX wieku zapożyczono tylko trzy wyrazy: *балейка* 'mała balia, balijka', *гума* 'gumowy bicz' i *падлина*. Niewiele jest zapożyczeń, które do gwar przeszły z języka ogólnego. Można tu wymienić m.in. *кухарь, неук, пленелики* || *пленельки*. Wśród polonizmów w gwarach nowogrodzkich znajdują się wyrazy występujące również w gwarach zachodnich i południowych, np.: *балейка, вага, жак, запечек, коновка, лайдак, плот, скриня, худоба; жёлкнуть, ошмыкать, потрапить, пошукать, спевать, сподеваться, сховать* itp. Grupa ta liczy około 30 wyrazów. Mogą one wskazywać na kierunek migracji zapożyczeń do gwar pskowskich. Warto zauważyć, że pewna część wyrazów jest wspólna dla gwar pskowskich i nowogrodzkich, np.: *дрябина, запалки, запечек, зараз, жак, литки, стайня* itp., co może potwierdzać kierunek rozprzestrzeniania się zapożyczeń. Gwary nowogrodzkie nie tylko przejmowały zapożyczenia polskie z gwar zachodnich i południowych, ale pośredniczyły w przekazywaniu niektórych polonizmów do gwar północnowielkoruskich, archangielskich, ołonieckich, wołogodzkiech, np.: *запалки, зараз, кошалка, кунтыш, летний, литки, нараз, слинка, спевать* itp. Należy dodać, że bardzo mało jest zapożyczeń polskich występujących wyłącznie w gwarze nowogrodzkiej. Są to wyrazy: *гума, слинить(-ся), спольно*.

Wnioski

Wnioski z analizy zapożyczonego materiału leksykalnego są następujące. Uwarunkowana historycznie i geograficznie złożona sytuacja językowa określała różne kierunki i sposoby przejmowania wyrazów polskich do gwar. Szczególnie liczne są polonizmy w gwarach pskowskich, w których odnotowano 273 wyrazy, co stanowi 85% ogółu analizowanych zapożyczeń. Natomiast słownictwo gwar nowogrodzkich zawiera 48 wyrazów polskiego pochodzenia (15%). Tak wielka różnica ilościowa jest wynikiem silnego wpływu polszczyzny na obszarze gwar pskowskich w przeszłości oraz oddziaływania słownictwa gwar polskich pozostających z nimi w bliskiej styczności, a zarazem braku bezpośrednich związków językowych z gwarami nowogrodzkimi. Wyrazy polskie napływały do gwar pskowskich i nowogrodzkich nieprzerwanie od XVI w. Jednakże w poszczególnych okresach różna była intensywność ich napływu, wyrażająca się liczbą zapoży-

czonych wyrazów. W gwarach pskowskich najliczniejsze są wyrazy zapożyczone w XVII, XIX i XX wieku, które razem stanowią 79% zapożyczeń. Wśród polonizmów w gwarach pskowskich najliczniej są reprezentowane rzeczowniki – 144 wyrazy (53%) i czasowniki – 73 wyrazy (27%). Mniej jest przymiotników – 29 wyrazów (11%) i przysłówków – 19 wyrazów (7%). Jest też kilka liczebników, zaimków i jedna partykuła. Ich zapożyczenia nie da się objaśnić potrzebami językowymi, jest to raczej świadectwo silnego wpływu polszczyzny na gwary pskowskie. Większość zapożyczeń stanowią wyrazy z zakresu kultury materialnej. Są to nazwy przedmiotów codziennego użytku, sprzętów domowych, drobnych przedmiotów, części odzieży i ubioru, nazwy potraw i napojów (14,5%), nazwy budynków gospodarczych, urzędów, narzędzi i rozmaitych materiałów używanych w gospodarstwie wiejskim (9%) oraz nazwy osób (11,5%). Znacznie mniej jest nazw zwierząt, roślin i produktów roślinnych (3%), nazw chorób zwierząt i różnych dolegliwości (2%). Sporą grupę stanowią nazwy pojęć abstrakcyjnych (8%). Czasowniki dotyczą prostych czynności codziennych, zajęć w gospodarstwie, pracy kobiet związanej z prowadzeniem domu oraz zachowania człowieka w różnych sytuacjach. Do gwar nowogrodzkich polonizmy napływały głównie z gwar zachodnich i południowych. Najwięcej jest zapożyczeń XIX-wiecznych. Nagły spadek liczby wyrazów zapożyczonych następuje w ubiegłym stuleciu. Największą grupę stanowią rzeczowniki – 27 wyrazów (56%) i czasowniki – 14 wyrazów (29%). Niewiele jest przymiotników i przysłówków. Podobnie jak w gwarach pskowskich, zapożyczenia dotyczą rozmaitych stron życia ludności wiejskiej.

Zagadnienie zapożyczeń polskich w gwarach pskowskich i nowogrodzkich wymaga niewątpliwie dalszych badań na szerszym materiale źródłowym, które uzupełniłyby poczynione spostrzeżenia nowymi faktami i wnioskami oraz wzbogaciły dotychczasową wiedzę o zasobie polonizmów w gwarach środkoworosyjskich.

Wykaz skrótów

brus.	–	białoruski	ros.	–	rosyjski
czes.	–	czeski	smol.	–	smoleński
dial.	–	dialektalny	stpol.	–	staropolski
kostr.	–	kostromski	strus.	–	staroruski
pol.	–	polski	ts.	–	to samo
płd.	–	południowy	twer.	–	twerski
prasł.	–	prasłowiański	ukr.	–	ukraiński
przest.	–	przestarzały	wsp.	–	współczesny
psk.	–	pskowski	zach.	–	zachodni

Słowniki

- Dal — В. Д а л ь, *Толковый словарь живого великорусского языка*, т. I–IV, Москва 1978–1980.
- DSB — *Дыялектны слоўнік Брэстчыны*, Мінск 1989.
- ES — A. B a ń k o w s k i, *Etymologiczny słownik języka polskiego*, t. 1–2, Warszawa 2000.
- ESSJ — *Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд*, под ред. О.Н. Грубачева, вып.1, Москва 1974 i n.
- Falińska — B. F a l i ń s k a, *Polskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim. Słownik polskich gwarowych nazw tkackich, I*, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.
- NOS — *Новгородский областной словарь*, Изд. подгот. А.Н. Левичкин и С.А. Мызников. Авторы-составители: А.В. Клевцова, А.В. Никитин, Л.Я. Петрова, В.П. Строгова, Санкт-Петербург 2010.
- OS, OSD — *Опыт областного великорусского словаря и Дополнение к Опыт областного великорусского словаря*. Репринтное издание, Санкт-Петербург 2008.
- POS — *Псковский областной словарь с историческими данными*, вып. 1–24, Изд. Ленинградского / Санкт-Петербургского университета 1967–2013.
- SEB — W. B o r u ś, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Kraków 2005.
- SEJP — A. B r ü c k n e r, *Słownik etymologiczny języka polskiego*, Warszawa 1970.
- SG — Д. Б. Г р и н ч е н к о, *Словарь украинского языка*, т. I–IV, Киев 1900–1911.
- SP XVI — *Słownik polszczyzny XVI wieku*, pod red. R.M. Maýenowej, t. I, Wrocław 1966 i n.
- SRJ XI–XVII — *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 1, Москва 1975 i n.
- SRNG — *Словарь русских народных говоров*, вып. 1, Москва–Ленинград 1965 i n.
- SSRLJ — *Словарь современного русского литературного языка*, т. 1–17, Москва–Ленинград 1950–1965.
- SStp — *Słownik staropolski*, red. S. Urbańczyk, t. 1–11, Wrocław–Kraków 1953–2002.
- SW — *Słownik języka polskiego (tzw. warszawski)*, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.

ЛИНГВОДИДАКТИКА

ДИСКУССИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

DISCUSSION AS ONE OF THE METHODS OF PROBLEM TEACHING FOR RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

DOROTA DZIEWANOWSKA

ABSTRACT. The author of the article points out the advantages of using the discussion method (which is one of the strategies of problem teaching) during foreign language classes. This strategy creates the possibility to develop various competences in learners, for example: the competence of formulating their own opinion; the competence of expressing their point of view; the competence of achieving consensus and formulating decisions reached through solving the problem together with a group of learners; the competence of summing up. In the process of foreign language teaching, discussion is the most effective and also the most complicated form of language practice, and one which requires multi-stage preparation.

Dorota Dziewanowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków – Polska, filros@up.krakow.pl

В настоящее время наблюдается резкий прогресс во всех областях человеческой деятельности. Сегодняшний мир ставит человеку новые требования и заставляет его все время развиваться. Этим новым требованиям должна отвечать и система образования. Поэтому меняется роль преподавателя в лингводидактическом процессе. Его преподавательская работа не может быть нацелена лишь на образование специалистов. Перед ним ставится задача готовить студентов к постоянному самообразованию и саморазвитию. Применение в дидактическом процессе форм проблемного обучения дает возможность формирования у обучаемых самостоятельности мышления, пополнения получаемых знаний и совершенствования умений.

Одной из стратегий проблемного обучения является дискуссия. Анастасия Антоновна Базарова дает следующее определение понятия

„дискуссия”: „это обсуждение, в ходе которого путем сопоставления различных точек зрения происходит поиск единого мнения для возможно правильного решения спорного вопроса”¹. С точки зрения Льва Владимировича Мурзенко, „учебная дискуссия в образовательном процессе используется как форма общения обучающихся с целью решения какой-либо задачи путем диалога с учетом всех мнений участников и достижения согласованной позиции”². По его мнению, дискуссия на иностранном языке отличается от учебной дискуссии. В процессе обучения иностранным языкам дискуссия представляет собой „эмоционально окрашенный обмен мнениями и суждениями по одному и тому же вопросу”³. Такая дискуссия предполагает наличие у обучаемых определенных сформированных умений в диалогической и монологической речи, причем монологические высказывания участников дискуссии могут быть более или менее развернутыми. „Дискуссия делится на направляемую дискуссиию, как правило, строящуюся вокруг ограниченной темы и опирающуюся на помощь преподавателя, и менее регламентированную свободную дискуссиию”⁴. В ходе свободной дискуссии обучающиеся совершенствуют умения в области коммуникативной компетенции, учатся проявлять самостоятельность и творческую активность. Однако, как подчеркивает Л.В. Мурзенко, „в полном объеме свободная дискуссия доступна только обучающимся, находящимся на продвинутом уровне владения языком”⁵.

По мнению Л.В. Мурзенко, для активного и плодотворного участия в дискуссиях необходимо:

- быть компетентным в обсуждаемом вопросе;
- уметь работать с информацией на разных носителях, чтобы оперативно дополнить свои знания недостающей информацией;
- иметь навыки общения в группах, участия в полилогах, т. е. обладать коммуникативными умениями;
- быть толерантным к чужому мнению, не навязывая собственного мнения, стараясь понять позицию партнеров;
- уметь принимать совместные коллективные решения⁶.

¹ А.А. Б а з а р о в а, *Особенности применения метода учебной дискуссии на занятиях по иностранному языку в вузе*, [в:] *Теория и практика образования в современном мире: материалы международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.)*, т. II, под общ. ред. Г.Д. Ахметовой, Санкт-Петербург 2012, с. 306.

² Л.В. М у р з е н к о, *Учебная дискуссия как средство формирования межкультурной компетенции у студентов языковых вузов в условиях дистанционного образования*, „Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена” Санкт-Петербург 2010, № 121, с. 198.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

Организация учебного процесса на основе дискуссии должна быть ориентирована на реализацию активного обучения, нацеленного на формирование рефлексивного мышления, актуализацию и организацию опыта слушателей, как отправного момента для активной коммуникативной деятельности, направленной на совместную разработку проблемы⁷.

А.А. Базарова выделяет следующие характерные *признаки* дискуссионного метода: 1) групповая работа участников; 2) взаимодействие, активное общение участников в процессе работы; 3) вербальное общение как основная форма взаимодействия в процессе дискуссии; 4) упорядоченный и направляемый обмен мнениями с соответствующей организацией места и времени работы, но на основе самоорганизации участников; 5) направленность на достижение учебных целей⁸.

Из сказанного выше следует, что для того чтобы студенты могли участвовать в дискуссии, они должны обладать навыками речевой деятельности, а также интеллектуальными умениями. Поэтому дискуссию на занятиях по русскому языку как иностранному целесообразнее всего проводить в старших студенческих группах, т. е. в группах, в которых студенты в достаточной степени овладели умением говорить. По моему мнению, эта стратегия в процессе обучения иностранным языкам является наиболее сложной как для студентов, так и для преподавателя. Нередко неправильно спланированная преподавателем дискуссия строится на очередных высказываниях, на вопросах и ответах к прочитанному тексту. В свою очередь, студенты, вместо общаться друг с другом и с преподавателем с целью разностороннего обсуждения идей, точек зрения по той или иной проблеме, ограничиваются репродукцией заученного ими текста (текстов). А ведь существенной чертой учебной дискуссии, как справедливо отмечает Михаил Владимирович Кларин, является диалогическая позиция преподавателя, который должен задавать тон обсуждению и соблюдению его правил всеми участниками⁹.

Не вызывает сомнения факт, что на занятиях по иностранному языку дискуссия является учебным процессом. Поэтому она отличается от дискуссий, проходящих в реальной жизни, преимущественно своими целями. В данном случае самым важным не должно быть то, чтобы в ходе обсуждения найти решение какой-то проблемы, а то, чтобы студенты приобрели определенные умения, научились применять их

⁷ А.А. Б а з а р о в а, *Особенности применения метода учебной дискуссии...*, указ. соч., с. 307.

⁸ Там же.

⁹ М.В. К л а р и н, *Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. Анализ зарубежного опыта*, Москва 1995, с. 121.

в речевой практике, а также закрепили уже имеющиеся у них знания и умения. Иначе говоря, дискуссионное занятие должно выполнять обучающую функцию.

Как упоминалось выше, в процессе обучения польских студентов русскому языку дискуссия является сложной формой речевой практики, тем более что в Краковском педагогическом университете студенты русистики начинают изучать русский язык с нуля. Поэтому проведение дискуссии требует многоэтапной подготовки.

В лингводидактической литературе можно найти различные рекомендации, касающиеся этапов работы над дискуссией. Ссылаясь на личный опыт, я считаю, что эффективное проведение дискуссии требует выделения следующих этапов работы:

1. Подготовительный этап:

- определение проблемы для обсуждения;
- поиск и отбор текстов, касающихся обсуждаемого вопроса;
- предъявление студентам языковых клише, употребляемых в ходе дискуссии;
- формулировка проблемы в ходе группового анализа и обсуждения;
- анализ проблемы;
- попытки найти решение проблемы;
- ознакомление участников дискуссии с правилами ее проведения.

2. Основной этап – проведение дискуссионных занятий.

3. Формулирование выводов, их обсуждение и проверка.

Я считаю, что дискуссионные занятия должны быть завершающим звеном работы над данным тематическим кругом, реализуемым на практических занятиях по языку. Организуя коммуникативные задания на основании прочитанных текстов или просмотренных телепередач, позволяющих реализовать тематические круги, соответствующие требованиям программы обучения русскому языку, разработанной в нашем Институте русской филологии Краковского педагогического университета, я стараюсь формировать у студентов их медиаторные умения. Проблематика применяемых на занятиях текстов дает возможность вовлекать студентов в выполнение различных творческих речевых (устных и письменных) упражнений. Полезно вводить несколько текстов, касающихся обсуждаемого вопроса (вопросов) или являющихся поводом для приведения студентами примеров из их личного опыта. Для проведения дискуссионных занятий я стараюсь отбирать статьи полемического характера из газет, журналов и Интернета, интервью с интересными лицами, высказывания которых нельзя оценить однозначно. Осознавая необходимость перехода от авторитарного обу-

чения к гуманистическому образованию, при проведении занятий по практикуму русского языка я нередко обращаюсь к методу проектов. Использование этой инновационной методики обучения иностранным языкам дает возможность развивать у студентов умение самостоятельно отбирать информационный материал для решения коммуникативных задач по определенной теме, а также самостоятельно работать с различными источниками. Именно поэтому, кроме отобранных мною текстов, студенты самостоятельно ищут добавочные материалы для дискуссии. Приемы работы, применяемые в процессе обучения студентов-русистов с использованием метода проектов, подробно рассматриваются мною в статье *Метод проектов – суть развивающего, личностно ориентированного обучения*¹⁰.

При выборе проблемы (темы) дискуссии учитываются мною как требования учебной программы, так и личные интересы студентов. Важно, чтобы предложенная проблемная ситуация стимулировала познавательные интересы студентов, вовлекала их в активное обсуждение разных точек зрения, побуждала их к тому, чтобы осмыслить различные виды аргументации чужой и своей позиции. Евгения Семеновна Полат считает, что при формулировании проблемной ситуации для дискуссии стоит учитывать следующие факторы:

1. Наличие реальной проблемы, обеспечивающей анализ различных альтернативных точек зрения.
2. Двуплановость или многоплановость общей ситуации, требующей рассмотрения проблемы с разных позиций.
3. Доступность рассмотрения проблемы для обучаемых как с точки зрения общекультурной подготовки, так и языковой подготовки.
4. Прогнозируемый интерес обучаемых к обсуждению предлагаемой проблемы¹¹.

Следует сказать, что многие лексические темы, которые вводятся на практических занятиях по русскому языку в нашем Институте, позволяют провести дискуссию. Например: *Цена человеческой жизни и борьба с терроризмом; Причины роста преступности среди несовершеннолетних; Наркомания – самое большое зло нашего столетия; Решение вопроса о смертной казни; Глобализация и антиглобалисты; Социальные сети: есть ли опасность в виртуальном общении?; Интернет-зависимость – новая болезнь XXI века; Жестокое обращение с животными; Свобода слова в России; Пси-*

¹⁰ D. D z i e w a n o w s k a, *Метод проектов – суть развивающего, личностно ориентированного обучения*, [в:] *Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka*, pod red. K. Lucińskiego, Kielce 2011, с. 55–61.

¹¹ Е.С. П о л а т, *Современные педагогические технологии и контроль в обучении иностранным языкам*, [в:] *Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность*, под ред. А.А. Миролюбова, Обнинск 2010, с. 339.

хология потребления – путь в никуда?; Глобальная экономика: за и против; Нужно ли говорить комплименты?; Глобальное потепление: пиар-акция или научный прогноз?; Сессия: мозговой штурм или постепенная подготовка; Как успевать и работать, и учиться; Осенняя (зимняя, весенняя) депрессия и методы борьбы с ней; Проблема безработицы и эмиграция молодых людей; Рейтинг самых лучших профессий; Как раскрыть свои дарования.

На подготовительном этапе в ходе вводного занятия или нескольких вводных занятий надо научить студентов стать полноценными участниками дискуссии. В первую очередь, с целью выявить связанные с темой дискуссии факты и обстоятельства необходимо проанализировать вместе со студентами проблему. После анализа предпринимается попытка найти способы решения проблемы. Иногда это является длительным процессом, требующим более подробного обсуждения, сбора данных, а также привлечения добавочных источников информации. На этом этапе группа делает предварительные, „рабочие” выводы, проводит сбор мнений, делает обзоры и т. д. При выборе проблемы, а также при поиске способов ее решения полезно воспользоваться технологией мозгового штурма и предложить студентам высказывать как можно большее количество вариантов решения. Из общего числа высказанных идей отбираются наиболее удачные, которые могут быть использованы в ходе дискуссии.

В процессе обмена мнениями при обсуждении проблемной ситуации студенты должны продемонстрировать дискуссионные умения, т. е. выражать свое мнение, приводить аргументы и контраргументы, что связано с необходимостью использования адекватных замыслу высказывания языковых средств, а также соблюдения норм вежливости. Поэтому до проведения дискуссионных занятий, т. е. на подготовительном этапе, я считаю целесообразным предварительно отработать и составить список наиболее употребительных в дискуссии языковых клише, например: фразы, позволяющие обосновать свою точку зрения (*я убежден; я уверен; считать /что/; полагать /что/; стоять на точке зрения; принимать во внимание; занять жёсткую позицию* и др.); фразы, выражающие согласие, несогласие или сомнение по поводу аргументов оппонента (*следует признать; разделять точку зрения; конечно; безусловно; само собой разумеется; этого нельзя отрицать; хочется верить, что...; это маловероятно; это неуместно; позвольте вам возразить; это совершенно неверно; это трата времени; давай разберёмся; давай оставим эту тему* и др.); языковые средства для выражения эмоциональной оценки (*к сожалению; вызывает восхищение; радует то, что...; нельзя остаться равнодушным* и др.). Полезно также ознакомить студентов с вводными и завершающими словами и предложениями, которые помогут им вести дискуссию, например, такими как: *прежде всего; в конце концов; и всё-таки; и так далее;*

собственно говоря; при текущем положении дел...; как оказалось; что касается; с первого взгляда; во всяком случае; во-первых; по крайней мере; кстати; в глубине души (на самом деле); прежде всего; тем не менее; первым делом; что касается конкретного человека; вообще; осмелюсь сказать, ...; интересно; если я не ошибаюсь; вкратце; короче; другими словами; с одной стороны / с другой стороны; по моему мнению; в конечном счёте. Во время дискуссии с целью оказать уважение к собеседнику и к оппонентам необходимо использовать следующие фразы: *Как вы знаете...; Как вам хорошо известно...; Может быть, вас заинтересует вопрос о...; Вероятно, вы согласитесь с мнением...; Вы уже обратили внимание на то, что... и пр.*

Использование приведенных выше фраз облегчает участие в дискуссии, но в свою очередь обеспечивает совершенствование коммуникативной компетенции, учит студентов формам общения, принятым в культуре страны изучаемого языка и, таким образом, способствует формированию межкультурной компетенции.

Чтобы обеспечить правильный ход дискуссии, следует с самого начала ознакомить студентов с правилами, которые должны соблюдаться ими при совместном решении проблемы. К самым основным относятся:

- Каждое выступление должно быть подкреплено фактами.
- В обсуждении следует каждому участнику предоставить возможность высказаться.
- Необходимо внимательно слушать выступления других участников дискуссии.
- Необходимо отстаивать свои убеждения лаконично, придерживаясь четкой логики.
- При высказывании мнений, не совпадающих с вашими, сохраняйте спокойствие.
- Говорить надо только по заданной теме¹².

Роль преподавателя в проведении дискуссии трудно переоценить. Полезно, чтобы преподаватель взял на себя роль „провокатора“ и время от времени оживлял дискуссию, делился своими сомнениями, приводил альтернативные мнения, задавал вопросы. Однако надо помнить, что, подключаясь к дискуссии, он должен воздерживаться от всяких одобряющих или неодобряющих высказываний и оценок. Если после выступления какого-либо участника дискуссии наступит пауза, ее надо непременно разрядить своей репликой, советом или шуткой, связанной с темой обсуждения. Эффективными являются вопросы открытого типа, которые стимулируют мышление студентов и не предполагают краткого однозначного ответа. Приведем несколько примеров:

¹² Там же, с. 339–340.

*Зададим себе вопрос...
Какой вопрос волнует всех нас?
Какой вопрос волнует общество?
Найдём ли мы ответ на вопрос?
Попробуем решить проблему.
Мы с вами попробуем ответить на вопрос...
Мне хочется вместе с вами поискать ответ на вопрос...¹³*

Хорошим приемом побуждения к высказыванию является просьба продолжить высказывания на данную тему, которую можно сформулировать следующим образом: „Эта мысль звучит многообещающе. Интересно было бы развить ее подробнее” или: „Это очень интересно. Вы не могли бы немного подробнее поделиться впечатлениями (своей идеей, своей мыслью)?”¹⁴. Практика обучения показывает, что такие фразы побуждают активность студентов. Они стремятся лучше, полнее и яснее выразить свои мысли и чувства.

Мастерство преподавателя в проведении дискуссии заключается в том, чтобы „разогреть” студентов на дискуссию. Поэтому, организуя дискуссию, полезно создать благоприятную, комфортную обстановку так, чтобы каждый участник дискуссии мог открыто высказать свою точку зрения. У студента не может появиться ощущение, что его будут критиковать или плохо оценивать. Хорошим приемом является такая рассадка участников по кругу, чтобы каждый мог видеть лицо каждого. Кроме того, нельзя забывать о том, чтобы оказывать внимание каждому участнику дискуссии, так как это способствует созданию атмосферы доброжелательности. Когда студенты чувствуют, что преподаватель выслушивает каждого из них с равным вниманием и уважением, более охотно высказывают свои мысли.

Мастерство ведущего дискуссию заключается также и в умении правильно реагировать на ошибки. По моему мнению, нельзя оставлять без внимания такие погрешности, как: нелогичность рассуждений, противоречия, необоснованные, ничем не аргументированные высказывания. Такого рода ошибки надо исправлять посредством более подробных вопросов. Можно также попросить говорящего подтвердить или доказать свое утверждение, сослаться на какие-либо источники. Е.С. Полат все предложения без обсуждений и оценок рекомендует записывать на доске для дальнейшего детального обсуждения. Затем ученик, который записал на доске свои предложения, должен высказать аргументы в их поддержку. Остальные обучаемые могут ему задавать уточняющие вопросы. Если аргументация учащегося является

¹³ Там же, с. 338.

¹⁴ М.В. К л а р и н, указ. соч., с. 137.

убедительной, это предложение остается для дальнейшего обсуждения, если нет, то вычеркивается. Успешность этой работы повышается, если преподаватель дает время участникам, чтобы они могли обдумать ответы¹⁵.

Обнаруженные в ходе дискуссии языковые ошибки полезно записывать в свой блокнот и обсудить их в конце дискуссионного занятия. Важно, чтобы студенты во время дискуссии сосредоточивались не на языковой стороне высказывания, а на его содержании, а также наблюдали за логичной последовательностью излагаемых аргументов.

Один из самых сложных вопросов, встающих перед ведущим обсуждение, заключается в сосредоточении всего хода дискуссии на ее основной теме. В случаях отклонения от темы достаточно заметить: „Кажется, мы отошли от темы дискуссии...“. Можно также сделать паузу и попросить студентов или одного из студентов подвести итоги на текущий момент дискуссии. Этот прием дает группе возможность осмыслить, о чем шла речь до момента паузы, и лучше осознать дальнейшие этапы обсуждения.

Важным этапом дискуссии является ее завершение и подведение итогов. Как упоминалось выше, дискуссия, проведенная на занятиях по иностранному языку, должна выполнять обучающую функцию. Поэтому при подведении итогов необязательно добиваться единогласного решения обсуждаемой проблемы. Не надо делать упрек тем участникам дискуссии, которые решили остаться на своей точке зрения. Важно, чтобы они умели аргументировать свою позицию, опираясь на факты. В формулировании окончательных итогов помощь студентам могут оказать следующие (заранее отработанные на подготовительном этапе) фразы: *Короче говоря...; Если кратко подвести итоги, то...; Обобщая сказанное, заметим...; Необходимо еще раз кратко повторить...; Приведенные факты показывают следующее...; Напрашивается вывод...; Итак, самое главное...; Понятно, что все эти данные приводились для того, чтобы доказать (убедить, преодолеть, напомнить...)*¹⁶.

В конце дискуссии целесообразно вместе с группой осмыслить сам процесс обсуждения. Совместное обсуждение должно осуществляться с использованием следующих вопросов:

1. Все ли аргументы были сформулированы в убедительной форме?
2. В каких ключевых моментах дискуссии мы не достигли успеха?
3. Отклонялись ли мы от темы?
4. Принимал ли каждый участие в обсуждении?
5. Были ли случаи монополизации обсуждения?

¹⁵ Е.С. П о л а т, указ. соч., с. 340.

¹⁶ Там же, с. 341.

Учитывая мотивирующую функцию оценки, необходимо заранее объяснить участникам дискуссии, по каким критериям будут оцениваться результаты их работы. К параметрам оценки можно отнести: соответствующий отбор источников для дискуссии, убедительную аргументацию, творческое решение проблемы, логику высказывания, умение объективно оценивать мнения других участников дискуссии, языковую корректность, культуру речи, активность. Стоит также отметить, что отход от авторитарной практики обучения заставляет преподавателя не навязывать своего мнения и обсуждать оценку со всей студенческой группой.

Несомненным преимуществом использования учебной дискуссии на занятиях по иностранному языку является то, что она дает возможность формировать у студентов различные умения: умение формулировать собственное мнение по поводу обсуждаемой проблемы в доказательной форме; умение выслушивать собеседника (собеседников); умение высказывать свою идею в соответствии с требованиями речевого этикета; умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения; умение приходить к консенсусу и формулировать совместно принятое решение проблемы; умение подводить итоги.

Стоит отметить, что учебная дискуссия требует от преподавателя большого опыта, знаний и умений, а также тщательной подготовки и мастерства ее проведения. Поэтому полезно, чтобы преподаватель проверил и оценил свои умения в проведении дискуссии с помощью следующих вопросов:

1. Поставил(а) ли я ясную цель?
2. Удалось ли мне добиться активного участия всех членов группы?
3. Не останавливал(а) ли я желающих высказаться?
4. Удавалось ли мне препятствовать монополизации обсуждения?
5. Ставил(а) ли я вопросы, побуждающие студентов?
6. Удерживал(а) ли я внимание группы на теме обсуждения?
7. Не занимал(а) ли я доминирующую позицию?
8. Подводил(а) ли я промежуточные итоги?

В заключение приведем слова М.В. Кларина, который дал образное определение дискуссии как инновационной методики обучения:

Модель обучения на основе дискуссии является одним из характерных воплощений той линии дидактических исследований, которая связана с организацией проблемного обучения, ориентирована на специальное обучение поисковым процедурам, формирование культуры рефлексивного мышления¹⁷.

¹⁷ М.В. К л а р и н, указ. соч., с. 154.

Библиография

- Б а з а р о в а А.А., *Особенности применения метода учебной дискуссии на занятиях по иностранному языку в вузе*, [в:] *Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.)*, т. II, под общ. ред. Г.Д. Ахметовой, Санкт-Петербург 2012.
- D z i e w a n o w s k a Д., *Метод проектов – суть развивающего, личностно ориентированного обучения*, [в:] *Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku. Teoria i praktyka*, pod red. K. Lucińskiego, Kielce 2011.
- К л а р и н М.В., *Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. Анализ зарубежного опыта*, Москва 1995.
- М у р з е н к о Л. В., *Учебная дискуссия как средство формирования межкультурной компетенции у студентов языковых вузов в условиях дистанционного образования*, „Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена” Санкт-Петербург 2010, № 121, с. 197–201.
- П о л а т Е.С., *Современные педагогические технологии и контроль в обучении иностранным языкам*, [в:] *Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность*, под ред. А.А. Миролубова, Обнинск 2010.

OCENA UŻYTECZNOŚCI JĘZYKA OJCZYSTEGO (POLSKIEGO)
W UCZENIU SIĘ GRAMATYKI JĘZYKÓW OBCYCH
(ANGIELSKIEGO I ROSYJSKIEGO): WYNIKI BADANIA

EVALUATING THE USEFULNESS OF L1 (POLISH)
IN LEARNING THE GRAMMAR OF FOREIGN LANGUAGES
(ENGLISH AND RUSSIAN): STUDY FINDINGS

ALEKSANDRA WACH, MARINA JAKOWLEWA-PAWLIK

ABSTRACT. This article reports a study which gathered Polish learners' opinions about the usefulness of L1-based techniques in learning L2 English and L3 Russian grammar. The results reveal a negative correlation between the length of study and the level of positive evaluations of the usefulness of L1-based clues. Although L1 was generally considered more useful in learning Russian, the evaluations differed considerably in relation to particular structures in both languages.

Aleksandra Wach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
waleks@wa.amu.edu.pl

Marina Jakowlewa-Pawlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Poznań – Polska, pawlikm@amu.edu.pl

Wstęp

Rola języka ojczystego w uczeniu się i nauczaniu języka obcego, po dekadach odrzucania go na rzecz nauczania monolingwalnego, ponownie staje się tematem przyciągającym uwagę badaczy i nauczycieli. We współczesnych publikacjach podkreśla się funkcję języka ojczystego jako źródła koncepcyjnej wiedzy na temat języka, jego struktury i funkcji. Język ojczysty jest zatem systemem odniesienia dla ucznia przyswajającego język obcy, ułatwia bowiem kognitywne przetwarzanie danych językowych i stanowi użyteczną bazę do uczenia się nowego języka. Świadome odnoszenie się do języka ojczystego podnosi wrażliwość i świadomość językową, co pozytywnie wpływa na kompetencję językową ucznia i ułatwia uczenie się kolejnych języków obcych. Dlatego wpływy międzyjęzykowe na procesy przyswajania języków obcych przez osoby wielojęzyczne są uznane za ciekawy i istotny problem badawczy.

Artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego na grupie uczących się języka angielskiego i języka rosyjskiego, którego celem było ustalenie, w jakim stopniu oceniają oni język ojczysty (polski) jako pomocny

w opanowaniu wybranych struktur gramatycznych w obu językach. Opis badania poprzedza krótki przegląd literatury poświęconej roli języka ojczystego w uczeniu się gramatyki języków obcych.

Rola języka ojczystego w uczeniu się i nauczaniu gramatyki języka obcego: przegląd literatury

We współczesnych badaniach nad procesami przyswajania języka obcego oraz ich implikacjami dydaktycznymi coraz większą uwagę przywiązuje się do pozytywnej roli języka ojczystego jako użytecznego źródła wiedzy językowej oraz punktu odniesienia dla uczniów języków obcych¹. Obecność języka ojczystego przez wiele lat była negowana i uznawana za wręcz szkodliwą, a jej ograniczenie stało się jednym z podstawowych postulatów monolingwalnego nauczania komunikacyjnego².

Obecnie jednak wiele publikacji o charakterze empirycznym oraz meta-analitycznym³ wskazuje na korzystny wpływ eksplicytnego nauczania kodu językowego, w tym gramatyki, na rozwinięcie kompetencji komunikacyjnej uczniów. Spowodowało to zainteresowanie badaczy różnymi sposobami uczenia się i nauczania gramatyki, również tymi, których celem jest świadome skoncentrowanie się uczniów na formach gramatycznych języka obcego. Według Nassaji i Fotos⁴ świadoma koncentracja na cechach gramatycznych nie powinna być zaniechana w procesie dydaktycznym, gdyż wpływa ona dodatnio na tempo i poziom przyswajania języka obcego. Wielu badaczy widzi więc w klasie językowej miejsce dla implicytnych oraz eksplicytnych podejść do nauczania gramatyki, w zależności od kontekstu edukacyjnego oraz indywidualnych cech uczniów⁵. Ponowne zwrócenie uwagi na rolę języka ojczystego ma związek z tym zauważalnym docenieniem eksplicytnego nauczania gramatyki, jego „rahabilitacją”, jak pisze

¹ Tematykę tę podejmuje wiele współczesnych publikacji, m. in. G. Hall, G. Cook, *Own-language use in language teaching and learning*, „Language Teaching” 2012, no. 45, s. 271–308.

² Na przykład S. Krashen, *Second language acquisition and second language learning*, Oxford 1981.

³ Przykładem takiego opracowania jest artykuł J. Norris, L. Ortega, *Effectiveness of L2 instruction: A research synthesis and quantitative meta-analysis*, „Language Learning” 2000, no. 50, s. 417–528.

⁴ H. Nassaji, S. Fotos. *Teaching grammar in second language classrooms*, New York 2011, rozdz. 6, s. 88–102.

⁵ Do takich badaczy należy np. M. Pawlak, który opublikował wiele książek i artykułów na temat nauczania gramatyki języka obcego. Obszerną publikacją dotyczącą tej tematyki jest *The place of form-focused instruction in the foreign language classroom*, Poznań-Kalisz 2006.

Swan⁶, we współczesnej dydaktyce językowej. Spada i Lightbown⁷ zauważają, że świadome porównania między językiem ojczystym i obcym są jedną z technik nauczania eksplicytnego.

Przekonujące argumenty za wykorzystaniem języka ojczystego w uczeniu się języka obcego wywodzą się z kognitywnej teorii uczenia się, według której nowa wiedza konstruowana jest w umyśle ucznia na podstawie istniejącej już wiedzy⁸. Język ojczysty, dobrze zakorzeniony w systemie poznawczym ucznia, stanowi więc niezwykle cenny fundament do „nadbudowania” nowego systemu językowego. Rutherford⁹, a także Butzkamm i Caldwell¹⁰ wskazują na bardzo istotną rolę konceptualnej wiedzy językowej, istniejącej już w umyśle ucznia i obejmującej wiedzę na temat pojęć językowych, sposobu funkcjonowania języka, składni i morfologii, a także funkcji językowych w przyswajaniu nowego kodu językowego.

Porównywanie form występujących w różnych językach sprzyja też podnoszeniu wrażliwości językowej uczniów. Gozdawa-Gołębiowski¹¹ zauważa, że zestawianie struktur syntaktyczno-morfologicznych w języku ojczystym i języku obcym uwrażliwia ich na istnienie podobieństw i różnic pomiędzy kodami językowymi, tym samym rozwijając ich zainteresowanie systemem językowym oraz motywację wewnętrzną wynikającą z odkrywania ciekawych zjawisk językowych. Rozwinięcie refleksji lingwistycznych uczniów zależy oczywiście od ich wieku i poziomu zaawansowania językowego; możliwie będzie ono głównie wśród uczniów dojrzałych, na przykład studentów filologii.

Rola języka ojczystego w uczeniu się i nauczaniu języków obcych stanowi obecnie istotny przedmiot badań nad procesami przyswajania języka przez uczniów wielojęzycznych. W kontekście uczenia się więcej niż jednego języka obcego w umyśle ucznia zachodzą interakcje pomiędzy wszystkimi znanymi uczniowi językami (nie wyłączając języka ojczystego), co widoczne jest w procesach transferu międzyjęzykowego oraz w strategiach uczenia się stosowanych przez takiego ucznia. To, w jaki sposób poszcze-

⁶ M. S w a n, *Grammar*, [w:] *The Routledge handbook of applied linguistics*, red. J. Simpson, London 2011, s. 567.

⁷ N. S p a d a, P. L i g h t b o w n, *Instruction, first language influence, and developmental readiness in second language acquisition*, „The Modern Language Journal” 1999, no. 83, s. 1–22.

⁸ Kognitywna teoria uczenia się wyjaśniona jest m. in. przez M. Dakowską w książce *Current controversies in foreign language didactics*, Warszawa 2003, s. 56–57.

⁹ W. R u t h e r f o r d, *Second language grammar: learning and teaching*, Harlow 1987, s. 7.

¹⁰ W. B u t z k a m m, J. C a l d w e l l, *The bilingual reform: A paradigm shift in foreign language teaching*, Tübingen 2009, s. 67.

¹¹ R. G o z d a w a - G o ł e b i o w s k i, *Interlanguage formation: a study of the triggering mechanisms*, Warszawa 2003, s. 203–204.

gólne języki wpływają na procesy uczenia się, zależy od konfiguracji wielu czynników językowych oraz indywidualnych. Wyniki dotychczasowych badań wskazują na ogromną rolę poziomu biegłości w poszczególnych językach, czasu uczenia się, statusu języków obcych i języka ojczystego, kontekstu edukacyjnego (formalna nauka szkolna lub przyswajanie w warunkach naturalistycznych), a także motywacji i wieku ucznia¹². Niezwykle istotnymi czynnikami są również typologia języków oraz psychotypologia, czyli, według definicji Kellermanna¹³, postrzeganie przez uczniów podobieństw i różnic pomiędzy językami. Badacze zajmujący się procesami przyswajania wielu języków obcych, na przykład Jessner¹⁴, zalecają więc stosowanie w procesach dydaktycznych takich form pracy, które pozwolą uczniom dokonywać porównań międzyjęzykowych i w ten sposób w pełni wykorzystać istniejący potencjał do podnoszenia ich świadomości międzyjęzykowej i metapoznawczej.

Najbardziej oczywistym ćwiczeniem gramatycznym z wykorzystaniem języka ojczystego jest technika tłumaczenia, której rola w podejściu monolingwalnym była marginalizowana, a która na nowo znajduje miejsce wśród współczesnych technik nauczania gramatyki¹⁵. Jak twierdzi Gnuzmann¹⁶, podkreślając syntaktyczną specyfikę każdego z języków, technika tłumaczenia zwraca uwagę ucznia na różnice i pomaga uniknąć interferencji. Wiele form ćwiczeń gramatycznych odnoszących się do języka ojczystego zostało zaproponowanych przez Butzkamma i Caldwella¹⁷; wśród nich znajduje się technika „odbicia lustrzanego”, która została wykorzystana w opisanym poniżej badaniu. Technika „odbicia lustrzanego” (ang. *mirroring*) to forma tłumaczenia dosłownego dokonywanego na poziomie słów i morfemów, która sprawia, że struktury gramatyczne w języku obcym stają się dla uczniów bardziej zauważalne i przejrzyste. Zastosowanie tej techniki ilustruje następujący przykład: „Wir müssen Deutsch lernen. *We must German learn. We must learn German”¹⁸.

¹² K. De Bot, C. Jansen, *What is special about L3 processing*, “Bilingualism: Language and Cognition” 2015, no. 18, s. 130–144.

¹³ E. Kellerman, *Transfer and non-transfer: Where we are now*, “Studies in Second Language Acquisition” 1979, no. 2, s. 37–57.

¹⁴ C. Kemp, *Strategic processing in grammar learning: Do multilinguals use more strategies?*, “International Journal of Multilingualism” 2007, no. 4, s. 241–261.

¹⁵ Ciekawe omówienie pozycji tłumaczeń międzyjęzykowych w wybranych metodach nauczania przedstawia w swym artykule P. Schefler, *Learners' perceptions of grammar translation as consciousness raising*, “Language Awareness” 2013, no. 22, s. 255–269.

¹⁶ C. Gnuzmann, *Translation as language awareness: overburdening or enriching the foreign language classroom?*, [w:] *Translation in Second Language Learning and Teaching*, red. A. Witte, T. Harden, A. Ramos de Oliveira Harden, Oxford–Bern 2009, s. 53–77.

¹⁷ W. Butzkamm, J. Caldwell, op. cit., rozdz. 5 i 6, s. 101–141.

¹⁸ Ibidem, s. 109.

Cele i organizacja badania

Głównym celem opisanego w niniejszym artykule badania było poznanie opinii uczestników na temat przydatności odwoływania się do języka ojczystego (polskiego) w zrozumieniu struktur gramatycznych w językach obcych (angielskim i rosyjskim). Kolejnym celem, ściśle powiązanim z celem głównym, było ustalenie różnic pomiędzy postrzeganiem przydatności języka polskiego w zrozumieniu struktur w języku angielskim i w języku rosyjskim. Ponadto badanie miało na celu ustalenie, czy istnieje korelacja pomiędzy odpowiedziami uczestników i długością uczenia się poszczególnych języków.

Grupę badawczą stanowiło 66 studentów pierwszego roku filologii rosyjsko-angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Długość uczenia się i poziom opanowania języka angielskiego i rosyjskiego znacznie różnił się w grupie badawczej. Średnia długość uczenia się języka angielskiego wynosiła 11,1 lat (min. 3 lata, maks. 17 lat), a rosyjskiego – 1,1 roku (min. 0,5 roku, maks. 6 lat)¹⁹. Poziom opanowania języka angielskiego w badanej grupie można oszacować na poziomie B2, a rosyjskiego – A2 / B1²⁰.

Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz składający się, poza wstępną częścią demograficzną, służącą do nakreślenia profilu uczestników, z dwóch części, z których jedna poświęcona była strukturom gramatycznym w języku angielskim, a druga – w języku rosyjskim. W każdej z nich znajdowało się 14 zdań ilustrujących zastosowanie wybranych struktur gramatycznych w każdym z języków, dobranych pod względem zaawansowania językowego uczestników. Każdemu ze zdań towarzyszyło poprawne tłumaczenie na język polski oraz tłumaczenie dosłowne, będące realizacją techniki „odbicia lustrzanego”. Dodatkowo przy każdym zdaniu znajdowała się pięciostopniowa skala Likerta („nieużyteczne” – „raczej nieużyteczne” – „trudno powiedzieć” – „raczej użyteczne” – „bardzo użyteczne”), na której uczestnicy zaznaczali swoje oceny użyteczności polskich tłumaczeń w zrozumieniu formy i znaczenia poszczególnych struktur. W analizie uzyskanego materiału badawczego przekonwertowano opisową skalę Likerta na liczby 1 – 5, przy czym 1 oznacza odpowiedź „nieużyteczne”, a 5 – odpowiedź „bardzo użyteczne”.

Wyniki badania. Struktury w języku angielskim

Wyliczenie średniej arytmetycznej wskazuje, że średnia ocena użyteczności języka polskiego w zrozumieniu 14 struktur angielskich wynosi 3,06,

¹⁹ Zdecydowana większość uczestników rozpoczęła naukę języka rosyjskiego dopiero na studiach.

²⁰ Według poziomów biegłości przedstawionych w publikacji Rady Europy: *Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie*, tłum. W. Martyniuk, Warszawa 2001.

a wartość odchylenia standardowego to 1,20. Ponieważ jednak zdania przedstawiały różne struktury, a, jak wskazują wysokie wartości odchylenia standardowych, odnotowano dużą różnorodność odpowiedzi, bardziej przydatne wydaje się przedstawienie konkretnych liczb udzielonych odpowiedzi.

Tabela 1 przedstawia zatem częstotliwości (w liczbach i procentach) odpowiedzi dotyczących oceny użyteczności polskich tłumaczeń w zrozumieniu angielskich struktur gramatycznych. Kolorem szarym wyróżniono najczęściej wybierane odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnych zdań.

Tabela 1. Liczba uzyskanych odpowiedzi w odniesieniu do angielskich struktur gramatycznych

Zdanie angielskie	Oceny negatywne		Trudno powiedzieć		Oceny pozytywne	
	Liczba	Procent	Liczba	Procent	Liczba	Procent
E1	29	43,9%	8	12,1%	29	43,9%
E2	33	50,0%	13	19,7%	20	30,3%
E3	37	56,1%	7	10,6%	22	33,3%
E4	28	42,4%	6	9,1%	32	48,5%
E5	32	48,5%	5	7,6%	29	43,9%
E6	21	31,8%	10	15,2%	35	53,0%
E7	34	51,5%	14	21,2%	18	27,3%
E8	10	15,2%	3	4,5%	53	80,3%
E9	26	39,4%	15	22,7%	25	37,9%
E10	21	31,8%	11	16,7%	34	51,5%
E11	14	21,2%	13	19,7%	39	59,1%
E12	11	16,7%	13	19,7%	42	63,6%
E13	20	30,3%	8	12,1%	38	57,6%
E14	35	53,0%	14	21,2%	17	25,8%

Jak wynika z Tabeli 1, oceny negatywne przeważały w przypadku 6 angielskich zdań, a oceny pozytywne – w przypadku 7 z nich. W jednym zdaniu, E1, liczba ocen pozytywnych i negatywnych była identyczna.

Ciekawe jest zestawienie struktur, w przypadku których uczestnicy najwyżej ocenili przydatność tłumaczeń polskich. W materiale angielskim najbardziej pozytywnych ocen, przy jednoczesnej niskiej częstotliwości ocen negatywnych, dokonano w stosunku do zdań przedstawionych w Tabeli 2.

Tabela 2. Zdania w języku angielskim, w stosunku do których najwyżej oceniono przydatność polskich tłumaczeń

(E8)	<i>It's the first time I've eaten Chinese food.</i>
tłumaczenie:	Po raz pierwszy jem chińskie jedzenie.
odbicie lustrzane:	To jest pierwszy raz, kiedy (kiedykolwiek) jadłem chińskie jedzenie.
(E12)	<i>"Is he coming?" "I guess not."</i>
tłumaczenie:	„Czy on przyjdzie?” „Chyba nie”.
odbicie lustrzane:	„Czy on przyjdzie?” „ Zgaduję, (że) nie ”.
(E11)	<i>I hate it when you ignore me.</i>
tłumaczenie:	Nie znoszę, kiedy mnie ignorujesz.
odbicie lustrzane:	Nie znoszę tego kiedy mnie ignorujesz.

W przykładzie E8 warto podkreślić, że chociaż znaczenie zdań w językach angielskim i polskim jest takie samo, różnią się one w warstwie koncepcyjnej. Podczas gdy w języku polskim podkreślamy aspekt teraźniejszy czynności (*jem*), w języku angielskim zastosowany jest czas *present perfect*, który łączy aspekt przeszłości z teraźniejszością, wskazując na stan trwający aż do chwili obecnej. Większość Polaków uczących się języka angielskiego prawdopodobnie użyłaby tutaj błędnej formy czasu teraźniejszego (prostego albo ciągłego) na skutek interferencji. Zdanie E12 ilustruje użycie konstrukcji potocznej, niemal idiomatycznej, strukturalnie i koncepcyjnie odmiennej od konstrukcji polskiej. Ta struktura, choć bardzo prosta w warstwie syntaktycznej, rzadko byłaby użyta przez nierodzimych użytkowników języka angielskiego. W zdaniu E11 występuje „pusty” zaimek (*it*), typowy dla języka angielskiego, a zupełnie niespotykany w języku polskim. Jest to więc konstrukcja koncepcyjnie trudna dla Polaków. Dosłowne tłumaczenie dobrze ilustruje zasadę, że czasowniki tranzytywne wymagają dopełnienia w postaci rzeczownika lub zaimka.

Jeśli chodzi o zdania, co do których w większości udzielono odpowiedzi negatywnych, to brak tutaj aż tak wyraźnej polaryzacji odpowiedzi. Najwyższa wartość procentowa to 56,1%, podczas gdy w przypadku przeważających ocen pozytywnych było to ponad 80%. W Tabeli 3 zestawiono cztery zdania, co do których użyteczność polskich tłumaczeń oceniono negatywnie.

Tabela 3. Zdania w języku angielskim, w stosunku do których najniżej oceniono przydatność polskich tłumaczeń

(E3)	<i>You needn't have gone to hospital.</i>
tłumaczenie:	Niepotrzebnie poszedłeś do szpitala.
odbicie lustrzane:	Nie potrzebowałeś być iść do szpitala.
(E14)	<i>I saw nothing.</i>
tłumaczenie:	Niczego nie widziałam.
odbicie lustrzane:	Widziałam nic.

(E7)	<i>Next year I will have been working for the company for 30 years.</i>
<i>tłumaczenie:</i>	<i>W przyszłym roku minie 30 lat, odkąd pracuję w tej firmie.</i>
<i>odbicie lustrzane:</i>	<i>W przyszłym roku będę był pracujący w tej firmie od 30 lat.</i>
(E2)	<i>If it had rained, we would have stayed at home.</i>
<i>tłumaczenie:</i>	<i>Gdyby padało, zostalibyśmy w domu.</i>
<i>odbicie lustrzane:</i>	<i>Gdyby było padało, zostalibyśmy byli w domu.</i>

Zdanie E3 ilustruje zastosowanie czasownika modalnego (*need*) w odniesieniu do przeszłości. Pod względem syntaktycznym nie jest to struktura prosta ani oczywista. Jest to jednak struktura intensywnie obecna na kursach językowych, z którą respondenci byli zapewne dobrze zaznajomieni. Błędy interferencji z udziałem czasowników modalnych są raczej rzadkie. Zdanie E14 jest z kolei syntaktycznie bardzo proste, choć koncepcyjnie całkowicie różne od struktury polskiej. Koncepcja pojedynczego przeczenia w języku angielskim jest z pewnością dobrze znana respondentom z powodu intensywnego występowania na kursach językowych i w podręcznikach. Kolejne dwa zdania (E7 i E2) mają formy gramatyczne dość skomplikowane syntaktycznie, ale wydają się łatwiejsze dla respondentów również ze względu na częstotliwość ich występowania w podręcznikach i innych materiałach dydaktycznych (choć niekoniecznie w autentycznym użyciu przez rodzimych użytkowników języka angielskiego). Prawdopodobnie z tego powodu skłaniali się do uznania języka polskiego jako niepotrzebnego w ich zrozumieniu. Warto również podkreślić, że w przypadku wszystkich czterech zdań zestawionych w Tabeli 3 dosłowne tłumaczenia (odbicia lustrzane) brzmią w języku polskim niezręcznie i niepoprawnie, w przeciwieństwie do zdań przedstawionych w Tabeli 2. Ten czynnik mógł również wpłynąć na ocenę przydatności języka polskiego w zrozumieniu struktur angielskich.

Struktury w języku rosyjskim

W przypadku zdań rosyjskich średnia arytmetyczna wynosi 3,21, przy odchyleniu standardowym 1,22. Tabela 4 zawiera szczegółowe informacje dotyczące liczby udzielonych odpowiedzi w kontekście struktur rosyjskich.

Tabela 4. Liczba uzyskanych odpowiedzi w odniesieniu do rosyjskich struktur gramatycznych

Zdanie rosyjskie	Oceny negatywne		Trudno powiedzieć		Oceny pozytywne	
	2	3	4	5	6	7
R1	18	27,3%	7	10,6%	41	62,1%
R2	22	33,3%	6	9,1%	38	57,6%
R3	16	24,2%	11	16,7%	39	59,1%

1	2	3	4	5	6	7
R4	13	19,7%	4	6,1%	49	74,2%
R5	34	51,5%	13	19,7%	19	28,8%
R6	39	59,1%	13	19,7%	14	21,2%
R7	24	36,4%	11	16,7%	31	47,0%
R8	29	43,9%	8	12,1%	29	43,9%
R9	8	12,1%	12	18,2%	46	69,7%
R10	11	16,7%	9	13,6%	46	69,7%
R11	12	18,2%	10	15,2%	44	66,7%
R12	22	33,3%	15	22,7%	29	43,9%
R13	35	53,0%	18	27,3%	13	19,7%
R14	29	43,9%	14	21,2%	23	34,8%

Jak wynika z Tabeli 4, odpowiedzi uczestników w odniesieniu do materiału rosyjskiego rozłożyły się mniej równomiernie niż w odniesieniu do zdań angielskich: oceny pozytywne przeważały tu w przypadku 9 zdań, w 4 zdaniach odnotowano przewagę ocen negatywnych, a w jednym zdaniu (R8) – identyczną liczbę ocen pozytywnych i negatywnych.

Tabela 5. Zdania w języku rosyjskim, w stosunku do których najwyżej oceniono przydatność polskich tłumaczeń

(R4)	<i>Как тебя зовут?</i>
<i>tłumaczenie:</i>	<i>Jak masz na imię?</i>
<i>odbicie lustrzane:</i>	<i>Jak cię zwaą?</i>
(R9)	<i>Они часто ходят друг к другу в гости.</i>
<i>tłumaczenie:</i>	<i>Oni często chodzą do siebie w gości.</i>
<i>odbicie lustrzane:</i>	<i>Oni często chodzą jeden do drugiego (kolega do kolegi) w gości.</i>
(R1)	<i>У Ани есть собака.</i>
<i>tłumaczenie:</i>	<i>Ania ma psa.</i>
<i>odbicie lustrzane:</i>	<i>U Ani jest pies.</i>

Należy zauważyć, że wysoki procent ocen pozytywnych otrzymały przykłady zdań rosyjskich, w których wyraźne są różnice znaczeniowe w konstrukcjach gramatycznych (Tabela 5). Przykład R9 ilustruje użycie wyrażenia zaimkowego *друг друга* w celu przedstawienia wzajemnych stosunków zachodzących między osobami. Ze względu na podobieństwo języków i negatywne wpływy interferencyjne uczniowie niejednokrotnie błędnie używają w takim znaczeniu zaimka zwrotnego *себя*, ponieważ zarówno wyrażenie zaimkowe *друг друга*, jak i wspomniany wyżej zaimek odpowiadają polskiemu zaimkowi zwrotnemu *sobie / siebie (się)*. Lustrzane odbicie doskonale identyfikuje daną konstrukcję pod względem znaczenia, dlatego

respondenci ocenili przydatność tej techniki dość wysoko. Pozytywne oceny obejmują również przykłady, w których różnice dotyczyły składni. Ponad 62% osób z badanej grupy uznało dosłowne tłumaczenie za użyteczne do zrozumienia znaczenia oraz konceptu konstrukcji *у меня* (przykład R1), odpowiadającej polskiemu *mam / posiadam*. Wspomniana struktura sprawia zwykle wiele trudności przede wszystkim na początkowym etapie nauki języka rosyjskiego, gdzie zauważa się nagminne niepoprawne używanie przez uczniów w znaczeniu posiadania czasownika *иметь*. Przykład R4 natomiast obrazuje koncepcyjne różnice w prostym pytaniu o imię z użyciem czasownika *звать*. Odwołanie się do języka ojczystego pozwala również na świadome i poprawne użycie biernika.

Tabela 6. Zdania w języku rosyjskim, w stosunku do których najniżej oceniono przydatność polskich tłumaczeń

(R6)	<i>Дима в школу едет на машине.</i>
tłumaczenie:	<i>Dima do szkoły jedzie samochodem</i>
odbicie lustrzane:	<i>Dima do szkoły jedzie na samochodzie.</i>
(R13)	<i>Она живет в пятнадцати километрах от ближайшего города.</i>
tłumaczenie:	<i>Ona mieszka piętnaście kilometrów od najbliższego miasta.</i>
odbicie lustrzane:	<i>Ona mieszka w piętnastu kilometrach od najbliższego miasta.</i>
(R5)	<i>Мама работает учительницей в начальной школе.</i>
tłumaczenie:	<i>Mama pracuje jako nauczycielka w szkole podstawowej.</i>
odbicie lustrzane:	<i>Mama pracuje nauczycielką w szkole podstawowej.</i>

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż negatywne oceny otrzymały przykłady prezentujące różnice w rekcji czasownikowej (R5), jak również w użyciu przyimków (R6), co wynika z Tabeli 6. W trakcie kursu językowego zagadnienia związane z rzędem czasownika są zwykle wprowadzane jako materiał pamięciowy, stąd być może tak wysoki procent ocen negatywnych. Natomiast stosowanie w języku rosyjskim przyimków zwykle nie sprawia uczniom większego problemu, co też znalazło odzwierciedlenie w przykładach R6 i R13. Prawdopodobnie ze względu na pokrewieństwo badanych języków stopień trudności ujętych w danych przykładach zagadnień gramatycznych wydaje się być niski, dlatego respondenci uznali tłumaczenie dosłowne (lustrzane odbicie) w takich przypadkach za nieużyteczne.

Korelacja pomiędzy odpowiedziami a długością uczenia się języka obcego

Przeprowadzono również pomiar korelacji pomiędzy średnimi wartościami odpowiedzi udzielanymi przez uczestników w stosunku do struktur w obu językach oraz długością uczenia się danego języka. Wyniki korelacji Pearsona okazały się istotne statystycznie w przypadku obu języków. W od-

niesieniu do języka angielskiego użytkano następujące wyniki: $r = -0,246$, $n = 66$, $p = 0,047$, $R^2 = 0,060$ ²¹, co wskazuje na raczej słabą korelację ujemną. W przypadku języka rosyjskiego wyniki korelacji to: $r = -0,338$, $n = 66$, $p = 0,005$, $R^2 = 0,114$, co oznacza silniejszą korelację ujemną. Korelacja ujemna wskazuje, że im wyższa długość uczenia się danego języka, tym mniej pozytywna ocena przydatności języka ojczystego wśród badanej próby, podkreślając rolę poziomu zaawansowania językowego jako istotnego czynnika w niniejszym badaniu.

Wnioski końcowe

Badanie opisane w niniejszym artykule miało na celu przedstawienie opinii respondentów, osób uczących się języków angielskiego i rosyjskiego, na temat użyteczności tłumaczeń na język ojczysty w zrozumieniu form i znaczeń struktur gramatycznych obu języków. Wyniki wskazują na wysoki poziom dywersyfikacji opinii w stosunku do poszczególnych języków oraz konkretnych struktur gramatycznych. Większej liczby pozytywnych odpowiedzi udzielono w stosunku do języka rosyjskiego niż angielskiego. Jednym z czynników wyjaśniających ten wynik jest znacznie niższa długość uczenia się i poziom zaawansowania w języku rosyjskim; zależność pomiędzy tą zmienną a udzielanymi odpowiedziami została potwierdzona przez pomiary korelacji. Innym czynnikiem, który wydaje się wpływać na różnice pomiędzy językami, jest typologia oraz psychotypologia językowa. Uczniowie uważają język ojczysty za bardziej użyteczny w uczeniu się języka obcego zbliżonego typologicznie, ponieważ doceniają pomocną rolę pozytywnego transferu z języka ojczystego. Jest to założenie całkowicie słuszne, jednak uczniowie muszą być jednocześnie świadomi „pułapek” wynikających z nadużywania transferu w przypadku uczenia się języka zbliżonego do języka ojczystego. Właściwie dobrane porównania międzyjęzykowe mogą uwrażliwić uczniów na zauważanie podobieństw i różnic pomiędzy kodami językowymi i pomóc im unikać interferencji.

Różnice w odpowiedziach dotyczących poszczególnych struktur gramatycznych związane są prawdopodobnie z poziomem postrzeganej ich trudności, ponieważ właśnie zdania charakteryzujące się wysoką odmiennością na poziomie koncepcyjnym oceniono jako te, w stosunku do których zastosowanie języka ojczystego jest najbardziej przydatne. Mniejszą rolę wydaje się odgrywać trudność form gramatycznych na poziomie syntaktycznym. Zauważono, że uczestnicy badania niżej ocenili przydatność języka ojczystego w przypadkach angielskich zdań, których dosłowne tłuma-

²¹ Standardowe sposoby interpretacji współczynników korelacji oraz istotności statystycznej w naukach społecznych podane są w wielu źródłach, np. J. L a r s e n - H a l l, *A guide to doing statistics in second language research using SPSS*, New York 2010, s. 163.

czenia brzmiały wyjątkowo niezręcznie i nienaturalnie (np. „Widziałam nic”). Taka jest jednak specyfika techniki nauczania nazywanej „odbiciem lustrzanym”, że celowo stosuje błędne, często dziwnie brzmiące zdania w języku ojczystym, będące wiernym odwzorowaniem zdań w języku docelowym; to „odwzorowanie” jest celową techniką, służącą zwróceniu uwagi na odmienny od języka ojczystego „wzorzec” struktury w języku obcym. Jak wyjaśnia Hentschel²², tłumaczenie dosłowne, choć często prowadzi do tworzenia absurdalnych zdań, stanowi klucz do zrozumienia formy i znaczenia struktur w J2, zastępując wyjaśnienia metajęzykowe. Wydaje się więc, że uzasadnione byłoby stosowanie porównań pomiędzy językiem docelowym a innymi językami znanymi uczniom (również językiem ojczystym) jako planowej, przemyślanej techniki nauczania, mającej na celu podniesienie świadomości językowej oraz metajęzykowej uczniów²³. Stosowanie takich technik dydaktycznych musi być jednak dostosowane do poziomu językowego i potrzeb uczniów w taki sposób, aby nie zastępowało ćwiczeń komunikacyjnych w języku obcym, które powinny stanowić zdecydowaną przewagę na lekcji, lecz jedynie je uzupełniało.

Bibliografia

- Butzkamm W., Caldwell J., 2009. *The bilingual reform: A paradigm shift in foreign language teaching*, Tübingen: Narr.
- Dakowska M., 2003. *Current controversies in foreign language didactics*, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
- De Bot K., Jaensch C., 2015. *What is special about L3 processing*, „Bilingualism: Language and Cognition” no. 18, s. 130–144.
- Gnuzman C., 2009. *Translation as language awareness: overburdening or enriching the foreign language classroom?*, [w:] *Translation in second language learning and teaching*, red. A. Witte, T. Harden, A. Ramos de Oliveira Harden, Oxford–Berno: Peter Lang, s. 53–77.
- Gozdawa-Gołębiowski R., 2003. *Interlanguage formation: A study of the triggering mechanisms*, Warszawa: Instytut Anglistyki UW.
- Hall G., Cook G., 2012. *Own-language use in language teaching and learning*, „Language Teaching” no. 45, s. 271–308.

²² E. Hentschel, *Translation as an inevitable part of foreign language acquisition*, [w:] *Translation in Second Language...*, op. cit., s. 15–30.

²³ Świadome porównania międzyjęzykowe jako technika podnoszenia wrażliwości uczniów na kody językowe zalecana jest we współczesnej literaturze dotyczącej nauczania uczniów wielojęzycznych, np. przez U. Jessner w artykule *Teaching third languages: Findings, trends and challenges*, „Language Teaching” 2008, no. 41, s. 15–56.

- H e n t s c h e l E., 2009. *Translation as an inevitable part of foreign language acquisition*, [w:] *Translation in second language learning and teaching*, red. A. Witte, T. Harden, A. Ramos de Oliveira Harden, Oxford-Berno: Peter Lang, s. 15-30.
- J e s s n e r U., 2008. *Teaching third languages: Findings, trends and challenges*, „Language Teaching” no. 41, s. 15-56.
- K e l l e r m a n E., 1979. *Transfer and non-transfer: Where we are now*, „Studies in Second Language Acquisition” no. 2, s. 37-57.
- K e m p C., 2007. *Strategic processing in grammar learning: Do multilinguals use more strategies?*, „International Journal of Multilingualism” no. 4, s. 241-261.
- K r a s h e n S., 1981. *Second language acquisition and second language learning*, Oxford: Oxford University Press.
- L a r s o n - H a l l J., 2010. *A guide to doing statistics in second language research using SPSS*, New York: Routledge.
- N a s s a j i H., F o t o s S., 2001. *Teaching grammar in second language classrooms*, New York: Taylor & Francis.
- N o r r i s J., O r t e g a L., 2000. *Effectiveness of L2 instruction: A research synthesis and quantitative meta-analysis*, „Language Learning” no. 50, s. 417-528.
- P a w l a k M., 2006. *The place of form-focused instruction in the foreign language classroom*, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo UAM.
- Rada Europy, 2001. *Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie*, Warszawa: CODN.
- R u t h e r f o r d W., 1987. *Second language grammar: learning and teaching*, Harlow: Pearson Education.
- S c h e f f l e r P., 2013. *Learners' perceptions of grammar translation as consciousness raising*, „Language Awareness” no. 22, s. 255-269.
- S p a d a N., L i g h t b o w n P., 1999. *Instruction, first language influence, and developmental readiness in second language acquisition*, „The Modern Language Journal” no. 83, s. 1-22.
- S w a n M., 2011. *Grammar*, [w:] *The Routledge handbook of applied linguistics*, red. J. Simpson, London: Routledge.

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОНИМАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА

PRAGMALINGUISTIC AND DIDACTIC CONDITIONS
OF UNDERSTANDING A FOREIGN LANGUAGE TEXT

WŁADYSŁAW WOŹNIEWICZ

ABSTRACT. The article describes the linguistic, cultural, pragmatic conditions necessary for understanding foreign language texts. The main postulate of the article is that an adequate understanding of a text is dependent both on knowing the meaning of the individual words and interpreting their meaning in the text as a whole. A substantial and crucial part of the article is dedicated to the description of didactic activities for teachers aiming to develop the skills required for understanding foreign texts, both for beginners and advanced learners.

Władysław Woźniewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
– Polska, wozniew@amu.edu.pl

На тему иноязычного текста как средства овладения иностранным языком имеется, как известно, богатая литература. Во всех работах (научных монографиях, статьях, методических пособиях), посвященных восприятию текста, центральным концептом является понимание текста. Однако психолингвистический аспект понимания текста и формирование умения понимать текст в процессе обучения иностранному языку толкуется отдельными авторами по-разному. Некоторые из них утверждают, что условием и показателем понимания является знание значений единиц текста – слов, словосочетаний и умение излагать содержание текста¹. Подобное, редуцированное, объяснение концепта *понимание* отражается в методике формирования умения понимать текст, так как не учитываются психические, культурно-когнитивные, соционормативные и эмоциональные аспекты восприятия и воздействия смыслового содержания текста на читателя.

В настоящее время большинство авторов признает концепцию, согласно которой понимание иноязычного текста не сводится к знанию

¹ См., например: А. П а л и ń с к и, *Sprawność czytania w nauczaniu języka rosyjskiego*, Warszawa 1983; Н. К о м о р о в с к а, *Metodyka nauczania języków obcych*, Warszawa 2001.

значений слов, составляющих текст. Необходимо также уяснить смыслы слов и других единиц текста и их образные представления. Существенны также и другие факторы, обуславливающие понимание, такие, например, как степень усвоения языка, личный когнитивный капитал реципиента, вид текста и др.

Приведенные вводные замечания имплицитно определяют предмет, проблематику и цель настоящей статьи. Итак, предметом рассуждений будут прагмалингвистические, личностные и лингводидактические условия понимания текста. Обсуждаемая проблематика в рамках этого предмета учитывает:

1) уяснение концептов значение, смысл, образное представление как основных категорий коммуникативных интеракций в триаде автор – текст – реципиент / читатель, проявляющихся в процессе апперцепции содержания текста;

2) прагмалингвистические, личностные и дидактические условия понимания текста на начальном / базовом и продвинутом этапах овладения иностранным языком;

3) представление типичных причин, затрудняющих адекватное понимание читаемых текстов.

Основная цель состоит в раскрытии возможности оптимизировать формирование умения понимать иноязычные тексты.

Переходя непосредственно к намеченной проблематике, приведу в сжатом виде определения названных выше концептов восприятия текста.

Концепт **значение** в литературе предмета представлен, как известно, в различных версиях. Ю.Н. Караулов пишет прямо о „разбухании“ значений², представленных в лингвистике: семантическое, лексическое, понятийное, добавим еще – денотативное, первичное, обыденное, универсальное, смысловое и др. Из различных авторских версий определения значения можно выделить следующие константные дескрипторы: кодифицированность, конвенциональность, информация, знание, инвариантность содержания³.

Гораздо сложнее представляется понимание концепта *смысл*, нередко идентифицируемого с содержанием значения. Между тем, как утверждают Ch. Baillon и X. Mignot, смысл в отличие от значения физически не передается. Смысл существует лишь для ума и в уме, и в нем

² Ю.Н. Караулов, *Русский язык и языковая личность*, Москва 1987, с. 210.

³ Подробнее см., напр.: И.А. Зимняя, *Психология обучения неродному языку*, Москва 1989, с. 10; И.М. Кобозева, *Две ипостаси содержания речи: „значение“ и „смысл“*, [в:] *Язык о языке*, ред. Н.О. Арутюнова, Москва 2000, с. 323; А.А. Леонтьев, *Психология общения*, Москва 2007, с. 139.

остается⁴. Трудно полностью согласиться с этим утверждением, ведь все, что появляется в уме, в том числе смысл, эмоции, потенциально может изъясняться, передаваться физически, вербально с учетом необходимой амплификации. Например, смысл значения *приличие*, *неприлично* может излагаться, передаваться в зависимости от обстановки в разных фразах со словами *обманывать*, *врать*, *обижать*, *бесстыдный*, *жадный* и т. п. и их синонимическими определениями.

Во избежание неоднозначности уточним, что пониманию концепта обычно приписываются такие константные дескрипторы, как субъективность информации / содержания, интерпретивная выводность содержания, ситуативно-коннотативная обусловленность, видоизменяемость, культурно-идеологическая маркированность и др.⁵ Иными словами, можно полагать, что **смысл** слова, словосочетания, фразы — это субъективный, индивидуальный результат ситуоминутной или окказиональной интерпретации, своеобразная „добавочная стоимость“, привнесенная к содержанию значения языковой единицы текста.

Осознание значения и смысла языковых единиц иноязычного текста является необходимым условием его понимания. Однако, как уже было сказано, понимание значения слов не всегда равнозначно пониманию содержания фразы, высказывания с этими словами, так как понимание — это сложный когнитивно-мыслительный процесс, обусловленный рядом личностных факторов реципиента. Как утверждает В. З. Демьянков, этот процесс понимания, направленного на установление смысла некоторого объекта — слова, текста, является результатом когнитивной (речевой) деятельности, т. е. интерпретации воспринимаемого объекта. Интерпретацию, нацеленную на определение смысла данного объекта, обуславливают такие факторы, как:

- использование языкового знания,
- опыт в переосмыслении ранее сказанного / прочитанного,
- реконструкция интенции автора,
- имеющиеся презумпции интерпретатора / реципиента и другие, в частности межличностные, факторы.

„Интерпретационные операции — когнитивные процедуры — выглядят как построение и верификация гипотез-предвосхищений“⁶, — резюмирует автор.

⁴ Ch. B a y l o n, X. M i g n o t, *Komunikacja*, Kraków 2008, с. 26.

⁵ Об указанных признаках концепта *смысл* см.: Д.Б. Г у д к о в, *Теория и практика межкультурной коммуникации*, Москва 2003, с. 244; И.М. К о б о з е в а, указ. соч., с. 320; А.Р. Л у р и я, *Язык и сознание*, Москва 1979, с. 53.

⁶ В.З. Д е м ь я н к о в, *Понимание*, [в:] *Краткий словарь когнитивных терминов*, ред. Е.С. Кубрякова и др., Москва 1996, с. 124–126.

Стало быть, интерпретация определяется такими факторами, как языковой образ мира личности интерпретатора, его знания и установка, проявлением которых является, среди прочего, эмпатия. Понятие *эмпатия* здесь будет пониматься как сопереживание согласия, апробации представленных в тексте образов мира жизни или их дезапробации, иными словами, как ощущение эмоциональной, эстетической удовлетворенности или дискомфорта, диссонанса и т. п. соответственно иллюкативной силе воспринимаемого текста.

В учебных условиях формирование умения понимать высказывания, тексты на уровне узнавания значений языковых единиц — это исходная необходимая задача. Формирование умения распознавать / уяснять частные смыслы значений языковых единиц — это задача в равной степени обязательная, так как их осмысление является условием адекватного понимания, особенно понимания художественного текста. Поэтому чтение повествовательных, в том числе художественных текстов, в учебной практике не должно ограничиваться извлечением фактуальной информации о событиях, действиях, поведении, состояниях персонажа, о реалиях и артефактах иноэтнического мира.

Чтение текста, особенно художественного, имеет, как известно, синергетический характер. Взаимодействие текста и реципиента проявляется в возбуждении не только в познавательной сфере, но и эмоциональной, эстетической и особенно образной сферах. Как утверждает А.А. Залевская⁷, значение, смысл слова актуализируются в психике в составе некоторого образа при взаимодействии знания и переживания отношения к этому знанию. Согласно этому тезису, значения, смыслы некоторых языковых единиц воздействующего текста предстают в актах его перцепции в виде создаваемых / воссоздаваемых образных представлений. У читателя актуализируются или воссоздаются образные представления / репрезентации, соотносимые с их словесными обозначениями. Достаточно сравнить, например, первые строки стихотворения М.Ю. Лермонтова:

Когда весной разбитый лед
Рекой взволнованной идет,
Когда среди полей местами
Чернеет голая земля,
И мгла ложится облаками...

и потенциально воссоздаваемые образные представления весны в словосочетаниях этого стихотворения.

⁷ А.А. Залевская, *Некоторые проблемы теории понимания текста*, „Вопросы языкознания” 2002, № 3, с. 62–74.

Подытоживая приведенные теоретические положения, можно сказать, что понимание текста — это последовательность констатации / осознания значения, уяснения смысла и субъективного воссоздания образного представления языковых единиц текста и, в конечном счете, смысла / идеи самого текста. Добавим, что эта последовательность — это теоретический конструкт, результат научного исследования. В действительности компоненты этой последовательности, как утверждает А.А. Залевская, „в реальных жизненных процессах (в норме) функционируют в едином ансамбле“. Они актуализируются в уме только

в ситуациях затруднений в общении или при чтении текста, когда обнаруживаются смысловые или нормативно-языковые „нестыковки“, заставляющие носителя языка задуматься, вынести на „табло сознания“ различные варианты понимания и принять решение о выборе их возможных альтернатив⁸.

Конечно, в учебных условиях правильный выбор этих альтернатив зависит от удачного содействия преподавателя.

Переходя непосредственно к проблематике лингводидактических условий формирования умения понимать иноязычный текст, сначала охарактеризую особенности этого формирования на начальном, базовом уровне, а затем, более обстоятельно, — на продвинутом этапе. Напомню тривиальное в этом контексте положение о том, что первым необходимым условием чтения вообще и чтения иноязычного / русского текста является сформирование совокупности навыков, связанных с понятием техники чтения, т. е. сформирование навыков совместного, синхронного функционирования / взаимодействия основных компонентов механизма чтения. К ним, как известно, принадлежат:

- 1) зрительное восприятие и узнавание образов / графем — буквосочетаний, слов, словосочетаний,
- 2) соотнесение воспринимаемых зрительных образов графем со звуко-слуховыми и речедвигательными (артикуляционными) образами,
- 3) узнавание значений новых единиц текста и установление *novum*, т. е. понимание новой фактуальной информации,
- 4) прогнозирование (антиципирование) в ходе чтения слов и их флективных форм,
- 5) желаемая скорость чтения: 100–120 слов в минуту благодаря поступающей редукции речедвижений в чтении про себя,
- 6) другие оперативные компоненты чтения с пониманием — такие как приобретение необходимого запаса слов и элементарного умения узнавания (семантизации) значений новых слов на основе контексту-

⁸ Там же, с. 70.

альной догадки, соответствующая корреляция между информацией, содержащейся в тексте, и общими знаниями читателя (доступность текста) и др.

Из приведенной общей характеристики сформированности навыков и умений чтения на основном (базовом) уровне владения иностранным языком следует, что и понимание читаемых текстов ограничивается восприятием текстовой информации главным образом на уровне значений языковых единиц текста. Иначе говоря, подобное понимание состоит в извлечении, констатации фактуальной информации. На основе личного опыта и сведений, полученных от опрашиваемых преподавателей русского языка, этот уровень понимания достигается, если незнакомая лексика не превышает 10–15% неспециализированного текста. Однако, как известно, пробелы в знаниях отдельных слов не исключают воздействия текста, особенно поэтического, на личностную, эмоциональную и эстетическую сферы со всеми дидактическими и общеобразовательными последствиями. К примеру, можно сравнить стихотворения А.С. Пушкина *Буря мглою небо кроет, // Вихри снежные крутя...*, *Уж небо осенью блистало, // Короче становился день...* или некоторые произведения Л.Н. Толстого из цикла *Детские рассказы*.

Понимание на уровне значений слов мы можем истолковать вслед за А. Вежбицкой в плане лексических универсалий, иначе — универсальных семантических примитивов, „то есть понятий, которые могут быть лексикализованы (в виде отдельных слов или морфем) во всех языках мира”⁹. Как утверждает А. Вежбицкая, „понятийные примитивы типа *good, bad*, а также *want, know, say, think* не являются артефактами английского языка, а принадлежат универсальному алфавиту человеческой мысли. Они действительно имеют семантические эквиваленты во всех или почти во всех языках мира”¹⁰. Например, понимание предложений типа *Сегодня мы увидим всех наших друзей* или *Думаю, что он знает хорошо, что ты не хочешь пить вина* не представляет затруднений, если, конечно, усвоены/известны значения (звуко-слуховые, зрительные) значений слов в русском, немецком, английском и прочих европейских языках. Но в ином контексте понимание этих же слов, например *весь, видеть*, может быть затруднительным, если они отмечены добавочным смысловым значением, ср., напр.: *Сын весь в отца* или *Видишь ли, какой он добрый*.

Стало быть, понимание на уровне исходных, первоначальных значений слов в процессе чтения на начальном этапе усвоения языка ограничивается распознаванием этих слов и их идентифицированием

⁹ А. Вежбицкая, *Язык. Культура. Познание*, Москва 1996, с. 330.

¹⁰ Там же, с. 334.

согласно конвенционально приписанным им общепринятым значениям. При этом в лингводидактическом аспекте существенно, чтобы эти слова в большей части принадлежали к кругу лексических универсалий либо их производных во избежание и/или для ограничения неправильного их осмысливания. Конечно, это не снимает известных усилий, связанных с усвоением навыков, слагающихся на технику чтения и на запоминание самих значений этих слов.

Формирование умения понимать текст на начальном этапе не представляет особых методических затруднений. Применяемые процедуры и различные формы учебных заданий общеизвестны. Источником возможных затруднений могут быть такие факторы, как, например, несоответствующий педагогический стиль управления учением языку, несоблюдение известных принципов педагогической коммуникации/общения, особенно эмпатии, асертивности, надлежащей иллюкутивной экспрессии и т. п.

Гораздо сложнее представляется формирование умения понимать текст на продвинутом этапе, после усвоения основ языка. На этом этапе необходимо увеличивать объем синхронного распознавания и осмысления значений слов, фраз, употребляемых в различных вариантах непрямого значения, часто в метафорическом, аллегорическом смысле. Подобные полисемантические слова, выражения, наделенные разным семантическим составом, а также слова, означающие различные, в том числе исторические факты, события, реалии иноэтнического мира, значительно затрудняют понимание содержания текста. Их уразумение и осмысление зависит от личного живого знания реципиента, его возможных презумпций и качества пресуппозиций. Как утверждает А.А. Залевская, такое

живое знание [...] обеспечивает понимание текста через встречное конструирование ситуации на основе знания о том, что, как, когда, зачем и почему, с какими целями, результатами и следствиями было, бывает, может или не может случиться в реальном или воображаемом мире¹¹.

Парафразируя известное изречение Л. Виттгенштейна *Границы моего мира суть границы моего языка*, мы можем сказать, что границы (глубина) понимания текста лимитированы границами (глубиной) знания реципиента и его знания языка. Столько его понимания текста, сколько его знания об осмысленных значениях слов и их образных представлениях, относящихся к данному этно-социокультурному миру. Ниже приводится попытка пояснить это положение на примере прочтения стихотворения М.Ю. Лермонтова *Парус* (1832).

¹¹ А.А. З а л е в с к а я, указ. соч., с. 65.

Белеет парус одинокий
 В тумане моря голубом!..
 Что ищет он в стране далекой?
 Что кинул он в краю родном?..

Играют волны – ветер свищет,
 И мачта гнется и скрипит...
 Увы! он счастья не ищет
 И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,
 Над ним луч солнца золотой...
 А он, мятежный, просит бури,
 Как будто в бурях есть покой!

Образно-языковые представления в строках этого стихотворения с позиции неискушенного ученика-лицеиста или студента-русиста могут восприниматься и пониматься или на уровне прямых значений образующих их слов, или на уровне осмысления этих же значений. В первом случае, довольно распространенном в учебной практике, теряется смысл отдельных строк и главный смысл / идея целого стихотворения. Во втором случае понимание на уровне уразумения и постижения смысла этих же строк и целого стихотворения довольно затруднительно, так как требуется у реципиента не только минимального знания об историческом времени жизни автора произведения, но и некоторого воображения и умственно-эмоционального вовлечения. Поэтому со стороны преподавателя необходимы удачные факультативные действия. При этом надлежит, во-первых, учесть, что понимание смысла художественного произведения может изменяться в данном историческом времени соответственно культурно-ценностным, идеологическим условиям жизни в данной эпохе, во-вторых, оно – это понимание – бывает часто субъективным в зависимости от характера личности и интерпретации реципиента.

Ниже предлагается „субъективный” авторский план сценария учебных действий преподавателя, нацеленных на уразумение смысла образно-языковых представлений, содержащихся в отдельных строках, и смысла/идеи целого стихотворения *Парус*.

1. Сообщение учащимся темы, задач занятия и семантизация ключевых слов.
2. Сжатое изложение в форме беседы сведений об эпохе и авторе стихотворения, его судьбе как одинокой бунтующей личности.
3. Осознание учащимися понятий *олицетворение, аллегория, аллегорический, аллегорическое стихотворение, картина, скульптура*.
4. Декламация преподавателем стихотворения *Парус*.

5. Самостоятельное, про себя, чтение стихотворения учащимися с задачей осмысления очередных строк.

6. Действия преподавателя, в том числе некоторые действия, связанные с методом *coaching-a* (напр. вопросы, призывы, активизация личного знания и опыта, перевод употребленных учащимися польских слов, подсказки, в том числе подсказки недостающих слов и др.), направленные на осознание и высказывание смыслового содержания понятий *одинокий*, *одиночество* в возможных ситуативных представлениях.

7. Осознание и вербализация учащимися образных представлений *одиночества*, *одинокого человека* – его состояний, переживаний, поведения, зафиксированных в отдельных строках стихотворения *Парус*.

8. Опыт художественного чтения стихотворения двумя-тремя учащимися.

9. Переход от анализа стихотворения *Парус* к развитию русской речи, например на тему *Одиночество молодых людей в современном мире*, или *Одиночество польских „европейских сирот“*, или же на предложенную самими учащимися тему. Примеры употребления / усвоения ключевых слов и выражений:

переживание, чувство, тоска, покинутость, дружеские связи, низкая самооценка, боязливость, стыдливость, скрытый / неоткровенный, агрессия / агрессивность, бунт / бунтоваться, никто меня не понимает / не любит, „один в толпе“, „один среди шумного бала“, „скучно и грустно, и некому руку подать“, „Долой такой порядок!“ и т. п.

Разумеется, что отбор ключевых слов и сам учебный дискурс будет зависеть от учебного времени, от уровня владения иностранным языком и от откровенности в межличностных отношениях в языковой группе, а также от удачного стимулирования речевой активности преподавателем.

Из приведенных рассуждений следует, что осмысленное понимание иноязычного, инокультурного текста, особенно поэтического, лирического произведения, зависит от ряда субъективных факторов реципиента. Оно, это понимание, нередко затруднительно и для среднеобразованных монокультурных реципиентов, а для инокультурных реципиентов, как утверждают некоторые исследователи, полное осмысленное понимание иноязычного художественного текста непостижимо¹². Оно возможно на уровне значений слов, составляющих текст, а на

¹² Как справедливо замечает Д.Б. Гудков,

нужно добиваться не того, чтобы иностранец начал воспринимать тот или иной текст как русский, так как это невозможно, но того, чтобы инофон понял, какое представление имеет об этом тексте русский и чем это представление мотивировано [...].

(Д.Б. Г у д к о в, указ. соч., с. 258).

уровне осмысленных образно-языковых представлений лишь приблизительно при условии надлежащего методического управления.

Это методическое управление, т. е. соответствующие факультативные действия преподавателя, может стать результативным, если он обладает минимумом знаний о типичных барьерах, являющихся причиной затруднений и неудач правильного восприятия и понимания текста. На тему барьеров, затрудняющих адекватное понимание текста имеется богатая литература¹³. На основании избранных работ¹⁴ ниже указаны — по необходимости в сокращенном виде — наиболее типичные факторы, затрудняющие понимание инофоном иноязычного текста.

1. Языковые барьеры / причины непонимания. У отдельных реципиентов они могут быть различные. Наиболее типичными являются следующие:

1) ограниченный запас слов;

2) знание слов только на уровне первичных значений;

3) различия в „этнических картинах мира“, отражающие специфику распределения значений элементов окружающей действительности и впоследствии специфику их восприятия. Например, понятие *снегопад* в русском языке, в отличие от польского языка или тем более от английского, представлено богатым составом словесных значений: *пурга, метель, буран, снежная буря, вьюга, поземка* и т. п. Подобным образом представляются переживания некоторых эмоций, например *печаль, тоска, грусть, уныние, скука*, или положительные / отрицательные оценки степени качества;

4) неосмысление слов, словосочетаний, фраз метафорического характера, в том числе лексико-фразеологической сочетаемости, напр.: *быть на хорошем счету, жить одним домом, дать ему дорогу, положить на себя руки* и т. п.

¹³ См., напр.: С.Г. Тер-Минасова, *Язык и межкультурная коммуникация*, Москва 2000; М. Голяка, *Variety w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne*, Warszawa 2008.

¹⁴ См., напр.: Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, *Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного*, Москва 1976; Д.Б. Гудков, указ. соч.; В.В. Красных, „Свой“ среди „чужих“: миф или реальность?, Москва 2003; Н.В. Кулибина, *О когнитивном и коммуникативном аспектах чтения художественной литературы*, [в:] *Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ, Братислава–Москва 1999*, с. 274–289; Ю.А. Сорочкин, *Взаимодействие реципиента и текста: теория и прагматика*, Москва 1978; W. Woźniewicz, *Текстовые и внетекстовые лингвокогнитивные лакуны в прочтении художественного текста в инокультурных условиях как лингводидактическая проблема*, [в:] *Glottodydaktyka i jej konteksty interkulturowe*, red. A. Wołodźko-Butkiewicz, W. Zmarzer, Warszawa 2006, с. 31–38 и др.

5) Языковые выражения, являющиеся персонификацией / олицетворением каких-либо реалий, артефактов, а также слова, фразы, сочетающие параллельно экспрессивную функцию (значение эмоциональных состояний) и поэтическую функцию (необычная форма означения смыслового содержания). Достаточно сравнить, например, фразы из стихотворений М.Ю. Лермонтова: *Мачта гнется и скрипит; Один я здесь, как царь воздушный; И тягостно мне счастье стало, // Как для царя венец.*

2. Когнитивные барьеры / причины, связанные с незнанием исторических и современных реалий, артефактов действительности, означенных словами, выражениями, имеющимися в текстах, в том числе в текстах художественной литературы. Для реципиента они являются пробелами, затрудняющими понимание текста. В научной литературе (см., например, указанные выше работы Ю.Н. Караулова, Д.Б. Гудкова, А.А. Залевской) эти пробелы соотносятся с недостатками в знаниях, связанных с понятиями *пресуппозиция*¹⁵, *прецедентные феномены*¹⁶. Ниже приводятся примеры потенциальных когнитивных пробелов у иноэтнического реципиента в избранных видовых сферах знания:

1) культурно отмеченные нормы межличностных отношений, этикетные поведения, ритуалы, например в ситуациях празднования каких-либо событий, памятных дней;

2) свойственные русскому миру реалии быта, напр.: *солянка, блин, пельменная, русская баня, путевка (в жизнь), красный уголок* и т. п.;

3) прецедентные тексты, фразы, прецедентные высказывания, например фразы из романа *Евгений Онегин*: *Но я другому отдана, // Я буду век ему верна* или *В Москву, на ярмарку невест!*, а также различные высказывания, фразы типа *Не будь казанской сиротой, Погиб, как швед под Полтавой, У каждого Наполеона свое Ватерлоо, И на нашей улице будет праздник, Незванный гость хуже татарина* и т. п.;

4) символы и разные артефакты, например государственные, архитектурные символы, разные достопримечательности и т. п.;

5) архаизмы, историзмы, в том числе исторические прецедентные имена, выражения, напр.: *Куликово поле, Смутное время, опричник, лишние люди, настоящий стахановец, похож на Павлика Морозова* и множество подобных.

¹⁵ Понятие *пресуппозиция* здесь понимается как совокупность знаний индивида, в том числе минимум лингвострановедческих знаний, личный опыт и умения реципиента.

¹⁶ Понятие *прецедент / прецеденты* вслед за Д.Б. Гудковым понимается здесь в упрощенном виде, т. е. как сложившиеся в этнической культуре, актуализирующиеся в общении высказывания (прецедентные высказывания, ситуации), а также канонизированные тексты, культурные реалии, артефакты.

Приведенные примеры потенциальных языковых и когнитивных барьеров далеко не исчерпывают возможные затруднения в понимании высказываний, текстов иноязычным реципиентом. Эти затруднения особенно досадны в ситуациях, когда все слова высказываний, фраз ему знакомы, а смысла содержания он не понимает.

Рассматриваемые вопросы, касающиеся знаний о лингвокультурных и прагматико-дидактических условиях понимания текстов иноэтническим реципиентом, остаются все еще открытыми, так как в эпоху глобальной коммуникации и нарастания межличностных интеркультурных интеракций необходимо эти знания расширять, поскольку они могут стать мостами на пути конструктивного взаимопонимания, взаимодействия и общения. Этому должна способствовать инновационная учебная практика в школе и вузе.

Библиография

- В е ж б и ц к а я А., *Язык. Культура. Познание*, Москва 1996.
- В е р е щ а г и н Е.М., К о с т о м а р о в В.Г., *Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного*, Москва 1976.
- W o ź n i e w i c z W., *Текстовые и внетекстовые лингвокогнитивные лакуны в прочтении художественного текста в инокультурных условиях как лингводидактическая проблема*, [в:] *Glottodydaktyka i jej konteksty interkulturowe*, red. A. Wołodźko-Butkiewicz, W. Zmarzer, Warszawa 2006.
- Г у д к о в Д.Б., *Теория и практика межкультурной коммуникации*, Москва 2003.
- Д е м ь я н к о в В.З., *Понимание*, [в:] *Краткий словарь когнитивных терминов*, ред. Е.С. Кубрякова и др., Москва 1996.
- З а л е в с к а я А.А., *Некоторые проблемы теории понимания текста*, „Вопросы языкознания” 2002, № 3, с. 62–74.
- З и м н я я И.А., *Психология обучения неродному языку*, Москва 1989.
- К а р а у л о в Ю.Н., *Русский язык и языковая личность*, Москва 1987.
- К о б о з е в а И.М., *Две ипостаси содержания речи: „значение” и „смысл”*, [в:] *Язык о языке*, ред. Н.О. Арутюнова, Москва 2000.
- К р а с н ы х В.В., *„Свой” среди „чужих”: миф или реальность?*, Москва 2003.
- Краткий словарь когнитивных терминов*, ред. Е.С. Кубрякова и др., Москва 1996.
- К у л и б и н а Н.В., *О когнитивном и коммуникативном аспектах чтения художественной литературы*, [в:] *Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ*, Братислава–Москва 1999, с. 274–289.
- Л е о н т ь е в А.А., *Психология общения*, Москва 2007.
- Л у р и я А.Р., *Язык и сознание*, Москва 1979.

Сорокин Ю.А., *Взаимодействие реципиента и текста: теория и прагматика*, Москва 1978.

Тер-Минасова С.Г., *Язык и межкультурная коммуникация*, Москва 2000.
Язык о языке, ред. Н.О. Арутюнова, Москва 2000.

Baylon Ch., Mignot X., *Komunikacja*, Kraków 2008.

Glottodydaktyka i jej konteksty interkulturowe, red. A. Wołodźko-Butkiewicz, W. Zmarzer, Warszawa 2006.

Golka M., *Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne*, Warszawa 2008.

Komorowska H., *Metodyka nauczania języków obcych*, Warszawa 2001.

Paliński A., *Sprawność czytania w nauczaniu języka rosyjskiego*, Warszawa 1983.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

А. Б о р т н о в с к и, Украина начала XX века глазами Константина Паустовского	5
А. Х у д з и н ь с к а - П а р к о с а д з е, Между историей и философией. Поэтика романа „Чапаев и Пустота“ Виктора Пелевина	15
А. Х у д з и н ь с к а - П а р к о с а д з е, Праздник Вальпургиевой ночи как культурно-литературный феномен (на основе сравнительного анализа трагедии „Фауст“ И.В. Гете и романа „Мастер и Маргарита“ М. Булгакова)	29
М. Д о м б р о в с к а, Размышления Василия Малиновского (не только) о мире и войне (журнал „Осенние вечера“, 1803 г.)	45
Н. Д р а н н и к о в а, Локальная идентификация и самоидентификация жителей севернорусских городов Архангельска и Северодвинска (по фольклорно-этнографическим данным)	57
Б. Г о л о м б е к, Прошлое как учитель и источник надежды. Введение в историософию Андрея Сахарова	71
Д. Х о р ч а к, Историко-геопоэтическая позиция нарратора в цикле рассказов Ивана Шмелева „Сидя на берегу“	83
М. Я в о р с к и, Альтернативная историософия в прозе Виктора Пелевина. На примере романов „Ампир В“ и „Бэтман Аполло“	95
У. К и з е л ь б а х, Влияние Вальтера Скотта на историческую прозу А.С. Пушкина: „Роб Рой“ и „Капитанская дочка“	105
Н. К о р т у с, Масонский код в творчестве Владимира Набокова. Постановка проблемы на материале романа „Приглашение на казнь“	121
Ю. К р а ш е н и н н и к о в а, Русские свадебные приговоры: несколько замечаний о специфике бытования обрядового текста в необрядовой ситуации	135
Н. К р у л и к е в и ч, Художественный концепт „венчание“ в повести И.А. Бунина „Деревня“	149
Т. Н а к о н е ч н ы, Россия как текст в прозе Виктора Пелевина	159
Й. О ж е х о в с к а, Праздник в языковом сознании поляков и русских	173
В. П и л а т, Театр и драма в исследованиях польских русистов	183
В. П о п е л ь - М а х н и ц к и, Военная проза Виктора Астафьева – проблема ненависти и прощения	193
А.К. П ш и б ы ш, Элементы обряда перехода в „Другом“ Ю.В. Мамлеева. Прологомена	203
Е. Р ы б ч и к о в а, Концепция национального характера в контексте иронического в романе Ивлиной Во „Незабвенная“	213
А. С т р ы я к о в с к а, Маленький праздник как носитель культурной идентичности в романе „Теллурия“ Владимира Сорокина	221

Р. Ш у б и н, Литература как миф и гипертекст в „Бесконечном тупике” Дмитрия Галковского (к реконструкции историософской модели)	231
К. Т ы ч к о, Радикально-герменевтическая категория „эксцесса” как празднование повседневности. На примере романа „Испуг” Владимира Маканина	241
Б. В а л и г у р с к а - О л е й н и ч а к, Миф Левиафана в творчестве Андрея Звягинцева (на материале фильма „Левиафан”)	253
А. З ы в е р т, По следам „золотой когорты” (Дмитрий Быков „Оправдание”)	263

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

П. Б о р т н о в с к а, Гармония как принцип образования дефисных субстантивно-субстантивных конструкций (на примере единиц личной семантики)	275
Л. Г о р б у н о в а, К вопросу о соотношении категорий „дейкτικότητα” и „фасадность”	283
Б. Х р ы н к е в и ч - А д а м с к и х, О некоторых аспектах проприальной интертекстуализации в свете новейших исследований	289
Й. Ю з в я к, Инокультурные антропонимы в процессе русско-польского перевода в контексте индивидуального переводческого подхода	305
Е. К а л и ш а н, Омографические триады в русском языке	315
Т. К о с м е д а, Вопрос о динамике лексики русского языка в конце XX – начале XXI вв. на страницах журнала „Studia Rossica Posnaniensis”	323
К. К у л и г о в с к а, „Лайки” и „хейты”, или несколько слов о социолекте польских и русских пользователей Интернета	339
Л. М а л э ц к и, Когнитивная семантика концепта „обман” в современном русском языке	349
Й. М и т у р с к а - Б о я н о в с к а, Й. И г н а т о в и ч - С к о в р о н ь с к а, Выражение „голосовать ногами /głosować nogami” в современном русском и польском языках	361
А. Н а р л о х, Транспарентный „белый” – размышления о семантике	371
Т. Н и к о л а е в а, А. Ш и ш о в а, Семантико-стилистические трансформации в русском литературном языке XVIII–XXI столетий	381
А. О щ е п к о в а, Лингвистическая репрезентация художественного концепта ОНА-ЖЕНЩИНА (на материале автобиографического романа Марии Арбатовой „Мне-46”)	389
К. Р а х у т, Переводческая акцептация и полемика в интерпретации литературных имен собственных. На примере русского и польского переводов саги о Гарри Поттере	401
Л. Р а ц и б у р с к а я, Сложные новообразования в электронных российских СМИ	411
А. С и т а р с к и, Антропоцентрическая парадигма как лингвистическая категория в исследованиях языковых объектов	419
Д. С л у п я н е к - Т а й н е р т, Социальная сторона концепта ‘ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ’ в русской и польской языковых картинах мира (на материале глаголов зрительного восприятия)	427

З. Ш в е д, <i>Из наблюдений над текстом утреннего чтения на четверг Великой недели в Архангельском Евангелии 1092 года</i>	439
М. В у й т о в и ч, <i>Польские лексические заимствования в псковских и новгородских говорах</i>	451

ЛИНГВОДИДАКТИКА

Д. Д з е в а н о в с к а, <i>Дискуссия как один из методов проблемного обучения</i>	461
А. В а х, М. Я к о в л е в а - П а в л и к, <i>Оценка целесообразности применения родного языка (польского) в обучении грамматике иностранных языков (английского и русского): результаты исследования</i>	473
В. В о з ъ н е в и ч, <i>Прагматические и дидактические условия понимания иноязычного текста</i>	487

CONTENTS

LITERARY STUDIES

A. Bortnowski, <i>Ukraine at the beginning of 20th century in the eyes of K. Paustovsky</i>	5
A. Chudzińska-Parkosadze, <i>Between history and philosophy. The poetics of the novel "Buddha's Little Finger" by Victor Pelevin</i>	15
A. Chudzińska-Parkosadze, <i>The feast of Walpurgis Night as a cultural and literary phenomenon (on the basis of a comparative approach to the tragedy "Faust" by J.W. Goethe and the novel "The Master and Margarita" by M.A. Bulgakov)</i>	29
M. Dąbrowska, <i>Vasily Malinovsky's thoughts (not only) on peace and war (periodical "Fall Evenings", 1803)</i>	45
N. Drannikova, <i>Local identification and self-identification of citizens of the Northern Russian cities of Arkhangelsk and Severodvinsk (based on folklore-ethnographic studies)</i>	57
B. Gołębek, <i>The past as a tutor and a source of hope. An introduction to the historiography of Andrei Sakharov</i>	71
D. Horczak, <i>Historical and geopoetic perspective on narration in the series of short stories "Sitting on the River Bank" by Ivan Shmelev</i>	83
M. Jaworski, <i>Alternative historiography in Viktor Pelevin's prose. The example of "Empire V" and "Batman Apollo"</i>	95
U. Kizelbach, <i>Walter Scott's influence on A.S. Pushkin's historical novel: "Rob Roy" and "The Captain's Daughter"</i>	105
N. Kortus, <i>Masonic code in the works of Vladimir Nabokov (on the example of "Invitation to a Beheading")</i>	121
J. Krashennikova, <i>Russian wedding speeches: some remarks about specificity of existence of the ceremonial text in not ceremonial situation</i>	135
N. Królikiewicz, <i>The semantic content of the creative concept of "the sacrament of matrimony" in Ivan Bunin's short novel "The Village"</i>	149
T. Nakonieczny, <i>Russia as text in Victor Pelevin's prose</i>	159
J. Orzechowska, <i>Holiday in the linguistic awareness of Poles and Russians</i>	173
W. Piłat, <i>Russian theatre and drama in Russian studies in Poland</i>	183
W. Popiel-Machnicki, <i>Viktor Astafiev's war prose and the problem of hatred and forgiveness</i>	193
A.K. Przybysz, <i>Elements of "the rite de passage" in "The Other" by Yuri Mamleev. Prolegomena</i>	203
E. Ryabchikova, <i>National character and its ironic representation in Evelyn Waugh's novel "The Loved One"</i>	213

A. S t r y j a k o w s k a, <i>The small feast as a medium of cultural identity in the novel „Телурия” by Vladimir Sorokin</i>	221
R. S h u b i n, <i>Literature as myth and hypertext in “The Infinite Deadlock” by Dmitry Galkovsky (towards a reconstruction of the historiosophical model)</i>	231
K. T y c z k o, <i>The radical-hermeneutical category of “excess” as a celebration of everyday life. Based on Vladimir Makanin’s “Ispug”</i>	241
B. W a l i g ó r s k a - O l e j n i c z a k, <i>The Leviathan myth in the filmography of Andrei Zvyagintsev (on the basis of the film “Leviathan”)</i>	253
A. Z y w e r t, <i>Following the “golden cohort” (Dmitry Bykov, “Justification”)</i>	263

LINGUISTIC STUDIES

P. B o r t n o w s k a, <i>Harmony as a principle in creating hyphenated compound words (based on the examples of names for people)</i>	275
L. G o r b u n o v a, <i>On the question of the relationship between the categories of “spatial deixis”, “observer”, “facade”</i>	283
B. H r y n k i e w i c z - A d a m s k i c h, <i>On some aspects of proprial intertextualisation in the light of recent research</i>	289
J. J ó z w i a k, <i>Personal names from foreign cultures in Russian–Polish transfer in the context of the individual translator’s approach</i>	305
J. K a l i s z a n, <i>Homographic triads in Russian</i>	315
T. K o s m e d a, <i>The problem of Russian lexis dynamics at the end of the 20th and the beginning of the 21st century from the pages of the journal “Studia Rossica Posnaniensia”</i>	323
K. K u l i g o w s k a, <i>‘Likes’ and ‘hates’, i.e. a few words on the sociolect of Polish and Russian Internet users</i>	339
Ł. M a ł e c k i, <i>The cognitive semantics of the concept of “LIE” in the modern Russian language</i>	349
J. M i t u r s k a - B o j a n o w s k a, J. I g n a t o w i c z - S k o w r o Ń s k a, <i>The phrase „голосовать ногами / głosować nogami” in contemporary Russian and Polish</i>	361
A. N a r l o c h, <i>The transparent “белый”: A discussion on semantics</i>	371
T. N i k o l a y e v a, A. S h y s h o v a, <i>Semantic and stylistic transformations in Russian literary language from the 18th to the 21st centuries</i>	381
A. O s h c h e p k o v a, <i>A linguistic representation of the artistic concept of “SHE-WOMAN” (based on the autobiographical novel “I Am 46 Years Old” by Maria Arbatova)</i>	389
K. R a c h u t, <i>Translational acceptance and polemics in the interpretation of literary proper names. On the basis of Russian and Polish translations of the Harry Potter saga</i>	401
L. R a c i b u r s k a y a, <i>Compound innovations in online Russian mass media</i>	411
A. S i t a r s k i, <i>The anthropocentric paradigm as a linguistic category in language studies</i>	419

D. S ł u p i a n e k - T a j n e r t, <i>The social dimension of the concept of 'VISUAL PERCEPTION' in the Russian and Polish linguistic picture of the world (based on visual perception verbs)</i>	425
Z. S z w e d, <i>A study of the morning reading for Holy Thursday in the 1092 Archangelsk Gospel</i>	437
M. W ó j t o w i c z, <i>Polish loanwords in the Pskov and Novgorod dialects</i>	449

GLOTTODIDACTICA

D. D z i e w a n o w s k a, <i>Discussion as one of the methods of problem teaching for Russian as a foreign language</i>	459
A. W a c h, M. J a k o w l e w a - P a w l i k, <i>Evaluating the usefulness of L1 (Polish) in learning the grammar of foreign languages (English and Russian): Study findings</i>	471
W. W ó ź n i e w i c z, <i>Pragmalinguistic and didactic conditions of understanding of a foreign language text</i>	485

SPIS TREŚCI

LITERATUROZNAWSTWO

A. B o r t n o w s k i, <i>Ukraina na początku XX wieku oczami Konstantego Paustowskiego</i>	5
A. C h u d z i ń s k a - P a r k o s a d z e, <i>Między historią a filozofią. Poetyka powieści Wiktora Pielewina „Maty palec Buddy”</i>	15
A. C h u d z i ń s k a - P a r k o s a d z e, <i>Święto Nocy Walpurgi jako fenomen kulturowo-literacki (na podstawie analizy porównawczej tragedii „Faust” J.W. Goethego i powieści „Mistrz i Małgorzata” M. Bułhakowa)</i>	29
M. D ą b r o w s k a, <i>Wasilija Malinowskiego rozważania (nie tylko) o pokoju i wojnie (czasopismo „Осенние вечера”, 1803 r.)</i>	45
N. D r a n n i k o w a, <i>Lokalna identyfikacja i samoidentyfikacja mieszkańców północno-rosyjskich miast Archangielska i Siewierodwińska (na podstawie danych folklorystyczno-etnograficznych)</i>	57
B. G o ł ą b e k, <i>Przeszłość jako nauczycielka i źródło nadziei. Wprowadzenie do historiozofii Andrieja Sacharowa</i>	71
D. H o r c z a k, <i>Historyczno-geopoetycka perspektywa narracyjna w cyklu opowiadań Iwana Szmielowa „Судя на беэгу”</i>	83
M. J a w o r s k i, <i>Historiozofia alternatywna w prozie Wiktora Pielewina. Na przykładzie powieści „Empire V” i „Batman Apollo”</i>	95
U. K i z e l b a c h, <i>Wpływ Waltera Scotta na prozę historyczną Aleksandra Puszkina: „Rob Roy” i „Córka kapitana”</i>	105
N. K o r t u s, <i>Masoński kod w twórczości Władimira Nabokowa. Próba interpretacji powieści „Zaproszenie na egzekucję” w kluczu symboliki masońskiej</i>	121
J. K r a s z e n i n n i k o w a, <i>Rosyjskie powiedzenia weselne: kilka uwag o specyfice funkcjonowania tekstu obrzędowego w nieobrzędowej sytuacji</i>	135
N. K r ó l i k i e w i c z, <i>Zawartość semantyczna konceptu artystycznego „sakrament małżeństwa” w opowiadaniu I. Bunina „Wież”</i>	149
T. N a k o n e c z n y, <i>Rosja jako tekst w prozie Wiktora Pielewina</i>	159
J. O r z e c h o w s k a, <i>Święto w językowej świadomości Polaków i Rosjan</i>	173
W. P i ł a t, <i>Teatr i dramaty rosyjski w polskich badaniach rusycystycznych</i>	183
W. P o p i e l - M a c h n i c k i, <i>Wojenna proza Wiktora Astafiewa a problem nienawiści i przebaczenia</i>	193
A. K. P r z y b y s z, <i>Elementy rytuału przejścia w „Innym” Jurija Mamlejewa. Prolegomena</i>	203
E. R i a b c z i k o w a, <i>Koncepcja charakteru narodowego i jego ironiczna reprezentacja w powieści Evelyn Waugh „Nieodżałowana”</i>	213

S t r y j a k o w s k a, <i>Małe święto jako nośnik tożsamości kulturowej w powieści „Telluria” Władimira Sorokina</i>	221
R. S z u b i n, <i>Literatura jako mit i hipertekst w powieści „Bieskoniecznyj tupik” Dmitrija Gałkowskiego (próba rekonstrukcji koncepcji historiozoficznych)</i>	231
K. T y c z k o, <i>Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści „Icnyje” Władimira Makanina</i>	241
B. W a l i g ó r s k a - O l e j n i c z a k, <i>Mit Lewiatana w twórczości Andrieja Zwiagincewa (na materiale filmu „Lewiatan”)</i>	253
A. Z y w e r t, <i>Śladami „złotej kohorty” (Dmitrij Bykow, „Uniewinnienie”)</i>	263

JĘZYKOZNAWSTWO

P. B o r t n o w s k a, <i>Harmonia jako strategia w tworzeniu substantywno-substantywnych konstrukcji łącznikowych (na przykładzie nazw osobowych)</i>	275
L. G o r b u n o w a, <i>O relacjach kategorii „deiktyczności” i „fasadowości”</i>	283
B. H r y n k i e w i c z - A d a m s k i c h, <i>O pewnych aspektach intertekstualizacji proprialnej w świetle najnowszych badań</i>	289
J. J ó z w i a k, <i>Obcokulturowe antroponimy w przekładzie rosyjsko-polskim w kontekście indywidualnego podejścia tłumacza</i>	305
J. K a l i s z a n, <i>Triady homograficzne w języku rosyjskim</i>	315
T. K o s m e d a, <i>Zagadnienie dynamiki słownictwa języka rosyjskiego na przełomie XX i XXI wieku na łamach czasopisma naukowego „Studia Rossica Posnanensia”</i>	323
K. K u l i g o w s k a, <i>„Lajki” i „hejty”, czyli kilka słów o socjolekcie polskich i rosyjskich użytkowników internetu</i>	339
Ł. M a ł e c k i, <i>Semantyka kognitywna konceptu „kłamstwo” we współczesnym języku rosyjskim</i>	349
J. M i t u r s k a - B o j a n o w s k a, J. I g n a t o w i c z - S k o w r o Ń s k a, <i>Wyrażenie „голосовать ногами/ głosować nogami” we współczesnym języku rosyjskim i polskim</i>	361
A. N a r l o c h, <i>Transparentny „белый” – rozważania o semnatyce</i>	371
T. N i k o ł a j e w a, A. S z y s z o w a, <i>Transformacje semantyczno-stylistyczne w rosyjskim języku literackim XVIII–XXI wieku</i>	381
A. O s h c h e p k o v a, <i>Lingwistyczna reprezentacja artystycznego konceptu „ONA-KOBIETA” (na materiale autobiograficznej powieści Marii Arbatowej „Mam 46 lat”)</i>	389
K. R a c h u t, <i>Akceptacja i polemika tłumaczeniowa w interpretacji literackich nazw własnych. Na przykładzie rosyjskiego i polskiego przekładu sagi o Harrym Potterze</i>	401
L. R a c i b u r s k a j a, <i>Nowe złożenia w rosyjskich elektronicznych środkach przekazu</i>	411
A. S i t a r s k i, <i>Paradygmat antropocentryczny jako kategoria lingwistyczna w badaniu obiektów językowych</i>	419

D. S ł u p i a n e k - T a j n e r t, <i>Socjalny wymiar konceptu 'PERCEPCJA WZROKOWA' w językowym obrazie świata Rosjan i Polaków (na materiale czasowników percepcji wzrokowej)</i>	427
Z. S z w e d, <i>Z badań nad tekstem czytania porannego na czwartek Wielkiego Tygodnia w Ewangeliarzu Archangielskim 1092 roku</i>	439
M. W ó j t o w i c z, <i>Zapóżyczenia leksykalne z języka polskiego w gwarach pskowskich i nowogrodzkich</i>	451

GLOTTODYDAKTYKA

D. D z i e w a n o w s k a, <i>Dyskusja jako jedna z metod nauczania problemowego języka rosyjskiego jako obcego</i>	461
A. W a c h, M. J a k o w l e w a - P a w l i k, <i>Ocena użyteczności języka ojczystego (polskiego) w uczeniu się gramatyki języków obcych (angielskiego i rosyjskiego): wyniki badań</i>	473
W. W o ź n i e w i c z, <i>Pragmatyczne i dydaktyczne uwarunkowania rozumienia tekstu obcojęzycznego</i>	487